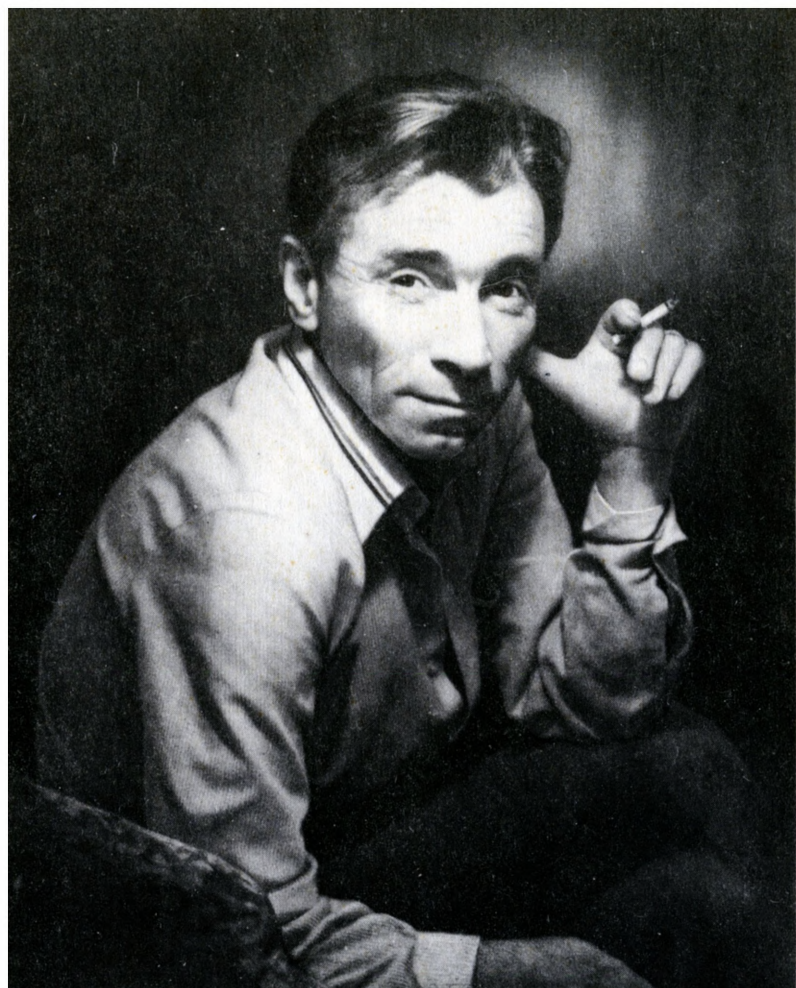


ВИКТОР КОНЕЦКИЙ

ВИКТОР
КОНЕЦКИЙ

Ледовые
брызги





ВИКТОР
КОНЕЦКИЙ



Ледовые
брызги

ИЗ ДНЕВНИКОВ
ПИСАТЕЛЯ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
1987

ББК 84.Р7

К64

Художник Лев Авидон

К $\frac{4702010200-139}{083(02)-87}$ 74-87

© Издательство «Советский писатель», 1987 г.

 *Кто
пути
пройденного
у нас
не отберет*



ИЗ
СЕМЕЙНОЙ
ХРОНИКИ

В незавершенной поэме «Езерский» Пушкин, сетуя на то, что «исторические звуки нам стали чужды», писал:

Вот почему, архивы роя,
Я разобрал в досужий час
Всю родословную героя,
О ком затеял свой рассказ...

Ведь нет ничего на свете неповторимее любой самой обыденной семейной хроники.

Ведь, кажется, нет ничего полезнее и насыщеннее для души пишущего человека, нежели рыть архивы предков.

И вот уже сколько лет лежит под диваном в соседней комнате чемодан с бесценностями, сохраненными матерью иногда и с риском для жизни, а я... боюсь его открыть. Зато, хотя у меня есть на житье деньги и хотя никто никуда не гонит, через месяц поплыву в Арктику.

Мой дед Дмитрий Иванович Конецкий родился в 1840 году.

Умер в 1909-м. Похоронен на Волковом кладбище.

Узнал об этих датах недавно от двоюродной сестры Тамары Сергеевны Васильевой. Она слепа — с блокады. И сказала о деде случайно — считала, я и так все это знаю. А я ни черта не знал, ибо никогда никого из дедов вживе не видел и как-то и позабыл про то, что они где-то и когда-то были. А тут, ясное дело, поразился. 1840 год! Чуть было Пушкина Дмитрий Иванович не застал!

Поехал на кладбище, опять-таки с удивлением поняв, что Волково кладбище от «волка» — бегали там серые и логова рыли.

Деда, конечно, следа не нашел, но наткнулся на замечательную могилу «Смотрителя Волкова Православ-

ного кладбища Александра Андреевича Худякова — скончался 7 июня 1879 года на 45-м году».

Эпитафия:

*Прохожий! Здесь лежит смотритель.
Живых он в горе утешал,
А мертвых в вечную обитель
Сам каждодневно провожал.
17 лет он здесь трудился,
Квартиры мертвым отводил.
Когда ж он с жизнью распростился
И бранный труп его остыл,
Он сам в квартире стал нуждаться!
Таков, знать, час уже пришел.
А новый... квартиру здесь ему отвел.*

Там, на кладбище, я и решил, что заберу в рейс пару папок с материнским архивом.

Ночью с 21 на 22 июня 1941 года — ровно тридцать восемь лет назад, ибо сегодня 22 июня 1979 года, — мы находились на даче на хуторе близ гоголевской Диканьки. И около четырех часов утра мать разбудила меня и брата, и мы вышли во двор, где справа были клетки со спокойно пока жующими кроликами, слева хлев со спокойно пока жующими коровами; а с запада, из-за реки Ворсклы (в памяти осталась строка хохлацкой песни: «Ворскла — ричка невеличка, тече здавна, дуже славна, не водою, а вийною, де швед полиг головою...»), из-за кукурузных полей, по чуть светлеющему небу, очень низко, пригибая всё торжествующим ревом, шли на Харьков или Киев эскадрильи тяжелых бомбардировщиков; и мы отчетливо видели черные кресты на их крыльях.

— Война, — сказала мать и зарыдала. Она знала, что говорит, потому что первая мировая застала ее во Франции и она добиралась на родину через Скандинавию, и уже с тех пор запомнила германские опознавательные знаки на аэропланах.

И вот когда мы потом среди тысяч и тысяч других беженцев на подводах, запряженных быками, тащились на восток, то вокруг невыносимо тягостно мычали недоенные коровы. Они шагали, растопырившись над своими раздувшимися до синевы (как будет множественное от «вы-

мя»?) и мучительно мычали в раскаленные украинские небеса.

И хотя страшно вспоминать это бегство, этот исход полусумасшедших от страха толп, я все-таки вспоминаю и смешное. Так и маячат перед глазами самые упрямые существа на свете — козы и козлы. Думаю, нет ничего более тормозящего, нежели коза, которая привязана за рога веревкой к задку телеги и всеми четырьмя ногами упирается в дорожную грязь или пыль.

У Сергея Орлова есть стихотворение «Станция Валя».

Легким именем девичьим Валя
Почему-то станцию назвали.
Желтый домик, огород с капустой,
Поезд не стоит и двух минут,
На путях туманно, тихо, пусто...
Где ты, Валя, проживаешь тут?

Станции Валя нет. Есть полустанок.

На этот полустанок вышел эшелон с детьми, которых сперва умудрились эвакуировать на запад — навстречу немцам, а потом кое-кого успели собрать и отправить на восток — обратно в Ленинград.

Этим эшелонном возвращались домой с украинской дачи и мы.

На соседних путях стоял санитарный эшелон, битком набитый ранеными. Он прорывался в тыл.

От полустанка до лесной опушки было метров пятьсот. Из-за леса вывернулся немецкий истребитель-бомбардировщик. Люди посыпались из вагонов и побежали к лесу.

Точно помню:

Очень долго ждал мать у подножки вагона. Уже все повискакивали, а ее нет и нет. И я думал, что она вещи собирает, — это в ее характере было: собирать вещи в самой неподходящей обстановке и очень долго. И я оказался близок к истине, но собирала она не вещи в смысле вещичек или чемоданов, а показала наконец на площадке вагона с огромным пуком наших пальтишек и пледом. Руки ее едва сходились на этом пуке, который она, естественно, прижимала к груди и животу. А надо-то было спуститься по трем высоким вагонным ступенькам. Как по ним без рук спуститься? Да еще лицом в поле — а она именно так решила вылезать.

Я орал, чтобы она бросала пальто на землю. (Самолет

к этому моменту уже заходил на второй вираж.) Но не тот был у матушки характер, чтобы бросать детские пальто и плед на сырую землю или в пыль. Она сползла со ступенек, считая их задом, и спиной, и закинутой головой. Ее далеко запрокинутую голову особенно хорошо помню. И тут я сразу толкнул ее под вагон, хотя отчетливо понимал, что под вагоном убежище плохое, что надо-то как раз наоборот делать — бежать от состава. Однако самолет приближался стремительно со стороны хвоста поезда. И мы с матушкой оказались под вагоном, рядом с солдатом. У солдата была полуавтоматическая винтовка, а вагонные колеса были не со сплошным диском, а со спицами. И солдат стрелял, просунув винторез между спиц. Куда он палил, я не заметил, потому что увидел брата, который бежал через поляну к опушке леса и был где-то на середине поляны, когда самолет, обстреляв эшелон из пулеметов, сбросил на паровоз две маленькие, вероятно десятикилограммовые, бомбочки. Я видел, как они падали и взорвались левее паровоза, метрах в ста от него, — плохой немец был бомбометатель. Встало два разрыва. Они были метрах в двадцати от бегущего брата. Его приподняло взрывной волной, пронесло довольно далеко — и замедленно, как в замедленном кино, швырнуло на землю.

Я думал, мать этого не видит, так как она была дальше меня под вагоном, но она все увидела. И — без всякого крика — все так же с пукон пальтишек и другой мягкой рухляди в руках выскочила из-под вагона и побежала к брату по высокой траве поляны. Солдат попытался удержать мать, но ее бы и танк не остановил. А я побежал за ней, чувствуя себя совсем голым на пустынной поляне, — все люди попадали на землю.

И только несколько солдат где-то на середине поляны устанавливали на колесо от обыкновенной крестьянской телеги ручной пулемет. Раньше эти солдаты с пулеметом ехали на крыше вагона. Кабы не исторический опыт гражданских войн, вряд ли бы тележное колесо так быстро оказалось приспособленным под своеобразную турель для зенитной стрельбы.

Спринтерские дистанции в те времена я бегал хорошо, во всяком случае — лучше матери. И потому оказался возле брата первым. Глаза у него были открыты, но шок оказался глубоким. Он был ранен осколком бомбы в левую руку между плечом и локтем. Более другого меня поразил чистойшей белизны кусочек кости, который отлично

был виден в окружении разорванных мышц. Рана еще вообще не кровоточила. Как потом объяснили опытные люди, осколок был горячим и запек кровеносные сосуды. Но подбежала мать, отбросила наконец в сторону мягкую рухлядь и упала на брата. И здесь я увидел то, что большинство зрителей видит только в кино. Я увидел, как мать прикрывает своим телом ребенка.

Немец зашел на третий вираж и палил по эшелонам и поляне разрывными пулями. Они отличаются от обычных тем, что взрываются круглыми искристыми огоньками, коснувшись даже цветочной головки. И эти вспышки-взрывики разрывных пуль хорошо видны даже при солнечном свете. Ежели нет, то пусть меня бывалые вояки подправят.

Я-то абсолютно уверен в том, что видел эти вспышки-взрывики вокруг нас, но выше самой земли — на уровне цветочных головок ромашек.

И вот мать лежала на брате и елозила руками, как бы махала ими плашмя, чтобы прикрыть неприкрытые места его тела. И тут из раны хлынула кровь.

Я эти мгновения провел, лежа на спине рядом. И хорошо видел голову немецкого летчика, который высунул ее с левого борта кабины, рассматривая результаты своей работы. Опять чисто киношный кадр: спокойная и омерзительная немецкая рожа в летных очках над бортом кабины, рассматривающая искромсанные тела детей и женщин внизу.

Когда самолет промелькнул, мы потащили брата в кусты. До них было метров пятьдесят. Там он окончательно очухался и попросил пить. Воды, конечно, не было. Я рвал ему спелую голубику. В те времена мы называли ее гонобелем. Рану традиционно перетянули носовыми платками.

Самолет исчез. По слухам, наши солдатики якобы все-таки куда-то ему попали с помощью тележного колеса. Думаю, это возможно, ибо немец демонстрировал такую степень беззаботной наглости, которую судьба в любой игре обычно наказывает.

А дальше произошло нечто вовсе уж несуразное — эшелон дернулся и поехал, оставляя всех раненых, убитых и вопящих на все голоса живых в чистом поле и на опушке леса. Боже, какой вопль разнесся, нарушая станции покой!

Чувство покинутости... Едва ли оно не самое жуткое и безнадежное на войне. И не только на войне.

Вспыхнет в небе дальняя зарница,
Стукнут рельсы, тронется вагон...
Я хотел бы здесь остановиться
Навсегда у сердца твоего...

У тебя по самый пояс косы,
Отсвет зорь в сияющих глазах...
Валя, Валя, где-то за откосом
Голос твой мне слышится в лесах.

Когда я рассказал Орлову эту историю и прочитал стихи наизусть, он, конечно, был доволен. Все поэты радуются, когда их знают наизусть.

На этом полустанке я видел десятилетнюю девочку, у которой были оторваны обе ноги. Она пыталась заползти в канаву под штабель запасных железнодорожных рельсов. А такого количества крови, которое оказалось на полу нашего купе, я уже никогда в жизни не видел (блокадные голодные смерти — бескровные). Какой-то дядька лет сорока, артист ленинградской эстрады, наш сосед, умудрился, вероятно, не проснуться вовремя. Осколок бомбы пробил вагон и вырвал ему кадык. Вся кровяница, которая вытекла из артиста, успела уже свернуться, когда мы вернулись; все стекла окон, конечно, вылетели.

Первое время в Ленинграде довольно часто попадались интеллигентные ленинградцы, которые уверяли, что наша пропаганда преувеличивает немецкие зверства, ибо немцы — воспитанные люди и выдумали Бетховена.

От фронтовиков я отличаюсь и тем, что хотя много убивали и самого меня, и самых моих родных людей, но я сам никого в отмщение убить не мог и не убил.

А дорого бы дал в свое время за то, чтобы хоть один паршивый немец, стрелявший по мне, был на моем счету.

Отмщение — великая штука. И никуда от этого пока не денешься. Коль отомстишь, то и смертные муки принимать легче.

Был у меня анекдотический случай.

В сорок пятом и сорок шестом годах мы иногда несли охрану пленных немцев на городских овощехранилищах. Там фрицы перебирали картофель. После работы, когда они вылезали из бункеров, нужно было их обшаривать, чтобы не выносили жратву. Делали мы это небрежно. Часто, бывало, видишь: под штанами над кальсонными завязками прячет фриц пару картофелин, ну и махнешь рукой.

Охраняли мы их уже без огнестрельного оружия. — только плоские австрийские штыки на поясе в чехлях.

И вот однажды увидел я на полусгнившем мундире здоровенного пленного какой-то значок. Присмотрелся. И понял, что это значок, который выдавали особо прилежным воякам, долго участвовавшим в боях за Ленинград, то есть за осаду Ленинграда. Сохранил его фриц какими-то сверхнаглыми чудесами и продолжал носить!

Заорал я и «хальт», и «хенде хох», а потом оттянул гнилую ткань мундира, уцепившись за этот значок; вытащил штык и секанул по материи. Пленный перепугался, намерений моих мирных не понял, решил, верно, что мальчишка ему сейчас секир башку сделает, ибо офицеров вокруг видно не было.

А я только знак этот вырубить с мундира хотел.

Короче, дернулся вояка в самый неподходящий момент, мотнулся взад-вперед, и я задел штыком ему кончик носа.

Никогда не предполагал, что из малюсенькой царапины на кончике носа может так бурно хлестать кровь.

Пленный мой опрокинулся на спину, задрогал ногами и заверещал вполне нечеловеческим голосом.

Влепили мне за это дело три наряда вне очереди.

Даю честное слово, что все это произошло случайно, но если бы я попал в Германию в мае сорок пятого года, то, боюсь, пролил бы там много и невинной крови.

Пушкин почитал мщение одной из наипервейших христианских добродетелей. Я злопамятен, но, когда мне отмщение, как показывает опыт, аз не воздам, ибо ленив.

Не любил и не люблю ссор и драк. Суть моего характера в том, чтобы находиться в принципиальном мире со всем и всеми в окружающем мире.

В юности одно время пришлось много махать руками — конечно, красивая женщина с ветреными наклонностями была виновата.

В драках даже попытки использовать не только оружие, но просто что-нибудь тяжелое не предпринимал. И ни разу в жизни не ударил человека ничем, кроме голого кулака, хотя хорошо знаю, что любой твердый предмет укрепляет не так даже руку, как мужской дух...

Занятно, что страх перед дракой и во время нее особенный, с примесью мазохической приятности, завлекательный страх, его тянет ощутить снова и снова, хотя опыт предостерегает о шишках и синяках...

Привычку к оружию нам прививали сознательно, продуманно. Мы, например, носили палаши. Возни с этим атавизмом древних абордажей и плац-парадов много. А прыгать на ходу в трамвай, когда на боку болтается метровая «селедка», дело даже опасное: палаш частенько попадал между ног и бил по правой «косточке» — есть такая выступающая чуть выше ботинка косточка, на курсантаском языке «мосёл». После возвращения в училище палаш надо протирать и смазывать.

В драке хочется вытянуть палаш на свет божий. Правда, в нашем училище никто ни разу такому искушению не поддался. А вот уже после драки бывали смешные случаи. Я как-то наблюдал ближайшего друга, которому порядком досталось в схватке с гражданскими парнями после танцев в клубе «Швейник». Так вот, уже по дороге домой, на улице Писарева, он вдруг вытащил палаш и по всем правилам фехтовального искусства принялся рубить безвинную водосточную трубу. С каким чудесным, хрустальным звоном сыпались из нее сосульки...

Вот вспомнил палаш и даже испытываю к нему нежность. Как приятно было ощущать тугую плавность, с которой клинок выходит из ножен! Жаль, что при демобилизации не зажал офицерский морской кортик. Обошлось бы мероприятие в шестьсот рублей старыми деньгами, а кортик украшал бы сухопутный быт, висая на ковре и позевывая львиными пастями великолепной упряжи.

В фильме о революционном певце Эрнсте Буше показывают, как после войны немцы делали на заводах из солдатских касок дуршлаг и кастрюли. По всем правилам заводской технологии делали. Знамена со свастиками тоже не пропадали втуне. В фильме показывается, как эти знамена и флаги поступают в переработку на трикотажные фабрики. У этого народа ничего даром не пропало. Конечно, завидно смотреть. Но и жуткое что-то здесь. Право дело, каскам лучше смешаться с землей-матушкой в полях и лесах, а знамена со свастикой лучше публично сжечь. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.

Хотя сегодня упоминать о том, что война остается с тобой навечно, тривиальность, но я повторю: война навсегда во мне. И потому, например, я не люблю запах горящей и тлеющей газеты: махорка, закрутка, кресало, кремль, горячая горькость во рту...

Увы, часто приходится убеждаться в том, что фронтовики не знают элементарных вещей из военного дела, когда пытаются писать о войне. Или подводит память, или их опыт узкий.

Помню профессора-литературоведа, который дал мне трясущимися от волнения и волнительных воспоминаний руками свои фронтовые рассказы. «Карабин с оптическим прицелом» или «градуированная сетка прицела» у снайперского карабина — это цветочки...

Попадаешь в нелепое положение, когда рукопись ветерана, израненного, прошедшего под смертными крылами четыре года, оказывается битком набита элементарными ошибками. И тебе, военному мальчишке, приходится на это указывать.

Поколение воевавших уходит. Это серьезное обстоятельство для общества. Ибо это последнее поколение, которое с абсолютно чистой совестью, без всяких общих слов, могло считать себя еще при жизни выполнившим долг перед историей с полнейшей наглядностью.

Как ни удивительно, в нашем семействе была немка — вторая жена отца, Надина Бернгардовна Зальтуп. Отец сошелся с ней, когда мне было около двух лет. Она была могучего сложения, много выше отца. До войны я ее не видел.

Когда уже начались первые бомбежки, мать взяла нас с братом и повезла к ним на Большой проспект Васильевского острова. Мать хотела установить мир в отношениях перед лицом военного лихолетья.

Помню, как плакал отец, когда мы к ним заявили. Он был уже в военной форме — майор.

К сорок четвертому году, когда мы вернулись из эвакуации в Ленинград, их дом разбомбили. И все счастливое семейство оказалось в одной коммунальной квартире: Надина, отец, мать, брат, я и еще еврейская чета — скрипач из оркестра какого-то театра с супругой. Это было веселое житие. Особенно для матери.

Потом Надина Бернгардовна получила комнату — уже в пятьдесят первом году, после смерти отца. Я исчез на долгие годы в казармы и моря. Когда вернулся, начал наблюдать и изучать неизвестную мне «гражданскую жизнь». И потрясся ее фантастической выдуманностью.

Например, Надина регулярно приходила к нам в гости. Она любила мыть полы в материнской комнате или на

кухне. Она была значительно моложе матери, и ей доставляло, вероятно, некоторое удовольствие демонстрировать перед стареющей матерью свои еще неплохие физические возможности. Она мыла полы, несмотря на протесты Любочки (так она называла мать), и твердила о том, что у нее еще «кровь горячая». Хотя, вероятно, она этим уязвляла мать; мне кажется, что мать разрешала Надине мыть полов, так как понимала ее одиночество и чувствовала в ней определенную искательность, желание не потерять последней зацепки из прошлого, черпнуть из материнской духовности, приобщиться к материнской способности сохранять тягу к красивому и в самых ужасных жизненных ситуациях.

Надина детей не имела, существовала в зияющем одиночестве, работала каким-то клерком в юридической консультации. И когда она заболела раком, то мать ухаживала за ней, ездила в больницу; и мы одни ее и хоронили. Совестно, что я никогда больше на ее могиле не был и даже начисто забыл, где она упокоена...

Во время войны в блокадном Ленинграде она служила судебным исполнителем! Немка! Жена беспартийного военного прокурора! В блокированном немцами городе — судебный исполнитель!! Ходить по домам и описывать имущество! Это ли не фантастика? Попробуй сочини такое в романе — знатоки нашей жизни от возмущения в собственной слюне захлебнутся.

А вот сделать рассказ про то, как вторая жена приходит к первой и торжествующе полы моет, до сих пор очень хочется.

Какой силы воли была мать, ясно из того, что уже где-то в конце ноября сорок первого года она, силком конечно, водила нас с братом в кино. И в «Авроре» мы смотрели «Приключения Корзинкиной». Но не досмотрели — началась воздушная тревога или обстрел.

Когда отец вышел в отставку и начал тихо спиваться, у него пробудились литературные наклонности. Вот образец его творчества, напечатанный на машинке и подклеенный на первую страницу «Краткого курса истории ВКП(б)». Книга была подарена мне с приказом никогда с ней не расставаться.

«ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА. Я вношу предложение, чтобы на каждом военном самолете был портрет Валерия Чкалова.

Пусть его прах покоится в Кремлевской стене, но его облик должен всегда парить в небесах. Пусть его улыбка, встречаясь с лучом солнца, скажет солнцу, что он жил для Советского народа, что десятки тысяч летчиков носят в своих сердцах Великого летчика Великой Страны Социализма, которую ведет Великий СТАЛИН. Тяжела утрата.

Я знаю, что ты, солнце, не веришь, не хочешь верить, что ЧКАЛОВА нет, что не прилетит к тебе в поднебесье Валерий, что своими крыльями он больше не будет ласкать твои лучи в поднебесье. Ты любишь его, солнце, первой чудной любовью, того, кто первый долетел до тебя, кто первый коснулся тебя, тебя, солнце, которое дает жизнь.

Он первый рассказал тебе о счастье Социалистической страны, он первый рассказал тебе там, в недостижимой высоте, о правде земной и на своих крыльях принес тебе привет от Великого Сталина, который своим гением согревает человечество.

О, Великое солнце-жизнь, ты пошлешь свои жизненные лучи в Страну Советов, на ее необозримые поля, леса, реки и доли и чтобы мы поняли тебя, Солнце, ты в своем спектре добавишь новый цвет, который назовет человечество ЧКАЛЫЙ.

Этот Чкалый цвет, в грядущих боях, будет светить Сталинским соколам, и переплетаясь с улыбкой Великого Вождя, гения человечества, будет нести победы, победы и еще раз победы трудящимся всего Мира».

Вся орфография, пунктуация остаются подлинными. Больше всего мне нравится «Чкалый цвет». Удивительные прокуроры жили в ту эпоху. А мой отец был не только сталинским прокурором, но, самое смешное, умудрился окончить юридический факультет Петербургского университета. Увы, биография отца настолько темное дело, что мне ее уже не распутать.

По чудовищной орфографической безграмотности мы с братцем в него. Мать не имела никакого образования — закончила какой-то частный пансион, но писала безошибочно.

Когда отец был следователем Василеостровского района, у него стажировался Лев Шейнин. В «Рассказах следователя» Шейнина описаны несколько дел, которые вел отец во времена нэпа, включая знаменитую в свое время историю грабителей склепов на Смоленском кладбище.

Молчать отец умел замечательно даже сильно подвыпивши.

Не знаю, «белые стихи» о Чкалове и Сталине — это мимикрия дрожащего от социального страха человека или его искренний восторг перед свободной судьбой хулиганистого пилота?

Надо сказать, что в конце тридцатых годов отцу пришлось бы вообще плохо, кабы он не расстался с матерью.

У матери было три сестры — мои тети. Все тети были замужем за царскими офицерами. Дяди были фронтовиками в первую мировую. Их боевыми орденами я играл в детстве. Дяди были настолько наивными вояками, что свои царские воинские отличия не уничтожили. Все они оказались в тюрьмах к концу тридцатых и были реабилитированы в пятидесятые.

Старшая сестра матери Матрена Дмитриевна, когда стала довольно заметной балериной в труппе Сергея Дягилева, сменила имя и стала Матильдой. В семье ее звали Матюней. В расцвет театральной карьеры Матюне на день ангела — девятого апреля — бывало так много различных подношений от поклонников-балетоманов, что бабушка Мария Павловна отправляла мою маму — самую младшую из сестер — с коробками дареного шоколада в Литовский замок. Там была тюрьма (в ней посидел и Федор Михайлович Достоевский), и конфеты предназначались арестантам.

В балете Стравинского «Петрушка» Матюня танцевала кормилицу. Особенно вызывал восторги ее лихой и бесшабашный танец, когда по ходу действия вокруг пляшут кучера и другой простой люд.

Было трудно представить тетю Матю в такой роли, потому что, с тех пор как ее помню, она была уже пожилой женщиной с удивительно скромным, тихим, мягким, незаметным поведением в семье. Работала в банке на Невском проспекте — разбирала денежную мелочь и упаковывала денежки в длинные тюбики, согласно их достоинству.

Несмотря на тихость и незаметность, после смерти бабушки Матюня оказалась центром и неформальным лидером всех родственников. Мать любила ее, не побоюсь сказать такого слова, коленопреклоненно. И сохранила два ее письма.

«Париж, 5 май 1914. Мамусеночка моя родная, как Ты здорова? Пишу тебе из Парижа, где находимся уже че-

тыре дня. Устроились хорошо, платим за комнату в отеле 95 ф. в месяц, конечно, без завтрака, но и то Слава Богу, ведь за двоих обходится всего 3 ф. в день, есть горячая вода. Ходим обедать в такой же ресторан, как и с Тобой ходили. Любонька (это моя мать.— В. К.) от Парижа в неопишемом восторге, чувствует она себя значительно лучше. Не знаю, воздух ли Монте-Карло оказывает скверное влияние или горы утомляют ее донельзя, но она там едва двигалась, просто иногда, чтобы придти домой, садилась на каждой скамейке; может быть, лечебные души помогли — она взяла их 11-12. Теперь она репетирует с нами новый балет, их там шесть человек, довольна очень. Мамуличка, я думаю купить себе 2-3 платья к зиме, в Лондоне будут хуже и подороже. Купила Любоньке шляпу, беленькую, отделаем сами. Затем на те деньги, которые она получила, я купила ей черное шелковое платьице, очень хорошенькое, 69 франков. Будешь бранить, так брани меня, Родная. Хотя ты сама, мамусенька, любишь красивые вещи. Работа есть, но балет, который ставят, совсем не трудный, прямо легкий для нас, пока. Эгреты для тети Степановой, конечно, я могу купить, но не знаю, как поступить: в Америке и Англии вышел закон, что носить их нельзя, иначе берут страшный штраф — ввиду того, что уничтожают совершенно птиц, а эти эгреты сдирают с них с живых. Благодаря этому варварству запретили носить, быть может и у нас запретят. На следующие заработанные Любой деньги куплю ей теплое пальто, но это, пожалуй, лучше в Лондоне сделать. Напиши, как думаешь. Целую тебя горячо и крепко-крепко. Твоя Матюша».

Кажется, дело идет о перьях африканских страусов. Во когда еще начинали борьбу за экологию!

Из Рио-де-Жанейро, с парохода, который ранее заходил в Сантос, сентябрь 1913 года: «Сам Дягилев не поехал, едем под начальством барона. Ах, вот новость, наш Нижинский женится. Давно из города в город ездила за балетом одна венгерка, не знаю, помнишь ли ты ее? (Это письмо адресовано матери, которая находилась в России.— В. К.). Потом венгерка стала заниматься у Чекетти, затем была принята в труппу без жалования, так как сама богата. На пароходе она влюбилась, а теперь назначена свадьба. Как посмотрит Дягилев, не знаю. Все этим происшествием очень заинтересованы...»

«С П Р А В К А. Конечкая Матрена Дмитриевна находилась на излечении в больнице «В память 25 октября»

с 20 января 1942 года. Умерла 22 января 1942 г. Диагноз: дистрофия, тромбоз вен нижней конечности».

Смерть Матюни и средней сестры матери — тети Зики я описал в рассказе «Дверь», но там много сглажено, ибо бумага не все терпит.

Как-то услышал выступление по ТВ старой женщины-блокадницы, которая работала по уборке трупов из квартир. Она — мимоходом так, без особых педалирований, — сказала: «Нас не так удивляла мертвая мать, нежели живой ребенок».

Маму всю оставшуюся жизнь мучило и давило неизбежно тяжкое воспоминание. Воспоминания такого рода страшнее разных людоедств, бомб и снарядов. Последние как-то забываются. Не будешь же ты каждую секунду поминать снаряд, который рванул и кого-то рядом прихлопнул: ну, было такое и прошло. А здесь случай нравственных мук, которые вечно сжимают сердце, которые с особой силой возникают, как только глаза закроешь. Мучения совести. И вот такие мучения мать приняла, чтобы спасти нас с братом.

О подобных нравственных пытках, порожденных блокадой, как-то глухо пишут. А, еще раз подчеркну, они страшнее воспоминаний о муках физических.

Из учебника истории: «В первую зиму морозы начались значительно раньше обычного и не ослабевали до конца марта. 24 января температура опустилась до минус 40 градусов. 25 января остановилась последняя электростанция Ленинграда — «Красный Октябрь». Нечем стало топить котлы. В город-гигант не притекало более ни единого киловатта электроэнергии. Погруженный в холодный мрак город остался на какое-то время без радио и телефона. Город словно бы онемел и оглох. На предприятиях запускали карликовые станции, работавшие от тракторных или автомобильных моторов...»

К середине января сорок второго года в нашей квартире умерли все соседи. И мы перебрались из комнаты, окна которой выходили на канал Круштейна, в комнатенку в глубине дома, окно которой выходило в глухой дворовый колодец. На дне колодца складывали трупы. Но от проживания в этой комнатенке было две выгоды. Во-первых, по нашим расчетам, туда не мог пробить снаряд — на бомбежки мы к этому времени уже почти не обращали внимания. Во-вторых, комнатенку было легко согреть буржуйкой. Окно мать забила и занавесила разной ковровой рухлядью. Спали мы все вместе в одном логове.

Буржуйку топили мебелью, какую могли разломать и расколотить. Совершенно не помню, чем заправляли коптилку, но нечто вроде лампы светилось. Декабрьские и январские морозы были ужасными. И у брата началось воспаление легких.

В тот вечер вдруг пришла Матюня. Окоченевшая, скрюченная. Тащила откуда-то и забрела отогреться. Ей предстояло идти до улицы Декабристов, где они жили вместе с Зикой — Зинаидой, — еще одной моей тетей.

Мать варила какую-то еду — запах горячей пищи. Чечевицу она варила. Куда нынче делась чечевица? Малюсенькие двояковыпуклые линзочки, их нутро вываривается, а шкурки можно жевать.

И вот мать, понимая, что если Матюня задержится, то ей придется отдать хоть ложку варева, ее выпроводила, грубо, как-то с раздражением на то, что сама Матюня не понимает, что ей надо уходить — уже плохо сознавала окружающее. Она понимала только, что мороз на улице ужасный и что ей еще идти и идти — по каналу до улицы Писарева, и всю эту улицу, и улицу Декабристов. И все это по сугробам, сквозь тьму и липкий мороз. От огня буржуйки, от запаха пищи. Из логова, в котором был какой-то уют. Как он есть и в логове волчицы.

И мать ее выставила: «Иди, иди! Надо двигаться! Зика ждет и волнуется! Тебе надо идти! Там чего-нибудь есть у вас есть!»

И Матюня — этот семейный центр любви и помощи всем — ушла...

Она глубоко верила в бога; так, как нынче уже никто в современном мире не верит; в доброго, теплого, строгого и справедливого православного бога. Она выбиралась из комнаты, шаря руками по стене и бормотала молитву.

Недавно прочитал у Лескова:

« — Умилосердись, — шептала она. — Прими меня теперь как одного из наемников твоих! Настал час... возврати мне мой прежний образ и наследие... О доброта... о простота... о любовь!.. О радость моя!.. Иисусе!.. Вот я бегу к тебе, как Никодим, ночью; вари ко мне, открой дверь... дай мне слышать бога, ходящего и глаголющего!.. Вот... риза твоя в руках моих... сокруши стегно мое... но я не отпущу тебя, доколе не благословишь со мной всех...»

Когда я читал молитву у Лескова, то опять увидел уходящую Матюню и вспомнил ужас перед тем, что делает

мать, и крик брата: «Пусть Матюня останется!» Но у матери были свои предположения на наш счет. Она лучше знала, сколько в каждом осталось жизни или сколько в каждом уже было смерти.

«Нас не так удивляла мертвая мать, нежели живой ребенок...»

Мать сказала нечто вроде: «Прекратите истерики и ешьте!»

Через несколько дней мне приснился сон, который я рассказал матери: я видел ясное и теплое, летнее солнышко, и вдруг оно среди бела дня закатилось, и я понял, что оно больше не взойдет никогда. От страха проснулся. (Кстати, такое же ощущение безнадежного ужаса, как в том сне от закатившегося вдруг среди бела дня солнца, я испытал, уже будучи офицером, узнав о смерти Сталина.)

Когда я рассказал сон, мать сказала: «Это умерла Матюня! Иди к ней! Это я виновата, я ее тогда выставила! А зачем она сидела так долго?»

Я был к тому моменту самым жизнеспособным. Меня закутали и запеленали в разную одежду, и я пошел на улицу Декабристов.

Матюня была еще жива, а тетя Зика уже умерла и лежала на диване почему-то полуголая и в валенках. Матюня сидела в кресле, примерзнув к нему и к полу. Я затопил печурку. Почему-то у них на кухне валялись деревянные колодки для обуви. Из клеенки и колодок я и соорудил костерчик. И пошел за матерью и братом. Матюня все это время молилась. В молитвах она благодарила Христа за те муки, которые он послал ей, ибо теперь возьмет ее к себе, минуя, так сказать, ад и чистилище. Я вернулся домой. И мы все трое пошли на улицу Декабристов, взяв детские санки, чтобы привезти на них Матюню к нам. Но из этой затеи ничего не вышло; ни спустить по лестнице полубезумную Матюню, ни тащить ее через сугробы нам было не по силам.

Не помню, каким образом мать добралась до Александра Яковлевича Соркина. Это был отец жены моего двоюродного брата Игоря Викторовича Грибеля. Он и устроил отправку Матюни в больницу, ибо был главврачом военного госпиталя.

Тетя Зика — моя крестная, Зинаида Дмитриевна, — когда-то пела в хоре Мариинского театра. Это была женщина тяжелого характера, как теперь понимаю, истерич-

ка. Их ссоры с матерью заканчивались для матери обмороками.

Возле трупа Зики на столе лежала записка, нацарапанная обгорелой спичкой, и тоненькая свечечка. Записка сейчас передо мной: «*Прошу зажечь эту венчальную свечу, когда умру — З. Д. Конецкая-Грибель*». На том же клочке бумаги нарисован план какого-то кладбища.

Муж Зики Виктор Федорович Грибель к началу войны уже погиб в Крестах.

От него сохранена моей матерью одна только бумажка:

«МАНДАТ. Выдан съездом железнодорожных войск Северного фронта Штабс-капитану ГРИБЕЛЬ в том, что он делегирован Съездом в Министерство труда и в Секцию труда при совете Рабочих и Солдатских Депутатов для представления резолюций, выработанных Съездом.

Председатель Съезда

Солдат (подпись я не разобрал.— В. К.)
Секретарь М о д е й ч у к.

11 мая 1917 г., г. Псков».

Сын Виктора Федоровича Игорь Викторович Грибель — мой двоюродный брат, в войну сапер, лейтенант, по официальным документам пропал без вести в сорок первом под Тихвином, а по неофициальным — подорвался на противотанковой мине, то есть от него и праха не осталось.

Я его очень любил и хорошо помню, как он к нам заскочил на минуту попрощаться, уже в походной форме с полуавтоматической винтовкой где-то в сентябре сорок первого.

Дядю Витю тоже помню. Это был серьезный, молчаливый мужчина, в пенсне или очках, хороший шахматист. Арестовали его первым:

Несколько раз я был с матерью и тетей Зикой в Крестах в очереди на передачи. Молчаливая была очередь.

Двоюродный брат Игорек, как теперь вижу из следующего документа, был не робкого десятка юноша:

«К о п и я.

Народному Комиссару Внутренних дел СССР
тов. Берия, Главному Военному Прокурору СССР,
Москва, Пушкинская ул., 15-а

от гр-на Грибель Игоря Викторовича, инженера
Жилилуправления Ленсовета, проживающего
гор. Ленинград, ул. 3-го Июля, 71, кв. 4

З а я в л е н и е

6-го февраля 1938 г. мой отец Грибель Виктор Федорович 1887 г. рожд., был арестован органами НКВД на ст. Сланцы-Поля Гдовского района, где он работал в должности Ст. Производителя работ Строительства Сланцы-Битумного Завода УШОСДОРа НКВД немного более года. До начала декабря 1938 г. Ленинградская Областная Прокуратура, при наведении справок, сообщала, что дело гр-на Грибель числится за ней, а с 3-го декабря 1938 г. по апрель 1939 г., где находится дело, установить было нельзя — дело пропало.

3-го апреля 1939 г., на приеме, наконец, удалось установить, что дело поступило в Военную Прокуратуру — Ленинград, пр. 25-го Октября, д. 4.

10 апреля 1939 г., на приеме, Военный Прокурор сообщил, что дело моего отца было в Военной Прокуратуре, но потом возвращено в НКВД для доследования.

В мае 1939 г. в Справочном Бюро НКВД была получена справка, что следствие закончено и дело передано через Военного Прокурора в Военный Трибунал.

11-го июня 1939 г. в Военном Трибунале подтвердилось, что дело там, и впервые было получено разрешение на передачу беля. Через месяц, т. е. 11 июля 1939 г., в Военном Трибунале была получена справка, что дело вновь возвращено из подготовительного заседания в Военную Прокуратуру для доследования и пока новых сведений нет.

Итак 19 месяцев по делу моего отца решения нет.

Я глубоко уверен в невиновности моего отца, а 19 месяцев безрезультатного следствия лишь подтверждает мое глубокое убеждение в этом. О состоянии здоровья заключенного моего отца после 19-ти месяцев содержания под стражей говорить не приходится. В октябре 1938 г. он находился в больнице, в июне 1939 г. — опять в больнице.

Гражданин Прокурор, я прошу Вас истребовать дело в порядке надзора и положить конец грубому нарушению

закона. Если мой отец виноват в инкриминируемом ему преступлении, пусть его судят, а если не виноват, прекратите его мучения и мучения его семьи.

И. Г р и б е л ь. 6.8.39».

Я любил Сталина, любил его улыбку. У меня в заветной тетрадке была его фотография — в белом кителе, со Светланой на руках, у южного моря. В затянувшуюся бомбежку на 7-е ноября сорок первого мы в бомбоубежище под зданием Управления Октябрьской железной дороги — это напротив Александринского театра — слушали его речь и историческое бульканье воды в его стакане, когда он делал паузу и отпивал глоток. И я плакал от веры в него и от любви к нему. Он умел говорить образно и ценил юмор. Это он сказал (или повторил какого-то классика): «Полное единодушие бывает только на кладбище».

Отлично сказано!

И когда ему захотелось полного единодушия, он начал превращать страну в подобие кладбища, ибо у него дела не расходились со словами.

Поразителен его интерес к языку накануне смерти. В начале пятидесятых я с интересом изучал в военноморском училище «Марксизм и вопросы языкознания». Читать труд дилетанта о проблемах языка куда занятнее, нежели сочинения ученого-языковеда. Над последними умрешь со скуки.

Сквозь треск пустых речей и славословий он слышал накануне смерти гробовую тишину народного молчания — «народ безмолвствует». А в этой тишине молчания он слышал грозные слова, и он взялся за проблемы языковедения; ибо только слова, язык не подчинялись его воле и продолжали где-то жить и копошиться.

Занятно, что и говорливый Никита Сергеевич среди забот и хлопот по догонянию Америки нашел время заняться языковой реформой.

Первые седые волосы у меня появились, когда я был всего лишь лейтенантом. Мой подчиненный матрос Амелькин во время выборов зашел в кабину для тайности голосования. Это было ЧП на весь Северный флот. Матрос сидел в кабине не меньше часа. Страшный час моей жизни. Потом оказалось, что Амелькин — отменный патриот. В кабине на бланке бюллетеня он сочинял стихи, посвященные Сталину. Они ненамного отличаются от отцовского сочинения про Чкалова.

Второй по возрасту после Матюни была тетя Оля. Ее муж, мой дядя Сережа, тоже был штабс-капитаном, фамилия его была Васильев, а отчества не помню. Сперва их семейство выслали в Саратов, потом всех посадили. Дядя Сережа и его дочь Кира умерли в лагере от голода уже после начала войны. После революции дядя Сережа работал корректором в типографии и любил сам ремонтировать сапоги.

Дольше всех тетя продержалась на этом свете тетя Оля — единственная из сестер матери, которая сама провела многие годы в лагерях,— так почему-то случается довольно часто: кто оттуда выходил живым, как бы сдавал экзамен на выживаемость.

Так вот, хорошенькое было положение у отца, когда все материнские родственники при первых признаках сгущения туч над головами бежали, естественно, за помощью к нему — прокурору. И какова была у отца выдержка, ежели он так и не оформил официально развода с матерью (это я из того вывожу, что после смерти отца пенсию за него — четыреста рублей теми деньгами — получала мать, а не Надина).

Как-то из каких-то южных плаваний я привез много кораллов. И вдруг решил один коралл отвезти отцу на могилу, ибо решил, что был он революционным романтиком, а все романтики — в чем-то наивные и хорошие люди.

Я верю в нашу молодежь.

Нельзя жить, не веря в нее.

Я верю, что рано или не слишком уж поздно молодежь оживит все омертвелое, что накопилось за десятилетия в стране и народе.

Отец не был членом партии. Зато очень гордился моим ранним вступлением в нее.

Неудачливый революционер М. И. Муравьев-Апостол писал на закате дней: «Каждый раз, когда я ухожу от настоящего и возвращаюсь к прошедшему, я нахожу в нем значительно больше теплоты. Разница в обоих моментах выражается словом: л ю б л и. Мы были дети 1812 года. Принести в жертву все, даже саму жизнь ради любви к Отечеству, было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма. Бог свидетель этому...»

Пушай это звучит выпрэнно, но мое поколение военных подростков были и есть дети 1941 года: тогда мы научились л ю б и т ь отечество.

*ПОД СЕНЬЮ
РУССКИХ СФИНКСОВ
В КОЛОМНЕ*

Усядься, муза; ручки в рукава,
Под лавку ножки! Не вертись, резвушка!

А. С. Пушкин. Домик в Коломне

Без сомнения, немногим из вас... известна хорошо та часть города, которую называют Коломной... Тут совершенно другой свет, и, въехавши в уединенные коломенские улицы, вы, кажется, слышите, как оставляют вас молодые желания и порывы.

Н. В. Гоголь. Портрет

Именно тут-то, в Коломне, молодые желания и порывы никак меня не оставляли и, увы, довели до греха.

В конце сороковых годов на Фонтанке возле отсутствовавшего в те времена Египетского моста стояли под гранитной стенкой наши шлюпки — штук двадцать шестивесельных ялов в два ряда, цугом, на фалинях. Шлюпки принадлежали Первому Балтийскому высшему военно-морскому училищу. Плавсредства — вещь ценная. И потому здесь дежурили круглосуточно два курсанта. Пост этот так и назывался — «У шлюпок». На двадцать четыре часа ты исчезал из казармы в коломенские неги — это было замечательно. Особенно в белые уже ночи — в конце мая, в начале июня.

На посту разрешалось читать. Сидишь себе на корме концевой шлюпки, почитываешь «Кавалера Золотой Звезды», покуливаешь отсыревшую махру и поплеываешь за борт — в грязную воду, где плывут и плывут в Финский залив, в дальние моря и океаны, как нынче пишут в словарях, «средства механической защиты от венерических заболеваний и для предупреждения беременности».

Черт, сколько этих средств несли в конце сороковых Фонтанка, и Мойка, и канал Грибоедова, да и сама дер-

жавная Нева! Суровый запрет на аборт — дабы поскорей восполнить те двадцать миллионов, которые полегли от Ленинграда до Берлина. Плюс никаких еще тревог и забот об охране окружающей среды.

Нагляделся я со шлюпок на эти средства механической защиты производства завода «Красный треугольник» в нежной юности на всю катушку. По первым разам с души перло, есть не мог, хотя страдал еще ощущением беспрерывного голода. Потом, конечно, привык, перестал замечать, ибо душа моя тянулась к поэтическому, к живописи и к первой, светлой, чище подснежника, любви.

Об этом и мечталось в мои двадцать лет на посту у шлюпок и в августовские, уже темные, ночи, и в первые ночные морозцы сентября, когда из широких печных труб на крышах старинных домов начинали куриться дровяные дымы, ну и, конечно, особенно хорошо мечталось в белые ночи. Глядишь из шлюпки, как с вечера освещаются семейными, абажурными огнями окна, а потом гаснут и тогда на набережных остаются только бессмысленно мигающие в пустоте светофоры.

Чуть колыхнет шлюпку, шкрябнет она деревянным буртиком об осклизший гранит; напарник закемарит, все тихо, и в этой тишине бесшумно спланирует к реке бессонная чайка, сядет, повернувшись против ветерка, крикнет что-то глухим, отсыревшим, как твой бушлат, морским голосом. И все это над медленной водой, под сенью сфинксов, которые возлежали на парапетах, охраняя давно отсутствующий мост.

Мост этот был построен в 1826 году, а двадцатого января 1905 года в 12.19 на мост вступил 3-й эскадрон конногвардейского полка. Шестьдесят гордых всадников возвращались из столицы в Петергоф. Кроме них на мосту находилось девять прохожих и два извозчика. Один ванька оказался чрезвычайно невезучим, и фамилия у него была соответствующая — Горюнов.

В 12.20 раздался оглушительный удар, «подобный, — как писало «Новое время» Суворина, — залпу десятка орудий. Вслед за ударом, через несколько секунд, со стороны моста раздалась визги, крики, шум и ржание коней...» Одновременно все авторы учебников по физике для гимназий довольно потеряли руки, прямо в которые рухнул замечательный пример для главы «Резонансные колебания».

Грохот рушащегося моста слышала моя матушка, которой было двенадцать лет, а находилась она в семейном

гнездышке, в центре Коломны, в доме угол Екатерининского и Лермонтовского проспектов, напротив Эстонской церкви.

Так как катастрофа произошла через одиннадцать дней после «кровавого воскресения», то в газетах были попытки объяснить крушение моста не резонансом, а преступной халатностью царского городского головы.

Никто не погиб — brave конногвардейцы и потомки Акакия Акакиевича Башмачкина отделались ушибами и купанием в ледяной воде Фонтанки. Утонуло лишь несколько лошадей, среди которых и лошадка извозчика Горюнова.

Ужасное — во всех смыслах — потрясение лишило его рассудка, и бедный извозчик стал обитателем мрачного сумасшедшего дома на Пряжке. Необыкновенно тихий, ни с кем не вступавший в контакт и таким своим поведением схожий с давним моим героем Геннадием Петровичем Матюхиным, удравшим от сует и пошлости мира в кашалота, Горюнов забивался в какой-нибудь больничный угол и часами смотрел в одну точку. (В отличие от другого знаменитого безумца — уроженца здешних коломенских мест Евгения, который когда-то спасался от неистовых невских вод на льве возле Исаакия, а потом грозил Петру Великому и всем царям мира.)

Из отчуждения и отстраненности извозчика Горюнова выводило лишь неожиданно доносившееся конское ржание, когда в больницу доставляли хлеб и продукты. Тогда Ванька подбегал к зарешеченному окну, надеясь увидеть лошадей.

В конце концов его выписали из больницы.

И он стал ежедневно приходить к обвалившемуся Египетскому мосту, залезал (так уж мне хочется) на уцелевших сфинксов, благо залезть на них было просто, а городские его не прогоняли. И, сидя на сфинксах, неотрывно смотрел на медленно текущие воды Фонтанки, вслед своей лошадке.

Ну, и однажды не вернулся в ночлежку.

По предположению психиатра Борейши и журналиста Эд. Аренина, Горюнов в состоянии гнетущей тоски бросился в реку и утонул, уплыл в Финский залив и в далекий океан...

1905 год — начало XX века — время арлекинов, клоунов, маскарадных масок. Вспомните натюрморты той поры — сколько в них театральных масок! И в этом есть

какой-то тайный и большой смысл, который провиденчески чувствовал Блок. Из этих арлекинов с белыми лицами и маскарадных масок рождались Пикассо и Шагал. Последнее придумал лично я, но не судите строго, ибо внутренний смысл начала XX века мне уже не ощутить...

Ежели сфинксы возле Академии художеств натуральные и привезены из Египта, то сфинксы Египетского моста ниоткуда не привезены. Их породил тот же ваятель, который сотворил прямо под перо Пушкину «Девушку с кувшином», — академик П. Соколов; ту самую девушку, которая, урну с водой уронив, об утес ее разбила...

Эти замечательные стихи я вспомнил потом в порту Арбатакс на немисливо далеком острове Сардиния, направляясь на теплоходе «Челюскинец» в греческо-египетские края.

Сфинксы бывают двух национальностей.

Греческий Сфинкс — дочь Тифона и змеи Ехидны, жила на скале близ Фив и задавала каждому гуляющему загадку: «Кто ходит утром на четырех ногах, в полдень на двух и вечером на трех?» При этом Сфинкса обязывалась в случае разрешения загадки умертвить себя; не разрешавших же загадки она пожирала. Никаких затруднений с продовольственной программой у Сфинксы не было много веков по причине безнадежной тупости древних греков. Пока не явился Эдип с его комплексом. Он разгадал загадку, и Сфинкса, будучи джентльменом, вынуждена была сдержать слово и прыгнуть со скалы в Средиземное море.

Египтяне же считали Сфинкса олицетворением в образе полуженщины-полульва царской власти, соединяющей силу льва с разумом человека. Когда Сфинкса со оружали царицы, они давали им женские головы, а также груди. И тогда Сфинксы олицетворяли неизбежность судьбы и нечеловеческие муки.

Женщины к этому моменту волновали меня уже до головокращения — в полном смысле слова. Увидишь на улице этакую сержанточку в сапогах, в короткой зеленой юбке — тогда короткие юбки вроде только армейские женщины носить могли, — увидишь этакую сержанточку с талией в ремне, с ляжками под юбкой в обтяжку — и голова кружится от какой-то дурноты и бешеной злобы на недоступность по причине собственной робости. В Эр-

митаж, правда, мне в те времена тоже не рекомендовалось ходить. Помню, как бежал я один раз от скульптуры бес-смертного Родена «Поцелуй». В этой скульптуре девушка и юноша так гармонично переплелись, что святых выноси. Меня и вынесло.

Пишу все это и даже вздрагиваю от гражданской смелости и думаю о том, что после Вересаева, вероятно, ни один из наших советских писателей не переживал мучительных, пыточных периодов мужского созревания. И ни один из наших писателей, как я могу судить, включая даже лауреатов, первородного греха не совершал...

Да что там Роден! Чугунные грудки полуженщин-полульвов на парапетах возле провалившегося Египетского моста и те вызывали головокружение.

Помню, у юго-западного сфинкса под левой грудью была здоровенная пробоина от осколка снаряда или бомбы. Так мы в эту пробоину вечно заглядывали. Могу сообщить вам, что сфинксы полые внутри, была там затхлая полутьма, окалина, окурки и битые бутылки.

И вот белая ночь, перламутровый свет, без всплеска течет Фонтанка, не дрогнут в ней отражения спящих домов.

Устои провалившегося моста в сотне метров и черные рваные пробоины в телах сфинксов.

Сфинксы лежали и на этой, и на той стороне реки, лежали непоколебимо, невозмутимо, вечно задумчиво, глядя и в жизнь и в небытие незрячими глазами, соединяя вечное страдание, неизбежность судьбы и с радостью, и с нечеловеческими муками.

У тех послевоенных сфинксов не было золота на широких лентах, ниспадающих на плечи; золото давно облезло с чугуна.

Если не хочешь предаваться мистике и загадочности, то это добрые, серенькие сфинксы. Задние лапы поджаты, но впечатления, что звери хотят куда-то прыгнуть, нет. Если глядеть на сфинксов в фас, то все формы их мягкие, лица сохраняют ощущение жизни, живости — что редко у скульптур. Передние лапы полульвов, которые вытянуты, без когтей, пухлые. В общем, нет в сфинксах Египетского моста ничего потустороннего, даже если будешь смотреть на них долго-долго и прямо в незрячие, слепые глаза. Эти сфинксы на Лермонтовском проспекте очень русские. Вообще Коломна — самая российская часть Ленинграда.

Из шлюпок нам разрешалось вылезать, дабы размяться и прогнать сон. И вот вылезешь по штормтрапу — три гранитных блока от воды до решетки набережной, — вылезешь, подойдешь к сфинксу, заглянешь почему-то опять в снарядно-осколочную пробоину под левой грудью, добавишь туда еще один окурок и пойдешь вдоль шлюпочного цуга. Длина яла семь шагов — равна расстоянию между гранитными тумбами.

Идешь вдоль шлюпок, считаешь шаги над текучей грязной водой, которая медленно втягивается в пространство между устоями обрушившегося моста. На середине реки ветерок чуть тревожит воду и по ней бежит мелкая-мелкая рябь — как на стиральной доске.

Пусто вокруг. Город спит.

Только изредка промчится «скорая помощь», разбрызгивая оставшиеся после короткого дождика лужи. Или пройдет хмурый милиционер (вполне возможно, внук извозчика Горюнова), но даже не глянет в твою сторону — не испытывали в те времена милиционеры особых симпатий к матросам.

Кошка перебежит из парадной в подворотню четырехэтажного дома № 136, проходного, сквозь открытые ворота которого видны мусорная яма и поленицы дров. (Сейчас в этом доме школа ОСВОДа.)

Или вдруг на радость тебе вылезет из подворотни собака — уж такого дворняжеского вида, что дальше и ехать некуда: мокрая и испачканная; за ней в обязательном порядке появится вторая. Ежели первая вылезет черная, то потом за ней вылезет рыжая с белым пятном, тоже, конечно, мокрая и грязная. А если первая будет рыжая с белым пятном, то вторая обязательно будет черная и хвост кольцом — любовь у них. И вот они стоят минут десять — пятнадцать в сосредоточенном молчании, глядят в перспективу Фонтанки и думают свои собачьи думы. А ты, ясное дело, испытываешь к ним явную солидарность и большую симпатию. И возникает извечный вопрос: кому лучше живется, бесхозным псам, то есть Гекам Финнам, или Томам Сойерам?

Нынче по набережным Фонтанки прогуливают породистых мопсов на поводках. Или, что еще страшнее, трусятся в оздоровительном беге мопсовые дамы-хозяйки.

Боже, что стало бы с Пушкиным, коли он вдруг увидел бы этих дам, когда писал «Руслана и Людмилу» в доме адмирала Клокачева возле Калинкина моста! Это дом

№ 185. Там умер потом в забвении и нищете отставленный от архитектуры Карло Росси...

Акваторию нашего текучего сторожевого поста замыкал скромный, безо всяких украшений, пешеходный мостик Красноармейский. Он был выше по течению.

У этого моста в Фонтанку впадает Крюков канал. Сюда нам разрешалось доходить — метров сто от передней шлюпки.

Тылы городской больницы № 17 («В память 25 Октября»). Огромные парадные двери заколочены, и окна вспомогательных больничных корпусов тоже заколочены, без стекол и производили очень грустное впечатление, как и все прибольничные строения на свете.

В полукруглом маленьком скверике, огражденном решеткой из пик, постамент без памятника — черный гранитный куб. От тротуара его отделяют якорные цепи. Весенние липы в скверике низко склонились, и пики ограды давно вросли-впились в их черные стволы. В холодные ночи из люков в скверике поднимается вонючий пар; вокруг люков растет бурьян и понурая трава, засыпанная прошлогодними еще листьями. Каменный парапет ограды кое-где покрыт мхом, очень сыро.

За Смежным мостом хорошо просматривается до самого конца Крюков канал. Его булыжные мостовые были разорены, но тополя продолжали жить среди нагромождений проржавевшей трюфейной техники.

В Крюковом канале чудесным видением отражается колокольня Никольского собора. Колокольня бело-голубая. Ее шпиль был замазан маскировочной краской. Но в верхнем, подшпильном проеме колокольни четко рисовался черный колокол. Им любовался опальный Суворов, умирая в доме напротив.

Сам Никольский собор — главный морской и рыбацкий собор России. Первую державную службу в нем отслужили в честь победы над турками при Чесме в 1770 году. Собор двухэтажный. В проходе второго этажа уже скоро век висит наша семейная икона Тихвинской богородицы — подарок всем морякам и рыбакам от бабушки Марии Павловны, которая знать не знала, что ее внука пронесет по всем океанам планеты — семейство было на сто процентов сухопутное.

Михаил Херасков в стихотворении «Чесменский бой» возвышенно писал: «Пою морскую брань, потомки, ради вас!» Я последую за нашим древним стихотворцем, но,

правда, слово «брань» буду толковать часто в расширительном смысле. Имею в виду не только флотскую ругань; но и всякие другие темные грешки молодости...

В одном квартале от Фонтанки начинаются желтые лабазы Никольского рынка с его низкими, купеческими арками.

На Старо-Никольском мосту и по Садовой улице в послевоенные годы трамвайные рельсы лежали на шпалах прямо поверх земли...

Здесь постоишь минуту-другую, послушаешь сонное дыхание города и вороний ор. Вороны вокруг бродят по лужам и со скуки стараются подобраться к тебе поближе, потом притворно пугаются, взлетают на чугунную решетку набережной, вцепляются в нее хищными лапами. Вороны, вообще-то, любят человеческое общество, их тянет к нам...

В тот раз напарником на посту возле шлюпок был у меня Серега Ртахов, шикарный парень, сын адмирала, клеша у него шевиотовые были, победительная наружность и хорошие организаторские способности. И еще потомственно привязан был к военно-морской службе, служил лихо, без напряжения, с некоторым снисходительным гонором к тем, кто, как я, попал в военно-морское училище не своей волей, а волей и игрой непредсказуемых сил, то есть войной. После училища служба у Сереги пошла превосходно, одним из первых стал командовать крупным десантным кораблем, потом соединением, а потом с такой же стремительностью полетел вниз, оказался вышвырнутым с военного флота, занесло на Колыму, где работал он лощманом. А был у меня последний раз года три назад. В измызганном пальто, застойно пьяный. Просил пятерку. Я дал десятку. Потом получил от него письмо из туберкулезной загородной лечебницы. Он просил прислать какую-нибудь мою книгу. Я не прислал. И не поехал к нему, хотя писал он мне, конечно, в расчете на то, что я приеду и привезу ему сестру бутылку. Вроде бы после того, как его подлечили, он сейчас работает сторожем в морге при той же больнице, где лежал.

Вот вам пример российского алкоголизма при полном жизненном успехе, здоровье, красоте; при полном ладе и гармонии с социальной действительностью.

Серега Ртахов и толкнул меня на тропу грехопадения в парадную дома № 136, угол Лермонтовского проспекта и Фонтанки.

Застучали в белой ночной тиши каблучки над нашими головами по граниту набережной — об этом стуке я в каком-то раннем рассказе написал, но только остальное все там выдумал и занавесил застенчивой занавеской социалистического реализма.

А по правде, свесилась к нам сверху, через чугун решетки, кудрявая головка этакой моей сверстницы. Сказала, что с танцев бежит, но там, на танцах, настоящих парней не было и ей теперь скучно — «ну, просто ужасно как скучно!».

Сергеа мгновенно усек, что к чему, и полез по штурм-трапу развлекать девицу. А я остался наедине со средствами механической защиты и размышлениями о своей непутевости в женском вопросе.

Так и не знаю, что там Сергеа наговорил про меня девице, но он быстро вернулся и велел идти к ней в подъезд.

Скинул я клеенчатый, с капюшоном плащ, вылез на набережную и философски задумался в полнейшей нерешительности; ежась в своем отсыревшем бушлате и робе; глядя на глухую стену больницы, и на весенние тополя, и на серое, как дым, последождевое небо, и на далекие синие купола Троицкого собора с пушистыми — в золотых лучах — крестами.

— Кавалер! Совсем замерз? Долго тебя ждать? — крикнула Ева из подъезда дома № 136.

И Адам побрел через Рубикон, вспугивая из луж ворон, мокрых, с густо-серыми грудками.

В парадной Ева шепнула:

— Не бойся — у меня вообще-то муж есть...

А потом сунула мои замерзшие руки в свое теплое женское и захихикала от их прикосновения.

Утром по дороге к себе на работу на завод «Красный треугольник» она опять простучала каблучками над нашими головами по древнему граниту, опять перевесилась через чугунные перила, крикнула нам:

— Эй, мальчики, как вы тут? Смена скоро?

Мне так стыдно было, что я послал бы ее к далекой матери, кабы не Серега. Он показал мне кулак, а ей помахал рукой и пожелал доброго утра. Она засмеялась, кинула нам кулек с тремя конфетами — соевыми батончиками:

— Это вам на завтрак, мальчики! Только не подеритесь!

— Как тебя звать?— спросил Серега.

— Нина! Ну, я побежала!

И убежала.

Вопрос, которым Пушкин заканчивает «Домик в Коломне», здесь годится и мне: «„Ужель иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас нравоученья?“ — „Нет... или есть: еще полчаса терпенья...“»

*КАК Я
ПЕРВЫЙ РАЗ
КОМАНДОВАЛ КОРАБЛЕМ*

«Секретно.

Командиру СС-4138
лейтенанту Конецкому В. В.

Капитан-лейтенанта
Дударкина-Крылова Н. Д.

РАПОРТ

Настоящим доношу до Вашего сведения по пожарной лопате № 5. При обследовании пожарной лопаты № 5 мною установлены нижеследующие отклонения от приказа Главкомандующего ВМС СССР.

1. Черенок лопаты короче стандартного.
2. Насажен плохо, качается.
3. На конце черенка нет бульбы.
4. Трекер лопаты забит тавотом.
5. Щеки лопаты ржавые, не засуричены.
6. Лопата не совкового типа.
7. Черенок лопаты не входит в держатели на пожарной доске.
8. Лопата на пожарном стенде вследствие этого не закреплена, а держится черт как.
9. Лопата не окрашена в красный цвет.
10. На лопате нет бирки о последней проверке.
11. На лопате отсутствует инвентарный номер.
12. Лопата не учтена в приходе-расходной книге.
13. Лопата не включена в опись пожарной доски.
14. Лопата висит не на штатном месте. Далеко от места будущего пожара.
15. При опробовании — лопата сломалась.
16. Сломанная лопата не была внесена в акт списания.

17. Лопата не исключена из описи пожарной доски.
18. Нет административного заключения о причине поломки лопаты.
19. Нет приказа о наказании виновника поломки лопаты.
20. Лопата и до поломки превышала по весу норматив на 11 кг 250 г.
21. Лопата не была закреплена за конкретным матросом боевого пожарного расчета.
22. В процессе эксплуатации лопата неоднократно использовалась не по прямому (пожарному) назначению. Дознанием установлено: в зимних условиях ею чистил снег на палубе боцман, старшина I статьи Чувиллин В. Д. Тогда же ею были нанесены побои боцману, старшине I статьи Чувиллину В. Д. А 08 марта пожарная лопата использовалась на демонстрации для несения на ее лотке портрета женского исторического лица.

Вывод. Ввиду окончательной поломки лопаты — заводской № 15 256 (корабельный № 5) — признать дальнейшее ее использование для боевых и пожарных нужд невозможным. Стоимость шанцевого инструмента списать за счет боцмана, старшины I статьи Чувиллина В. Д.

Для определения стоимости лопаты (черенок, тулейка, наступ, лоток) создать комиссию в составе 3 (трех) офицеров, включая начальника медико-санитарной службы старшего лейтенанта Захарова А. Б.

Поверяющий: капитан-лейтенант
Дударкин - Крылов Н. Д.

*Порт Архангельск.
борт «СС-4138»,
Июля 08 дня 1953 г.»*

С автором этого секретного документа я и собираюсь познакомиться вас ближе.

1

Все вышли в экспедицию,
(считая и меня),
Сова, и Ру, и Кролик,
И вся его семья.

Винни-Пух

«16 ИЮНЯ 1953 г. СССР. СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ.
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ.

Тов. лейтенант, на Ваше письмо от 09.06.53 г. сообщаю, что оснований для перевода Вас на Тихоокеанский флот нет. В дальнейшем по вопросу прохождения службы прошу обращаться по команде в соответствии со ст. 5 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Союза ССР. ВРИО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ СФ КАПИТАН II РАНГА ЕВСЕЕВ».

Самый не освещенный пока в мировой прессе период моей жизни (из-за врожденной скромности) — военная служба на Северном флоте.

Есть срок давности. Прошло больше тридцати лет. Можно кое-что вспомнить. Я служил на военных спасателях, но серьезные аварии случаются редко. И главная работа — буксировка или судоподъем, то есть извлечение из морских глубин затонувшего железа.

Безнадёжно скучно было летом. Стоишь в какой-нибудь удаленной от цивилизации бухточке на якоре. Без связи с берегом. За бортами десятки понтонов — ржавые железные бегемоты, опутанные пуповинами воздушных шлангов.

Под килем когда-то погибшее судно.

О том, кому на этом судне не повезло, не думаешь.

Работают водолазы и такелажники, а ты занимаешься боевой и политической подготовкой. То есть объясняешь матросам про дубовые лесополосы и коварство академика Марра. А матросы у тебя настырно интересуются причиной самоубийства Маяковского: «Это правда, товарищ лейтенант, что он венериком был?»

Коли я уж так с ходу расхристался, то объясню все-таки, почему написал тогда письмо в кадры Северного флота с просьбой о переводе на Камчатку.

Конечно, кромешная скука от теоретических занятий с матросами и монотонность судоподъемных работ свою роль сыграли, но истинные причины были серьезнее.

Поднимали мы австралийский транспорт «Алкао-Кадет» возле мыса Мишуков. В сорок втором году австралиец затонул, получив прямо в дымовую трубу полутонную немецкую бомбу.

Поднимали его трудно. Транспорт хотел покоя и не желал возникать обратно на свет божий из тишины и мягкого сумрака морской могилы.

Наконец все-таки наступил волнительный и торжест-

венный момент продувки понтонов. И из бурлящих вод, обросший водорослями, занесенный илом, в гейзерах воды и струях травящегося из понтонов воздуха возник потревоженный от вечного сна пароход — огромное морское чудо-юдо. Защелкали фотоаппараты, заорали «ура», вскинули над головами чепчики, — матросики летом на Севере именно чепчики носят. Выждали положенные мгновения и полезли на утопленника за чем-нибудь полезеньким. Спасение на водах всенепременно связано с таким постыдным фактом — такое было, есть и будет. Ибо спасателям извечно кажется, что они имеют чистой воды моральное право «на некоторое количество сувениров» — так скажем для приличия.

Я пробрался в штурманскую рубку транспорта. И обнаружил среди ржавого железа какие-то черные и мерзко скользкие кипы. Пхнул сапогом одну — она развалилась, и в середине проглянула прилично сохранившаяся бумага. Оказались австралийские навигационные пособия, вахтенные журналы, лоции — слипшиеся, спрессованные тяжестью морской воды, как бы обугленные по краям страницы. Тут я и забыл про то, что хотя любопытство не порок, но все-таки большое свинство. Набил полную пазуху мокрыми документами и вдруг услышал сперва гудок, а потом аварийные тревожные свистки и ощутил под ногами дрожь металлического покойника.

Всех спасателей мгновенно сдуло с этого «Алкао-Кадет».

Хорошо помню, как наш боцман волок на родной спасатель шикарный австралийский стульчак, но вынужден был бросить добычу на полпути.

Под брюхом транспорта начали рваться-лопаться понтонные полотенца, на которых он висел.

Минуту или две «Алкао-Кадет» полусонно чесал в затылке, затем вздохнул и нормально булькнул обратно в могилу, оставив за собой такую бурунную воронку, что в нее затянуло рабочую шлюпку. А звук австралийский транспорт издал пострашнее и уж во всяком случае громче того, с которым сыпется земля на гробы братских сухопутных могил.

Еще минут тридцать над затонувшим гигантом вылетали из воды четырехсоттонные понтоны, наполненные воздухом. К счастью, ни один из них не вмазал в днище нашего корабля. Если бы такое произошло, то поднимать с грунта возле мыса Мишуков пришлось бы уже два парохода.

Когда все утихло, я занялся разборкой, как говорят в романах, «немых свидетелей» жизни и работы австралийских моряков: записные книжки штурманов, карты Ямайки и «рапорты об атаках за июль 1942 года».

Потом разложил свою бумажную добычу сохнуть на световом люке машинного отделения, нимало не заботясь о том, что ее кто-нибудь сопрет: кому нужны мокрые, грязные, в ржавчине бумажки? Да еще на английском языке! Я-то в те времена пытался его учить и любопытные австралийские документы могли бы стимулировать усидчивость.

Но вышло вовсе нелепо и неожиданно. Бумажки попали на глаза одному бдительному товарищу. На «рапортах об атаках» он обнаружил английское слово «секретери». Меня кое-куда вызвали и дали такую взбучку, что до сих пор икается. Оказывается, я должен был все эти документы немедленно сдать в соответствующий отдел.

Среди десятилетней давности австралийских секретов бдительные товарищи обнаружили и бумажку с русским текстом, которая принадлежала лично мне и попала туда случайно. Вот ее текст: «Только рабство создало возможность более широкого разделения труда между земледелием и промышленностью. Благодаря рабству произошел расцвет древнегреческого мира, без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства не было бы и Рима. А без основания, заложенного Грецией и Римом, не было бы также и современной Европы. В этом смысле мы имеем право сказать, что без античного рабства не было бы и современного социализма».

Такой текст показался некоторым начальникам подозрительно-загадочным. Пришлось долго доказывать, что автор не я, а Фридрих Энгельс. Такие уж были времена и нравы, что интерес офицера к произведениям классиков, мягко говоря, не поощрялся.

Вот и решил, что лучше будет, если я сменю скатерть, то есть сменю место службы с европейского Севера на азиатскую Камчатку.

За обращение с письмом к высокому начальству не по команде я получил добавочную взбучку от командира корабля капитана III ранга Зосимы Семеновича Рашева и продолжал тянуть ляжку на вторичном подъеме «Алкао-Кадет».

Однако ничего на этом свете не проходит бесследно.

26 июня 1953 года меня катером сняли с корабля

и привезли в штаб части, где я получил командировочное предписание:

«УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СЕВЕРНОГО ФЛОТА. 30 ИЮНЯ 1953 г. С получением сего предлагаю Вам отправиться в г. Энск для выполнения специального задания в распоряжение кап. I ранга Рабиновича Я. Б. Срок командировки 01 дней, с 30 июня по 01 июля 1953 г. Об отбытии донести. Основание: мое распоряжение. Для проезда выданы требования на перевозку, за № ф. 1, № 142 002. Начальник АСС СФ кап. I ранга Б л и н о в».

Блинов мне нравился, и, кажется, я ему тоже. Сейчас вспоминаю, как он пришел ко мне в каюту, — капитан I ранга, аварийно-спасательный цезарь и падишах. И вот этот падишах заглянул в каюту к мальчишке-лейтенанту, чтобы поинтересоваться, как я себя чувствую в самостоятельной роли на корабле после училища и не слишком ли мне грустно.

Вроде бы мелочь, а не забывается.

Блинов сделал тогда замечание. Вернее, дал дружеский совет. Я был назначен на «Вайгач» временно — на один месяц, ибо вообще-то был утвержден на другой корабль, который находился в море на спасении. И потому в каюте, куда поселился, никакого уюта наводить не стал.

— Почему, лейтенант, у вас нет на столе фотографий? — спросил Блинов. — Где фото вашей девушки или если ее нет, то мамы?

Я объяснил, что нахожусь здесь временно.

А он объяснил мне, что моряк должен быть дома в любой каюте и на любом корабле, ибо каюта офицера это не казарма, где люди отслуживают свой срок. И каюту следует обживать сразу, тем более что собрать в нужный момент чемодан — дело нехитрое.

И этому правилу я следовал потом неукоснительно.

За одним исключением: фотографию любимой девушки никогда не ставил на стол и не вешал на переборку. Не хотелось, чтобы ее кто-нибудь посторонний разглядывал. Ну, а мама терпеть не могла фотографироваться и никогда фотографий не дарила. Она вручила мне — офицеру и члену партии — миниатюрную иконку покровителя всех моряков Николая Чудотворца. И наказала никогда с ней в морях не расставаться. И нынче эта иконка плавает со мной, хотя и побаиваешься то бдительного таможенника, а то и собственного первого помощника.

30 июня 1953 года я убыл для выполнения специального задания бесплэцкартным вагоном из Мурманска, имея с собой портфель, в котором был бритвенный прибор, пара белья и подшивка старых «Огоньков», украденных с какого-то катера. Убыл, одетый во все летнее, без продаттестата, без денежного аттестата, без шинели, не сдав никому дела, имущество и обязанности.

Анекдотический срок выполнения специального задания — одни сутки — объяснялся тем, что на месте мне следовало сразу же явиться на некий спасатель¹, заступить в должность штурмана и перегнать кораблик вокруг Кольского полуострова в родные пенаты. А командировочные деньги флотскому офицеру полагаются только за время пребывания на суше.

Со мной вместе ехал капитан-лейтенант, старше меня всего года на два, шатен с густой шевелюрой, высокого роста, жилистый и подвижной, глаза стальные, в правом на радужной оболочке — кусочек черного. Раньше я с ним никогда не встречался.

Когда оформляли документы, капитан-лейтенант вызывающе безмятежно напевал лихую песенку американских моряков с союзных конвоев:

Вызвал Джеймса адмирал,
Джеймс Кеннеди!
Вы не трус, как я слышал,
Джеймс Кеннеди!
Ценный груз доверен вам,
Джеймс Кеннеди!
В СССР свезти друзьям,
Джеймс Кеннеди...

На тот момент отношения с бывшими союзниками очередной раз были аховыми, песенки их были не в моде, и я как-то неуклюже, но все же попробовал намекнуть об этом капитан-лейтенанту.

— Эту бравую песню написал Соломон Фогельсон, — сказал капитан-лейтенант. — Он еще автор стихов для музыкальной комедии советского композитора Соловьева-Седого «Подвески королевы». Теперь ты успокоился?

Я успокоился, но выпучил глаза, ибо мы десять лет распевали эту песню, твердо веруя в ее американское происхождение.

¹ Эти суденышки в дальнейшем я буду обозначать «СС» — спасательные суда. (На чем только военным морякам в те послевоенные годы не приходилось плавать!)

Вещей у капитан-лейтенанта было побольше, чем у меня: и чемодан, и шинель, а в кармане шинели затрепаный соблазнительный томик с «ятями».

Мы сидели друг против друга на жестких полках; поезд уносил в глубины Кольского полуострова, и надо было знакомиться. Для затравки я спросил у капитан-лейтенанта про старинную книжку в кармане его шинели. Обратился, конечно, на «вы» и, кажется, даже начав с уставного: «Разрешите обратиться, товарищ капитан-лейтенант?»

— Брось, зови меня Колей. Можешь даже на «ты». Фамилию запомнишь сразу: Дударкин-Крылов. Я правнук дедушки Крылова. Про лебедя, рака и щуку еще не забыл на службе? Прабаушка служила у баснописца кухаркой, а старик любил пошалить между баснями,— и капитан-лейтенант залился в приступе почти беззвучного смеха. А передохнув, закончил:— Пушкина-то хоть знаешь, лейтенант? «Собравшись в дорогу; вместо пирогов и телятины я хотел запастись книгою...»— и опять беззвучно засмеялся.

Своим тихим и лукавым весельем нравился мне Дударкин-Крылов с каждой минутой больше и больше.

Его книжка оказалась мемуарами графа Витте — довольно странная литература во глубине кольских руд. Каплёй (так для экономии звуков на флотах называют капитан-лейтенантов) заметил мой интерес к произведению графа Полусахалинского и подмигнул тем глазом, где была у него черненькая отметина.

— Слушай, лейтенант, сейчас внимательно. С намеком буду говорить. Когда Витте ехал в Америку подписывать мирный договор с японцами, то задержался на денек в Париже. Там в одном кафе-шантане президент Французской республики сказал ему, что России, вероятно, придется выплатить Японии контрибуцию — и в астрономическом масштабе, ибо война проиграна совершенно гениально. Витте хладнокровно ответил, что за все время существования Российской империя никогда никому контрибуций не платила и платить не будет. На это французский президент заметил, что, к сожалению, бывают мерзкие ситуации, при которых и такое делать приходится. Например, им, французам, пришлось раскошелиться, когда боши подошли к Парижу. «Ну, вот,— ответил Витте,— и мы контрибуцию заплатим, когда самураи подойдут к Москве». Так вот, есть у меня, лейтенант, странное предчувствие, что нам с тобой предстоит пройти тот самый

путь, который японцы не прошли. Правда, в обратном направлении.

— В каком году вы окончили училище и какое?— спросил я.

— Еще раз «вы» скажешь — не дам Витте читать. А демократизм мой проистекает из одного сказочного приключения. Назовем его «Золотая Рыбка», а эпиграфом возьмем: «Все по блату, все не так, вот где истый кавардак!» Училище закончил в прошлом году, артиллерист.

— И уже капитан-лейтенант?

— Сам до сих пор удивляюсь,— сказал Коля и рассказал следующее, время от времени заливаясь беззвучным хохотом.

Коренной москвич. Первый после училища офицерский отпуск проводил дома в столице. Где-то на Арбате из моряцкой солидарности высвободил из лап сухопутного патруля какого-то заблудшего старшину второй статьи. Когда опасность для старшины миновала, тот спросил у новоиспеченного офицера фамилию и название флота, на котором Дударкину-Крылову предстояло служить. Затем, вежливо попрощавшись, заблудший старшина второй статьи загадочно сказал: «Дударкин, сегодня ты выпустил на свободу Золотую Рыбку!»

Назначен был правнук кухарки дедушки Крылова на гадчайшую должность — командиром мелкого зенитного подразделения эскадренного миноносца. На военно-морском языке — «командир пульно-вздульной группы»: масса подчиненного личного состава, то есть масса неприятностей за каждого загулявшего на берегу матросика и никакой реальной возможности эффектно продемонстрировать начальству свои таланты. За полгода получил десятков взысканий. После чего приказом Главкома ему было досрочно присвоено звание старшего лейтенанта. Поудивлялись, пообмывали, начальство продолжало лепить Коле взыскания еще щедрее. А через полгода приходит приказ о присвоении ему звания капитан-лейтенанта, хотя даже должность-то его такому званию не соответствовала. Тут уж не только начальство озадачилось и обозлилось, но и корешки стали отчуждаться — блатует парень без стыда и совести. Дударкин и сам не рад, и чувствует себя в ирреальности, от которой с ума сходят: нет у него нигде никакого блата и никакой руки. Бах! Получает письмо, подписанное «Золотая Рыбка». Заблудший старшина пишет из столицы, что, к сожалению, присвоить Коле капитана третьего ранга пока не может, так как это

уже старший офицерский состав, а он, старшина, сидит в Москве писарем ВМС на младшем офицерском составе и вставить фамилию Дударкина в списки очередного представления пока невозможно; но не все потеряно; и когда его, старшину, переведут за хорошую службу на старший офицерский состав, то он обещает довести Дударкина до капитана первого ранга за оптимально минимальный срок.

Приказы Главкома, как известно, не обсуждаются, исполняются беспрекословно, точно и в срок. И Дударкину подыскали должность, соответствующую званию.

— Отправили меня на «бессрочное исправление», как выразился кадровик, — сквозь беззвучный смех и посверливая меня не улыбочивыми стальными глазами, продолжал каплей рассказывать, — на плавбазу «Тютюнск» издания одна тысяча девятьсот пятого года, знаешь такую?

— Нет, — сказал я, ибо на Северном флоте такой плавбазы не было и нет. И, кроме того, я все никак не мог уловить: врет все это каплей или нет. Очень было правдоподобно, но и фантастично.

— Плохо, что не знаешь, лейтенант! Знаменитая база. Она простояла без движения восемь лет. И вот, с величайшими предосторожностями и бесконечными докладами о готовности к любому бою и походу, разрешили нам самостоятельное плавание — пять верст до девиационного полигона. И мы туда дошли! Правда, не обошлось без досадных мелочей. Так, например, у нас вдруг сама собой выпала сорокапукалка, то есть, как понимаешь, сорокапятимиллиметровая зенитная пушка. Стрельнула она, когда какой-то разгильдяй начал возле нее прикуривать и черкнул спичку, а боевой патрон в пушчонке, оказывается, оставался еще со времен Отечественной — забыли его тогда обратно вытащить. От удивления, что наша захеленная уже восемь мирных лет сорокапукалка вдруг взяла да и выпала по береговому посту СНИС, где вахтенные сигнальщики играли в козла, мы, командиры, немного растерялись, и дальше плавбаза начала действовать самостоятельно. Врубила полный ход и понеслась с девиационного полигона в Баренцево море. Когда мы проносились мимо навигационного буйа, командир Гришка Бубенец наконец пришел в себя и молодецки скомандовал, чтобы буй зацепить и стать на него, как на рейдовую якорную бочку. Плавбаза зацепила буй и потащила его за шею, как гуся с колхозного рынка. В этот момент из океанского плавания вернулся крейсер, на борту которого

находился комфлота. Вот эта встреча нам была уже совершенно лишней. В результате я и еду с тобой на какие-то диковинные плавсредства в порт Энск.

Дальше рассказывать Коля не смог, так как впал в очередной припадок беззвучного хохота, показав тем самым, что не является настоящим юмористом. Ибо последние, как широко известно, никогда над смешным не смеются, а, как правило, плачут.

— У тебя жена есть? — поинтересовался я.

— А! Тебя небось первая любовь мучает и лирика типа:

Лейтенант молодой и красивый
Край родной на заре покидал,
Были волны спокойны в заливе,
И над морем луч солнца сиял...

Такая лирика меня мучила, но я не собирался в этом признаваться.

— Лирики впереди не будет. Только если на уровне «Приди, приди, мой милый, с дубовой, пробивною силой!» А жена есть, люблю ее. Сыну четыре с половиной. Как-то заболел, подлец, и говорит мне: «Ты у нас балаболка». А потом: «Я устал от тебя жить!» Женился еще на третьем курсе. А после того как мы на «Тютюнске» чуть не гробанулись, супруга ужасно испугалась, что без алиментов останется. И теперь, кажется, меня тоже полюбила. Ученая, работает в почтовом ящике. После многолетних исследований они открыли воду в арбузе. Но оказывается, вода бывает сорока разных видов. И Сталинскую премию им пока придержали. Сейчас супруга уточняет, какая именно вода в арбузе. А должность мою на отряде назовем для темности так: «Военный советник». Теперь, если тебе, лейтенант, про меня все ясно, давай спать.

Ранним дождливым утром мы высадились на безлюдной станции Энской и зашлепали по грязи искать свои кораблики.

Стояли они тесной грудой в глухом уголке порта.

Шесть новеньких «СС», которых пригнали сюда с Балтики Беломоро-Балтийским каналом. Я пошел на № 4138, а правнук дедушки Крылова — на № 4139.

У трапа вахтенного не было. Я поднялся на палубу, прошел в надстройку и несколько раз крикнул: «Ау! Ау! Ау!»

Никто не откликнулся. Я поблагодарил бога за то, что знаю расположение судовых помещений, ибо именно подобный кораблик мы спасали полгода назад и я нормально на нем тонул, вцепившись в бортовой отличительный огонь.

Дверь командирской каюты была заперта. Я постучал. В двери щелкнул замок, потом она распахнулась, и на пороге возник мужчина в нижнем белье, с пистолетом «ТТ» в руке. Это оказался капитан-лейтенант Мерцалов, с которым мы были шапочно знакомы по совместной службе в отдельном дивизионе Аварийно-спасательной службы.

Я доложил, что назначен на «СС-4138» штурманом.

— Вам в предписании к кому приказано явиться?— спросил командир, пряча пистолет под подушку.

— К капитану первого ранга флаг-штурману Рабиновичу, товарищ командир!

— Вот к Рабиновичу и являйся, а потом стань на вахту к трапу, а то временные экипажи уехали, и я здесь одну кукую. Какая-то сволочь уже пожарную лопату сперла.

Якова Борисовича Рабиновича, который в данный момент проживает в Ленинграде, руководит Обществом книголюбов, является владельцем лучшей в СССР личной морской библиотеки и всегда готов подтвердить каждое слово в этом рассказе, я нашел на флагманской «СС-4132».

Никогда и нигде больше не встречал флотского офицера с такой шикарной, адмиральской макаровской бородой. Нервно дернув себя за адмиральскую бороду, флаг-штурман спросил:

— Лейтенант, вы на своем корабле уже были?

— Так точно, был.

— Ну и, гм... как там Мерцалов? В полную сиську?

— Никак нет, товарищ капитан первого ранга! Как стеклышко! Только на борту нет ни одного матроса и потому одну пожарную лопату уже украли!

— Вы здесь плавали, лейтенант?— поинтересовался каперанг.

— Никак нет. Первый раз увижу Белое море и Онежский залив!

— Гм,— сказал Рабинович и задумался, посасывая клочок своей адмиральской бороды.— Но на спасении рыболовного траулера «Пикша» в Кильдинской салме это вы были в должности штурмана?

— Так точно!

— Ну, я вас помню, помню еще на аварийной барже, когда она пыхнула голубым дымком... Это могло быть?

— Так точно!

Рабинович решительно выплюнул кончик бороды и сказал:

— Отправляйтесь на свой корабль. И постарайтесь ничему из того, что с вами может в ближайшем будущем случиться, не удивляться. Можете идти!

В малюсенькой, с иллюминатором над самой водой, темной и сырой каютке штурмана на «СС-4138» я, свято исполняя приказ-совет начальника АСС Блинова, сразу навел марафет и уют, повесив над столом вырванную из старого «Огонька» «Данаю» Рембрандта. Затем перешвырял в иллюминатор, в близкую воду, пустые лимонадные бутылки, оставшиеся от предыдущего хозяина каюты. Забортная вода была так близко, что бутылки и не плюхали.

Через час пришел Коля Дударкин и сквозь беззвучный смех сообщил, что я уже не штурман, а помощник командира «СС-4138».

Я ему не поверил и пошел к Мерцалову. Тот прорычал, что это действительно факт, а не реклама.

Я взял портфель с бритвенным прибором, парой белья и зубной щеткой и перебрался в каюту помощника, которая была расположена выше и выглядела повеселее. Там, свято исполняя приказ-наказ Блинова, навел уют, повесив над койкой «Маху раздетую» Гойи и перекидав за борт энное количество пустых бутылок из-под боржоми. Бутылки плюхали в мутную воду довольно гулко. Я добавил к ним целый ящик каких-то лекарств, которые оставались от бывшего хозяина, и задумался о том, что следует делать помощнику командира, если никакого экипажа на корабле нет?

Камбуз, естественно, тоже не работал, а жрать хотелось уже ужасно. Когда хочется жрать, лучший выход — спать. И я прилег на койку, любуясь на «Маху раздетую».

Через часок опять пришел Дударкин-Крылов и под большим секретом сообщил, что поплывем мы вовсе не в Мурманск, а в Порт-Артур и вернемся к родным пенатам не раньше, нежели через несколько месяцев, если вообще вернемся: есть слушок, что всех нас оста-

вят служить на Дальнем Востоке. Пока я пытался осмыслить услышанное, Коля добавил, что пришел приказ о назначении меня уже старшим помощником командира «СС-4138».

— Ты меня, подлец, начинаешь догонять: я до старпома год лез! — заметил Дударкин-Крылов.

И я понял, что, несмотря на смешки, говорит он и на сей раз правду.

И, свято исполняя приказ-наказ капитана I ранга Блинова, перебрался в каюту старпома, где навел уют, повесив на переборке «Бой при Синопе» Айвазовского и выбросив в иллюминатор энное количество пустых бутылок из-под кефира. Звуча от их падения в каюте старпома уже почти и не было слышно.

Коля оставил мне мемуары Витте, банку тресковой печени, пачку печенья и ушел. (По приказу ВМС № 58 от 30 июня 1949 года офицеры на Севере получали ежемесячно добпаек: 1200 граммов сливочного масла, 600 граммов печенья и 300 граммов рыбных консервов.)

Ночь я спал беспокойно.

Утром вызвал командир. Лик у Мерцалова тоже был утомленный. Командир сказал, что видел разные там Порт-Артуры и Дальние Востоки в гробу, что он не мальчишка, что у него трехстороннее воспаление легких, что он не такой дурак, как кое-кто в кадрах думает, что он выезжает в Североморск в Штаб флота, а пока есть приказ мне принять от него командование.

И я поставил автограф на следующем уникальном документе, копия которого сейчас перед моими глазами:

«02 июля 1953 года.

Порт Энск

АКТ

Нижеподписавшийся командир «СС-4138» капитан-лейтенант Мерцалов В. Н. по приказанию нач-ка АСС СФ капитана I ранга Блинова сдал корабль лейтенанту Коцецкому В. В.

Техническое состояние корабля хорошее. С кораблем сдано все полностью имущество согласно ведомостей снабжения и приемочного акта от 14.06.1953 г. от перегонной команды, за исключением пожарной лопаты.

Шхиперское имущество, полученное в Ленинграде, на

корабле полностью. Акт от 29.06.53 г. № 155 с картами и книгами тоже сдан.

Сдал: кап.-л-т Мерцалов.
Принял: л-т Конецкий».

Сочинял всю эту чушь я, а не Мерцалов, ибо по причине трехстороннего воспаления легких он был в таком состоянии, что и расписался-то с трудом.

Но вот не помню: упомянул ли я пожарную лопату со скрытым черным юмором или на полном серьезе? Кажется, без всякого юмора. Когда принимаешь на лейтенантские плечи корабль водоизмещением 318 тонн, длиной 38 метров, мощность двигателя 400 сил, средняя осадка 2,5 метра, ширина 5 метров, скорость на полном ходу 10,5 узла, и когда ты до этого командовал лишь шестивесельными шлюпками, то юмор улетучивается.

Мерцалов тщательно спрятал во внутренний карман кителя акт с моим автографом и ушел на поезд.

Я перебрался в каюту командира и, тщательно исполняя приказ-наказ... ничего я исполнять не стал. Командирская каюта и так была шикарная — шагов десять по диагонали, ковер! Полог на койке! Шторы из темно-вишневого панбархата!

2

Вся наша экспедиция
Весь день бродила по лесу.
Искала экспедиция
Везде дорогу к полюсу.

Винни-Пух

На спасатель с полдороги был возвращен балтийский экипаж, который перегонял корабль в Энкс. С одной стороны, это было мое счастье и спасение — офицеры, матросы, мотористы уже знали корабль. С другой стороны, эти люди были обозлены донельзя: вместо питерских и кронштадтских родных квартир им предстояло идти на Дальний Восток. К тому же все офицеры были старше меня, командира, по званию. Старпом был старшим лейтенантом, а механик даже инженер-капитаном третьего ранга.

Вечером флагман великой армады капитан второго ранга Морянцева, мужчина маленький, но решительный, собрал комсостав на совещание.

Этакий своеобразный совет в Филях.

Морянцев объявил, что на подготовку к выходу в море нам дается десять часов. В 07.00 третьего июля мы снимаемся на Архангельск, где будет происходить дальнейшая подготовка к переходу через Арктику на ТОФ. Всякая связь с берегом прекращается. За употребление на корабле спиртных напитков — трибунал. Командиры кораблей сейчас же получают личное оружие. Никаких писем домой о нашем маршруте быть не должно.

На кителе Морянцева были колодки боевых орденов во вполне достаточном количестве.

Решительность командира — великолепная штука. Сразу сжались кулаки и челюсти — раз такое дело, пройдем и Арктику, и Тихий океан!

— Вам, лейтенант Конецкий, обеспечивающим назначая капитан-лейтенанта Дударкина-Крылова. До Архангельска вы пойдете головными. Одновременно, по представлению капитана первого ранга Рабиновича, ваш корабль назначается настоящим аварийно-спасательным на время всего перехода на Дальний Восток.

Я получил тяжеленный «ТТ» с полной обоймой патронов, расписался за него, затянул пояс потуже и почувствовал себя Нельсоном перед Трафальгаром. Коля засунул пистолет в чемоданчик. И мы с ним вышли в белые сумерки северной ночи.

На причале поджидал флаг-штурман Рабинович.

— Гм, Виктор Викторович, — сказал Яков Борисович и зачем-то надел очки. Может быть, затем, чтобы я лучше видел его насмешливые глаза. — Какие у вас есть поручения в штаб АСС?

Я попросил ускорить высылку продовольственного и денежного аттестатов.

— Обязательно, — пообещал Яков Борисович, наматывая на указательный палец клок макаровской бороды. — Счастливого плавания, товарищи офицеры. В душе я вам завидую. И вашей молодости, и предстоящему вам делу.

Замечательный миг моей жизни. В душе, сердце и печенке все пело:

Лейтенант, не забудь,
Уходя в дальний путь,
По морям проплывая вперед...

Дударкин шагал рядом довольно угрюмо. Наконец сказал:

— Слушай, ты, конечно, свершил карьеру, которая даже мне не снилась, но...

— И без всяких Золотых Рыбок, Коля!— не удержался я.

— Между нами, девочками, Витя, у этих корабликов обшивка толщиной в ноготь, а к арктическим льдам они имеют такое же отношение, как я к турецкому султану,— заметил Дударкин.

Какая мелочь! Я не испытывал никаких страхов, готов был схватить за шкирку Полярную звезду и перекинуть ее из Малой Медведицы в Южный Крест.

— Мне не нравится твое жеребьяче настроение. Морянцев, конечно, боевой мужик, но неужели ты не понимаешь, зачем и почему он поставил тебя главным на переходе в Архангельск?

— Ну, поставил и поставил...

Он объездил заморские страны,
Совершая свой дальний поход,
Переплыл все моря-океаны,
Видел пальмы и северный лед..

— Вся армада — балтийцы, а мы — североморцы. Только ты и я — североморцы. Балтфлот списал сюда тех, от кого желал избавиться. Они все обозлены перспективой службы на ДВК.

— Ну и черт с ними!..

И не раз он у женщин прелестных
Мог остаться навеки в плену,
Но шептал ему голос невесты...

— На наших лайбах допотопные механические лаги да паршивые магнитные компасы — и это все, Витенька. А здесь и летом такие туманы, что их ножом режь. Если мы, головные, обыкновенно и нормально подсядем на какую-нибудь баночку, то следующие за нами в кильватер brave балтийцы на меляку уже не сядут. Товарищ Морянцев шлепнет якорь и будет смотреть интересное кино: как твой «СС-4138» сидит на меляке и какие действия предпринимает во спасение... И вообще, понимаешь ли, кто толком не знает, в какую гавань плывет, для того нет попутного ветра. Эту сентенцию не я изрек. Это изрек Сенека. Когда я своими словами пересказал древнего философа Морянцеву, он так обозлился, что откусил мне пуговицу на мундире. Учись, молодой и краси-

вый лейтенант, в некоторых случаях любить ближнего только пока он далеко...

Конечно, все это не дословно, но холодок ледяного душа, пролившегося тогда на мою восторженную душу, и сейчас ощущаю.

Есть азбучная истина: пока ты какой-то там помощник командира, собственный корабль кажется тебе маленьким, прямо-таки ничтожно маленьким по сравнению с разными там лайнерами или танкерами и ты за него, малютку, стесняешься. Но как только вознесло на мостик в роли командира, так сразу замухрышка роковым образом начинает увеличиваться в размерах. И у тебя руки дрожат со страху, и ты абсолютно не можешь понять, как это раньше твой гигант умещался у развалюхи причальчика?

Мне было двадцать четыре года и двадцать восемь дней, когда я поднялся в рубку и кораблик под моими ногами стремительно начал удлиняться и расширяться — точь-в-точь дирижабль, который надувают газом на стапеле. Но, к сожалению, взлететь кораблик никуда не мог — он был рожден плавать, а не летать.

В глазах у меня десятерилось, и — ужас какой! — я осип. Надо: «Отдать кормовые!», а я хриплю: «О-о-о! ...ые!»

— Эй, пираты! — заорал правнук кухарки дедушки Крылова. — Слушайте сюда! Отходим на носовом шпринге! Отдать кормовые! А вы, товарищ командир, будьте любезны, если вас, конечно, не затруднит, пихните, когда доложат, что корма чиста, вот эту штучку на самый малый вперед! Штучка, кстати говоря, рукояткой машинного телеграфа называется — это-то вы еще не позабыли?.. Право на борт! Товарищ командир, если вас не затруднит, поставьте ручечку обратно на стоп, а теперь чуток назад ее пихните! Так! Очень хорошо, ребята! Отдать носовой! Товарищ командир! Разрешите доложить, что мы на данный момент куда-то поехали, но не забывайте, пожалуйста, что мы пока задним ходом едем... Стоп машина! Малый вперед! Цель в дырку из бухточки!

И мы поплыли.

Никаких вам гирокомпасов, радиопеленгаторов, радаров. Никаких прогнозов погоды на факсимильных картах. Ну, и, кроме Луны, тогда у Земли еще не было никаких других навигационных спутников.

Только мы вышли в залив, как флагман Морянцева вызвал меня по УКВ и сообщил, что у них на борту лишний матрос, и матрос этот принадлежит мне, и потому надо всем лечь в дрейф, а я должен подойти к нему, Морянцеву, и забрать этого чертового матроса к едрене фене. Фамилия матроса была Мухуддинов. Он был знатный чабан где-то в альпийских лугах, имел орден Красного Знамени за трудовую доблесть и смертельно ссорился с боцманом Чувилиным В. Д., который недвусмысленно пообещал спихнуть знаменитого чабана за борт, как только мы окажемся на достаточно глубоком месте. Такая перспектива Мухуддинова не устраивала, и он с моего судна удрал на флагманское.

Естественно, Морянецв еще поинтересовался тем, как, почему и каким образом я умудрился не проверить перед выходом в море наличие на борту экипажа.

— Давай, Витя, швартуйся к нему сам, — сказал Коля. — Начинай привыкать.

Итак, первая в жизни швартовка. И не к причалу, а к другому кораблю на открытой воде. Правда, штиль был мертвый, но все равно другой корабль — это вам не твердый неподвижный причал. И я крепко поцеловал Морянцева левой скулой в правую.

— Без тебя, Витька, я умру, а с тобой тем более! — одобрил маневр Коля, покатываясь в очередном приступе беззвучного смеха.

Знаменитого чабана перекинули к нам на борт, и я довольно удачно отскочил от Морянцева полным задним...

Белая ночь — будь она трижды неладна! В белые ночи маяки не горят, и опознать их по световым характеристикам: проблесковый, группо-проблесковый и так далее — нет возможности. Надо маяки знать визуально или сравнивать натуру с рисунком лоции, а ракурс лоцманских изображений вечно не тот...

О! Сколько пота я стянул со лба в эти белые волны! И как занятно сейчас — пожилому и умудренному — рассматривать «Записную книжку штурмана» тех времен, которую я вел согласно правилам штурманской службы, но не совсем по правилам.

На первом развороте:

«Строй кильватера, дистанция между кораблями 2 кабельтова».

«Обязательно прочитать «Огни» Чехова, 1888 г.».

«Веер перистых облаков и усиление зыби указывают на приближение шторма».

«В Тихом океане странная медно-красная окраска неба после заката и увеличивающаяся продолжительность су-мерек — признак урагана».

«У Жижгинского маяка могут встретиться плоты в большом количестве — обязательно выставить впередсмотрящего».

«Рандеву, если все растеряются в тумане,— Куйский рейд».

На следующей странице, сразу после строгих «ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ШТУРМАНА», где указано: «З. К. Ш. является официальным служебным документом, по которому можно в любой момент проверить, откуда получены данные, послужившие для тех или иных расчетов»,— следует такая моя официальная запись: «Лицо — серое, как истрепанная обложка книги. В конце рассказа он напьется».

Дальше идут уже серьезные расчеты.

До Архангельска доплыли нормально и отшвартовались в Соломбале.

«Соломбала, 15.07.1953 г. Здорово, дорогие ребята! Я все-таки гремлю в направлении Камчатки. Ледовые прогнозы хорошие. Вообще настроение бодрое, но отсутствие шинели и кальсон немного угнетает мой флотский дух.

Сейчас принимаем на пароход годовые запасы продуктов и пр. Бедлам грандиозный...

Что умоляю сделать? В мой майдан уложить вещи, перечисленные на обороте. Майдан зачехлить, отвезти на вокзал и сдать проводнице какого-нибудь поезда, который идет из Мурманска в Архангельск. Проводнице объяснить, что по прибытии я ее встречу и она получит семьдесят пять рублей за перевозку чемодана и шинели. Фамилию и номер проводницы записать — для устрашения.

Ребята, сделайте это в день получения письма! Иначе мне хана.

Перечень шмоток: логарифмическая линейка (в центральном ящике каютного стола), справочники штурмана малого плавания, стаканчик для бритья, «Этюды по за-

падному искусству» Алпатова и свисток (обязательно!). Он висит на иллюминаторе за занавеской. Все остальное барахло, особенно: кортик, облигации, оружейную карточку, книги — уложите в ящике над моей койкой и закройте на ключ. Пакет с тетрадями и письмами заверните получше и тоже уберите куда-нибудь подальше от глаз начальства.

Сообщите, пожалуйста, за кем числятся мои альпаковые штаны, канадка и сапоги. Не помню, за кораблем они или за мной? Свитер, который входит в этот спасательный комплект, будет возвращен, если я сам когда-нибудь вернусь.

Привет командиру, всем нашим матросикам. Спасайте меня, SOS! Жду телеграмму о высылке вещей.

Виктор».

«Уважаемая Любовь Дмитриевна! Здравствуйте!

Насчет Вашего сына могу сообщить, что в июле он находился в Архангельске. Дальнейшее пребывание его пока неизвестно. Куда, зачем, на чем он пойдет, тоже неизвестно. Если что узнаю, обязательно сообщу. Вы не беспокойтесь, все будет хорошо и в конце 1953 года он будет у вас дома.

ВРИО командира в/ч. Ст. л-т Басаргин».

Не думаю, чтобы это письмо сильно вдохновило мать и улучшило ее настроение, ибо как раз в те времена выяснилось, что комната, в которой я проживал в Ленинграде, оказывается, нам не принадлежит и ее изымают; ибо с апреля 1942 года (момента эвакуации из блокадного Ленинграда) я нигде никогда не был прописан.

«15 июля 1953 г.

Порт Архангельск

А К Т

Сего числа нами: капитаном-наставником Арктического пароходства капитаном Северного Мор. Пути 2 ранга Панфиловым, штурманом экспедиции капитаном 3 класса Мироновым, начальником Военно-Морской инспекции капитаном 3 ранга Терезниковым произведен осмотр кораблей отряда на предмет их перехода в Арктику.

Комиссия считает необходимым произвести следующие работы для обеспечения перехода: 1. На всех единицах

изготовить и завести носовые браги из стального троса.
2. На аварийно-спасательном судне № 4138 (мое!! — В. К.) иметь стальной буксирный трос длиной 250—300 метров, заведенный через траловые роульсы на лебедку.
3. Произвести корпусные работы по заварке иллюминаторов ниже главной палубы...»

Старомодность ощущаете? Давным-давно уже нет никаких «Капитанов Сев. Мор. Пути 2 ранга», нет и «Капитанов 3 класса».

Арктика только осталась прежней.

И вот я крутился среди браг, буксирных тросов и сварщиков, ибо командовал аварийно-спасательным кораблем! И гордыня распирала меня, и я сворачивал горы. Игра стоила свеч!

Горы я сворачивал до 28 июля — черный день, в который на корабль прибыл капитан III ранга Кравец с приказанием мне сдать, а ему принять «СС-4138». Таким образом, я сваливался обратно в замухристые штурмана. (Кравца выкопали аж на Черноморском флоте. Это был унылый тип с душой из растопыренных пальцев и солидным брюшком. И с этим типом мне пришлось идти первый раз в жизни в Арктику.)

В тот же черный день убывал из отряда капитан-лейтенант Дударкин-Крылов Н. Д. Он летел в Порт-Артур для подготовки там нашей встречи.

Два удара одновременно — какое зияющее сиротство!

На прощание он подарил мне книжку Витте, и мы обнялись за штабелем солембальских досок, и я сказал Коле, что полюбил его как брата.

— А я тебя обожаю, как ласточку, улетающую осенью! — заверил меня правнук кухарки дедушки Крылова.

В Порт-Артур мы не дошли — сдали корабль во Владивостоке.

Последующие два года меня так швыряло на пространных от Дальнего Востока до Северного моря и от Северного моря до Петропавловска-на-Камчатке, что книжку Витте я, конечно, потерял. Однако фантастические секретные рапорты на мое имя Коли Дударкина сохранились.

«С о в.
с е к р е т н о.

Бывшему командиру «СС-4138»
лейтенанту Конецкому В. В.
Капитан-лейтенанта Дударкина Н. Д.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Настоящим доношу до Вашего сведения, что секундомер 1931 года выпуска № 11 522 475 бис 4 потерял способность использоваться по назначению.

28 июля 1953 года стоявшим на вахте мною, капитан-лейтенантом Дударкиным, было совершено действие, повлекшее к непреднамеренной утрате секундомера № 11 522 475 бис 4. Дата последней проверки — май 1936 года. Суточный ход секундомера — в соответствии с амплитудой килевой качки.

В 14 часов 00 минут местного времени я навел цейсовский бинокль на стоявших на причале в порту Архангельск женщин приблизительно 1930 года рождения. Одна была ничего, но, показывая в сторону нашего корабля тупым предметом, нецензурно смеялась. Возмущенный таким ее поведением и длительным воздержанием, уже будучи на боевой службе в море в течение четырех дней, я совершил резкое движение вместе с биноклем, которое и привело к выпадению из кительного кармана измерительного прибора, который упал за борт, но в двух метрах от воды остановился, так как был мною привязан к шнурку, что согласовано с приказом начальника ГО СССР.

Между прочим, бинокль тоже упал за борт и утонул, но, поскольку он за кораблем не числится, списанию не подлежит. Попытка же извлечь секундомер за веревочку из-за борта не удалась, так как за него ухватился прыгнувший за биноклем матрос Курва Ф. Ф. и неумышленно оборвал его. Это привело к еще большему наклону моего тела, и из него (из кителя) в воду выпало:

1. Грузиков для карт — 08 штук.
2. Транспортиров — 02 штуки.
3. Звездный глобус.

Все это имущество я держал при себе, так как в сумку вахтенного офицера оно уже не влезало.

Спасая матроса Курву Ф. Ф., за борт пытался броситься боцман, старшина I статьи Чувилин В. Д. и при этом сбил проходившего мимо с пробой обеда матроса Мухуддинова. С подноса Мухуддинова за борт упало:

1. Чайный сервиз.

2. Вина тарного — 14 бутылок.
3. Столовая мелочь — 08 наименований.

Вся команда, сгрудившись на борту, создала опасный крен, что отрицательно повлияло на запасную мотопомпу. Мотопомпа сломала бак с десятью килограммами спиртаректификата. От спирта, попавшего в ЗИП, вышли из строя:

1. Молотки разные — 25 штук.
2. Кусачки-бородавки — 0,8 штук.

Часы морские в металлическом корпусе упали на морские карты, и все это высыпалось на палубу и далее в ватервейс.

Судьба всех предметов аналогична судьбе секундомера.

Для спасения матроса Курвы Ф. Ф. за борт было выброшено несколько брезентовых рубах. Плавая на этом номенклатурном гидрографическом имуществе, ввиду отсутствия спасательного круга, матрос Курва Ф. Ф. свою футлярию полностью оправдал и все вещи утопил.

На основании изложенного прошу вышеуказанное имущество списать за государственный счет с лицевого счета нашей воинской части, а на виновных наложить различные взыскания, особенно на Курву Ф. Ф. ...

Счастливого плавания, Витя!»

Вероятно, за всю жизнь Чехов пошутил неудачно единожды. Послал издателю Марксу телеграмму с обещанием прожить не более восьмидесяти лет, а по договору гонорар за новые произведения Чехова постоянно возрастал и через сорок лет должен был составить около 2000 рублей за лист. Посчитав, что при благоприятных условиях писатель может строчить 30—50 листов в год, и помножив 2000 на 50, Маркс откинул лапти в глубоком обмороке. Впоследствии выяснилось, что шок Маркса проистекал из чьих-то шептываний, что в обычае русских писателей под конец своей деятельности сходить с ума и выпускать «переписку с друзьями» или переделывать Евангелие в таком роде, что цензура может запретить не только поданное произведение, но и самого подавателя.

Если бы не тот факт, что «переписку» издал Гоголь, баловался с Евангелием Толстой, а так опасно пошутил Чехов, то я бы все это дело отнес до себя и стал опасаться за здоровье директора издательства, ибо собираюсь рано или поздно напечатать даже свою переписку с правительством.

Переписывался я с Председателем Совета Министров СССР.

Дело шло о желании демобилизоваться из рядов Военно-Морских Сил. К 1955 году я твердо решил, что никаких войн в ближайшее столетие не ожидается, а тянуть военную лямку под безоблачным, мирным небом — занятие бессмысленное.

И Председатель Совета Министров СССР пошел мне навстречу — приказом министра обороны СССР я был уволен в запас ВМС.

Из этого следует, что уже в возрасте неполных двадцати шести лет я умел глаголом прожигать сердца очень даже высокопоставленных читателей.

МЕМОАРЫ ВОЕННОГО СОВЕТНИКА

Все время мучает ощущение, что я ДОЛЖЕН. Что должен, кому — не очень-то ясно, но от этого не легче.

Ну, вот возьмем однокашников по Военно-морскому подготовительному училищу. Кого ни встретишь, обязательно вопрос: почему не написал о Подготиин? Встречаешь адмирала: почему не пишешь о военном флоте? Объясняешь, что писать о современном флоте — мука мученическая: замучает спецредактор. Не верят ребята, обижаются: зазнался! оторвался! замкнулся!

А ведь многие из однокашников действительно наделали героических дел и вывели наш военный флот в открытые океаны планеты.

Нижеследующее посвящаю своему первому командиру отделения — старшему матросу Володе Тимашову.

Для нас, салаг, служилые были кошмарным бедствием, ибо законы в училище были законами бурсы.

Володя Тимашов оказался исключением.

Он, например, никогда не щекотал нас засушенной кроличьей лапкой за ухом, когда ты стоишь в строю по команде «смирно» и не имеешь права ни шелохнуться, ни прыснуть, ни прошипеть чего-нибудь.

Засушенной лапкой кролика терроризировал нас старослужащий матрос Володька Желдин. Потом он стал главным тренером сборной СССР по баскетболу. Женской сборной! И я видел его по ТВ, когда наши мастодонтские

девицы взяли золото на Московской олимпиаде. Вернее будет сказать не «наши», а Желдина девицы. Он, кстати, у любой из питомиц между ног пройдет, не пригибая головы.

Тренерские и юмористические способности Желдин развивал на нас: «Ты вот! Будешь бегать от меня до следующего столба! И обратно!» Или: «А ты вот! Будешь ползать по-пластунски от забора до обеда!»

Да, куда только не заносит моряков на суше!

Точно замечено, что флот всегда отличался тем, что, будучи невыносим для людей определенного вида, выталкивая их из себя, успеваает, однако, дать им нечто такое; что потом помогает людям стать заметными на другом поприще, как бы оно далеко от флота ни отстояло. Ведь дальше женской баскетбольной сборной от флота разве что сайгаки в Каракумах...

Так вот, даже будучи командиром отделения, к которому я имел честь принадлежать, Володя Тимашов подчиненных кроличьей лапкой не щекотал. Потому и захотелось сейчас его вспомнить.

В июне 79-го года для лечения пародонтоза мне назначили курс дыхания кислородом под давлением. Десять сеансов по часу.

Старинные связи привели на кафедру физиологии аварийно-спасательных работ при соответствующей Клинике — есть и такое заведение в Ленинграде. Клиника находится в старинном здании, от которого пахнет Петром Великим. Стены толщиной в метр, модели прославившихся в боях кораблей; лекари в больших чинах — из-под халатов прорисовываются погоны, обязательные черные галстуки — и строги до лютости.

Любимой прической врача-майора, когда он закручивал винтовой стопор входного люка барокамеры, была: «Опоздавшим — кость!» Так что являться на процедуру приходилось с временным запасом.

Возле флигеля, где располагалась кафедра физиологии аварийно-спасательных работ, ранним утром клиентов встречали лаем десятка два подопытных собак, которые, как и в космос, шли в барокамерах первыми в чудовищные глубины океанов. Утром псов выводили из вольеров и привязывали к забору — так сказать, на физзарядку.

Здесь, возле лающих, радующихся утру и цепной прогулке собак, мы перекуривали, хотя, конечно, курить перед кислородным мероприятием запрещено.

Собаки были самые разнообразные — выловленные в городе бродяги. Хотя над ними ставили глубоководные опыты, выглядели псы хорошо; угнетенных среди них не было. И потому лай, и суета, и всякие собачьи безобразия радовали наши души. Привязывали псов с таким расчетом, чтобы они не покусали друг друга, — как на далеком острове Вайгач. И вспоминался Вайгач, и остров Жохова, и пес-аквалангист Анчар, с которым когда-то встречали Новый год у набережной Лейтенанта Шмидта на «Нерее». Анчар сидел на цепи возле барокамеры. Неужели я когда-то был в кабинете капитана Кусто и разглядывал модель «Нерея» на его столе?.. Промелькнувшая жизнь — зияющее прошлое... Вот я и докатился до патетической литературщины: «промелькнувшая жизнь», «зияющее прошлое»!..

Когда вместо шприца, зонда, скальпеля видишь барокамеру, снятую с обыкновенного аварийно-спасательного корабля, то есть сооружение для убеждения водолазов от кессонной болезни, это вызывает положительные эмоции. Некоторые штатские товарищи по первому разу проникают в барокамеру не без опасений. Но я в свое время провел в ней много часов, и многое забытое освежалось в памяти, когда перелезал круглый комингс, усаживался на клеенчатую койку, слышал скрип стопоров входного люка, потом утробный шипящий гул воздуха, накачиваемого в камеру компрессором, и глядел на манометр — дышать кислородом надо под давлением в одну избыточную атмосферу. Когда эта атмосфера накапливалась, снаружи следовала команда майора: «Надеть маски». Конечно, скучно сидеть целый час и ничего не делать — только дышать, глядя, как в такт дыханию опадает и вздувается мешок с кислородом. Но голова свежая, кажется, что с каждым глотком кислорода хвори слабеют и скоро ты станешь пионером или даже октябренок...

Ну, как вы, вероятно, догадались, здесь я и встретил правнука дедушки Крылова. Но узнали мы друг друга только на третьем сеансе.

Сидит напротив в камере мужчина и умудряется читать книгу, даже имея на физиономии кислородную маску. Я как-то попробовал последовать его примеру, взял с собой чтиво, но ничего не получилось — полутьма, да и стекла у маски мутные.

Заинтересовался мужчиной, спрашиваю: что, мол, вас так увлекает, какой такой детектив?

— Пушкина детектив,— говорит.— Вместо пирогов и телятины. Жевать-то с резиной на морде еще пока не научился.

— Едрить твою мать!— восклицаю российское приветствие, обнаружив еще в его правом глазу черную запятую.— Коля!

А он все меня не узнает — двадцать шесть лет прошло. Тут необходимо еще то объяснить, что военно-морские лекари прописали мне кислород под давлением только после того, как выломали передний зубной мост. И смахивал я на бабушку Ягу, а не на лейтенанта, который, молодой и красивый, край родной на заре покидал.

Ну, а Коля был не амбулаторным, а штатным больным этого заведения — госпитальные штаны короче воробьиного носа, куртка длиннее фрака — знакомая любому нашему страдальцу клоунская больничная униформа.

Принято говорить «седой как лунь». Но, во-первых, я не знаю, что такое «лунь». Во-вторых, от «луни» веет уже настоящей старостью, а нам недавно перевалило за полсотни. В-третьих, Коля имеет хотя и абсолютно седую, но густую и красивую шевелюру.

— Белое море, «СС-4138», мемуары Витте?! Помнишь?

— А, Витёк,— говорит он без всякого оживления или видимой радости.— Пойдем в садик, посидим возле морга, там уютное местечко есть — среди старых лип.

— Такая встреча!— говорю.— А ты даже и не удивляешься!

— А чего удивляться? Если бы я тебя в абортарии встретил, то удивился, а тут — полная закономерность,— и наконец-то залился своим беззвучным смехом.

— У тебя что?— спрашиваю, как все больные на свете.

— А, так, пустяки — ИШБ. А у тебя?

— Пасть. Пovyпадали зубки.

— Ну, здесь тебе живенько вшибут новые на старые места по штатному расписанию, если, конечно, блат есть. Читал я твои писания, читал, прости, только все это душистая вода, легкий аромат с модной яблочной нотой или мыло туалетное ГОСТ восемнадцать дробь триста двадцать шесть дробь семьдесят восемь, парфюмерно-косметический комбинат «Северное сияние». Пользуешься после бритья «Яблоневым цветом»?

— Нет.

— Шесть рублей жалко? Вот тут и сядем. Куришь?

— «Космос».

— Ну, давай я туда вместе с тобой слетаю. Свои в палате забыл.

Мы присели в прелестном уголке, в глухой пустынности, на каменные ступеньки под доской с пожарным инвентарем. В секторе нашего обзора было шестнадцать лип, их ветви изящно склонялись, напоминая покатостью женские аристократические плечи. Среди клинических лип рос один дуб. Здесь было так безлюдно, что даже какая-то пчелка жужжала. И порхала над густой травой бабочка-капустница.

— Адмирал?— спросил я.

— Откуда догадался?

— А физиономия у тебя какая-то бабская. Я иногда замечаю, что у некоторых адмиралов часто почему-то так получается. От сидячей жизни, наверное, от малодвижения.

— Ну, движения мне хватало, а контр-адмирала получил при отставке. И ни разу орлов не надевал. Н-да, Витя, великие писали ямбом, хореем, амфибрахией и другими антабусами, а ты для своей белиберды изобрел вовсе новый стиль — гамус.

— Коля, брось ты мои писания. Надоели критики до смерти.

— А если я сам пишу?

— Что?— с ужасом поинтересовался я, ибо отставные флотоводцы заваливают бредовыми мемуарами.

— Мемуары.

— Н-да. Что, делать нечего? Сам-то еще служишь где-нибудь?

— Не служу, и делать, действительно, нечего.

— Ну, если твои мемуары такие же серьезные, как рапорты о пожарной лопате, то дай почитать. Если нет, лучше не надо.

— Увы, Витя, серьезные.

— А хоть помнишь свой двадцать два замечания по пожарной лопате на «СС-4138»?

— Что-то помню.

— Я их сохранил.

— Если будешь публиковать, отметь, что при повторной проверке лопаты мною, отставным контр-адмиралом Дударкиным-Крыловым, было обнаружено еще двадцать два замечания.

— Хорошо, Коля, отмечу.

— Могу подарить еще штук шестнадцать замечаний

по дефектам пожарного лома. Этого вот,— он ткнул пальцем в пожарную доску над нами.— Тиснешь в «Труде». А мемуары у меня здесь. Взглянешь?

— О чем хоть они, Коля?

— Об израильско-египетской драке.

— Ты там был?

— Мед-пиво пил.

— Неси,— сказал я.— Только при зрителях, под взглядом живого автора читать не буду. Возьму домой.

Он принес. И с души моей упал камень, ибо было в мемуарах страничек десять.

— В таком случае, адмирал, можешь сидеть здесь и наблюдать за выражением моего лица. Вытерплю,— сказал я.— Но лучше все-таки читай своего Пушкина: про пироги и телятину.

«Первый раз смерть прошла рядом не в море, а на суше, когда он на джипе добирался к месту службы. Машину атаковал истребитель, все выскочили и залегли. И Советник подумал:

«Я боевой командир, а лежу вверх задом, уткнув рожу в песок, и боюсь поднять голову. Что получается?»

Он поднял голову и увидел точку над шоссе. Она увеличивалась стремительно и беззвучно. Истребитель опережал грохот своих пушек и пулеметов.

Спутники лежали тоже, уткнувшись лицами в пустыню.

Пустыня перехлестывала кое-где шоссе песочными языками-зализами, как снеговые заструги — гладкие льдины в Арктике. Снаряды дырявили песок и покрытие шоссе. Одиноко торчал на пустынном шоссе джип с распахнутыми дверцами. Всплески разрывов не дошли метров двадцать.

Самолет исчез.

— Кажется, он улетел,— сказал Советник.— И кажется, я все-таки поглядел ему в лоб, ребята.

Спутники зашевелились.

Все были целы.

Песок шуршал тихо, умиротворенно, по-приречному. Вдали просматривалось море. Шоссе было очень черное, шершавое и прямое.

Когда долго нет сильного ветра, песок в пустыне делается коричневатым — обгорает на солнце.

Потом-то он много видел разной смерти. И трупы египетских пехотинцев с касками на лицах. И трупы разведчиков и минеров, которые пошли опознавать тела погиб-

ших товарищей. Их обязательно требовалось опознать, потому что семьям погибших полагалась пенсия, а семьям пропавших без вести она не полагалась. И египтяне тщательно опознавали убитых. И на его глазах разведчики сняли каску с головы убитого и взлетели на воздух вместе с трупом. Под каской израильтяне оставили мину-сюрприз. Израильтяне знали, что арабы будут опознавать убитых.

После разведчиков опознавать пошли саперы. Двое саперов, правда, тоже подорвались. Мины были заложены с дьявольской хитростью.

Потом он видел смерть морячков с тральщика, погибших в бурунах среди кораллов, — объединенные акулами тела. На стыке Суэцкого и Акабского заливов акул хватает. Особенно между Курдагой и Шармшейком.

Накануне Советник был на тральщике — принимали задачу. Задача была отработана прилично, на боевых постах был порядок, оружие египтяне держали в хорошем состоянии, и даже в кубриках и галюнах было вполне прилично.

Тральщик дрался до последнего, но его зенитки не доставали четырех тысяч метров, на которых кружили, сменяя друг друга, французские «Миражи» и американские «Скайхоки». Берег не смог прикрыть тральщика. Корабль продержался около часа. Самолеты атаковали бомбами и «нурсами», но не очень удачно: кораблик даже успел сняться с якоря и пытался маневрировать по маленькой бухточке за островами Гевтон.

Первые месяцы он служил на берегу. Приходилось заниматься малознакомым делом: налаживать круговую оборону базы. Тут оказалось, что никто из египтян толком стрелковым оружием не владеет. Это были матросы с подводных лодок. Позиции вокруг базы считались десантно-опасными, то есть передним краем. Отводить людей, чтобы отстрелять их на стрельбище, было нельзя. Даже четверть личного состава не имела права покидать окопы. Тогда он придумал поставить мишени прямо перед окопами. Уже через неделю люди стреляли из автоматов Калашникова вполне прилично.

После окончания рабочего дня советники, переводчики и два египтянина — шофер и вестовой — ехали ночевать в гостиницу. Гостиница в мирные времена была предназначена для богатых туристов-молодоженов. Теперь там не жил никто.

Гостиница стояла на берегу моря, которое, как и вече-

реющее небо, было синим до терпкости. Один переводчик оказался украинцем, варил борщ из капусты, которую покупали на местном рынке. Потом пили кофе, слушали «Маяк», затем валились спать, каждый раз ожидая визита неприятельских командос. Советникам не полагалось никакого оружия. Если не считать оружием противогаз и каску. Очень не хотелось угодить в плен прямо из гостиницы для новобрачных. И потом привычному человеку без оружия как-то неприятно и голо.

Скоро обнаружилось, что оба араба — и шофер, и вестовой — ночью из номеров исчезают. Они от греха подальше залезали на крышу гостиницы и прятались там под баками для нагрева солнцем душевой воды. Оружие арабы на крышу не брали. И можно было с чистой совестью укладывать рядом с собой в кровать для новобрачных автоматы. Купили еще ножи. Двери баррикадировали диванами. Джип ставили с тыла под окна. И так спали. Потом наладилась связь с танкистами. Подполковник — отличный парень из Каира — сообщил, что хотя все машины выработали моторесурсы, а ЗИП не подвозят, но два танка в норме. Танкисты обещали, что если случится заваруха, то морячкам надо продержаться час, — а через час танкисты их выручат. Это было приятно знать.

Очень красиво было море и небо из окон гостиницы для новобрачных. Купальни пустые, заброшенные, и прибой на коралловых рифах.

Как-то ему показалось, что снова налет. Вдоль улицы под тенью глинобитных домиков промчался сгусток уплотненного воздуха. Он прижался к ближайшей стенке, подумал, что уже вырабатывается автоматизм реакции. Осторожно выглянул, ожидая грохота разрывов. Но увидел двух лохматых египетских коз. Козы жевали бумажные пакеты из-под апельсинов. Они убежали бы, если бы действительно началась бомбежка. Почудилось. Это просто дохнуло море коротким шквалом, ветряная струя ударила сквозь узкую улочку, заголила редкие пальмы, взметнула редкую шерсть лохматых коз...

И вот потом снилась, уже дома, уже на мирной земле, эта сценка. Опять и опять чудилось приближение «Фантома», опять и опять он прижимался к теплой, шелушащейся стене египетского домишки, выглядывал из-за угла и видел лохматых коз, жующих серую бумагу.

Трижды он просился в разведку на катерах, в рейс на десантном корабле, в дозор на тральщике, но трижды старший Советник не разрешал, говоря, что они здесь не для того, чтобы показывать свой героизм: они здесь, чтобы помогать в оперативных вопросах, а не в тактических глупостях.

Затем он был наконец послан к своему дивизиону эскадренных миноносцев. Дивизиона, правда, не оказалось. Два из трех эскадренных миноносцев еще только должны были подойти на базу.

Эсминец стоял на якоре. Под бортом эсминца стоял ракетный катер и принимал топливо. Близко лежал в дрейфе еще катер и десантный корабль.

— Отгоняй их от борта! — сказал Советник подсоветному командиру корабля. — И запиши в журнал, что я тебе советую отогнать катера. Они горят хуже спичек, коллега.

— Сейчас они уходят, — сказал командир. — Уже шевелятся. Видите, мистер Николай, они отдают концы.

Действительно, катер командира звена заканчивал принимать топливо. А сам командир звена торчал у себя в рубке и демонстративно не глядел в сторону Советника. Командир был старшим лейтенантом, по-нашему — три звездочки, а по-египетскому — капитан-лейтенант. Бог знает откуда старлей происходил и где учился военноморским наукам. Но неприязнь к советникам демонстрировал последовательно. Вообще-то катерники на всех флотах мира отличаются вздорным характером и обожают бунтовать против любого твердо установленного порядка. Все катерники в этом похожи. Неписаное правило еще с времен торпедных катеров, когда требовалось мужество особого качества — хулиганское, наглое, беспардонное: лезть на скорлупке, которую можно ногтем раздавить, прямо в пасть главному калибру хоть эсминца, хоть крейсера.

Катер отходил, переваливаясь легким корпусом на слабой зыби. Она хлюпала у него под днищем довольно добродушно. У катерников с зыбью особые отношения. Кто из военных моряков, кроме катерников, так с зыбями близок? Кто с ними на одной ноге? Никто, пожалуй...

К счастью, на катере не было боезапаса.

Он отошел не дальше кабельтова, когда прямо в него угодила ракета. Кораблик приподнялся над водой, как сормовские «метеоры», переломился в воздухе, и Советник увидел египетского нахального старшего лейтенанта.

Взрывной волной того смахнуло с рубки, и командир звена катеров мелькнул на фоне желтого далекого берега. Он летел с раскинутыми руками, распятый на гребне взрывной волны.

Ракета из той же серии упала по левому борту эсминца метрах в ста. Советник отпрыгнул за броню носовой башни и присел на корточки. Тяжелый водопад густосоленой и теплой воды обрушился на эсминец. «Почему не было оповещения? Что смотрят радары дальнего обнаружения? Что творится! Потеряли корабль!»

Советник бежал на мостик, не бежал — прыгал сквозь трапы.

В боевой рубке еще никого не было, душный воздух под раскаленным на солнце металлом. Советник вдавил палец в кнопку колоколов громкого боя: «Боевая тревога!» И сразу поверх его пальца сунулся темный палец командира эсминца. И они в два пальца давили на ревуны, а бомбы поднимали столбы воды со всех сторон старого корабля.

Командиры боевых частей четко докладывали о готовности к бою. И командир корабля, и его подчиненные пока вели себя отлично. Это по видимости. А проверить, что они докладывают и соответствуют ли их доклады действительности, было невозможно.

Переводчик Славка появился рядом. Он был в каске, ремешок туго подтягивал к каске толстый подбородок.

Восемь «Фантомов» атаковали старый, времен прошлой войны, английский эсминец, а берег пролопушил и все еще не открывал огонь.

Получился не бой, а расстрел. Но они все-таки отбивались двадцать семь минут. Корабль прыгал, и кренился, и мотался от взрывов, и главное было — удержаться за что-нибудь. Один раз Советник отпустил пиллорус, в который вцепился раньше, и сразу его так шарахнуло о сталь, что это показалось страшнее осколка в голову.

На двадцать седьмой минуте выпал перерыв. Советник сам рассчитал возможное время атаки «Фантомами». Он знал расстояние до их аэдрома. И рассчитал длительность атаки, исходя из количества горючего, затрат на взлет, полет, бомбежку, возврат и посадку: получилось около тридцати минут. И он даже немного удивился точности своих расчетов, когда на двадцать седьмой минуте выпала вдруг пауза. И тогда оценил себя со стороны, решил, что держался хорошо, и отметил, что командир эсминца тоже молодец, только иногда репетовал его, Со-

ветника, команды-советы не по-арабски, а прямо повторял по-русски.

В минутном перерыве между двумя атаками у Советника возникло острейшее, нестерпимое желание закурить. Но закурить он не успел.

— Слава! Репетуй его команды хотя бы по-английски, когда он забывается и орет по-русски! — сказал Советник переводчику. — Особенно в машину, командиру БЧ-V. Механик хоть что-то по-английски поймет, а по-русски-то полная чепуха получается!

И здесь опрокинулись все его расчеты. Опять посыпались бомбы и взвыли «нурсы».

Осколки перебили паровые магистрали, и корабль окутался горячим паром.

Зенитные орудия были снабжены электронаводкой. Когда перебивало кабеля, матросы поднимали стволы орудий плечами.

Корабль начал крениться на левый борт. Орудия правого борта задирались на этом крене и продолжали вести огонь, хотя куда они вели огонь — понятно не было.

Якорь-цепь оборвало, и корабль подрейфовал в море, когда «нурс» прошел эсминец под первой башней. «Нурс» взорвался под килем. Это был конец. Крен на левый борт достиг шестидесяти градусов. Эсминец выглядел ужасно — весь такелаж, радиоантенны были изорваны и метались в вихрях взрывных волн.

Командир приказал экипажу покинуть корабль.

Покидали без паники.

Советник твердо решил, что уйдет последним — после египетского командира.

Когда уходил, увидел чопы, торчащие из дыр подводной части. «Значит, они боролись за живучесть! — мелькнуло. — Значит, командир БЧ-V докладывал правду...»

С воды раздавались крики. Спасательный плотик запутался фалинем в искореженном железе, и его тянуло за переворачивающимся кораблем. В плотике было человек двадцать.

И тогда Советник побежал по бровке палубы к плотику, чтобы обрезать фалинь. Нож запутался в кармане мокрых штанов, он долго рвал его под аккомпанемент воплей с плотика. И обрезал фалинь. Его звали прыгать. Но он все еще не видел переводчика. Славка не сошел на плотик с командиром эсминца. Тогда где он? И Советник заорал: «Славка, Славка!!»

Это было глупо — орать. Все перекрывал гул воды, заполняющей стальные емкости под ногами, шум пара и лязг срывающегося с палубы металла. Но на его крик из тьмы дверей надстройки, из прямоугольника дверей, почти параллельных воде, показался наконец Славка.

Переводчик не был моряком и заплутал в корабельных шхерах, по которым найти выход, когда стенки стали полом, трудно и для опытного человека.

Спасательных жилетов не было ни у Советника, ни у Славки. Плотик отнесло уже метров на пятьдесят. Советник еще раз оглянулся на задранные орудия первой башни. Людей вроде не оставалось. Оверкиль назрел до самой последней стадии. Это было как нарыв, который лопается не от скальпеля, а от одного только приближения его, от движения воздуха перед острием.

— В воду, Слава! — приказал Советник.

— Плавать не умею! — заорал Слава.

— Марш!

Переводчик плюхнулся за борт. Советник прыгнул за ним, прихватил за волосы и поплыл к плотнику.

Эсминец продолжал лежать на воде. Он — редкий случай — погружался не носом и не кормой, а плашмя, боком.

Спасательный надувной плотик был полон людьми, водой и мазутом. Он был пробит осколками и пускал пузыри. Никто устройства плота не знал. Советник приказал отыскать мех для надува плота. Мех нашли, но не могли найти штуцер. Раненые молились и стонали.

До берега было около двух миль. Плотик дрейфовал в сторону открытого моря.

«Теперь мне все равно, — подумал Советник, — потому что ничем не оправдаешься. Корабль погиб. Потеряли корабль. И мне отвечать. Плохо мне будет. Ох плохо!»

— Ну, если акулы не сожрут, то теперь порядок! — сказал Славка.

— Акулы оглушены взрывами или разбежались от взрывов, — сказал Советник. И вспомнил, что с кораблем уходили на дно документы, фотоаппарат, кинокамера, снятые пленки, деньги и ботинки, которые он успел снять, прежде чем прыгать в воду. «Хорош я буду, явившись в штаб в носках...»

— Для начала, Коля, это просто замечательно, — сказал я даже без всякой паузы. — Попахивает Хемом, но

про смерть и всякие такие африканские страсти у нас никто писать не умеет. А где продолжение?

— Больше ничего не получается.

— Когда это тебя угораздило?

— Шестнадцатого мая семидесятого на рейдовой стоянке Порт-Беренис в заливе Фаул-Бей, Красное море. Египтяне говорили, в этих местах зимовала английская королева в добрые старые времена.

— И как все-таки это произошло?

— Как? Первая атака — четыре «Фантома» по три захода, вторая атака — восемь «Фантомов» по два-три захода.

— Что за посудина?

— Эскадренный миноносец «Кагер», тип «Зет», заложен в сорок втором в Англии, вступил в строй в сорок четвертом.

— Боже! Этот драндулет мог ходить еще в союзных конвоях!

— Тактико-технические данные помнишь?

— Откуда? Я четверть века обхожу все боевые корабли за тридевять миль, а если есть возможность, то и дальше.

Коля ткнул пальцем в рапорт — читай, мол, сам.

«Водоизмещение 2555 тонн, длина 110 метров, ширина 8, осадка 5,2. Самый полный ход — 28 узлов при попутном ветре. Главный калибр — 4 орудия в отдельных башнях, 2 в носу, 2 в корме, 114 миллиметров, максимальный угол возвышения 55°. Два торпедных аппарата, четырехтрубные. Экипаж 22 офицера, 239 старшин и матросов...»

— А что там у вас было из твоей родной пульно-вздульной артиллерии? — все-таки поинтересовался я еще.

— Десятка полтора «Бофорсов».

— Чего это такое?

— Сорокамиллиметровые автоматы. Эсминец стоял в двух милях от берега под прикрытием зенитного артиллерийского полка — три батареи по шесть стволов в каждой, калибр 57 миллиметров.

— На чем стояли? На бочке или якорях?

— У меня же написано. На правом якоре. На клюзе сто метров. Я считал зенитное прикрытие недостаточным и настойчиво требовал установить на ближней береговой косе дополнительную батарею или «стрелы»...

— Что такое «стрелы»?

— Ты сейчас откуда?

— Месяц назад пришел из Антарктиды.

— Я спрашиваю, откуда ты свалился?

— Из барокамеры, где дышал кислородом вместе с тобой.

— Ты действительно дурак или притворяешься?

— Действительно дурак, Коля.

— Этой штукой стреляют с рук вслед самолету, и она догоняет его. Имеются в виду низколетящие самолеты. Если противник знает, что у тебя «стрелы», он уже не пойдет на бреющем.

— Теперь понял. Что-то вроде фаустпатронов?

— Если тебе так нравится. Так вот. Потопили нас накануне того дня, когда у меня была назначена встреча с береговыми артиллеристами для совместного обследования места под добавочную батарею. Ладно, это уже те детали, которые и вспоминать тошно. Ты кораллы в стиральном порошке пробовал вываривать?

— Нет, их следует выдерживать в хлорке.

— Вот этого мы не знали. Красивая штука кораллы. И вообще там много было красивого. Из гостиницы был выход на смотровую площадку — ступеньки к самому морю, видны прибрежные лагуны — разного цвета, в зависимости от цвета кораллов и водорослей. Такие зеленые иногда, как наши зеленя, а с другой стороны по горизонту красные горы. По синему небу — очень четкая кромка красных гор. А при луне, ночью — горы там и ночью видны, — какая красота! И вся долина Нила — мы из Кены питьевую воду в канистрах возили — тоже красота дивная. А с крыши гостиницы остров Шакер просматривался. Это на него ездили трупы опознавать. А за ним, за Шакером, южная оконечность Синайского полуострова. Там база израильская была Шармшейк. Правда, потом меня перебросили в Сафаджу — пыль, песок, маленький порт. Там английская база была, и англичане, когда уходили, ее взорвали.

— Коля, теперь постарайся рассказать мне все более или менее последовательно.

— В конце апреля эскадренный миноносец «Кагер» прибыл в Беренис из Бомбея, где проходил докование и ремонт с декабря прошлого года. Кораблю было приказано отработать первую задачу до конца мая в условиях рейдовой стоянки. Ну, что такое полгода ремонта в мирном, нейтральном порту, не тебе объяснять. Конечно, личный состав значительно утратил боевые навыки. Я в Александрии был, когда они в Беренис пришли. Пришли и в первую же ночь на родном рейде взорвались. На верх-

ней палубе возле кормового торпедного аппарата у них была устроена стальная выгородка-кранец, где хранился запас взрыв-пакетов для отпугивания диверсантов-аквалангистов. Ну, знаешь, от сигареты запаливают фитиль и время от времени кидают за борт.

— А!— обрадовался я.— Капитан третьего ранга Креббс? Крейсер «Орджоникидзе» на рейде Портсмута? Лето пятьдесят четвертого?

— Молодец. Возьми конфетку. Вот весь этот запас у них и шарахнул. Но, к счастью, в торпедных аппаратах не было торпед. Иначе мне так и не пришлось бы повоевать. Вырвало кусок палубы и повредило гидравлику рулевого управления. Плюс всего четыре покойника. Вообще, должен сказать, на войне как-то мало убивают. На тральце у Курдаги всего шесть человек погибло.

— Слушай, но ведь в семидесятом войны между Египтом и Израилем вроде бы не было,— сказал я, вспомнив рейсы на Сирию и Ливан в шестьдесят девятом году.

— Потому мы, советские советники, там и были, что войны не было. В случае официального начала боевых действий мы должны были немедленно покинуть страну. «ТЩ» израильтяне потопили в отместку за диверсию египтян. А «Кагер»— тут история длиннее. Еще в шестьдесят седьмом египтяне потопили однотипный израильский эскадренный миноносец «Яффе». Тогда израильтяне поклялись отплатить тем же. Вот и отплатили.

— Все-таки что дальше-то с вами было?

— Дальше у меня только черновик рапорта,— сказал Коля и сунул мне пачку замусоленных бумажек с карандашным текстом.

Я вылупил на них глаза, потому что покрыты они были массой условных обозначений, формулами и сокращениями.

— Тут и Крачковский с Шумовским не разберется,— сказал я.— Читай сам.

— Пролет авиации противника к месту базирования кораблей в Беренисе происходил по трассе пролета международной гражданской авиации. Заход в атаку на корабль произведен внезапно, со стороны солнца, из-за отрогов гор. Это одной парой «Фантомов». И заход второй пары на контркурсах с другого борта через малый, две-три минуты, промежуток времени. Вторая атака производилась с барражирования по эллипсам на высоте шесть-семь тысяч метров, выход поочередно парами с интервалами

двадцать-тридцать секунд, с крутого пикирования со стороны солнца. Сбрасывание бомб и пуски «нурсов» производились с высот четыре-пять тысяч метров. Бомбометание производилось с высокой точностью — отклонение от центра корабля на десять — восемьдесят метров. Отрыв бомб и звуки от них не слышны. Хорошо виден выход авиации из пикирования. Вой «нурсов» слышен хорошо, но с запозданием. Точность «нурсов» хорошая. Слышимость работы авиации затрудняется из-за огня своей артиллерии. Наблюдению за атакующими самолетами мешает яркое солнце с отсветами от поднятого ветром песка и потоки воды от взрывов бомб, которые заливают глаза и оптику.

— Пару слов о командире, Коля. Где он учился? Если ты не устал.

— Тридцать четыре года. Мальчишка замечательный. Знаешь, он плакал. Когда над эсминцем вспучило последний пузырь, и — тишина над морем — нет корабля. Был. И нет. И все звуки куда-то тоже исчезли. Ни стоны, ни крика в этот момент. Он и заплакал. Совсем не ругался. А потом, на берегу, уже когда прощались, вдруг попросил вернуть бинокль. Славка каску-то сбросил, когда мы с ним на задницах к бортовому килю съезжали от фальшборта, а бинокль так и остался у него на шее висеть. И Славка его решил на сувенир зажать. А командир попросил бинокль отдать — ничего больше от корабля для него не осталось. И вот когда взял бинокль, то второй раз заплакал. Ну, что хочешь? Мальчишка.

— Коля, какой же он мальчишка? Нам с тобой в пятьдесят третьем на десять лет меньше было.

— А вообще они юмористы.

— Кто?

— Арабы.

— Вот уж чего не замечал.

— Ну и дурак, если не замечал. Ахмед всего полгода у нас учился. Спрашиваю, как это ты умудрился так хорошо русский понимать? Я, объясняет, в Бомбее всего четыре месяца на ремонте стоял, а уже и на хинди могу лекцию по марксизму прочитать. Надо, говорит, побыстрее с девушками знакомиться. Они балаболки — за один вечер голову по самую ватерлинию словами набивают. Только, говорит, надо УШИ РАЗВЕШИВАТЬ, когда с девушками по набережным гуляешь. Умница. И деликатности необыкновенной. Суеверный только слишком.

— Все моряки суеверны.

— Да, конечно, но у каждой нации свои заскоки. Откуда я мог знать, что на египетские боевые корабли нельзя раковины приносить? Утром этого проклятого дня попросил катер. Поехали на косу Бенас. Купаться. Вода прозрачности необыкновенной. С маской плавал. Набрал пятнистых ракушек. Знаешь, эти — щель такая волнистая, как будто губы улыбаются. Ах какая красота! Маска-то еще увеличивает... Выгружаю улов в каюте. Ахмед заходит. Побелел весь, шепчет: «Кацура!» Это слово у них и матерное, и вроде как проклятие, и вроде нашего «компец», «карачун», «хана». Я сразу ракушки в иллюминатор вышвырнул. Только он успокоился, закурил с ним, воду со льдом пьем. Жара, будь она неладна, африканская. И вдруг кошка заорала. Четыре кошки было — крыс пугали. Орет где-то кошка истошным воплем. Он опять побелел: «Кацура, мистер Николай, беда будет!» А еще пятница — святой день у них, ну, не святой, а молельный. Потому израильтяне по пятницам обычно сурпризы и подбрасывают...

— Большие крысы?

— Среднего такого размера, и не очень наглые. А вот тараканы! Это тебе не наши букашки. Черные, и с полладони. Я их больше мурен боялся. Так вот, орет где-то кошка и вся лавочка. Спустились в кают-компанию обедать. Кошка все орет. Вижу, и командир, и другие офицеры так переживают, что есть не могут. А жратва замечательная — голуби, фаршированные рисом...

— Где же ты все-таки у них юмор обнаруживал?

— Слова умеют обыгрывать. У них много слов, которые произносятся одинаково, а обозначают вовсе разное. Забыл, как такие слова называются.

— Омонимы. Сам их вечно с синонимами путаю. А писание твое для начала просто замечательное, Коля. Не вру. Попахивает, как уже говорил, Хемом, но про смерть и всякое такое у нас никто писать не умеет.

— Чем попахивает?

— Хемингуэем.

— Это можно напечатать?

— Это будет напечатано обязательно, Коля. Рано или поздно. Потому что это правда. А правдивые рукописи не горят.

— В отличие от эсминцев и адмиралов, — сказал правнук кухарки дедушки Крылова и кинул под язык нитроглицерин. — Неужели это можно читать, Витька?

— Еще раз говорю: это хорошо.

— Терпеть не могу, когда в кино большие начальники сосут таблетки,— сказал Коля и кинул себе в пасть еще одну.— Что-то сильно прихватило. Слушай, отведи-ка меня на отделение. Только тихонечко. И пускай мне в задницу поскорее вопьется животворная тонкая сталь...

И я поволок его под аристократической покатостью липовых ветвей.

На этот раз у Дударкина оказался не приступ ИШБ, а банальный инфаркт.

Потому что, увы, все это происходило не в кино. Хотя... хотя если наша жизнь и смерть хоть на что-то в искусстве смахивают, то это только в самых дрянных третьеразрядных фильмах.

ОТХОД

Днем поехал в отдел кадров, взял выписку из приказа о назначении на судно — теплоход «Колымалес».

Штатный капитан — Василий Васильевич Миронов. Познакомился с ним и его женой Марией Петровной в парходском садике. Жена зовет мужа В. В. Так он чаще всего и будет — «В.В.».

Отход на Копенгаген и в Мурманск откладывается на неопределенное время.

В. В. отправил жену домой, а сам почему-то пошел чечевать на судно.

Я проводил Марию Петровну до такси. Она похожа на мужа — крупная, спокойная, негромкая, вздыхает точно-точно как В. В. Сказала мне:

— Что остается у жены моряка от всей жизни? Полиэтиленовый мешок с радиограммами. Желтыми уже. Со всех пароходов. Вот в войну, эвакуированная, в Ярославской области почтальоном работала. Пятнадцать, шестнадцать лет было. Нет, похоронки мне не доверяли, их в сельсовете вручали... Треугольнички носила. И вот — вся жизнь только через радио да письма... Вот сколько знаю жен моряков — все святые! А про плохих я помнить не хочу и говорить не хочу...

Маринисты тоже не хотят говорить о плохих женах моряков, ибо не судите и не судимы будете. Слишком тяжелая, безнадежно сложная штука — прожить женский век

без мужчины. Чтобы за такую тему взяться, для начала надо проштудировать курс физиологии, сексологии и психопатии на половой почве. А где после таких штудий искать жасминную романтику, утренние звезды и Пенелопу?..

А вот в Марии Петровне, вероятно, и искать.

Кристина Хойловская-Лискевич в одиночку обошла на яхте планету, чтобы сказать: «Я не могла бы быть женой моряка».

Теплоход «Колымалес» — лесовоз, построен в 1960 году в Гданьске, Польша. Скорость 14,5 узла, район плавания неограниченный, автономность 36 суток, длина 124 метра, осадка в грузу 7 метров, водоизмещение полное 9915 тонн, мощность двигателя 4500 л. с., дальность плавания 10 440 миль.

Предполагаемая ротация: Ленинград — Копенгаген — Мурманск — Певек (Чукотка) — Игарка — Мурманск.

Как привычно и славно на старом лесовозе с ржавыми бортами и обмятыми шпангоутами. И весь экипаж тридцать три человека. После многолюдства пассажирского лайнера, битком набитого антарктическими зимовщиками, стюардессами, барменшами, официантками, кажется, что попал в мужскую монастырскую обитель.

В. В. на три года меня старше.

Юрий Иванович Ямкин старше на два. Но весь рейс на Антарктиду он заставлял меня играть роль рефлексирующего интеллигента.

На «Колымалесе» никто никакой роли мне, вероятно, навязывать не будет. Кроме той, которая положена по штату.

Не люблю людей с «тяжелым», «волевым» взглядом, «пронзительными» глазами. Знаю, такое вырабатывается иногда без всякого наигрыша у людей ответственных должностей, опасной работы, привыкших командовать. Но знаю и массу подобных людей, нормально обходящихся обыкновенными глазами и взглядом. И мне непонятно, почему, например, мемуаристы, пишущие о Твардовском, считают нужным подчеркнуть его острый, тяжелый, пронизывающий взгляд. Чего в этом хорошего? Ведь мог же

обойтись обыкновенным взглядом Пушкин,— хотя тоже редактором толстого журнала был...

Марина Цветаева — через свое имя — всю жизнь была ушиблена морем. Море — сквозная тема ее раздумий с раннего детства и до смерти. Про капитана Скотта она говорит, что он грел свои предсмертные антарктические дневники т а й н ы м ж а р о м.

Когда-нибудь выпишу все, что Цветаева сказала о море,— никто из самых прославленных маринистов столько не философствовал над водами. И так глубоко и неожиданно!

У штатного капитана «Колымалеса» взгляд человеческий и человечный.

Прежде чем ответить на вопрос, В. В. обыкновенно делает добродушно-коротко-скорбный вздох. Такой вздох очень крупного мужчины удивительно симпатичен. В момент такого своего вздоха капитан Миронов делается детски беззащитным — бери голыми руками. Но я бы этого никому не порекомендовал: кроме того железа, которое сидит в нем в виде осколков немецкой стали, там есть много еще жестких конструкций. Скорее всего и мне не миновать на эти конструкции напороться.

Путиловской закваски паренек. Воспитывался при этом заводе.

Да еще и родился на шпанистом Крестовском острове. Кажется, в мои и его отроческие годы самыми шпанистыми пацанами считались лиговские и крестовские. А гаванская шпана появилась уже позже.

Но слышали бы вы, с какой ласковостью этот прошедший войну и все штормовые моря человек рассказывает о голубях! И я сразу обогатился кое-чем новеньким. Например, что пойманного голубя, даже увезенного за тридевять земель, нельзя выпускать раньше двадцать пятого дня. А потом уже можно — он не удерет, потому что забыл дорогу к родной голубятне.

Про этих птиц разговор зашел потому, что на пути в Ленинград в Северном море на судно сели два голубя — красавцы, аристократы. Устали птички или заблудились. Матросы соорудили им из старой рыболовной сети замечательное жилье на правом борту возле спасательного вельбота.

В первую же ночь после прихода в родной Ленинград грузчики сеть вспороли, голубей украли вместе с мешочком риса, который хранился в специальном металлическом ящичке возле вольера.

Разоренное голубиное жилье выглядит грустно и даже как-то безнадежно. Веет от него неудачей.

В. В. мастерски имитирует прищелкиванья, свисты и подсвисты разных щеглов, дроздов, синиц — темный лес для меня. Умеет он это с детства. Ловил и держал дома птичек до самой войны. А любимого чижа выпустил только в октябре сорок первого. Чиж два дня сидел на ветке за окном и не улетал — был совсем ручным. Держал В. В. и снегирей. Одного невезучего снегиря схарчил кот, и В. В. кота наказал. Я удивился:

— Как возможно наказать кота?

— Вообще-то невозможно, — согласился В. В., — но я все-таки придумал. Очень уж хищный был кот. Я накрыл его медным тазом, в котором бабушка варенье варила. И лупил по тазу палкой. Все это я проделал в той комнате, где у меня жили птички. И после экзекуции кот и близко к той комнате не подходил.

— Может, он оглох?

— А черт его знает.

Потом В. В. по ассоциации вспомнил, что на заводе в котельных цехах, где был страшный грохот от клепки, работало около четырехсот глухонемых — им грохот был до лампочки. Проживали глухонемые рабочие над рестораном «Нарва» — ресторанный шум и музыка им тоже не мешали нормально спать. Но вот дети глухонемых, которые рождаются вполне нормальными, мучались. Это он знает потому, что у рабочих глухонемых служила толмач-переводчица, которая сама была дочерью глухонемых родителей...

Тут буфетчица Нина Михайловна, пожилая, молодящаяся, удивительно некрасивая, принесла капитанское постельное белье и одеяло.

В. В. посмотрел на одеяло недоверчиво:

— Нина Михайловна, я к своему привык, а вы мне вроде не мое стелите.

— Нет, это ваше, Василий Васильевич!

— Да? — недоверчиво тянет В. В. — Мое вроде потемнее было...

— Так теперь его постирали — вот оно и посветлее стало, — вразумительно объясняет Нина Михайловна.

Капитан недоверчиво шупает одеяло и почему-то даже нюхает его:

— Вроде мое, Нина Михайловна, и потолще было, а? Потяжелее?

— Так теперь его постирали, вот оно и полегше стало,— терпеливо объясняет Нина Михайловна.

— Ладно, стелите,— все еще с некоторым сомнением командует В. В.

Возникает начальник радиции Василий Иванович и заводит разговор о том, что его приглашает на шикарный контейнеровоз корешок-капитан, сулит всякие прелести и жаркие страны вместо Арктики.

В. В. внимательно слушает.

И с каждым словом радиста капитанский взгляд делается безмятежнее и человечнее — сей момент даст радисту вольную, но, опять вздохнув, вопрошает:

— Кто лучше вас умеет в Арктике эфир подслушивать? Никто, Василий Иванович, так не умеет. Так что, дорогой, считай, что ты внесен в инвентарную опись теплохода «Колымалес» навечно.

Радист обреченно кивает головой и спрашивает у меня:

— Это вы «Среди мифов и рифов» написали?

Не знаю, тесен ли мир, но то, что океан тесен, не вызывает сомнений, ибо здесь вдруг еще выясняется, что радистка Людмила Ивановна со старика «Челюскинца», которая вырезала из пенопласта зверушек для внука в разгар израильско-египетской войны, учительница нашего нынешнего начальника радиостанции.

Ну, как мне-то в таком случае всю дорогу не поминать прошлые рейсы и прошлые книги, если на каждом шагу встречаешься с прошлым вживе?

Занесенный навечно в инвентарную книгу теплохода «Колымалес» Василий Иванович прощается до завтра, ибо отход откладывается еще на сутки: порт никак не может догрузить судно и раскрепить груз, хотя были взяты самые социалистические из социалистических и самые развитые из развитых обязательства по обработке судов, следующих в Арктику по самым опережающим графикам при всех встречных и поперечных планах.

Около пяти вечера отправляюсь домой.

В пустой кают-компании возле пианино сидит в кресле — уютненько, с ногами,— буфетчица Нина Михайловна. (Я уже знаю, что ее прозвище Мандмузель.) И читает «Королеву Марго»: Подняв глаза от книги и опустив ноги долу, говорит:

— А у нас в Выборге в прачечной двести штук судового белья украли, но прокуратура-дура дела не стала заводить.

— Переживем и это, Нина Михайловна.

— Я просто к тому, что голубей украли и белье — это примета плохая.

— Типун вам на язык.

Объясняю свое служебное положение.

Я дублер основного, штатного капитана, утвержденного на коллегии ММФ именно на такое-то судно. Я отвечаю за судовождение в те часы, которые своим приказом назначит мне Василий Васильевич.

Я имею диплом капитана дальнего плавания и теоретически имею право командовать любым судном в любой акватории Мирового океана. Но не практически, ибо для назначения на утвержденного капитана в заграничное плавание надо пройти курсы, экзамены, проверки, зачеты и оформления.

Короче говоря, я никогда не буду штатным капитаном на торговом флоте.

И правильно.

Море требует от человека жизни. Или отдавай судьбу, или оно не признает. Литература требует того же. Я выбрал второе.

Обратимся к словарю иностранных слов.

«ДУБЛЕР (*фр.*) — 1) тот, кто параллельно с кем-либо выполняет сходную, одинаковую работу; 2) актер, заменяющий основного исполнителя роли в спектакле; 3) киноактер, воспроизводящий речевую часть звукового фильма на другом языке путем перевода, соответствующего слоговой артикуляции действующего лица; 4) лицо, заменяющее киноактера при исполнении сложных номеров или акробатических трюков».

Не удивляйтесь, что в словаре в кучу свалены капитаны и актеры. Судоводители в той или иной степени актеры. Командовать людьми без определенного лицедейства невозможно. Другое дело, что лицедейство на каком-то этапе может незаметно перейти в суть и сделаться неотторжимой маской.

Схожесть судоводителей и актеров еще в том, что ты всегда на виду, ибо ходовой мостик своего рода сцена и на тебя каждую секунду с предельной внимательностью глядят иногда десятки глаз.

Я такой судоводитель, что внимания на взгляды не обращаю, хотя болезненно не люблю, например, сидеть в президиуме или публично выступать. И если на мостике оказывается посторонний человек, то он мешает нормально работать, и я ловлю себя на чем-то актерском в поведении, и цепочка мелких чувствований может привести к крупным ошибкам. Думаю, такое свойственно не только мне, но и большинству людей, ежели они не профессиональные артисты. Отсюда категорическое правило: на ходовой мостик не допускаются зрители — даже если они большие морские начальники.

Наше актерское амплу закреплено и в официальном документе, который называется «судовая роль», — это список экипажа, где указаны должность (роль), год рождения и номер паспорта моряка.

В судовой роли я традиционно стою вторым после дублируемого капитана. В случае болезни или смерти основного капитана дублер автоматически принимает на себя командование судном.

Все, что указано в словаре иностранных слов, мне в жизни и в этой книге предстоит делать, включая акробатические трюки. Кроме воспроизведения звуковой части В. В. и других героев на литературно-цензурном языке с «соответствующей слоговой артикуляцией». Соответствующая артикуляция не получится. Особенно когда дело дойдет до речевой части старшего механика Октавиана Эдуардовича. Ну что же, к такой ситуации русскому писателю не привыкать. Вечно он тащит из болота за хвост не грязного бегемота, а романтического Дон-Кихота. Такая уж у нас работа. И потому — после весьма долгих раздумий — я поведу часть и вымысленный дневник. Если можно выдумывать рассказы, повести и романы, то почему нельзя выдумывать дневник? Пишут же одинокие, несчастные женщины сами себе письма? И наклеивают на конверты марки, и опускают в почтовые ящики, и ждут потом свои собственные письма, и читают их случайному встречному.

Отход отложили еще на сутки.

Такие многоступенчатые отходы удивительно дурно действуют на психику, хотя вроде бы надо радоваться: из девяти отложенных отходов разков пять-то удастся и дома побывать. Но в том-то и дело. Попрощаешься, уйдешь или тебя проводят, и ты вздохнешь с облегчением, и домашние

вздыхнул с не меньшим — ан нет! — к вечерку опять являешься: «Здрате, я ваша тетя...» Омерзительно. Опять отходную пить? Вроде бы уже и не лезет, а делать что? Сидеть на пароходе и смотреть на разоренный голубиный вольер? Очень грустно-гнусное впечатление он производит, и в каждом грузчике, ползающем по палубному грузу, чудится ухмыляющийся птичий вор. И ведь на ближайшем пакгаузе шумит целый птичий базар из самых разных голубей — лови не хочу. А докеры украли судовых.

Решил домой не идти и остался ночевать на судне.

Каюта маленькая, но с персональным гальюном — и то хлеб. Вообще-то она в случае необходимости служит мед-изолятором.

В грязном стакане рядом с графином остались от предыдущего жильца три высохшие розы. Почему-то мне не хочется их выкидывать.

Около полуночи взял у вахтенного помощника ключи, поднялся в ходовую рубку, чтобы без зрителей познакомиться с радиолокационной и другой аппаратурой.

На судне никаких работ — пусто и тихо. И весь порт будто вымер.

С верхотуры рубки вокруг видно далеко и привольно. Ночи еще белесые. В белесом свете спят многоэтажные дома Автова.

В пенале обнаружил бинокль. Обычно-то на стоянке третий штурман такие дорогие причиндалы прячет у себя в загашнике.

Редко удастся смотреть на родной город в бинокль.

«Вчерашние заботы», из-за которых нынче я опять гремлю в Арктику, начинаются с истории о потерянной винтовке, гауптвахте, мичмане-тюремщике Бармалее и строительстве трамвайной линии от Красенького кладбища на Стрельну.

На Красеньком кладбище упокоил вскоре ближайшего друга — Юльку Филиппова.

Мой первый ближайший друг беспричинно и бессмысленно повесился. О его судьбе вспомню когда-нибудь не мимоходом, а тщательно и с полной выкладкой. Юлька вошел в меня, мою жизнь навсегда и сыграл в ней роль в высшей степени положительную и во многом решил мою будущую писательскую судьбу.

Вероятно, сам он погиб потому, что не научился отделять красоту от действительности в нужные моменты. А я этому все-таки подучился.

Юлька начинал в военном оркестре трубачом мальчишкой-блокадником. Он еще в Подготовительном училище начал приучать меня к чтению серьезных книг. Это с ним вместе мы путались в «Анти-Дюринге», самостоятельно и в полном объеме читали «Капитал»; под его нажимом я согласился поступить в сорок девятом году в университет на филфак, русское отделение, экстернат (в те времена был экстернат — великолепная, удобная форма учения, которая почему-то ныне начисто упразднена). Ну, из университета через год нас выгнали, хотя мы толкали экзамен за экзаменом с некоторым даже блеском, — вышел приказ министра обороны о том, что будущие офицеры не имеют права получать второе высшее образование. Вероятно, смысл приказа был в том, что офицеры, получившие второе образование, при первой трудности с легкой душой могут драпануть со службы: на гражданке-то у них профессия будет.

Многовато моих друзей ушло из жизни самовольно. И женщины так уходили. И светоносные русские девушки, выдумывающие сами себя, а потом напарывающиеся на будничные мифы и беспощадные рифы...

Двадцать девятое июля, День Военно-Морского Флота.

В 17.00 отшвартовались от причала № 41 Ленинградского торгового порта.

Перед нами отходит к Кронштадту мощная грозовая туча. В ней полыхают молнии и вызывают треск в рации. Догоним мы тучу или нет? Лучше не догонять — в грозовом ливне видимость равна нулю, а впереди узкость.

Поздновато нынче уплываем. Прошлый раз на «Державино» День ВМФ мы с бессмертным Фомой Фомичом праздновали уже на Диксоне.

В. В. по радиотелефону связывается прямо из ходовой рубки с супругой.

Мария Петровна была на судне до самого закрытия границы. И потому я спрашиваю:

— Думаете, она уже успела добраться домой?

— Живем-то рядом с портом. А вы куда-нибудь будете звонить?

— Нет. И так слишком долгое прощание.

Грозовые разряды затрудняют разговор по радио, но слышно, как Мария Петровна просит супруга не скупиться на радиограммы.

Он это обещает, но как-то уклончиво. А вот, мол, звонить из Мурманска будет обязательно.

Мария Петровна раздражается, кричит отдельно:

— Мне!.. Нужны!.. Твои!.. Радиogramмы!.. Не!.. Ленинсь!..

Туча продолжает отступать перед нами. Вероятно, она уже над самым Кронштадтом.

Прошли нефтебаки и насыпную часть Морского канала.

Между свинцовой водой и свинцовым небом алыми язычками дразнятся бун, ограждающие правую сторону фарватера. Дождик прикапал — теплый, летний... «А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь... мелькнет в толпе знакомое лицо...»

Кажется, уплывать в грозу — хорошая примета.

— Какая у меня до Мурманска главная задача? — спрашиваю у В. В.

— Ваша задача — отдыхать, отсыпаться, выкинуть из головы вчерашние заботы и последний рейс на Антарктиду. В Арктике лед другой. Он, конечно, без всяких там ужасных айсбергов, но, сами знаете, подлый, как те люди, которые наших голубей украли.

— Ну это уж вы слишком арктические льды причастили. Слава богу, они нас пока не слышат.

Молодой пижонистый лоцман демонстрирует историческую образованность, вычитывая из записной книжки:

— «А на море так безызвестно есть как человеку о своей смерти. Это Великий Петр сказал, когда велел в Кроншлоте на Котлин-острове иметь непрестанную великую осторожность, ибо приморские крепости вельми разность имеют с теми, которые на сухом пути, ибо на сухом пути стоящие крепости всегда заране могут о неприятельском приходе ведать, понеже довольно времени требуют войску маршировать, а на море так безызвестно есть как человеку о своей смерти. Ибо, получа ветер способный, без всякого ведения неприятель может внезапно прийти и все свое черное намерение исполнить, когда не готовых застанет...»

Над боевыми кораблями в Кронштадте реют флаги расцветивания — празднуют мои военно-морские корешки свой День.

Туча свалилась к Шепелевскому маяку, впереди чисто.

Чуть рябит волна в Маркизовой луже.

Сдали исторически образованного лоцмана — и полный ход!

В. В. вскоре после войны, когда он еще был матросом на каком-то чумазом буксире, встретился с капитаном-чудаком.

Историю про чудака рассказал мне не без назидательных ноток.

Капитан-чудак был стар. Прибыл старик на подмену постоянному капитану и обнаружил в каюте шкафы и рундуки, битком набитые грязным бельем, носками, рваными ботинками и прочим наследством нечистоплотного и невежливого человека.

Носки и стоптанные тапочки старик выкинул в иллюминатор, засоряя окружающую экологию. Белье выстирал собственноручно. Выстирал и свитеры. Залатал и подбил ботинки и сапоги. Все чистое и отглаженное уложил в полном порядке. И в конце многодневных трудов, которые, естественно, вызвали у экипажа любопытство, старик-чудак заявил: «Вот вернется — пусть ему стыдно станет, а пройденного пути от нас не отберешь!» Вроде все это звучало вполне бессмысленно, но привязалось. Сперва В. В. употреблял присказку в чисто юмористическом варианте. Например, прихлопнут человеку визу за давние грешки, — можно сказать: «Да-а, пройденного пути у нас не отберешь!» Затем присказка наполнилась валютным содержанием: за каждые сутки морского пути положена моряку валюта, и если даже в конце пути посадил он парход на мель, то заработанную валюту обратно у него не отберешь. Ну, а к старости наполнились эти слова новым, глубоким, гордым, горьким, щемящим, чем-то сладким, отчаянным, веселым, тоскливым... Обернись назад, взгляни в свой кильватерный след, вспомни: сколько чего за кормой осталось — это все твое, и никто того не отберет...

На утренний чай в кают-компанию В. В. является первым. Когда бы он ни лег, в семь тридцать входит в кают-компанию и занимает место во главе стола, где на отдельной тарелочке лежит перед капитаном алая, свежая, чистейшим образом вычищенная морковка. Эта морковка — ритуал, вещь в себе, тотем, тайна. Ни о каких витаминах В. В. не думал, когда завел такой порядок начала рабочего дня.

На белой скатерти, среди белых приборов, на белой тарелочке алая морковка выглядит безумно соблазнительно. А звонко-мелодичное разгрызание морковки вы-

зывает по отношению к капитану «Колымалеса» особый вид почтения и, чего греха таить, зависти к его зубам.

Да, В. В. любит ритуалы и ритуальность — малюсенькие ритуальчики, но исполняемые неукоснительно. Не знаю, что бы он сделал с поваром и буфетчицей, кабы однажды утром не обнаружил на тарелочке свою морковку. Думаю, повар полетел бы за борт, а буфетчица на манер ведьмы вылетела бы с парохода через трубу. И на это страшное преступление В. В. отважился бы с ясными глазами и чистой совестью.

После утреннего чая по старинной традиции поднимаемся на мостик.

Утреннее солнце прозрачно-чистое, без дымки.

Много попутных и встречных судов. Их следует обсудить, помыть им косточки:

— Какая у этого-то надстройка дурацкая, как у нашего «Варнемюнде»...

— «Ро-ро» прет — да-а, это не мы: они за один автомобиль или за тонну груза получают фрахт в сотню валютных рублей...

— А мы сколько, Василий Васильевич?

— Так мы, Виктор Викторович, обычно пыль и дрова возим — по шесть рублей за тонну выходит...

— Что это там? Вроде как полоса шуги?

— Море цветет.

— Такое густое цветение? В конце июля?

— Вероятно, тут давно штиль стоит — вот и скопились цветочки. Прямо ход сбавляй...

— Чаек не видно...

— Скоро появятся...

В желудках покорно перевариваются по два крутых яйца и хлеб с маслом. Дымятся первые после утреннего чая сигареты — благолепие и душевный комфорт.

— Когда в Союзе цены на ковры повысили, так об этом в Бельгии раньше, чем у нас, узнали...

— И что?

— Приходим в Антверпен, а там ковры на восемьдесят процентов дороже. Мы: вы тут спятили, голубчики бельгийские?

— А они?

— Вы, говорят, сами спятили...

Спокойное плавание по летней Балтике.

МОСКВЫ 0410 РАДИО ВЕСЬМА СРОЧНО ВСЕМ СУДАМ СЕВЕРНОГО МОРЯ ОТ РАДИОСТАНЦИИ ЛАТЫНЬ ОБЭ ПОЛУЧЕНО СООБЩЕНИЕ ЧТО ПРОЛИВЕ БОЛЬШОЙ БЕЛЪТ С СУДНА УПАЛ ЗА БОРТ ЧЕЛОВЕК ТКЧ ПРОШУ ДАТЬ УКАЗАНИЕ СУДАМ ПРОХОДЯЩИМ ЭТОМ РАЙОНЕ УСИЛИТЬ НАБЛЮДЕНИЕ ТКЧ ИНФОРМИРУЙТЕ НАС = 410 СМБС ЛАЗАРЕВ.

Пока мы доплываем до Северного моря, бедолага на-верняка утонет, потому никаких мер предпринимать нам не следует. Однако на душе осадочек.

Надо вдуматься в выражение «приказал долго жить». Надо снять с этого выражения покров привычности, обнажить парадоксальность: ведь это же наказ долго жить тем, кто жить остается, а не информация о чьей-то смерти!

Ночью ветер зашел в правый борт, засифонило в окно моей каюты.

Около полудня встретили на контркурсе «Нерей». Даже не верится, что я работал на этом малюсеньком буксирчике и зимовал на нем возле набережной Лейтенанта Шмидта.

— «Нерей», я «Колымалес»! Откуда идете?..

Возвращаются от Канарских островов. Никого из знакомых на борту нет.

Пожелали друг другу счастливого плавания.

И разошлись как в море корабли.

Сон. Большой, очень длинный парусный корабль. Входим в узкость. Вероятно, норвежские шхеры. Оглядываюсь — корму заносит, ибо бизань парусит. Командую вахтенному помощнику: «Травить гика-шкоты бизани! Сами не видите?!» Как только потравили гика-шкоты и бизань легла под ветер, проснулся. Проанализировал поступки — всё правильно!

Возможно, парусник приснился потому, что намеренно устроил большую стирку. На парусниках же курсантов часто заставляли стирать то робу, то паруса, то мыть палубу. Да и мое мокрое белье, которое сохло в каюте, насквозняке парусило.

Баркентины, бригантины и барки будут плавать в океанах всегда. Ибо паруса никогда не забудут про ветры, а ветры никогда не забудут о парусах...

Уже в первые часы знакомства выяснилось, что весь командный состав перекрещивал пути с Фомой Фомичом Фомичевым.

Помполит рассказал, как попал к Фомичу на подмену и потом две недели не мог вырвать у него денежный аттестат... Второй помощник Митрофан Митрофанович, который был вторым же на «Комилесе», когда я с Фомичом возглавляли «Державино», покатился со смеху, вспомнив, как мы становились на якорь в Певеке. Механик отлично знает про то, как Фомич посетил в Париже Лувр. Ну, и так далее. В результате безо всякой натуги в обиход на судне прочно въехало-вошло добавочное предложение: «Как сказал бы Фома Фомич...» К примеру. Паримся в бане. Забился шпигат. Кому-то надо чистить. Раздается: «Тут, как, значить, сказал бы Фома Фомич, кишка, значить, не так прохудилась, как, значить, закупорилась. Кто брюки последним снял, тот, значить, пушай туда первым и лезет, в шпигат этот подлый!»

Фома Фомич последний перед пенсией рейс делал на «Колымалесе». В. В. с ним знаком «семьями». Когда Фомич оформил уже пенсию, то в разговоре сообщил, что у него есть дача. «Почему же я раньше не знал? — спросил В. В. — У тебя она недавно?» — «Семнадцать лет», — скромно сказал Фома Фомич. «Чего ж ты мне раньше-то не говорил?» — «А зачем мне, значить, размножить, значить, черную зависть у вас у всех?» — вопросом на вопрос ответил Фомич.

В предпенсионном рейсе с Фомой плавал наш нынешний радист. Фомич пробился на подмену на «Колымалес», так как его «Державино» погнали в Арктику. Пришли на «Колымалесе» в Роттердам, радист уже опечатал радиорубку, но капитан потребовал срочную связь с пароходством, чтобы пожаловаться на какой-то роттердамский непорядок. Радист — приказ капитана! — сделал связь. А Фомичу из пароходства — бах: «Следуйте в Мурманск!» — «Как?! Мы на Италию должны!» — «Следуйте!» Фомич решил подождать в Роттердаме письменного подтверждения приказа. Подтвердили. Плывут они на Мурманск, и Фомич каждые сутки отправляет в пароходство радиограммы: «Кровяное давление 280 на 220 зпт голов-

ные боли», «Давление 290 на 240 зпт боли голове отсутствуют». По приходе в Мурманск его списали — и с концами, на пенсию.

Давление и пульс Фоме Фомичу измерял старший помощник, ибо врача не было. Фомич вызывал старпома на мостик, и там — при всех свидетелях — ему и намерили морячки двести восемьдесят на двести двадцать. Эту фантастику он и зафуговал в эфир.

Проходим Гельголанд. Штиль.

Старший механик с древнеримским именем Октавиан обладает колоритной способностью систематически ломать или вывихивать себе руки и ноги. Прodelывает он это во сне.

В 02.20 я был разбужен непонятным грохотом, а затем басовитым ором капитана. Оказалось, что стармех с такой силой ударил ногой в переборку, за которой спит В. В., что мастер проснулся и выскочил из каюты на разведку в трусах.

Утром стармех приковылял на завтрак с палкой. Правая нога у него была в жесткой, с лубком, повязке. Дело в том, что он серьезно занимался джиу-джитсу, а всю жизнь ему снятся драки. И вот в этих зефирных драках он наносит противникам ужасающие удары ногами и руками. Если сокрушительный удар приходится в стальную переборку, то драка заканчивается травмой.

Октавиан Эдуардович утверждает, что человека ни разу в жизни не ударил.

Он круглый сирота. Родители пропали в войну. Древнеримское имя придумал себе сам, ибо в детдоме полюбил преподавательницу истории. Из сибирского детдома трижды бегал в Москву и на фронт. В Москву — искать родителей. Ему казалось, что мать жива и просто его бросила. Казалось ему правильно. Уже после войны он раскопал мать в... Польше. Она вышла замуж за польского офицера. История какая-то темная. Когда уже после войны Октавиан встретился с матерью, от нее узнал, что отец тоже жив. Усыновляться Октавиан не стал. И разговаривать на эту тему дальше не захотел.

Палка, на которую стармех опирается после ночной драки с переборкой, мемориальная, подарок матросов. На палке выжжены миниатюры, показывающие этапы будущей жизни Октавиана Эдуардовича, если он не отучится от джиу-джитсу. Вот старший механик на одной ноге —

другая напрочь отломалась, и он бережно прижимает ее к груди. Вот он уже без обеих ног. Вот он на тележке для инвалидов, которая на маленьких колесиках-роликах: отталкивается руками от подстилающей поверхности. Вот он отталкивается уже только одной рукой. Вот он отталкивается... Простите, что остается у мужчины, когда нет уже ни ног, ни рук?.. Вот этим самым и отталкивается Октавиан Эдуардович. А вот он этим же местом и тормозит, когда тележка покатила под гору. Дальше написано по-английски: «The End!»

Очень талантливый самородок выжигал миниатюры. И потому показывать палку существам слабого пола лучше не будем.

Любимая присказка механика: «Конь любит ласку, а машина — смазку».

Инвалидов войны он называет самострелами. Курсантов-практикантов, которые явились на борт в Ленинграде после сильной драки, презрительно обозвал бойломом. А в обычной обстановке он называет их декадентами.

Десятилетний Октавиан тонул в речке Клязьме — упал с моста. Развилась гидрофобия. Полтора года не подходил к воде. На двенадцатый год рождения Октавиан сколотил из ящичков плот и заставил себя проплыть по реке под тем мостом, с которого упал. И страх пропал, и он почувствовал себя птицей. В юности пытался поступить в летное училище, но был очень дохлый и медкомиссии не прошел. Пытался поступить в мореходку на судоводительский, не прошел по конкурсу, ибо был очень туп и сер. Попал на механический факультет. В судовождении разбирается прямо-таки профессионально и большую часть свободного времени проводит на мостике.

Первый раз женился фиктивным браком на такой же, как и сам, детдомовской сироте. Она была неизлечимо больна — костный туберкулез. Женился из жалости и чтобы «иметь якорь», то есть родственника на берегу, без такого «якоря» визу для заграничного плавания не давали. Честно отмучился с несчастной женщиной десять лет — пока она не умерла. Теперь женат вторично и растит маленького сына — одногодка внучки Василия Васильевича. Капитан мне это и рассказал, закончив новеллу словами о том, что никто пути пройденного от нас не отберет...

У моей пишущей машинки очень отяжелели клавиши — тугие стали. Костенеет старушка. Ведь ей уже не

меньше тридцати четырех лет — немецкая, трофейная еще, для ротных канцелярий машинка, под бомбежками кувыркалась, на первый гонорар ее купил. И вот уже ногти болят от железных клавиш, но какое-то суеверие не разрешает перейти на новенькую машинку, которая давно скучает под диваном.

Вибрации на полном ходу такие сильные, что «Эрику» тошнит прямо на меня и она закусывает ленту, как норювистый конек уздечку.

— Не смей безобразничать, старушка!..

Прочитал у Нодара Думбадзе: «Я искал свободы и потому избрал смех». Я бы рад ему следовать. Но ныне знаю — и знаю твердо, что не мы выбираем смех в любой момент или в любой ситуации, а он, увы, нас выбирает или нет. И если нет, то дело твое табак. Насильно мил смеху не будешь. Кажется, он послал меня к черту, этот легкомысленный приятель. Вернись, дружище, ну что тебе стоит?!

ДАВНЯЯ ДРАМА В ПРОХОДЕ ФЛИНТ

Про пиратов Флинта ничего не будет. Дело происходило в территориальных водах Швеции, которую Петр радикально отучил от всяких пиратств и научил миролюбивую и нейтралитету. Помните украинскую песенку: «Ворскла — ричка невеличка, тече здавна, дуже славна, не водою, а вийною, де швед полиг головою»?

14 мая 1959 года танкер «Фридрих Энгельс» снялся из украинской Одессы в шведский порт Лимхамн с полным грузом мазута — 10 929 т. Танкер имел длину 140 м (улица Зодчего Росси — 220 м).

Капитан — Вотяков Иван Николаевич, капитан дальнего плавания, 32 лет. Старпом — штурман дальнего плавания, 29 лет. Второй помощник — штурман дальнего плавания, 26 лет. Судно новенькое — два года с постройки.

Молодой капитан поставил службу так, что штурманы во время несения ходовых вахт кроме наблюдения за го-

ризонтом только фиксировали позицию судна, не пытались анализировать пройденный путь и предстоящее плавание. Когда капитан присутствовал на мостике, он не поручал ни одному из штурманов, даже старшему, управлять танкером при расхождении со встречными судами. Были случаи, когда капитан часами не допускал штурманов к навигационной карте: он болезненно реагировал на любые замечания по вопросам, связанным с судовождением. В результате штурманы замкнулись и не проявляли инициативы.

Обстановочка! Представьте этих молодых людей за общей трапезой в кают-компании — как они хлебают щи, не поднимая глаз от тарелок.

Никто из штурманов, даже старший, не знал пути, которым капитан Вотяков намеревался вести танкер в порт Лимхамн, а потому не могли обнаружить и предупредить неправильные действия и ошибки капитана.

На переходе через Черное и Средиземное моря, Атлантический океан и Английский канал курс судна проходил по обычным морским путям, имелось достаточное количество определений места.

После выхода из Дуврского пролива в Северное море капитан принял решение следовать дальше через Кильский канал. В соответствии с этим судно придерживалось прибрежного минного фарватера. (После окончания войны всего четырнадцать лет.)

27 мая теплоход подошел к плавучему маяку «Эльба I», принял лоцмана и последовал по реке Эльбе. На подходе к якорной стоянке «К-рейд I» у Брунсбюттель Ког танкер на малом ходу левым бортом сел на мель. Во время прилива, частично переместив груз из второго левого танка в первый правый, судно самостоятельно снялось с мели и переменило место якорной стоянки. О посадке на мель капитан Вотяков пароходство не информировал.

28 мая в 14.09 танкер вышел из канала в Кильскую бухту и в 17.42 миновал траверз маяка Фемарнбельт. После этого стало очевидным намерение капитана следовать в порт назначения проливом Зунд.

При дальнейшем плавании курсы располагались по объявленным минным фарватерам. Место судна определялось регулярно с использованием всех навигационных и радиолокационных средств.

29 мая в 00.00 на вахту заступил второй штурман Дружинин и матрос первого класса Василенко. Установленный капитаном порядок несения ходовой вахты не дал

второму штурману возможности ознакомиться с районом плавания в период вахты, так как лоция проливов и карты подхода к порту назначения находились в каюте капитана.

(Здесь возникает подозрение, что огромным судном, в чреве которого 11 000 тонн мазута — двести—триста железнодорожных цистерн,— командует сумасшедший человек: почему он прячет несекретные лоции и карты непосредственных подходов к порту назначения у себя в каюте?)

С ноля часов Вотяков находился на мостике и сам осуществлял судовождение.

В 03.20 определили место по двум пеленгам: по маяку Дрогден и огню буя Лильгрунд. Через три минуты прошли траверз буя Лильгрунд в расстоянии 1 кабельтова, оставив его с правого борта. Еще через две минуты начали поворот на курс 49° — на середину прохода Флинт. Здесь второй штурман Дружинин в присутствии свидетеля — вахтенного матроса Василенко — сказал капитану, что глубины прохода Флинт меньше осадки судна.

(Самая глухая ночь, в рубке темно, но, вероятно, второй штурман так побледнел, когда позволил себе такое замечание, что его лицо можно было рассмотреть во всех подробностях и в темноте.)

Капитан ответил, что сейчас прилив, а потому проход возможен.

И второй штурман (скорее всего демонстративно и в нарушение законов судовождения) даже не включил эхолот на мелководе. Хотя отлично знал, что в Балтийском море и Балтийских проливах вообще нет ни приливов, ни отливов — Луна даже в сизигию натягивает здесь один-два сантиметра. На Балтике бывают только ветровые нагоны или сгоны уровня воды.

К этому моменту танкер имел осадку: нос — 8,3 м, корма — 8,75 м. Осадка на полном ходу судна увеличивается. Танкер шел полным. Осадка его была не меньше 9 метров, а глубины в проходе Флинт — 7,1 метра.

В 03.26 теплоход наскочил на подводное препятствие. Машина была застопорена, но только еще через минуту — в 03.27 танкер остановился. Были повреждены грузовые танки № 3, 4, 5, 7, а также грузовое помповое отделение, носовой коффердам и диптанк. Эти повреждения привели к утечке груза, о чем свидетельствовали пятна мазута на поверхности воды. Для спасения груза капитан Вотяков решил частично перепустить груз мазута из поврежденных

в порожние танки № 1 и 8, чтобы создать воздушную подушку в поврежденных танках и не допустить дальнейшей утечки.

Всеми спасательными операциями, которые были разумными, своевременными и эффективными, с момента аварии и до прибытия спасательного судна «Голиаф» руководил сам Вотяков, а затем, после подписания контракта о спасении 30 мая 1959 года, капитан спасательного судна «Голиаф» Шацкий.

31 мая капитан Вотяков Иван Николаевич отправил радиограмму начальнику Черноморского пароходства, в которой полностью признал свою вину за происшедшую аварию. Отправив это РДО, капитан покончил самоубийством, утопившись под бортом судна. Дабы не возникло подозрений о его бегстве на близкий шведский берег, Вотяков, привязав к шее звено якорной цепи, закрепил на себе пеньковый трос, конец которого оставил на борту, а в каюте оставил записку, в которой указал номер шпангоута, возле которого его тело следовало вытащить.

Дальнейшие работы по снятию танкера с мели осуществляли спасательное судно «Голиаф», буксирный пароход «Карел», танкер «Очаков» и шведский лихтер «Инджегер Рейтер».

Всего было спасено 10 168 тонн мазута из общего количества 10 929 тонн, имевшихся на борту к началу рейса. Потеря груза составила 761 тонну (в том числе около 160 тонн мертвого остатка в танках теплохода). Убытки по грузу, таким образом, оказались просто чепуховыми.

Этой аварией я интересуюсь двадцать лет.

Нынче миновали поворот к проходу Флинт и место посадки «Фридриха Энгельса» первого августа. Штиль, ясность, голубизна. До Копенгагена, куда будем заходить для получения механического имущества, рукой подать.

Обмысливаю эту давнюю драму в тысячный раз и вдруг ловлю себя на том, что забыл фамилию капитана танкера. Спрашиваю В. В.:

— Аварию «Фридриха Энгельса» помните?

— Конечно. Я на «Андижане» был. Мы на «Энгельс» Вениамина Исаича Факторовича везли. Он здесь потом спасательные работы возглавлял. А чего вы?

— Фамилию несчастного капитана забыл.

— Вотяков. Я его труп своими руками в бочки из-под бензина укладывал. Сварили две бочки и туда засунули.

И в Ленинград отвезли. Но самое сложное оказалось вытаскивать тело из воды. Воскресенье как раз было. Вокруг сотня шведских да датских яхточек и моторок шастает. Интересно же на аварийное судно поглазеть. Людишек хлебом не корми, дай на чужое горе полюбоваться. Тем более советский пароход на мели сидит — кремлевские тайны. Жарят из фотоаппаратов со всех сторон. Невозможно же на их глазах утопленника вытаскивать. И так во всех европейских газетах фотографии танкера и подписи аршинными буквами: «ВОЖДЬ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА НА МЕЛИ». Убытки-то, в общем, сравнительно незначительные, времена уже помягчили — ну разжаловали бы его, дали пару лет условно. Никак не могут наши начальники понять, что без особой нужды не следует называть суда именами великих людей. Ведь какая добавочная психическая нагрузка, когда у тебя под ногами «Сталин» или «Молотов»!

— А в чем корень-то драмы?

— Ну, посчитал неправильно прилив с высотой в два метра на полной воде, какой-то прочерк в таблице за ноль глубин принял... И лоцмана для прохода Флинт не взял. Лоцпроводка здесь не обязательна, но он-то первый раз шел. Любой из лоцманов отказался бы вести судно с осадкой девять метров через семиметровые глубины.

— Я не про это, Василий Васильевич. Я про психологию. Почему до самого подхода к Дрогену он прятал в каюте лощи и карты от штурманов? Ясно же, что сумасшедший. И Шацкий с «Голиафа» так считал.

— Нет. Какой он сумасшедший? У меня при плавании во льдах есть главный принцип: «Упрямся — разберемся». А он еще молод был слишком. Уперся, а времени в себе разобраться уже не было... Вы поэт Поженяна знаете?

— Знаю.

— У него есть стихотворение. «Не правы всегда капитаны, всегда виноват капитан». Давайте сменим материю. Хотите, про чижа расскажу? Был у меня чиж необыкновенной верности и ума. А вообще-то они глупые...

Я вернул В. В. к Вотякову, к моей уверенности в том, что тот был сумасшедшим. В послевоенные времена аварийные капитаны получали обычно на всю катушку, или вышку, или пятнадцать лет, потому что всем одинаково шили злостное вредительство, но ни одного случая самоубийства среди спасенных капитанов я не знаю.

Тогда В. В., которому про аварии в тот момент явно говорить не хотелось, свершил свой китовый вздох-выдох

и рассказал, как в конце сороковых, матросом, влип в переделку на пароходе «Козлов» в Индийском океане. Пароход был грузовой, в трюмах оборудовали нары и везли во Владивосток сто человек курсантов мореходной школы — сэкономили на железнодорожных билетах. И вылетели на риф. Несколько пробоин. Капитан сразу как-то скис. Под командованием старпома успешно заделывали дырки, начали откачку, сползли с камней, повеселели. Пока люди работали, капитан пошел в корму, разделся, сложил одежду на кнехте, сверху фуражку — и утонул. А риф-то на карте отмечен не был, и вина его была маленькая, если вообще была.

Дальше вода вдруг пошла сквозь уголь — из угольного бункера в котельное отделение, а котлы огнетрубные. Покинули пароход. Вельботы и плотики перегружены; хорошо, штиль был мертвый. Подскочил «Смольный», никто из мальчишек-курсантов не погиб. «Смольный» довольно долго дождался, пока «Козлов» взорвется и окончательно утонет. Тогда погудели оставшемуся там капитану и ушли.

В. В. рассказал это безмятежно — пережитое давно превратилось в забытое кино. А когда вдруг вспомнил детали: помпы и генераторы умудрились работать в затопленном помещении, то обрадовался этой детали — как старого друга встретил.

— А про Вотякова вот что еще скажу... Митрофан Митрофанович, паром видите?

— Да. Как только от причала начали мачты двигаться, так и засек, Василий Васильевич...

— Вы на маневренном уже?

— Да. Машину предупредили час назад.

— Ну и хорошо. Давайте средний. Чего-то лоцбот за-паздывает. Так вот, Виктор Викторович, был у меня щегл, который точно знал, когда ему надо будет помереть. Нашел птенца в саду на даче, когда дочке было еще пять лет. Гуляли с ней, и собака маму щегленка спугнула с гнезда. Я птенца взял, выкормил, я умею с ними. Звал его просто Щегл. Десять лет живет и в ус не дует. Потом в мое отсутствие отравился коноплей. Ее надо кипятком ошпаривать, чтобы нежелательную ядовитость уничтожить. Слеп Щегл. Что со слепой птицей делать? Понес я его в поликлинику водников, к окулистке, которая на каждой медкомиссии мне тонну крови портит, знаете ее, наверное, евреечка с усами. Объяснил, что дружок старый у меня ослеп. Она внимательно отнеслась, без смешков. Конси-

лиум собрали, но ничего придумать не смогли. Убивать надо или там усыплять. А он, Щегл, поет себе и поет — это слепой! Никаких переживаний, только еще больше меня начал к собаке ревновать. Чуть ее поглажу, Щегл носом по прутьям клетки взад-вперед — тра-та-та! Думал я, думал: что со слепой птицей делать? А пусть живет, если ей так хочется. Пел чудесно. Каждую ноту — в сердце. Все сроки прошли, а он живет. Дочка подросла и замуж собралась. И за три дня до свадьбы дочери Щегл умер. Всего прожил пятнадцать лет, восемь месяцев и шестнадцать суток. Дочка, надо сказать, как-то смущалась перед женихом, что папа все еще в мальчишестве пребывает, голубей гоняет и слепого щегла нянчит. И вот Щегл убрался в самое время. Похоронил я его в банке из-под английского чая. Знаете, такие красивые банки — индианки в ярких нарядах танцуют... Ссыпал я в банку песочек из клетки, корм, который остался. Положил слепого певца в поильничек, — он к старости усох, маленький стал — точь-в-точь как добрые старички усыхают. Ну, и закопал в саду. Теперь к нему на могилку внучку вожу и мы там с ней песни поем. Я внучку больше дочки люблю. Так вышло. Митрофан Митрофанович, лоцбот видите? Тогда давайте малый, а я спущусь форму облачу. Поглядите тут, Виктор Викторович, пообвыкайте.

Второй помощник вышел на вахту тоже в форме. И чувствовал я себя перед приходом в Копенгаген не совсем удобно. Нет у меня формы. Есть дома, но старая. И я ее с собой не взял. А В. В. на все швартовки одевается в форму и требует того же от помощников. На переходе морем капитан носит разбитые и разношенные до тапочного состояния ботинки и штатский серенький пиджачок. Форму на швартовки В. В. надевает не для того, чтобы выглядеть внушительнее, а из уважения к ходовому мостику. Такими прямыми и старомодными словами он мне это и объяснил еще в Ленинграде.

Тогда же я записал такое его рассуждение о старости и молодости. Записано оно моими словами, ибо к манере его говорения я еще не привык и своеобразие словаря как-то даже еще не улавливаю, но не станешь же с собой по морям магнитофон таскать и включать его тайком под столом — сразу за стукача сочтут.

Говорил он приблизительно так:

— Я — человек среднего для мужчины возраста. Если взять молодость, то и она любит рассуждать на отвлеченные темы. Правда, не для аргументации своих дурацких

каких-нибудь поступков, а так — в общем плане: о революции всемирной и прочее. Молодость хочет показать всем и каждому встречному, что она уже взрослая и знает о жизни и смерти не меньше старших. Старость тоже любит рассуждать до полной болтливости. Она боится не успеть высказать то, что успела продумать и узнать. Кроме того, старость раздражается на самомнение молодости и потому болтает еще больше и категоричнее. Серединность, к которой я имею честь принадлежать, умеет слушать и мотать на ус, если она не полная дура. Серединности необходимы и экспромтность молодости, и опыт старости в специальных вопросах или в общении с людьми. И потому серединность выглядит терпимой, но это — ложное впечатление. В душе серединность одинаково издевательски снисходительно относится как к молодости, так и к старости. Говорят, серединность — самое производительное время в человеческой жизни. И если хотите, самое дрянное, потому что самое приспособленческое. Если уж вовсе честно, то мое, воевавшее, поколение — самое приспособленческое за всю историю России. Потому у нас и такие славные детки народились. Вот потому я открыто и говорю: с волками жить — по-волчьи выть. А Октавиан Эдуардович, например, с утра до ночи гусей дразнит. Имею в данном случае в виду его вечные анекдоты и помполита. А знаете, по какому меню он питается?

— Откуда мне знать. Я у вас без году неделя.

— Есть у него сиамский кот. Зовут Багирой. Привередлив хуже принцессы. По вторникам курицу ему подай, по пятницам сырого окуня. Иначе ничего жрать не будет. И стармех точно по его меню живет. В длинных рейсах я за него серьезно опасаться начинаю, как бы с голоду не помер, су-у-кин сын!..

Про стармеха узнал от Нины Михайловны, которую Октавиан называет только Мандмузелью, еще такой штрих. Спит Октавиан без всяких матрацев, на листе голый трехслойной фанеры, под простыней. Производить уборку в своей каюте запрещает категорически: делает только сам. А нет для женщины ничего более раздражительного, нежели не пустить ее куда-либо. Запрети женщине делать приборку на твоём письменном столе — она наизнанку вывернется, но махнет тряпкой по всем твоим бумагам в обязательном порядке. Это форма женского самоутверждения: я, мол, должна быть посвящена во все интимы, и мне должно быть все доступно. А ежели станешь возле стола на стражу и для бдительности еще очки

наденешь, то она, женщина, тварь полосатая, такого тебе в отместку на кухне потом наприбирает, что и святых некуда будет выносить. И в силу всего вышеизложенного Нина Михайловна глубоко старшим механиком обижена и возмущена.

Сказать буфетчице, что я тоже прошу ее не прибирать каюту, у меня ни мужества, ни воли не хватило.

На берег в Копенгагене я не пошел, хотя раньше тут не был. Надоели мне заграницы. Ни Эльсиноры, ни Гамлеты мне не нужны, и берег турецкий и Африка мне не нужна, — так пели в одной популярной песенке срединных времен моей жизни. Надоело мне табунное шатание по магазинам, сексуальные журналы и танталовы муки — тратить валюту или не тратить? Покупать-то я роковым образом ничего не умею. И на родине не умею, и в Африке. Но из опыта знаю, что ежели так вот не сойдешь на берег в загранпорту, то потом казнить начинаешь: хорош, мол, литератор! Нужно глядеть на ихние язвы, нужно впитывать впечатления: а вдруг я бы там такое увидел, что сразу — за месяц — «Игрок» надиктуется? Или — в крайнем случае — «Вешние воды»? Ах, Иван Сергеевич, ах, Джемма, Джемма...

И вот; чтобы не казнить, вспомнил, что в Копенгагене был — просидели три часа в аэропорту, когда не принимал Париж. Первый и последний раз тогда меня отправили за границу по гуманитарной линии и в развитую страну. Руководителем был писатель из воевавших. Молчать на пресс-конференциях умеет замечательно. И потому последние годы из заграницы почти не вылезает. В делегации был еще Семен Кирсанов. Он к старости стал бесстрашен и весело, намеренно болтлив — в шустрой и талантливой болтливости легко топил все коварные вопросы интервьюеров. К концу выступления Семена Исааковича и он сам и коварные газетчики забывали, с чего вообще-то начали. И потому все каверзы ему были по плечу. Отвечая на сложные вопросы нашего бытия, Кирсанов расхаживал по помещению, непрерывно и быстро курил сигарету за сигаретой и стряхивал пепел на всё и всех вокруг, без различия чинов, званий, святости места; гениально разыгрывал гения, который так увлечен темой, что выключился из реальной действительности, — обаятельное хулиганство и в жизни и в стихах. Это он выломал в гостиничном номере биде и выставил его в ко-

ридор: надоело ему биде возле самого изголовья,— поселили нас в дрянном отеле, в бывших, так сказать, меблированных комнатах.

Как быстро и старательно мы забываем умерших. И сами смерти боимся до смерти, и говорить о ней много — плохой тон, потому что тогда уменьшается наш исторический оптимизм. Смерть бяка, потому что все ставит на свои места. А этого как раз и не надо для социального оптимизма.

Кирсанов — самый живой мужчина из всех литераторов, встреченных за жизнь.

К самолету в Москве он явился с элегантною заграничною сумкою типа мехов от гармонии. В багаж ее не сдал. Я помог поэту поднять сумку по трапу, решив, что в ней книги,— такая сумка была тяжелая. Да и поэт объяснил, что там у него сувениры, а в Париже много друзей и каждый чего-то ждет.

Сели мы рядом. Он меня к окну пропустил, а сам устроился у прохода, в котором и поставил сумку-гармонь. В гардеробе он ее тоже не оставил. Теперь я уже окончательно решил, что в сумке драгоценные фолианты.

Я Кирсанова первый раз видел, а про то, что он это написал такую щемящую, насквозь морскую, с запахами Одессы, мечтательную и ностальгическую песню, вовсе не знал: «Есть море, в котором я плыл и тонул... Есть воздух, которым я в детстве вдохнул и вдоволь не смог надышаться... Родная земля, где мой друг молодой лежал, обжигаемый болью...»

Взлетели. Первый вираж — самолет на курс ложится. Крен. Дифферент на корму. Сумка опрокидывается, и по бесконечному проходу лайнера, завихряясь вокруг прелестных ножек буклетных стюардесс, покатались в корму сотни, а то и больше «мерзавчиков» — стограммовых бутылочек «столичной». Сумка его была завязана небрежно, то есть поэтически.

Прелестные стюардессы со строгими лицами ловили бутылочки, вытаскивали их из-под кресел и несли хозяину. Я бы в таком положении помер бы или от страха, или от стыда, ибо терпеть не могу обращаться на себя лишнее внимание. Но, оказалось, смущения Семена Исааковича не испытывал с отрочества. Первая новелла, которую он рассказал, засовывая «мерзавчики» обратно в сумку и по карманам, была о потере им невинности. Мальчишкой бежал к индейцам. Почему-то сразу после посещения Одесской гимназии императором Николаем II. В Батум до-

брался зайцем в трюме парохода. Заночевал в публичном доме. Там его со скуки или от безработицы соблазнила проститутка... Судьба сводила его и с Витте, и со Сталиным! Черт те стулья. Потом посыпал стихи. Читал замечательно. Из «Дельфиниады», где герой — старый дельфин. Я просил про море. И он сразу откликнулся:

У мачты стоит капитан...
Он судно проводит,
прибою
грозя...

Хрипел и часто откашливался — у него был рак горла. Опухоль вырезали в Париже и при пособничестве Арагона сделали искусственную гортань. Ни одной жалобы за всю поездку. В Копенгагене накупил маленькому сыну десяток игрушечных автомобильчиков. Очень небольшого роста, но крепыш по складу.

«Искать новую форму без крупных проигрышей — нельзя. Иногда и жизнь проиграешь», — эту его сентенцию я записал.

«Нельзя казнить голубей, не убей любви, не убей...»

Систематически доводил переводчицу до обморочного состояния. Начинал поэт, обращаясь к французам, на языке, который ему казался французским. Потом, когда выяснялось, что французы ничего не поняли, он переходил на обыкновенный русский. Переводчица облегченно вздыхала и начинала переводить. Но не тут-то было. Он каждую секунду вставлял в перевод уточняющие то французские, то русские слова. При этом сильно жестикулировал и сыпал сигаретный пепел на головы слушателей, расхаживая с полной непринужденностью между сидящими. Виски тоже не забывал. В результате начисто забывал начало того, что сказать хотел, ибо тройной перевод, курение и виски требуют времени.

Летели мы прямым беспосадочным рейсом Москва — Париж. Вдруг объявляют: садимся в Копенгагене.

Глянул в окно и увидел морскую карту Балтийских проливов, включая проход Флинта и весь профиль Ютландского полуострова. Только меридианы и параллели отсутствовали.

Из аэровокзала в Копенгагене нас не выпускали.

Томились в роскошных холлах, где в сверкающую огнями перспективу уходили витрины с коллекциями рус-

ских икон — сотни наших кровных украшают международный перекресток в столице Датского королевства. Вот-то Гамлет бы удивился. А мне жутко и тоскливо было на это смотреть.

Сотни древних ликов из тьмы веков и тьмы монастырских келий, из снесенных церквушек и взорванных соборов в ослепительном неоновом свете среди толпы всяких разных шведов...

Сажу в каюте на лесовозе «Колымалес», печатаю эти заметки и никак не могу найти для «Эрики» удобное место. Стол такой, что под него колени не всовываются. В результате не по тем клавишам попадаешь, а это злит. И меня, и «Эрику». Она разговорчивая старушка. Шипит:

— Слушай, обормот, когда это мучение кончится?

Приходит с берега старший механик. Элегантен, черт возьми, донельзя. Умеет одеваться. Волосы длинные, но не так, как нынешняя молодежь носит. Этакая львиная грива, назад заброшенная. У В. В. густой чубчик вечно на лоб свисает, а у этого лоб чист и свободен.

— Виктор Викторович, мы с капитаном подумали и купили вам джинсы. Замечательные. Сразу моложе на сто лет станете.

— А себе-то купили?

— Обязательно. И Мандмузель себе купила. Тоже на сто лет помолодеть хочет. Правда, она у нас в обморок грохнулась. У нее воображение задним умом крепко. Поцарапает палец, сядет и минут пять представляет себе, что было бы, если б не о гвоздь царапнулась, а вся рука в мясорубку попала. И — хлоп! А нынче... Я, с вашего разрешения, дверь прикрою, прошли мы на центральной авеню мимо порномагазинчика. Торопливо прошли, а на витрине фаллос негра с ЭВМ и электромоторчиком. Ну, знаете, задается на автомат потребная частота колебаний, амплитуда, температурный режим. Пробежали мимо, уже джинсы торгуем, минут десять прошло. Мандмузель — хлоп и в обморок. Что-то такое представила себе задним умом своего испорченного воображения. Лупим мы ее по щекам, чтобы в чувство, тут полиция, крики уже: «Совет выимен изнасиловали в универсаме Копенгагена!»

В Латинском квартале, недалеко от Сорбонны, есть два кабачка.

Один называется «Печальная акула».

Другой — «Зеленая лошадь».

Владельцы обоих — русские.

То, что я нынче пишу, слишком часто напоминает, увы, смесь из печальных акул и зеленых лошадей. Когда сам буланой масти, то до сокрушительного краха рукой подать.

— Что ты об этом думаешь, старушка? Тебе-то уж все про меня известно?

— Примерь джинсы. Тебе же этого очень хочется. И дай мне перекурить, — сказала «Эрика».

— Джинсы, конечно, замечательные, — сказал я. — Видишь, на заднице даже изображена какая-то дохлая курица.

— Осел, это же фирменный орел, — сказала моя ворчливая машинка.

— Не очень-то я люблю джинсы, — сказал я. — В них карманы тугие. А в тугом кармане дулю не сложишь.

— Да, тут ты прав, — вздохнула «Эрика». — Этаким шкурный страх давненько уже привел и тебя, да и всех твоих товарищей к рабскому казанию кукишей только в карманах.

Снялись на Мурманск ранним утром.

Фиолетовый Эльсинор возлежал на высоком мысу, похожем на дреднот.

Радуют скандинавские маяки. Их башни ослепительно белые — как зубки молоденьких и хорошеньких негритянок.

Работал антициклон — небо чуть только кудрявилось серо-сизыми тучками, остальная бездонность была наполнена яркой и холодной синевой.

И каждая волна несла на себе небесный голубой отблеск.

И только в тени между волн угадывалась истинная природа внешне ласковых вод — зеленая сталь океана.

Глядя на элегический мир вокруг, В. В. вдруг вспомнил, как в конце сороковых годов его занесло на рыболовный траулер. В те времена рыбаки в Атлантической экспедиции зарабатывали сумасшедшие деньги.

— Стоим как-то у Фарер. Тихо все — как сейчас. На берегу фарерцы занимаются овцеводством. Им Гольфстрим климат смягчает, и пастбища прекрасные. Но это из жизни кроликов, вообще-то вдруг к нам на траулер

осьминог лезет. Прямо за фальшборт уцепился, метра полтора от воды. Ну, мы его отцепили и выкинули обратно в родные пространства. Он опять лезет. Выкинули дурака обратно. Опять лезет. Ну, ехать с нами хочет. Ладно, упрямся — разберемся. Посадили его в ванну к стармеху, воды напустили. Решили отвезти в Калининград, в зоопарк. По науке, зверя следовало кормить только свежей рыбой, а ребята в длинном рейсе озверели до сентиментальности и суют осьминогу кто котлету, кто конфету. Он и помер на пятые сутки. Еще бы денек — и довезли живым...

В РЕСТОРАНЕ «СПЛИТСКИ ВРАТА»

Северное море, траверз Скагена.

По радио передали, что в арабской деревне Аль-Маджид израильцы оборудовали артиллерийский полигон. Корреспондент, ясное дело, не сообщает, ибо мы против религии, что в этой деревне родилась, блудила, а потом мыла ноги Христу Мария Магдалина. Теперь там при помощи всякой электроники палят пушки.

Штиль мертвый. Дымка.

Встретили огромный танкер «Маршал Бирюзов».

Скорости большие, удаляемся друг от друга быстро.

А у меня что-то такое начинает в мозгах трепыхаться: маршал Бирюзов?.. Так. Советского Союза был Маршал и погиб в Югославии — самолет зацепил за деревья на горе, заходя на посадку, и все гробанулись. И я был на месте их гибели. Там поставили памятник. А от падавшего по склону горы самолета осталась просека... Так. Но что-то еще... что-то такое еще связано с этим именем... что-то приятно-неприятное, что-то такое кисло-сладкое...

Сплит! Боцман Жора со строящегося танкера «Маршал Бирюзов»!..

Но сколько лет прошло... А вдруг?

Я вызвал танкер — его уже было плохо слышно — и спросил имя их боцмана. Оказался какой-то Андрей Остапович.

Много лет назад меня занесло в Югославию и еще умудрило разъезжать по ней на «Волге». И я встретил там в одном отеле горничную Франциску. Очень нас с этой девушкой повлекло друг к другу. Только цвейговского амока не получилось, ибо я струсил: связь с иностранкой — «как бы чего не вышло...». И удрал этак по-английски — тишком, торопливо. В результате, как положено, спутал дороги, оказался в горах, не отмеченных в путеводителе и на карте, в лесах, в стороне от обкатанных туристских трасс...

Раскаленные вершины и раскаленные ущелья. И влажный полумрак небольших лесов. Пустынная дорога и пыль за машиной.

Давно хотелось пить. И вдруг — дом на обочине дороги, на склоне очередной горы. И ящики с пустыми пивными бутылками возле стены. Нога сама по себе надавила на тормоз, и задним ходом я въехал в тень дома.

Летняя сельская горная тишина висела в горячем воздухе.

Мощно-мужественные бараны и женственные овцы стояли, глядя в никуда, и даже не жевали жвачку.

Пыль медленно спускалась на машину.

Из дверей дома вышла босоногая девушка с легким стулом.

Она поставила стул возле машины и ушла в дом, держа лицо в сторону, не выказывая интереса или любопытства к чужому человеку.

Потом она вынесла легкий стол.

Из-за плетня показались рожицы мальчишек.

Девушка поставила на стол пиво.

Я вытащил из багажника пакет с воблой.

Странно лежали северные вяленые рыбы на теплом столе в горах.

Овцы смотрели в никуда. Мальчишки смотрели на нас. Несколько пожилых женщин вышли с задов усадьбы, скрестили руки на груди, на черных вдовьих платьях. Женщины смотрели в горы, хотя им невыносимо хотелось посмотреть на путника-незнакомца.

Девушка стала в дверях дома, ожидая возможной просьбы, необходимости услужить иностранцу. Она безмятежно смотрела на овец.

В Белграде в отеле возле моего номера висела табличка: «Молимо за тишину».

Здесь тишина властвовала надо всем и всеми.

Горы хранят особую силу. Горы воспитывают в человеке молчаливость и величественность.

Югославия никогда не была побеждена. Югославия, конечно, никогда не смогла бы и победить, если бы не мы. Но и побежденной она никогда не была. И это живет в душе народа, как живет в словаках память Словацкого восстания, а в поляках — Варшавского.

Древний старик прошел сквозь женщин и мальчишек к столу.

Я встал и подвинул ему стул.

Старик глянул на девушку и сел на уступленный ему стул. В тишине дома быстро-быстро затопали босые ноги.

Девушка вынесла еще один стул.

Я сел.

Старик не мог скрыть любопытства к вобле. Он видел такую штуку первый раз за длинную жизнь. Он взял воблу и понюхал.

Вокруг нашего стола сомкнулся круг не смотрящих на нас людей.

Мужчин не было. Женщины и мальчишки.

— Твое здоровье, отец!

— Русский?— спросил старик.

— Да.

Он сделал останавливающий жест, он не разрешал мне пить пиво. И сказал что-то босоногой. Она опять убежала в дом и вынесла снежную, как Земля Бунге, скатерть. Женщины в черных вдовьих платьях подхватили со стола бутылки и воблу. И поставили их обратно, когда легкий снег покрыл теплый от солнца стол.

Старик произнес речь. Половина ее была из более-менее понятных слов.

Он говорил, что эту дорогу в горах еще до войны строили русские эмигранты. Они были раньше белыми офицерами, они были контрреволюционерами, но он их уважает, потому что они были несчастными и работали хорошо. Они были офицерами, а работали простыми рабочими. Когда пришли немцы, их убили.

Потом старик указал пальцем на каменную плиту, которая была прислонена к стене дома. Я и раньше видел эту плиту, но не обратил на нее соответствующего внимания.

СПОМЕН ПЛОЧА
ПАЛОМ БОРЦУ
ДУБАЧКИЋУ ЉУБЕНКУ
(25.XII.1943 — 26 ГОДИНА)
СПОМЕН ДИЖУ
ОТАЦ ВЕЉКО
И
БРАТ ЈОВАН

— Это твой брат, отец?

— Сын.

Раскаленные горы и отупевшие овцы тихо жили вокруг.

— Они его тоже убили?

Старик объяснил, что они обмотали его партизанское горло колючей проволокой. Он умирал целый день. Потом старик похоронил сына. А сейчас ремонтирует могилу. Потому каменная плита стоит прислоненной к стене дома...

Прекрасны земли Адриатики, и нет слов, чтобы определить цвет воды в море. И дымка на горизонте смешивает горы с морем. Оранжевое, пепельное и пронзительно-синее переходит одно в другое без натуги, без границы, без горизонта.

Древние пиратские крепости, вздымающиеся над слабым прибоем.

И все хочешь убедить себя в том, что это не декорации приключенческого фильма. Это отсюда выходили в Средиземноморье отчаянные брига, галеры и бригантины. В этих камнях недолго отдыхали живые, настоящие пираты.

Но, честно говоря, когда я неся в потоке других машин вдоль изрезанных берегов Адриатики, то открыточная красота пейзажей уже не волновала.

Я вспоминал Мистровича.

Раньше я даже не слышал о нем. А тут побывал в его доме, превосходной вилле, которую он завещал родине.

Широкая лестница прорезает три террасы. Террасы выложены крупными камнями, на них растут вдребезги зеленые кусты. Горячая лестница упирается в центральный портик. И когда дверь принимает тебя, то сразу попадаешь в музейную прохладу и музейный, как всегда несколько мертвый мир, в мир, где не живут люди.

Я всегда сочувствую музейным экспонатам. Им приходится быть там, где не пахнет жильем, приходится тратить часть своей красоты и на то, чтобы преодолеть в человеке музейную отчужденность.

И вот остались позади нагретая солнцем лестница, пальмы, просунувшие растопыренные пальцы листьев прямо в нестерпимо синее небо, и каменная женщина среди подстриженного машинкой газона. Женщина эта, изломав руки и скрестив колени, кричит о чем-то. И не поймешь — о чем? И какая-то тревога возникает в тебе еще до того, как двери виллы закрылись.

Там мало туристов. Я был почти один. Деревянные полы скрипели только от моих ног. Наверное, Мистрович так понравился мне потому, что я редко бываю в музеях.

Я совсем не уверен в том, что он великий скульптор. Я только знаю, что искусство — вещь такой интимности, что требует от смотрящего, или читающего, или слушающего совпадения колебаний, требует резонанса.

В тот момент, когда я вошел на виллу Мистровича, мне, очевидно, нужен был именно он.

Из-за редкости таких совпадений я со страхом хожу в музей. Сколько раз пытался пойти и посмотреть прекрасное, чтобы обогатить себя, чтобы изменить себя, свое настроение за его, прекрасного, счет. Это иногда удавалось, но очень редко. Я не искусствовед. Я могу получить много от среднего художника и пошлой певицы, если в тот момент я живу с ними в резонанс.

И здесь случилось так, что Мистрович попал мне в жилу.

Быть может, неожиданная прохлада, тишина и просторность вокруг его скульптур. Быть может, портрет его матери — лицо крестьянки, стремительно окруженное складками шали, очень какое-то наше, русское лицо. И югослав Мистрович стал мне родным. Будто зашел в гости к русским, которые давно живут здесь, на чужбине, но воспитывают детей на родном языке и вечерами ставят самовар.

Ведь самовар — серьезная штука. Самовар — символ семьи, устойчивости во времени и пространстве. Одинокий человек никогда не стал бы держать самовар. Надо много спокойствия и много родных друг другу людей, чтобы появилась нужда в самоваре. Нужен длинный вечер, хозяйка и хозяин, нужно уважение детей к родителям и так далее и тому подобное. Недаром изгнанники и эмигранты цепляются за него.

Нам помогает в издевательствах над самоваром то, что вокруг нас сама Россия. Когда Россия есть, можно прожить и без вечернего ведерного чаепития. Но толки о быстротекучести нашего времени, его ритме и т. д. не могут унять тоску по самовару. Я еще застал их воочию. Помню запах дыма, помню колена трубы, заплаканное дымными, нестрашными слезами лицо бабушки. Помню, как, купечески важно, купечески глупо сияя начищенным боком, похожий на человечка, въезжает на веранду дачи самовар. И его маленький краник наводит меня на какие-то вересаевские размышления. И я, конечно, делюсь своим наблюдением над краником и его похожестью на некоторое мое собственное место. И получаю подзатыльник...

В Сплит добрался уже поздним вечером, поставил машину на первой попавшейся стоянке и пошел по незнакомым улицам приморского города. Просто так пошел, без цели, размяться. И сразу попал в южную, открытую жизнь.

Увидел людей, по-итальянски не скрывающих горестей и радостей.

Зашел в кабачок, где шумели выпивохи. Долго пришлось пробиваться сквозь их флегматичные плечи, чтобы хозяин обратил внимание на меня. Я ткнул пальцем в жареные колбаски и бутылку пепси-колы. Хозяин флегматично обсчитал меня динар на двести. Я заплатил ему семьсот вместо пятисот, которые он попросил; получил две колбаски, пепси, холодный, толстого стекла стакан и пристроился на пустых ящиках в уголке. Штатные посетители оглянулись на меня по одному разу каждый. Они хотели узнать: кто это швыряет динары?

А мне хотелось от них понимания. А им на меня наплевать было. Им вполне хватало общества друг друга. И ни единый ханыга-люмпен не подошел ко мне, не захотел выжать из глупого иностранца рюмки сливовицы или стакана вина.

Не надо быть ученым, чтобы понимать: монолог — прерогатива сумасшедшего. Речь родилась из необходимости общения. Диалог — нормальная форма литературного произведения. Даже когда народ безмолвствует, он ведет диалог с историей. Отсюда весьма подозрительно выглядит ярко выраженный «поток сознания».

Я вернулся к машине и осторожно поехал по узеньким улочкам приморского древнего города — поехал на шум прибора.

Выбрался к набережной и запарковал машину на платную стоянку возле шикарного ресторана «Сплитски Врата». Денег было навалом — только что вышла в Сараевском издательстве книга.

Часть столиков была выставлена из ресторана на самый берег Адриатического моря. И я сел за такой столик под тентом, который шелестел от бриза.

Франциска не выдыхалась из меня, одиночество свирепело. Да я и здорово устал от гонки по серпантинным дорогам, от рож веселых западных немцев, обходивших меня на виражах...

Смысл вечерних европейских заведений в том, чтобы всей системой возбуждающих средств заставить мужчину захотеть женщину — любую! И потому очень плохо приезжать на Запад советскому гражданину без своей женщины.

Вечер был уже поздний.

Я был в шортах. Мои голубые тощие ноги покрылись пупырышками, потому что с моря дул прохладный ветерок. Вероятно, нет более нелепого существа, нежели я в шортах.

Все на набережной и вокруг было точь-в-точь как на открытках. Небо — темно-синий бархат. Звезды. Минареты. Подсвеченные фонарями цветы на газонах. И пестрая толпа туристского люда.

Пожилой официант изгибался и скользил между столиков. Он так щелкал каблуками, так изящно склонял голову — набок и вперед, — что напоминал цирковых лошадей.

Я заказал бутылку местного сухого вина. Это было сухое, но крепкое вино. Я знать не знаю букетов вин. Все они одинаково мне были противны. Я пил, чтобы опьянеть. На вкус и запах мне было наплевать, ибо я начинал этот спорт в сороковых годах с «ленинградской» водки. Кстати, и прошедшие десятилетия не сделали из меня дегустатора.

Вышли музыканты и певица в золотом платье.

Скрипки прихватили душу, взяли в плен, украсили одиночество среди чужих людей знанием чего-то. И я все хотел убедить себя в том, что это я сижу, как пижон, на берегу Адриатического моря, и для меня поет девица. Песня медлительно истекала из ее горла и сразу попадала в микрофон, проносилась по проводам, через катоды

и аноды усилителей. Песня превращалась в потоки электронов и протонов, металась в вакууме радиоламп, разности потенциалов подавались на выход, работали кварцы, трепетали мембраны. И голос певицы наконец колебал мои барабанные перепонки. Но даже все это не могло убить в живом голосе его красоты и печали. Слова, конечно, были непонятны, но иногда проскальзывали и знакомые. Песня отлетала от столиков ресторана в черное, уже ночное море — к островку Древник-Вели и острову Шолта, на котором горел маяк; песня летела в пролив Сплитски Врата, на мерцающий маяк островка Ливка и мимо группопроблескового маяка Ражань...

Я сегодня так хорошо знаю все эти названия, потому что здесь вдребезги сломались судьбы капитана дальнего плавания Юры Ребристого и бывшего морского агента в сирийском порту Латакия капитана дальнего плавания Евгения Петровича Таренкова. Этот блестящий, удачливый моряк повез меня с Юрой Ребристым на «опель-капитане» по сирийско-библейским местам, чтобы сделать трамповым бродягам мимолетный праздник.

Таренков причастил нас красотой древней православной часовни, которая стоит на вершине сирийского пологого холма среди акаций.

Часовенка была пуста. Никто не жил рядом и не охранял ее.

Зыбкий перламутровый полусвет. Два подстава с металлическими противнями, наполненными песком. Свечи в нише-алтаре.

Усталый Христос и славянская вязь евангельских слов под иконой:

«Блажени есте, егда поносят вас и ижденут,
и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене
ради, радуйтесе и веселитесе, яко мзда ваша
многа на небесех...»

Таренков бросил на нишу-алтарь несколько денежных бумажек, сказал:

— Берите свечи, братцы. И ставьте: направо — за ваших раньше срока погибших, налево — за ныне еще живущих.

И мы с Юрой послушно притеплили и поставили свечи в сосредоточенной и просветленной тишине.

В этой книге слишком часто будет встречаться: «Я тогда знать не знал, что через энное количество лет произойдет то-то или то-то...» Просто это уже не так дневники, как воспоминания.

Юрий Петрович Ребристый умер в море, в дальнем рейсе прямо на судне, был кремирован в Австралии, прах его развеяли над Индийским океаном.

Ребристый был моим первым капитаном в Балтийском пароходстве. Я работал у него вторым помощником на «Челюскинце».

Мы погодки.

Подкосила Юру тяжелая и нелепая авария, суд, разжалование, суровое наказание...

В горах за Латакией Таренков еще раз остановил машину. Мы вышли в сырость горного дубового леса. И среди старых, замшелых дубов услышали шум горной реки. Она текла в ущелье. Через ущелье горбатился одноарочный каменный мост, обросший мхом.

— Его строили еще римляне,— сказал Таренков.

— Камо грядеши?— громко спросил в вечность Юра, приостановившись у края ущелья.

— ...Камо-о... грядеш...— повторило торжественно эхо.

Огромные деревья спускались по склонам к реке. Их черные, влажные стволы густо оплетали плющи. Между каменьев росли нежные, как наши подснежники, цветы — белые и голубые. И лиловые фиалки. Горная вода в речке клокотала отчужденно, ее звонкие взбулькивания возле устоев римского моста подчеркивали тишину древности.

— Если в том, что всю жизнь болтаемся по морям, есть какой-то смысл, то, наверное, он в таких минутах,— пробормотал Юра.

Поздним уже вечером Таренков привез нас на берег Средиземного моря к разбитому итальянскому теплоходу. На мель судно выкинуло ураганом, а потом береговые люди его разорили. Итальянец стоял среди прибойных бурунов почти на ровном киле, без крена, высоко и нелепо вздымались его отвесные борта в ветреные небеса.

И тут мы тоже долго молчали, глядя на разбитое судно.

Наконец Юра сказал:

— Не повезло макароннику.

А Таренков сказал, не захотев заметить в словах Юры некоторого наигранного юморка:

— Когда нападает тоска, я приезжаю сюда. Один. Даже без жены.

Юра через год, а Евгений Петрович через пять высадили свои суда на камни фактически в этом же Средиземном море, ибо Адриатическое в него входит, и почти на видимости ресторана «Сплитски Врата».

«Теплоход «Профессор Николай Баранский» Балтийского пароходства, валовой вместимостью 9758 рег. т., 25 декабря 1970 г. при хорошей погоде и отличной видимости следовал Адриатическим морем с грузом леса из Канады в порт Сплит. Капитан судна Ребрый Ю. П. вполне обоснованно решил следовать к порту назначения проливом Сплитски Врата длиной в милю и минимальной шириной около 3 кбт, имеющим хорошую навигационную обстановку. Лоция рекомендует следовать в пролив курсом норд из точки, расположенной значительно южнее входа в него. Вопреки этому указанию капитан, опасаясь сноса течением на прибрежные отмели, проложил курс прямо ко входу. Далее он рассчитывал пройти серединой пролива курсом 10° .

В 19.30 судно следовало курсом 33° полным 16-узловым ходом, находясь примерно в 4 милях от входа в пролив. На мостике находились капитан, вахтенный четвертый помощник, рулевой и впередсмотрящий. Старший помощник был отпущен на ужин. Заранее был рассчитан контрольный пеленг 357 маяка на мысе Ливка.

В 19.49, наблюдая за огнем маяка Ливка через визир пеленгатора, вахтенный помощник доложил, что судно вышло на расчетный контрольный пеленг. Капитан в это время, переключив РЛС на шкалу 0,8 мили, подстраивал станцию. Примерно через минуту после доклада о выходе на контрольный пеленг капитан подал команду «Полборта лево!», однако, увидев, что судно разворачивается медленно, приказал положить руль лево на борт. Но время было упущено, теплоход «Профессор Николай Баранский», разворачиваясь влево, на полном ходу вылетел носовой частью на прибрежные камни всего в нескольких десятках метров от маяка Ражань. Средняя потеря осадки составила более полутора метров.

В дальнейшем, с ухудшением погоды, кормовая часть, оставшаяся на плаву, была развернута ближе к берегу и испытывала на волнении сильные удары о грунт. В ре-

зультате судно получило большие повреждения корпуса и винторулевой группы.

Только 30 декабря после отгрузки около 1700 тонн леса с носовой палубы (в основном за борт) судно удалось снять с мели.

Если бы капитан сразу после доклада вахтенного помощника в 19.49 дал команду о повороте влево, судно успело бы еще развернуться и миновать опасность. Но капитан промедлил, и последняя возможность была упущена. Это промедление не может не вызвать удивления — ведь судно стремительно приближалось к берегу, маяк Ражань был прямо по носу. И так близко, что его вспышки должны были освещать рулевую рубку. Причина здесь, видимо, психологическая — состояние, сходное с тем, которое раньше часто называли «радиолокационным гипнозом».

Нельзя не отметить действия капитана сразу после посадки: благодаря верной оценке обстановки, его хладнокровию и решительности судно было спасено...»

Так звучит история на официальном языке.

— И ты, Брут?— спросил меня Юра Ребристый в коридоре Городского суда на Фонтанке. Ему показалось, что я пришел на суд, чтобы говорить внешне утешительные слова, а на деле любоваться на бывшего своего начальника, с которым мы не всегда находили общий язык, попавшего теперь в дерьмо и сидящего со споротыми капитанскими нашивками на жесткой скамье в судном коридоре. Юра ошибался. Я просто знал судью, был у него раньше на одном процессе экспертом. И надеялся «повлиять». Ни черта из моего намерения не вышло... Убытки больше миллиона — статья «Преступная небрежность».

— Юра,— спросил я уже после процесса,— я не прокурорша и не судья. Можешь ты мне объяснить, зачем тебе надо было...

— Крутить радар, когда до маяка четыре кабельтова?— закончил он мой вопрос сам.

— Да, именно это я хотел спросить.

— Я не могу этого объяснить. Это наваждение.

— Ты пил накануне?

— Ты сошел с ума. Я шел с Канады через Северную Атлантику в декабре.

Пожалуй, самый нелепый случай, который произошел со мной на судах, был не в море, а у причала. И связан он

с Юрой. И я ему это напомнил при нашем последнем разговоре, когда горести его остались уже в прошлом и он уже опять был капитаном и уходил на Австралию.

Мы встретились в скверике у пароходства, где каждая скамейка, мусорная урна и даже стволы деревьев пропитались эмоциями расставаний и встреч.

— Юра, а ты помнишь, как мы грузились досками на Лондон, зимой, в лютый мороз, в Лесном порту, и ты все твердил мне с нотками угрозы: «Будьте любезны, следите за тем, чтобы все доски были расшпурены!» А я первый раз грузовым помощником и вообще не знал слова «расшпуривать».

Юра рассмеялся. Расшпуривать — раздвигать доски клиньями, подколачивать деревянными кувалдами. Но возможно такое мероприятие, только если доски достаточно толстые и идут большими партиями. Я грузил мелочовку и маленькими партиями — больше ста коносаментов (коносамент — штука сложная, будем считать их грузовыми накладными). Доски отправлялись индивидуалистам-фермерам в Англию.

Если тоненькие досочки раздвигать мощными клиньями, они просто-напросто горбятся и лопаются. А каждую фермерскую партию надо раскладывать плашмя от борта до борта и малевать на ней номер накладной, отбивая каждый номер краской определенного цвета. Где столько краски взять? Помню, я даже дымовую сажу разводил в воде. Мороз такой, что краска в ведрах замерзает. Грузчики на пределе бешенства, ибо простаивают, а я лазаю по трюмам и еще требую расшпуривать, они меня — матом. Конечно, никакой свой план грузчики бы не выполнили, если бы согласились на нелепые требования. Надоел я им хуже горькой редьки — они же давно поняли, что в деле я не разбираюсь. Ну, и решили припугнуть. И вот, когда я очередной раз залез в трюм и закатил очередную истерику, над моей башкой завис подъем леса. А дальше случилось то, чего мои враги не могли предвидеть. Крановщик зазевался, и пятитонный подъем досок полетел вниз. Не знаю, какой звериный инстинкт сработал и каким чудом я успел выкинуться со скоб-трапа на твиндек; выкинулся боком и, уже лежа, увидел, как пакет досок торцом ударился в трюмную переборку на том месте, где я секунду назад находился. Гул и грохот разнесся по всему огромному теплоходу — с большого кача пакет ударился. Мокрой лепешкой рухнул бы я метров с десяти

на обледенелую сталь. Так и не знаю, только попугать собрались докеры тупого и настырного штурмана или...

Конечно, любой моряк вспомнит несколько случаев, когда побывал рядом со смертью на погрузке или выгрузке, но это «расшпуривание» мне особенно запомнилось.

Рассказал я все это Юре в пароходском скверике. Он посмеялся, потом спрашивает:

— Честно говори, ненавидел ты меня тогда?

— Да, старина, был грех. Спать не мог от ненависти. Зачем ты от меня эту ненаучную фантастику требовал?

Он опять рассмеялся.

— А я,— говорит,— тогда сам первый раз в жизни имел дело с досками. Помнил только с училища: «Для полного использования кубатуры трюмов необходимо тщательно следить за расшпуриванием леса...» Ну, а еще когда ты меня ненавидел?

— Когда ты выпивал на стоянках, а мне запрещал.

— А еще?

— Когда заставлял печатать на машинке свои документы.

— И такое было?

— Было.

— Ладно, меняй гнев на милость.

— Давно сменял.

— А знаешь, с досками у меня что-то роковое связано. Сели в Сплитских Вратах, погода ухудшается. Что делать? Тысячу семьсот тонн леса за борт выкинул. Его вокруг судна качает, в борта жахает. Думали какую-нибудь боновую запруду соорудить, чтобы хоть часть груза не унесло. Но куда там... И еще все время попугаи орут. Набрали мои морячки попугаев. На продажу, конечно. А потом, когда поволокли теплоход в Одессу на буксире, у меня в Дарданеллах вдруг правая рука отнялась. Надо подписывать кипы документов, а я не могу ручку взять. И начальник на борту крупный, вижу: не верит мне, думает, симулирую, чтобы специально не подписывать. Во положеньце!..

Во всех мемуарах диалог вообще всегда выглядит обыкновенной липой, если, конечно, у тебя за пазухой не было магнитофона. Но и пересказ не годится. Ведь мы тогда РАЗГОВАРИВАЛИ...

На девятый день был у его вдовы. Ждал слез. Не дождался. Она держала себя в руках. И отчаянно ругала моряков. Вот, мол, вечно бегаєте от трудного, серого, страшного. Только в семье какие-нибудь неприятности — дочь в институт не приняли, бабушка при смерти, зять запил — вы шмыг в моря! И там себе безбедно шатаетесь, а мы на суше все расхлебываем. И до того, мол, вы самолюбленные, что вот захотите прямо в море помереть, и тут вам лафа — там и мрете, а как здесь теперь без вас жить? Если даже могилы не осталось? Как дочь воспитывать?

Оказывается, Юра еще в курсантские времена сказал невесте, что решил умереть на мостике. И его вздорное по современным временам желание взяло да и сбылось.

...Красивая певица пела в ресторанчике «Сплитски Врата» на набережной Сплита.

Слова, конечно, были непонятны, но иногда проскальзывали и знакомые. Песня отлетала от уютных ресторанных столиков в черное, уже ночное море, к проливу Сплитски Врата. Один-два слушателя-туриста поднимали над головой руки и делали несколько хлопков. Певица наклоняла к самым губам стебель микрофона и говорила слова благодарности. Ее тяжелое платье искрилось под прожектором, как перья сказочной птицы.

Бог мой, какая тоска по Франциске начала шевелиться во мне... Официант совершил тур вальса вокруг столика, опоражнивая пепельницу, заменяя стакан со льдом. Я помнил его пальцем. Он застыл и изогнулся.

— Вы не могли бы мне перевести слова песни?— попросил я.

— О! Пожалуйста! Это не наша пьеснь. Мадьярска пьеснь... Бедный крестьянин... Бьедняк... Пойма чужую лошадь... Его пойма и закрыли в тюрьму... Пойма и закрыли на дно тюрьмы...

— Грустная песня,— сказал я.

— О! Йес!— он испытывал глазами: чего мне еще понадобится?

Певица запела опять, гортанно, покачиваясь вместе со стеблем микрофона.

— А что она поет теперь?— спросил я. Я не стал бы так утруждать отечественного официанта. Да он и не стал бы утруждаться.

— Опять мадьярска пьеснь... «Во мне вино... уже два литра... и потому у меня хорошее настроение... У меня собачье настроение... Я собака, и потому мне очень хо-рошо...»

Я повернул стул спинкой к другим ресторанным посетителям и устался в черное, ночное уже море.

Между мной и набережной шли гуляющие. Все они шли сами по себе. Отчужденность была стопроцентная. Или я просто не умею общаться с незнакомыми, или действительно всем было наплевать друг на друга. И мне тоже стало свободно. Я достал блокнот и кое-что записал о Франциске, о своей рабской трусости. Это нужно было потому, что тогда я думал о рассказе про первую любовь; детскую, начавшуюся еще где-нибудь во втором классе, но пронесенную потом через всю жизнь, хотя совершенно несостоявшуюся по причине трусости героя.

В те годы Юрий Казаков замечательно писал такие вещи, и его рассказы возбуждали и заводили, навевая очень серьезное и сильное желание творчества. В его рассказах на нескольких страницах то как-то медлительно, то мгновенно ощущались и неизбежность, и конечность времени и времен.

Романтизм есть или должен быть в любой художественности. Я не о литературоведческом романтизме. О романтической составляющей красоты. В самом приниженном и грязном реализме, в самом распущенном футуризме, в самом холодном классицизме, если они искусство, есть романтизм, ибо «если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно».

Не знаю, пробовал ли Юрий Петрович Ребристый писать, но читатель он был с большой буквы. Он с детства жил с книгами, стихами. Я-то знаю, как сложно уместить в закутке души двух таких своенравных и ревнивых, прекрасных и коварных, юных и вечных женщин, как любовь к морю, морской серьезной работе, и любовь к художественному.

Вот море Юре и отомстило. Уверен, оно толкнуло его к экрану радара, когда сполохи маяка на входе в пролив Сплитски Врата уже высвечивали самые потаенные углы рулевой рубки. Зачем ему был радар? Наваждение... «Если в том, что болтаемся по морям всю жизнь, есть смысл, то он в таких минутах...» «Камо грядеши?..» Как-кая-то дурацкая строчка мелькнула в усталом мозгу капитана, эхо стихотворения — и «Профессор Николай Баранский» загрохотал по камням.

После тяжелых аварий у большинства капитанов возникает отчуждение от моря и обыкновенный страх, даже если им разрешают работать; страх перед необходимостью вести судно дальше, и дальше, и дальше...

Конрад, конечно, все это отлично знал. И в тридцать семь лет бросил плавать.

Наши капитаны уходят на пенсию в шестьдесят!

...Ночная тишина спускалась с гор на южный город Сплит.

Музыка смолкла, и певица исчезла.

Только Адриатика чуть шелестела штилевым накатом.

«Пассажирский теплоход «Латвия» Черноморского пароходства валовой вместимостью 5035 рег. т. 6 июня 1975 г. при хорошей погоде и отличной видимости следовал из Корфу в порт Сплит с пассажирами на борту. В 09.30 третий помощник капитана взял пеленг и измерил расстояние до ориентира, ошибочно принятого им за остров Стипански. В дальнейшем, продолжая определяться тем же методом и по тому же ориентиру и видя, что точки «уходят» влево от курса, он, не известив капитана, постепенно уклонился вправо от назначенного курса 346, ведущего в Шолтанский пролив, на курс 357°, который вел в другой узкий проход между островами. В 09.30 капитан поднялся на мостик. С обстановкой он познакомился чисто зрительно, не проверив достоверность обсерваций третьего помощника. Взглянув через четверть часа (впервые после возвращения на мостик) на прокладку, он не увидел ничего сомнительного. И только в 09.53, видя остров прямо по носу в непосредственной близости, капитан засомневался в достоверности места судна. Посмотрев на карту, он понял наконец весь драматизм ситуации. Надеясь еще провести судно узким проходом между островами, он скомандовал: «Право на борт!» Но было поздно. Примерно через полминуты, развернувшись всего на 20°, судно ударились о каменистый грунт, получив очень большие повреждения».

Капитаном был тот человек, который возил нас к часовне в Сирии и подарил мне «Мимолетный праздник» — любимая мною глава из книги «Среди мифов и рифов».

Когда не пишется, я иногда слышу голос старого-старого писателя, его слова навеяны той главой: «Ты рас-

сказывай нам о портах; там где-то жила Мария Магдалина, которую не забыть. Деревья ушли, люди измельчали, но память о Магдалине прекрасна. Напиши о берегах, за которыми скрываются люди... Милый друг, ты уже часто теряешь голос... Остаются мифы не в пепле, а живые и требующие воспоминаний. То, что ты не написал, мяукает, забытое в корзинке. А сам не мяукай. Помни Марию Магдалину, которая во что-то верила и потому жива и бессмертна...»

Столики на набережной Сплита опустели, а я все сидел, решив ночевать в машине, потому что гостиницу заказать не удосужился. Это меня не пугало. Мне нравится ночевать в машине и глядеть из нее ранним-ранним утром на просыпающиеся города.

Кто-то плюхнулся за мой столик.

Я не обернулся, продолжал смотреть на далекие вспышки маяков, которые не помогут здесь моим товарищам.

— Не будь дураком! Зачем тратил в дорогом кабаке валюту на выпивку?

Тут уж я обернулся.

И как наш советский брат умудряется узнавать друг друга в самой экзотической обстановке и в дальней дали от дома? Рядом сидел громила. Слегка согнув ноги в коленках, я бы свободно разместился в его брюхе, как давний мой сумасшедший герой Геннадий Петрович Матюхин в кашалоте. Оказался боцманом со строящегося здесь танкера «Маршал Бирюзов». Одессит он был стопроцентный, ибо второй фразой была:

— Здесь, кореш, надо покупать каблуки, женское белье и...

— Откуда ты догадался, что я из Союза? И что такое каблуки?

Он не стал отвечать на такие глупые вопросы. Уже потом я узнал, что «каблуки» — все виды кожаной обуви.

— И не будь дураком. Последний раз говорю: не трать валюту на выпивку. Пошли. Покажу.

— Куда?

— В аптеку.

— Зачем?

Он не стал отвечать. В аптеке он купил литровую бутылку чистого медицинского спирта. Она стояла на наши деньги рубль.

— Всякие кретины туристы платят здесь столько за рюмку паршивого коньяку, — объяснил боцман. — Они до сих пор не знают, что водка это вода плюс спирт. Пошли.

— Куда?

— На хауз.

Мы пришли в отель, где на берегу проживала приемная команда танкера «Маршал Бирюзов».

— Смотри! — сказал Жора и открыл шкаф. Он был битком набит каблуками и разными другими коробками. Потом Жора открыл спирт и кран в умывальнике.

Дальнейшее мне было ясно без слов.

Боцман напустил воды в бутылку с этикеткой «столличная», добавил спирта и позвонил по телефону.

Явился изящный, в черном фраке, пожилой мужчина с манерами лорда. Он был ни больше, ни меньше — главным администратором отеля. Маленькими глоточками аристократ-лорд выпил стакан теплой, еще не устоявшейся смеси, от одного взгляда на которую меня мутило.

— О! Русский водка! — приговаривал лорд.

Потом лег на стол, даже не раскинув фалды фрака.

Жора бережно взял его на руки и отнес куда-то вниз, а вернувшись, сказал, что номер для меня будет на теневой стороне и что администрация извиняется за неисправный кондишен, но через час кондишен наладят.

Мне было ясно, что бежать надо сломя голову, но что я мог поделаться с этим одесситом? Черт догадал меня иметь такой безошибочно российский вид даже в шортах!

Только во второй половине следующего дня удалось покинуть Сплит. В чрезвычайно собачьем настроении.

МУРМАНСК

Мурманск встретил неласково.

Речь в данном случае не о погоде — про таможду.

Дохлые курицы на датских джинсах были сочтены мурманскими таможенниками за североамериканских орлов. Владельцам джинсов было предложено куриц с задних карманов спороть.

Сидим в каюте В. В. и портняжничаем с помощью маникюрных ножниц Нины Михайловны, которая в обморок пока не падает. Зато я мечу молнии и икру в глупость мурманских таможенников.

— Бросьте вы, трите к носу,— успокаивает В. В., любясь сквозь очки на свою тонкую портняжную работу.— Все таможенники на планете одинаковы. Недавно я в Гулле рядом с американским танкером стоял. И капитан рассказал британский анекдот. Случилось у одного джентльмена сотрясение мозгов. Привезли в больницу. Там все по последнему слову медицинской науки для трансплантации любых органов. Ввиду необходимости капитального ремонта головы джентльмену ее отрезали, а телу велели ехать домой, лечь в постель и вернуться за отремонтированной головой через трое суток. Чего вы на меня так глаза вылупили? Да-да, это все правда, это совсем не из жизни кроликов! Проходит трое суток — тело джентльмена за башкой не является. На четвертые сутки его тоже нет. Голова в холодильнике начинает тухнуть, главный хирург беспокоится, звонит телу клиента по телефону и требует немедленной явки, а тело джентльмена ему: «Спасибо, док, но голова мне больше не нужна: я нашел работу в таможне». — «Поздравляю, сэр. Куда вы назначены?» — «В Ливерпуль, сэр». — «Скажите своему боссу, что я рекомендовал вас в Лондон». — «Благодарю, сэр». — «Не стоит благодарности, сэр».

К концу британского анекдота пришел со споротым американским орлом в руках Октавиан Эдуардович, спрашивает:

— А куда нам этих трансплантированных куриц-то девать? Что на эту тему? Какие указания?

— Когда орел отделен от джинсов, он является обыкновенным сувениром и по законам нашей таможни опасности для СССР уже не представляет. Засуньте его в задний карман, а супруга, если вам так уж захочется, пришпандорит его обратно. Я лично выкину его за борт, будь он проклят, уже руки трясутся от такой ювелирной работы. Добротню пришивают, сволочи! — объяснил В. В.

— А вот нашим пожарникам голова тоже без всякой надобности, — говорит Октавиан Эдуардович. — Господи, как бы вы курить бросили! Атмосфера как в ротном курительном салоне на двадцать посадочных мест.

— Странные вы люди, старшие механики, — говорит капитан, закуривая новую «Пелл-Мелл». — Ненавидите пожарников, как глупые собаки кошек.

— Да я про хорошего пожарника, он мне вроде как отец был, — говорит старший механик. — Драпанул очередной раз из детдома. Ранняя весна, холодно. Элеватор горит. После бомбежки. Я возле него греться устроился.

Тут меня батя и подобрал. Капитан был по званию. Из профессиональных довоенных пожарников. Пожилой уже — на фронт не взяли. Вдовец с пятью детьми. С матерью жил, бодренькой такой старушкой. Ну, и меня подобрал. Принцип известный — где пять, там и шестого прокормим. Святые люди. Я у них месяца три кантовался. Является батя как-то сильно поддавший, веселенький, майора ему присвоили. А на письменном столе у них старинный чернильный прибор стоял — главная семейная ценность в доме. Черномор, и вокруг на цепи ходит кот ученый или что-то в таком роде — точно уже не помню, хотя я несколько раз эту реликвию нацеливался украсть. Уселся батя за стол да как рявкнет, да как кулаком жакнет, — а человек был смиреннейший, мухи не обидит. Теперь, говорит, я все одно что полный енерал! А ежели енерал, то на все бумажки плевал! Мамаша, выкидывай к едрене фене енту чернильницу! Ну, мамаша, женщина исполнительная, убрала черномора с ученым котом в диван. Батя опять кулаком по столу. А теперь, говорит, выкидывай с шестого этажа и мою башку! Мамаша спрашивает: как же ты, сынок, без башки-то? А батя объясняет, что пожарный майор и без башки всюду, даже в Африке, енерал!..

И анекдоты эти дурацкие, и истории дурацкие, но вы себе и ситуацию представьте.

Сидят в каюте три старых моряка — всем за пятьдесят — и спарывают орла с джинсов.

Еще вдруг боцман заглядывает, а у него глаза прозрачно-голубые, глаза этакого веселого убийцы, и спрашивает:

— А вот ежели бы орел спереди был пришит, то его тоже спарывать заставили?

— А тебе зачем знать? — спрашивает Октавиан Эдуардович.

— Я так рассуждаю, — говорит боцман, — если б у нас на заднем кармане был серп и молот изображен, то тогда еще понять можно. А так-то мы же на ихнего орла каждый раз садимся и попираем?

Ну что ты объяснишь этому младшему командиру?

По своей глупости ситуация напомнила мне другой случай. Отходили мы из Риги на Антарктиду с полным грузом наших зимовщиков-полярников, а у пограничников, которые оформляют отход, на лицах мертво-железобетонные выражения. И вот пассажирский помощник попросил пограничного начальника-подполковника прика-

зять солдатам сделать веселые выражения, доброжелательные, потому что мы не простых пассажиров или иностранцев увозим от родных берегов, а героев-полярников, которым впереди больше года антарктические пустыни покорять. Подполковник это предложение обдумал, согласился с пассажирским помощником и приказал своим солдатам улыбаться. И они улыбались часа два подряд, пока мы оформляли отход. Поверьте, это было зрелище! Застывшие на два часа улыбки на молодых замерзших рожах. Мороз в Риге был минус восемь. Мадам Тюссо такие рожи и во сне не мечтались. А мне иногда думается, что солдатики после нашего уплытия привести рожи в нормальное состояние так никогда больше и не смогут — и помирать будут с такими сардоническими перекосами физиономий.

Шестое августа, Мурманск, погрузка овощей и винно-водочных изделий на порт Певек.

Взял такси и поехал в свое прошлое. Доехал до самого штаба АСС. Оставил машину у ангара со спасательным имуществом и пошел на причал. У причала стояло два спасателя — «Алдан» и «Агат».

Через дежурного мичмана передал командиру «Алдана» визитную карточку.

Мичман ушел, а я отошел к торцу причала и оглянулся вокруг с явственным ощущением того, что смотрю кино.

Огромный, почерневший от времени ангар. Сопки, поросшие еще зелеными рябинами. Отлив, запах отлива, то есть запах гниющей тины. Круглые туши судоподъемных понтонов — ухоженные понтоны, покрашенные свежей чернью. Здание штаба на горке, деревянная лестница к нему. И деревянный настил причала с кое-где провалившимися досками...

Действительно, кино... На этот причал я пришел больше четверти века назад с чемоданом, который переехал паровоз в Мурманске. От этого причала я двенадцать раз уходил в море по сигналу «SOS». Зимой, когда антенны над штабом принимали сигнал бедствия, врубался ревун, вспыхивали прожектора на причале, распахивались огромные ворота ангара, грузовики везли к кораблю помпы, троса, пластыри, бочки цемента. В малюсеньких домишках, которые и сейчас лепятся по сопкам и где проживали женатые офицеры, вспыхивали окна; посыльные матросы обегали по тревоге офицеров, и через двадцать-

тридцать минут часовой скидывал с причальных тумб наши концы.

На этом причале я занимался с матросами строевой подготовкой: обучение хождению строевым шагом по разделениям в составе отделений. Хождение строевым шагом в шеренгу по десять. Расчет по два и сдваивание рядов в составе взвода. Отработка строевого шага и равенение в шеренгу по пяти. А метель метет во всю ивановскую, а моих подчиненных — матросов, коцегаров, старшин и радистов всего-то полтора десятка. Почти все эти ребята списаны с боевых кораблей за самые разнообразные грехи. Выгнать их на плац-парад ради такой полнейшей бессмыслицы, как шагание взад-вперед с приветствиями на ходу, пожалуй, иногда было труднее, нежели заставить пронырнуть под килем нашего «Вайгача». А в защищенном от ветра уголке сидели две собаки и с интересом глядели на строевую подготовку.

Чего-то нынче я не вижу здесь собак.

Наши псыны, конечно, были приبلудные. Один черный здоровенный кобель, другая — сучка — маленькая, белая, с коричневым ухом, коричневым пятном с правого боку и хвостом наполовину коричневым и наполовину белым. Это было мускулистое, пружинистое существо, озорное, азартное и ревнивое. Она была главной организаторшей игровых побоищ и первой начинала вдруг вполне бессмысленно лаять на пустоту вокруг.

Его звали Шторм.

Он был стар, но тоже задирист. Боевое прошлое украсило его морду добрым десятком зарубцевавшихся, но так и не заросших шерстью шрамов. Воспоминания о бывших победах вели старика в новые и новые бои, но клыки и хватка подводили все чаще. В общем, глядя на него, можно было сказать: «Кости молодые, но дороги наши старые, а почта жизни сурова».

Веселенькую сучку звали Прилипала. Она сопровождала Шторма, как рыба-прилипала — акулу.

Обе собаки встречали нас, когда мы возвращались с моря, на причале. И только в эти моменты допускались на борт.

После одного из возвращений Шторма на причале не оказалось.

Силуэт женщины был, силуэт часового был, Прилипала заливалась веселым лаем, а моего главного любимца не было.

О силуэте женщины. Это была жена старшего лейте-

нанта Ханнанова. Она работала в нашей поликлинике и как-то даже слишком возвышенно, болезненно любила мужа и беспокоилась за него. За каждое появление на причале Ханнанов ее самым обыкновенным образом бил, потому что стыдился такой женской привязанности перед нами.

Но вернемся к Шторму. Его не было и день, и два, и три, а я не решался спросить про его судьбу, чтобы не узнать плохого.

И вдруг встретились возле штаба. Шторм брел по снегу, очень низко опустив тяжелую, мохнатую морду, и сильно хромал. Я присел перед ним на корточки, чтобы поздороваться, и увидел жуткую рану на его левом ухе. Оно было наполовину оторвано, рана кровоточила, и кровь плохо замерзала на легком морозце. Глубокая рана была и на лапе, но эту он мог зализывать, а ухо болталось беспомощно и бесхозно.

Шторм стонал и глядел на меня глазами человека, который узнал, что у него рак. А его горести, раны и беды усугублялись еще тем, что за время нашего отсутствия появился в поселке молодой наглый пес. Он сразу снюхался с Прилипалой, и та перестала обращать на Шторма внимание.

Молодые, упругие, веселые псы носились по снегу и хулиганили, а Шторм лежал в будке часового и, как в знаменитой песне поется, был уже этаким старым генерал, который «весь израненный и жалобно сто-нал»...

Раны его заживали медленно, но аппетит был зверский, все братцы-спасатели ухаживали за ним. И он поправился, и так дал прикурить новому дружку Прилипа-лы, что я того больше в поселке не видел...

Вышел дежурный мичман и провел меня к командиру корабля. Командира звали Юра, ему было тридцать во-семь лет, смотрел он на меня, как на воскресшего покой-ника, никак не мог понять, что перед ним человек, книги которого стоят на полке у него в каюте.

— Значит, вы у этого самого причала тогда кружку и поднимали?— спросил он и пригласил меня обедать в кают-компанию.

На столе в кают-компании лежали два огромных ар-буза. Арбузы на спасательном корабле в Заполярье!

Назавтра корабль уходил.

Юра оказался из тех моряков, которые рождены для аварийно-спасательной работы. Я видел, что он счастлив

быть тем, кем он был, и что его не удручает тот факт, что должность командира корабля соответствует званию всего-навсего капитана третьего ранга.

Потому я пожелал ему на прощанье спокойного плавания и не менее двух аварийно-спасательных операций за время дежурства.

Корабль чистился к предотходному смотру высоким начальством. Все вокруг мыли. И когда мы шли к трапу, то капитана третьего ранга и меня окатили мыльной водой. Командир смутился, хотя все это было так же естественно, как неестественны были мои ощущения от возврата к тому лейтенанту, который четверть века назад опускался возле этого причала за борт в трехболтовом скафандре с заданием найти на грунте и поднять на поверхность железную кружку.

Конечно, вспомнилось и неудачное спасение «СС-188». Я этим джек-лондоновским приключением уже много раз в прошлых книгах хвастался.

С гибнущего на Могильном рейде у острова Кильдин в январе 1953 года корабля нас снимал brave капитан-лейтенант Загоруйко, но выгрести на обыкновенной весельной шлюпке-шестерке к родному «Вайгачу» Загоруйко не смог, и попал я в бессознательном состоянии на другой корабль — «Водолаз». Там пришел в себя, когда всех нас, обмороженных, завалили в душевую. (Интересно, что со страху мы так надували друг другу спасательные жилеты, что у меня на груди и на спине, по рассказам ребят, оказалось два сухих пятна, — раздувшийся резиновый жилет придавил одежду к телу с такой судорожной мощностью, что вода туда не смогла профильтроваться.) Из душевой меня перетащили в койку второго механика, которая оказалась свободна, ибо хозяин был на вахте. И там я или опять вырубился, или просто заснул мертвым сном. А когда очухался и открыл глаза, то рядом оказалась прекрасная женщина.

Она оперлась подбородком на сплетенные руки и глядела на меня. Она была совсем рядом, в полуметре. Как же, вероятно, я свои глаза выпучил!

И далеко не сразу уразумел, что я в чужой койке, в чужой каюте, на чужом корабле лежу носом в переборку, а к переборке на кнопках прикреплена фотография молодой и прекрасной артистки Тамары Макаровой.

Спустя лет десять снимается морской фильм. Натуру режиссер, естественно, выбирает, никак с автором не со-

ветуясь: «мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Это классическая формула в отношениях режиссера с авторами. Но тут чего-то где-то заело, и автор потребовался. Меня посадили в самолет, высадили в Мурманске, посадили на катер, повезли куда я знать не знал, ибо дрых; высадили на необитаемый какой-то берег, посадили в «газик» и наконец окончательно вытряхнули на съемочную площадку.

И я оказался на острове Кильдин, на берегу рейда Могильный.

Съемки были ночные. Возле пенной полосы приборя светили мощные киношные прожекторы. Они светили на камни Сундуки, но этих совпадений мало.

Носовая часть утонувшего «СС-188» валялась всего метрах в ста от съемочной площадки. Какой-то жуткий ураган вырвал останки корабля из морских глубин и вышвырнул далеко за урез обычного приборя.

Для обогрева съемочной группы и актера Бориса Федоровича Андреева, которому следовало по ходу дела залезать в Баренцево море, горел костер. В камнях, на которых он горел, были прослойка сланца или чего-то другого взрывоподобного. Во всяком случае, раскалившиеся камни под костром выстреливали огненной шрапнелью. И напоминали мне, естественно, сигнальные ракеты и как мы пуляли ими с тонущего корабля в черные небеса, пока ракеты не кончились.

Уберегаясь от раскаленной каменной шрапнели, а может быть, из-за несколько мистической сентиментальности, я полез через скалы к останкам «СС-188» и потрогал ржавое, страшно искореженное и бесформенное железо... Сочините рассказ о том, как автор участвует в киносъемках на том самом месте, где он тонул. И каждый скажет вам, что вы сбрендили.

Не припомню случая, когда хоть один из профессиональных морских спасателей печатно рассказал бы про свои приключения правду, только правду и всю правду. Тут должна обязательно получиться такая смесь саморекламного бахвальства с чистосердечным признанием о мгновениях панического ужаса, что никакая бумага не выдержит.

Кроме этого, всякое спасение на море — сложнейшая юридическая каша. И рассказчики опасаются навредить кому-нибудь или просто самому себе.

Экзюпери где-то говорит, что спасенные не любят благодарить спасателей. Они их не только благодарить не

любят, но терпеть не могут даже вспоминать про наличие спасателей на этом свете.

В каюте-медизоляторе нет такого стола, на котором возможно прочно закрепить машинку. Сегодня соорудил из кресла, брючного ремня, полутора метров бечевки и четырехугольной металлической заглушки из иллюминатора великолепный подиум для своей капризной «Эрики». Правда, гостей теперь можно будет принимать только на койке.

Упоенно-тихое состояние духа — нет земли и быта. И даже плохие ледовые прогнозы не портят настроения. Погрузка идет нормально — принимаем в третий трюм коньяк и бормотуху.

На рынке у грузин купил слив, винограду, а на распродаже пять пар носков и штук десять разных журналов. Возвращался с берега, обремененный денежной мелочью. Во всех карманах грамм по сто медяков и серебра. И почему у меня ее вечно столько набирается?

Возвращался на судно и думал о том, что, кажется, я уже и порты привык любить. А многие годы они меня как-то отчуждали и пугали. Нынче же нравятся даже порталные краны с их верблюдно-жирафной надменной неторопливостью.

А вот припортовые полупустыри, пыльный бурьян, малиново-фиолетовые репейники, напоминающие почему-то о Хаджи-Мурате; иван-чай, чахлая трава вдоль подъездных железнодорожных путей, капли мазута на шпалах и запах мазута от беспощадно загаженной прибрежной воды; и гудки, и лязг буферов, перекатывающийся перестук трогającegoся товарного состава, и голоса диспетчеров: «Осторожно! Подаю на шестой!» — все это я люблю с детства.

И эти гудки, и гулкие голоса из металла обостряют ощущение приближающегося ухода в бескрайние пространства морей...

В мурманском магазине возле базара первый раз после войны видел продуктовые карточки — талоны на колбасу и масло.

Вечные сложности с электрическим чайником. Недавно сгорел теплоход «Касьянов». Из-за какого-то электро-

прибора сгорел. И вот теперь с обновившейся строгостью изымают со всех пароходов электрочайники.

Говорю В. В., что по такой логике следует отобрать ото всего народонаселения СССР не только чайники, но и электроутюги. Ибо, вероятно, никто из академиков еще не подсчитал, сколько необразованных старушенций сгорает по вине этой страшной техники.

В. В. философски:

— Вот ежели кто на судне повесится, то это единственный случай будет, когда все веревки не реквизируют с пароходов.

Я не сразу понял, о чем он. В. В., по своему обычаю, вдохнул, выдохнул и объяснил терпеливо:

— Понимаете, Виктор Викторович, невозможно пока морякам без веревок и тросов плавать. Потом-то придумают магниты какие-нибудь для притягивания судов к причалу. Вот тогда уж бди в оба, чтобы кто у тебя ненароком не повесился,— иначе и шнуры с ботинок отберут.

Из новостей науки и техники в области саннадзора в Мурманске. Пришла ревизорша-докторша и капала из пипетки какую-то хитрую химию на ладонки буфетчице и дневальной. Если на конечностях есть следы хлора, то капля реактива остается прозрачной, а если почернела,— значит, после уборки галюна обслуга не сует руки в дезинфекционный раствор.

Наша Мандмузель, Нина Михайловна, на всей этой химии погорела. Зато внизу — дневальная Клава успела сунуть лапы прямо в негашеную известь.

Отошли от причала № 11 в 11.00. Буксиры «Торос» и «Кижы». Раскантовались в ковше и тихо поплыли мимо корабельного кладбища, мимо огромного рудовоза «Александр Невский», мимо памятника заполярному солдату на высокой сопке, ну, и, конечно, мимо мыса Мишуков, где когда-то поднимали и топили австралийский транспорт «Алкао-Кадет», с борта которого началась моя первая дорога в Арктику.

Все время слежу себя: есть в душе тревожность или нет? Все-таки впереди лед, который всегда остается прежним, а я еще плохо знаю своего помощника Митрофана

Митрофановича, рулевых матросов, характер судна. Темный лес вокруг. Так что слабенькая, но тревожность где-то под сердцем живет.

Одинаково не люблю как волевого сопротивления себе, так и податливой уступчивости, как хамства, так и угодливости. Это к тому, что мое замечательное сооружение — стол из кресла, брючного ремня и бечевки — оказалось за время моего отсутствия демонтированным.

Самодетельность проявил электромеханик. Он выпилил из двойной фанеры настоящую столешницу и фирменно закрепил ее на ручках кресла. Но! Я ведь теперь буду этим ему обязан. И еще мы с ним, увы, соседи...

На судне, как это бывает и на земле, ежели близкие соседи оказывают непрошеную услугу, то частенько выходит так, что принять ее ты вынужден и терпеть потом ее вынужден, хотя она, эта услуга, может оказаться и неудобной, и даже нелепой. Но ведь не станешь же обижать соседа, с которым тебе предстоит общая дальняя дорога.

В МОРЕ БАРЕНЦА

Через сутки после отхода общесудовая тревога со спуском шлюпок до воды без посадки в них людей.

— А почему бы тогда их туда не посадить? — спросил я у В. В.

— Времени много потеряем. А тревогу попрошу провести вас.

— Есть.

Капитан хочет, чтобы экипаж меня увидел и чтобы я экипаж увидел. И еще он хочет сам на меня посмотреть.

Играю тревогу. Капитан заступает на ходовую вахту в рубке, отпустив Митрофана.

Начинается с того, что старпом выходит по тревоге без шапки.

Делать ему замечание или нет? На Севере по тревоге люди должны выходить добротнo одетыми: лучше потерять минуту на одевание, нежели потому простудиться. Да и много ли поработаешь на палубе без шапки или в тапочках? Старпом — образец для команды. Но... «Но!» Если капитан — мужчина крупный и грузный, то старпом

Станислав Матвеевич Кондаков — просто громадина. Голову вынужден держать все время чуть склонив — плафоны на подволоках для него опасны. И потому к ношению головного убора решительно не приучен. Старпом — добряк, флегматичен, медлителен. Но иногда мастер называет его Гангстером. И тут не только юмор. Иначе Октавиан не сказал бы про него: «Наш чиф как звезданет из-за сарая, так хрен опомнишься вовек!»

Короче говоря, не будем делать замечания, просто скажем:

— Менингита не боитесь, Станислав Матвеевич?

И на это насупился. Не любит не только замечаний, но и намеков на них.

При спуске левой шлюпки люди запутались с фалинем. Пришлось конец перетравливать и обносить. Спускали минут пятнадцать. Обычное дело, хотя и хорошего мало.

При подъеме правой шлюпки неравномерно пошли тали, и она перекосилась. Редкий случай. Тут и не поймешь, кто или что виновато. Командир этой шлюпки Митрофан. Промучились с подъемом на ветру и в холодрыге минут тридцать. Это уже просто безобразно. Боцман мучился с таями, а Митрофан только наблюдал. Он из матросов, прошел и боцманство. Почему не вмешивался?.. Из крестьян, первое городское поколение, сорок лет, образование среднее — капитаном никогда не будет.

Поинтересовался потом у В. В., как секонд шевелится во льдах?

— Митрофан Митрофанович — хороший грузовой помощник. И штурман тщательный. Но его под прессом надо держать. Легко плохим веяниям поддается. Вот возьмите кенарей. Своей хорошей песни у них нет. Обезьянничают. У меня как-то соседом композитор жил. И кенари через стенку его наслушались и такие фуги начали выдавать, как в Домском соборе. И вот учишь, учишь кенаря благородному пению, потом уйдешь на часок и забудешь форточку открытой. Вернешься, а кенарь воробьев наслушался через форточку и, как Фома Фомич любит говорить, уже только вульгарно чирикает. Так вот, перечить ему — Митрофану, — как и кенарю, не следует силой голоса. Если на кенаря начнешь орать, и он в ответ будет орать. Ты громче — и он громче. Сутки орать будет, и тебя переорет, и всех других птиц. Сплошная мука с этими кенарями...

— Вас понял, — сказал я, — спасибо.

— На здоровье, — сказал В. В., шумно вздохнув.

— Вы на подводных лодках служили когда?

— А чего спрашиваете?

— Курсантом проходил практику. При кислородном голодании на лодке трудно говорить. Прежде чем сказать что-либо, надо набрать полную грудь воздуха и только потом, на выдохе, произнесешь нужную фразу. Иначе этакий неразборчивый, свистящий хрип выходит.

— Нет. У меня другое. Махонький осколочек левое легкое зацепил. С кончик парусной иглы осколочек. Его из меня магнитом уже в мирные времена тасили. Какие еще замечания по тревоге?

— Старпом без шапки. Общая отработанность нормальная. Концы шкентелей не оставили на палубе. Если по ним спускаться, по мусингам, без штормтрапа, то такое усложняет посадку.

— Кому как,— уклончиво подвел итог капитан.

Половину текущего года я провел в плаваниях. Конечно, много раздумывал о грядущих сочинениях, но ПИСАТЬ ничего общего с раздумываниями и придумываниями не имеет. Если раздумывания с писанием имели бы много общего, все люди стали бы писателями. Рука сильно сбита. Кулак не сжимается.

Из старого номера «За рубежом» вычитал у американского психолога забавный ряд безапелляционных суждений-наблюдений.

«Мужчины владельцы собак — агрессивны и любят подчинять окружающих своему влиянию».

В воображении я перевладел тысячами собак, вне сомнений быстро завожусь, человек агрессивный, а вот люблю ли подчинять окружающих своему влиянию? Кажется, флот выбил из меня такую склонность, даже если она была.

«Женщины владелицы собак — весьма заботливые существа».

Вероятно, это верно для американок. Но заботливые женщины обычно аккуратные и чистоплотные, а русские собаколюбки бывают и распущенными, и не весьма чистоплотными.

«Любители кошек — люди замкнутые и малообщительные».

Гм...

Микеланджело, Хемингуэй и Октавиан Эдуардович

Цыганов — выдающиеся любители кошек. К Микеланджело формула подходит абсолютно точно. К Хемингуэю вовсе не подходит. Октавиан замкнут в глубинах, но общителен нормально. Достаточно его любви к анекдотам. Они ничто без общения. Правда, стармех всегда держит дверь каюты закрытой, хотя капитан это делает только в часы сна и расшифровки криптограмм. Примеру капитана неколебимо следуют остальные командиры. Однако стармех, вполне возможно, закрывается наглухо в каюте не из внутренней замкнутости, а просто в пику большинству. Он, например, вовсе не употребляет спиртного. Спросил причину. Он спокойно, без юмора, объяснил, что, так как все вокруг спиваются и так как это массовое спивание, очевидно, кому-то нужно и выгодно, то он, Октавиан Цыганов, не желает кому бы то ни было доставлять удовольствие таким вредным для собственного духа и тела путем. Боюсь, что, если у нас введут сухой закон, стармех немедленно запьет горькую из голого протеста.

«Любители птиц — разговорчивы и легко заводят друзей».

В. В. умеет рассказывать, но разговорчивым его не назовешь. Друзей, если судить по тому, что мне буквально с первого момента знакомства захотелось заслужить его доброе отношение и приблизиться к нему, может обретать легко.

«Женщины-птицелюбки разговорчивы, легко заводят друзей, но при этом агрессивны и обожают командовать».

Знаю только одну женщину, которая десятки лет проживает с попугаем. Она подходит под такое заключение полностью — когда-то плавала, поднялась до старшего помощника, затем долго работала диспетчером в пароходстве — должность для людей агрессивных и крутых.

«Хозяева черепах — методичны, карьеристы, способны к однообразной работе».

Если приравнять черепах к ракам, то такое годится для Митрофана. У него в каюте живут два рака. Одного зовут Володя, другого — Петя. Для раков сделан песочный пляж, проточная вода и весь вообще потребный сервис.

Меня все мучает вопрос: надо ли свободный конец шкентеля с мусингами при спуске шлюпки без людей оставить на палубе, или он должен разматываться из бухты в шлюпке. Кажется, мое вмешательство в ненадевание головного убора старшим помощником и вопрос

шкентеля насторожили Василия Васильевича, а мне не хочется, чтобы он настораживался.

Хорошо помню, как в 1954 году на углерудовозе «Вытегра» у родной набережной Лейтенанта Шмидта при учебном спуске шлюпки выложился носовой гак и шлюпка стала раком, вытряхнув в воду боцмана и нескольких матросов. Я сбежал с мостика и прыгнул — именно прыгнул! — на шкентель с борта и спустился по мусингам к воде, чтобы помочь упавшим. Это говорит о том, что рукой шкентель не достанешь — на него с ботдека надо прыгать, а это по плечу только молодому мужчине и уж никак не пожилой буфетчице...

(Последние два абзаца редакторы настойчиво рекомендовали мне снять — слишком много спецтерминов. Но: 1. Кто из городских читателей сегодня знает происхождение манной и пшенной каши? Однако «деревенщики» словарики к своим книгам не прилагают. 2. Коли пишу я свою последнюю морскую книгу, то пусть в ней будет побольше от ПРОИЗВОДСТВА, а любое производство без чего-то непонятого для неспециалистов бывает?)

В ночь после тревоги около двух поднялся в рубку.

Судно шло на автомате, вахтенный матрос прибирался в душевой, Митрофан корпел над грузовыми документами в штурманской.

— Митрофан Митрофанович, кто же у нас вперед смотрит?

Он прошел в ходовую и стал у окна. Молча: мол, сам видишь, что океан пустой, чего тогда на него пялиться?

Я тоже начал игру в молчанку. Четверть часика отшагал из угла в угол без единого звука. Потом зашел в штурманскую — надо было глянуть на генеральную карту. В штурманской два стола. На одном путевая карта, на другом — в глубине рубки — генеральная. Там лампочка. Несколько раз щелкаю выключателем — не горит.

— Митрофан Митрофанович, почему лампа не зажигается?

Митрофан, все молча, вытащил из штепселя лампы другой шнур — как оказалось, от его счетной электронной машинки «Электроника» — и включил лампу. Характер! Нет, не характер, а манера у него такая дурацкая: не докладывает о свершенном. Подправит курс на рулевом автомате, введет поправку на дрейф — и промолчит. И ты только случайно обнаружишь, что поправка введена, сделано все правильно, но он не доложил. Это опасно. Но не

мне же, временному здесь человеку, перевоспитывать второго помощника! Следует только так приспособиться, чтоб максимально сократить возможность неприятных последствий.

И рулевой матрос воспринял такую дурацкую манеру. Попросишь принести чай. Уйдет, придет. Молчит. Ждешь, ждешь: когда же он чай принесет? Наконец интересуешься: «Володя, я вас просил...»—«Так чай второй час на столике стоит, Виктор Викторович. Я думал, вы не пьете, потому что горячий не любите!» И все это безо всякого намерения поставить в неудобное положение и не от разгильдяйства. Просто повадки у моих соплателей такие своевольно упрямые. Посмотрим, кто из нас окажется упрямее в конце концов. Во мне упрямства с раннего детства не меньше, чем в старом ишаке. Но куда подевалась моя вспыльчивость? Ведь на берегу, где-нибудь в трамвае или в очереди, взрываюсь мгновенно, а тут только тихо улыбаюсь про себя — никакой раздражительности.

— Митрофан Митрофанович, давно «Электроникой» приучились пользоваться?

Наконец он открывает пасть:

— В прошлом году в Африке — кажется, в Мозамбике — пришли негры на экскурсию. Завели их ко мне в каюту. А я сижу, на счетах бабки подбиваю. «Разве у вас, — спрашивают, — разрешено в бога верить?»—«А с чего вы взяли, что я верю?»—«А зачем вы тогда четки перебираете?» Потом поняли, что к чему, и ну хохотать. Эти негры первый раз в жизни наши счеты видели. Вот и купил машинку. За свои кровные. Стыдно стало. Сами-то они натуральные обезьяны: когда груз насыпью, осадку на миделе смотрят, а у парохода прогиб в корпусе на десять сантиметров...

Вот так потихоньку начинаем мы приглядываться друг к другу.

Пока идем на восток, все закаты будут перед моими глазами. Сегодня около семнадцати часов солнце ярко, холодно и отстраненно-весело светило в мой иллюминатор. А в ослепительной солнечной дорожке, которая совпадает с кильватерным следом, видны планирующие чайки. Горизонт на западе темный от туч, почти темно-фиолетовый, солнечная дорожка упирается в него, а чайки планируют у кормового флагштока. Вся эта картина возникает

в полном величии и блеске, когда корма проседает на зыби. Килевая качка неторопливая, но глубокая.

И все равно это плохое утешение. Мне странно и неприятно видеть из каюты корму, я привык видеть нос.

20.00. А солнышко все еще не закатилось — торчит слева, градусов пять над горизонтом. Расписался аж в пятнадцати бумажках — инструкциях, рекомендациях, наставлениях: будьте любезны, товарищ Конецкий, отвечать за ледовое плавание теплохода «Колымалес». Вроде формальность, а когда расписываешься на этих документах, кое-что екает.

Главная сложность предледного этапа: с одной стороны, нельзя показать, что ты сильно интересуешься какими-то специальными вопросами, — например, как регулировать при движении в караване скорость, через число оборотов по телефону или только телеграфом? С другой стороны, нельзя и вовсе не проявлять интереса.

Если сильно интересуешься — значит, дрейфишь или показушничаеть свое тщание и старание. Если мало интересуешься — значит, ты разгильдяй и шапкозакидатель. Вот и находи золотую середину. Короче, вечно верное для флота: не торопись, торопясь.

Утром опять вспомнился Фома Фомич Фомичев. Открыл глаза, увидел на окне каюты след чайки — размазанный штормовыми брызгами след, фоном которому служили довольно небрежно выстроенные, но могучие валы, шедшие на нас строго с норда.

Это уже та зыбь, которую наработал ветер за последние сутки.

Чайка же фланировала, вероятно, с наветренного борта, и ветер принес ее гуано на иллюминатор. Вот я и вспомнил бессмертного Фому Фомича и его философские размышления о коварстве чаек и необходимости фосфора для мозговой деятельности. А ведь люблю я этого своего героя. И неужели этого все мои морские критики-начальники не почувствовали?

Быть может, читателю интересно будет узнать, что уже после выхода книги «Вчерашние заботы» я столкнулся с прототипом Фомы Фомича нос к носу в коридоре пароходства. Столкнулись мы, он схватил меня за пуговицу, я инстинктивно прикрыл подбородок по всем законам бокса левой рукой, а правую на всякий случай привел в боевую готовность. Ну, думаю, сейчас он мне все пуго-

вицы на мундире откусит. Но, как и всегда в жизни, Фома Фомич поступил сверхнеожиданно и опять умудрился удивить меня до колик.

— Всю, Викторич, твою вульгарную книжку прочитал, — говорит Фомич, — вот, значить, глупость так глупость! И где ж ты, значить, такого идиота Фому выкопал?

Я перевел дух и объяснил, что мой герой вовсе даже не идиот, а вполне квалифицированный судоводитель, но прототип категорически с этим не согласился.

У нас на палубе между фальшбортами и комингсами трюмов триста сорок восемь бочек квашеной капусты и триста тридцать три бочки соленых помидоров. От палубного груза пахнет провокационно-возбуждающе. Когда капусту и помидоры схватит морозом, запах перестанет действовать на экипаж разлагающе — так я надеюсь.

Врагов на этом судне я пока своим верхним чутьем не чувствую. Враги, неприязненно относящиеся к тебе люди из экипажа, в любую секунду могут возникнуть из обыкновенной психологической несовместимости. Но пока, кажется, я здесь миновал чашу сию, хотя до конца в этом нельзя быть уверенным; мой статус в силу возраста высок, и не каждый, кого я могу раздражать, решится на открытое выказывание своего раздражения. Надеюсь, что в таком случае почувствую и скрытое.

О Нине Михайловне. Одинока, мужа нет, детей нет, есть двухкомнатная квартира в дорогих коврах и «Жигули», на которых она сама ездить не может, так как живот не проталкивается за руль.

Какое удовольствие от горчицы! Накупили за границей. А я уже забыл ее вкус и вкус черного хлеба с горчицей и солью. Господи, это какой же талант надо иметь, чтобы оставить Россию без горчицы или уксуса, а?!

Седьмое августа. Баренцево море.

Боцман принес теплую одежду. Ее фасон изменился за то время, что я не плавал в Арктике. Приведу целиком текст бумажки, которую обнаружил в кармане куртки с капюшоном:

«ПАМЯТКА по уходу за мужским зимним костюмом для работы в особых метеорологических условиях: 1. Стирать нельзя. 2. При глажении осторожность не требуется. Изделие можно гладить при температуре более 160° .

3. При химической чистке требуется осторожность. Обработка изделий должна производиться с применением тетрахлорэтилена или тяжелого бензина (уайт-спирита)».

Интересно было бы встретиться с автором этого сурового текста. Во-первых, чем мужской зимний костюм должен отличаться от женского? Во-вторых, ежели нельзя стирать, то зачем надо гладить? В-третьих, где я, к чертовой матери, найду в особых метеорологических условиях тетрахлорэтилен или тяжелый бензин (уайт-спирит)?

Прочитал у переводчика сонетов Шекспира Игнатия Ивановского:

«Первый признак русской литературы совпадает с первым признаком любви: другой человек тебе дороже и интереснее, чем ты сам. По наличию степени этого признака и располагаются русские писатели. В центре — Пушкин, Толстой, Достоевский».

Очень точно сказано! (Кроме, конечно, «наличия степени признака».) И: кто это любит Достоевского? Поклоняться ему можно, уважать, потрясаться; но ЛЮБИТЬ?

На траверзе Канина Носа сильно качнуло. У В. В. в каюте открылся шкаф, откуда вылетели пять тарелок, которые, естественно, разбились. Это явление природы он объяснил тем, что было без двух минут четыре утра, то есть две минуты до смены вахт. А именно на смену вахт, по утверждению В. В., всегда приходит и бьет судно особенно подлая волна.

Чайкино гуано, которое напомнило мне Фому Фомича, к полудню брызгами смыло.

Развиднелось.

Читаю о Томсоне и удивляюсь всяческим пересечениям человеческих судеб как на суше, так и на море. Пожалуй, эти человеческие пересечения нынче единственное, чему я не разучился удивляться.

В разгар шторма все-таки принял ванну. Должен сказать, что это мероприятие при штормовой качке не доставляет большого удовольствия. Особенно когда из кра-на время от времени вместо воды вырываются сгустки перегретого пара.

После такой ванны приснился ужасный кошмар, о котором даже не хочется вспоминать.

Встал около пяти утра.

Поднялся на мост. На вахте был старший помощник. Мы со Станиславом Матвеевичем еще совсем мало знакомы. Спросил его о поломанной руке. Он рассказал, что руку ему перешибло в Бремене на «Ленинабаде» тросом, когда швартовались при отжимном ветре. Еще рассказал про разгрузку в Антарктиде на ледяной барьер с теплохода «Бобруйсклес». Тогда у них в районе четвертого трюма обвалился огромный кусок льда. По опрокидывающемуся монолиту тракторист пытался вывести трактор с тракторными санями. Связка, конечно, ухнула в трещину. Тракторист уцелел.

В ответ я рассказал о волне-убийце, на которую мы наткнулись, когда шли от Мирного. И оба почувствовали на мгновение этакое родство душ. Потом я спустился в каюту к В. В. и пришел оторвавшуюся пуговицу к пиджаку — иголку взять забыл в дороге.

А В. В. брился.

Бритье В. В.— это серьезное мероприятие. Электробриту он презирает. Только опасное лезвие. Попробуйте бриться опасной бритвой на штормующем пароходе — ледяное хладнокровие надо иметь. Весь процесс, правда, оснащен самыми современными кремами, мазями, особыми кисточками, французским одеколоном и прочее, и прочее. Короче говоря, ритуал.

К полудню нас прикрыла от ветра Новая Земля и качать почти перестало.

Меня всегда удивляет, как безмятежно старшие по должности моряки способны потревожить — например, поднять среди ночи — младшего морячка для уточнения какого-нибудь сущего пустяка: «Где список радиомаяков СМП?» Вероятно, корень здесь: меня-то так в свое время сколько тысяч раз безо всякой настоящей причины поднимали; ну, а теперь я тебя поднял...

В бюллетене словацкой литературы под названием «Меридианы» вычитал: «Ян Штевчек особо подчеркивает «феминизацию гуманизма и литературоведения». Не только в Словакии, но и во всей Европе литературу изучают главным образом женщины. «К этому положению

я отношусь, к сожалению, скептически, потому что женский интерес к литературе или слишком эмоционален, или же, как это ни парадоксально, весьма рационален, механистичен... В будущем, судя по всему, литературоведение захватят женщины: может быть, от этого оно сделается более драматичным, личностным и воинственным».

Ну, это считает Ян Штевчек. И про литературоведок. А я скажу о прозаичках.

Когда наших прозаичек и поэтесс поздравляют печатным образом, то не указывают, с какой круглой датой поздравляют. Входят, так сказать, в женское положение и их вековую привычку темнить с возрастом. И не знаю я случая, когда наши летописицы запротестовали бы. О чем это говорит? А о том, что женщины-писательницы целиком, с ручками и ножками, отдаться писательству не в состоянии. Они вечно разрываются между своим земным, плотским, женским существованием и литературной работой. А это в свою очередь неизбежно приводит к сидению между двух стульев.

Было у меня несколько приятельниц, пишущих прозу. Давно это было. Молоденькие и довольно соблазнительные. Никак уж не синие чулки. И все рассказывали про литературные победы (на фронте печатания своих рассказов) одинаковые истории. Приходит соблазнительная писательница к редактору журнала, приносит рукопись. Редактор клюнет на ее чары, просит о свидании, короче говоря, намекает, подлец и феодал, на постель. Писательница неуловимо-уловимым намеком дает понять, что все в свое время произойдет как по писаному. Редактор ее опус проталкивает. После чего гордая писательница общается, что он, редактор, не на ту нарвался, что она верная жена и вообще неприступный Эверест.

Слышал я таких новелл довольно много. А представьте-ка теперь другую ситуацию. Приходит симпатичный молодой писатель к редакторше женского журнала. Грымза эта редакторша, одинокая неудачница. И начинает писатель неуловимо-уловимым намеком выказывать этой грымзе влюбленность, очарованность. Та подтаивает и рассказ прозаика печатает. После чего писатель берет ноги в руки и отправляется обратно к себе в кабинет, показав на прощанье редакторше нос. Так вот, задается вопрос: можно человека с подобной нравственностью назвать русским писателем? Да он, кстати, и никогда в жизни никому не признается вслух про такие свои де-

лишки — стыдно, грязно, пошло запредельно, унижительно.

А женщины-писательницы рассказывают подобное ничтоже сумняшеся, даже с этакой хвастливой гордостью и веселым хохотом.

Мораль: мораль женщины и мужчины — штуки вовсе разные.

Но ежели женщина в своих писаниях полностью подделывается под мужскую прозаическую повадку, манеру, нравственность, то это уже не женская литература. А кому подделки вообще нужны?

Я печатаю это и слышу стальной лязг двери входа в машинное отделение; затем вспышка всяких машинных звуков, затем захлопывающийся лязг двери, затем особенно громкие голоса людей, которые вышли из грохота, где они уже за пять минут автоматически привыкают орать, а не говорить.

Орет Октавиан Эдуардович:

— Ты красишь, как матрос! Где видишь, там и красишь! Матрос видит трубу и красит с того бока, с какого видит! А ты, декадент, крась, как моторист! Где не видишь — вот там и крась! Понял? Еще инженер будущий! Муравьев тебе надо в штаны напустить!

— А это зачем? — спрашивает декадент несколько ошалело.

— Чтобы шарики в голове быстрее шевелились.

— Вы меня оскорбляете! — дерзко заявляет молодой бунтарь.

— Может, мне на тебе жениться? — интересуется старший механик. — Ты мне всю посевную завалил, а я на тебе по чистой любви женюсь, а?

— При чем тут посевная? — совсем запутывается декадент-практикант.

— Простой ты человек, прямо как хозяйственное мыло, — говорит стармех и хлопает дверью своей каюты.

Октавиан Эдуардович старше меня, а выглядит не больше чем на сорок.

Двухпудовая гиря — это все, что он взял с собой в рейс из вещей, потому что должен был сдать дела другому и в Арктику не идти, но... С гирей не расстается ни дома, ни на путях-дорогах. И вот почему. Когда наступает момент в компании пьющих идти за добавкой, стармех предлагает не банальный «морской счет» для определения

жертвы, обреченной на путешествие по закрытым магазинам и ресторанам, а соревнование: небольшое, шуточное, по поднятию гири.

Нет такого мужчины, которому в подпитии не казалось бы, что он запросто обыграет в шахматы Карпова или влезет на Адмиралтейскую иглу. Мужчины хватаются за гирю. А жертвой, обреченной на путешествие по закрытым дверям, розыски таксера с бутылкой под сиденьем и пр., делается тот мужчина, который выжал гирю меньше всех. Сам стармех, как он утверждает, еще ни разу в жизни за добавкой не ходил. В какое место его щуплого тела ни ткни пальцем, там мгновенно вспухает каменный бугорчик, и твой палец отскакивает, будто ударенный током. Здесь никакого преувеличения я не допускаю.

Демоническая личность ниже среднего роста. Такой черный, что похож на ассирийца. Это внешне. Внутренне тоже черный, от мрачного юмора. Глядя на картину сплошных ледяных полей вокруг омертвелою судна, бормочет: «Овсяная каша с рыбой! Какая гадость! Виктор Викторович, вы знаете, почему не делают ледоколы на воздушной подушке? Они бы тогда запросто сюда к нам добрались, а?»

Постоянен в своих привычках и привязанностях. Пожалуй, он единственный из моих знакомых моряков, который уже десять лет не меняет судна. Мучается тем, что не пересекает экватора. Потому вполне готов к восточному варианту возвращения домой. Тогда путь «Колымалеса» проляжет через Малаккский пролив. Правда, до экватора все равно чуть-чуть не хватит, но Октавиан Эдуардович уверен, что уговорит капитана сделать маленький зигзаг.

Игрок. Настоящий, вечный Игрок. Я знаю еще только одного такого вечного Игрока — поэта Александра Межирова. Оба могут играть во что угодно, оба всегда по абсолютному счету в выигрыше, оба превосходно владеют собой во время игры — и при проигрыше, и при выигрыше. Оба безжалостны к партнеру и всегда играют красиво — красиво выигрывают и красиво проигрывают.

Умеет удачно покупать хорошие вещи: в Мурманске умудрился купить отличный полушубок — на зависть всему экипажу.

Часто простуживается, но никогда никаких жалоб на здоровье от него не услышишь.

И под всей его тренированностью, хладнокровием, спокойствием есть мощный слой нервности — нервности породистой лошади. Несколько раз я замечал, что перед

началом игры — в козла, в шеш-беш — он мертвенно бледен.

Очень самолюбив. И если считает свое самолюбие ущемленным, способен вести себя не самым умным образом. Предположим, распределяются премии среди экипажа. Стармеху назначается десять рублей, а старпому пятнадцать. Октавиан Эдуардович, которому в высшей степени наплевать на пятерку, угрюмо и непреклонно требует себе тоже пятнадцать: «Я не хуже старпома!»

Сейчас на планете что-то около ста пятидесяти государств. Он знает все их названия и дни рождения. Являясь к завтраку, торжественно говорит: «С праздником, товарищи! Сегодня День провозглашения независимости Сьерра-Леоне!» При этом он торжественно целует массивный золотой перстень. Кроме перстня он носит и обручальное кольцо.

Раз в неделю наша буфетчица выставляет на стол аджику. Если аджика получается в норме, то Октавиан Эдуардович говорит: «Напильником — по пищеводу!»

Он умеет ценить красоту и не боится показать это. Как-то позвал меня из каюты на палубу, чтобы поделиться зрелищем удивительного по пышности и бешенству красок заката.

Суеверен. Я как-то заругался на наш двигатель («Зульцер») за сильную вибрацию, стармех вспыхнул: «Не говорите о нем так! Он обидится!» Я спохватился и сразу: «Нет-нет! Он хороший, очень хороший! Даже винт не дал нам погнуть в такой катавасии!» Октавиан Эдуардович повеселел, посветлел и ласково сказал про двигатель: «Он умный — поджал винт, как собака хвост в нужный момент». Вообще любит зверье. Знает всю серию чапаевских анекдотов типа «Петька: «Василий Иванович, белого привезли!» Чапай: „Сколько ящиков?“»

В 12.00 принял вахту. Нет второго матроса, а тот, что есть, Стасик, первый раз идет в Арктику. Сразу удалось связаться по УКВ, канал «16» с ледоколом «Драницын». Его оказалось отлично слышно. И он приказал идти к мысу Желания, пока не упрусь в восьмибалльный лед, там лечь в дрейф и ждать его.

Получилось эффектно: я вошел в рубку и сразу связался, а до этого никто не догадался вызвать ледокол по радиотелефону. И сразу стало четко ясно, что предстоит делать. А вся суть была в том, что не восьмибалльный лед

ждал нас на курсе, а просто-напросто ледоколу надо было — не терпелось! — получить почту из Мурманска, которую мы ему везем.

Ослепительное солнце, почти полный штиль... Ах какое над головой небо, какая густая, но прозрачная голубизна, в самом зените — синее, к горизонту чуть зеленоватое. Ах какой четкий, тушью отчерченный горизонт. Ах какая синяя безмятежная вода и на каждой зыбине — голубой блик. Ах какие белоснежные маленькие чайки, семействами, стаями штук по двадцать, и орут нежно, даже ласково, — прибрежные чайки, прилетели с Вайгача или Новой Земли.

Солнце так сильно грело левый борт, что выплескивающаяся на слабом покачивании из ватервейса вода сразу начинала испаряться из лужиц на стальной, покрашенной зеленью палубе. Парок отбрасывал легкую тень на стенку надстройки. И от нагретого воздуха по белой стенке надстройки тоже мерцали и дрожали прозрачные зыбкие тени-блики.

Цыкнул на Митрофана для дела и для некоторого закрепления уверенности в себе:

— Почему не записали в журнал?! Прошу, пожалуйста: «В двенадцать десять вышли на связь с ледоколом «Драницын»; получили приказание лечь в дрейф у кромки восьмибалльных льдов».

Митрофан послушенько записал.

Знаете, как колышутся тридцатитонные льдины на зеркальной, безветренной, но мощной — под три метра высоты — зыби? Они, братцы мои, колышутся весьма величественно — как подвыпившие короли гиппопотамов. И не дай господь вмазать в такого гиппопотамьего короля!

«Драницын» показался с норда белой точкой, приказал ложиться на курс пятьдесят градусов и держать самый малый. Ледобой поленились спускать шлюпку, решили сами подойти носом к нашей корме за почтой:

Надстройка у ледокола огромная — шесть, что ли, этажей. И кажется он, когда идет прямо на вас, огромным «Кон-Тики» с четырехугольным гигантским парусом, наполненным ветрами всех ваших надежд.

Еще разок чуть сунул Митрофана Митрофановича носом в угол, ибо ему не пришло в ум, что для почты надо приготовить мешок и веревку. Они, правда, потом не по-

надобились: ледокол брал почту только для себя, а не на все ледоколы, как это обычно бывает. А для маленького пакетика мешок не нужен. Конечно, кабы ледокол знал, что любимые пишут письма в таком мизерном количестве, то не стал бы рисковать, подходя к нам практически вплотную.

Итак, он приказал лечь на курс пятьдесят градусов и держать самый малый ход. Я все это выполнил и указал молодому рулевому Стасику на необходимость держать на курсе очень точно. Пришел В. В. и без всякого энтузиазма наблюдал за тем, как ледокольная могучая туша заложил левый вираж и начала приближаться к нашей тошей корме, которая вздымалась и опускалась на зыбях.

— Чего он делает?— спросил В. В.

— Ему лень спускать вельбот, он будет брать почту, подойдя вплотную.

В. В. схватил трубку и запросил, на какую дистанцию собирается приблизиться ледокол. Тот ответил: «Пять — десять метров».

— Пятьдесят метров — это еще не вплотную,— сказал В. В.— На пятидесяти метрах пускай режется как хочет.

— Он не говорил «пятьдесят», он сказал пять — десять,— сказал я.

— Чушь! На пяти — десяти метрах он так тюкнет нам в корму, что поплывем без винта и руля.

— Они здесь привыкли к таким шуточкам,— сказал я.

— Зато я не привык!— сказал В. В.

Мучительная процедура продолжалась десять тягучих и неприятных минут. Невольно подумаешь о стыковке в космосе будущих орбитальных станций размером с Исаакиевский собор. Таким собором навис над нами «Драницын». Его нос с четырехугольными клюзами, из которых торчали десятитонные якоря, медленно и неотвратно приближался, то вздымаясь метра на четыре, то оптяхаясь обратно в равнодушную синюю зыбь.

В. В. плюнул за борт и ушел в рубку. Он не мог видеть такого безобразия. Я прошел к заднему ограждению мостика и забрался на релинги, чтобы видеть лучше.

Метров с пятнадцати матросик с «Драницына» метнул бросательный конец. И сразу удачно. Видеть свою корму я не мог, но, как только заметил, что бросательный натянулся, прыгнул к телеграфу и врубил средний вперед.

Ледокол выдернул почтовую добычу и отвалил вправо с таким выражением на тупоугольной морде, что казалось, он довольно урчит.

Если бы любимые женщины ледокольщиков видели всю эту операцию, они, верно, стали бы писать морякам чаще и больше. Эх, риск, риск, никуда ты с моря не денешься, вечно ты рядом...

В. В. на мои тоненькие вопли о том, что нет впередсмотрящего матроса, а рулевой первый раз в Арктике:

— Все мы когда-то куда-то идем в первый раз, Виктор Викторович,— и длительный вздох.— Так что смиритесь.

— Есть, доплывем и с такой вахтой.

В. В. на мою попытку вмешаться в работу старпома:

— Давайте молодым дорогу.

А через минуту сам не выдержал и дал «стоп»!

Ничего, привыкнем, притремся, ну, и знаменитое «упремся — разберемся».

Не сам ли капитан «Драницына» ждал письма, думаю я сейчас про нашу стыковку с ледоколом? Пожалуй, ради других не пойдешь на такой фортель. И потому не буду сообщать истинное название ледокола. Надо помнить, что не суди и не судим будешь...

Нужно добиться такого положения, когда все члены вахты почувствуют влечение друг к другу, захотят еще и еще раз попасть вместе в трудную ситуацию, чтобы работать вместе, ощущать плечо друг друга, чтобы даже считали часы, когда приходится быть врозь...

Из морских особенностей. Водоплавающие мужчины за обедом и ужином едят хлеб, довольно щедро намазывая его маслом,— и с первым, и со вторым. Моряки не чавкают. Не встречал в кают-компаниях человека, который ел бы громко. Если моряк приходит к тебе домой в гости, а у тебя нет жены или прислуги, то, поев или даже попив чаю, он выкажет желание помыть использованную посуду. А между прочим, женщины, которые приходят ко мне, как правило, не моют за собой даже чашки.

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм «Лектарство против страха!»»

Всю дальнейшую вахту обдумывал философски метафизический вопрос: почему если уронить выстиранные, мокрые кальсоны за борт, то они мгновенно утонут? А когда их пускаешь плавать для прополаскивания в наполненную водой ванну, то они, хитрецы, не тонут?

Попросил Митрофана помочь в решении вопроса об этом загадочном явлении природы.

— От ваших вопросов моему телу становится жарко,— сказал Митрофан, снял свитер, завязал рукава свитера у себя на животе и принялся за определение места по радиопеленгам, напевая:

Рация испортилась — ловит лишь Пекин,
А кораблики взбесились — как пьяный хунвейбин...

На густо-сером небе солнце выглядело лунной. Оно хорошо видно, оно есть — круглое, вроде бы привычное, но без лучей. Это такая дырка в небесах, которые тоже белесо-серого цвета.

У моего электрического чайника немного деформирована крышка. Я подначил В. В., и тот вызвал к себе Октавиана Эдуардовича. Сказал строго:

— Я высажу вас, старший механик, на необитаемый остров. И — всего на три дня провианта. Если вы не почините крышку у этого чайника,— здесь В. В. подумал и добавил:— И выдам для обороны от медведей дробовик с одним стволом.

— Не дадите,— невозмутимо сказал Октавиан Эдуардович.— При вашей скупости и на один день провианта не дадите. Да и вместо дробовика швабру всучите...

Однако через час крышка чайника была в ажуре.

В пяти милях от острова Оранский обнаружил по РЛС лед. Легли на девяносто градусов. Сбавили ход до среднего. Все это сделали по моему мудрому указанию, ибо я, обнаружив лед там, где, согласно прогнозу, его быть не должно, напугался.

В девяти милях на юго-восток от мыса Желания вошли в лед сплоченностью три-четыре балла. Последовали переменными ходами и курсами, обходя большие льдины с осторожностью.

Если в Антарктиде на судах у женщин от наэлектризованного воздуха встают дыбом волосы, то в Арктике для

мужчин нейлоновые рубашки превращаются в очень опасную штуку. Иногда так долбанет током, когда ее надеваешь, что кажется — попал в лейденскую банку.

За бортом очень синие волны. Среди них плывет рыжее бревно. На бревне сидит белая чайка. И огромная радуга. Через все небо. Радуга втыкается в волны с левого борта; а правым своим основанием упирается в далекие скалы мыса Желания.

Второй раз выпало огибать Новую Землю с норда. На этом меридиане всегда мысленно отмечаю, что переливаюсь из Европы в Азию.

Мне вспомнилось, что двадцатого августа 1953 года был произведен, как я дословно помню из сообщения ТАСС, «взрыв одного из видов водородной бомбы».

А первого ноября 1952 года на атолле Эниветок в Тихом океане американцы взорвали свою водородную мощностью двенадцать мегатонн.

Между прочим, США взорвали «устройство», а наша бомба уже тогда была транспортбельна.

Двадцатого августа 1953 года, благодаря неуставному обращению по начальству, я оказался довольно далеко от эпицентра взрыва — в заливе Бирули, бухта Северная, западная часть полуострова Таймыр. Старенький «Ермак» завел нас туда, укрывая от льдов пролива Матиссена. И мы увидели белого медведя, который брел по самому берегу, вдоль кромки слабого прибора, мимо покинутых людьми черных домов-развалюх. С военного тральщика ударили по медведю из спаренного зенитного пулемета, но, слава богу, не попали. Потом мы высадились на берег. Могилы зимовщиков были возле самых домов. И мы очутились среди неряшливой торопливой смерти. Одну надпись на кресте из плавника я разобрал. Там был похоронен ребенок, проживший на свете одни сутки, и его мать. В развалившихся хижинах валялись еще не сгнившие до конца бумаги, возле входных тамбуров торчали кучи слюды, и вообще создавалось впечатление, что люди все неожиданно вымерли или торопливо ушли. Но с взрывом нашей водородной бомбы все это никак не было связано. Мы и понятия не имели о том, что влетаем в новую эру термояда. И в моей «записной книжке штурмана» на двадцатое августа 1953 года целый листок заполнен рас-

четами высоты нижнего края Солнца — вероятно, я тренировался в решении астрономических задач, правильно понимая, что в Тихом океане это мне пригодится.

Странные у меня способности. Читал всегда очень много. Но пробелы всплывают анекдотические. Например, потребовалось заплыть в США, чтобы понять, почему с детства путались индейцы, индусы, индийцы и удивляла индейка. Оказалось, что индейка — любимая птица индейцев и что это открыл великий Колумб, когда спутал Америку с Индией. Неужели есть еще люди, которые открывают подобные истины, только дожив до седых висков?

Я не лгу и не кокетничаю. Это все правда.

А проплывая Югорским Шаром, то есть над Уральскими горами, которые здесь уходят в море, чтобы возникнуть затем островом Вайгач и Новой Землей (много лет назад это было, еще на пассажирском лайнере «Вацлав Воровский»), я впервые задумался о той неразберихе и сложности, которую внесли в российский характер древние старцы-географы, проведя границу между Европой и Азией по сухопутному Уральскому хребту. Когда континенты разделены океанами — все ясно и понятно. Но у нас получилось так, что рязанцы и новгородцы — европейцы, а омичи или томские ребята уже азиаты.

Именно тут с неуверенностями и страхами, но четко откредитился навсего от славянофилов и от западников, заняв позицию «оси симметрии», а по-русски — «между двумя стульями». Во всяком случае, я надеюсь, что в этих заметках невозможно обнаружить как западничества, так и той своеобразной консервативной утопии, которая является разновидностью феодального социализма и началась с диалога Хомякова и Киреевского добрых полтора века назад. В центре славянофильской идеи торчала аксиома исключительности русской истории, русского характера мышления, русской духовности. Как будто история малайцев или эскимосов не исключительна!

Каждый народ есть исключение из правила.

Таким образом, и дураку ясно, что правил, а значит и аксиом, вообще не существует. А если нет правила, то откуда можно исключаться?

Но вот сохранение своей неповторимости есть задача любой нации и народа. Не растерять себя в пестроте мира, когда общение между соседями делается с каждым днем

легче, ибо расстояния сокращаются, почта при помощи индексов работает бесперебойно, спутники ретранслируют телепередачи — вот в чем главное. И здесь художникам всех родов войск первое слово.

Как пойдет развитие нашего национального характера, если современная жизнь категорически требует и от нас рационализма, деловитости, расчетливости, меркантилизма?

Ведь все наши установления по обычным и тринадцатым зарплатам, по премиям и сверхурочным, по судовым затратам и отпускам, по экономии и качеству, по «обработке недостающего штурмана», все начеты, вычеты уже столь деловиты и рациональны, что любой американский капиталист или даже немецкий бухгалтер давно бы спятили, ибо у них закваска не та: не наша у них закваска.

В КАРСКОМ МОРЕ

...тот, кто бороздит море, вступает в союз со счастьем. Ему принадлежит весь мир, и он жнет, не сея, ибо море есть поле надежды.

Остаток надписи на поморском кресте. (Сам не видел, и плохо верится в такое поэтическое фило-софствование поморов над морем, но больно уж соблазнительно!)

Десятое августа. Подходим к острову Белый, редкие льдины.

В 12.00. повернули на 90°.

Траверз Белого-Западного, затонувшее судно рядом (1932 год).

В момент поворота — три моржа на льдине.

Солнце прорывами, ветерок вовсе легкий, слабенькая зыбь.

Да, ничего-то здесь за те тридцать лет, что заносит сюда судьба, не изменилось: те же три радиомаяка, и так же прешь, пока в Полярную звезду не упруешься, ибо все влево и влево забираешь со страху перед мелководьем возле острова.

Необходимо начинать вентилировать трюма, ибо овощи гниют. Чтобы наладить проветривание, надо вскрыть вентиляционные крышки, которые расположены в основаниях треног мачт.

Барашки крышек, конечно, насмерть закипели ржавчиной. Матросам придется крепко повозиться с ломami и кувалдами. И вот я вижу, как у Митрофана Митрофановича происходит душевная борьба. Наконец решается и говорит матросу:

— Сходи, пожалуйста, Володя. На руль сам стану. В первом номере верхний ряд ящиков плесневелый; запах уже затхлый...

Володя, которому вообще-то на данный момент положено нежиться в теплой рубке:

— На румбе сто тридцать семь! Ходит немного лево, ветром корму забрасывает.

— Вас понял! — отвечает Митрофан и принимает руль.

Никуда не денешься: наш второй помощник несет заботы по грузу честно, не за страх, а за совесть — образцовый перевозчик.

И ведь в силу своей тяжелой судьбы он будет нести эти заботы до самой пенсии.

В. В. плохо себя чувствует.

Но молчит.

Мертвый штиль.

Нерпы.

В 19.00 снялись с дрейфа. За подошедшим «Мурманском» следует «Енисейск», затем мы. Дистанция пять кабельтовых.

Сплошной слабый лед.

Сплошной сильный туман. Скорость двенадцать узлов.

В. В. явно болен.

Когда В. В. ложится в койку у себя в спальне с серьезными намерениями поспать всласть, то выкидывает свои брюки на кресло в кабинете. Это означает как бы его полную сдачу в плен Морфею, то есть он как бы выкидывает белый флаг, который, правда, выглядит довольно грязным. Брюки одиноко висят на кресле во тьме каюты, но если кто-нибудь откроет дверь, то свет из коридора падает на кресло, и брюки В. В. издают охранно-предупреждающий сигнал.

Мне очень мешают работать глаза, то есть очки, то

есть почти полувековое издевательство над самим собой — взять хотя бы вечное чтение на боку на диване...

Очки не лезут в тубус радиолокатора, его приходится растягивать, чтобы пропихнуться. Затем очкам оттуда не выпихнуться. Затем суешь их бог знает куда и хватаешь бинокль — попробуйте так работать! И еще с В. В. оптические причиндалы мы путаем: схватишь чужие и пялишься в недоумении на карту, ибо видишь черт знает что — как сквозь очковую змею. И так хочется шмякнуть оптику об палубу! И В. В. хочется, и мне. И с биноклем сложности. По вековому закону бинокль мастера хранится на мостике в отдельном пенале и никакой царь тронуть его не имеет права. Линзы подогнаны по капитанским глазам. Но рядовые бинокли на «Колымалесе» в таком безобразном состоянии, что пользоваться ими могут только рысьеглазые штурмана. И согласие на эксплуатацию капитанского бинокля я получил, но, будучи мужчиной абсолютно порядочным, после каждого пользования стараюсь вернуть окуляры на капитанские отметки, а на это тоже уходят секунды, и отвлекаешься от окружающей ситуации. Думаете, это мелочи? Нет в море мелочей, вовсе нет...

И при всем при том выяснилось, что я первым обнаруживаю льдинку на курсе и встречное судно в тумане — раньше штурманов и матросов. Это закономерно. Недавно было проведено специсследование морского глазомера.

Дистанцию до одной морской мили капитаны измеряют на глаз практически безошибочно, а на одной — трех милях ошибаются примерно на 0,1 мили. Помощники капитанов и матросы обнаруживают более значительную погрешность: их ошибка достигает 0,22—0,25 мили на милю. Однако когда оцениваемое расстояние увеличивается до трех — пяти миль, результаты и капитанов, и их подчиненных выравниваются.

Повышенное ощущение ответственности — вот в чем весь фокус.

Карское море начинает пошумливать.

Из радиорубки звенит морзянка.

— И зачем вы, Виктор Викторович, в Мурманске сливы покупали, когда надо яблоки? — вяло интересуется В. В. — Вы к морзянке как относитесь? На нервы не действует? Вот в сорок шестом преподавала нам морзянку

любовница знаменитого генерала. Ее с фронта генерал выгнал, когда забеременела... Она на возвышении сидела за столом, а мы пониже ее, за детскими партами на ключах... Глядим на ее коленки — потрясающие коленки под столом, такие, что... Чего? Авторулевой у нас как? Рыскаем вроде слишком... Анна Ивановна ее звали, ну, а мы между собой Анютой... Помните, цветочница Анюта?.. Не лезет никому в башку морзянка. Анюта жалуется лаборанту: курсанты у меня плохо занимаются... Врубите полный, Виктор Викторович... Ну, лаборант, ни слова не говоря, принес лист фанеры и забил стол с фасада, коленки скрылись, и мы уже нормально заниматься начали... Рулевого на руль! Мы ж на мелководье выходим!.. Сперва думали, что про знаменитого генерала это все чушь и слухи, но у Анюты заболела дочка. Не помню почему, но меня отправили к ней домой с лекарствами... Электромеханика на мостик! Опять авторулевого в крайнее положение загнали... Вот он на мелководье и вырубается... Да, грустная история... Во-первых, оказалось, все это правда. Я у нее знаменитую генеральскую фотографию увидел. Ну, а дочка померла...

Электромеханик у нас подменный, из пенсионеров, которые подрабатывают в арктических рейсах. И вечно он оказывается в бане, когда его вызывают на мостик.

И тут влетел на мостик полуголый и с банкой спирта в руках — спирт для протирки контактов. Он неделю этот спирт у Октавиана Эдуардовича выпрашивал.

Влетает на мост, спотыкается — трах! бах! — банка со спиртом вдребезги.

Рулевой от руля, жадным голосом:

— Лей, старпер, еще!

А мы и без добавки начинаем потихоньку на мостике косеть. Спирт пропитал ковер.

— Тащи капусты с палубы! — говорит В. В. электромеханику. — Тебе не электричеством заниматься, а закуской!

— Да есть у меня искра! Есть! Все смотрите! Есть искра! Не по моей вине авторулевой барахлит! Это по механической...

А в это время из лоцманской каюты доносится песня на слова Александра Володина: «Забудьте, забудьте, забудьте меня... Мы жители разных планет...»

Я глядел на старого электромеханика, который уже боится лезть в схему, потому что на старости лет начал

бояться самого электротока; слушал дурацкие слова в исполнении Эдуарда Хилия и думал о том, что каждый по-своему с ума сходит.

Кроме очков больше всего тревожат ноги: немеют икры, и при ходьбе кажется, что икры и ляжки набиты ватой — боюсь никотинного варианта, когда дело кончается ампутацией. Ляпнула мне какая-то врачиха о том, что у меня в нижних конечностях уже вовсе нет пульсации кровеносных сосудов, и теперь любое ощущение в ногах рождает прямо-таки панический ужас. Мнительность или...

Когда в Баренцевом море в голубой штиль на синих зябях я вдохнул замечательный морской воздух всей грудью, то вдруг плюнул в пачку с сигаретами и кинул их за борт... а через пять минут спустился в каюту за новой пачкой. Но вкус воздуха я ощутил хоть на миг, а то уж вовсе забыл, что воздух — это замечательная штука.

Разделили со старпомом вахту третьего помощника, стоим по шесть часов, ибо В. В. окончательно завалился. Весь в поту, литрами пьет кипяток со сгущенным молоком.

Ложился в дрейф и снимался с дрейфа я; начинаю привыкать ко льду, но после мостика никак не заснуть — в башке крутятся льды, дистанции, скорости, шкалы, указатели. Чтобы от них отделаться, нынче читал «Конец главы» Голсуорси.

Туман. Туман. Туман.

За «Енисейском» в дистанции два — пять кабельтовых. «Енисейск» — дальневосточный танкер, очень большой, в грузу, но его капитан первый раз идет в Арктику — это раз. Второе — машина на середине самого малого и малого ходов вперед имеет критические обороты. А держать надо именно эту середину для сохранения нужной скорости. Потому «Енисейск» идет рывками. И нам приходится. Пробовали гроб нести, когда впереди несущий то быстро идет, то медленно? Попробуйте. Только вместо гроба возьмите на плечи десять тысяч тонн.

Туман. Туман. Туман.

Первая серьезная перемигивка. Через двести метров «Енисейск» застрял. Дистанция полтора-два кабельтова. Деваться некуда. И я даю «стоп». Пропорционально потере инерции прищемливает сердце. «Енисейск» врубает свои могучие мощности и рывком уходит вперед. Даю самый полный вперед. Ни фиги. «Колымалес» решил подремать в неподвижности. Первый раз даю задний — самым малым назад отползаем метров на пятьдесят. Тем време-

нем «Енисейск» уходит и уходит, канал за ним моментально затягивает. Даю самый полный вперед. Прошибаемся сквозь сгущение, и начинается самое отвратительное — догоняние. Громыхаем скулами по льдинам...

В который раз все это? «Сколько можно?» — вопит какая-то трансляция в грудках.

От сотрясений со снастей падает иней.

Красиво.

Чудом вписываюсь в дырку за «Енисейском».

Сдав вахту старшему помощнику, спускаюсь к В. В. Он спит. Слава богу — хоть не переживает за удары. Они еще непривычны. Как жалостливо, по-детски незащищенно выглядит огромный мужчина в болезни, сжавшийся комочком...

Двустороннее воспаление легких. Это док все-таки определил. И то странно. Делается уже законом, что в Арктику посылают не штатных судовых врачей, а желающих подработать. Нынешний эскулап — спец по переливанию крови. Но понятия не имеет о банках. Пришлось мне даже перейти на приказной тон: «Будьте любезны: на мою полную ответственность — банки! антибиотики — не скупясь! Одновременно аскорбинку — не скупясь!..» Здесь приказной тон кончился: нет у этого типа аскорбиновой кислоты, а без нее колоть антибиотики пятидесятитрехлетнему человеку — дело вредное... Попросил еще доктора держать В. В. все время на снотворном. Капитан чуть очухается — сразу на мост. Накинет на мокрое тело куртку — и вот уже бледным привидением качается в дверях рубки на зверском сквозняке... Докачался.

Первые мысли о том, что и как делать, если придется В. В. эвакуировать на ледакол или куда-нибудь на Диксон. Тревожно.

По трансляции: «Сегодня НОВЫЙ художественный фильм! «Всего одна ночь!» Это резвится помполит. Весь рейс он будет объявлять все фильмы «новыми».

Экипаж обсуждает болезнь капитана.

Старший матрос Володя, красавец, бывший подводник, с небольшой наглинкой:

— Пневмония! У меня тоже была. Слово страшное, а по существу — терпимо. Из-за жены подхватил. Прекрасная женщина. В свое время бегом за мной бегала — любовь! Первый раз она меня всего на трое суток посадила. На Каляева. С этого все и началось. Я за пивком стою, пол-литра в кармане. Она прибежала, бутылку учу-

яла, выхватила и трах об стенку. Я ее за косу и пару раз по шее. Очереди-то стыдно. Она: «Милиция! Убивают!» А мильтоны в «раковой шейке» возле очереди дежурили. Хвать меня. Она: «Посадите его! На трое суток хотя бы!» Посадили. Отсидел. Прихожу домой бритый. Спокойно делаю все. Хлеба по дороге купил, буханку черного. Спрашиваю супругу: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» А дите наше у бабушки. Квартира пустая. Беру жену за косу, привожу в совмещенный санузел. Кидаю в умывальник буханку черняги, подушку кидаю в ванную. Еще и чайку чашку дал — родная жена все-таки. Назидаю: «Сиди, подруга. Прочувствуй на своей нежной коже горечь утери свободы». Она ревет, я дверь заколачиваю. Цветочный ящик с балкона не пожелел, разорил и досками дверь крест-накрест — по всем правилам. Потом канистру пива приволок и сижу на кухне. Вобла была. Концерт слушаю по телевизору, а супруга в совмещенном узле свой концерт наяривает. Думала меня на нервы взять: вопли, стуки, рыдания. Я — ноль внимания. Часа полтора орала — выдохлась. Поняла, что я инквизитор. Ну, я спать лег. Утром к ней в окошечко из коридора заглянул. Есть там у нас такое окошечко — в старом фонде проживаем. Заглянул, все спокойно: сидит моя голубка на стульчаке и чернягой закусывает. Я ей в окошечко ору, чтобы зарядку делала. Она у меня, когда беременная была, каждое утро зарядку делала и мне после смены спать не давала. Кричит, что ей на работу надо, ударно трудиться хочет. Нет, говорю, я тебя без права вывода на работу посадил. Ну, и служить пошел. Я тогда на Канонерке маляром художествовал, потому что визу на год прихлопнули. Вечером «Руслана и Людмилу» передавали по телевизору. Хорошая постановка. Я еще одну канистру пива с воблой выпил. Супруга немного поорала — но уже так, для блезиру. Хорошая штука совмещенка! Если бы отдельно ванная и отдельно гальюн, то хлопот больше бы было. А тут — одна забота: самому в подворотню бегать. Я бдительность и потерял! С ейной работы являются две гусыни — ейные профсоюзные боссы. Интересуются, что с ударницей комтруда и чем она заболела. Дальше порога делегацию я не пустил и успокоил. Говорю, что она, мол, вполне здорова, но сидит в женском вытрезвителе на трое суток за мелкое хулиганство. «Ах, ах! Ох, ох! Не может быть!» — и все такое. Я их вежливо выставил. Так они, стервы, все милиции обзвонили, и опять гусыни являются. С мильтоном. Ну, ее на свободу, а мне — бах! — пятна-

дцать суток! Холодрыга в камере, скажу я вам, вода на полу, а забрали-то меня прямо от телевизора в одной рубашке, даже без галстука. Я и простыл».

С левого борта обнаружили мишку. Мишка поймал какую-то несчастную нерпу и потому не побежал от судна. Продолжал рвать жратву, время от времени поднимая башку с черной точкой носа.

Уже два часа солнце закатывается, но никак закатиться не может. Оно просто катится над горизонтом в щели между ним и черно-фиолетовой тучей. Смотреть на светило невозможно — сноп концентрированных испуленно-оранжевых лучей. Но на наших мачтах — идем на чистый ост, а солнце садится, на северо-западе полыхают кроваво-алые отблески. И западные края льдин высвечены нежно-алым и розовым. А далекий «Енисейск» — до него одиннадцать миль — сверкает, отражая низкие солнечные лучи, пульсирующим лазером.

О мишке объявили по судну. Ребятки бросили кино и побежали на палубу — раздетые, конечно, так их в перетак.

Все время льдины кажутся живыми существами, которые думают-думают-думают какие-то тягостные думы и способны, не моргая, глядеть на закатное светило. А можно и так решить, что они опустили белые веки и просто бездумно ловят последний солнечный привет.

22.20. Светило все-таки утопило себя под горизонтом, но нестерпимо яркая оранжевая полоса продолжает гореть.

Стекла в каюте помутнели от соли — мыть надо, но боюсь сквозняка.

Буфетчица в столовой за обедом настойчиво спросила, когда можно сделать приборку в каюте и сменить белье. Терпеть не могу уборок в своей каюте и привык менять белье сам. Но больше оттягивать невозможно. Назначил на завтра после завтрака.

Обед был воскресный: бульон с пирожками. По традиции на воскресный ужин подается еще бульон с куриными потрохами.

В дрейфе между островом Свердрупа и островом Сидорова из архипелага Арктического института.

Безделье.

Снежные заряды. Издали выглядят косыми занавесками из полинявшей на коммунальной кухне тряпки.

Я вырезаю из «Иностранной литературы» рисунки писателей. Оказывается, и Мериме рисовал, и Стендаль, и Гюго. А Лорка — отличный, профессиональный рисовальщик. Думалось о том, как безнадежно поздно начинаешь узнавать сам себя. Так поздно, что и нет уже никакого смысла начинать все сначала даже в своем воображении.

Читал Микеланджело: «Настоящая живопись, будучи сама по себе божественно возвышенной, никогда не породит ни одной слезы...» С литературой дело другое: «Над вымыслом слезами обольюсь...» В наше время литература и кино слишком часто давят на слезные железы. Но ведь любой практик знает, что выдавить слезу — раз чихнуть.

«Порою даже сладострастие в картине способно развеять печаль и тоску, которые держат человека в своих тисках». Это тоже итальянец Микеланджело.

По последнему слову тамошних ученых, в нежной Италии больше всех бьют своих жен полицейские, врачи и адвокаты.

По свидетельству советских ученых, в последнее время у нас милиционеры, прокуроры и судьи все чаще говорят о воспитании добром — гораздо чаще и настойчивее говорят об этом, нежели педагоги.

«Юмор в его лучшем виде связан с аффектом радости...» — из статьи английского психолога. Статью принес доктор, когда я сидел в каюте у больного капитана. Я попросил Айболита принести кодтерпин. Док мне говорит, что он расписывался за кодтерпин на особой бумажке, ибо это группа «А» — особенно сильная отравка. Я нашему психиатру объясняю, что группа «А» — это группа немецких армий, капитану они в данный момент не нужны, неси кодтерпин. Он начинает стонать, что кодтерпина у него всего три упаковки. Наконец ушел.

В. В. с грустным вздохом заметил, что последнее время отчетливо замечает, как с возрастом слабеет у мужчин воля. Вот и он сам в такой трудный рейс согласился идти без настоящего судового врача.

Поймал себя на том, что часто употребляю выражение: «Грудь кашля раздражает». Оказывается, цитирую что-то из собственных сочинений. Да, случается, что часто повторяешь и про себя, и вслух какие-то давным-давно написанные фразы, хотя уже начисто не помнишь, кто из героев и в какой ситуации их произносил.

Мучает, что уже около года не пишу художественного. Трудно писать на судне — не хватает воли. Все травля, идиотское кино, шеш-беш, клочковатое чтение.

Зато, кажется, я теперь уже точно знаю, что отвечать на набивший оскомину вопрос: «Почему вы плаваете?»

Вот искренний ответ: «Я просто вынужден поддерживать репутацию!» Нет. Тогда что? Что толкает в новый и новый путь? Охота за литературным материалом? Любовь и тяга к морю? Нет. Меня толкает в путь недостаток «энергии заблуждения».

В опытах доказано, что люди наиболее активны, когда вероятность успеха составляет около 50%. Деятельность, в которой 50% на 50%, требует веры в успех и в то же время позволяет верить в него. Если вера не нужна (гарантировано 100% успеха) или невозможна (ожидается 100% неудачи), то работа становится механической, а существование бессмысленным.

Мне кажется, здесь и зарыта та собака, которую Толстой в применении к писательству называл «энергией заблуждения».

На море особенно ясно, что формула «руководить — прежде всего укреплять веру в успех», — есть самая действенная формула.

О судовождении в условиях дурной видимости, среди отдельных льдин и полным морским ходом. Такая «эквивалибристика на шарах» осуществляется при помощи радара. Отметки отдельных волн и льдин на экране иногда выглядят одинаково по интенсивности свечения. Но отметка волны исчезает после одного-двух-трех пробогов электронного луча по окружности экрана. Отметка же от льдины не исчезает. А так как, в отличие от волны, льдина практически стоит на месте, то от нее при быстром движении судна появляется на экране зеленый хвостик. Отметка льдины делается очень похожей на головастика. Хвост головастика параллелен вектору вашей скорости и направлен против него. Чем больше скорость, тем длиннее и отчетливее хвостик и тем проще отличить льдину от

миголетной волны. Но чем больше скорость судна, тем тяжелее последствия, если льдина окажется неопознанной и вы от нее не отвернете. Бывают очень упрямые волны, такие коровы, которые стоят на месте довольно продолжительное время. Тогда у них тоже вырастает хвост и вас обманывает. И вот когда смотришь на такие отметки впереди по курсу, то произвольно молишься: «Пожалуйста! Ну, будь добра! Окажись не льдинкой, а волной, пожалуйста, исчезни! Пожалуйста, не распускай хвост!» Желание это такое сильное, что иногда попадаешь под гипноз самообмана, то есть делаешься гусем, который со страху засовывает голову себе под крыло.

Если много глядел в небеса, на звезды, на Луну, на Солнце, на планеты, то астрологическая мысль о том, что поступки людей диктуются силами, находящимися за пределами Земли, не кажется еретической. Она даже делается такой же обыденной, как труп для штатного работника морга.

Каждый начинающий писатель должен четко осознать, что Россия уже давно страна не приозерная, а приокская.

И еще он должен понимать, что Россия — страна северная, зимняя.

Так как в Союз входят южные республики и так как мы каждый год летаем в Сочи или Ялту, то ощущение зимности, северности России несколько нивелируется.

Как прекрасна чистая, открытая вода после льдов!

На этой чистой, открытой воде была одна льдина, в которую я и решил упереться лбом для более беззаботного лежания в дрейфе. Но тут впервые после болезни возник на мостике В. В. Он был в неизменных стоптанных до положения лаптей ботинках и полушубке, надетом на рубашку.

Покачивался даже на неподвижной палубе — ослаб от болезни, лекарств, невыспанного снотворного.

Я завизжал поросенком.

Я искренне визжал на эту громадину. Ничуть не хотелось остаться на судне без основного капитана. Тем более у старпома не было допуска и нам пришлось бы дожидаться какого-нибудь чужого человека, чтобы плыть дальше.

— Честное слово, Василий Васильевич, — визжал я, — ничего не останется делать, как радировать в штаб, паро-

ходство и отправлять вас в больницу! О чем вы думаете? Полежите еще сутки! Видите, здесь все прекрасно...

В. В. сделал свой обычный добродушно-короткий-скорбный вздох и сказал:

— Виктор Викторович, вы прекрасный человек. Я готов с вами в разведку. Кого оставили здесь старшим на рейде?

— «Алатырьлес»... Вы после банок, вам надо... Я вертолет вызову!!

— Яковлев там?

— Черт его знает... Идите хоть оденьтесь по-человечески...

— Чего же вы к флагману задом ложитесь?— поинтересовался В. В. и опять скорбно вздохнул.— Давайте к нему носом ляжем.

— Давайте-ка тогда сами,— сказал я, ибо мой визг подействовал на В. В. так же, как лай моськи на слона.

И В. В. стал крутить пароход вокруг одинокой льдины, чтобы воткнуться в нее носом в направлении на «Алатырьлес».

«Колымалес» заупрямился, и маневр не получился.

Нет такого капитана, который не испытывал бы некоторого комплекса в подобном положении. Ведь когда капитан борется со своим вздорным пароходом на швартовке, при постановке на якорь, во льду, то он некоторым образом укрощает быка на глазах помощников и матросов.

Я не мог понять причины нашего верчения вокруг льдины и настойчивого желания В. В. лежать в ожидательном дрейфе именно носом на флагмана.

Понял только в каюте, когда мы с В. В. сели пить чай. Капитан признался, что полчаса тореадорничал ради того, чтобы лежать в дрейфе не правым бортом к ветру, а левым. Окна капитанской каюты выходят на лобовую стенку надстройки и на правый борт. Одно бортовое окно задривается неплотно, и з него сифонит ветер, что при простудных заболеваниях не рекомендуется.

Больше всего мне понравилось то, что, заложив два неудачных виража вокруг ледяного островка, В. В. смирился и не стал крутить третий.

Никакими комплексами капитан не страдает. Плевать он хотел на самоутверждение: не хочет пароход?— подрастет, захочет.

Конечно, какую-то роль сыграло и то, что слаб В. В. сейчас, как новорожденный олененок. А рвется в баню — панацея от всех бед. Едва отговорил. Тут выяснилось, что

на Ленинград они шли из Испании. В Бильбао или еще где-то наломали для бани эвкалиптовых веников — замечательный дух в парилке и т. д.

— Стоп! — сказал я. — У вас есть еще эти веники?

— Есть.

Через полчаса В. В. дышал испано-эвкалиптовым паром из носика чайника под одеялом.

А я глядел на грязные полосы мороси в смеси с туманом и вспоминал Монтевидео. Мы зашли туда на пути в Антарктиду, и я, конечно, оказавшись в эвкалиптовой роще, наломал себе приличный пук ароматных веток, чтобы полоскать больные десны.

Было странно вспоминать фиолетовые тени голых эвкалиптовых стволов на оранжевом песке сельской уругвайской дороги... На припортовом пустыре я нарвал еще букетик... «Блудничали будничные травы и цветы на пустырях возле порта...» Этот букетик я поставил возле иллюминатора, и, когда рисовал от нечего делать натюрморт, за стеклом иллюминатора проплыл первый антарктический айсберг. Это было двадцать пятого февраля к северу от острова Южная Георгия. Нам в борт тяжело дышал тогда пролив Дрейка...

Заниматься ингаляцией — дело муторное. И чтобы развлечь В. В., я сказал про одного из штурманов, что он не очень-то решителен в сложных ситуациях и что меня это раздражает.

В. В. заметил на это очень веско — явно давно и глубоко продуманное:

— А мне и не нужны решительные помощники. Хватит и моей решительности!

И так это прозвучало, что отпала всякая охота дискутировать на такую вечно спорную тему. Тут не в схоластических спорах дело, а в том, как капитан решил это сам для себя и на всю жизнь.

Теперь о самой решительности. Это определение обязательно употребляется в официальных характеристиках на моряка-судоводителя. В нем масса различных оттенков, оно как белый солнечный луч, состоящий из всех цветов спектра. Их перечислять — слишком скучно. Попробую объяснить на бытовом примере. Возьмем чайный термос. У термосов всего мира устройство довольно дурацкое. Они имеют круглое горло, а у чайника — носик. Потому только немногие люди умеют налить из термоса жидкость в стакан, не плеснув на скатерть. Так вот, наклонять термос над стаканом надо **РЕШИТЕЛЬНО**,

и тогда потеря жидкости будет минимальной, а невинность скатерти оптимальной. Но чтобы резко наклонить термос, придется рисковать тем, что вы выплеснете на скатерть и все его содержимое. Таким образом, решительность всегда связана с риском.

«Риск — объективная черта любого морского предприятия, любого рейса судна. И какие бы заклинания ни произносились по поводу этого «сакраментального» понятия, риск всегда будет присутствовать в решениях капитана по управлению судном, особенно при маневрировании в сложных условиях. Да и сам институт морского страхования исходит из факта существования риска. Весь вопрос в его степени, допустимости и обоснованности».

Быть решительным всю жизнь, всю жизнь рисковать — вызывает определенную амортизацию и усталость.

Ведь часто бывает, если говорить в одесско-юмористическом духе, что дать «стоп» или «полный назад» оказывается так же стыдно, как, простите, спустить машинку в туалете в гостях у незнакомых людей. Чем стеснительнее и нерешительнее вы будете тянуть цепочку, тем ужаснее могут получаться подвывания в фановой магистрале.

Так как «Колымалес» главную часть времени проводит в Средиземном море, а В. В. главную часть своей морской жизни проводит в лоцманской каюте, то она украшена большущей картой Средиземного моря.

Когда смотришь на итальянский сапожок, Сардинию, Грецию и Сицилию, находясь на трассе Северного морского пути, то зрелище это несколько даже возбуждает. И не только южными ассоциациями, но и тем, что итальянский сапожок — явно женский сапожок.

В столике у изголовья койки лоцманской каюты существует треугольная, будто топором вырубленная вмятина. Эта вмятина-пробоина напоминает о том, что В. В. — человек везучий. В какой-то вовсе сумасшедший шторм, именно в Средиземном море, возле женственного итальянского каблукча, когда «Колымалес» шел с грузом стали и качка достигла безобразного апогея, массивная каютная дверь слетела с петель и врезалась ребром в стол рядом с капитанской головой.

В. В., находясь в лоцманской, часто машинально поглаживает своим широким указательным пальцем треугольную жуткую вмятину — свидетельство того, что ро-

дился он если не в рубашке, то, во всяком случае, в тельняшке.

Над койкой припилены карты Северного моря и Бискайского залива. Но эти карты не трогают во мне никаких романтических струн. Да и вообще сейчас за всеми границами есть для меня единственное место, куда еще тянет, — это Париж...

Впервые надел «специальную мужскую одежду» — слюнявчик с тесемками, напоминает ощущение от курсантского бушлата. И, защитившись таким образом от сквозняка, отдраил окна и помыл их от соли.

Получили РДО о том, что все средства навигационного обеспечения по всей трассе Северного морского пути включены.

В этот момент проходили остров Правды. Домишко полярной станции на острове был ярко освещен зачем-то аж двумя прожекторами, а маяк, который находится в двухстах метрах от станции, не горел.

Я попробовал по радиотелефону вызвать полярную станцию на острове, то есть минут пять орал: «Правда! Правда! Правда! Ответьте для связи!» Никто, ясное дело, не ответил, и потому обматерить полярников мне не удалось.

На острове Герберштейна маяк тоже не горит.

03.30. Итак, втягиваемся в пролив Матиссена, а СНО нигде не работают.

Когда поднялся на мостик старпом, пришлось сказать:

— Я вам сдаю малиновый рассвет, сильную рефракцию и негорящие маяки.

От благодарности чиф воздержался.

Искаженные рефракцией острова напоминают то пирамиду Хеопса, то гриб атомного взрыва. Иногда они переворачиваются строго вверх ногами.

При мертвом штиле поперек курса полосы сулоя — напоминает вход в Малаккский пролив к северу от Борнео.

Какие-то привиденческие, призрачные явления на поверхности воды в момент утренней зари — на северо-востоке море все розовое, а по нему зелено-стеклянные и голубые полосы.

Митрофан и здесь не удержался, буркнул на всю эту красоту:

— Льяла кто-то за борт откатал...

Вот еще из мелочей. Митрофан Митрофанович обожает точить карандаши в штурманской рубке. А меня почему-то это бесит.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАРПОМА У МЫСА МОГИЛЬНЫЙ

...Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами...

Ф. Тютчев

Мыс Могильный в широте 76° 45' является северным входным мысом мелководного залива Дика, расположен в 14 милях к северу от бухты Гафнер-фьорд. Могильный мыс глинистый, высотой 20 м; в ясную погоду открывается в виде отдельного островка с 13—14 миль. В трех кабельтовых к норду от мыса Могильный находятся две могилы и столб астрономического пункта с памятной надписью на металлической пластинке. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В районе мыса Могильный грунт плохо держит якоря.

Лоция Карского моря

Проснулся от сотрясения: на хорошенькую ледяную дуру мы наехали.

Продолжаю лежать и слушать. Понимаю, что идем полным по каналу, что В. В. после удара ход сбавлять не стал — значит, где-то на изломе трахнулись.

Начинаю вспоминать сон, который снился.

Бах! — опять удар, и с графинной полочки вылетает стакан с двумя засохшими розами. Стакан уцелел, а цветочки — в прах рассыпались. Те самые розы, которые давно хотел выкинуть, чтобы освободить для пользования стакан, но все не делал этого из сентиментальных соображений, хотел сохранить цветочки для хозяина каюты в неприкосновенности: вернется он из отпуска — розочки как стояли, так и стоят.

Не устояли розочки. Что ж — туда, значит, им и дорога...

А сон жутковатый. Я ныряю на большую глубину, вижу из-под толщи вод где-то высоко над собой круг, светлый, оставшийся на поверхности моря после того, как я откуда-то в него прыгнул. Продолжаю идти на глубину,

хотя все время понимаю, что глубина уже предельная для возможности возвращения, но все гребу и гребу, затягивая нырок безо всякой цели или необходимости — так сказать, из чисто спортивного интереса...

Вспомнил сон, закурил и в который раз пристально, серьезно подумал-прочувствовал: а если бросить писание? Да. Бросить. На какие-нибудь вечерние курсы в Академию художеств ходить, а летом на перегоне речных судов в Арктике подрабатывать... И вдруг такую боль и страх испытал — от одной мысли, что больше вот не буду писать! О-го-го как это страшно, оказывается. Нет, уже нырнул в запредельную глубину и нет тебе возврата...

Смотрю на часы и вдруг понимаю, что час тридцать ночи: моя вахта, уже полтора часа моя! Судно явно в тяжелых льдах. В перемышку вошли еще перед ужином у островов Гейберга. Почему меня не подняли? Неужели идет один Митрофан? Что бы это значило? Будили, а я заспал?! Бог мой! Не встал на вахту! Не может быть.. Но ведь раза три за жизнь такое случилось...

Кое-как одевшись, бегом поднимаюсь в штурманскую Штора, отделяющая ее от ходовой, плотно задернута. Гляжу путевую карту — острова Гейберга, где когда-то мой радист Камушкин нашел чудесный, детский кораблик, далеко за кормой. Мы у мыса Могильного на подходах к проливу Вилькицкого. С мостика доносится голос В. В..

— Идите смелее, Митрофан Митрофанович! Мы же бормотуху и картошку везем, а не яйца!

Значит, сам капитан на мостике; а время мое. Что бы это значило? Почему это он меня отстранил от законных прав и обязанностей? Чем я не угодил? В душе и печенках накает ревности и обиды.

Слышу звонок телеграфа, вздох переворачивающейся под бортом льдины, шорох и скрежет льда по стали...

Что же все это значит? В любом случае, Витя, спокойно, не психовать.

Спускаюсь в каюту, чтобы обдумать ситуацию.

Вспоминаю, что вчера В. В. на меня наорал.

У мужчин, когда они, например, стригут ногти на ногах после бани, выражение на физиономиях делается весьма сосредоточенным и скифски суровым. С таким именно выражением наорал на меня В. В. Орал он прямо на трапе между кают-компанией и мостиком, то есть на весь теплоход.

Было так. В густом тумане, в очень тяжелом льду, в темное уже время ночи мы не вписались в поворот ка-

нала, следуя в кильватер за «Енисейском». Отстали от него кабельтовых на восемь, канал забило насмерть. Я попросил «Ермака» застопорить и обождать нас, чтобы иметь возможность форсировать перемычку на умеренных ходах. Ледокол сперва согласился, но затем приказал мне вовсе стопорить машину, лечь в дрейф и ждать, пока он выведет пять головных судов на разводье. На миг у меня возникло неприятное ощущение: показалось, что если бы действовал решительнее, работал большими ходами, то мы бы так далеко не отстали и ледокол бы нас не бросил. В то же время я знал, что в разводье предстоит ждать другой ледокол неопределенно длительное время, и потому никакого резона рвать себе брюхо в такой тяжелой перемычке не было. И В. В., конечно, тоже все это быстро уяснил; уяснил и то, что наорал на меня зря, однако извиняться, конечно, не стал...

Хватит, товарищ Конецкий, дергаться. Успокоились, товарищ Конецкий? Сполосни-ка вот лучше рожу. Сперва теплой водой, а закончи тремя полными горстями ледяной. Вспомни чего-нибудь для смеху. Например, как медсестра в больнице у Коли Дударкина-Крылова выказывала свое непроходящее удивление оттого, что все мужчины моют физиономию водой. Вспомни, как она объяснила, что это вредно для кожи и что по утрам она вовсе не моется: в крайнем случае мочит ладошки и прикладывает их к лицу... Ну, а теперь закури и поднимайся на мостик.

На мостике полумрак, накурено.

Говорю положенное от века:

— Доброй ночи!

— А, Виктор Викторович! Не уберегли все-таки дублера! Это ты, Матвеев, виноват! Не рулевой, а бегемот какой-то! — ворчит Василий Васильевич. Никаких подводных камней в его голосе не чувствуется.

— Чего это вы, господа, меня игнорируете?

— К нолю до полыньи меньше двух миль оставалось. Там будем «Сибирь» ждать. Она у острова Жохова на точке работает. Решили вас не будить, а эти две мили уже два часа блудим... Митрофан Митрофанович, идите по своей кромке! Сколько раз вам говорил! К ней, к ней поджимайтесь!

Спазма, в которой — в омуте обиды и ревности — пребывала душа, начинает отпускать. Просто В. В. переживает, что за время его болезни я много перестоял на мосту. Так, вероятно, надо понимать. В чем моряки проявляют свои симпатии? Механик принесет тебе на мостик

соленых сухариков. Впередсмотрящий матрос спросит, сколько положить ложек сахарного песка в чай. Вот, больше ничего нам друг от друга и не требуется.

— А я уже собрался в бутылку из-под бормотухи лезть! — говорю я повеселевшим голосом. — Только прошу, больше так не делайте. Кесарю кесарево.

— Ревнивый вы человек? — спрашивает В. В.

— Увы.

— Я тоже.

Из радиотелефона:

— Я «Алатырьлес»! Проходим льдины, испачканные нефтью!

— Где идет «Алатырь»?

— Перед нами. Мы концевые. За «Мурманском» «Индига», за ней эстонцы.

Выхожу на крыло. Туман сгустился до степени, когда бортовые отличительные огни дают зеленый и красный ореолы. Мощные прожектора ледокола вообще не видны. Сквозь густой бархат тумана лупит дождь со снегом. И еще боковой ветер — сильный дрейф. А прямо скажем, наши рулевые матросы при сильном дрейфе работают во льду плохо. Запах воздуха здесь уже вполне арктический. Как расшифровать понятными, человеческими словами этот запах, его отличие от запахов всяких разных других северных мест, я не знаю. Туман такой, что в горле першит. Я так привык к этому эффекту, что даже в самолете, когда он входит в облака, у меня начинает першить в глотке. Иногда даже кажется, что какое-нибудь кучевое облако способно опрокинуться от самолетного гула, как айсберг от судового гудка...

Под бортом появляются рыже-черные льдины.

Из радиотелефона:

— Я «Мурманск»! Кто из судов откатывал льяльные воды?

Туманное, непроницаемое молчание.

— Тоже думали небось, что уже в полынье плывем, ну, и катанули, — объясняет В. В. — Поторопились.

Из радиотелефона:

— Я «Мурманск»! Всем судам! Ложиться в дрейф! Ухожу на разведку корпусом!

— А все-таки сволочи! — говорю я, глядя на испохабленные льды.

— Не берите в голову, Виктор Викторович. Во все дырки лезете. Так вас скоро кондрат хватит, а мне с ва-

шим трупом возиться. Жаль, что мы сами не откатали. — Ночи-то уже достаточно темные. Забыл сказать Цыгану.

Нет, никакие пропаганды и агитации за охрану окружающей среды на русского человека, когда до дела дойдет, не действуют. Тут как раз такой случай, когда дено и ночью надо петровскую власть употреблять. Никакой власти над В. В. у меня нет. Потому я заявил, что есть хочу.

— Так в чем же дело? — воззрился на меня В. В. — Станьте-ка сами на руль! Матвеев, иди вниз, подними помпохоза, пусть выдаст колбасы!

Было около двух ночи. Помпохоз мирно спал. И моя интеллигентная составляющая дала слабину.

— Зачем? Что вы?! Человек отдыхает! — запричитал тот раб, который во мне сидит и вечно боится дворников и швейцаров.

— Не берите в голову и станьте на руль! — приказал В. В. — Матвеев! Скажи помпохозу, что капитаны есть хотят! Живо! И хорошей жратвы!

— Да зря вы... — уже по инерции пробормотал я, принимая курс у рулевого и сосредоточиваясь на компасной картушке. Когда много лет не стоял на руле, тут тебе уже не до интеллигентных разговоров, тут держи ушки на макушке.

— Митрофан Митрофанович! Сбавляйте, наконец, ход! Чего это вы так расхрабрились? Сами не можете догадаться! Мы же все-таки бутылки везем, а не бульдозеры!

— То «идите смелее», «мы не яйца везем», то «ход сбавляйте», — бормочет Митрофан.

Не рекомендуется искать в приказах капитана логичности.

В абсолютно одинаковой — как теперь говорят, адекватной — ситуации капитан, возникнув на мостике, может заорать: «Мы же в тумане идем, черт вас подери! Держать дистанцию не больше двух кабельтовых!» Или: «Мы же в тумане идем, черт вас раздери! Держать дистанцию не меньше пяти кабельтовых!» Еще раз подчеркиваю: и плотность тумана, и скорость, и ордер, и время суток будут при этом абсолютно одинаковыми, но капитан еще присовокупит к своим противоречивым приказам ядовито-угрожающе: «Сколько раз я вам об этом твердил, штурман?!» И нет тут никакого самодурства. Все правильно. Просто капитан в сей миг так ЧУВСТВУЕТ, вот и орет, а не будет орать, застесняется своей противоречивости,

алогичности — так он сам дурак, слабак и кончит рано-поздно плохо.

— Руль прямо, Виктор Викторович! Просто-напросто прямо! Приехали мы уже — уже в полынь! А то вы так сосредоточились на картушке, будто мы в иголочное ушко пролезать собираемся! Стоп машина! Митрофан Митрофанович, позвоните механикам — пятиминутная готовность. Полынья большая, ветерок средненький, ледакол часа четыре какой-нибудь котлочисткой заниматься будет — чует мое сердце. Итак, география кончилась. Ба, Нина Михайловна, доброй ночи! Чего это вы решили нас навестить?

— Так помпохоз меня поднял, сказал, вы кушать хотите.

— Правильно сказал. Накройте-ка нам в моей каюте на четыре персоны. И колбаски не жалейте, и каждому по глазунье. И Гангстера поднимите — он завсегда есть хочет. А спать новорожденным не обязательно. Старпому сегодня сорок исполнилось. Митрофан Митрофанович, местечко сделайте, пожалуйста. Радар чего-нибудь цепляет?

Ветерок сдернул туман, открылась черная вода полыньи, силуэты судов и довольно близкий берег Таймыра.

Пейзаж был так уныл, что напоминал тусклые от горя волосы вдов. Сквозь фиолетовую сумеречность летел редкий снег, мокрый, крупными снежинками. Где-то я читал, что в народе при такой погоде говорят: «Сын за отцом приходит». Чем-то жутким веет от таких слов. К умершему отцу, что ли, сын приходит? Неясно, но нечто очень точное — как всегда в народном.

— Мыс Могильный цепляет,— доложил Митрофан от радара.

Из радиотелефона неожиданно и явственно — звонкий женский голос: «Челюскин-радио, я Челюскин-радио! «Наварин»! Они выехали на машине к берегу! Следите за ними на берегу! Я на средние волны побежала!»

— Самый любимый глагол у женщин «бежать». Заметили? — раздается красивый баритон Октавиана Эдуардовича, который тоже появился в рубке. — Редко какая скажет: «Я пошла». Обязательно: «Ну, я побежала!» За хлебом, на сцену — куда угодно, но «побежала». Что-то в таком есть бодренькое, молодое, порывистое, далекое от гинекологии. Нина Михайловна, вы со мной согласны?

— Согласная, согласная!

— А чего это вы еще здесь торчите?— цыкнул Василий Васильевич на буфетчицу.— Старпому сорок лет исполнилось, а она здесь торчит! Ну, Виктор Викторович, вы все про здешнюю историю знаете. Кто на этом мрачном мысе похоронен?

— Приятно отметить интерес к северной старине,— сказал я.— А похоронен здесь тот лейтенант Жохов, вокруг которого сейчас «Сибирь» крутится. Возьмите-ка лоцию. Эй-би, там о нем есть.

Лоцию изучили, но ничего там ни о лейтенанте, ни о кочегаре Ладоницeve, которые «омрачили своей смертью» зимовку, как пишет Визе, не было. Зимовали здесь «Таймыр» и «Вайгач» шестьдесят четыре навигации назад — экспедиция Вилькицкого.

Под глыбой льда холодного Таймыра,
Где лаем сумрачным испуганный песец
Один лишь говорит о тусклой жизни мира,
Найдет покой измученный певец.
Не кинет золотом луч утренней Авроры
На лиру чуткую забытого певца —
Могила глубока, как бездна Тускароры,
Как милой женщины любимые глаза.
Когда б он мог на них молиться снова,
Глядеть на них хотя б издалека,
Сама бы смерть была не так сурова,
И не казалась бы могила глубока.

Эту стихотворную эпитафию сочинил себе перед смертью утром 28 февраля 1915 года лейтенант, командир роты на ледокольном пароходе «Вайгач» Алексей Николаевич Жохов.

Двадцать седьмого августа 1914 года лейтенант первым усмотрел неизвестный остров в архипелаге Де-Лонга, на который через полвека занесло меня, мы вытаскивали там из ледяной каши ящики с печным кирпичом и мешки с мукой при разгрузке ледокольного парохода «Леваневский». На этом островке мы грелись у костра вместе со сворой чумазных собак и двумя белыми медвежонками.

Лейтенанту везло на открытия, но не везло на людей. Борис Вилькицкий не любил лейтенанта за излишне прямой и несдержанный характер. Открытый им остров начальник экспедиции назвал именем командира «Вайгача» Новопашенного. В январе 1926 года решением ВЦИКа остров был переименован в остров Жохова.

Лейтенанту не везло не только с начальством. Его

подвел друг по Морскому корпусу лейтенант Транзе, ему не поверил корабельный врач Арнгольд, его не понял родной дядя, запретив жениться на своей дочери Нине Жоховой. Лейтенант Жохов не вынес длинной полярной ночи, зимовки, не мог есть консервы и, по официальным данным, умер от нефрита, омрачив этим зимовку. Кочегар Ладоничев умер от аппендицита.

Жохов родился 25 февраля 1885 года.

Женщина, которую он так любил, которой посвятил предсмертные стихи, осталась верна его памяти, ушла сестрой милосердия на фронт в 1916 году, — как только узнала о его гибели.

Нина Жохова пережила блокаду, до конца своих дней работала в ленинградской больнице имени Куйбышева и умерла в 1959 году.

— То есть вы, Василий Васильевич, наверняка не один раз ездили с ней в трамвае или троллейбусе, — так для лучшего эффекта закончил я экскурс в прошлое.

— Да. Грустная история, — сказал В. В. со своим грустным вздохом. И вдруг рассказал, что терпеть не может, когда жена срывается и кричит ему при разговоре по радиотелефону: «Будь ты проклят!» В. В. сказал, что целую неделю потом чувствует на себе это проклятье, оно прямо-таки как какое-то огромное родимое пятно, а корень вообще-то в том, что жена, сорвавшись со своего спокойного тона на проклятье, сама потом долго мучается, ну, а он мучается из-за того, что она мучается.

Вообще-то я заметил, что В. В. еще и немного суевен. Над столом у него висит шикарный иностранный календарь с красным движком-указателем. И вот когда наступает тринадцатое число, то В. В. указатель не передвигает, и таким макаром мы проживаем два дня под «двенадцатым».

Пока Нина Михайловна накрывала на стол, а мы поджидали новорожденного Гангстера, капитан рассказал о соловье, которого звали Чок.

Чок ел тараканов и муравьиные яйца и любил сидеть на голове Марии Петровны и на перилах балкона. Поют соловьи особенно замечательно с девятого мая по пятнадцатое — ждут подруг, строят гнезда и оповещают других соловьев о том, что место занято. Если соловья

поймать между этими числами, то он и дома начинает петь уже в первую ночь. А если поймать в другие времена года, то вообще в неволе может не запеть.

Домоседа Чока сдуло сильным порывом ветра с балкона, он боролся-боролся с ветром, но не осилил и исчез.

Месяца через полтора В. В. пошел гулять в ресторан «Бурьян», то есть на Смоленское кладбище. И вдруг слышит из какого-то куста: «Чок!» И узнает своего соловья. И все это абсолютная правда, а не из жизни каких-нибудь кроликов. Чока В. В. начал звать, объяснять ему, что лететь на зимовку куда-нибудь в Африку далеко и опасно — соловьи летят не стайками, а поодиночке. Но Чок выпендривался и в руки не давался. Тогда В. В. пошел домой, взял клетку и Марию Петровну. Чок из своего куста слетел сперва на голову Марии Петровне, а потом сам залез в клетку.

Птичьи рассказы капитана среди суровых будней меня умиляют, как умиляли Юру Казакова его собственные детские рассказы.

О чем говорят за ночным чаем мужчины в день рождения старшего помощника на судне, которое дрейфует в черной полынье у мыса Могильный в Карском море, среди годовалых льдов, особенно белых из-за черных жилистых разводий? О том, что подорожали радиogramмы — средняя любовная, молодоженная два рубля; что морякам, которые даже при желании не могут заменить радиogramмы письмами, следовало бы, наконец, снизить тариф, а еще лучше — разрешить две радиogramмы в месяц бесплатно. О том, что у иностранцев радиogramмы еще дороже: пятнадцать — двадцать долларов, но зато международный профсоюз моряков гарантирует оплату проезда женам в любой порт на планете, коли судно стоит там больше двадцати суток; ну, и о том, что глазунью я ем неправильно: надо вырезать желток, съесть белок, а затем уже есть и желток, а я нелепо разрезаю желток вместе с белком, и в результате все остается на тарелке. Ну, и опять говорят о женщинах, которые через своих мужей, сыновей, отцов связаны судьбой с морем; о женщинах, для которых разлука есть норма существования, а неразлука — исключение. И, увы, часто тягостное исключение, ибо дети отвыкают от отцов, жен пугает необходимость близости с мужем где-нибудь на судорожной стоянке судна, в далеком порту, куда добирались самолетами и поездками несколько суток, а пока добирались; судно уже

на отходе, а муж на вахте, в каюту то и дело стучат, телефон звонит, гудят динамо, вибрирует корабельная сталь, обратных билетов нет, на работе скандал, голова разламывается... Вот тебе и романтическая любовь, алые паруса, Ассоль и прочая чушь...

Рассказ новорожденного старшего помощника.

— Шли вокруг Африки. Тяжелый рейс. Возле Доброй Надежды угодили в ураган. Такое безобразие, что богу молиться начал: подвижка груза, ну, сами понимаете, судно старое, ни кондишена, ни... Дневальная была Тамара, красивая до полного безобразия и распущенная в нравственном отношении, но чистюля... Я — вам-то врать не буду — ни разу ее даже за попку не ущипнул. До полного безобразия жену любил, Аню. Как в романах говорят — благоговейно. Вся каюта в фотографиях — перед агентами в портах неудобно было, но карточки не убирал. Весь рейс мне Аннушка духовно помогала. На Тамару мне абсолютно наплевать было. Единственно, в чем ее использовал, — рубашки стирала: замечательно и постирает, отгладит... Сами знаете, как хорошее белье работать помогает; особенно когда устанешь в рейсе уже до полного безобразия. Дружественные у нас с Томом — так ее уменьшительно называл — отношения сложились. Делилась со мной своими романами, про детство вспоминала, тяжелое детство, тяжелая судьба. Ну, я ей тоже и про жену, и про детишек, и про разные свои неприятности рассказывал. Чайку попьем, полюбуюсь на ее красоту, кокетство разное — и все на этом, табу. Пришли в Одессу, на рейде стали. Туман — сметана с сажей. Жены, конечно, прилетели из Питера, но сидят на берегу — закрыли рейд для катеров. Том мне все выстирала. А я ей за каждую постирушку все пытался фунт-другой сунуть, а она обижалась и не брала. Такие сложились доверительные отношения. Пришлось в Сингапуре ей за пятнадцать фунтов кофту какую-то сногшибательную покупать — на день рождения ей подсунил. Взяла кофту. Стоянка в Одессе короткая ожидалась — двое суток. А тут еще туман этот. Такие туманы на Черном море редкость. Но тепло, и я сплю с прихода в каюте с открытым иллюминатором. И вдруг голос жены слышен сквозь сон. Ну, думаю, бред очередной. Мне весь рейс Аня снилась. Знаете, очухаешься после сна, и еще некоторое время мерещится, что она рядом лежит. И здесь такое — полная иллюзия ее голоса, слуховая галлюцинация. Оказалось, не галлюцинация. Аннушка упростила какого-то одесского мальчишку-со-

рванца, и он ее в обход всех портовых правил, таможни и погранзастав на малюсеньком тузике на рейд доставил. И как этот сорванец нас в таком тумане нашел? Чутье у них, у одесских мальчишек. И вот когда они у меня под окнами каюты проплывали, я ее голос и услышал. Но в тумане-то звуки особенные, странные этакие, потусторонние. Я проснулся и думаю: несчастье какое-то приближается. И опять слышу глухой такой, но ее, жены, голос — окликает меня по имени: «Стасенька, отзовись... Стасенька, родной, отзовись...» Это они между судов на ялике плутают, и она возле каждого судна меня окликала. Туман-то такой, что и название на борту не прочитаешь.. В общем, было два дня счастья. Улетать ей надо. Ну, хорошая жена — значит, перед разлукой надо все мое интимное хозяйство в порядок привести. Сидит, пуговицы пришивает, свитер штопает, по шкафам и рундукам лазает... Я по судну белкой кручусь — еще грузовым помощником плавал. Залетаю как-то в каюту, чтобы ее обнять да обратно в трюм закувыркаться. Вижу, сидит она на койке белая, лицо мертвое, глаза в одну точку, а в руках — черная женская комбинация или там трико с подвязками, дырявые дрянные тряпки; так развратом и разит от них и грязью. Кинула Аня мне их в лицо и... Ну, тяжелая истерика, истинная, волос половину у себя вырвала, волосы у нее замечательные были, гордость ее, а пахли как замечательно... Оказалось, короче, нашла она эти женские шмотки у меня под матрасом. И понял я, ничем ее теперь не разубедишь, что все это случайность, что Тома случайно туда свои причиндалы сунула, когда каюту прибирала... Что делать? Мои слова Аня просто не слушает, меня не видит, вся в себе, в своем горьком ужасе. В таком состоянии руки на себя накладывают. Что делать? Понимаю, ничего я не могу найти, никаких слов и объяснений. Побежал к Тамаре, на колени перед ней стал: иди к жене, объясни, что к чему!

Красавица эта посмотрела на меня, особенно так посмотрела, засмеялась и пошла к Аннушке. Чего они там говорили, не знаю. Вроде подуспокоилась жена, но уехала какая-то придавленная. А через полгода Тамара все-таки ко мне в койку залезла. И тогда призналась, что специально свои тряпки подбросила — влюблена была в меня. Или просто на мою неприступность злилась. Нет, нельзя женщин на суда брать, нельзя. Во всем порядочном мире по морям стюарды плавают, а с нашим равноправием да нехваткой obsługi...

— Любовь — это обыкновенное предчувствие удачного и оптимального сочетания генетического наследства, — заявил старший механик.

— Видите ли, товарищи, — взял слово В. В., — за женскую приятность, как значить, говаривал Фома Фомич, мужчине обязательно надо платить неприятностью. Эту аксиому наш с вами коллега капитан Фомичев усвоил еще в молодые годы, когда был в сорок шестом на Крайнем Севере в охране зверосовхоза. И вот в зверосовхоз прибыл эшелон с трофейными или контрибуционными пушными зверями — немецкими лисицами или куницами из поверженной Германии. Эскортировали контрибуцию, значить, отчаянные девахи самых различных национальностей — из перемещенных лиц. А молодые бойцы охраны зверосовхоза толком женщин еще в жизни не видели — военная юность, голодовка, фронт, разнокалиберные потрясения неокрепших организмов и послевоенное казарменное затворничество. Естественно, что перед отбоем и после побудки они обсуждали женский вопрос, и главное: получится у них в будущие брачные ночи все в норме и тактично или ничего, значить, не получится. Когда прибыл эшелон, то вся охрана в различные щели зверосовхоза за девахами подглядывала и носами шмыгала от перевозбуждения и восхищения. Самые же отчаянные не только носами шмыгали, но и решились на экспериментальную проверку своих врожденных потенциальных возможностей. По принципу: упрямся — разберемся. Некоторые из решительных обогатились не только успокоительным опытом, но и еще кое-чем; тут, как говорится, пройденного пути от нас не отберешь... Пенициллин в те суровые времена был дефицитом. Самым отчаянным экспериментаторам пришлось ходить за десять километров — по тундре, по тундре — в медпункт, а после прогулки они совершали лечебные процедуры в сортире на заполярном морозе обыкновенной марганцовкой. В результате у наблюдательного Фомы Фомича, значить, и выработался иммунитет к связям со случайными женщинами...

Вода в полынье, где дрейфовал наш «Колымалес», морщилась, хотя ветер почти совсем утих. И этак она морщилась — будто ей было горько и тошно глядеть на нас и слышать про все наше человеческое безобразие.

На ближней льдине пуночка клевала отбросы — маленькая серенькая птичка, которой плевать было на все здешние арктические страсти-мордасти...

— Так вы по такой же причине и по поводу однолюб? — спросил я.

— Ну, зачем уж так, Виктор Викторович, хотя грязно, конечно, тоже посмотрелся в нежной юности, но тут, знаете ли, принцип. Тут уж у меня рабочая закваска, пролетарская, если хотите. Мария Петровна всю жизнь ждет — значит, и мне положено. Вот и у вас где-то написано: «Я однолюб и тем горестно счастлив». Ну, а я без горести. В награду мне теперь такая внучка — ого! Придете в гости — увидите — и уходить не захотите. Я и о пенсионе без страха думаю. И если хотите, и о смерти тоже...

— А слоны, как ни одно другое животное, предчувствуют смерть и панически боятся ее, — сказал Октавиан Эдуардович. И мне показалось, что этот стальной циник много думает о смерти и побаивается ее.

— Мы не знаем, о чем думает и что видит собака перед смертью, но, быть может, она так спокойна, потому что знает своего собачьего бога, видит его и верит в него, — заметил В. В. И вдруг заинтересовался тем, почему я ни разу не послал радиogramму той женщине, которая провозжала «Колымалес» в Ленинграде.

Я объяснил всем присутствующим, что если пошлю ей хоть одну радиogramму, то она мгновенно вообразит себя в белом платье, вытаскивающей шлейф из автомобиля, у которого кольца на крыше. И вылезает она в этом платье прямо к Вечному огню на Марсовом поле.

В. В. надел очки, долго и внимательно разглядывал мою физиономию, затем изрек вместе со своим обычным тяжелым вздохом:

— Ну, а вы будете при этом в белых тапочках.
Я не стал спорить.

Степень доверительной откровенности за этим ночным чаем недалеко от могилы лейтенанта Жохова получилась такая высокая, что пришлось рассказать коллегам кое-что из своего прошлого; о том, например, как я потерял невинность в парадной возле коломенских сфинксов. Рассказывал, конечно, в юмористических интонациях.

Перед вахтой еще успел заснуть на часок. Приснилось, что мне надо вести автомобиль, у которого спустили шины. И меня радуют спущенные шины, ибо я отвык водить автомобиль, боюсь быстро ехать и боюсь улиц. И вот я пытаюсь вести машину в объезд города по каким-то скользким горам...

В 13.00 снял судно с дрейфа, и мы поплыли за ледоколом в пролив Бориса Вилькицкого.

Лимонное солнце катилось над синими куполами береговых ледников, над глинистым Могильным мысом, над могилой Жохова и кочегара Ладоничева, и над синими торосами, и над серым блинчатым льдом, и над лиловыми окнами чистой воды. И при всем при том небо в зените было зеленым.

После ночного мороза со снастей капали на палубу прозрачные веселые капли. А с крыши рубки с шорохом падал подтаявший ледок.

И всю вахту вспоминались строчки предсмертного стихотворения Жохова:

Когда б он мог на них молиться снова,
Глядеть на них хотя б издалека,
Сама бы смерть была не так сурова,
И не казалась бы могила глубока.

Чтобы отделаться от них, начал придумывать собственные стихи к рифме «ноты»—«еноты»—и ничего не придумал.

Наконец стряхнул с себя поэтическое наваждение и вгляделся вперед по курсу. Опять ледяное небо? Или просто длинное белое облако?..

Глаза проглядел, а понять не могу. Спрашиваю Митрофана:

— А не ледяное ли небо впереди, Митрофан Митрофанович?

— Ледяное, ледяное!

— А может, просто длинное белое облако?

— Точно, белое облако!

— А может, туман?

— Туман, туман!

Вот попугай на мою шею. Штурмана, которые долго плавали матросами,— особый народ. Они знают много такого, чего ты и не ведаешь,— это с одной стороны. А с другой — не любят решений, ибо привыкли к обязательному руководителю рядом.

Льды пошли плоские, ровные, над водой приподняты

чуть-чуть. Кажется: корочка этакая декоративная, а перевернется возле борта — два метра!

Вечером в каюте старпома состоялся официальный бал. Я вынужден был танцевать фокстрот с Ниной Михайловной.

— Чего хочет женщина, того хочет бог, — сказал Октавиан Эдуардович, подталкивая меня в объятия буфетчицы. — Конечно, только извращенные французы могли придумать подобную сентенцию, — добавил он.

Танцевали мы с Мандмузелью под самодеятельную песню:

Последний раз маяк мелькнет,
И снова жизнь моя пойдет
Четыре через восемь.
И как ты чувствуешь себя,
В каюту с вахты приходя,
Никто тебя не спросит.
В привычном ритме, день за днем,
Проходит рейс кошмарным сном.
Четыре через восемь.
Вот так и жизнь твоя пройдет —
За рейсом рейс, за годом год.
Четыре через восемь...

Ни всемирную, ни тем более русскую литературу я, даже дав самый полный передний ход, никуда не двину и даже дрогнуть не заставлю. И потому вдруг твердо решил, что следует мне писать откровенно и прямо только для моряков, для морского читателя.

В проливе Вилькицкого опять встретили белых медведей и опять застряли так плотно, что пришлось звать на обкол «Мурманск».

Мишки были просто невероятно чистенькие и желтенькие — как будто наелись лимонов и закусили канарейками, но полюбоваться на них я никак не мог. И секунды не выкроишь на постороннее отвлечение, когда ведешь судно в таком льду.

«Мурманск» расколол могучую ледяную горушку на две равные кровожадные половинки. «Енисейск» между ними проскользнул. У нас под форштевнем они опять сошлись в дружественном рукопожатии. Я жахнул полный назад. Судно швырнуло вправо, и мы стали перпендику-

лярно каналу. И чтобы в него вернуться, пришлось совершить полную циркуляцию вокруг ледяного островка в оставшейся было уже за кормой полынье. А чтобы вписаться в трехсотшестидесятиградусный поворот, пришлось еще дважды давать средний назад.. Да, чем дольше человек живет без ошибок, тем они неизбежнее в оставшееся ему время. Чем дольше моряк благополучно плавает, тем неизбежнее ему попасть в переплет судного, прокурорского дела или на грунт. Это обыкновенная теория вероятности. К счастью, ее мало кто знает...

Через полчасаика опять не повезло. Отчаянно рванувшись самым полным ходом к близкой полынье сквозь сциллы и харибды сближающихся льдин, чтобы не упустить хвост «Енисейска», я вмазал правой скулой в край старого поля. «Колымалес» пошатнулся и вздыбился. Второй помощник на всякий пожарный случай исчез из рубки, а Октавиан Эдуардович одобрительно сказал:

— Так их! Крест на крест!

В 16.00. прошли траверз мыса Челюскина, поджимаясь к острову Большевик. Развиднелось. Лед жуткий. Но — солнце! Сгинул туман. Совсем другое дело, когда солнце! Совсем другое, господа присяжные заседатели! Можете радар вообще к чертовой матери выключить, господа!..

Когда Митрофан выставлял координаты судна на АПСТБ-1, я вдруг осознал, что огибаю самую северную точку Евразийского материка на широте 75° и что всего четыре месяца назад я бултыхался возле Мирного на 70° южной широты. Носит же нелегкая!

В честь такого события ледокол вывел нас на чистую воду, а я спустился в кают-компанию поесть.

Нина Михайловна, загадочно улыбаясь, приносит что-то лакомое в горсти. Высыпает на столы. Радостное оживление: чеснок! А все думали, он давно кончился. Брюзжит один стармех. Оказывается, чеснок тоже не входит в его спартанское меню.

— Я еще не еврей! — объявляет Октавиан Эдуардович.

Все остальные оказываются евреями, ибо чеснок уничтожается моментально.

За три часа до выхода на чистую воду на караване произошла смена караула. Западник «Мурманск» передал нас восточнику «Красину».

Представьте себе два каравана судов, сближающихся на контркурсах в тяжелых льдах.

Во главе кильватерных колонн громадины ледоколов. Команда стопорить машины.

Суда покорно и понуро опускают усталые головушки и стоят, как старые лошадушки, безрадостно радуясь передышке.

Затем прощальные гудки — и покатили в разные стороны.

И, как всегда, когда глядишь со стороны на однотипное твоему судно в тяжелый шторм или в тяжелых льдах, когда наблюдаешь его крены или удары и шатания, то думаешь: «Господи боже мой, неужели и мы сейчас так же?!» А встречные проходили по нашему левому борту уже пустые, в балласте — их стучало посильнее, так, как и нас будет стучать на обратном пути.

В общем, встреча двух караванов и смена лидеров — впечатляющее зрелище и для привычных глаз.

Мои впечатления отравляла немного литературная известность. Патологически не люблю обращать на себя общественное внимание. А без этого в коммунальной квартире, то есть на Арктической трассе СМП, мне уже не обойтись.

Все и всё здесь друг про друга знают. В инкогнито не сыграешь. Из радиотелефона доносится:

«На «Колымалесе» Конецкий плывет».

«Чего он тут делает?»

«Мозги в Арктике проветривает».

«Делать ему больше нечего! Наверное, мозоли на заднице отсидел».

Ну, и т. д.

Да, есть у меня теперь лишние заботы — и вчерашние, и завтрашние: «Конецкий застрял!», «Конецкий пилотку надел!» — под некоторым колпаком я тут сижу, стеклянным. Никуда не денешься, это факт, что с этой фамилией делается работать в море труднее. И все-таки свой я здесь, и потому хорошо мне здесь, несмотря на все тягости. В тысячу раз лучше, нежели неделями валяться на диване с «Наукой и жизнью» на Петроградской стороне и кормить бледных комаров бледной кровью перед телевизором.

ИСТОРИЯ С МОИМ БЮСТОМ

Быть знаменитым некрасиво.

Б. Пастернак

Часто удивляет дешевизна в нашей стране некоторых бытовых вещей, о цене которых узнаешь неожиданным образом или, если хотите, путем. Имею в виду чашки, тарелки, графины, наволочки или матрацы. Узнаю я их цену в ресторанах или гостиницах, когда чего кокнешь или прожжешь. И каждый раз удивляюсь — дешевка! А ведь годами прозябаешь дома с разбитой чашкой или вовсе без рюмок; или с графином, у которого давно горлышко треснуло, а пробка потерялась. И в голову не придет сходить в посудную лавку и тряхнуть мошной на три или там даже пять рублей, ибо тебе не трешка мерещится, а минимум сотняга убытков.

Недавно в дорогом ресторане перевернул целиком стол на очередного своего режиссера-экранизатора. И обошлось все удовольствие в жалкий четвертак...

Но вернемся к моему бюсту.

Слепил бюст столичный скульптор-монументалист Геннадий Дмитриевич Залпов абсолютно спонтанно, то есть неожиданно и для себя, и для меня.

Затрудняюсь сказать что-либо определенное о степени гениальности Залпова, так как в пластических искусствах, как и в музыке, ни бельмеса не понимаю.

Но одно его творение — Николай Васильевич Гоголь в натуральную величину, стилизованный под Бальзака Родена, — вещь безусловно замечательная. Во всяком случае, мне она крепко запомнилась.

На окраине Москвы у Геннадия Дмитриевича есть полуподвальная мастерская, при ней жилая комнатка с дырявым диваном и шикарным холодильником.

Мастерская битком набита человекообразными муляжами, африканскими масками, скелетами, черепами и отвергнутыми заказчиками скульптурами.

Разглядывать изнанку монументалистики при дневном свете и с приятелями даже интересно, но тут пришлось после изрядной танцульки остаться ночевать у Генки в жилой комнате-каморке в полнейшем одиночестве.

Проснулся где-то около двух ночи — незнакомая обстановка, голова трещит, возле головы тарелка, набитая окурками.

Зима была, холодрыга.

Покряхтел я, поворочался, но — дисциплина! Преодолею нежелание вылезать из-под одеяла, забрал тарелку с окурками и отправился искать место общего пользования. Знал только, что оно с другой стороны огромной мастерской расположено. Шарил, шарил свободной рукой возле притолоки двери мастерской — выключателей не обнаружил. Тьма впереди — глаз выколи. Но и упрямства у меня достаточно: ежели, например, морковку натираю, то обязательно кочерыжку буду до тех пор насиловать, пока из пальцев кровь не брызнет. Короче говоря, воткнулся несколько раз во всякую монументалистику, рассыпал половину окурков, опрокинул пару скелетов, но в туалет все-таки добрался.

Тут надо еще заметить, что в нормальных, домашних условиях я никогда не вытряхиваю пепельницы в унитаз. Корень здесь в том, что окурки очень долго не тонут, сопротивляются судьбе со спартанским упорством, сражаются с унитажным водопадом насмерть: вертятся там, крутятся, вроде уже потонут, ан нет — опять всплывут! И я за такое жизнелюбие окурки уважаю. Они, на мой взгляд, как и римские гладиаторы, заслуживают пальца, поднятого вверх. Но и сам я не могу уступить окуркам последнего слова. И вот минут пять провел в туалете, дергая и дергая машинку, пока последний гладиатор не утоп.

В паузах, когда я ожидал очередного наполнения опорожненного бачка, в голову лезли мысли о бренности бытия, вечности мироздания и о том, что рано или поздно придется высказать Геннадию Дмитриевичу свое мнение о его произведениях. Ведь уходить из мастерской художника во сто крат затруднительнее, например, нежели из лаборатории ученого. У гения науки можешь достойно молчать от начала до конца, ибо и он, и все окружающие знают, что ты ничего ни в чем не понимаешь, а с художниками просто беда. Тут даже так получается, что чем хуже художник, тем тебе легче нагородить ему при уходе всякой чуши, — и он будет доволен, а с художественным гением полнейшая безысходность, когда топчешься уже в его передней — и ни единого слова не выдавить: нет слов и баста!

Но если уж совсем честным быть, то размышлял я про все эти материи и топил пять минут несчастные окурки еще и потому, что было жутковато возвращаться через темную мастерскую-покойницкую. Все-таки скульптура — довольно мертвое изобретение. И нервишки пошаливают. Однако и торчать до утра в туалете резона не было.

И когда, значит, последний окурочек утоп, я развернулся на сто восемьдесят и лег на обратный курс. И лавировал сперва довольно удачно — пространственная память-то у меня штурманская. Как вдруг сквозь пыльные окна сверкнула луна, и передо мной возник из небытия и тьмы небольшого роста человек — длинейший птичий нос, волосы, ниспадающие прямыми прядями на изможденные щеки: луна высветила Гоголя мраморного, безо всякого пьедестала. И мертвые, черные провалы зрачков уперли в меня больной, черный взгляд.

Я чуть в обморок не завалился. Н-да...

Шутил в своих писаниях при жизни Николай Васильевич много, но и какой-то одинокой запредельной жути в классике достаточно.

К тому же я с детства запомнил, что более всего он боялся быть похороненным живьем, в летаргическом сне. И в завещании даже написал, чтобы не хоронили, пока «не укажутся явные признаки разложения тела». И еще, кажется, в завещании попросил не водружать на могилу тяжелого надгробья, дабы оно не давило на него тяжестью Каменного гостя. Как у нас и положено, похоронили Гоголя живьем — потом при вскрытии могилы обнаружили его в гробу перевернутым. И, чтобы больше не вертелся, навалили все-таки сверху соответствующее надгробье.

Не буду утверждать, что сказанное полностью соответствует действительности, — не в том дело. А в том, что в моем-то мозгу это существует с отрочества так, будто я сам гроб Николая Васильевича вскрывал: воображение — черт бы его побрал! — у меня тоже хорошее.

А тут не в воображении, а въяве увидел скорбную нахохлившуюся фигуру и лицо, которое потусторонне светило — черный полированный мрамор в лунных лучах, — ни житель света, черт бы Залпова побрал, ни призрак мертвый...

Бежал я от Гоголя — в трусах и майке — точно как Евгений от Медного всадника, обхвативши голову руками и подвывая на ходу.

В комнатенке засунул ножку стула в ручку двери — крючка не было; полистал разные легкомысленные журнальчики, покурил, но заснуть так больше и не удалось.

Лежал и раздумывал о мистических совпадениях. Ведь это факт, что вдове Булгакова Елене Сергеевне по бедности пришлось отыскивать на задах какого-то кладбища, на свалке среди старых, бесхозных памятников более или менее подходящую к ее вкусу и бюджету, бывшую, естественно, уже в употреблении, замшелую плиту. Понравилась ей одна такая глубоко вдавившаяся в землю плита. А когда плиту перевернули, то обнаружили надпись «Н. В. Гоголь». И этот самый камень лежит теперь на Булгакове — вот эстафета русской литературы.

Утром пришел Залпов, взгляделся в мою физиономию и говорит:

— Ну у тебя и выражение на личике! Прямо как у Понтия Пилата!

Я почему-то шепотом ему говорю:

— Сволочь! Ваятель чудотворный! Надо людей предупреждать, что здесь у тебя покойница, а не человеческое жилье! Ужо тебе!..

Ну, а потом рассказал все, как было.

Он расцвел утренней розой, когда убедился в том, что я действительно ночью насмерть перепугался. Понять его можно. Что для творца может быть прекрасней, нежели потрясение, произведенное его творением на другого художника? И Генка — в компенсацию за бессонную ночь и все пережитые кошмары — с ходу возвел меня на подиум (так на древнеримском языке возвышение для натурщиков называется), усадил на трухлявую вертящуюся табуретку и принялся лепить.

Пока он самозабвенно работал, я несколько раз задремывал и чуть было с подиума не свалился.

Часика через два Генка уже закончил.

Голова бюста показалась мне значительно больше моей натуральной, а глина, из которой он все это дело сляпал, показалась грязноватой. Эти свои замечания я высказал вслух, но робко.

Честно признаюсь, мне бюст понравился своей тяжестью, массивностью, монументальностью — размеры и объем произведения пластического искусства играют не последнюю роль, в чем легко убедиться на любом углу наших городов.

На робкие замечания Генка ответил, что голова у меня, действительно, опухшая, но на другое я и не должен был рассчитывать. А про глину монументалист сказал, что она первоклассная.

Затем он закрыл мое изображение мокрой тряпкой и добавил, что сеанс окончен.

Мы попрощались, и я убыл восвояси.

Спустя этак годик случайно узнаю, что красуюсь в столичном Манеже на выставке «Голубые дороги Родины» бюстом уже из настоящей бронзы.

Примчался в Москву на самолете, узнал, что на самом деле отлит в цветном металле — и опять спонтанно: не набиралось для огромной выставки, которая должна была прославить морское могущество нашей страны, нужного количества экспонатов. Вот меня и отлили — повезло Геннадью Дмитриевичу Залпову.

Собрал я штук пять московских красоток — знакомых и вовсе незнакомых — и повез их на выставку, чтобы оглушительно похвастаться свидетельством своего вечно-го теперь бессмертия. Ну-с, купил билеты и повел московских красоток, одна из которых почему-то оказалась негритянкой, в космические пространства манежных анфилад.

Искали мы мой бюст, искали — раза три выставку обошли — нет меня. Ни в натуре нет, ни, как говорится, в списках-проспектах. Я было решил, что меня просто-напросто разыграли. Но тут негритянка обнаружила произведение Геннадия Дмитриевича Залпова. Под моим пластическим изображением висела бирка:

«Портрет писателя-моряка В. Корнецкого.
1979. Бронза. 65×25×36»

Красотки принялись хохотать над опухшей бронзовой физиономией и перевернутой фамилией. Я обозлился, исправил фамилию под портретом шариковой ручкой, смотрительница-служительница подняла шум и гам, меня повели в дирекцию Манежа, и там я битый час доказывал, что не верблюд.

За это время красотки смылись.

Мне ничего не оставалось, как опять пойти в зал и повертеться минут пятнадцать вокруг бюста в надежде, что кто-нибудь из редких посетителей обнаружит наше сходство, но такого не случилось. Тогда я позвонил Генке и сказал, что отлил он не меня, а какое-то чучело, да еще

и под другой фамилией. На это Генка сказал, что я не Гоголь, чтоб быть на себя похожим; и сам виноват, что у меня дурацкая фамилия, которую вечно путают; и что я должен быть ему до гроба благодарен хотя бы за то, что угодил в компанию Петра Великого, Витуса Беринга и Ивана Папанина. Но даже такие соседи по выставочному залу меня не утешили, а усы Петра напомнили почему-то усы булгаковского кота из «Мастера и Маргариты».

К счастью, тут я обнаружил портрет капитана дальнего плавания Ивана Александровича Мана. Он первым водил «Обь» в Антарктиду, а во времена войны проявил огромное количество какого-то уже запредельно бесшабашного мужества, когда угодил в штрафбат и высаживался в Констанце. Так вот фамилию Ивана Александровича тоже переврали и значился он как МААН — два «А» в середине. И я утешился, плюнул на мраморную слизь и решил выкинуть историю из головы. Но не тут-то было! Зимой «Голубые дороги Родины» привезли в родной Ленинград и развернули уже в нашем Манеже. На выставку занесло одного моего высокого морского начальника, Героя Социалистического Труда. И вот когда он обнаружил бронзовый бюст рядового судоводителя, а такое вообще-то положено при жизни только настоящим дважды Героям, то начальник так обозлился на мою нескромность, что к чему-то придрался и сделал мне дырку во вкладном талоне к диплому, а затем отправил меня вне очереди на курсы повышения квалификации комсостава флота.

Но и это не конец. Где-то еще через год звонит Гена и спрашивает, нет ли у меня знакомых в Прокуратуре СССР или в крайнем случае в КГБ. Я отвечаю, что пока нет, но в будущем все возможно. Он орет, чтобы я прекратил шутки, потому что легендарный бюст, когда «Голубые дороги Родины» везли уже с Дальнего Востока в Клязьму, на родных сухопутных железных дорогах сперли. Из Хабаровска мое бронзовое многопудье уехало, а в Клязьму не приехало.

Я говорю, что это вполне естественно и еще раз иллюстрирует любовь ко мне всего нашего великого народа.

Генка обозвал меня идиотом и объяснил, что бронзу воруют даже с могильных надгробий: делать какие-то втулки для передних или задних подвесок «Жигулей».

Я ему сказал, что он сам дурак.

Генка слезливо сказал, что если это моя проделка то он умоляет бюст вернуть, ибо им, скульпторам-монумент-

талистам, положен на каждый год лимит бронзы — она острый дефицит. А он, Генка, сейчас лепит Семена Челюскина — у того как раз юбилей. И рассчитывал перелить мой бюст в этого землепроходца, но теперь все срыгается.

Я говорю: какой может быть юбилей у Семена Челюскина, ежели никто не знает дат его рождения и смерти? Генка говорит, что это не мое дело, а что с него, с Залпова, высчитывают по рубль двенадцать копеек за каждый килограмм моего портрета, хотя он лично никакого отношения к вагонной краже не имел.

Я ему говорю, что если килограмм бронзы стоит рупь двенадцать, то это не дефицит. И украли мой бюст влюбленные читатели, а не автолюбители. Хотя, добавляю я и то, с чего начинал эту грустную историю, то есть что меня удивляет дешевизна в нашей стране некоторых бытовых вещей, о цене которых узнаешь в ресторанах или гостиницах, когда кокнешь чашку, графин или тарелку. И что не так давно в Доме кино я перевернул стол на очередного своего режиссера-экранизатора, и обошлось все удовольствием в четвертак...

Генка меня не дослушал и бросил трубку. Бюст сгинул бесследно. Даже фото не осталось.

Не скрою, я несколько огорчен таким концом этой истории, ибо явственно вижу очистительный огонь, в котором плавится мое бронзовое бессмертие, превращаясь во втулки для передней или задней подвески «Жигулей». Ведь любой — самый средненький — человек огорчается невниманием к его заслугам, готовясь к предстоящему — неизбежному и, увы, уже вечному — забвению.

После выхода книги «Среди мифов и рифов» я получил приглашение студентов-маврикийцев, обучающихся в Ленинграде в медвузах, на бокал вина и чашку кофе. И был горд всемирной известностью, опять забыв, что это штука некрасивая.

Встреча состоялась на реке Фонтанке. В Доме дружбы.

Вино показалось кислым, кофе чересчур горьким, а пирожные — просто хинином, ибо дело запахло международным скандалом. С мягкой и зловеще-дипломатической любезностью ребята обратили мое внимание на то, что я опорочил гражданина их страны шипчандлера Ромула (Рамлала). Ребята утверждали, что он отличный парень, без памяти любит русских, всеми силами и сред-

ствами способствует развитию дружеских отношений между нашими странами и учился в Москве. И что студенты вынуждены будут обратиться к послу, чтобы защитить Ромула от меня, если я печатно не принесу извинений за нанесение ему тяжких оскорблений клеветнического характера. Дело в том, что я вжарил Ромулу (Рамлалу) на полную катушку. В главе о заходе на Маврикий я рассказал, как этот тип устроил нам экспедиционный автобус для поездки из Порт-Луи в Курепипе за шестьсот рупий — бандитская, грабительская цена. Он давил на советскую психику значком с силуэтом Ленина на пиджаке. Но, как я обнаружил (со свойственными мне следовательскими талантами), при обслуживании американцев Ромул заменял этот значок портретом Никсона. Такие хамелеоны обнаруживаются во многих портах, ибо бизнес не знает морали.

И приносить какие бы то ни было извинения я отказался категорически, ибо не сомневался в том, что шипчандлер — пройдоха.

И землячество маврикийских студентов в Ленинграде обратилось-таки к своему послу с жалобой на меня.

Нынче я рассказывал эту историю В. В.

— Сейчас вам полегчает, — сказал В. В. и вытащил из стола папку «Бюллетеней» БМП, и я (то и дело бормоча с восхищением: «Маменьки мои родные! как мне в жилу! как в жилу!...») прочитал:

«О ШИПЧАНДЛЕРСКОМ СНАБЖЕНИИ В ПОРТ-ЛУИ (ОСТРОВ МАВРИКИЙ).

Капитанам всех судов заграничного Балтийского морского пароходства!

В Порт-Луи (остров Маврикий) имеется три шипчандлерских фирмы: «Раджу Падаячи», «Апаву», «Мамуд Амир»...

(Главного шефа фирмы «Падаячи» я и обложил в книге «Среди мифов и рифов». В результате пережил несколько тоскливых месяцев в ожидании неприятных последствий, ибо опасения тихо гнили в душе, как овощи в овощехранилище.— В. К.)

Ни с одной из указанных фирм Министерство Морского флота не имеет соглашения по обслуживанию советских судов. Соглашения не заключались, чтобы не связывать инициативу капитанов в снабжении своих судов на наиболее выгодных условиях.

Фирма «Раджу Падаячи» благодаря знанию русского языка ее представителем Рамлалом сумела быстрее, чем

другие фирмы, установить деловые отношения с капитанами советских судов, посещающих Порт-Луи. Многие капитаны стали пользоваться ее услугами.

Однако, пользуясь отсутствием контроля со стороны капитанов, фирма «Раджу Падаячи» стала злоупотреблять хорошим отношением советских капитанов к ней.

Фирма стала завышать ставки на продукты и снабжение, особенно по найму катеров. Например, НИС «Воейков», покинувшее Порт-Луи 5 октября прошлого года, закупило все продукты у фирмы «Раджу Падаячи» и пользовалось другими услугами этой фирмы. Только за продукты судно переплатило более 500 рупий. Что касается пользования катером, то фирме было переплачено в десятки раз больше нормального (вместо 375 было выплачено 7650 рупий). Несмотря на это, капитан НИС «Воейков» в своем отзыве, оставленном фирме, отзывается о ней очень лестно.

Пытаясь заключить соглашение на обслуживание советских судов, фирма «Раджу Падаячи» прислала в «Совинфлот» письмо с приложением фотокопий около двадцати отзывов и рекомендательных писем, некоторые из них даже с гербовыми печатями советских судов. Такие документы выдали: т/х «Выборглес»; научно-исследовательские суда «Воейков» и «Невель», который выдал фирме четыре (!) рекомендательных письма, а также теплоходы «Восток-3», «Тоснолес» и танкер «Аксай».

Вышеизложенное показывает, что фирма «Раджу Падаячи» заранее планомерно запасалась отзывами для того, чтобы в удобном случае использовать их в нужных для себя целях.

Чтобы не допускать повторения подобных случаев в будущем, не следует давать отзывы и рекомендации в письменном виде любым заграничным фирмам и организациям. В Порт-Луи необходимо пользоваться услугами тех шипчандлерских фирм, которые предоставляют наиболее льготные условия и которые рекомендуются Посольством или Консульством».

На Маврикии есть гора Тэ-Морн. Так вот она с моих плеч свалилась.

Я был на том самом «Невеле», который «выдал четыре (!) рекомендации». И вот наконец гора Тэ-Морн рухнула с моих хилых плеч за борт теплохода «Колымалес», когда я (с добродушного разрешения В. В.) выдирал циркуляр

из его аккуратной капитанской подшивки и перепрятывал в свою заветную папочку, где храню для прокуроров подобные страховочные документки. Теперь я уже не боюсь маврикийских студентов.

Вышли в море Лаптевых при чистом солнце, голубых небесах и среди редко и гордо — по-лебединому — плавающих отдельных льдин.

За чаем выяснилось, что помпа не знает, что мыс Челюскина назван в честь Семена Ивановича Челюскина! Он думал, что мыс назван в честь утонувшего и героически прославившегося парохода! Вы такое представить можете? Одно только есть смягчающее обстоятельство. Каюту помполита сегодня сильно притопило — отпотевание. Снаружи — 6° , а изнутри тепло.

Из вентиляционных отдушин трюмов — запах бурно гниющей картошки, которую тоже притапливает.

Холод какой-то ясный и пронзающий — больше минуты я на крыле мостика не выдерживаю. В Ленинграде $+22^{\circ}$.

На крыло выхожу для борьбы с отложениями солей в шейных позвонках: кручу башкой по тридцать раз в ту и другую стороны. Кручу с закрытыми глазами. Когда после процедуры их открываешь, несколько секунд находишься в состоянии невесомости.

Этой ночью небо было большое. И море — большое... Так просто велят писать классики. И потому не будем ничего добавлять.

Небо большое... Море — большое. И наш малюсенький пароход.

*В ЦЕНТРЕ
МОРЯ
ЛАПТЕВЫХ*

Тринадцатого августа в 12.30 вышли в точку выжидательного дрейфа на меридиане Тикси и параллели пролива Санникова. Здесь дрейфует еще пять судов. И Конышев на «Индиге». Поразительно нам с ним везет на встречи в экзотических точках планеты! Антарктические

фотографии он, старый плут, мне все зажимает. Поболтали через эфир. Я с фотографий начал и ими закончил.

Семнадцатое августа. Продолжаем лежать в дрейфе на меридиане Тикси и параллели пролива Санникова. Ждем «Ермака».

Ровно два года назад товарищ Кучиев вывел «Арктику» на Северный полюс. У меня есть выписка из судового журнала «Арктики» на этот момент. Правда, я смотрю на эту выписку, как козел на слона. Слишком много незнакомых обозначений и сокращений: все определения места в точке, где сходятся меридианы, делались при помощи спутниковой аппаратуры.

Лавина анекдотов о героическом плавании «Арктики» продолжает увеличиваться. Очередной: дело происходит уже на самой северной макушке планеты; как для торжественных случаев и положено, заранее были разработаны церемониал и ритуал, по которым первым на лед полюса должен был спуститься начальник всей экспедиции — Сам — министр морского флота. Потом он должен был удалиться от «Арктики» метров на сто в полном одиночестве, чтобы дать возможность кинофотокорреспондентам заснять исторический момент с высоты мостика атомохода. А потом уже могли, сшибая друг друга с ног и сломя головы, устремиться по трапу остальные герои экспедиции.

И вот Сам спускается первым, складывает на груди руки, в глубоком раздумье склоняет голову и шагает по льдам, осмысливая, так сказать, историческую глубину и ширину момента, — ну, Наполеон после Аустерлица. А вослед ему стрекочет соответствующая аппаратура, запечатлевая первые шаги человека по нетронутой, прямотаки плутоновской поверхности полюсного льда.

Где-то на восьмидесятом шаге Сам вдруг дает крен на левый борт, потом на правый и начинает как бы уменьшаться в размерах. Ясное дело: под лед проваливается, думают остальные герои и бросаются на спасение. Но зря торопятся, и потому ошибаются. Оказывается, Сам просто-напросто увидел на нетронутом, полюсном, девственном льду пустую четвертинку от «столичной» и пачку от «Примы». И от этого простецкого — прямо в духе Петрова-Водкина — натюрморта министра и повело кренить в разные стороны, ибо какие-то длинноволосые и джинсовые молодцы из состава героического экипажа уже успели побывать там вперед Самого, сломав весь ритуал и все опошлив...

Самая трогательная деталь при торжестве встречи Гагарина в Москве. (Для меня, конечно.)

Юра шел от самолета по ковровой дорожке доложить о выполнении задания. И на правом ботинке развязался шнурок. Жуткая ситуация! Попасть в смешное положение, в конфуз, когда весь мир смотрит... Любой супермен обмер бы от ужаса.

Гагарин продолжал шагать обыкновенно. Ни парадности в шаге для камуфляжа не прибавил, ни лицом не дрогнул: «Ну, что ж поделать, дорогие товарищи, коли шнурок развязался... все бывает, черт бы этот ботинок побрал... ладно, переживем и это...»

Наполеона трусом не назовешь. Но он панически боялся подобных конфузов.

А ведь и президентам великих государств иногда стоило бы специально подстраивать себе что-нибудь этакое при парадной встрече в чужой стране — мигом ты тамошним людям ближе, роднее станешь, ибо любое просто человеческое есть высшая покоряющая и объединяющая сила.

К нам пробиваются маломощные ледоколы «Капитан Сорокин» и «Капитан Воронин», которых Октавиан называет «полупроводники».

Из перехватов:

ЛК КАП ВОРОНИН 190400 7248/14943 СЛЕДУЕМ СОЕДИНЕНИЕ КАРАВАНОМ ЛЕД 10 ОБЛОМКИ ТОРОСЫ МНОГОЛЕТНЕГО 8 РАЗРУШЕН 1/2 ТОРОСЫ 3/4 СЖАТИЕ 1 ВЕТЕР СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ 3 М/СЕК ТУМАН ВИДИМОСТЬ 2/4 КБТ ЗА ВАХТУ ПРОШЛИ 14 МИЛЬ= КМ ТЕРЕХОВ.

ЛК КАП СОРОКИН 190800 7458/12925 СЛЕДУЕМ СОГЛАСНО РДО 190817 КН ПОЛУНИНА ЛЕД ОДНОЛЕТНИЙ БИТЫЙ ОБЛОМКИ 3 ВЕТЕР ВОСТОЧНЫЙ СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ 10 М/СЕК ВИДИМОСТЬ 8 КБТ ВАХТУ ПРОЙДЕНО 45 МИЛЬ= КМ ПЕРЕЛЫГИН.

Все указывает на то, что Арктика нынче (совершенно неожиданно для начальства) ведет себя так отвратительно, как уже полвека не было. Пароходство настойчиво повторяет, что нынешняя навигация особая и требуется

резко повышенная осторожность. От этих повторов живот подтягивает.

Тем временем культурная жизнь «Колымалеса» течет своим чередом.

Советский кинобоевик про ковбоев. Названия не уловил. В главных ролях Донатас Банионис и Сенчина. Сенчину Донатас по ходу дела насилует. Она не падает духом, поет песенки на слова Высоцкого и дрыгает ножками. Из кровати героиня показывает зрителям свои симпатичные грудки и всякие другие тайны. А я и не знал, что у нас снимают такие безнравственные фильмы! Ни одного даже аиста нет!

Возмутился Митрофан, серьезно, глубоко:

— Вернусь домой — разобью все ее пластинки! Если артистка живые концерты часто выступает, то не имеет права так себя на экране вести!

Самое смешное, что я в глубинах души с ним согласен — значит, и меня пропитало ханжество нашего бесполого искусства и литературы?..

Из перехваченных радиogramм еще известно, что сюда на соединение с нами идет «Великий Устюг» и еще шесть судов. Нас здесь — почти в центре моря Лаптевых — тоже семеро. Собирается армада из четырнадцати судов. И атомоходов нет. Зимние ледокольные операции возле Ямала — вещь, вероятно, замечательная, если судить по газетному шуму. Но после зимних боев атомоходы становятся на ремонт. И вот мы кукуем в дрейфе, а «Ленин» где?.. Четырнадцать судов в куче! Ведь опыт говорит, что через проливы в Восточно-Сибирское море нас будут таскать поштучно. Сколько же на это времени надо? Пора уже из Певека выходить на запад, а...

Все бы ничего, но только зубы от холодного ветра прохватывает и правую ступню почему-то часто схватывает судорога. Самое прекрасное в судорогах то, что они рано или поздно проходят. Но что бы они обозначали?

Собственное старение меня, конечно, злит. Но куда больше раздражает неуклонное старение вещей. Мне что! Мне стареть положено по штату, ибо я — живой. Но когда стареют мертвые вещи, это возмутительно! Лохмотья, оставшиеся после стирки простыни, или перегоревшая лампочка поднимают в моей душе двенадцатибалльный шторм. Вещи не имеют никакого морального права на старение!

Ветерок с норда хамоватый, плечистый, крутит и вертит наши безропотные парходики. Такой ветер я обзываю «сорвиголовистым».

Когда обветренные матросы приходят в рубку с палубы, от их синих ватников, вязаных шапок с немислимыми помпонами, сапог с загнутыми голенищами, румяно-задубелых лиц пахнет морозом, молодостью и даже счастьем. А некоторое стеснение и неловкость — пока обвыкнут в рубке — прекрасны.

Обмерзают стекла окон и иллюминаторов изнутри с наветренного борта.

Митрофан, которому надоели мои жалобы на зубную боль, рассказал о том, как ему рвали клык в Гаване. Он с раннего детства бутылки этим клыком открывал, ну, зуб наконец и треснул. Стоматолог — негр, огромный и страшный. Кресло откидное. Негр — раз! — и кнопку нажал, кресло — раз! — и Митрофан уже лежит в горизонтальном положении и видит над собой лестницу, а на лестнице показывается по всем статьям потрясающая мулатка — в мини! Митрофан пасть на ее прелести разинул, а негр — раз! — и уже нет зуба! и без всякого наркоза!

Я поинтересовался, что негр-стоматолог показывает пациенткам, то есть больным женского пола, чтобы дамы пасть разинули?

Этого Митрофан Митрофанович не знал.

Прибегали по льдам два песца, еще темненькие, летние, только брюшки белеть начинают.

Митрофан отправился в путешествие к полубаку, чтобы рассмотреть зверей поближе и с ними познакомиться. Путешествие это довольно опасное — через бочки с кислой капустой и помидорами, а бочки покрыты густым и скользким инеем. Был грузовой помощник без головного убора и без всякой верхней одежды — в одной красной ковбойке.

Песцы подбежали к носу судна, покрутились там, но потом вдруг чего-то сильно напугались и мгновенно скрылись в торосах.

Когда Митрофан вернулся, я сказал, что это он напугал зверей обкорнанной ножницами головой. Митрофан обиделся.

Дело тут в следующем. Для укрепления корней своей рыжей шевелюры Митрофан сразу после Мурманска принял решение на время арктического плавания

остричься наголо. Но возникло затруднение. Куда-то запропала судовая стригательная машинка. Правда, потом ее нашли в каюте первого помощника, но оказалась она, по выражению Митрофана, «тупой, как ковш шагающего экскаватора». В результате подстригли его матросы обыкновенными ножницами.

Уродлив стал Митрофан запредельно.

В. В. даже еще раз заметил ему:

— Ведь это факт, Митрофан Митрофанович, что в морях народ наш издавна хочет видеть свою мечту, а вы ее теперь подрываете...

Неприятное ЧП. Какой-то заскучавший в монотонном рейсе типчик сорвал пломбы с автобуса, который закреплен на крышке третьего трюма. Типчик в автобус забрался, переворошил заводской ЗИП и смылся, ничего не похитив. Оставил заметные следы на месте преступления — отпечатки подошв, ибо, пробираясь ночью к автобусу и нервничая, ступил в свежепокрашенный участок палубы.

Перед очередным кошмарным кинофильмом типа «Лекарство против страха», «Черный бизнес», «Чудо с косичками» капитан обратился к экипажу с проникновенными словами, призывая греховодника к смиренному покаянию. В. В. даже обещал налетчику сохранение орденов и шпаги, то есть сохранение его имени в тайне от экипажа. Налетчику предлагалось прийти в каюту капитана в любое удобное для него время текущих суток. Расчет был на то, что у нас много молоденьких практикантов и что кто-то по чистой глупости, из детского любопытства сорвал пломбу. Ему надо объяснить, что такая шалость ведет за собой соответствующую статью уголовного кодекса, — и концы в воду. (Конечно, у опытного читателя возникнет вопрос: а как вы собирались потом сдать автобус грузополучателю в Певеке? Без пломб? На этот вопрос Митрофан Митрофанович разъяснил мне, что еще с матросских времен может сделать и поставить любую пломбу на любое рукотворное и нерукотворное сооружение, перевозимое на судах морского флота СССР.)

Никто к капитану не явился.

Тогда во мне взыграли следовательские гены. И я предложил В. В. распустить по судну слух, что в Певеке

мы вызовем милицейскую бригаду и по оставшимся следам легко найдем вора.

— Зачем врать лишний раз, Виктор Викторович? Ведь не будем мы вызывать следователей. Еще судно из-за такой ерунды позорить? Да и времени там не будет. Черт с ним, с этим типом.

Но до чего омерзительно сознание, что рядом ходит и будет ходить и усмехаться грязный, трусливый человек!

В. В. регулярно смотрит все фильмы и по десять, и по двадцать раз. Вовсе не смотрит про войну. Я спросил, почему он их избегает?

— Плачу быстро, Виктор Викторович. Перед экипажем стыдно.

Никогда не надевает перчаток. На ногах носит только разношенные до состояния лаптей, лохматые ботинки — все пальцы наружу. Это, конечно, в море, в домашней, так сказать, обстановке. Лохматые лапти соединяет с сибаритством в вопросе курева — отравляется лишь очень дорогими английскими сигаретами. Выкуривает не больше трети сигареты. Остальное тщательно мозжит в пепельнице большим пальцем. Палец такой внушительный, что хочется обратиться к нему с прописных букв: «Уважаемый Большой Палец!»

Запас моего «Космоса» кончился. И я обратился к большому пальцу В. В. с просьбой:

— Уважаемый Большой Палец капитана теплохода «Колымалес»! Пожалуйста, не расплющивайте английские окурки. Я буду их докуривать.

И теперь В. В. аккуратными штабелями складывает свои окурки на видных местах. Оказалось, что он уже привык так поступать. Прошлый старпом часто оказывался в положении бедного Чарли Чаплина.

Тут может возникнуть вопрос: а почему В. В. не дал мне пару блоков английских сигарет в натуральном виде? Предлагал. Но они в необкуренном состоянии для меня слабые.

Продолжаем лежать в ледовом дрейфе, непрерывно работая вперед малым ходом для сохранения под урезом кормы майны.

Продолжаются мелкие неприятности:

Раки Митрофана начали вдруг линять. И один помер. Но не от линьки, а, по заявлению хозяина, сдох, откушав

той рыбы, что нам вчера на ужин дали. Другой рак был более осторожным и нашу ужинную рыбу не ел. Потому, даже отливая, жив-здоров на радость всем морячкам!

За отчетный период было два случая обесточивания судна: на ходу при следовании за ледоколом и при выборке якоря. Обесточенное судно — это судно слепое, глухое, без руля, без ветрил, без рук и ног и даже без способности к осязанию окружающего.

На командирском совещании разговор по этому поводу. Электромеханику В. В. впилил выговор. Командиры сидели сосредоточенные и суровые. Демонический Октавиан Эдуардович повесил нос.

Да еще чертовщина во втором трюме. В мерительной трубке пять метров воды. Откатали льяла до срыва насосов. В трубке по-прежнему пять метров. Трюм набит ящиками с вином и опечатан. Вскрывать его — потом хлопот полон рот. Вчера было минус три градуса. Может, воздушник замерз? Но почему именно пять метров? Ведь это равно осадке, то есть уровню забортной воды. Но если бы действительно трюм был затоплен, то мы сели бы носом. Однако дифференциал не изменился. Вот и гадай...

Стармех еще больше почернел. Да, забыл. У него левая рука висит на косынке Нины Михайловны — опять во сне звезданул кулаком в переборку. Разбил костяшки пальцев, а потом так стремительно соскочил с койки, что разломал еще и кресло.

Меня даже при легком недомогании сразу тянет ныть и жаловаться любому окружению, а уж если боль сильна, так я обязательно сигнал-стон выдам на полную катушку. И стоическое перемогание хворей и напастей Октавианом Эдуардовичем вызывает глубокое уважение.

Сказал ему об этом.

Он сказал, что у каждого свой болевой порог, хотя все равны перед богом, как и все нации перед ним равны, хотя он, бог, дал для каждой нации свой запах пота.

Уже здорово темно по ночам.

Боцман принес меховой полушубок и откуда-то спертый водолазный свитер. Это удобнее и теплее спецкостюма.

Восемнадцатое августа, море Лаптевых, в дрейфе, в ожидании ледоколов.

Прошлый раз на «Державине» мы под командованием Фомы Фомича восемнадцатого августа уже пришли в Певек. Нынче до Чукотки еще восемьсот миль. Если прикинуть по факсимильной карте авиаразведки, то четыреста миль — «очень сплоченный лед», двести — старый, двухлетний лед и двести миль ледяной каши, особенно много каши в проливе Лаптева. И сутки за сутками давит ветер от норд-норд-оста, то есть нагоняет лед в проливы и уплотняет его.

Последние РДО: «Северолес» навалил на «Камалес», пробиты второй и третий танки. Они шли под проводкой «Воронина». У «Гастелло» скручен баллер, утеряна одна лопасть винта. У «Шексналеса» пробойна с поступлением воды в трюм. Эти шли за «Сорокиным».

Да, недаром мне было перед этим рейсом как-то особенно боязно.

Давно не молился богу, а тут ловишь себя на детском: «Боже, не дай мне побить пароход!»

Двадцать первое августа. Поплыли за «Красиным».

Он ведет по пятнадцатиметровой изобате.

Дневную вахту отвоевали более-менее нормально. Но начал Митрофан нервно. Через десять минут вдруг дернул телеграф на малый. А ледокол задал девятиузловый ход и предупредил, что за трехкабельтовой дистанцией между судами будет следить сам. И, конечно, как только Митрофан предупредил «Красина» о том, что мы сбавили, ледокол зарычал требование не своевольничать. И я врубил средний и посмотрел на Митрофана продолжительно, но он отвел взгляд. Эх, не люблю я командующих и разговаривающих в рубке утрированно тихими голосами — не доверяю я таким актерам. Надо самим собой быть, а не в суперхладнокровие играть...

Вертолет на жаргоне — «птица».

Слышен голос ледокола:

— А что, наша птица все еще летает?

Вертолет делает круги над караваном. Явно видно, что пилотам трудно. Они что-то говорят о неполадках на борту, но не разобрать толком.

Зато голос «Красина» слышен отчетливо:

— А вы тогда вверх колесами садитесь — слабо?

— Потом скажу! — орет пилот. Из этих его двух слов торчит здоровенный кулак, в них зарыта большая собака, в интонации явно просвечивает: «Сяду — дам вам прикурить за дурацкие вопросы и скоморошные советы».

Только не подумайте, что люди на ледоколе не озабочены положением вертолетчиков. Эти трепливые вопросы прикрывают тревогу.

Наконец вертолет крутым нырком падает к низкой корме ледокола.

— Хорошей посадки!— это уже хором не только ледокол, но и все суда каравана.

Между прочим, полеты вертолетов или самолетов ледовой разведки над судном часто отвлекают внимание рулевого и вахтенного штурмана. Поэтому сразу после того, как я слышу доклад: «Птица летит!»— немедленно на автомате ору: «Не отвлекаться! Смотреть по курсу!»

Это я в некотором роде и сам себе командую, потому что ужасно тянет поглазеть среди скуки рейса на вертолетик или низко летящий самолет.

Из микроскопических сложностей, которые возникают каждую минуту: вахтенный механик звонит в рубку и напоминает о том, что у нас давно работает вторая рулевка. Я разрешаю ее вырубить. Но через тридцать минут ледокол сообщает, что «заднем краешек поля». Знаю я эти «краешки»... И вот возникает вопрос: приказывать механику опять запускать вторую рулевку или так обойдемся, не врубая ее?

Или такой вопрос мироздания: по пять оборотов регулировать скорость или по десять? Чувствую молчаливое желание Митрофана регулировать по десять. Они здесь так привыкли, а мне чудится, что лучше получится в данной ситуации по пять. Опять сомнения и угрызения, и опять судоводительская составляющая берет верх над деликатностями, и я решительно приказываю прибавлять и убавлять скорость по пять оборотов. И через тридцать минут сажусь в лужу, ибо механики с такой ювелирной точностью работать практически не могут.

И так вот каждую минуту месяцами и даже годами.

Дальнейшее записываю, стоя на коленях в углу дивана у лобового окна капитанской каюты. Не спится перед вахтой. Вот я и забрался сюда. Гляжу вперед. Караван вытягивается в очередную перемышку. Туманчик, видимость не больше полумили. Ведет «Красин»— шесть мощных белых огней украшают его корму. Затем «Электросталь»— один оранжевый прожектор, довольно тусклый. У «Электростали» уже пробоина, и швы разошлись на двенадцать сантиметров. Идет с цементным ящиком. То-то ледокол поставил ее сразу за собой. Перед нами «Механик Гордиенко»— два белых огня, расположенных

горизонтально. Огни на «Красине» образуют два треугольника вершинами вниз.

Находит полоса густого тумана.

Слышно, как звякает — довольно мелодично — цепочка машинного телеграфа в рубке.

«Сейчас он уже не хрустит яблоком», — думаю я про В. В.

Из глубин судна через открытую дверь каюты доносится женский голос. Женщина красиво и печально поет что-то на иностранном языке.

Огни «Красина» и «Электростали» исчезают в тумане, а «Гордиенко» вдруг круто отваливает влево. Лихой вираж! В. В. пытается повторить маневр «Гордиенко». Этот маневр на военно-морском языке называется координат — корабль последовательно описывает две дуги, равные по длине и симметрично расположенные в разные стороны от линии курса, с целью уклонения от опасности или смещения пути вправо или влево. При совместном плавании координат выполняется по сигналу флагмана с указанием угла и стороны отворота и лишь в крайнем случае — самостоятельно. Чаще всего такой маневр применяется для уклонения от плавающих мин. Здесь мин, богу слава, нет. Но нет и никаких военных порядков. Шарахнулся «Гордиенко» со страху влево, а потом опять лег в кильватер «Электростали», но лед-то в канале он сдвинул! И вот В. В. попытался вильнуть за ним, удерживаясь на дистанции не больше двух кабельтовых... Удар! Опять звякает цепочка телеграфа — прибавляет В. В. обороты, не хочет отставать... От двух огней на корме «Гордиенко» изломанная световая дорожка на редких окнах воды между льдин. Канал за ним затягивает почти моментально, и тогда отражения исчезают.

«Сейчас он уже забыл про оставшиеся яблоки», — думаю я.

Радиоконцерт по заявкам моряков продолжается. Женщина поет: «Спасибо, жизнь, за все...»

Сотрясения судна уже непрерывные. Шариковая ручка прыгает по блокнотной странице... «Гордиенко» сбавил ход, вероятно, до самого малого, дистанция до него уже не больше полутора кабельтовых, сейчас В. В. тоже сбавит... Очень сильный удар — судно полетело влево... И «Гордиенко» идет влево. Он загружен обыкновенными бревнами, везет их из Европы на Камчатку. Что, на Камчатке своих бревен нет?.. Такое ощущение, будто «Гордиенко» плывет боком — бывает, так движутся автомобили на киноэкране

(крабом)... «Красина» все еще не видно... Сколько еще мне до вахты? Час тридцать минут. Может, все-таки за это время лед полегчает?.. А пока вот можно заварить растворимый кофе и посмаковать его со сгущенным молоком... Все еще только два огня впереди в тумане, нет, есть и третий, слабенький — врубил гакобортный «Гордиенко»...

Вода между льдин бесит своей отстраненностью ото всего происходящего, своим безмятежным спокойствием. В неподвижных водяных окнах отражаются густо-синие сумерки — слой тумана всего метров десять, а небеса чисты над нами.

В. В. сближается с «Гордиенко», дистанция наверняка уже меньше кабельтова... Слишком сближается В. В.! Метров сто дистанция... Два злобных горящих глаза в туманных ореолах и вместо рта — точка гакобортного огня: получается впереди какое-то чудище неведомое, нет, чем-то на гигантскую сову смахивает, терпеть сов не могу...

«Сейчас он снял тулуп», — думаю я.

Кто-то, подделяваясь под Шаляпина, но все равно очень хорошо, поет: «...от той волны морской... а мысли тайны от туманов... отважны люди стран полных...»

До чего опасно близким кажется впереди идущий парход, когда он поворачивает и вместо кормы видишь борт, протяни руку — и достанешь! И хотя знаешь: обман зрения, а все равно схватишься за телеграф. И В. В. дал стоп!

Где-то там, за туманами, солнце закатилось, утонуло в Ледовитом океане. И ребра льдин, обращенные к северо-западу, порозовели холодным... Холодным?.. Нет, розовое требует тепла, но здесь нет тепла... Хотя... Ведь можно же сказать «розовый иней».

Смотреть на переворачивающиеся за бортом (под бортом) льдины мне страшно. Да-да, обыкновенно страшно. Льдины метра по три толщиной. Из каюты они ближе, нежели с мостика. Потому и страшно.

К северо-востоку от нас Земля Бунге, по-местному Улахан Кумах. На этой Земле есть губа, обращенная к Северному полюсу; какой-то остряк назвал ее Драгоценной...

Опять не вписались в поворот канала и отстали от «Гордиенко». Теперь В. В. вынужден будет догонять... Звенит цепочка телеграфа — В. В. дал полный...

Сова эта проклятая впереди с горящими глазами...
Никогда сов не любил...

«Сейчас ему кажется, что он в бане, а температура на нижнем полке за сто двадцать градусов», — думаю я.

Поет Анна Герман...

Если бы она была жива, я пробился бы к ней сквозь все кордоны, чтобы только тронуть край ее платья, и был бы счастлив, и мне удалось бы проглотить свой грешный язык, который только и делает, что все прекрасное на свете портит... О, как я люблю этот тревожный голос, в котором уже вечный покой вселенной. Ее голос еще способен пробудить во мне юношескую мечту...

Удар скулой о левую кромку канала, обламывается огромный кусок льда, опрокидывается навзничь, из разлома — фонтан зеленой воды, высокий. И сразу удар правой скулой. Судно эпилептически трясется.

Бока льдин уже не подсвечены закатом, тускло белеют только вершины ропаков... Странно, что туман начисто скрывает из видимости суда, но пропускает закатные отблески — вероятно, это следствие сильной рефракции...

За пятнадцать минут до полуночи побрился, сполоснул лицо горячей и ледяной водой; наступала моя ария, как сказал бы Михаил Сомов.

В дрейфовом безделье мы с В. В. опасно изводим себя азартным шеш-бешем. Надо это сокращать или прекращать. Можно сорваться и поссориться. Но, кажется, мы нашли некоторый выход из обострившейся шеш-бешней ситуации. Доведя друг друга до дрожания рук, мы спускаемся в столовую команды и включаемся в домино, становясь из игровых противников партнерами и сражаясь единым фронтом против стармеха-помполита. Такой переход из врагов в закадычных друзей действует очень благотворно, но... только тогда, когда мы выигрываем. Но я-то в козла плохо играю, а В. В. замечательно. И все проигрыши случаются от моих ляпов. Тогда В. В. приходится собирать всю силу воли в железобетонный кулак, чтобы не высказаться в мой адрес соответствующими словами...

Да разве человеческое любопытство возможно заткнуть пробкой, дабы оно отдохнуло на манер фонтана Козьмы Пруткова? Никогда человеческое любопытство не иссякнет, и всегда ради его удовлетворения человек будет готов пойти на риск, на аферу и на смертельно опасный

опыт. Меня даже несколько удивляет, что нынче не отправили к комете Галлея хорошую атомную бомбочку. Но я голову готов дать на отсечение, что через семьдесят шесть лет эту ошибку человечество исправит и доверчивая комета сменит свое ледяное ядро на плазму, ибо безумно интересно: а что из этакого получится?

Вот я уже порядочно времени готовлю себя к смерти, уже в упор о ней думаю. И вообще-то ничего особенно не привязывает к жизни, кроме, конечно, страха перед смертью, ибо смерть омерзительная бяка; особенно для нас, которые ни умирать, ни даже хорониться не умеют. Но помирать, не узнав ничего новенького о комете Галлея, то есть до марта 1986 года, ей-ей, очень обидно!

Суть Игры для меня: выиграть, нарушая обязательные для выигрыша законы! Подставить себя под удар — и выиграть! Нарушить рациональность теории — и выиграть! Тогда появляется возможность проверить счастье, везение. И это очень возбуждает, волнует, захватывает. Победа над противником логическими и точными действиями волнует куда меньше. Потому я почти во все игры проигрываю, а это отвратительно действует на настроение.

Игра так властно затягивает даже гениев — Толстой, Достоевский — потому, что в игре проявляется и обостряется самое таинственное в человеке — азарт и способность воображения.

Была какая-то банда, или общество, «Вторых крестоносцев». Они обещали убить Толстого. Назначили точную дату — третье апреля девяносто восьмого года, если он до этого срока «не изменится». Третьего апреля Лев одиноко пошел гулять обычным ежедневным своим маршрутом. Гулял дольше обычного — ждал, выдерживал себя. Вернулся, записал в дневнике: «И жутко, и хорошо».

Испытать судьбу! Игрок! Всю жизнь играл по-крупному.

И даже смерть определил себе через игровое слово: «Ну, мат! Не обижайтесь...»

Еще об Игре. Игра слепая. Она копирует бесстрастность Природы, но игрок не способен быть бесстрастным. Игрок не бывает без азарта.

В шахматы возможно разыграть около 10^{99} партий. В нас 10^{27} атомов. В нашем мозгу 12—14 миллиардов элементов (нейронов).

В игре есть пол — «он» и «она», есть борьба между «+» и «—», есть общая симметрия и непрерывные от-

клонения от симметрии. Победа в игре иногда есть полное совпадение воображаемого с реальным. По эмоциональному потрясению для истинного игрока это можно сравнить с любовным экстазом.

Азарт знаком всем. Но немногие способны идти ему навстречу. Остальных он пугает космической, потусторонней силой.

Начало любой игры — состояние неустойчивого равновесия сторон. Уже первый шаг грозит нарушением равновесия. Риск.

Прóпасть.

Пропáсть.

Природа не рискует ничем и никогда.

Способность к риску есть человек.

Говорят, именно фантазия ведет к риску — к небытию или к вечности.

Оборвали правый бортовой киль. Сперва что-то непривычно дребезжало, затем встречным напором льда бортовой киль задрало вверх.

Каждый арктический рейс мы оставляем здесь бортовые кили. Но первый раз я видел своими собственными глазами ту деталь судна, которую можно увидеть только в доке.

Бортовой киль вынырнул из воды как раз под крылом мостика. Он изогнулся морским змеем и улетел за корму загадочной Несси. Мы с Митрофаном вылупили глаза, ибо совсем не сразу поняли, что высунувшаяся из воды и льда под бортом Несси — это наш собственный бортовой киль.

— Помяните мое слово, — мрачно пробормотал Митрофан, — первым же рейсом после Арктики нам дадут сталь из Роттердама. Вот покувыркаемся без килей в Северном море осенью!

Эта наша вечная игра со льдом так же завлекательна, как шеш-беш.

Когда вахта идет к концу, нервы уже издерганы, считаешь минуты до того мига, когда ответственность упадет с плеч: только бы дотянуть! только дотянуть!.. И вот другой принял тяготы. Ты спускаешься в каюту, пьешь чай или обедаешь, прислушиваясь к ударам льда и изменениям режима движения, и даже ухмыляешься мрачно шкурной мысли: пускай вот ТОТ ДРУГОЙ прочувствует, как тебе было сейчас худо... А уже через какой-нибудь час ловишь себя на том, что опять тянет на мостик, тянет продолжать Игру самому, самому идти вперед! идти впе-

ред! — хотя кажется, что впереди стена: она расступится! А приняв решение: идти вот в эту едва заметную щель, — уже не менять его! Даже если вдруг увидишь нечто более подходящее, не менять решения! Помнить: на изменение решения нет мгновений. Но не разгоняйся, не разгоняйся! И не потеряй инерцию, не завязни! Всё и вся контролируй, не надеясь ни на кого, ибо ты один так глубоко и абсолютно погружен в окружающую обстановку, мир, вселенную, — не слышь никаких советов, даже криков! И старайся сохранять силы, то есть давай себе расслабления, как дает их себе опытный боксер или борец и в разгар драки... но это уж как получится!

«Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья — бессмертья, может быть, залог! И счастлив тот, кто среди волненья их обретать и ведать мог...»

Ну, гибель нам не грозит. Однако неизъяснимы наслажденья среди волненья (попросту говоря: страха) мы обретаем и ведаем и среди арктических льдов, и среди антарктических, и в ураганы, и даже при проходе обыкновенной узкости в тумане. И это завлекает. И все не может надоеть, не может надоеть, не может...

Вот напасть-то, а?!

...Кусочек льда тонн в сто закувыркался под правым бортом, всплыл уже только у рубки — вдруг под винт?! Стопорить? Нет, не успею! Да и отстанешь в мгновение!.. При, милоч, дальше... Изумрудный, ядреный кусочек, а нетороплив как, как медленно всплывает, как медленно ворочается в ледяной каше! — слон только еще медлительнее, хотя теперь и слоны быстро бегают, когда их научили на потеху туристам в футбол играть...

Нет ничего коварнее окон чистой воды в тяжелых льдах. Судно вырывается на свободу, как-то непроизвольно набирает скорость, и — бац! — впереди в непосредственной близости ледовая баррикада... Сотрясения такие, что опять ожили и забегали тараканы.

А как тщательно доктор поливал каюты всякой дрянью!

Шторма и льды идут тараканам на пользу. Сотрясения и крены оказывают на них реанимационное воздействие.

Говорил с В. В. о том, что мы не умеем острить в моменты подлинной опасности. Он не согласился, потому что вспомнил двух погоревших капитанов. Оба в прошлом были люксовыми судоводителями и драйверами. Оба смайнались с высоких мостиков порядочных судов. Один

попал на буксир, другой на несамоходный лихтер. И вот один погорелец приволакивает на своем буксире несамоходного погорельца в порт, швартует его баржу в сложной обстановке, ошибается, и баржа летит прямо в причал. И буксирному погорельцу за разбитую баржу светит уже тюрьма, а погорелец юмора не теряет и орет несамоходному, летящему в причал на несамоходном лихтере погорельцу: «Степан Иванович, давай самый полный назад!»

Степан Иванович в режиме рефлекса заметался по лихтеру: машинный телеграф несуществующей машины ищет, чтобы полный назад дать, и еще орет: «Где телеграф?! Куда телеграф задевали, сволочи?!» Ну, и — бенц! — приехали... Но все с юмором!

На кромке распрощались с «Красиным», который нынче работал грубо.

— Тут два шага, сами дойдете до Кигиляха, — сказал ледакол.

— Широко, барыня, шагаешь: штаны порвешь, — ляпнул я в микрофон радиотелефона.

— Как это понимать? — поинтересовался ледакол.

Ну, не будешь же ему объяснять, что моя мама часто вспоминала старинный анекдот. Как буржуйско-дворянская дамочка, вся утонченная, изысканная и воздушная, нанимает извозчика Ваньку. Ну, а ехать ей, к примеру, аж от Николаевского вокзала до Николаевского моста. Ванька за такой пробег просит полтинник. Дамочка, вся утонченная и воздушная, таким райским грудным голоском говорит: «Помилуй господь! Полтинник? Двугривенный! Тут два шага!» Вот Ванька Горюнов, некультурный, дореволюционный, ей и отвечает: «Широко, барыня, шагаешь — штаны порвешь!»

Мама вспоминала этот анекдот, когда я просил чего-нибудь с ее — извозчицей — точки зрения вовсе невозможного и фантастического.

Все это объяснять ледаколу я не стал, а просто пробормотал: «Простите, вас понял, следуем самостоятельно!»

Солнце всходит и заходит — уже и не поймешь, черт знает что оно делает за круглым боком планеты.

Странноватый розово-холодный свет сочится из-под горизонта на северо-востоке. Этот свет и на тяжелых, холодных волнах. Они бьют нам в нос. И от форштевня вздымаются брызги буденновскими усами. Баллов пять уже задует от юго-востока.

ПИСЬМА
ПОРУЧИКА
ИСКРОВОЙ РОТЫ
ИЗ 1914 ГОДА

...Это объясняется однообразием нашей жизни; не было о чем писать и каждый день являлись одни и те же мысли. Пустота дневника служит лучшей иллюстрацией нашей жизни в течение этих месяцев.

Фр. Хансен. Среди льдов и во мраке полярной ночи

ДЛИТЕЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ УЛУЧШЕНИЯ ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЙ ДЕСЯТИМЕТРОВОЙ ИЗОБАТЕ ПАРАЛЛЕЛИ 7302 ГДЕ ПРОХОДИТ ФАРВАТЕР ВЫХОДА СУДОВ ИЗ ПРОЛИВА ЛАПТЕВА НЕ ДАЛО ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗПТ ПОСЛЕДНЕЙ РАЗВЕДКОЙ ПОДТВЕРДИЛОСЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ УХУДШЕНИЕ ОБСТАНОВКИ ЭТОЙ ЗОНЕ ЗПТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЛИВА ЛАПТЕВА ДЛЯ ПРОВОДКИ СУДОВ ОСАДКОЙ БОЛЕЕ ПЯТИ МЕТРОВ ПРИШЛОСЬ ПРЕКРАТИТЬ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ БУКСИРОВАТЬ КАЖДОГО ИЗ ВАС МОЩНЫМ ЛЕДОКОЛОМ ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ САННИКОВА ГДЕ ГЛУБИНАМИ НЕ ТАК СЛОЖНО = 300 819 КНМ ЛЕБЕДЕВ.

Наглухо застряли у порога Восточно-Сибирского моря.

Символом однообразия нашей жизни может служить буфетчица Нина Михайловна, которая сидит с ногами в кресле в пустой кают-компании и читает «Королеву Марго».

Вся связь с миром — только через эфир.

Я печатаю письма молоденького офицера — одного из первых военных радистов России. Поручик был влюблен в маму. Она же просто крутила ему голову. Однако почему и зачем хранила письма поручика и даже пронумеровала их?

Время от времени заходит В. В. и кладет на пачку желтых конвертов со штемпелями «Действующая армия», «Военная цензура», новенькие РДО. И я их перепечатаваю тоже, ибо все может пригодиться в моем кулацком литературном хозяйстве.

«Новый адрес: Действующая армия, 5 Искровая рота, поручику ННР, а оттуда мне будут пересылать с нарочными, т. к. я буду от штаба верстах в 500, в маленьком отряде, оперирующем в Буковине. Этот веселый отряд недавно взял Кимполунчъ (?— В. К.), что Вы, конечно, знаете из донесения Верховного Главнокомандующего — моего старшего тезки. Так вот я туда и еду. Довольно, конечно, страшно, но бодрости сколько угодно. Вагон — теплушка, трясет страшно, писать невозможно... Сейчас остановились в Станиславове — чудный, великолепный город: громадный, чистый, великолепные магазины, кафе и рестораны — очень мало чем уступает Львову. Здесь я узнал, что отряд мой сплошь состоит из кавалерии, что еще больше придает интересу к предстоящей службе. Судя по карте и по рассказам, местность там удивительно красивая — кругом сплошные перерезанные горы, покрытые лесом и снегом: трудновато придется моим бедным лошадам, но ничего, с Божьей помощью к сентябрю войну кончим. Ваш Николаич».

РАДИО В/СРОЧНО 2 ПУНКТА ЛК ИВАН
МОСКВИТИН ТХ КОЛЫМАЛЕС КМ МИРОНОВУ
СВЯЗИ ПЕРЕМЕНОЙ ВЕТРОВ ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ
ВОСТОЧНОГО ТЕЧЕНИЯ РАНЕЕ СПОКОЙНАЯ СТО-
ЯНКА ШАЛАУРОВА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛЬДОМ
ПОЭТОМУ ОКОНЧАНИЕМ ПРОВОДКИ ВИЛЮЙЛЕСА
ЗАЙМИТЕСЬ ПОЭТАПНЫМ ПЕРЕВОДОМ СТОЯЩИХ
ШАЛАУРОВА МОРСКИХ РЕЧНЫХ СУДОВ НОВОЕ
РАЗРЕЖЕНИЕ НАХОДЯЩЕЕСЯ ПРИМЕРНО
КООРДИНАТАХ 7310 14 530 ТЧК СЕГОДНЯ
ЛЕДОВЫЙ БОРТ 04 199 ОСМОТРИТ ВОСТОЧНЫЕ
ПОДХОДЫ ПРОЛИВУ ВКЛЮЧАЯ РАЙОН
ШАЛАУРОВА ДАСТ ФОТОЛЕДОВУЮ КАРТУ СЛЕДИ-
ТЕ ЗА НАМИ ПО РАДИО=29 083 КНМ ЛЕБЕДЕВ.

Рейд у мыса Шалаурова. С юго-востока подошло большое поле льда. Привели машину в немедленную готовность. 14.45. С ледокола «Иван Москвитин» поступило приказание следовать в точку широта $73^{\circ} 10'$, долгота $145^{\circ} 30'$ восточная — в место разрежения.

Опять в стармехе пробудился бес. Октавиан Эдуардович обозвал «Москвитина» «полупроводником». Воистину это так! Слабенький ледокольник... Сегодня наш юби-

лей — месяц рейса. Из тридцати суток двигались одиннадцать.

«ШТАБ IV АРМИИ. НАЧ. СТАНЦИИ 5 ИСКРОВОЙ РОТЫ. Пишу вам, пройдя за полтора суток 60 верст и найдя себе убежище в крестьянской избе, выселив, вернее, переместив из одной из 3 комнат хозяина и хозяйку, — мера по первому впечатлению некрасивая, по военному времени простая, а по моей службе — необходимая. Мрачные предчувствия прошлого письма, к счастью, пока не оправдались, и наши дела идут блестяще: немца тесним по всему фронту и постепенно подвигаемся к границе. Но моего бывшего блестяще-бодрого настроения уже нет. Почему? Вероятно, потому, что нет живого дела, а главное — постепенно, но верно начинаю терять веру в беспроволочный телеграф, то есть в том виде, в каком он сейчас существует. Мне кажется, что вся кампания пройдет для меня без отличий и с потерей веры в свое дело (раз беспроволочным телеграфом восхищаются только на словах, не отмечая никакими крестами). Не подумайте, что я говорю про скачку за орденами, но, во всяком случае, не следует забывать, что временами единственная надежда для Штаба — это моя станция, которая и оправдывает свое назначение. Впрочем, «цыплят по восемь считают», как говорят испанцы. Однако, как ни странно, на войне самый верный способ доставки разного рода бумаг — это ординарцы и грузовики (случайные) автомобили. Ваших писем не получал с Румынской границы. А может, и Вы моих не получаете? Вот *будет курьез, если письма, ранее написанные, Вы получите когда-нибудь спустя много времени...*»

На иностранном телеграфном бланке: «Я только что проснулся на линии сторожевого охранения отряда и по телефонограмме узнал, что сейчас едет офицер в Галич через Россию — соблазн слишком велик, чтобы не послать Вам несколько приветливых слов, будучи уверенным, что дня через 3—4 Вы получите это письмо. Ваши же письма я не получил оттого, что они, вероятно, сейчас лежат в Львове или под Перемышлем, откуда вследствие «некоторых» серьезных затруднений не могут быть доставлены мне. По штемпелю Вы узнаете, где я, но только это не дивизия, а полдивизии и называется Буковинским или Черновицким отрядом. Сейчас начинается продолжение вчерашнего боя и уже завязалась ружейная перестрелка.

Вспоминаете ли меня, бесконечно передвигающегося пока по польским волнам? Недавно видел Вас во сне и был счастлив, но день прошел затем грустный. Найти себя я не нашел, но собирать себя постепенно собираю, и результаты должны быть хорошие, а может быть, и дурные — время покажет...»

21 августа. На якоре в ожидании ледоколов.

Общесудовая тревога, проверка снабжения спасательных шлюпок.

Солнце, тишь, ясность, а мы в ледяном мешке, и ворот затянут — вокруг вспухшие ледяные языки и поля. Только у мыса Шалаурова свободная вода. Шестнадцать судов судьба свела здесь в одну кучу. Из них штук пять речников.

На якорь-цепь то и дело наваливает льдины, которые несет течением из Восточно-Сибирского моря в пролив Лаптева. Цепь выделяет под их натиском рискованные выкрутасы. Приходится держать машину в готовности и бить тупые морды непрошенных гостей форштевнем, давая ход вперед. А на клюзе всего полторы смычки, глубина под килем всего три-четыре метра. От работающего винта вздымается тягучая муть. И все время есть реальная возможность подорвать якорь.

На теплоходе «Виляны» у буфетчицы почечные колики. Врача там нет. Сообщаем нашему эскулапу. Он: «Я никогда не лазал по штурмтрапу и не поеду». Во какой эскулап! Пришлось отправлять его в приказном порядке.

«Из действующей армии, Петроград, Екатерининский канал, ее высокоблагородию Л. Д. Конецкой... Вчера и сегодня впервые после долгого перерыва чувствую пониженное состояние духа: серьезно заболела лошадь, мой боевой друг, и, вероятно долго проболует. К сожалению, не удалось «отбить» вторую, но, верно, это время придет, а у немца хорошие лошади попадаются. Может быть, скоро буду в том городе, где Вы служили искусству. Какая разная обстановка, правда? Сейчас идет проливной дождь, сыро, холодно, но прекрасно. Не завидую Виктору Андреевичу. Не хотел бы быть сейчас в мирной обстановке. Одна осталась просьба к Вам: пишите хоть коротко, но

чаще,— письма в конце концов дойдут, марок не ставьте и непременно обозначайте ЧИНЬ. Вам и всем Вашим искренне желаю полного счастья и благополучия. Ваш Николаич».

КАП ВОРОНИН 20 400 7248/14 855 СОВМЕСТНО
МОСКВИТИНЫМ ПРОДОЛЖАЕМ ПРОВОДКУ
КАРАВАНА ДВУХ СУДОВ ПОСТОЯННЫМИ
ОКОЛКАМИ ВЫВОДИМ ТХ ОУНСКИЙ ЗОНЫ
СЖАТИЯ ВРЕМЕНАМИ РАБОТАЕМ УДАРАМИ КЛИН
ЛЕД 10 ТОЛСТЫЙ МНОГОЛЕТНИЙ СЖАТИЕ
2 РАЗРУШЕН ТОРОСЫ 2 ВЕТЕР СЕВЕРО-
ВОСТОЧНЫЙ 3 МСЕК= КМ ТЕРЕХОВ.

Начинаем разлагаться. Игра. И выпивать тянет, если уж правду и всю правду. Поддаем тропическое винцо «под укроп». Укроп растет у В. В. в ящике под бортовым окном. Ростки жалкие, тощие, прозрачные рахиты. Как будто они в подвале без всякого света выросли. Но запах у них земной, летний — то есть укропный. Право, непонятно, почему укроп не растет и не развивается. На Молодежной местные помидоры ел, а в родной Арктике укроп не растет...

Прыгающий, совсем неразборчивый почерк: «...еду в один из отрядов, оперирующих в Буковине, через Станислав или Станиславлев. Условия будут, вероятно, такие же, как когда я был в Гвардейском Конном корпусе, но только местность будет гористая, скалистая и метелистая. Нервы «немножко» расходились, немцы каждый день угощают нас бомбочками. Новый год я встречал один в вагоне... Бодр всегда, и иногда весел. Приходится терпеть сейчас некоторые лишения ввиду отсутствия иногда какой-либо еды, но это только временно, так как обыкновенно мы располагаемся в самых шикарных домах и продовольственный вопрос поставлен блестяще. Самые наилучшие пожелания Марии Павловне, Зинаиде Дмитриевне, Матильде Д., Васильевым. Дай Бог Вам... Ваш Николаич».

«...Одно определенно верно, что хотел бы скорейшего окончания войны...»

«...Вчера получил спешное приказание отправиться на передовые позиции и в тылы противника для организации

связи с двумя совершенно новыми и только что прибывшими сюда искровыми станциями. Завтра утром отправляюсь к конному отряду, с которым вторгаюсь в Германию, оттуда, Бог даст, вернусь при удаче, и если ничего не случится, примерно через месяц. Со мной идет 20 человек конных. Настроение очень бодрое, энергии масса, и впереди интересного и «веселого» предвидится много. Спасибо Вам за пожелание прислать мне теплое, но, к счастью, у меня все есть и даже с избытком. Вы пишете, что ждете меня в Петербурге даже во время войны, а я не считаю себя вправе просить об этом и думаю, что, спокойно исполнив свой долг до конца, я буду в Петербурге только после окончания войны. Не знаю, как окончатся наши предприятия, но понадеемся на Бога и с Его помощью на успех. Из таких же, как я, начальников станций уже один убит, один в плену и один пропал бесследно вместе со своей станцией. Хочется бросить мысль о себе, но она навязчиво впивается в мозг, невольно мысли летят туда — к близким знакомым и родным, и хочется, безумно хочется их увидеть! В такие минуты они становятся особенно дорогими и милыми. Если увидимся когда-нибудь, есть чего рассказать прочувствованного. Дай Бог Вам, не забывайте. Ваш Николаич. Извините за спешку — лошади и люди уже ждут. Не забывайте. Ваш Николаич».

«...Не могу писать больших писем — либо нет места, либо времени. Место меняю почти ежедневно, живу либо в палатке, либо на коне, ни дождь, ни стужа, ни ветер меня не смущают. Сознание, что живешь в чужой (теперь уже нашей) стране и делаешь ответственное дело для родины, само подогревает и бодрит...»

22 августа, продолжаем стоять на якоре у Шалаурова.

После долгого преферанса приснился типичный штурманский сон. Лоцман заводит в узкую протоку, промахивается. Судно мягко вылезает на сушу. Ни у кого нет ощущения тревоги и катастрофы. Огромное судно прет, раздвигая и вспучивая форштевнем землю. Я приказываю дать воду на палубу всеми насосами из всех магистралей. Это мудрое решение обосновываю тем, что вода будет стекать через шпигаты с палубы за борт, таким образом будет смачивать землю, и тогда уменьшится коэффициент трения...

Открыл глаза. Полный штиль. За иллюминатором шел слабый снег. Но шел довольно странно: не вниз падал,

а поднимался вдоль борта вертикально вверх. Как будто его порождали не хмурые небеса, а стылое море. Снег совершал свой противоестественный путь торжественно-плавно. Крупные мохнатые снежинки радовались неожиданному продлению своей жизни. Их жизнь продлеvalo тепло нашего судна — конвекционные завихрения воздуха вокруг.

У Октавиана Эдуардовича нынче счастливый вид. Оказывается, ночью ему опять снилась драка, но он не лягнул переборку, не треснул головой о столик и не засадил хук в коечную лампочку. И при всем при этом драка, которая ему снилась, была ужасная. У противника был лом, а у двоюродного племянника Цезаря всего-навсего сварочный электрод. Причем электрод какой-то короткий и тупой. И хотя Октавиан Эдуардович несколько раз попадал противнику электродом в морду, но все это было малоэффективно. И тогда первый узурпатор Римской империи заставил себя проснуться и тем самым сохранил в целости все свои члены.

Рассказал Октавиан это, когда мы ели за утренним чаем пшенную кашу.

ЛК ЕРМАК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКОНЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВодКИ СУДА СЛЕДУЕТ ВЫВЕСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЕРЕХОДА ЧИСТУЮ ВОДУ РАЙОНЕ ПРИМЕРНО СТАМУХИ КООРДИНАТАХ 7146/15 741 ТЧК ПОСЛЕ ЭТОГО ЕРМАКУ СЛЕДУЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ КОРПУСОМ ЗА ВИЛЮЙЛЕСОМ СТАНИСЛАВСКИМ ПРОШУ ПОДТВЕРДИТЬ = 50 916 КНМ ЛЕБЕДЕВ.

Итак, всякие надежды на проход проливом Дмитрия Лаптева накрылись. Нам предстоит с запада обогнуть острова Большой и Малый Ляховские, встретить «Ермака» и следовать на восток проливом Санникова. Кувыркаться обратно по своим собственным следам! Обратно на запад, обратно сквозь пролив Дмитрия Лаптева, вокруг Ляховских островов, в пролив Санникова! А помогать нам на обратном-попятном пути будет «Воронин», ибо катится в Тикси за топливом. Конечно, в таких вопросах я полный профан, но когда в разгар тяжеленнейшей навигации ледоколы уходят на неделю за топливом, то невольно возникает мысль, а не выгоднее ли заправлять их прямо здесь, на трассе, с танкеров? Во сколько обойдется тонна

топлива «Воронину»? С учетом пробега туда-обратно к Тикси плюс простой каравана?

«Люблин. Последний день я в этом городе и пишу Вам накануне весьма крупных событий, участником коих с завтрашнего дня состою.

Оригинальное я получил письмо, прелестная Л. Д., и знаете от кого — от Вас, дорогая моя!.. Ой, виноват! Вам стало «ску-учно», и тогда Вы вспомнили... (Неразборчиво.— В. К.) «старого доброго друга». Может ли быть дружба между молодой, очаровательной, бойкой и лукавой девушкой и скромным джентльменом — не знаю. И, переехав с Екатерининского на Садовую, черкнули ему маленькую записочку... Эх, Л. Д., милый мой Митя Карамазов, маленькая вакханочка! Устал я порядочно. За год войны постарел я и одичал, не видя общества другого, как своих офицеров, солдат да изредка сестер милосердия. Надоело, хочется бурного веселья, близких людей, теплой беседы, хорошей обстановки, культурного своего русского города. Уже семь месяцев я в Галиции и по нашей матушке России соскучился страшно. Прицепили паровоз. Будьте счастливы. Ваш Николаич».

Подошел «Капитан Воронин», приказал всем сниматься. Выбрали якорь, дрейфуем в ожидании других судов. 10.00. «Воронин» отменил приказ. Он берет только три судна, остальные шлепнули якоря обратно.

На тему наших великих стояний В. В. отправил приватную радиограмму какому-то своему старинному коreshку в столицу. Все как-то получается, что другие суда, из самых разных ведомств, все-таки куда-то начинают уводить, а мы стоим в зловещей неподвижности.

Столица есть столица!

МОСКВЫ 287 РАДИО СРОЧНО ТРИ ПУНКТА ПЕВЕК НМ ПОЛУНИНУ КОПИЯ ЧОКУРДАХ КНМ ЛЕБЕДЕВУ ТХ КОЛЫМАЛЕС МИРОНОВУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СУМЯТИЦЫ И НЕРВОЗНОСТИ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ КМ МИРОНОВА ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ КАРАВАНА КОПИИ НАМ ТЧК ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОШУ СВОЕВРЕМЕННО ОТВЕЧАТЬ ЗАПРОСЫ КАПИТАНОВ СМПР14А/333 = АСЗП БУРКОВ.

И вдруг льды зашевелились:

ПЕВЕКА РАДИО ДПР ТХ КОЛЫМАЛЕС КМ МИРОНОВУ ВАШУ ПРОВОДКУ ДО МЫСА СВЯТОЙ НОС БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЛК ЕРМАК КОТОРЫМ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ = 17 084 ЗНМ МАЛЬКО.

19.00. Получено указание ледокола «Ермак» следовать ему навстречу. Начали готовить машину. 20.30. Перевели машину в постоянный режим, провернули на воздухе и топливе, сличили часы, проверили сигнализацию, телеграф и рулевую машину. 21.35. Дали ход.

«Сорокин» примчался из Мурманска весьма вовремя. «Воронин» с теплоходами «Кигилях» и «Пожарский» влипли в сжатие. Их поволокло на мелководе северо-западной части пролива Санникова. (Точно так нас выдавливало туда в 75-м году.) «Сорокин» их околел и выводит к востоку — против конечной цели их движения. До меляки оставалось около десяти миль.

Приехали с «Перовской» ребята менять кинофильмы. С ними врачиха. Вообще-то она медицинский судебный эксперт. Спрашиваю:

— А как и зачем сюда-то попали?

— Конецкого начиталась.

Смеется. Спрашивает:

— Это правда, что вы женоненавистник?

— Конечно.

— А вот женщина вам привет передает!

Оказывается, на «Перовской» работает Светлана Алексеевна — буфетчица с «Невеля». Она ассистировала, когда капитану Семенову вырезали аппендикс, и попала в «Среди мифов и рифов». Хвастается: «Я в книгу засажена!»

Все моряки обожают перемывать косточки прежним сплывателям, как актеры — бывшим партнерам.

В ноль часов я принял вахту. Легкая низовая метель с мелким колючим снегом. Туман. Тьма. Пять минут первого выходит из строя радиолокационная станция «Люция». С ней удобнее всего держать дистанцию в кильватерном караване. Вызвал начальника рации. Василий Иванович является встрепанный со сна. Минут десять молча смотрит на мертвую станцию — антенна не вращается, моторчик скис.

Затем Василий Иванович уходит.

Я думаю, что за инструментом или одеваться. Но Василий Иванович исчезает до утра. Оказывается, у него не было теплого белья, а ремонтировать антенну в метель на пеленгаторном мостике на ходу судна — это, конечно, не Сочи. Но и нам без «Лоции» хреново.

Переживали за «Великий Устюг». Он не успел подойти к каравану до начала нашего движения. И вынужден был догонять нас, плутая в ночи среди ледяных полей, огибая неизвестно куда идущие ледяные языки в метели и ознобе — нервном ознобе, ибо догонять караван полными ходами есть занятие не самое увлекательное. «Устюг» шел по следу с настойчивостью овчара и около трех ночи догнал и стал концевым. И я ото всей души поздравил кого-то на его мостике с удачей.

Днем выпал более-менее спокойный участок. Идем кильватером. Развиднелось. Солнце. Лед белый, чистый.

Из радиотелефона:

— «Алатырьлес», ответьте «Перми»!

— «Пермь», я «Алатырьлес»!

— «Алатырьлес», вы горите!

— Где горим?

— Корма горит.

На всех мостиках каравана хватают бинокли и смотрят на зад «Алатырьлеса». Интересно же, как он там горит. А горит здорово, потому что дыма много, закручивается, ползет по белому льду в торосы.

Ледокол:

— Очень плохо, «Алатырьлес»! Вы горите и сами не видите, что уже корма спеклась!

«Алатырьлес» смущенно и удрученно молчит минуту, вторую, третью. И вдруг весело торжествует:

— «Пермь», глаза протрите! Мы на корме мусор сжигаем! Сами не погорите! Небось мусор за борт валите, среду обитания портите!..

Возникает разговор о названиях наших судов. Ну как тяжело какому-нибудь арабу или англичанину разобрать на слух и записать своими буквами в журнал: «АЛАТЫРЬЛЕС»!

В разговор включается Митрофан Митрофанович. Он на имена судов смотрит со своей — бывшей матросской — кочки зрения:

— Есть вот штуковина «Пятьдесят лет Советской Украины». Сколько ржи с букв шкрывать надо, а? А сколько

на них краски идет, сколько рабочего времени, сколько за бортом в люльке покачаешься...

— Действительно, хорошее название,— соглашается В. В.— А вот мне на «Карачаево-Черкесии» выпало плавать. И в каком-то арабском порту получаем от властей указание, чтобы «Карачаево» снималось с якоря и следовало к причалу, а «Черкесия» пускай еще немного обождет лоцмана для выхода из порта...

— И куда вы поплыли?— спрашиваю я.

— Спать легли,— говорит В. В.

Хорошо, что солнце в корму. Если б наоборот, в таких белесых туманах было бы вовсе плохо. Но и при попутном солнце к концу четырехчасовой вахты от напряжения глазные яблоки как бы раздавливает изнутри.

Глаза начинают все больше и больше меня тревожить. Явно я в этот раз переборщил. От Антарктиды до пролива Санникова — это, пожалуй, слишком.

Сегодня вдруг сорвался и заорал на Митрофана:

— Да включите же вы прожекторы!

— Зачем?— удивился Митрофан.— У них, Виктор Викторович, у этого «Алатырьлеса», от наших прожекторов ни один клоп с подволока не упадет!

Таким заковыристым образом он объяснил мне, что от наших прожекторов никакой помощи моим глазам не будет.

Началась низовая метель. Снег мелкий, колючий и мертвый. Караван застрял. Рядом на льдине спали моржи, очень большие и рыжие.

Опять в ледовом дрейфе.

Вчера в это время пошли за связкой «Ермак»—«Гарту», набрали ход, хорошо шли по каналу,— ночь, торосы, пляска теней и льдов вокруг, сожаление: сюда бы кинооператора!— и вдруг «Ермак»:

— «Колымалес», осторожнее! Мы пошли зайцем!

Я такого еще не слышал, ничего не понял и сразу сознался в своей профанности:

— «Ермак», что значит «зайцем»?

— Лед разной плотности, идем скачками и зигзагами!

— Вас понял!

Тридцать шесть тысяч лошадей впереди скачут в разные стороны!

Через пятнадцать минут заяц «Ермак»:

— «Колымалес», мы уперлись! Простите! Отработайте полным назад!

Даю задний — слава богу, за нами судов нет, но льдыто в винт так и лезут! «Ермак» с «Тарту» на хвосте стоит на месте и молотит винтами лед. Намолотили ледовой каши в канале толщиной метра в три. Как только мы в эту кашу всунулись, так сразу аут — завязли, засосала она нас по-болотному, безнадежно — ни взад ни вперед. И вот тогда заяц нас бросил и поволок «Тарту».

Я спустился к В. В., разбудил его, доложил обстановку.

Он:

— Против стихии не попрешь. Но можно было мне дать спокойно поспать?

Я ему объяснил, что в прошлый раз в подобной ситуации он на меня наорал, вот я и страхуюсь теперь. Он сказал, чтобы я больше таким макаром не страховался.

И вот мы с тех пор опять в зловеще-мертвенной неподвижности.

«...Уезжая, как и всегда, я буду только с Вами и единственной моей мыслью, целью и желанием, нося Ваш образ в своем сердце, увидеть Вас и отдать всего себя на служение Вам. Будьте здоровы и Богом хранимы! Нижний чин из-под Перемышля привез письма, но от Вас нет... Сейчас нахожусь в большом городе, как это ни странно, хожу в кинематограф и с удовольствием слушаю небольшой, но хорошо сыгравшийся оркестр. Встречаю корпусных и училищных знакомых, и каждая встреча приносит с собой известия о смерти или ранении других наших товарищей — становится как-то особенно жалко и грустно. Мне страшно, что война нас так разъединила и отдалила, я не знаю, что случилось, и мне бы очень, очень хотелось, если еще возможно, услышать от Вас, Л. Д., откровенное объяснение происшедшему и происходящему. Был бы бесконечно рад, если все мои тревоги — плод моей фантазии...»

«...Христос Воскресе! Откровенно говоря, меня крайне беспокоит отсутствие от Вас новостей с Нового года. Я чувствую большую перемену в отношении ко мне; не рискую пускаться в область догадок и предположений, но думаю, что и Вы мне об этом *не* напишете. Вспоминаю прошлую Пасху. Вы были, кажется, в Ницце, и в одном из писем прислали мне цветы — чудные увядшие еще не совсем лепестки с чудесным запахом. Мысль невольно переносилась в красивые теплые края и искала тот уголок,

где могла встретить живой отклик своему движению. Теперь ничего этого нет: осталось одно только красивое воспоминание и грустный осадок, приятный; забыть о прошедшем нет сил, и что-то беспрерывно шепчет, что еще не все прошло, что лучшее еще впереди и, верно, желанное будет. Что это? Я, кажется, имею нахальство «удариться в поэзию»?! Вспоминайте изредка».

«...Итак, я опять в Карпатах, прелестная Л. Д.!.. В моей работе деятельно помогает мне Бокс — английский бульдог, которого чуть не убила моя лошадь, к которой он неизмеримо меня ревнует... Последнее время чувствую неизмеримое стремление в Петроград, хотя бы на самое короткое время и вразрез своих же слов (в январском письме, если помните). Сейчас я, вероятно, поехал бы, кабы это было возможно...»

Итак, на траверзе мыса Анжу «Ермак» по-сусанински завел караван в ледяные дебри, все пароходики заклинились, он всех бросил, увел на усах эстонскую «Тарту». Через десять часов к нам пробился «Сорокин». Под кормой скопились льдины общим весом тонн в сто. Мы заверещали «Сорокину», чтобы тащил нас первыми. Ему наши истерики надоели, и он вообще перестал отвечать в радиотелефон. Взял на усы «Кыпу» (тоже эстонец) и уволок.

Стоим в глухом бездвиженье. Около двух ночи проснулся, поднялся на мост. Вахтенный Митрофан полупупело сидит в лоцманском кресле и даже не слез с него при моем появлении.

Тишь вокруг. Льды молчат. Мертвые. Сжатия нет. На крыле чуть пахнет дымом мусоросжигалки, дым тянет с кормы. До кромки льдов сто двадцать миль.

Что остается делать? Печатать письма поручика Искровой роты дальше.

«...Непосредственная опасность бодрит и веселит. А пришлось испытать многое: был обстрелян ружейным и артиллерийским огнем, специально сидел в стрелковых окопах и наблюдал, как отражаются немецкие атаки, и раз ночью чуть не попался в плен. Если бы не разезд уральских казаков, который предупредил меня, что в версте немцы ведут наступление, то был бы сейчас, раб Божий, уже за долгожданной границей. Слава Богу, люди мои быстро собрались, поседлали коней, и мы благопо-

лучно удрали в чудную лунную ночь. Очень трогательно было видеть, как солдаты окружили меня, приготовившись защищать, если понадобится. За все время командировки сделали около 800 верст верхами, не знаю, когда спал и что ел. Вся картина боев разворачивалась передо мной как на ладони... Сейчас нахожусь в маленьком дрянном городишке, где 80 % живут евреи — конечно, про чистоту умолчу. Думаю, это письмо получите к Рождеству. От всей души благословляю Вас, мамочку, З. Д., М. Д., Иго-речка. (Вероятно, уже ходит пешком под стол.)».

Изменяются и развиваются не характеры героев литературных произведений, а изменяется их поведение после надломов и переломов судьбы. Понятие «изменение характера», употребляемое по отношению к литературным героям, традиционно, привычно, но импрессионистично, а потому способствует полной путанице.

Вор после житейского потрясения, когда он по ошибке обобрал родную мать и та умерла, перестает быть вором и идет работать в ОБХСС. И мы рыдаем, наблюдая его на экране или в книге. Но это не характер его изменился, а поведение и образ мыслей.

В основе романа — судьба.

«Роман» — человек в истории, в мире, во вселенной. Это предполагает способность писателя к и з у ч е н и ю всего и вся, то есть к анализу, разложению на составные элементы при таланте затем все соединить обратно в гармоническое целое. «Роман» — нечто настолько громадное, что вызывает обыкновенный страх, как вызывает его вдумывание в понятие бесконечности или конечности мира, направленности времени, засмертного пребывания.

«Повесть» — сопереживание героям (после вживания в них), сравнение судьбы, души, тела героя со своей собственной жизнью и опытом своей души, разума, сердца и (чаще всего) ассоциация со своим собственным прошлым, настоящим или будущим.

«Рассказ» — сопереживание вновь какому-либо эпизоду своей жизни или воровство интересного эпизода из чужой судьбы. Под «воровством» здесь подразумевается и полнейшая выдумка — вернее, фантазирование.

Пишит морзянка — радист принимает «РАДИО-БЮЛЛЕТЕНЬ ГАЗЕТЫ «МОРЯК БАЛТИКИ» на 01

СЕНТЯБРЯ 1979 ГОДА». Иду в радиорубку. Василий Иванович печатает новости: «СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ АКТИВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛКСМ. ОБСУЖДАЛИ ЗАДАЧИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СООРУЖЕНИЙ ЗАЩИТЫ Г. ЛЕНИНГРАДА ОТ НАВОДНЕНИЙ»... СЕГОДНЯ ОПЕРОЙ «ИВАН СУСАНИН» ОТКРЫВАЕТ ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ КИРОВА. В ЛЕНИНГРАДЕ НАЧАЛОСЬ ВЫСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТАНЦЕВАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ТРУППЫ ЯМАЙКИ... ЦВЕТОВОДЫ ТРЕСТА ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗАВЕРШИЛИ ПОСАДКУ 11 ТЫСЯЧ АСТР В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА... В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ ПЛАВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СУДОВ ПО ТРАССЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ ПРОХОДИТ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ. АТОМОХОД «СИБИРЬ» И ДРУГИЕ МОЩНЫЕ ЛЕДОКОЛЫ С ТРУДОМ ФОРСИРУЮТ ТЯЖЕЛЫЕ ЛЬДЫ. НА ДНЯХ В ПОРТ ПЕВЕК ПРИДЕТ «КОЛЫМАЛЕС» И «БОБРУЙСКЛЕС». ОНИ ДОСТАВЯТ ТРУЖЕНИКАМ ЧУКОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ГРУЗЫ. ПОСЛЕ СДАЧИ ГРУЗА В ПОРТУ ТИКСИ ТЕПЛОХОД «ДЕРЖАВИНО» ВЫШЕЛ В ИГАРКУ».

Но позвольте, дорогие газетчики! Откуда в «Моряке Балтики» известно, что «Колымалес» придет в Певек «на днях»? А «Державино» следует поздравить с молниеносным удиранием из Арктики — для него заботы, действительно, делаются «вчерашними».

В. В. начинает вызывать мистическое почтение. Он опять побеспокоил столицу по своим таинственным каналам, жалуюсь на внеочередную проводку судов Эстонского пароходства. И:

ПЕВЕКА РАДИО ДПР ТХ КОЛЫМАЛЕС КМ МИРОНОВУ КОПИЯ МОСКВА АСЗИП БУРКОВУ ВАШ КАСС 39 ОТ 2 СЕНТЯБРЯ ЭТУ ОПЛОШНОСТЬ КМ ЛК ЕРМАК ФИЛИЧЕВА ТАКЖЕ КНМ ЛЕБЕДЕВА ПОСТАРАЕМСЯ ИСПРАВИТЬ СЛЕДУЮЩЕЙ

ХОДКОЙ ВОЗЬМУТ ВАС ПРОВОДКУ 020 929 ЗНМ
МАЛЬКОВ.

Второе сентября, пролив Санникова.

Следуем в караване: «Турку», «Кыпу», «Колымалес», «Алатырьлес».

Бедет «Ермак». Часа через три застряли в сплоченном льду и легли в дрейф. Ледокол принял решение брать суда по очереди на короткий буксир. Всю вахту судно испытывало сильную тряску, вибрацию, удары в борта и днище. Возможны повреждения корпуса. Первым «Ермак» взял на усы «Турку». А нам было приказано следовать за их связкой самостоятельно, в минимальной дистанции.

Извечные для этих мест слова колеблют эфир: «Вы уж постарайтесь, «Колымалес»! Перешеек тяжелый, но сейчас, сейчас уже легче будет! Только работайте, бога ради, полным!»— так, с нотками мольбы, бухтит бас могучего «Ермака», но словеса нам не помогают, и мы превращаемся в пробку, засаженную в сжавшееся ледяное горлышко между полями.

Сравнение не мытых два года бутылок с двухгодовалыми льдами достаточно точно,— старые льды именно такие грязные и унылые.

Рядом Земля Бунге, и река Генденштрома, и огромное кладбище мамонтов. Отсюда мы снимали на ледокольный пароход «Леваневский» группу ученых в 1960 году. И отсюда сперли мамонтовый бивень. Вернее, кончик бивня. Но весил он добрый пуд. Было решено распилить доисторическую кость на две половинки. Одну — Георгию Даниеля, другую — мне. Пилили стальной ножовкой. Ужасно воняло жженой костью. Углубились в мамонта за день работы сантиметра на полтора. Плюнули. И бивень целиком забрал себе я, замазав след от ножовки жеваным черным хлебом. Бивень долго украшал мою жизнь, вися на самом видном месте дома. Но при каждой встрече знаменитый режиссер продолжал требовать свою половину. Пришлось плюнуть вторично, то есть отдать кость другу.

Потом случайно узнал из какой-то газеты, что на международных аукционах килограмм мамонтового бивня стоит триста долларов. Целый мерзлый труп — миллион долларов, целый скелет — сто тысяч. Жалко, что нам не пришлось участвовать ни в одном международном аукционе... Нынче вспомнилось, как тускло горели огни костров на мерзлой Земле Бунге в устье реки Генденшторма. И как шипел снег под горящим плавником костров...

Рассказ об этих местах я назвал «Огни на мерзлых скалах».

И свои и чужие книги помню лучше натуральной жизни.

И не спится, и от расшифровки писем поручика Николаича устал. Так и тянет к окну каюты, чтобы посмотреть на лед, погадать: а какой будет на моей вахте? И вот откручиваешь барашки, отдраиваешь окно, становишься коленками на стол (очень жестко коленкам! и какие это ироды ставят на коленки детишек? самих бы поставить! и чтобы под иродами пол содрогался!), высовываешься, глядишь, ледяной ветер слезит глаза (эй, парень! не простудись, хватит пялиться! чего ж ты голым высовываешься? видишь, твои кальсоны уже ветром надулись...), в сумрачной мгле не видно ни дна ни крыши...

В правом борту, в районе второго трюма, есть какое-то подлое местечко,— как в него ткнется льдинка, так раздается неприятное железное звяко-чмокание. Вероятно, обшивка прогибается под напором, а затем выпрямляется.

Отдельные льдины до четырех метров.

В десять вечера уже густые сумерки. Тю-тю полярному дню.

Плюс к сумеркам, конечно, туман.

И три огня в тумане
Над черной полыней...

Вышли из льдов. И — дождь лупит со снегом, и штормить сразу начинается, течет по стеклам серая муть. И опять в дрейф пришлось лечь: ждем «Электросталь», которая передает на ледокол беременную женщину. Митрофан бормочет: «Им хорошо — у них есть кого береминить».

О глупом упрямстве.

Давным-давно знаю, что, выписывая из чужих книг цитаты или пересказывая что-то чужое своими словами, следует указать источник, ибо у тебя рано или поздно потребуют точной ссылки. Но, выписывая массу всякого с курсантских еще времен, я упрямо не фиксирую ничего, кроме фамилии автора. Это вынуждает потом тратить уйму времени на поиски, но и сегодня не могу заставить себя поставить под цитатой название книги, номер журнала, страницу.

Привычка полагаться на память? Лень?

Мама рассказывала, что я более всего выводил ее из себя, когда на какое-нибудь замечание говорил: «На-

щлась такая!» Причем я начал употреблять это выражение в нежном совсем возрасте — около пяти лет. Вероятно, если бы на месте мамы был я, то мой сын и до шести лет не дожил. Правда, вкус крапивы я хорошо помню.

Это вспомнилось после странного сна.

Я на кладбище. Мать лежит поверх могилы. Я знаю, что она должна вскоре проснуться, ожить, но срок этому еще не пришел. У меня какие-то таблетки, которые я должен буду дать ей. И вот до срока еще вдруг вижу, что пальцы ее ног (в тапочках) начинают пошевеливаться. Вижу ее лицо с закрытыми глазами, мертвое, но на нем начинает проступать какое-то строго-требовательное живое выражение: мол, чего медлишь? давай таблетку... Не помню, сунул ей в рот или нет таблетку, но точно только то, что ощущал тихую, ласковую, удивленную, быть может, но полностью лишенную какого бы то ни было страха или ужаса радость. И мысль: а ведь такси я еще не заказал, как повезу ее отсюда? — и проснулся. Было около пяти утра, пасмурно. Наяву тоже не было никакого неприятного чувства — наоборот, было приятно и просветленно оттого, что во сне не было страха.

Детских моих фотографий сохранилось штуки три.

Глядя на них, я отчетливо понимаю, что мама не была выдающимся психологом. Одевала она нас в конце тридцатых годов в коротенькие штанишки, бархатные курточки и беретки. Боже, сколько тумачков получил я за такую анахроническую униформу! И как крепко прилипла к моей веснушчатой роже кличка «гогочка»!

Неужели мать не могла понять, на какие муки обрекает нас?

Или это делалось наперекор бедности?

Поручика Искровой роты мама не дождалась. Вышла за отца в апреле 1917 года. Ей было двадцать три, отцу двадцать четыре.

«Здравствуйте, далекая и близкая царевна, греза и зоренька моя! Вот уж действительно: с добрым утром! Сейчас еще только 6 с четвертью утра, яркий солнечный блеск и покой. Так легко дышать после вчерашней бури в душной хате. Ах, Любанька — простите, вырвалось это слово, которое я так люблю, потому что оно Ваше. Все мои

думы и желания направлены только к одному — Вашему счастью. Мне вспоминается песня, стихи:

Море шумело, море гудело,
Волны сливались с волной,—
Сердце рыдало, сердце все ждало:
Милая, будь же со мной.

Море дробило утесы и скалы —
Сердце дробило себя.
Море в пучину других увлекало —
Сердце же гибло, любя.

Море утихло и блещет, лазурью,
Радостен моря привет.
В сердце по-прежнему вопли и буря,
Сердцу влюбленному отдыха нет.

Да, именно сердцу влюбленному отдыха нет, да разве ему нужен он? Не в этом ли весь смысл и счастье любви, чтобы самоотверженно, с восторгом, со счастливою улыбкой отдавать любимому человеку все свои помыслы, желания, труд, здоровье, жизнь и видеть отраду только в том, чтобы зреть хоть проблески счастья у любимого человека и черпать новые силы для неустанной работы, украшать ему путь, целуя следы его ног, и плакать от счастья, что ты можешь и любить и принадлежать ему. Ваш Николаич».

А теперь опять из тех ситуаций, которые не сразу выдумает и бойкий беллетрист.

Май 1942 года.

Эшелон с блокадниками.

Мать — страшная старуха. Такой рисуют саму смерть. Только у покойников не бывает голодной дизентерии, а мать уже ничего не ест. Раньше не ела — нам все отдавала. Теперь появляется какая-то еда, но мать лежит на боковой полке пассажирского вагона и есть уже не может, ее то и дело несет кровью.

Вагон с офицерами-фронтовиками: едут в тыл в академию, здоровяки, битком набитые радостной жизнью, пьют, едят, играют в карты, спят со смачным храпом — вырвались из окопов, целые, с чистой совестью, впереди несколько месяцев тыла; вонючая старуха им, ясное дело, мешает. И вылечили!

Сел к ней в изголовье здоровенный танкист:

— Бабка, ты сейчас не рыпайся! Открывай рот! Ну! Вася, помоги!

Взяли и влили в нее полстакана чистого спирта. Покорчило ее минуточку-другую, потом вырубилась. А проснулась — понос прекратился.

Везла же нас мать к Николаичу в город Фрунзе, где он проживал после положенной десятилетней отсидки с женой и двумя сыновьями. Они приняли нашу троицу на свои шеи и поселили во вполне по тем временам приличном са-райчике-флигелечке.

Так закончился этот платонический роман.

Еще первого сентября штатный капитан «Комилеса» Аркадий Сергеевич Конышев вызвал меня на связь с «Индигой» и сообщил о смерти Константина Симонова.

«Комилес» одиноко печалился в двух милях по носу посреди черной полыньи.

В 1975 году на этом «Комилесе» Константин Михайлович с женой и дочерью проплыли Арктику. Здесь он, верно, написал:

Кто в будущее двинулся, держись,
Взад и вперед.
Взад и вперед до пота.
Порой подумаешь:
Вся наша жизнь —
Сплошная ледокольная работа.

Да, написать такие строчки мог только тот поэт, который прошел Северным морским путем.

Вспомнилось, как в день пятидесятилетия с юбилейной трибуны Симонов сказал:

— Меня чуть не погубила тщеславно-неумеренная общественная деятельность на ниве литературы.

И надо заметить, что он сумел осадить себя круто:

Неужто под конец так важно:
Где три аршина вам дадут?
На том ли, знаменитом, тесном,
Где клином тот и этот свет,
Где требуются, как известно,
Звонки и письма в Моссовет?
Всем, кто любил нас, так некстати
Тот бой, за смертью по пятам!..

И близкие, и далекие смерти, когда находишься в море, переживаются как-то отчетливее и масштабнее, нежели когда ты на земле.

— Хочешь, прочитаю, что он написал в памятный журнал, когда мы его высаживали в Певеке?— спросил Конышев.

— Конечно, Аркаша,— сказал я.

И он прочитал:

— «Мне и моим товарищам по путешествию на «Комилесе», оказавшимся вашими гостями, хочется сердечно поблагодарить весь экипаж, весь ваш дружный коллектив за внимание, заботу, дружеское теплое отношение к трем сухопутным людям, затесавшимся в ваш морской монастырь. Я с большим интересом и вниманием наблюдал вашу непростую и нелегкую работу в этом северном рейсе. И был рад нашим встречам и беседам на литературные и исторические темы, беседам, как мне кажется, взаимно искренним и взаимно полезным. Морского дела я, правда, еще за один рейс не изучил, но ничего, я молодой, я еще исправлюсь! А вам всем доброго плавания и счастливых встреч с близкими! Шестнадцатого августа тысяча девятьсот семьдесят пятого года, борт «Комилеса», в виду Певека. Константин Симонов». Все понял?

— Да, Аркаша, спасибо.

— Тогда до связи.

— До связи.

Печатаая дневники, К. М. Симонов подчеркивает, что, прочитывая записи, он неоднократно испытывал желание задним числом вторгнуться в старый текст. Но удержался от дьявольского соблазна. И даже, чтобы побороть беса, чтобы что-то не «улучшить» в записях военных лет, чтобы решительно отрезать себе все пути для этого, Симонов, перепечатав дневник, один экземпляр сразу же заклеивал в пакет и сдавал в архив, как документ-первоисточник.

Мне бы его волю в самоограничении!

Документ и поэтичность видения — чертовски сложная штука.

Документ сохраняется на века. А поэтичность видения... Как быстро убивает ее старение и шаблон жизни...

Четвертое сентября, у острова Новая Сибирь. Из судового журнала:

«В 04.25 подошел «Ермак», обколел, последовали за ним. За нами в дистанции 1 кабельтова т/х «Алатырьлес». Сильные удары о льдины, толщина льдин до трех метров,

лед двухгодовалый. 16.00. По данным «Ермака», широта 73° 44' сев., долгота 152° 26' вост. Следуем переменными ходами и курсами. Сильные удары, содрогание корпуса и механизмов. Ежечасно производим замер льял. Водотечности не обнаружено. 18.37. В связи с тяжелой обстановкой «Ермак» принял решение проводить суда по одному. Т/х «Алатырьлес» застопорил машины и остался в дрейфе. Мы последовали за ледоколом. Толщина отдельных льдин до четырех метров. 22.00. Ледокол приказал стопорить машины и ждать его возвращения, сам ушел за «Алатырьлесом».

Заметил: когда В. В. рядом, я чаще дергаю телеграф и, бывает, сбиваюсь с ритма. Два раза уже так случалось. Случайная случайность? Или подкорка отвлекается на его присутствие, и потому появляется неточность поведения и слабнет сосредоточенность?

После вахты читал Любищева. Он горит желанием заставить всех непрерывно думать о времени. Но поступать так значит непрерывно думать о смерти, что для здорового, нормального человека противоестественно. Нельзя же вовсе скидывать со счетов: «Счастливые часы не наблюдают!»

Честно говоря, Митрофан Митрофанович начинает меня тревожить. Он стойко копирует повадку старшего помощника теплохода «Державино» Арнольда Тимофеевича Федорова — царствие ему небесное, — то есть при каждом удобном и неудобном случае сматывает с мостика в штурманскую рубку, чтобы определяться по радиопеленгам. А на кой черт мне его определение, ежели рядом ледокол, который в любой момент даст точные координаты по спутниковой аппаратуре. Нам следует судно сквозь лед вести, для этого необходимо смотреть с обоих крыльев вперед по курсу. Пока никаких замечаний Митрофану еще не делал.

Москва в «Последних известиях» сообщила, что в прошлую арктическую навигацию к настоящему моменту 50 % груза уже были доставлены на места, а сегодня — только 17 %. Упомянули «Ермака», посочувствовали ему, бедняге. А он в данный вот момент едет прямо чистым нордом, ведя нас куда-то к Северному полюсу, а не на восток. И все равно хорошо, что мы не стоим, а куда-то едем, — пусть хоть к полюсу. Теперь мы с В. В. перестали трепать друг другу нервы шеш-бешем. Опасная игра.

Митрофан запрещает себе даже смотреть на то, как другие играют. У него в прошлом с азартными играми связано что-то неприятное.

Может быть, я и по натуре игрок? Если так, то появляется хоть какое-то объяснение тому, почему меня опять и опять тянет сюда плавать.

Или я просто привязчивый? Так бог устроил. Занесло на моря — я к морю привязался, — судьба! А на землю занесло бы — к плугу привязался, крестьянином бы стал. И уверен — хорошим, потому что могу учиться. Правда, типично по-русски: на ошибках. Лоб разобью — перекрещусь. И второй раз на том же месте редко спотыкаюсь. Но преодолеваешь лень к учебе, только если находишься в действии и несешь ответственность за людей и материальные ценности. Вообще-то хвастаться здесь нечем. Еще железобетонный Бисмарк отметил, что все нормальные люди учатся на ошибках, но только дураки — на собственных.

Пятое сентября, у острова Новая Сибирь.

00.00. В дрейфе, в черной ночи, в черной полынье, среди белеющих ледяных призраков. «Ермак» завел нас так далеко к норду, что на картах нет глубин — никто их здесь еще не мерил. Шлепаем по белым пятнам. Лед жестко-металлический. Здесь уж действительно не просто Север, но Арктика. Опухают и ноют десны.

03.10. С правого борта прошел обкалывающим курсом ледокол, за ним следует «Алатырьлес». Дали полный вперед, начали разворачиваться в канал за прошедшими судами.

03.40. Уткнулись в крупный торос, потеряли движение, предупредили ледокол. Ледокол ушел вперед с «Алатырьлесом», приказав нам работать самым малым вперед.

12.40. «Ермак» вернулся, начал подходить к нашему носу кормой, чтобы подать короткий буксир.

13.30. Закрепили усы, положив 37 шлагов сизальского конца (трехдюймового) в бензель. У бензеля выставлена вахта с топором.

13.35. Ледокол закончил обтяжку усов своей лебедкой. Начали движение за ним вплотную.

13.50. Застряли во льду вместе с ледоколом, который не может набрать инерцию.

14.10. Начали устойчивое движение. Ограничили перекладку руля до 15°. Судно испытывает удары, частые содрогания корпуса.

Несмотря на содрогания, сотрясения, стуки и удары, ехать на усах за ледоколом было все-таки лучше самостоятельного вливания среди льдин в кромешном тумане. И даже возникало такое паразитствующее ощущение, будто ты в «Стреле» едешь, а не выбираешься из пролива Санникова в Восточно-Сибирское море.

Шестое сентября. 04.00. Стали в ожидании улучшения видимости. Туман, бусова, не видно полубака. Поднять вертолет ледокол не может. По данным «Ермака», широта $72^{\circ} 17'$ норд, долгота $156^{\circ} 46'$ ост.

Арктическое терпение в ожиданиях имеет особую природу. Ежели, например, я жду трамвай № 3 (угол проспекта Щорса и улицы Ленина в Ленинграде), то уже через какой-нибудь жалкий час ненавижу все мироздание вместе с мироустройством и подпрыгиваю от желания набить кому-нибудь из горсовета морду. А ежели еще вместо «тройки» наконец прокатит без остановки какой-нибудь заблудший или учебный трам, то у меня на губах серая, а может быть, и кровавая пена выступает. В Арктике же для бывалого человека дело другое. Ты ведь заранее знаешь, что вся навигация там — это ожидание и терпение: ждешь льда и чистой воды, тумана и хорошей видимости, ледокола или ледового разведчика, — то есть «ожидание у моря погоды» в Арктике есть состояние нормальное. И чем меньше будешь внутренне торопиться, дергаться и суетиться перед клиентом, тем дальше окажешься.

Но этот наш рейс по тягостности и простоям оказывается чемпионским. И попадись мне сейчас на узкой дорожке хоть сам хозяин здешних мест — белый мишка, я бы и ему морду расквасил.

Высшее руководство нашего орденоносного пароходства помогает в преодолении по мере сил:

РАДИО ВСЕМ СУДАМ БМП 5—12 СЕНТЯБРЯ
ПРОСИМ ПРОВЕСТИ ЭТОТ ПЕРИОД ПОРТУ ЗАХОДА
УЧИТЫВАЯ МЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЕГА ЗПТ
ХОДЬБЫ ЗАЧЕТ ВСЕСОЮЗНОГО ДНЯ БЕГУНА ТЧК
ИСПОЛНЕНИЕ СООБЩИТЕ СРОК 15 СЕНТЯБРЯ
УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ = ЧМ
ХАРЧЕНКО ОПМ СКОПИНЦЕВ ОКПМ КОСОВСКИЙ.

Знаете, кто эти товарищи, которые рекомендуют нам оздоровительный бег в районе Северного полюса? ЧМ — начальник пароходства, ОПМ — секретарь парткома,

ОКПМ — председатель бассейнового комитета профсоюзов.

И вот такой анекдотической чушью высшие начальники загружают эфир, через который здесь с аварийной-то радиogramмой пробиться трудно! Сейчас, товарищи дорогие, побежим трусцой в зачет Всесоюзного дня бегуна.

А почему ночи напролет мы лежим в дрейфе? Потому что ледоколы не бегуны и переть вслепую в черный арктический свет не могут, ибо верные поводыри — вертолеты МИ-2, которые стоят на ледоколах, — ночью не работают: нет специальной навигационной аппаратуры; нет достаточно мощных вертолетных светильников. А без вертолета у ледокола и каравана нет возможности избежать ледовых мешков и лабиринтов — радар тут часто бессилен и возможность быстрого маневра сведена к нулю, а каждый час падает температура, и каждая секунда идет уже на вес платины.

Шестое сентября, у острова Новая Сибирь.

05.02. Начали движение, за нами в двух кабельтовых самостоятельно следует «Алатырьлес».

07.55. Отдали буксир с ледокола. Получили указание «Ермака» следовать генеральным курсом 150° по десятиметровой изобате Восточно-Сибирского моря. На пути ожидается лед три-четыре балла, местами до восьми. С десятиметровой изобаты выходить на пролив Мелехова. Дальнейшие рекомендации запрашивать у Певека.

Вам давно уже смертельно скучно, а, читатель? Но вы же и бросить это чтиво можете в любую секунду! Да если даже и все подряд читать будете, то через полчаса выйдете на чистую страницу и захлопнете книгу. А вы попробуйте вот такое не читать, а переживать въяве. И два три месяца. И без антрактов. Это и есть Арктика. Монотонность.

Через десять минут после выхода в полынью и прощания с ледоколом дали полный ход. Полынья впереди была широкая — мили полторы, слабоизвилистая, ее направление совпадало с генеральным курсом. Погода была прекрасная — штиль, солнце.

Я позвонил В. В. и доложил, что мы вырвались на свободу.

Он поздравил меня, заметив, что я давно уже только тем и занимаюсь, что вывожу моряков на чистую воду. Здесь содержалась некоторая подковырка, связанная

с моими писаниями про некоторые отрицательные моменты морской жизни. Подковырку я покорно проглотил, а за поздравление поблагодарил.

В. В., назвав мою вахту «гвардейской», попросил поздравить с выходом на чистую воду весь ее состав — и штурманов, и матросов, и механиков, и мотористов.

Я с удовольствием выполнил его поручение.

Сразу в рубке появились и старший механик, и помполит.

Настроение у мужчин было жеребьяче. Даже Митрофан чего-то сострил — гомон, смех, — обычное оживление после спада напряжения.

А по уставу и гомон и смех в рубке вообще-то строго запрещены. Но было невозможно затыкать глотки людям. Тем временем мы шли полным ходом по полынье. Она, как я говорил, была широкая, вполне безопасная для движения полным ходом. Но все равно я — тут всеми богами клянусь! — несколько раз и очень строго сказал себе: «Осторожно, Витя! Не ликуй, Витя! Осторожно! Внимательно! Не распускайся!» и действительно не распускал себя, не прислушивался даже к гомону.

Впереди в полынье плавала на самой ее середине могучая льдина, не льдина даже, а осколок ледяного поля. С обеих ее сторон оставались абсолютно свободные проходы шириной кабельтова по три — ширина пролива Сплитских Врат в Югославии, тех самых, где гробанулись Ребристый и Таренков. Имея полную свободу маневра, ход сбавлять я не стал, однако еще раз повторил про себя: «Осторожно, Витя! Сейчас особо осторожно!» После чего скомандовал:

— Руль право десять!

В этот момент льдина была прямо на курсе, и я решил оставлять ее с левого борта не менее чем в кабельтове, ибо опасался поддонов — подводных продолжений этой мощной отдельно плавающей льдины.

В этот же момент в рубке грохнул очередной взрыв хохота, и я оглянулся на рулевого, ибо не услышал его обязательного: «Есть руль право десять!» Рулевой встретил мой взгляд и успокоительно кивнул мне: «Мол, вас понял!»

Судно продолжало лететь прямо на льдину, а затем начало отклоняться влево. Я взглянул на указатель поворота руля и покрылся холодным потом: руль стоял не право десять, а лево десять!

— Право на борт!!!— заорал я.— Как идете?! С ума сошли!!!

И вот в наступившей мертвой тишине потянулись те самые мертвые секунды, которые знакомы всем судоводителям.

Рулевой скатал руль на правый борт, но судно не кенгуру. Судно уже набрало левую угловую скорость и, медленно погасив ее, стало так же медленно набирать правую угловую скорость. До льдины было метров триста. Никакой дачей полного заднего хода я не смог бы погасить или даже притормозить инерцию полного переднего хода, чтобы уменьшить последствия. Уповать оставалось только на то, что именно полный ход даст возможность отвернуть.

Мы промчались не в кабельтове от льдины, а метрах в десяти. Волна от судна тяжело плюхнула в нее, здоровенный кусок отвалился и сразу перевернулся.

Если бы у этой льдины был поддон, то мы в точности повторили бы судьбу «Брянсклеса», который в подобной ситуации прорезал себе чуть не весь корпус и затонул через пять минут.

Вот вам и приключение. Только возле «Брянсклеса» был ледокол, а возле нас уже никого не было. Ледокол подскочил к «Брянсклесу» и вдвинул ему свою корму в борт — все люди успели спастись.

В нашем случае не спасся бы никто, ибо после удара о льдину нас отбросило бы на середину полыньи, где мы бы и булькнули. Ни о спуске шлюпок, ни о плавании в одиночном порядке речи не могло и идти.

Конечно, рулевой отлично видел льдину на курсе, конечно, он давно готовился к отвороту от нее, но, вероятно, привыкнув к той самостоятельности, которую мы не можем не предоставить рулевому высокого класса при движении во льдах, он для себя решил, что эту льдину будет огибать слева. Хохот же в рубке не дал ему возможности услышать мою команду, но он уверен был, что именно ЭТО я ему и скомандовал.

Вот тебе и: «Осторожно, Витя! Сейчас особо осторожно!»

И сейчас, когда читаю все это в тишине и неподвижности городской комнаты, как-то так стало мутить, и пришлось закурить.

Но занятно, что ругать рулевого я не стал, сказал только:

— Что же ты, братец?

В молодости я обрушил бы на него сто этажей ругани — хотя бы для собственной разрядки и успокоения.

Жуткая, но прекрасная луна с кормы. Сперва мешало зарево от нее, пробивающее тучи: рассеянный, привиденческий свет — плохо при таком освещении различать льдины, путаешь сало с гладким полем. Потом включилась в создание помех заря на востоке — это уже около четырех утра.

Казалось, никогда не кончится лавировка среди льдов и никогда не спадет напряжение.

За вахту тридцать миль.

После четырехчасовой работы синяки под глазами, наваленные биноклем.

Первым из Медвежьих опознали остров Крестовский, что очень обрадовало В. В. Он счел это верным предзнаменованием скорого и благополучного прихода в порт назначения. Ведь Крестовский его малая родина. А моя малая и милейшая родина — Адмиралтейский канал, дом № 9, напротив первого мостика на остров Новая Голландия. Рядом Нева и сумасшедший дом на Пряжке, дом Блока и Ксениевский женский институт для девиц привилегированного сословия, построенный эклектиком Штакеншнейдером... Кабы я родился в другом месте, то был бы иным человеком. Конечно, я был бы другим человеком, если бы не родился в тех ленинградских местах, которые никогда не попадают на видовые открытки, где все еще много сырой тишины, запаха грязной воды, где берега каналов не забраны гранитом набережных, а желтеют одуванчиками просто по земляным склонам. Старые тополя доживают тут последние годы, разглядывая свои отражения в неподвижной воде, и стариковски вздрагивают от криков мальчишек, вылавливающих из канала неосторожную кошку... За дальними крышами с нашего третьего этажа были видны верхушки кранов на судостроительных верфях; краны бесшумно двигались среди низких облаков, а вечерами на них загорались красные пронзительные огоньки. Там мостовые горбились морщинистыми булыжниками. И булыжники по ночам вспоминали стук ломовых телег, грубые подковы битюгов, изящный шелест тонких шин извозчичьих пролеток. Там во дворах лежало много дров, поленницы были обиты жестью и досками. И когда осенью дули ветры с залива и черная вода выпирала из каналов, дрова всплывали и грудились

в подворотнях, и жильцам было о чем поспорить, потому что все дрова здорово схожи и сразу с ними не разберешься...

Получили рекомендованные точки от ледокола «Владивосток». Шли по точкам до 15.04, когда встретили «Владивосток» и стали под его проводку для форсирования перемычки многолетнего льда сплоченностью девятьдесят баллов. В 16.00 ледокол закончил проводку. Вышли на чистую воду и следуем самостоятельно по рекомендованным точкам, «соблюдая повышенную осторожность»...

Вот я и сижу в лоцманской каюте — наблюдаю. И читаю какой-то старый номер «За рубежом». И вынужден отметить тот неприятный факт, что я нелепый и наивный болван, ибо в прошлой книге поселил на острове Вознесения одних лишь черепах, на тему которых всласть пофилософствовал. А оказывается, что на острове Вознесения находится крупнейшая военно-морская база США Уайдуэйк. Сюда американцы завезли все — от ракет до столовых печей, ночных биноклей и комплектов питания «для длительного патрулирования». Янки завезли сюда 4700 тонн аэродромного покрытия для действия «Харриеров» с земли и устройства для обнаружения подводных лодок.

А я объявил этот остров безлюдным и населил его только мирными черепахами!

И ведь прошли милях в двадцати от Вознесения... Как мы идеализируем планету и ее укромные уголки, приводя ее и их к стивенсоновским книжкам... Да, многовато дров я наломал в «Третьем лишнем». А все Ямкин виноват.

У правды есть свои сроки. И если правда долго идет к людям, то и она, и люди многое теряют.

Объясняться в любви к своему народу, рыдать у него на груди от своей любви довольно простое дело. Но относиться требовательно, судить строго и даже беспощадно — для этого нужно очень большое внутреннее напряжение, преодоление самого себя: попробуйте написать про свою мать что-нибудь плохое. Если попробуете, то поймете, как трудно судить и свой народ.

И здесь я всегда вспоминаю Салтыкова.

КОЛЫМА

От морей и от гор
так и веет веками...

Ярослав Смеляков

Хорошо этак сдать тихо-мирно вахту, раздеться в каюте до исподнего, сесть на койку, упереть ноги в ручку кресла и бездумно пялиться в иллюминатор, где медленно рассветает и далекие льды у горизонта делаются сине-голубыми. И все время хранить в подсознании упоительную мысль, что сейчас ДРУГОЙ уродуется на мосту, а ты через пяток минут завалишься баиньки безо всяких забот, ибо никакие внутрисудовые дразги не входят в твою компетенцию. Хорошо, когда на вашей вахте в льялах воды не прибавилось и ваш старший напарник вами доволен и подарил вам темные иностранные очки с усиливающими линзами...

Надо будет отдарить В. В. английским свистком, хотя он мне и дорог, как память Вити Дивляша.

По чистой воде прошли мыс Большой Баранов. Судно тяжело спало дневным, послеобеденным, адмиральским сном.

Работали обычные, нормальные дневные вахты чистой воды.

И вдруг меня будит Гангстер, сообщает, что мастер собирает на срочное совещание командиров.

Собрались.

Когда мужчины поднимаются после тяжелого дневного сна и бессонной ночи, морды их выглядят весьма по-бабски, все конкретные черты мужской морды расплываются: волевые подбородки притупляются, суровые глаза тускнеют, резкие скулы мягчеют, волосы залежало дыбятся; ну, про настроение, которое вообще-то есть еще и следствия характера, говорить нечего, — дрянное.

Но я люблю опухших после тяжелого дневного сна мужчин: в эти минуты они меньше врут и притворяются, они невинны и естественны — бери их, голубчиков, голыми руками.

Мастер информирует, что к нам обратились с просьбой (!) рассмотреть вопрос о возможности захода в порт Зеленый Мыс (бывшие Кресты Колымские): обстановка

требует переадресовки части груза туда, хотя в Мурманске мы грузились целиком только на Певек. И есть еще неприятный нюанс — маленькие глубины на речном баре.

— Что думают командиры? — интересуется В. В. — Прошу только не забывать о названии нашего с вами драндулета. Все-таки мы «Колымалес», а груз ждут колымчане.

«Раз надо — значит, надо», — так думают опухшие командиры, и начинается коллективный подсчет, сколько следует откатать питьевой воды за борт, сколько мытьевой и что делать с балластом...

Выясняется, что даже после снятия палубных бочек с капустой и помидорами на речные баржи у Амбарчика осадка кормой на метр двадцать сантиметров будет больше глубины на баре.

— Упрямся — разберемся, — решает В. В.

И теплоход «Колымалес» угрюмо, но в то же время лихо описывает циркуляцию, и мыс Большой Баранов оказывается у нас по левому борту. Правда, мыс не видно — туман.

На штилевой воде спят утки. Испугавшись судна, они разбегаются в стороны из-под самого форштевня, не взлетая, быстро перебирая лапами и судорожно взмахивая крыльями.

В тумане машинные звуки глохнут, и судно движется почти немым, бесплотным привидением — вот утки и не успевают вовремя испугаться, набрать потребный разгон и взлететь. За разбегающимися утками остаются на густой от холода воде вспененные дорожки...

Напяливаем ватники и выходим с капитаном, старпомом и Митрофаном на палубу, чтобы лично упереться и разобраться.

Трюма открыты, стальные крышки поднялись гармошкой. От ящиков с картофелем — прелым теплом. Ящики выложены по самый верх комингсов. На первый взгляд тара кажется достаточно крепкой для ручной, поштучной переправы ящиков в носовой трюм. Это надо делать, чтобы поднять корму. Но Митрофан настроен скептически:

— Развалятся ящички на дощечки, товар перепортит — и все прахом.

Я залез в трюм, поплясал на ящиках, досочки глухо отдавали под каблуками. Вспомнились крюки английских докеров, и я предложил таскать ящики не на руках, а волоком крюками.

(Почему еще мне нравится плавать? А потому, что я люблю эту работу. А любишь только ту работу, которую знаешь. Коли не знаешь, — возненавидишь даже дегустацию королевских вин.)

Старпом мгновенно подхватил идею, сообщил, что в рефрижераторной камере у нас полно свободных мясных крюков для подвески туш. К ним сообразили привязать веревки. И тогда приняли окончательное решение на аврал. В. В. приказал собирать экипаж в столовую команду.

Понимаете, объясняет мне, политика тут тонкая должна быть. Тут главный наш принцип «упремся — разберемся» не подходит. Надо ведь около тысячи ящиков в нос тащить. Я, говорит, сейчас торжественно выступлю перед экипажем с зажигательной речью. Обращусь к рядовой толпе с политически обдуманым предложением...

Но истинная речь капитана отличалась чрезвычайной алогичностью и аполитичностью.

— Товарищи, — сказал он, опершись на стол и поставив одно колено на стул. — Дела наши обстоят хреново, но приказывать права не имею. На баре четыре метра сорок пять сантиметров воды, а мы сидим кормой пять метров тридцать. Чтобы выйти на нужную осадку, надо перешвырять тыщонку ящиков картофеля с кормы в нос. Нужны, конечно, только добровольцы. Но коли вы сами не захотите, то мне ничего не остается, как вам приказать, а там воля ваша — жалуйтесь! Я кончил. Какие будут предложения?

Пауза получилась больше минуты. Экипаж размышлял сосредоточенно, — не привыкли люди в наше время к авралам.

— Ну хорошо, — сказал В. В. — Молчание — знак согласия. Добровольцам разделиться на две группы и добровольно таскать по обоим бортам.

В умении подчинять и подчиняться есть своя красота.

На аврал вышли все, включая и самого Василия Васильевича Миронова. Он облачился в синий комбинезон — подарок гамбургских докеров. Над меховым воротом комбинезона красиво дымился его седой чубчик — шапку, как и перчатки, В. В. не надевает. Мне он приказал править якорную вахту.

Старший механик явился на перегрузку картофеля одетым с таким заграничным шиком, что был бы уместнее где-нибудь не на старом лесовозе, а на туристическом лайнере, проплывающем под Магеллановыми облаками возле мыса Доброй Надежды.

Я остался один в рулевой рубке.

В колымской черной ночи сверкали и переливались кучками бриллиантов на рейде три чужих судна. Несколько одиноких льдин с любопытством поглядывали на наш картофельный аврал, покачиваясь на едва заметной зыби Восточно-Сибирского моря.

Первые пять минут вахты я тщетно искал на пультах переключатель якорных огней. Оказалось, что на «Колымалесе» якорные огни включаются не из рубки, а прямо с палубы у носового штага и кормового флагштока.

По Москве было два часа дня, у нас — десять вечера.

Мясные крюки сработали отлично. Ящики волоки до спардека, поднимали на него, протаскивали до носовой палубы, спускали на нее по дощатым слегам и опять тащили крюками к первому трюму. Шкрябать краску со стальной палубы и на носу, и в корме, и на спардеке после такой экзекуции нужды не было — ящики ее довели до блеска. Сперва морячки таскали картошку в охотку, бегом. Сухие ящики таскать еще куда ни шло, а вот мокрые — коэффициент трения большой. К концу второго часа кое-кого стало покачивать самым натуральным образом.

Для поднятия рабочего настроения врубили на палубу радио, и в черной колымской ночи зазвучало: «Благодарю вас, леса, долины, горы...»

Наблюдая из рубки за трудовыми подвигами экипажа «Колымалеса», я вспоминал сразу двух художников. Рисунок Льва Канторовича в книге «Четыре тысячи миль на „Сибирякове“». Аварийная перегрузка угля — колено-преклоненная, согбенная, нелепая фигура: «К концу смены радист Кренкель упал под тяжестью мешка, но наотрез отказался от перехода на более легкую работу».

Другой художник — Ван-Гог. «Прогулка заключенных».

Кроме художественных ассоциаций, среди вахтенных дел и делишек вдруг обнаружил, что у судна крен на левый борт в один градус. Это приятное было открытие, ибо крен увеличивает осадку — двенадцать сантиметров на один градус. А когда мы замеряли осадку, то крена не учили.

Время от времени я выходил на крыло, и тогда в лицо дышал могильный холод — северный ветер приносил дыхание ледовой кромки.

Треугольники могучих мачт были высвечены грузовыми люстрами и сильными огнями палубного освещения.

Я смотрел на согбенные фигуры, влекущие по ржавой палубе пятидесятикилограммовые ящики с полугнилой картошкой при помощи мясных крюков, и щелкал секундомером. Выходило, что за десять минут с кормы в нос перебрасывалось тридцать восемь ящиков.

В середине аврала мне стало тревожно за сердце В. В., и я свистнул ему и попросил подняться якобы по делу. Показал крен, попросил больше не надрываться: не тот возраст. Он пробурчал, что такие авралы полезны — сплывают экипаж. Я предложил выгнать на палубу и наших дам: пускай собирают в мешки россыпь — пригодится. Но капитан с неожиданной для жителя страны развитого социализма логикой сказал, что россыпь ночная вахта без больших трудов перекидает за борт, так как сдавать груз надо по счету ящиков, а не по картофельному весу. Сейчас же дамы готовят для авральщиков внеплановый ужин и заваривают грузинский чай.

Он покурил со мной и опять ушел к трудящейся массе. Все стихло в рубке, и мне показалось, что наш пароход как бы прислушивается к той суете, которую развели на нем людишки-муравьи: прислушивается сквозь сон, а сам подергивает стальной кожей, как это делают спящие лошади.

И Гангстер, и Октавиан отработали аврал с четкостью автоматов, явно соревнуясь.

За послеавральным перекусом выяснилось, что при буксировке из ящиков раздавались взвизги, — там полно мышей. Крысы же визуально обнаружены не были.

С рассветом прибыл лоцман, прогрели двигатель, Октавиана загнали самого в машину, затаили дыхание и пошли на штурм колымского бара.

— Держать сто восемьдесят два!

— Есть сто восемьдесят два!

— Шар долой!

— Что, забыли якорный шар спустить?

— Ага! Боцман после аврала еще не очухался.

— Донные кингстоны перекрыть! На бортовые перейти!

— Уже перешли!

— Значит, опытные вы уже люди.

— Сколько человек в Амбарчике живет?

— Пять.

— Туман под берегом?

— Нет, это не туман, снежный заряд. Рано в этом году снег.

— Но берега-то у вас еще в ржавчине! (На колымских скалах мхи, и потому кажется, что поверх скал натянута истертая бычья шкура.)

— Видимость падает!

— Ничего, я и без видимости курс чувствую. Самый полный вперед!

— Есть самый полный!

— Течение в правый борт работает! И откуда оно тут взялось?

— Черт его знает. Хуже, что у вас компас застывается.

— Не замечали...

— Потянули за собой водичку, потянули...

— Сарай за мысом видите? Еще в семидесятые годы там зек жил робинзоном. Как-то был у него в гостях. За рыбой ездили. Году в шестьдесят пятом.

— А правее сарайчика у него коптильня?

— Нет, левее и выше сарая у него пещера в скале была. Он уже совсем одичал, обросший. Спрашиваю: «За что тебя? Сколько дали? Что натворил?» Ничего не объясняет, только: «За дело!» Чифирь пил, нас угостил — невозможно глоток сделать. Дали ему спирта, и он сразу заплакал,— это вспоминал В. В.

— Ну, не совсем так,— деликатно поправил лоцман.— Он здесь продолжал жить добровольно, уже получив в пятьдесят шестом вольную, фамилия Бодрин, бывший московский конферансье, два сына — полковники авиации, оба отказались в свое время от отца, чтобы не губить себе карьеры; он не обиделся, помогал семье деньгами, которые выручал за рыбу и зверя; летом расхаживал тут босым и в китайском толстом белье. За что посадили, действительно, никогда и никому не рассказывал; потом смыло его летнюю избушку штормовым накатом. И он, кажется, перебрался к дружку-зеку в Магадан, дружок там работал уже директором ресторана. Я видел этого робинзона на фотографии во фраке — фото из времен его столичной жизни. На радаре! Сколько до мыса?

— Шестнадцать кабельтовых!

— Стелу Седова видите?

— На отдельном камне?

— Да. Пошли вправо!

— Здорово этот отдельный камень похож на рубку всплывающего подводного атомохода — даже неприятно делается.

— Сразу видно, что на военном флоте служили... Следующие створы видите? Держите пять градусов левее!

— А что там, под берегом? Плывет что-то?

— Нет, торчит. Это остатки баржи. На таких сюда зек-ков сплавляли. Дальше в реке еще две таких будет, те сохранились лучше.

— Неужто половодьем и льдом их до сих пор не разметало?

— Дерево мореное. Местные говорят — «остья крепкие». Тут еще один был знаменитый робинзон — дядя Федя. Из экипажа того «Комсомольца», который вез оружие в революционную Испанию, а их задержал немецкий крейсер, и моряки попали в плен к Франко. Затем их всех загнали в эти места. Дядя Федя разносторонний был человек, работал ассенизатором в Черском, коком на лоцботе, очень любил сгущенку. После реабилитации возвращаться на Большую землю тоже отказался: «Здесь жизнь прошла, и нет ее больше...»

Из радиотелефона:

— «Колымалес» — «Крымскому»!

— «Колымалес»! Это вы, Степан Иванович?

— Да, Борис Александрович! На Сухарном перекате встречаемся!

— Видимость аховая! Рано снег в этом году. Как прикажете расходиться?

— Левыми бортами!

— Вас понял! До связи.

— Врубите ходовые огни!

— Есть! В машине! Будем расходиться со встречным в тумане! От реверса не отходить!

— Опять заряд. Видимость не больше мили.

— Это еще терпимо.

— На Сухарном парные буи?

— Нет, слева вехи, справа буи.

— Изжога. Черт бы ее побрал!

— Самое хорошее — гриб пить, только не старый, не кислый.

Тучи — терпеть не могу штампы, но тут другого слова не подберешь — свинцовые. Тяжелый свинец. И двигаются замедленно от свинцовой тягости, набиты злым, мелким снегом. Но чуть между ними солнце пробьется, сразу такими радостными красками вспыхивают берега —

малиновые наплывы лишайников на скалах, лиловые горбы дальних сопок, зеленые, яркие полосы какой-то тундровой травы в лощинах и вдоль уреза воды; а сама колымская вода мгновенно напиться солнечными лучами и делается легкой, обычной речной, радостной.

— Нынче урожай брусники. Мы с женой за час ведро набрали.

— Надо будет экскурсию сообразить.

— Справа домишки торчат. Что это?

— Брошенный поселок. Михалкино. Уголь переваливали здесь. Вон куча так и осталась. Сейчас никто не живет. Сторож-старик был. Помер. Теперь пусто.

Крыши домов уже снесло, окна зияют провалами. Мразью и запустением несет. Нефтяная емкость лежит на боку. Издалека похожа на грязный парус. Домов насчитал семнадцать...

— А ведь на здешнем угле пароходы плавали?

— Да, тяжело было кочегарам, но плавали. Уголек-то хилый.

— Вы ленинградец?

— Из Павловска.

— А живете где?

— Здесь. Полгода работа, полгода отпуск.

— На родину тянет?

— Четырнадцать лет на кооперативную квартиру стою, но пока строить еще не начинали.

— Жена работает?

— Да, по швейному делу.

— Дети?

— Сыну пять. Держите сто восемнадцать!

— Памятник Врангелю и Матюшкину покажите, пожалуйста.

— Он у нас на самом красивом месте стоит. На Краю Леса.

— Кто автор?

— В какой-то степени я.

— Вы скульптор?

— Нет, эскиз я сочинил.

— Кто инициатор этой самодеятельности?

— Секретарь Нижне-Колымского райкома, историк по профессии. Край любит, тут и родился.

— А кто место для памятника выбирал?

— Мы и выбрали. Чтобы Врангель с Матюшкиным и нынче нам, лоцманам, работать помогали. Памятник служит хорошим ориентиром.

Какие дали!

Какая мощь сопки на правом берегу Колымы. И кекуры торчат в тысячелетнем молчании.

Край Леса.

Самое передовое деревцо — хиленькая такая лиственница, а уже в каком-нибудь километре от нее — пышная шатром, в оранжевом убранстве, и подол до самой земли. И краски, краски — солнце как раз пробилось — лиловое, фиолетовое, серое, зеленое, малиновое — длинными полосами, горизонтальными. И лиственницы, уже задремавшие в осенней неподвижности. Чем-то напоминают крестьянок, когда те в расклешенных книзу сарафанах и с желтыми венками на головах... Под берегом останки еще одной баржи. Боже, сколько там законсервировалось воплей, проклятий и рыданий.

Подошли на якорное место в 20.10, стали на левый якорь, на клюзе три смычки, рейд порта Зеленый Мыс. За левый берег Колымы, который стал черным и над которым торчали черные пики лиственниц, опускалось кровавое, расплющенное солнце. Небо в розовых, малиновых сполохах, синие тучки и белый зигзаг высотного следа от истребителя-перехватчика. И невольно думаешь о том, как там себя пилоты чувствуют. Ведь ежели в этих пространствах закувыркается самолетик...

Вот я и на самом деле здесь, в центре всех скорбей, — все-таки и сюда приплыл. И смотрю на Колыму своими глазами. Зачем это нужно, — не знаю, но чувствую, что мне это необходимо. Как-то уж специально судьба сложилась так, что нас завернули на Зеленый Мыс.

Перед сном листаю журнал «Наш современник» и натыкаюсь на сочинение лютого литературного соперника Горышина. О русском языке рассуждает Глеб Александрович.

Приятно читать старого товарища на рейде порта Зеленый Мыс.

Дохожу до главы «Едем на Сахалин» — и глаза выпучиваются на первой строке. И ваши сей секунд выпучатся: «Глянем на карту, пройдемся по ней глазами от Ленинграда до Тихого океана. Увидим вблизи океанского берега остров, похожий на рыбу, на прирученную человеком акулу. Рыба дразнит своим хвостиком японский остров Хоккайдо, а носом правит в устье советской реки Колымы. Плавник ее вольно колышет воды Тихого океана.

Давайте жадно смотреть на карту, на остров, похожий на рыбу, на Сахалин!»

Давай, дружище, давай посмотрим, бормочу я, стоящий на якоре возле Крестов Колымских и только что проникший в устье советской реки Колымы со стороны Северного полюса. Кто же из нас, дружище, спятил на старости лет? Даже если ты спутал устье Колымы с ее истоками, то от прирученной человеком акулы-Сахалина до этих истоков за горами и долами тысячи верст и все раком. И почему твоя ручная акула вольно колышет плавником в Тихом океане, а не в Охотском море? Пора, пора, старый соперник, смотреть на карту без жадности — она не девушка нашей юношеской мечты. И почему же все грамотеи-редакторы не выловили у тебя такой чуши? Нет, не стареют ветераны! Ты тот же, Глеб, ты видишь ручных акул, нацеливаешь их на Колыму, и девицы по-прежнему волнуют тебя — и девицы Сахалина, и девицы Алма-Аты, «где рычание тысяч машин неумолчно, слитно, но все равно постоянно слышится цокот каблучков по панели. В Алма-Ате полным-полно девушек. Знатоки говорили мне, что в столице Казахстана проблема невест решена...»

Четверть века назад я сочинил добродушную пародию, помнишь, старый соперник? И называлась она «В ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ»:

« — Скоро зацветет черемуха, — сказала сегодня девушка Тоня.

— Это холодно, — сказал я. — Когда цветет черемуха — холодно.

Я люблю смотреть на Тоню. И вот так легко, незатейливо с ней говорить.

Когда-то я любил смотреть на Валю. Я шел к Вале трудным путем. Ел чужие завтраки в столовке газеты «Голос Алтая». Мои ноги были тогда длинные и волосатые, но я брал камень и приседал, чтобы они стали еще длиннее и волосатее.

Путь к Люсе был самым трудным. Она жила в Гаграх, а я печатал подвалы в «Карагандинской правде» и бегал на лыжах к почте — сорок километров туда и восемьдесят обратно. Ночами мне снились кавказцы. Они жадно, по мужски смотрели на Люсю из-за кипарисов. Во сне я бил кавказцам кулаком прямо в глаз. Я хотел Люсю сберечь, обнять, укрыть руками, грудью. А она мне писала: «Какая скрытая страсть живет в кавказцах, ты бы только знал!»

«Ее я не трону, нет, — говорил я себе. — Я никогда не ударю женщину. Это слабость — трогать женщину». Но

мой путь к Люсе оказался слишком долгим и трудным. Я ослаб на этом пути. И сильно тронул ее при встрече...»

Да, Глебушка, до шестидесяти тебе осталась какая-нибудь одна пятилетка, и вот ты пишешь: «По улицам казахстанской столицы цокают каблучками девушки — казашки и неказашки. Одни в белых сапожках, в белых блестящих сапожках, с белыми сумками. Другие в красных блестящих сапожках, с красными сумками. Глаза их рябят на солнце, взоры бегучи, шустры, как вода в арыках...»

Ежели ты еще способен заметить в глазах девушек рябь, то твои дела не так уж плохи, как кажется моему бегучему, шустрому и жадному взору...

Я печатаю это в медицинском изоляторе, судно затихло, два ночи по местному времени.

«Надо сделать паузу, отдышаться», — так заканчивает Горышин свои рассуждения о русском языке, его «исконном ладе».

Сейчас я последую совету старого соперника и сделаю паузу, то есть прикорну, ткнусь, не раздеваясь, в жесткую, но уютную койку, закурю и с горечью буду думать о том, что писательская старость — жесткая и жестокая штука.

Утром увидел с рейда территорию порта, дальние сопки под первым снегом. Машины в порту уже наездили по снежку трассы, на угольных кучах он быстро таял. Вся широкая панорама берега смахивала на картины Брейгеля: отделенность малюсеньких черных людишек от всего огромного бело-серого пространства, отдельность их и какая-то муравьиная самостоятельность, четкость. И даже наличие вокруг человечков порталных кранов, автопогрузчиков, высоких мачт с прожекторами не уничтожает Брейгеля.

Ключули на рассказы об огромном количестве брусники, обулись в сапоги, ватники и отправились в сопки.

Упарились через полчаса. Моховые кочки, напитавшиеся снегом, заросшие гонобобелем и черникой, — сапоги вязнут, портянки трут; а лиственницы — какая милость и прелесть, какие у них тихие, опустившиеся ресницы... Влюбился в лиственницы. Да, Глеб, никуда нам от возраста не убежать. Избитый штамп, но и мне лиственницы девушек напоминают — легеньких, сказочных, прозрачных...

На полянах черные коряги, пни, на одной коряге вдруг висит проржавевший чайник. И вдали озеро с названием Кровавое.

Отходим от причала на якорь поздним вечером, оставив на берегу Митрофана для выяснения вопроса нехватки тридцати ящиков картофеля. Бр-р! Попробуйте так вот остаться, когда судно отходит от осточертевшего причала, остаться в чужой береговой жизни, среди враждебных торговых людей, с кипой бумаг в папке, с тяжестью на душе от нехватки груза, ехать на простывшей машине сквозь черную чужую ночь на базу ОРСа, а все презенты давно кончились, а шарф намотать не догадался, из разбитого окна дует, шофер рядом сопит перегаром, и судно выгоняют на рейд по твоей вине... Нет на море жесточе и жутче работы, нежели грузовой помощник. Когда я вспоминаю, что многие годы сам тянул эти тяготы, то ловлю себя на том, что качаю головой, недоверчиво качаю: неужели прошел и это?..

Черная тьма колымской ночи, пирамиды каменного угля в порту сливаются с тьмой, а на востоке тлеет над самым горизонтом волнующаяся полоса северного сияния...

— Будем отходить на кормовом шпринге! Без буксира! В носу! В корме! Ясно?

— В носу ясно! Отходим без буксира!

— В корме ясно!

— Отдать все продольные!

— Почему не включается палубное освещение? Электромеханика на мостик!

— Течение нос отождмет?

— Должно по идее!

— В носу! Отдать шпринг! В корме! Держать шпринг! Иван Иванович, Митрофан Митрофанович на берегу остался, вы там без него повнимательнее, пожалуйста!

— Корма поняла! Будем внимательными! Швартовщики куда-то подевались! Нет никого на причале!

— Бегут они к вам, бегут!

— Нос пошел от причала?

— Нет, не заметно!

— Слава богу, вырубил палубное! Дайте малый назад! Работнем немного, чтобы нос отошел!

— Есть малый назад!

Первые вибрации от оживающей, застоявшейся машины, а судно все еще сонное, медлительное и тяжелое.

— Пошел нос!

— Стоп машина! Руль право пять!

— Отдать кормовой шпринг!

— Правый якорь стравить до воды! Боцману стоять на правом якоре!

— Самый малый вперед! Право на борт! Сколько там до судна по корме?

— Двенадцать метров! Чисто все!

Нос отваливает все быстрее. На тихой воде между бортом и причалом вытягиваются огромные тени от портальных кранов...

Стоять на разгрузке, погрузке, в разных ожиданиях, да и долго плыть — тягостное дело, но уплыть от причала всегда замечательно.

Когда уплываешь, — возвращается, хотя это опять банально, ощущение судна живым и думающим существом.

Капитаны командуют, верещат, кричат, дергают за уздечку, грозят хлыстом или вожжами, а пароход знает, куда ему плыть, зачем ему плыть, он свое дело знает и плевать хотел на этих людишек, которые на нем копошатся. Так и в жизни: нам кажется, что мы свою судьбу строим, а это она нас строит.

Ночь простояли на якоре.

Около одиннадцати утра поплыли вниз по Колыме.

Солнце. Горячее, когда поймалешь его лучи в укромном уголке, где нет ветра. Небо — женственная голубизна и непорочность. Вода в Колыме темная и густая. Крутолобые сопки по берегам уже в несводимом снегу, утрамбованном ветрами, сияют внутренним северным светом; в распадах чистый ультрамарин, к вершинам приклеились облачка и почти не курятся — зацепились за белые, светящиеся лбы сопок и тянутся флюгерами.

Врубили полный и полетели на всех парусах к Северному океану, дышит он ледяным дыханием.

Нина Михайловна принесла в рубку кофе и бутерброды для лоцмана, заохала на колымские красоты.

А мне вспомнился пост у шлюпок на Фонтанке, сфинксы Египетского моста, колокольня Никольского собора, Серега Ртахов, и первое грехопадение среди перламутрового света в парадной дома № 186, где теперь ОСВОД — символическое в чем-то совпадение.

Я спросил у местного лоцмана о Серге Ртахове. Тот его отлично помнил.

Первый год Серега здесь совсем не пил, втянулся в специфику лоцманской работы, быстро сдал на самостоятельные проводки, читал интересные лекции по военно-морскому делу. Затем жена его уехала на материк, и Сереге доложили, что она ему изменяет с каким-то летчиком. Возможно, и вранье, но он страшно запил, запершись в квартире, кидал в окно с третьего этажа пустые бутылки и чуть не убил какую-то девчушку. В тот раз его откачали. Окончательно Серега погорел, когда вел по Колыме большой танкер, находясь в невменяемом состоянии. Дело кончилось тем, что капитан танкера приказал его связать...

Все время этого нашего разговора Нина Михайловна топталась в рубке и часто взглядывала на меня как-то вопросительно. Буфетчице не положено задерживаться в рубке на ходу судна. И я сказал ей об этом. Она сказала, что белье мне сменила и постелила вместо пододеяльника обыкновенную простыню — как я просил. Я поблагодарил ее, и она, наконец, ушла.

В протоке у острова Сухарного лоцман показал заводь, в которой живут лебеди. Оказывается, пилоты уже много лет следят за лебединой парой, которая всегда прилетает на лето. Когда подошли ближе, в бинокль разобрали, что один лебедь большой, а другой совсем маленький — детеныш. Стали гадать, куда делся второй взрослый: браконьеры убили или что? Но скоро успокоились: над сияющей синевой протоки, между рожими стрелами островков, среди всех этих по-северному продолговатых, плоских пятен, прорезалась вдруг еще белая черточка. Она оказалась целой лебединой стаей — птицы уже собирались в южную дорогу и начали тренироваться.

Глядя на лебедей, приближенных биноклем, я с грустью и горечью вспомнил нашу дружбу с Юрой Ямкиным и его тоску по человеческой верности, когда выяснилось, что погорел он на валютных сложностях безнадежно...

Итак, лебеди в синих, рыловских, водах и голубых небесах подарили нам на выходе из Колымы несколько грустных, но прекрасных мгновений.

А чаек почти не видели.

Лоцман объяснил, что эти птицы продолжают позорить души погибших моряков, ибо в море за рыбой летать ленятся, — роются на мусорных свалках в поселках и так лупят клювами собак, что те и близко боятся подходить к свалкам.

Как бы и лебеди рано или поздно не привыкли копать-ся в отбросах, вместо того чтобы плавать в гордом одиночестве недоступных протоков у острова Сухарного.

В 15.00 прошли Амбарчик, от Медвежьего легли на норд, сбавили до самого малого, поджидая зазевавшегося где-то малютку лоцбот «Иней», чтобы сдать лоцмана и совершить традиционный обратный ченч кинофильмами.

Солнце продолжало светить белым и горячим, но воздух над Восточно-Сибирским морем был ледяным.

Перешли на донные кингстоны.

Лоцман по собственной инициативе запросил с ледокола «Капитан Хлебников» для нас рекомендованные точки. Сыну этого Хлебникова, назвав его потом в книге «Соленый лед» Булкиным, я сдавал когда-то на «Воровском» техминимум в рейсе на Джорджес-банку и выслушал обаятельный рассказик о том, как старые капитаны в обязательном порядке экзаменовались на аттестат зрелости и писали сочинение про Таню Ларину.

К 16.00 В. В. поднялся на мостик — при полной форме и регалиях. И Митрофан был при параде, и лоцман. Один я смог ради торжественного момента расставания надеть лишь галстук при обыкновенном пиджаке.

Лоцман перебрался на «Иней», мы традиционно помахали сверху, а потом В. В. зашел в рубку, и сразу по ушам ударил протяжный мощный гудок «Колымалеса», затем еще гудок, и еще один — третий. В. В. отдавал маленькому лоцботу прощальную почеть. «Иней» три раза рывкнул в ответ. Это было трогательно. Редко нынче исполняются старые ритуалы. В. В. их спокойно чит.

Хорошие мужчины работают здесь, работают с чувством собственного достоинства, спокойно, ибо знают свое дело; они подчеркнута чистоплотны, они глубоко чувствуют свою ответственность — и лоцман Борис Александрович Василевский, и капитан «Инея» Виктор Петрович.

По радиотелефону мы еще пожелали им счастливо закончить навигацию, они нам — еще раз счастливо плаванья.

Спать в чистом белье большое удовольствие, но плохо, когда прямо из чистого белья попадаешь на вахту в пла-вучий лед и полную тьму.

Всю ночную вахту мыкался на самом малом. Один раз уперся в осколок поля и даже на полном не смог его от-пихнуть. Пришлось давать задний.

Митрофан проявляет трогательную заботливость о моем питании:

— Виктор Викторович, внизу котлета есть!

— Спасибо, очень приятно, поем, как сменюсь.

— За это время у нее, Виктор Викторович, ноги вы-растут. При помощи нашей смены.

— Постарайтесь, чтобы не выросли...

К сожалению, ноги у котлеты выросли.

Около четырех начало светать. И можно было выру-бить прожектора, от которых устают глаза. Сердце — тьфу-тьфу, — не беспокоит, хотя высмолил за ночь пачку сигарет.

В свете прожекторов метались какие-то маленькие птички — мерцают, как ночные бабочки у дачного огня. Когда же я жил на даче последний раз?

Как ни трудно в это поверить, только в детстве.

АРКТИЧЕСКАЯ «КОМАРИНСКАЯ»

В Певек приплыли без приключений, но там опять плотно застопорились.

08.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

09.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

10.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

11.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

12.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

13.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

14.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки.

15.09. 19.17. Несмотря на ранее установленную оче-редность, т/х «Прокопий Галушин» был поставлен к при-чалу впереди нас. Диспетчер не смог объяснить причину нарушения очередности и отказался связать капитана с главным диспетчером для решения возникшей ситу-ации».

Невыносимость стояночной мути. Бесцельная бездеятельность.

Сутки за сутками. А ведь это дни нашей единственной жизни. И они летят псу под хвост.

Обнаружились семь номеров «Октября». Ощущение от чтения такое же мутное, как и от стоянки в ожидании причала и разгрузки на краю земли в Певеке.

Плавают за бортом взад-вперед грязные льдины. Слабый шум от них — как будто кто-то безнадежно усталый из последних сил наваливается на весла...

На Чукотском берегу такая мразь жизни, пьянство, очереди за вялым пивом и гнилыми папиросами, что и носа туда нет охоты высовывать.

А среди человек встречаются, как и везде, самоцветы.

Эти самоцветы добывают где-то здесь, в вечной мерзлоте, обыкновенное золото.

Угодили в гости к горнякам.

И один из инженеров — Леонид Мурафа — подарил нам стихотворение, которое так и назвал: «Песня в подарок друзьям».

Жарю летней дышит Ленинград,
Нагреты докрасна дворцов ограды...
Взять курс в прохладу Арктики вы рады
Не ради денег, премий и наград.

Вам плавать за границу надоело —
Там нищета, там правит капитал,
Там души продают за тот металл,
Который тут предметом плана стал.

Вам надоел валютный звон в кармане,
И подставляет «Колымлес» бока
Под звонкие удары льда, пока
Джо Конрад не опишет все в романе...

«16.09. На якоре в ожидании причала и разгрузки».

Эх, как Русь любит быструю езду на тройках и очереди!

Из спецспособия: «Ностальгия — тоска по родине, дому — является крайним проявлением заболевания. Замечено, что моряки, которые чувствительны к монотонности, как правило, неуживчивы в семьях, трудны во взаимоотношениях в коллективе, — это так называемые экстраверты, стремящиеся к активному контакту с внешним миром. В условиях же отрыва от привычных раздражителей».

лей они-то и страдают прежде всего. Интраверты, привыкшие переносить тяготы и невзгоды в себе и редко делящиеся мыслями с окружающими, а порой и с друзьями, легче переносят длительные рейсы».

А куда я-то отношусь?

Понятия не имею.

В середине чукотской стоянки пережил душевное потрясение, ибо утратил необходимые для нормального существования вещи.

Сюда входили:

1. Пилотка подводника с замазанными черной краской кантами. Не расставался с пилоткой пятнадцать лет — талисман, сгусток морского суеверия, материализованная уже в книгах легенда, чрезвычайно удобная для работы в море штука, — не срывает никакими ветрами, клапана опускаются, надежно прикрывая уши; придает мужчине лихой, непривычный для торгового моряка вид, хранит башку мужчины от ударов о всевозможное судовое железо.

2. Ботинки сорокового размера.

Эти музейные вещи напялили на капитанчика, размер ботинок которого был сорок пятый.

Вы спросите, как возможно напялить сороковой на ногу сорок пятого? Ответ получите, если останетесь ночевать на пароходе у вовсе нового дружка в порту Певек.

Короче говоря, когда я собрался возвращаться на родное судно, то обнаружил странный люфт в ботинках. Мои миниатюрные, аристократические ноги болтались в ботинках, как в спасательных вельботах.

А собственные вещички тем временем уплыли на Колыму!

«18.09. Выгрузка. У заместителя начальника причала Сovenko возникли претензии к состоянию пломб на лазах трюмов, где находятся спирто-водочные изделия. Вызваны представители ОБХСС, милиции и начальник коммерческого отдела порта, которые в присутствии судовой администрации осмотрели пломбы на трюмах. Установлено следующее: пломбы повешены с нарушением правил пломбировки, свободно передвигаются по проволоке, без замка. Пломбы пластмассовые, с клеймом ОТК, по внешнему виду и состоянию можно судить, что они не снимались. Пломбы аккуратно обрезаны и сданы на экспертизу на предмет определения их целостности. Составлен акт».

Безо всяких серьезных надежд решил все-таки сходить на почту за «до востребованием». И опять был со мной Фома Фомич. Я вспоминал, как пришли мы с ним на почту, и по рассеянности Фомич опустил письмо, адресованное, ясное дело, в Ленинград, в ящик с надписью «Местные». Я обратил его внимание на этот прискорбный нюанс. Фомич минут пять сурово жевал губами и глядел в чукотские пространства, затем ринулся к заведующей и потребовал извлечения своего письма обратно. Начальница оказалась вполне под стать Фомичу — извлекать корреспонденцию наотрез отказалась. Фомич лебезил, брал на испуг, хватался за сердце, но получал одно: «Не положено, дорогой товарищ!» Так мы и ушли не солоно хлебавши. И Фомич очередной раз потряс меня своей нетрафаретной реакцией: «Замечательная заведующая! Значить, такую на служебном посту за пол-литра не купишь!»

Окончательно Фома Фомич (по данным Октавиана) спятил, когда решал в Лондоне гамлетовский вопрос: как быть, если матрос просится на берег в галюн в два часа десять минут ночи, а: 1) судовые галюны опечатаны; 2) есть приказ не пускать людей на берег Великобритании после 19.00; 3) есть приказ не пускать их туда меньше, нежели по пять человек в группе; 4) нужду в туалете в два часа десять минут ночи срочно испытывает только один член экипажа, а все остальные, значить, не хотят?

Вот тут-то легендарный драйвер окончательно и свихнул мозги...

Бывают же на свете праздники! — получил целый пакет писем, пересланных на Чукотку любезной соседкой.

Не вся корреспонденция оказалась приятной.

«Уважаемый товарищ Конецкий! До последнего времени Вы числились среди любимых мною писателей. Увидев фамилию в оглавлении 3-го номера «Звезды», я взяла этот журнал и предвкушала новую интересную и приятную встречу с Вами. Однако приходится идти по стопам некоего газетного фельетониста тех времен, когда мы еще смотрели фильмы с участием Мэри Пикфорд. Он написал так: «Как ни крути, как ни верти, в какой ни рекламируй мере, но Мэри Пикфорд в «Дороти» почти совсем уже не Мэри — ничем не лучше наших Маш, — и я признаться ей намерен: «О Мэри, Мэри! Я был ваш, но больше я уже не мерин».

В Ваших «Путевых портретах с морским пейзажем» читателя неприятно поражает пошлое смакование таких подробностей, как, например, роман капитана с буфетчицей.

Но это бы куда еще ни шло.

Глубоко возмутителен описанный Вами эпизод с какой-то австрийской, что ли, графиней, которой Вы предложили в качестве условия принятия на борт ее собаки — сверх всех фунтов стерлингов — разрешить Вам «пощекотать ее животик».

По Вашим словам, она это легко разрешила (хотя следовало бы вlepить Вам оплеуху!).

Но, понимаете ли, поведение зарубежной потаскушки, будь она графиня или герцогиня, меня, Вашего читателя, мало волнует. Несомненно, наши отечественные потаскушки поступили бы так же, как она. Возмутительно то, что Вы — советский человек за границей — показали себя пошляком, дикарем, варваром; словом — унизили свое достоинство, хотя бы только перед этой «графиней» (и всеми, с кем она поделится своим приключением с русским, советским моряком!). А унижая себя, советский человек за рубежами нашей родины позорит тем самым и всех нас, и всю нашу страну, которую он — хочет он того или не хочет — представляет там. По его поведению судят обо всем советском обществе.

Так что если рассказанный Вами анекдот основан на факте, то такого факта простить Вам нельзя. Если же Вы все это выдумали, выдумка не делает Вам чести. Вот уж поистине не скажешь: «Se non e vero, e ben trovato».

Вместе с Вами, конечно, виновата и редакция журнала, и даже Горлит. Но это не умаляет Вашей вины.

Мне очень неприятно терять в Вашем лице писателя, чей талант и мастерство я ценила высоко. Что делать? Итак, dear sig, заканчиваю. Ваша бывшая читательница, ответа Вашего мне не надо. Я найду его в Ваших последующих книгах. Потому не подписываюсь..

Читательница опытная,— слово «Горлит» слышала.

Самое здесь интересное — обида нашей советской Маши за всю прекрасную половину человечества. Причем обида эта выражается через специфическую логику: она моя БЫВШАЯ читательница, читать меня больше не будет, но все-таки умудрится найти ответ в моих следующих книгах! Как же это она сделает: в капусте найдет, или ответ аист принесет?..

Замечали разницу между мужской и женской реакцией на одинаковое по силе и величине хамство в адрес друг друга?

Глядите.

Женщина говорит мужчине: «Все вы такие, мужики,— развратники, изменщики и вообще, кабы не мой да не девичий стыд, я бы тебя, подлеца и нахала, да и не так бы еще обругала!»

Что отвечает этот сукин сын мужик?

Хмыкает и идет в пивную. Его, подлеца, не удручает то, что он приравнен ко всему остальному мужскому роду.

Теперь попробуем сказать даме: «Дорогая, пойми, ради бога, ты такая же, как все остальные четыре женских миллиарда на планете...»

Боже!

Гром!

Молния!

Вулкан!

Тайфун!

Какой философ возьмется объяснить, отчего мужики не сопротивляются тому, что все они одинаковые, а женщины так отчаянно сопротивляются даже легкому подозрению в их похожести?

Ладно, поговорим теперь про вовсе неожиданное в Арктике — о комарах. Повод тот, что сюда — на край земли, на Чукотку, — вернулась моя статья под названием «Комаринская». Писал ее, ожидая на Петроградской стороне прихода теплохода «Колымалес» и раздраженный до бешенства всяческими бытовыми неурядицами.

Выше меня — на седьмом этаже — проживает генерал-майор войск ПВО в отставке. Он работает над многолетней историей своих войск, начав ее со средних веков. Телефон у генерала вечно занят супругой, которая молчит только тогда, когда ночью надевает от комаров противозащиты.

Пора, наконец, громогласно объявить, что в природе произошло озверение и комары наводнили Ленинград! Априори считается, что в век НТР природа удаляется от человечества. Чушь. Происходит наоборот. А я, к сожалению, городской обыватель и ненавижу комаров мучительной и бессильной ненавистью, черно завидуя, например, замечательному деревенскому прозаику Василию Белову, который кровососущих любит. Он пишет: «Кома-

ры вызванивали свои спокойно-щемящие симфонии». Во как! Симфонию Чайковского они ему напоминают! И спокойствие от их омерзительного писка ему на душу нисходит! В одном рассказе Белова старик-доходяга даже из состояния клинической смерти возвращается к жизни без всяких там реанимаций при помощи одной мечты о «тонком комарином писке». (Ну, в данном случае, то есть услышь я в состоянии ранней смерти комариный писк,— тоже не на шутку удивил бы сторожа в морге непристойным для покойника жестом или непечатным словосочетанием.)

Хотя комар мал, а человек в миллион раз больше и сложнее, но крошка имеет приспособления, которые вам и не снились. Если вы, начиная охоту на комара, сидящего, предположим, на потолке, будете вылуплять на него глаза, то даже последней модели пылесос или новенькая пышная швабра не помогут. Комар получит от ваших вылупленных глаз предостерегающий импульс и приведется в боевую готовность к зигзагу-молнии.

Теперь о снадобьях типа «Тайги». Не скажу,— хорошая химия! Честь и хвала отечественным химикам! Хотя существует мнение, что отвратительность вони снадобий так велика, что сразу заставляет комара предположить наличие рядом человека, ибо только человек такое может изобрести, создать и испускать. В результате комар молниеносно летит к вам.

Теперь о тонком комарином писке, который так Белову и даже Виктору Петровичу Астафьеву нравится.

Писк комара на потомственных горожан воздействует хуже самого укуса.

Если вы наловчитесь спать, вжав одно ухо в нижнюю подушку, а второе ухо придавив верхней, то, возможно, жужжания вы слышать и не будете, но и дышать вам все-таки надо. Потому у носа вы оставляете дырочку, как нерпа в арктической льдине.

И вот, как белый медведь терпеливо караулит возле дыхательной дырки и рано-поздно харчит самую острую нерпу, так и сволочь комариха рано-поздно находит ваш нос. В этом случае удар, который вы получаете в момент посадки ее в вашу ноздрю, никак нельзя назвать мягким.

Вероятно, комариха так долго изыскивает дырку, так досадует на всякие затруднения, что потом действует потеряв голову: бесшабашно и безрассудно, я бы сказал. Ее крылья работают с такой частотой, что впереди насеко-

мого возникает звуковой барьер, который принес столько хлопот авиаконструкторам.

И вот комариха, найдя наконец туннель, ведущий к вашей ноздре, преодолевает звуковой барьер. В результате, естественно, удар в ноздрю происходит в абсолютной тишине — звук-то остается позади комарихи! И потому неожиданность удара-посадки производит ошеломляющее впечатление и на вовсе не впечатлительного человека.

Правда, тут есть один нюанс. Если вы тренированный, многоопытный мужчина, то иногда успеваете проснуться еще до удара-посадки. Это происходит в том случае, если вы способны ощущать биополе комарихи, возникающее перед крошкой в виде этакого клина, лучика, остронаправленного и опережающего комариху на миллионную долю микросекунды. Но и этого микро-микровремени (для по-настоящему тренированного человека!) достаточно, чтобы, еще глазом не моргнув, треснуть себя по носу с зубодробительной силой, одновременно проклиная всех сучек, самок, куриц, тигриц и т. д. Такие избирательные в половом смысле проклятия вырываются из вас на основе научного знания о том, что кусаются и пьют человеческую кровь только комариные самки, а самцы живут на нектаре.

В результате серая толпа, малообразованная масса, мещане отпускают в сторону женщин двусмысленности — о кровососущей женской природе и тому подобную чушь. Это, конечно, неверно, хотя почти у всех кровососущих кровью питаются только самки.

Еще несколько слов о восприятии тонкого комариного писка тренированными людьми. Особенно бывает обидно, когда врежешь себе по уху, носу или лбу, а... комарихито и не было!

Это я о трамвае.

Иногда звук далекого трамвая, возникший в ночной тишине и неуклонно приближающийся, воспринимается тренированным мозгом как сигнал начала комариной атаки. Нельзя же, в конце концов, требовать от своего мозга того же, что и от самого себя в целом, в целокупности. Мозг иногда действует тупо, по шаблону, ведет себя по принципу: наше дело прокукарекать, а дальше уже дело ваше. И выдает сигнал-предупреждение, спутав трамвай с комарихой. И ведь должен был бы понимать, что самому ему от такой ошибки будет хуже всех других членов и частей организма, ибо наступит БЕССОННИЦА!

Конечно, когда вы, треснув себя по лбу, проснетесь и обнаружите, что комарихи нет, а просто-напросто по

ночным улицам-ущельям разбежался в парк последний трамвай, то ощутите некоторое чисто внешнее успокоение. Однако оно мимолетно, а вот БЕССОННИЦА...

Верхнего соседа зовут Михаил Германович, настоящий боевой генерал, провел всю войну на свежем воздухе среди самых разных климатических зон, но комаров боится панически — больше штатских — как бы парадоксально это ни звучало. Нервы! Хотя весит Михаил Германович центнер и носит пышные кавалерийские усы — буденовские.

Уже второе лето генерал ночует в кабинете, разбив там герметическую охотничью палатку. Вечерами долго возится над моей головой со штырями — паркет плохо держит. До приобретения палатки генерал сам пробовал спать в противогазе, но с такими усами в противогазе долго не продержишься — понизилось кровяное давление и т. д. И теперь он спит в палатке, а противогаз отдал жене. Конечно, Михаил Германович стыдится нелепой палатки в кабинете, противогаза жены и даже факта своей бессонницы. Это его комплекс неполноценности: всю жизнь сражался и побеждал противника, нападающего сверху, с воздуха, и... дрожит перед комаром!

В конце мая по его инициативе группа интеллигентных жильцов решила на общественных началах вычистить подвалы, заполненные жидкой мразью. Начальник ЖЭКа Прохоров категорически запретил самодеятельность, заявив, что комары входят в экологическую цепочку и внесены в Красную книгу ООН. Эту издевательскую чушь он выдумал потому, что в пятидесятые годы служил под рукой Михаила Германовича в ПВО лейтенантом и крупно про штрафился, угодив при учебной стрельбе из сорокапятики в самолет-буксировщик, а не по конусу-цели. За этот подвиг Михаил Германович вклеил ему так, что лейтенант Прохоров вылетел из войск противовоздушной обороны прямо в гражданский банно-прачечный трест, где быстро сделал тупую, но последовательную карьеру, заочно окончив санитарный техникум. Теперь он уже третий год начальник ЖЭКа.

Конечно, если бы Михаил Германович в середине пятидесятых годов знал, что в конце семидесятых будет писать историю войск ПВО, сидя в доме под рукой лейтенанта запаса Прохорова, то, вероятно, не подложил бы своему подчиненному такой крупной свиньи, каковой яв-

ляется для военного человека демобилизация. Или хотя бы подстелил соломки на полу банно-прачечного треста в тот момент, когда Прохоров заканчивал там свою противоздушную траекторию, но, в отличие от меня, который наперед знает конец этой книги, генерал сквозь магический кристалл еще ничего впереди не различал.

Итак, Михаил Германович собрал наиболее интеллигентных мужчин нашего дома возле входа в подвал, на дверях которого висел огромный амбарный замок; сказал, что чихать хотел на Прохорова, и приказал привести Митяя — кочегара котельной детских ясель, ответственного за подвалы. Митяй был пьян и не явился.

Тогда Михаил Германович возложил на замок огромную лапу, сорвал его и повел нас — вооруженных ведрами и суповыми чумичками — в подвал без санкции какого-либо начальства.

Дом наш вообще-то вполне обыкновенный. В том смысле, что битком набит трусами, которые при виде техника-смотрителя Аллочки заболевают медвежьей болезнью. Но раньше в доме жили отборные гуманитарии — поэты, прозаики, переводчики, литературоведы мирового класса. Ныне, увы, большинство знаменитостей поумирало, или, прославившись, укатило в столицу, или, бесславно разбогатев, приобрело квартиры с лоджиями в новых районах на кооперативных началах. Однако какой-то салонно-нигилистический душок у дома остался. Потому-то, вероятно, мы и пошли за генералом во тьму подвала. Боже, каким соусом подвал оказался заполнен! Ни один профессиональный ассенизатор там и пяти минут бы не выдержал. А мы продержались полчаса — пока не приехал вызванный Прохоровым участковый уполномоченный. И началось!

Прохоров обвинил нас в даче взятки шоферу машины-дерьмовоза, в которую мы сливали подвальный соус, — мы сбросились шоферу по десятке. Генералу же до сих пор шьет статью за срыв замка с государственного помещения. И такая статья есть!

А потом на дверях парадной появилось рукописное объявление: «Лекция «КОМАР — ЧЕЛОВЕК — ОБЩЕСТВО» состоится в субботу 19 июля во втором дворе в 17 часов. Явка всех жильцов, участвовавших в незаконной чистке подвала, обязательная».

Идти на лекцию о комарах в субботний июльский вечеря, конечно, не собирался. Мне кажется, вы сами уже убедились, что я кое-что про них знаю. И смешно предполо-

жить, что какой-нибудь теоретик из общества «Знание» меня может просветить по этому вопросу. И в то же время ловил себя на гаденьком чувстве страха за неявку. Хотя недавно только и громогласно объявил, что русский писатель имеет право бояться секретарш и швейцаров, но не начальников. И, к сожалению, это мое высказывание уже в газетах цитируют. Я же просто тогда неточно выразился! Русский писатель, действительно, не имеет права бояться начальников любых рангов, но сюда не входят начальники ЖЭКов. Этих гусей никак не следует дразнить — шутки вовсе уж выходят боком.

Иногда, работая очередную книгу, вдруг понимаешь, что от растерянности перед сложностью жизни и задачи засунул обе ноги в одну штанину. Очень опасная позиция, ибо каждая нога настойчиво требует свободы и персональной брючины. И у меня вот очередной раз случилось такое. И судьба заставила взять длительный тайм-аут, чтобы вытащить одну ногу — лишнюю. Но это не получается, ибо умер мой ближайший друг и советчик Петя Ниточкин. Без него в житейском и литературном море мне голо и одиноко, и мне не с кем посмеяться над своим страхом перед Прохоровым.

Возраст сказывается и в том, что все и всё, что и кого я вижу вокруг, мне докучает и меня раздражает. Мне не о ком сказать хорошее от чистого сердца. Зрелость это? Или пропечаталась наконец вся мелкость моего духа? В любом случае это приносит мне душевных мучений больше, нежели всем другим, кого вижу и знаю вокруг.

Около шестнадцати часов в субботу позвонил Михаил Германович и быстро уговорил на комариную лекцию идти.

— Эх!— с невольным укором сказал я верхнему соседу.— И дернул вас черт тогда замок дергать!

— Да он сгнил давно до корня! Я для пробы дернул, а он и рассыпался,— чистосердечно соврал старый вояка.— А если вы на лекцию не пойдете, то это не по-товарищески будет. Тоже мне герой! И Гуськов идет, и Требов, и Страдокамский.

— У меня судно на подходе,— сказал я.

— Вот именно. Можно подумать, что вам плавать надоело. Надоело?

— Нет, но...

— То-то и оно. Накатит товарищ Прохоров на вас телегу в пароходство — и тью-тью ваши героические плаванья!

— Ерунда! Смешно, право!

— Ждем вас с Гуськовым, — сказал генерал и бросил трубку.

Гуськов — детский поэт, живет с супругой-домохозяйкой ниже меня. Оба исключительно деликатные, нежные люди. Не пьют, не курят, в Домах творчества съедают всю отраву, которую там дают, чтобы — не дай бог! — не обидеть директора; обожают бадминтон в пыли по колено. Но отношения у нас сложные. Тут такое дело.

Лет десять назад случился у меня роман с одной резвушкой из Комсомольска-на-Амуре, которая приехала поступать в машиностроительный институт, то есть имела выраженные способности к использованию техники. В первую же медовую ночь абитуриентка не выдержала натиска комаров и воскликнула: «Милый, а пылесос у тебя есть?»

Пылесос был, хотя я про него давно забыл.

И резвушка с юным и обаятельным кокетством начлапочла охотиться пылесосной кишкой на комаров, таская ревуший агрегат по всей квартире в середине ночи и хлопая в ладошки при каждом пойманном насекомом, — чудесное, скажу вам по секрету, зрелище!

Но Гуськовы, как оказалось, спят со сложными комбинациями сновторных. Если человека, принявшего такую комбинацию, пробудить до срока, то — каюк! Человек не спит потом месяц.

Гуськовы не спали два. И меня возненавидели. И десять лет я ходил по квартире в носках, хотя от дверей дует. Ладно, к этому я привык. Но после истории с чисткой подвала Гуськов так перепугался, что сочинил поэму «Доброе зверье комарье» с печатным посвящением начальнику ЖЭКа Прохорову. В этой поэме два мальчугана идут на рыбалку. Один боится комаров и потому пропускает мимо ушей различные красоты природы — восход солнца, розовый туман и пр. Другой не боится комаров и потому пропитывается красотами насквозь. Сам Гуськов не открывает все лето даже форточки. И такое двуличие детского поэта меня так взбесило, что я перестал снимать дома ботинки.

На заднем дворе у нас растет старый клен и несколько старых тополей. В центре стоит беседка. Есть змея-бум, скользилки на два ската, шведская стенка и садовые скамейки.

За углом помойка, но на газонах густая веселая трава, и в ней от весны до осени желтеют одуванчики, которые я люблю.

На газоне расположилось человек двадцать незнанных мне лично жильцов — мужчин и женщин. В ожидании лекции они пили пиво из бидонов. На кончике змеи-бума сидели Гуськовы.

Места на скамейке заняли два кровных врага, не могущие существовать друг без друга: театральный критик Требов и драматург Страдокамский.

Требов — наш главный ортодокс, консерватор, ретроград и вообще болван. Служить Мельпомене начал в каком-то академическом театре суфлером. Голос у критика оглушительный и соответствует его ногам: случается и такое в жизни. Нижние конечности у Требова вызывают подозрение, что мама в раннем детстве посадила сына-малютку на водовозную бочку и связала ножки годика на два веревкой, в результате чего они замкнулись на круги своя. И голос у него как из чего-то круглого — бочки или иерихонской трубы. Говорят, глупость, чтобы не очень бросаться в глаза, должна быть оглушающей. И это у Требова получается.

— Фашисты! Фашисты виноваты! Раскачали петровское наше болото бомбами в войну! Теперь воды Финского залива фильтруются к центру города. Вот построим дамбу, и никакой подвальной самодеятельности не надо будет! Ни одного комара здесь не останется! — орал театральный критик, тыча в драматурга Страдокамского тростью с набалдашником.

— Это откуда вы такую ерунду высосали? — хладнокровно вопрошал его наш главный оппортунист, нигилист и вообще левак Страдокамский, задиристо потряхивая козлиной, меньшевистской бородкой. — Во всем до сих пор война виновата! А?! И комары у него от фашистов! Все дело в сибирских новостройках, если хотите знать. БАМ городят, пальба там, взрывы — и вполне закономерно насекомые покинули привычные сферы обитания.

— Вы путаете комаров с лосями! — задыхаясь от смеха, протрубил ортодокс. — Отсюда видно, что у вас не божий дар, а яичница...

Напевая старинную казачью песнь «Эх комарики-комарики мои! Нельзя девушке по садуку пройти!», возник из котельной детских яслей Митяй — наш поп Гапон. Именно кочегар внушил нам мысль о том, что комары вылетают из подвала, в результате чего мы ему собственноручно подвал и вычистили. Митяй — единственный, радикально решивший проблему комаров, потому что не рвет связь с землей, деревней и каждое лето получает с родины десятков здоровенных жаб. Комары боятся жаб панически и облетают Митяя за добрый метр.

И на лекцию он явился не только пьяным, как десять дореволюционных сапожников, но и с жабой в кепке. Покрутив ею над головой, Митяй посадил жабу обратно в кепку, возлег на травку возле беседки и мгновенно заснул, а жаба бдительно тарасила глаза и изредка квакала.

Царственно проплыла к голове бума и села на нее колоритнейшая старуха Мубельман-Южина. Она подрабатывает на «Ленфильме» в ролях графинь, которые торчат на заднике во время балов и обмахиваются там веерами. Это тяжелая работа, но дело в том, что, полюбив в Ташкенте душку военного и воспользовавшись сумятицей военного времени, она уменьшила себе в паспорте возраст на энное количество лет. Естественно, это привело затем к полной путанице в пенсионных делах. И вот в старости платит за безрассудную страсть, жарясь под прожекторами в съёмочных павильонах, — сюжет, достойный пера Бальзака! В разговорах Мубельман любит подчеркнуть, что в детстве не знала никаких хлопот с лавровым листом. Лавры не покупали в бакалейной лавке, а просто надергивали нужное для обеда количество из венков, которые получал от поклонниц ее троюродный дядя Сумбатов-Южин.

Удобно усевшись, Мубельман-Южина сказала глубоким, бархатным голосом:

— Федя Шаляпин спел однажды Мефистофеля не стоя, а сидя на ступеньке лестницы к Маргарите, и в прессе сразу написали, что он был так пьян, что пел лежа, — и указала веером на спящего Митяя. — Нельзя ли убрать эту э-э-э... лягушку? Я их боюсь.

— Пусть проспится. Это мелочи, — сказала хорошенькая техник-смотритель Аллочка, которая в беседке отмечала прибывающих по списку, одновременно нетерпеливо постукивая наманикюренным ногтем по золотым часикам. — И где же этого лектора черт носит?

— Холодный пепел мелочей гасит огонь души!— сказала Мубельман-Южина и царственно откинулась на ствол клена.

Из безликой массы, пьющей на газоне из бидонов пиво, донеслось:

— В народе говорят: словом комара не убьешь!

— А тем боле лекцией!

— Цыц!— сказала техник-смотритель.— Не в пивной сидите!

Безликая масса примолкла.

Тут подошел Михаил Германович и сразу крепко треснул меня по шее, зазвенев орденами и медалями, ибо был в мундире, при всем иконостасе.

— Вы бы полегче,— сказал я.

— Зато я ему впиться не дал,— объяснил генерал.

— Убить хотели?— насмешливо спросил ортодокс Требов.— О, святая простота! Если комара голой рукой бьешь, надо обязательно ладонь смачивать водой,— пояснил он.

«Смачивать водой»!— саркастически передразнил Требова генерал.— Лейку с собой прикажете носить?! А плюнуть по-пролетарски на ладонь не годится, что ли?

Тут мгновенно сорвался с цепи на помощь другу-врагу левак Страдокамский:

— А когда вы свои противовоздушные истории сочиняете, тоже в ладонь плюете?— спросил он Михаила Германовича.

И пошла-поехала коммунальная заваруха.

Безликая масса, попивающая на газоне пиво, остроенно комментировала происходящее:

— Если еще пятилетку войны не будет, все друг другу глотки поперерывают...

— Раньше с керосинками и примусами братски жили, а теперь с газом друг другу смерти хотят...

— Благосостояния много — вот корень где...

— Точно. Цены низкие. Надо же: по пять кило курей сразу покупают...

— Холодильники есть — вот и покупают...

— А тут давеча видела, слив на лотке шестнадцать кило сразу тетка брала...

— Серый волк тебе в трамвае товарищ...

— Все ноги оттоптаные...

— Тише тут!— цыкнула техник-смотритель.— Не на митинге!

— Вы нам рот не затыкайте!— немедленно сменил объект атаки Страдокамский.— Товарищи обсуждают вполне корректный аспект проблемы. Речь о необходимости увлажнения кожного покрова ладони в целях уменьшения воздушной подушки перед ней. Эта подушка-прослойка отталкивает насекомое, с какой бы скоростью вы ни действовали. А смачивать руку можете хоть духами «Коти»! Но вы их и не нюхали!

— А вот и нюхала!— сказала Аллочка.

— На потолке их давить бесперспективно,— вмешалась в разговор Мубельман-Южина.— Надо сперва с потолка веником согнать. И убивать, когда они уже ниже на стенке сядут...

В лучших традициях эстрады тридцатых годов на сцену, то есть в детскую беседку, ворвался лектор с портфелем-дипломатом, извинился за опоздание, объяснил его тем, что в субботу с такси стало очень трудно, достал конспект, надел очки и попросил тишины.

Лектор был средних лет, в лакированных туфлях, и производил приятное, интеллигентное впечатление.

— Товарищи! Я буду брать быка за рога!— жизнерадостно начал он.— Всех волнует вопрос снабжения мясомолочными продуктами. Как уберечь скот от вредного влияния окружающей среды? Над этим и бьется пытливая мысль ученых! На данный момент разработка методов сохранения бычьего семени в замороженном состоянии продвинулась далеко вперед. Большой вклад здесь внесли английские, американские и японские ученые. Однако, товарищи, приоритет в этих вопросах остается за Советским Союзом!

— С фланга, издалека заходит!— заметил Михаил Германович.

— Господи! И что делают!— жалостливо шепнул поэтичный Гуськов.— Единственная радость у Буренки была, и ту...

— Тише, товарищи!— цыкнула Аллочка.

— Позвольте все-таки вопрос!— воскликнул, наставляя на лектора меньшевистскую бородку, Страдокамский.— При чем тут какое-то семя?

— Не мешайте слушать!— прошипел Требов.

— Как при чем?— удивился лектор.— Появилась возможность получать потомство от лучших племенных оплодотворителей и после их смерти!— Здесь лектор трахнул себя по лбу: комары не дремали, наступало их любимое вечернее время.

Техник-смотритель Аллочка встала, сорвала лопух с газона и дала лектору.

Из безликой массы донеслось:

— Эт, однако, как понимать?! Ежели, к примеру, мужик сегодня помрет, жена еще десять годков от его может детей нести?

— Да. Нынче этот вопрос технически решен,— сказал лектор, обмахиваясь лопухом.— Но остается моральная сторона. Здесь, правда, еще есть сложности.

— Надо спасать только лучших людей,— вклинился нигилист Страдокамский,— сейчас в США, как известно, создан банк спермы лауреатов Нобелевской премии. А у нас как с этим вопросом?

— Попрошу вопросы подавать в ручном виде,— сказала Аллочка.— Иначе, товарищи, мы здесь и до утра не закончим!— И постучала ногтем по часикам. (Девица явно опаздывала на свидание.)

Лектор понес дальше:

— Во многих странах созданы хранилища замороженного семени, но здесь мы немного отстаем...

— Замолчите! Я вегетарианка!— царственно заломив руки, вскричала Мубельман-Южина.— Умоляю! Замолчите! Где лекция «Комар — человек — общество»?! Вы перепутали аудиторию или тему!

— Скорее всего, я перепутал и то и другое,— пробормотал лектор.— Значит, вам о комарах? Так бы сразу и сказали!

Дальше он проявил удивительную гибкость и ассоциативность мышления, ибо перешел на комаров, но и мяса не бросил.

— Между комаром и говядиной существует прямая зависимость, товарищи! Во время массового лета комаров снижается не только работоспособность людей, но и у домашних животных резко падают надои молока и привесы мяса!— Продолжая говорить, он судорожно искал в портфеле новый конспект.— Итак, среди многочисленных насекомых ученые выделяют группу двукрылых. Их, в свою очередь, делят на длинноусых и короткоусых... Товарищи, может, прервемся, покурим?— вдруг предложил взмокший лектор: он не мог найти конспект.

Закурившая лекционная группа на пленере двора по композиции напоминала некоторую смесь из «Завтрака на траве» Мане и бессмертных «Охотников на привале» Перова, хотя чесались все уже как самые вшивые павианы.

Мимо проходили к мусорным бакам жильцы соседних дворов с мусором в пакетах. (Ныне модно выносить мусор не в ведрах, а в пакетах из рваной газеты.) Проходящие поглядывали с издевочкой, ибо квартал отлично знал о нашей подвальной самодеятельности и нынешней расплате за нее.

Штук пять бесхозных кошек, проживающих в котельной, бродили вокруг, рассчитывая на то, что кто-нибудь погладит лишай на их спинах. Кошки настырно лезли к ногам и начинали мурлыкать еще за метр, демонстрируя извечное у бездомных существ соединение наглости с подхалимством.

Митяй на травке безмятежно посापывал. Жаба вылезла из кепки и сидела у него на груди.

От всего вокруг веяло стабильностью и миром, если бы только комары не вызванивали свои леденящие кровь симфонии.

Лектор наконец нашел конспект и просто, по-домашнему повел рассказ дальше. Было интересно узнать, что биомасса насекомых на планете значительно превосходит биомассу человечества и продолжает стремительно расти; что в Африке самые ядовитые комары выводятся в ямках от слоновых следов...

— Слушай, ты, морда! — вылетело из безликой массы. — Ты нам про Африку не заливай! Чего делать с ними будете, морды?!

Лектор легко и привычно перевел вопрос на культурный язык:

— Вот тут спрашивают: «Что конкретно можно сделать с комарами?» Уже многое делается, товарищи! Не так давно в южные районы нашей великой страны завезли из Америки рыбку гамбузию, которая питается личинками комаров. Рыбок запускают на рисовые чеки — количество комаров уменьшается, гамбузии же отлично развиваются и, несмотря на незначительную величину, могут служить украшением любого стола! Но, товарищи, гамбузия может жить только в теплых водоемах, а мы с вами пока живем в Ленинграде...

— Вези гамбузию! Я ей валенки с галошами куплю, — вылетело из безликой массы, — и — под пиво!

Последнее слово произвело на Митяя чудодейственное воздействие. Он проснулся, вскочил и обвел вокруг выпученными, как у своей жабы, глазами.

— Не дам бить комариков! — заорал Митяй. — Мы не азиаты, чтобы живых тварей под корень из природы! Пу-

щай азиаты мух душат, мать их, а мы нашего комара жалеть должны!

С этими словами он схватил жабу, раскрутил ее над головой и запустил в небеса.

И пока жаба не шлепнулась где-то на крышу, мы все, обомлев, хранили мертвую тишину, которой первым воспользовался Требов.

— Некоторые нетипичные азиаты — товарищ прав — действительно передушили всех мух, — протрубил его иерихонский бас. — И что из этого вышло? Культурная революция у них вышла! И нам пора перестать делать из мухи слона! Да, у нас развелись комары! Да, они нас кусают! Но в США наводнение крыс! Крыса — это вам не комар! Она загрызает ребенка! В Чикаго за труп крысы власти выплачивают доллар! Один негр там заработал на крысах семьсот двадцать долларов за сутки! И Чикаго вынуждено было обратиться с просьбой о федеральной помощи к президенту! А нам стыдно распускать нюни, товарищи!

— Кстати говоря! — с новой энергией, но жалостливым голосом понес лектор. — Вы когда-нибудь думали о том, что у комара, как и у каждого массового вида в природе, очень много врагов? Беззащитных личинок и куколочек комариков хватают прожорливые водяные жуки и клопы! А едва комарик вылетит? И в воздухе его подстерегают смертельные опасности: днем — птицы, ночью — летучие мыши...

— Эх комарики-комарики мои! — истошно зарыдал Митяй и бухнулся на колени, стуча в жилистую грудь кочегарскими кулаками.

Допившая уже давным-давно пиво безлика масса тоже закручинилась по комарам, из нее донеслось:

— Много комаров — быть хорошему овсу!

— Попы поют над мертвяками, комары — над живыми!

— Все ясно!

— Давай закругляйся!

Лектор удовлетворенно начал собирать бумажки, защелкнул дипломат, поклонился и задушевно произнес:

— А что до самих комаров, то тут секрет простой: надо научиться не обращать на них внимание, и тогда их словно не будет. Еще вопросы? Нет? Благодарю за внимание...

— Каких наук вы доктор?— кокетливо спросила Мубельман-Южина.

— А кто вам сказал, что я доктор наук?— спросил лектор.

— Я!— торопливо покидая беседку, крикнула техник-смотритель.— А вы академик, что ли?

— Товарищи, это недоразумение,— объяснил лектор.— Я просто доктор, врач. Обыкновенный психиатр. Без степени. Моя профессия — снимать у населения стрессы...

— Подожди еще минутку, благодетель!— странно прорычал Михаил Германович.— Я тебя поблагодарить хочу!

И тушу генерала как-то боком понесло к беседке. Поднявшись по ступенькам, он стал прямо против лектора и, бездарно теряя фактор внезапности, сказал:

— Сними очки! Я тебя бить буду!

Толпа загоготала.

Толпа всегда готова принять намерение шутить за саму шутку. Даже больше. Толпа часто не оценивает шутку, если эта шутка не предварена явным намерением оратора вскоре пошутить. И вот этого именно намерения-намёка массе вполне достаточно для гогота. Тут даже так получается, что саму шутку толпа чаще всего и не замечает, и над ней не смеется, ибо, чтобы оценить шутку, надо хоть чуточку, но подумать, а времени на это нет.

Психиатр послушно снял очки, спрятал их в дипломат, потом зачем-то снял лакированные туфли и покорно подставил физиономию генералу.

Михаил Германович сокрушительно замахнулся.

Лектор подпрыгнул, перевернулся в воздухе и врезал генералу пяткой левой ноги в лоб. (Таких номеров нашему Октавиану и не снилось!) Это была великолепная демонстрация смеси самбо с джиу-джитсу. Оказалось, психиатр был из тех международных мастеров этой штуки, которым категорически запрещено использовать в деле кулаки, голову и правую ногу. А левой ногой — в целях допустимой самообороны — можно пользоваться, но без ботинка, то есть голый, мягкой пяткой.

В результате Михаил Германович добрался на седьмой этаж (лифт не работал) самостоятельно, с самой незначительной моей помощью. После каждого марша, правда, он садился на ступеньку и щупал лоб.

Конечно, я не мог оставить все это безобразие без соответствующей реакции. Всю ночь писал статью в газету

«Советская экология». Назвал «Комаринская». Статья получилась страстной, гневной, честной — в лучших традициях отечественной публицистики. По жанру где-то между «Не могу молчать!» Толстого и «Что делать?» Чернышевского.

И вот здесь, в Певеке, получил свою гневную статью обратно с сопроводилкой: «Наш журнал комарами не занимается. Рекомендуем адресовать Ваше произведение в «Вопросы философии».

«21.09. Закончили выгрузку овощей и 12 735 ящиков портвейна, вермута и другой бормотухи в бутылках. При зачистке под метлу трюма № 1 обнаружены деформации в наборе и обшивке корпуса. Дана заявка на производство сварочных работ главному инженеру порта Певек».

Ну-с, в таких случаях составляется технический акт, который вручается капитану порта. Для составления акта назначается комиссия.

Назначенная комиссия лезет в трюма, где метель закручивает снеговые вихри, и где почему-то кажется холоднее, нежели на палубе, и где комиссия ползает по бортам, ощупывая голыми руками грубую и угрюмую сталь уставшего корпуса, который есть главный хранитель наших жизней.

Конечно, нелепо было бы ожидать, что прошлый путь, который никто от нас не отнимает, не оставил бы на судовом корпусе своих рубцов. Эти рубцы неизбежны, как неизбежны морщины на лбу и их углубление с каждым прожитым днем.

Я в трюм не полез. Посмотрел сверху в его стылость — и закружилась голова: отвык от высоты. Но признаваться себе в том, что боюсь обледенелого скоб-трапа, узкого лаза, мстительного железа, не стал, ибо действительно нужды туда лезть не было: стармех и старпом отлично дело знают. А коновалы-сварщики на трещины в ребрах-шпангоутах наложат горячие бинтики-швы за несколько часов. Здесь даже фельдшер нам не требуется.

Вечером смотрели по телевизору «Девять дней одного года». После судебных фильмов это выглядит прямо божественной чушью! (А чушь потому, что фильм не имеет к реальной жизни вообще никаких отношений.)

**В ЛЕДОВОМ
ДРЕЙФЕ,
ПЕСЦЫ**

На земном шаре нет магистрали, схожей по трудности с Северным морским путем.

М. М. Сомов

В четыре часа ночи прибыл лоцман — старый мой знакомый, — бог знает, сколько раз мы с ним в Арктике встречались. Бодренько подбежал буксир «Капитан Берингов» — опять старый знакомый. И совсем не постаревший. Поехали от причала на рейд. К пяти часам стали на якорь.

Заснул, размышляя о том, как же мне все-таки быть с ботинками, плащом и пилоткой? Клоунское какое-то положение. И под эти размышления придумал клоунскую репризу для цирка, — не отпускает он меня.

Рыжий коверный ходит по арене с пакетом рафинада и пучком шампурных палочек с кусочками шашлыка. Когда какой-нибудь артист срывает особо бурные аплодисменты, Рыжий подходит к нему и незаметным жестом, каким обычно дрессировщики подкармливают животных, сует в рот артисту кусочек сахара или со страхом и отскоками дает ему скушать с шампура мясо — как делают укротители со зверскими хищниками.

Наконец заснул и оказался на ледоколе, которым команду. Две машины. Надо развернуть ледокол в узкость. Я работаю машинами враздрай на полных ходах. Все идет нормально... Проснулся. Вижу в иллюминатор: близко становится на якорь «Харитон Лаптев», обрабатывая задним.

Очевидно, звук его машин и винтов родил в усталых мозгах почти полную сонную аналогию.

Поднялся на мостик. Штиль. Быстро несет мимо льдины, чистые, белые. На них возлежат в позах древних римлян черные нерпы. Залюбовался их черными отражениями в дистилляте голубых вод.

Но вдруг возник в эфире шум и гам: «Внимание всем! Дети на льдине! Уносит в пролив!»

И швартовый катер помчался на спасение, лавируя среди белых льдин и черных отражений по дистилляту голубизны и покоя.

Заигрались детишки. Опять Игра и ее роль в жизни. «20.30. Закончили сварочные работы. Согласно указанию Штаба ожидаем л/к «Владивосток» для движения на запад. Плавающий на течениях лед, отдельные льдины размером сто на пятьдесят метров. Машина в постоянной готовности».

Очень поздно мы выходим на запад. Каждый час ожидания мучителен.

«23.09. 09.50. Получили указание «Владивостока» следовать самостоятельно ему навстречу. 12.00. Следующим переменными ходами и курсами во льдах сплоченностью 6—7 баллов по указанию дублера капитана».

Хладнокровный штаб холодного Певека оказал напоследок подозрительную любезность: прилетел вертолет и пометался над заливом, своими курсами показывая нам разводья, по которым надо было выходить.

Честно говоря, я так и не научился засекаать в уме проекцию движения летательного аппарата на морскую поверхность. Попробуйте хорошим летним днем наблюдать за метаниями стрекозы над лужей, а потом, когда стрекоза улетит, попробуйте повторить ее метания, но сделайте это в уме и спроектируйте на нужную поверхность, а потом еще проведите по этой проекции кораблик.

Мы в балласте, то есть пустые. Нос задрался. Удары льда принимаем не только форштевнем, но и носовой частью днища. Чтобы немного заглубить пароход, приняли в третий трюм забортной водички. Есть серьезные опасения, что паёл (трюмный пол-настил из досок) может всплыть, хотя поверх досок наколотили тяжелые крепления.

Солнце. Ясно. Морозец. Красотища.

Прощай, Певек. Вряд ли я когда-нибудь еще раз буду стоять в стоголовой очереди за бледным брандахлыстом-пивом на твоих грязных берегах и неделями ожидать очереди на рейде. Хорошего понемножку.

Тысячами летят на юг утки. Дрянной знак. Значит, на севере уже вовсе нет разводий, если они так панически драпают.

«12.32. Легли на курс к месту формирования каравана. Встретили гидрографическое судно «Створ». Застопорили машины, легли в дрейф. «Створ» кормой подошел к нашему левому борту, приняли с него гидрографическое снабжение...»

Говорят, пьяницам всегда везет — значит, я законченный уже пьяница и море мне теперь по колено!

«Гидрографическое снабжение» — это пакет с моими шмотками: плащ, ботинки, пилотка!

«Створ» подходил осторожно, тяжело ему было во льду. С крыла ухмылялись рожи судоводителей, полностью, конечно, информированных о нашем конфузе. В обмен на «гидрографическое имущество» полетели ботинки коллеги сорок пятого размера.

Последние приветственные отмахи рук.

Ложимся на курс. И только тогда я вспоминаю, что прошлый раз у меня единственное было хорошее мгновение, когда я добился справедливой очередности постановки к причалу «Державино», сидел потом в ожидании рейдового катера над синей, безо льдов бухтой, противоположный берег которой представлялся замороженным тюленем, и с гидрографического суденышка «Створ» грел мел Высоцкий:

Я не верю судьбе, я не верю судьбе!
А себе — еще меньше!

Вот и не верь судьбе! Мне-то «Створ» шмотки с Колымы приволок нынче — фантастическая какая-то удача: в последний миг — на выходе уже из Певека! — успеть с ним встретиться на контркурсах и еще иметь возможность (своя рука владыка — я судно вел) застопорить машины и обменяться «гидрографическим имуществом»...

«14.00. Вышли в назначенную точку у сплошного поля двухлетнего льда, легли в дрейф на видимости мыса Шеллагского. 15.30. Сплошной черный туман, температура — 11°. 15.45. Подошел л/к «Владивосток». Строимся в ордер: ледокол, т/х «Толя Шухов», т/х «Леонид Леонидов», «Колымалес». Приказ держать дистанции 2 кабельтова. Связь на первом канале „Акации“».

Черный туман при полном солнце где-то над ним — отвратительнее уже ничего не придумаешь. И это у кромки девятибалльного льда. И надо строиться в караван, а я потерял ориентировку: кто на экране радара «Шухов»? Кто «Леонидов»? Кто «Владивосток»? На лбу-то у радиолокационных отметок надписей нет. Ну, ледокол угадать можно — он полным ходом подходит со стороны Певека, его отметка имеет кометный хвост на экране, а как с остальными быть?

И ни одного огня в черном тумане, и ни одной черной полыньи.

Да, не сразу поймешь, как это замечательно — черная полынья и огни над ней, даже если их всего три...

Когда начали задерживаться занавеси тумана, я старательно отмечал в уме положение других судов, лежащих в дрейфе у кромки, и их возможные курсы выхода в точку формирования каравана, но вот туман задернулся, все загудели, все задвигались, всё спуталось и — потеря ориентировки! Отвратительное состояние. Пожалуй, я почувствовал беспомощность. Спасло то, что до сдачи вахты В. В. оставалось пять минут.

Я доложил, что ничего не понимаю вокруг.

Он сделал обычный добродушно-коротко-скорбный вздох и сказал:

— В двадцать один час по ТВ первенство мира по танцам на льду, Виктор Викторович. Идите отдохните пока.

Но я не мог уйти с мостика, потому что каша, в которую я завел пароход, казалась мне опасной. И не хотелось дезертировать.

Уже через минуту В. В. повел «Колымалес» так, чтобы выйти на корму «Леонидова», используя радар и те следы на воде и в мелком льду, которые остаются от работы судовых винтов. Ну, кроме этого он использовал еще одну штуку — опыт и уверенность. И через минуту дал средний вперед, ибо терпеть не может малый.

— Чего вы тут торчите? — поинтересовался В. В., когда я не сразу покинул рубку. — Бойтесь, я у вас прошедший путь отниму? Если уж вас здесь пилотка и ботинки нашли, то, как сказал бы Фома Фомичев, значить, все в аккурате и торчать вам больше на мосту, значить, нечего.

И я пошел вниз смотреть танцы на льду.

Пожалуй, спроси про главное качество партнера для длительной совместной работы, и я назову скорость, степень сообразительности. Она у партнера должна быть выше моей. Если же партнер соображает, осознает окружающую действительность, ситуацию медлительнее меня, он начинает служить яростным раздражителем.

А тот, кто по сообразительности меня превосходит, служит увлекающе-завлекающим фактором. Даже его брань по моему адресу не бесит, а заводит — и опять же яростно заводит — на дело.

Вероятно, отсюда проскакивает раздражительность к детям и некоторым старикам: они и соображают, и оценивают ситуацию, и поступают замедленнее привычного стереотипа.

Критерий сообразительности равен сумме: опыт + память + логические способности, умноженной на коэффициент врожденной нахальности.

Как-то Жак Ив Кусто завел «Калипсо» в ледяную ловушку возле Антарктиды, и ситуация сложилась вовсе хреновая. Он записал в дневник: «Будь я моложе, это привело бы меня в отчаяние... («это» — зреющий на борту бунт, ибо люди хотят бежать из западни, а капитан маниакально хочет ЗАВЕРШЕНИЯ намеченного дела. — В. К.) Но сейчас я свободен от иллюзий и твердо знаю, что завершение дела зависит от воли командира, что бы ни происходило вокруг. Отвага в тяжелую минуту — вещь столь же редкая, как дружба. Или любовь».

Это он о соплывателях. С которыми тысячи раз штормовал и ходил под воду... И он не только так думает, но пишет в дневник и спокойно дневник печатает! И те, кого он упрекает в редкости отваги, кто хотел рвануть когти из льдов и айсбергов пролива Дрейка, ему это прощают, ибо знают: капитан ПРАВ. Увы, да, отвага в тяжелую минуту битвы со стихией — вещь столь же редкая, как дружба. Или любовь.

А вообще, чем естественнее человек командует, тем удачнее все получается.

Частоты передатчика «Акации» совпадают с телевизионными. Потому можешь сидеть в кают-компании теплохода «Колымалес», наслаждаться зрелищем чемпионата мира по танцам на льду и одновременно быть в курсе всех событий на мостике и вокруг судна. Из телевизора, легко заткнув его музыкальную или спортивнокомментаторскую глотку, доносятся голоса переговаривающихся в караване судов.

И вообще забавно смотреть первенство мира по танцам на льду, когда твое судно идет в тяжелейших льдах в Арктике и так сотрясается, что в телевизоре где-то отходят контакты и экран зловеще мерцает, и тогда вальсирующие в Швейцарии соперницы и соперники пропадают пропадом, а потом изображение опять возникает, но телевизионный звук заглушает морзянка или вдруг гремит голос В. В.: «„Леонидов“, вы ход сбавили? Почему не предупреждаете?!» И на фоне изяшных кружений и верчений прелестных танцовщиц «Леонидов» кротко объяс-

няет: «„Колымалес“, впереди завал!» И кажется фантастикой, что где-то далеко на суше сейчас действительно танцуют на зеркальном льду среди огней и музыки красивые люди. А тут еще возникает неожиданная мысль: «Если мы продолжаем принимать телепрограмму с маломощной певекской (через «Орбиту») станции, значит, удалились мы от Певека совсем недалеко, а ведь рубимся во льду уже давным-давно,— по сколько же миль-то получается в час? По две? По три? Н-да...»

Но эта неприятная мысль быстро оттесняется зрелищем танцев на льду — молодостью, которая совсем не боится поскользнуться, изяществом, мужеством, музыкой, праздничными огнями и живыми цветами...

Разрыв между обыденностью жизни большинства людей на планете и необыкновенностью жизни, например, этих танцоров или космонавтов, государственных деятелей или клоунов, укротителей или физиков-теоретиков, огромен и зияющ именно в наше время. Раньше, когда не было радио и телевидения, какой-нибудь дед Архип и Ленька в глухой деревне и не знали про шикарную жизнь артистов балета на льду. Теперь дед Архип придет с Ленькой с пахоты или с гумна, скинет тулуп и садится к телевизору, а там летает в невесомости космонавт или крутит двойной тулуп всяма даже соблазнительная девица. В результате что? Стресс! Но стресс Архипа и стресс Леньки будут разные. Если Архипу в данном случае следует порекомендовать «Руководство по технике массажа при различных заболеваниях нервной системы», то Леньке полезно будет прочитать «Золушку» или «Пигмалиона». Но и в том и в другом случае я бы на месте сельского библиотекаря требовал молока за вредность работы, когда бы ко мне за этими книжками обратились дед Архип и Ленька. Особенно если учесть, что в библиотеке текут потолки, на улице затяжные осенние дожди, библиотекарша подставляет ведра и тазы под льющуюся воду, спасая Г. Маркова и С. Сартакова от сырости, а по радио передают о модах на будущий сезон: «...юбки будут кокетливыми, колени можно открыть совсем» и т. д. и т. п. Вот тут и снимай читательские стрессы, веди заблудших к истине и добру книжными тропами. Да, еще забыл, муж у библиотекарши ревнивый и грозит всем мужчинам-читателям головы пообрывать и требует, чтобы на работу жена надевала платья с длинными подолами, а как тогда

с модой быть?.. Тем временем Ленька «Золушку» не берет, бубнит угрюмо, что, мол, вы, Клавдия Петровна, не правы! Книга хуже кино — ее и в жисть не озвучить, а я к звукам привык и к дикторше телевизионной, которая «Музыкальный киоск» ведет...

Зверски интересно: согласился бы Антон Павлович выступать в «Голубом огоньке» по ТВ?

А вам не кажется, что Александр Сергеевич обязательно бы согласился на такое мероприятие безо всяких яких?

«Широта 70° 16' норд, долгота 168° 24' восточная. Ледокол ушел. По его распоряжению легли в дрейф. Машина в пятиминутной готовности. Отключили рулевую. Перевели часы на час назад».

А что этот перевод означает? Все еще верим — идиоты! — что пройдем домой на запад.

Перехватили РДО с «Алатырьлеса»:

СЛЕДУЮ ВПЛОТНУЮ БУКСИРЕ Л/К КРАСИН
ЛЕД 10 БАЛЛОВ ОБЛОМКИ ПОЛЕЙ ВЗЛОМАННОГО
ПРИПАЯ ДВУХЛЕТНЕГО ЛЬДА ПЯТЬ БАЛЛОВ
ОДНОЛЕТНЕГО ПЯТЬ ТОЛЩИНА ЛЬДА 80 ТИРЕ
150 СМ ТОРОСЫ 3 ТИРЕ 4 БАЛЛА РАЗРУШЕННОСТЬ
2 ТИРЕ 3 СЖАТИЕ 1 ТИРЕ 2 ОБНАРУЖИЛИ
ПОСТУПЛЕНИЕ ВОДЫ ТРЮМ НОМЕР 1 ТРЮМ
ЗАГРУЖЕН ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВИТЬ ПРИЧИНУ
КОНКРЕТНО НЕВОЗМОЖНО НИЖНЕЙ ЧАСТИ
ТРЮМА 2/3 ГРУЗ КИРПИЧ ПОСТУПЛЕНИЕ ВОДЫ
ПО ЗАМЕРАМ 20 СМ/ЧАС ВОДА ХОРОШО
ПОДДАЕТСЯ ОТКАЧКЕ ОТКАЧКА ВЕДЕТСЯ
ЕЖЕЧАСНО ТРЮМ ОСУШАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ
ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ МИНУТ

Когда наш брат, преодолев лень, да и, чего греха таить, безграмотность в этом вопросе, начинает так подробно фиксировать состояние льдов? А только тогда, когда наш брат влипает в вовсе дрянную ситуацию.

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм «Мужские игры на свежем воздухе»!»

Ночью снилось безобразно-жуткое. Я ел жареного удава, который к тому же был жив и извивался. Такого не

придумаешь. Правда, снился еще южный базар, овощи — масса цветных овощей. Может, это по причине зубов, — ем мало, опять дистрофия начинается? При голодухе снится еда.

Утром командиры встали на час раньше: не объявили как следует об отводе часов. В журнал записали, а не объявили.

Все теряют юмор. Сидим, едим пшенную кашу. На нее есть любители, есть ненавистники. Доктор, который уже заметно психически расстроен — он первый раз в море вообще, — отказывается есть пшено и делает это истерично.

Стармех:

— А ты ее на хлеб намазывай — вкуснее будет.

Доктор:

— А идите вы все!..

Но уходит он сам — голодный.

Стармех:

— Помню, в подобной ситуации один мой электромеханик в дневной чай, ну, и неважно — может, и в утренний, брал два печенья, а нам их голыми давали, без всякой приправы. Так он между печеньями кусок черного хлеба положит и чмокает: «Во, это настоящий бутерброд!»

Буфетчица уютно сидит в кресле и читает «Королеву Марго». Она, черт побери, ее уже скоро три месяца читает!

Поднимаюсь на мостик.

Выясняется, что «Владивосток» бросил нас около пяти утра. И ушел, ничего не объяснив. Радист, правда, разнюхал, что ледокол бросил нас не от безнадежно непроходимых льдов, а по более серьезной причине. Между Колымой и нами получил тяжелые повреждения еще и теплоход «Тайшет». Он в грузу. Судно теряет плавучесть — не может справиться с откачкой поступающей через пробоины воды своими средствами. И ледокол пошел к «Тайшету», чтобы включить в это дело свои водоотливные мощности.

Нас — брошенных — трое. «Леонид Леонидов» Мурманского пароходства — с полными трюмами картошки для Колымы (с его нынешним старпомом в те времена,

когда он был еще юнцом, я плавал на «Воровском»). «Толя Шухов» из Владивостока. У него на борту взрывчатка. Тоже, между прочим, дурацкое название для судна: детишек не хватает здесь для полного счастья! Ну, и мы — с абсолютно пустыми трюмами. Если не считать воды в третьем номере. Паёл там уже всплыл. Как бы все это дело там не замерзло, если мы здесь застрянем надолго. Температура с каждым днем падает.

Во льду несколько полыней. В них плавают последние утки. Слабая низовая метель.

С «Шухова» на лед спустили человечка — ходит возле носа, вмятины, вероятно, смотрит.

Холодрыга и серость.

Возле борта уже есть бусы песцовых следов, изящные и кокетливые цепочки.

Да. Всю дорогу нам в этот раз не хватает удачи.

Ее нужно совсем немного.

Чуть-чуть.

Но без нее в море плохо.

«24.09. В дрейфе во льду 10 баллов. Отвели часы еще на 1 час. Знак Айон-Северный в 16 милях».

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм «Двое суток после бессмертия!»»

Есть такие белые чайки, что по солнечному льду ходят как бы только их клювы, глаза и лапки. А в белом небе летят уже только одни лапки.

Каким длинным путем идешь, чтобы усвоить простейшее правило: если хочешь выглядеть приличнее, то брейся два раза в день. Ведь знаешь, что западные мужчины давным-давно сделали это открытие и используют, а требуется самому дойти! Начал два раза бриться — и даже настроение лучше.

Предупредительное РДО из пароходства. О возможных сюрпризах в Красном море. Наше судно обнаружило там ночью на курсе шлюпку, осветило прожектором, чтобы выяснить, не нуждаются ли люди в помощи. В ответ получили очередь из автомата.

Эта информация будет важной и нужной, если «Колымалес» пойдет домой югом.

«25.09. В дрейфе во льду. В течение суток наблюдалось сжатие. Перо руля дважды самопроизвольно переключалось на 10° на правый борт. Для освобождения руля работали машиной до полного хода вперед. 09.40. Льдом отжат руль в положение «лево на борт». Работая полным ходом вперед, освободили перо, включили рулевую, проверили: видимых повреждений нет — отключили. 14.40. К винто-рулевой группе ветром начало поджимать большой торос. Машина в постоянной готовности. 14.50. Судно разворачивает к норду вместе с ледяным полем...»

Проснулся около пяти утра от холода. Сменился ветер. Напробывал снег сквозь микроскопическую щелочку иллюминатора. На столе образовался сугробик. Пришлось встать. Наддув ликвидировать, затянув барашки иллюминатора на рычаг рукоятью ножа. Потом опять лег, накрылся с головой тулупом. Задремал, даже что-то эротическое увидел. И вдруг мерещится, что судно покачнулось. Но стоим-то мы, намертво вмерзнув в поле. Что за черт! Шторм у кромки, и сюда зыбь подо льдом докатилась? Подвижка льда?.. Машина заработала самым малым. Куда это мы поехали?

Оделся быстренько — и на мостик. Там старпом. Оказывается, на нас несет «Толю Шухова», остается до него около кабельтова. Самые неисповедимые силы действуют на суда во льду. «Леонидова» уволокло так, что и в легкий снегопад или туман его уже и не видно. А «Шухов» со своими приближенными торосами претя на нас.

Когда старпом начал работать малым, чтобы попытаться очистить майну под кормой, это только увеличило скорость сближения.

Неприятно, когда две океанские громадины тянутся друг к другу, чтобы обнюхаться, как собаки.

Решили поднять мастера.

Василий Васильевич явился, отзевал пару минут после сна, приглядываясь к ситуации, затем высказался: «Ну, если нанесет его на нас или нас на него, то мы дальневосточникам руки пожмем с удовольствием».

Однако, конечно, сжатие начиналось нешуточное. И спать ложиться не стали, пошли сочинять гневную радиограмму Полунину, решив, что «Шухова» пронесет у нас по корме метрах в двадцати. Сочинили не так гневную, как скулящую: мол, брошены ледаколом на произвол судьбы, сжатие, подвижка льда, шевелитесь, так вас и так, а то и спасать здесь нечего будет.

«Владивосток» еще напортил тем, что ушел, а старшего флагмана на наши три судна не назначил. И мы в точности повторяем теперь поведение лебедя, рака и шуки — так, что ли?

В. В. попробовал договориться с «Леонидовым» и «Шуховым», чтобы подписать радиограмму всем трем, — солиднее, весомее, объективнее. Но «Шухов» принадлежит к тому же пароходству, что и Полунин. Портить отношения с начальством капитану «Шухова» не хочется, отправлять резкую радиограмму он отказывается. «Леонидов» колеблется, хотя восемьсот тонн картошки в его неутепленных трюмах превращаются в сырье для спиртоводочной промышленности. Тю-тю кому-то зима с картошкой. Будут макароны жевать. На метр в глубину уже картошка в трюмах «Леонидова» промерзла. Самим им на эту картошку наплевать. Наоборот, если Колыма станет, они скорее домой в Мурманск попадут — без захода на Зеленый Мыс.

В результате радиограмма пошла за подписью одного В. В.

Ответ пришел быстро:

ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ РУЛЕВОГО
УСТРОЙСТВА ЗПТ СКРУЧИВАНИЯ БАЛЛЕРА
РЕКОМЕНДУЕМ РУЛЬ ОТ РУЛЕВОЙ МАШИНЫ
РАЗОБЩИТЬ ЗПТ СРОЧНО ВОПРОС
ЛЕДОКОЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЖАЛЕНИЮ
РЕШИТЬ НЕВОЗМОЖНО = 250924 НМ ПОЛУНИН.

Он нас учит с берега отключать рулевую! И объясняет, что баллер может во льду скрутиться!!!

У В. В. даже не обычный добродушно-короткий вздох вырвался, а нормальный мат в шесть этажей.

И — а говорят, телепатии нет! — этот мат мигом долетел до Певека, ибо еще через десять минут радист положил на капитанский стол дополнительную радиограмму:

ЛК ВЛАДИВОСТОК С АВАРИЙНЫМ СУДНОМ
ТАЙШЕТ ТАКЖЕ СТОИТ ЗАЖАТЫЙ ЛЬДОМ
НЕДАЛЕКО ОТ ВАС КАК ТОЛЬКО ПРЕКРАТИТСЯ

СЖАТИЕ ПОДОЙДЕТ ВАШЕЙ ГРУППЕ СУДОВ = 250925 ЗНМ МАЛЬКО.

Вероятно, предыдущую идиотскую радиограмму отправил какой-нибудь клерк из штаба — не может же сам Полунин не спать, не есть неделями. И вот его настоящий заместитель объяснил нам обстановку по-человечески.

— Э-э-э-э-ах! — сказал В. В. — Ну право дело! Неужто, когда я сам на берег сяду, буду такую же чушь в эфир на суда давать? Помню, вскоре после войны собирали мы по финским и немецким портам трофейные развалюхи и плавали потом на них: пианино да всякую другую репарацию таскали из Варнемюнде да Гамбурга... Сейчас не об том. Как-то обнаружили тонущий пароходик, подошли к нему, брагу готовим, буксирный трос. Ну, капитан информировал службу мореплавания — все чин по чину. И посыпались ему указания типа: «на кормовые кнехты буксир не ложить» и тэ дэ. Мастер терпел-терпел, потом дает РДО: «Глубоко благодарен за ценные советы, так как до получения ваших рекомендаций хотел закрепить буксирный трос за свою дымовую трубу». И что вы думаете? Вместо благодарности да спасательной премии вlepили ему выговор за недисциплинированность. И того мало — из капитанов смайнали! Вот тут и подумаешь, как на береговые ценные указания реагировать...

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм «Черный бизнес!»»

— А у вас во «Вчерашних заботах» фактографическая ошибочка есть, — с китовым выдохом вдруг проговорил В. В. — На «Железняке», когда там зверинец был, капитаном работал Хрыжановский, его даже «тигриным капитаном» прозвали. А Хетагуров старшим помощником был. В интервью он просто расхвастался...

Около двух ночи пошел проведать своего подопечного Митрофана.

Тьма, снег метет, мороз, все тараканы на камбуз убежали, в машине потек масляный коллектор, море вокруг все запаршивевшее, заструпевшее (как все-таки будет от «струпьев»?) льдом, который во тьме выглядит особенно зловеще.

Митрофан рассказывает, как в шестьдесят шестом году они подобным образом закуковали на Енисее. Приехали в гости на двух собачьих упряжках якуты, напились, ясное дело. Затем более трезвые уложили мертвецки пья-

ных на сани, сцепили упряжки цугом и укатили. Но вожак той упряжки, хозяин которой был мертвецки пьян и которого увезли, всего этого дела не понял и остался возле судна, ожидая владыку. Трое суток кружил вокруг по льду и так выл, что его решили пристрелить, ибо слишком действовало на нервы. И начали по нему стрелять, но он прятался за торосы и все-таки не уходил. И выиграл Игру пес! Проспавшийся хозяин хорошо знал своего зверюгу и вернулся за ним. Вот это была встреча!

И в Айонском ледяном массиве я вспомнил индийский рассказ Киплинга «Мятежник Моти Гадж»: о слоне и беспутном махауте Тиссе, а читал его лет сорок назад.

К одиннадцати утра ветер порывами двадцать один метр в секунду. Руль самопроизвольно пошел на левый борт и стал на ограничитель.

В. В. отправляет меня на корму смотреть за положением льдин. Он решил попробовать поработать вперед полным, чтобы освободить перо руля — лучше погнуть лопасти винта, нежели свернуть баллер. Надеваю тулуп, опускаю уши шапки. Палубы — каток для мирового первенства по танцам на льду. Простывший металл. По нему струит поземка. До чего же злобен металл, когда простынет, — каждый поручень, угол, траповая ступенька хотят тебе изменить. Осторожно надо, уважительно к озлобленной стали.

Ветром сносит к фальшборту. Как хватил морозного воздуха, так сразу схватило любимый зуб — хоть волком вой. За бортами на льдинах снег закручивает танцующими джиннами.

Вот влипли-то!

На корме с трудом включаю замерзшую трансляцию, докладываю, что прибыл на наблюдательный пункт. Описываю картинку, которая сложилась под кормой.

Для того чтобы ее разглядеть, пришлось лечь на палубу плашмя и высунуть голову за леера. Корма-то скошена к рулю и винту — прямо вниз ничего нужного не увидишь. И вот, раскорячив ноги, цепляясь за стойки лееров, нависаешь над ледяными сталагмитами и сталактитами.

Самую близкую и опасную для руля и винта льдину называю для себя «гриб-стоматит». Это ледяная скала, подножие которой явно влезло в лопасти винта. Поверх вертикального ледяного осколка, весом тонн в двадцать,

каким-то чудом взгромоздился плоский — вот и получился гриб. А «стоматитом» назвал из-за омерзения к этой льдине. Она опасна. Последняя слабая надежда: есть метра два чистой воды между баллером и нагромождением льда.

В. В. начинает работать передним. Потому, что на лед выплескивает зеленая струя воды, понимаю, что винт провернулся, преодолел, раздробил подножие «гриба». По направлению струи легко определить, куда смотрит перо руля. Судно уже дрожит — набирают полные обороты. Струя все еще идет не прямо за корму, а влево под крутым углом — значит, руль продолжает лежать на левом борту. Отодвинувшиеся метра на полтора под напором струи льдины шевелятся, лезут друг на друга и переходят в контратаку — рушатся в освободившееся пространство, топят одна другую, лезут в винт. Это сразу чувствует машина — обороты падают. Воображаю, как В. В. сейчас сжал челюсти. Но продолжает работать вперед полным. И побеждает — зеленая кипящая струя отходит к диаметральной плоскости, — перо руля вышло из заклинивания.

По трансляции рекомендую убавить до малого и все время так работать. Очень хочется рвануть в жилье. Из носу льет, глаза слезятся от ветреного снега, перчатки промокли, сердце бьется, хвост трясется. Но нужно еще понаблюдать за «грибом». Что получится, если махина обрушится под корму, а винт вращается? Неуверенности, неуверенности, неуверенности... Первый раз я в такой сложной ледовой ситуации. Правильно ли мы занимаемся всей этой самодеятельностью? Каждую секунду надо принимать решения, и каждое решение может быть аховым.

О том и говорим, когда на корму приходит В. В. Он в любимых стоптанных до основания ботинках и без перчаток. Перчатки не надевал ни разу в жизни. Здоровенные лапы спокойно ложатся на злобный металл лееров. Ворот распахнут, шапка на затылке. Вот пижон! Забыл, как валялся в полубреду с воспалением легких. Не верится человеку, что стукнуло пятьдесят три и пора бегаться.

Не учат нас стареть. Когда-нибудь будут учить. Этому надо учить начиная со школы — очень сложное и трудное дело старение.

Спускаемся в румпельное отделение. Красавица английская рулевая машина. Щеголеватая чистота и блеск

езде. Чувствуется властный и знающий хозяин — Октавиан Эдуардович.

А вот и он сам является. Видок невыспавшийся.

Спрашиваю:

— Плохо спалось?

— Нет. Просто допоздна армянское радио слушал.

— И что армяне говорят?

— Они утверждают, что наша жизнь дорожает, так как не является предметом первой необходимости. Остальное забыл.

— Помолчите,— говорит В. В.

Стоим, молчим, глядим на указатель положения руля. Руль «дышит»— ходит с борта на борт градуса по два. А что получится, если застопорить двигатель? Плохо получается. Через минуту руль уходит до ограничителя на правый борт. Это сразу навалились на перо льдины и отжали, и теперь хотят скрутить баллер.

Продолжаем стоять, молчать и глядеть на указатель положения руля с полной серьезностью и сосредоточенностью.

Вдруг В. В. прыскает себе в огромную ладонь, а потом уже откровенно хохочет и тычет в нас с Октавианом пальцем:

— Знаете, кого мне напомнили? Была у меня кенарша, Венашкой назвал — от Венеры. Очень красивая канаречка, соблазнительное существо. Ну, кавалера надо. И не простого, а тоже красавца и Аполлона. Привез из Лондона джентльмена — десять фунтов не пожалел... Скрутит нам руль, как пить дать!

— И чем же мы на ваших кенарей похожи?— с некоторой готовностью обидеться спрашивает стармех.

— А вот моя красавица обожала в зеркало глядеться. Сидит перед зеркалом часами и глядит на себя — наглядеться, налюбоваться не может. Точно как мы на твою рулевку сейчас пьемся. Привез я ей лондонского джентльмена за десять фунтов. Моя красавица его и близко не подпускает. Лупит по башке почем зря — пух летит. Отлупит, сядет перед зеркалом и опять на себя любит. Ладно. Привез другого красавца, из Венеции,— двадцать тысяч лир не пожалел. Тоже лупит и отвергает, так сказать, на корню. Что делать? Поехал на толкучку у Сытного, купил пару рябых и зачуханных кенарей — только парочкой хозяин отдавал. Уродины — не дай бог со сна увидеть. Моя Венера сразу в рябого влюбилась и прямо голову потеряла. Шекспир да и только. Роман. Народила

точно таких же рябых идиотиков. Греть греет, но, лахудра, не кормит по-человечески. Только сидит и глядит на них, разглядывает очень внимательно, головку в разные стороны наклоняет и сама, видно, удивляется своим рябым идиотам. Потом улетела обратно к зеркалу и обратно собой любоваться начала. Что делать? Подложил ее детисек зачуханной кенарше, растрепе. Оказалась замечательная мать! Всех выходила...

— От ваших ассоциаций начинается Институтом Сербского попахивать,— замечает Октавиан Эдуардович.

Каждое движение льда за бортом отзывается в румпельном отделении глухим эхом.

— Пойду-ка я в отпуск к чертовой матери сразу после этого рейса,— решает В. В.— И никакой весны дожидаться не стану. А сейчас — утро вечера мудренее. Партию?

Дело о козле.

— Кажется, у американцев существует обычай играть в карты приговоренным к смертной казни,— говорит Октавиан Эдуардович.— А мы будем играть в козла.

Гуськом вылезаем из румпельного.

Низко над судном проходит самолет, связь не открывает. Значит, случайно над нами пролетел.

Вспоминаем, что костяшки домино украли в Певеке школьники, когда были у нас на экскурсии.

Октавиан Эдуардович направляется вытаскивать из эбонита костяшки — он любит ручную ажурную работу.

Воруют на стоянках с судов всё. Головки проигрывателей, пепельницы, электролампочки, даже дурацкие рублевые шашки. И перед приходом в порт помполит очищает красный уголок от этих драгоценностей и прячет под замок.

В Певеке, когда разгрузка закончилась и чужие покинули судно, комиссар открыл культмассовые сокровища. И тут обрушилась экскурсия любознательных школьников. Мы им рассказывали разную морскую чепуху, напоили чаем с конфетами — приятно было глядеть на мальчишек и девчонок. А они сперли кости. Далеко пойдут ребята.

Двадцать шестое сентября. В дрейфе, в ожидании околки и проводки.

Ночью заштилило. Солнце с четырех утра по судовому времени. Ясность в атмосфере. Лед от горизонта до горизонта сторосился. Торосы невысокие — метров до двух, но их гряды охватывают три наших судна концентрическими

дугами. Будто попали мы в пасть белого сверхгигантского кита.

Снег возле торосов начинает таять с солнечной стороны.

Синие тени.

Использовал потепление, чтобы помыть в каюте окна с наружной стороны. Стекла покрыты коркой соли. Мыл горячей водой. И сразу все в каюте засверкало от врывающегося солнца. Великолепная штука — вымыть окна! Великая штука — солнце!

Меня, каютного домоседа, не способного вытащить нос из книги или газеты, вдруг повело на палубу. И мало того, я, обнаружив на полубаке лопату, принялся сбрасывать снег с палубы за борт.

Снег так блистал, что пришлось сходить за темными очками.

Как замечательно лопата подрезает плотный снеговой наддув, как она приятно скользит по ледяной корке, покрывающей сталь под снегом, как снег весело летит за борт...

Несмотря на штиль, давление льда на корпус остается сильным. Руль продолжает перекидывать с борта на борт.

Решили, что ждать освобождения из ледовой темницы раньше чем через неделю бессмысленно, но ершиться следует, и о себе напоминать тоже следует.

РАДИО ПЕВЕК НМ ПОЛУНИНУ КОПИЯ
ЧЕКУРДАХ КНМ ЛЕБЕДЕВУ УЖЕ ПЯТЬ СУТОК
ПРОДОЛЖАЕМ СТОЯТЬ ОЖИДАНИИ ЛЕДОКОЛА
ТЧК КОГДА МОЖЕМ РАССЧИТЫВАТЬ НА
ОКОНЧАНИЕ РЕЙСА НЕОДНОКРАТНО НАМИ
УКАЗЫВАЛОСЬ НА ПРОВОДКУ СУДОВ ВНЕ
ОЧЕРЕДИ ДОЛЖНО ЖЕ БЫТЬ КАКОЕ-ТО
ПЛАНИРОВАНИЕ = КМ МИРОНОВ.

Текст сочиняли вместе.

Не думайте, что составить РДО на море — дело простое. Тут полно сложнейших и тончайших нюансов. Чрезвычайно опасно раздражить начальника, от которого зависишь. Но в то же время надо выказать ему свою твердость. Нужно быть еще более скупым на количество слов, нежели даже в стихах. Лишние слова толкуются адресатом как утрата тобою невозмутимости, хладнокровия, спокойствия. Очень трудно сбалансировать правдивость информации и количество утаенности. Вот вокруг вашего судна началась ледовая подвижка и сжатие. Со-

общать об этом начальству? Тут без пол-литра не разберешься, тут закон «пиши, что наблюдаешь» никак не подходит. Ибо можешь начальство испугать (или вспугнуть!). Оно возьмет да и решит: если у них сильное сжатие, то и посылать к ним сейчас ледокол смысла нет — он там сам застрянет. Пушай, голубчики, кукуют, а мы тем временем выведем тех, кто близко к открытой воде болтаются...

ПЕВЕКА НР 2726 85 27 0915 ТХ КОЛЫМАЛЕС КМ МИРОНОВУ ПОНИМАЕМ ВАШЕ НЕУДОВОЛЬСТВИЕ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ТЧК ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ЗАДЕРЖКИ КРАЙНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА ТЧК ОПЕРАТИВНЫХ ВОПРОСАХ ШТАБ СТРЕМИТСЯ ВЫБРАТЬ РЕШЕНИЯ БЛИЗКИЕ ОПТИМАЛЬНЫМ СОЖАЛЕНИЮ ПРИ ЭТОМ НЕКОТОРЫЕ СУДА ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ТЧК НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИЧИНЕ СЖАТИЯ ДВИЖЕНИЯ ВАШЕМ РАЙОНЕ НЕТ ВОООЩЕ ТЧК УЛУЧШЕНИЕМ ОБСТАНОВКИ ПОДХОДОМ СИБИРЬ АДМИРАЛ МАКАРОВ ПЕРВЫМ ЗАПАД ПЛАНИРУЕТСЯ ТХ ЛЕОНИДОВ ТХ ШУХОВ ИДУЩИЕ КОЛЫМУ ГДЕ НАВИГАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ТОЛЬКО ЗАТЕМ ВАША ПРОВОДКА ТЧК ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ ЭТО ЭКИПАЖУ НАБРАТЬСЯ ЕЩЕ ТЕРПЕНИЯ ПОСКОЛЬКУ ВПЕРЕДИ ШИРОКОЙ ДОРОГИ НЕ ВИДНО = 270916 НМ ПОЛУНИН.

Такие вот дела. В непривычном многословии радиogramмы, в «оперативных решениях», «оптимальных вопросах» и прочих оборотах сквозит неуверенность штаба и даже, пожалуй, растерянность.

С шуточками, но начинаем поговаривать о зимовке.

А когда остаешься один, юмор исчезает. Бесит и пшенная каша, и то, что за весь рейс так и не удалось добиться от буфетчицы занавески на дверь. Дверь каюты я по непонятной своей привычке не закрываю в дневное время. И самое удобное мое место на койке просматривается любым проходящим по коридору надстройки моряком. И бесит уборщик-курсант-матрос-практикант-декадент: возится в коридоре по утрам полтора часа, хотя приборку можно сделать за десять минут, сачкует: после пылесоса тяжелая работа на палубе ожидает его.

А за иллюминатором садится в суровые льды солнце.

И ропаки, торосы засветились розовым, превратились в стаи розовых фламинго. Удивительна эта нежная розовость на стылом океане.

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм «Трынтрава»!»

Среди розовых фламинго скользит песок. Они уже не боятся судна, бродят под бортами, посматривают вверх. Много чаек, самые разные. Но и песок и чайки кажутся менее живыми, нежели эти розовые фламинго. Вру, конечно. Нет ничего более живого, изящного, хищно-кокетливо-го, нежели песцы.

Своих прозаических слов и талантов не хватит, чтобы передать впечатление, когда следишь за песцом, приближающимся к судну по вздыбленным льдам. Обопрись на Багрицкого. Правда, он это про соболей писал, а не о полярных лисичках:

Бежать, бежать, бежать,
Кружиться, подниматься.
Скользить, лететь, скакать.
Опять, опять, опять!..

Иногда неожиданно возникший на ледяной глыбе песец напоминал мне женский голос, заплутавший в торосах. Должны же здесь, в ледовом океане, бродить женские голоса, если нас кто-то ждет.

И еще кажется, что песцы чувствуют людские любующиеся ими взгляды и начинают изящничать уже специально — возьмет и застынет на гребне тороса, согнув и поджав переднюю лапку. Мордочка повернута к ближайшей чайке. Хвост пышный, легкий — по ветру. Стоит существо неподвижно, а в этой неподвижности и скользит, и летит, и кружится, и поднимается.

Они еще не абсолютно белые, еще не закончили линьку, серебрятся, грязноватые иногда, роются в отбросах, жрут все, что валяется на льду вокруг судна. Их следы покрывают снег на льдинах сплошь. Веселее с ними жить в дрейфе. Да вот еще и кто-то из хороших актрис поет по радио Окуджаву, про коня, который притомился и не знает, куда ему ехать вдоль красной реки.

И на этом заканчивается очередной день — бело-желтое солнце падает под аспидно-сизый лед, улетают фламинго и шуршит, шуршит, шуршит по стеклу иллюминатора жесткий снег, поднятый ветром со льда.

«28.09. В дрейфе, в ожидании околки и проводки.— 5°. Сжатие».

Повторная шифровка: в Красном море наше судно заметило шлюпку, осветило ее прожектором, чтобы выяснить, не нуждаются ли люди в помощи. Получили в ответ очередь из автомата по мостику.

Ледокол «Капитан Сорокин», пробиваясь к нам, потерял лопасть и сам теперь кукует. С вертолета, который взлетел с «Владивостока», сообщили, что сам «Владивосток» затерт льдами, движения не имеет, дрейфует вместе с «Тайшетом», который продолжает принимать воду и вот-вот булькнет. Вертолет наведалься, чтобы осмотреть с верхотуры положение нашей троицы. Вызвал его «Леонид Леонидов», который получил два тяжелых навала торосов в корме, в результате чего ему искорежило руль. Про картошку они больше вообще не упоминают — замерзла картошка в необогреваемых трюмах. Температура — 10°. Мы с В. В. пьем чай и рассказываем анекдоты. А что еще делать-то? «Сибирь» ушла обратно к «Капитану Сорокину», чтобы помочь ему обрезать или заменить лопасть. Раньше трех суток не вернутся. Во влипши!

С «Шухова» по льду пришли двое матросов, принесли кинофильмы на обмен. Хвастались тем, что уже поймали и убили шесть песцов. Какие у них при этом были мерзкие морды — какие-то воспаленные от кичливого хвастовства и все еще неудовлетворенной жадности.

29.09. «Владивосток» вроде взял на усы «Тайшет» и пытается вытащить его к Певеку, но дело идет туго. «Сибирь» к «Сорокину» не дошла, сама легла в дрейф — ремонтируют какую-то трубу. Пасмурно, серо, мерзко. И огромные торосы под кормой. Винт проворачиваем валоповороткой. Начал рассказ про Аркадия Аверченко. Давно его обдумывал. Начал с середины — с очереди за пивом, когда Аверченко восхищается тем, что у всех люмпенов-алкоголиков в руках по огромной сетке с апельсинами.

Хемингуэй гонялся за сравнениями в своей прозе и уничтожал их с той настойчивостью, с какой я гоняюсь

за комарами, но редко уничтожаю как свои сравнения, так и комаров, — не хватает воли, и удачи, и ловкости. И долгое время меня беспокоили метафоры. Какое-то внутреннее ощущение требовало ограничиваться прилагательными. И даже из прилагательных выбирать только одно — самое точное. Но это внутреннее самотребование наталкивалось и на такое же сильное сопротивление. Если ты не ищешь сравнений специально, если они сами тушканчиками прыгают из-под пера, то почему не давать им, бедным и милым, родиться на свет?

И вот получил недавно письмо умной и талантливой читательницы. А может, она и про писательство думает, хотя от талантливого письма до писательства путь такой же длинный, как от меня до Толстого. Она объясняет свою тягу к сравнениям с пронизательностью и глубиной необычайными: «Зачем тянет... Наверное, чтобы выразить переплетение ощущений, пересечения миров, блуждания души».

В яблочко!

И потому не буду больше бояться сравнений.

И все дела.

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм «Чудо с косичками!»»

Начал читать Грэма Грина «Проигравший получает все». И сперва пришел в восторг. И решил обязательно писать «Столкновение в проливе Актив Пасс», взяв материалы по аварии у транспортной прокурорши и Юры Ямкина. И даже сочинил первую фразу и записал ее: «Когда человек заходит в одиночестве слишком далеко, он перестает пытаться выйти из него. И правильно делает. Ибо это значило бы возвращаться, а следует идти только вперед».

В 22.30 закончил читать Грина в состоянии обалдения. Это же надо! Грэм Грин печатает хиленькую, из пальца высосанную чушь о бухгалтере, миллионере и рулетке в Монте-Карло.

А вот прошлый, сильный, мудрый, спокойный Грэм Грин:

«Если нельзя закончить книгу на одре смерти, то любой конец будет приблизительным...» Сам он часто заканчивал книги и на неудаче, провале судьбы, почитая такое, вероятно, одним из вариантов смерти героя.

«Сегодня наш мир как-то особенно падок на любую жестокость. Уж не тяга ли к далекому прошлому — то удовольствие, с которым люди читают гангстерские романы и знакомятся с героями, ухитрившимися упростить свой духовный мир до уровня безмозглых существ. Мне, понятно, вовсе не хотелось бы вернуться к этому уровню, но когда видишь, какие бедствия и какую угрозу роду человеческому породили века усиленной работы мозга, — тянет заглянуть в прошлое и установить, где же мы сбились с пути».

Скромное желание было у Грина: пробрести сквозь Африку без карты и найти пункт, с которого человечество потеряло след истины и зашагало в чащобу мрака. И он пошел через Африку искать во мраке исток сегодняшнего тулика. И пришел к книге «Проигравший получает все».

После ночного, тяжелого, густого, морозного тумана все снасти обросли седым инеем.

Получили РДО из пароходства. Теперь предупреждают о многочисленных случаях пиратства в Малаккском проливе. Инструктируют о порядке вызова быстроходных полицейских катеров. Куда катимся?

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм «Нападение на тайную полицию!»»

30.09. Айонский ледяной массив, в ожидании околки и проводки. Температура — 3°. Сильное торошение.

Вчера две утки убились, ударившись о рангоут. Мандмузель возмущена тем, что повар не умеет обрабатывать дичь. Надо было уток положить сперва в кипяток, потом ощипать, а повар ободрал перья вместе с кожей.

Нынче сняли с трюма полуживую, замерзшую утку. Матросы посадили ее на диван в лоцманской каюте, обогревают.

В. В. смотрит на утку, восторженно сияет ясными глазами под седым непокорным коком, говорит: «Хорошенькая какая!»

Ночью видели на западе зарево прожекторов полупроводника, то есть ледокола «Владивосток».

«Сибирь» отремонтировалась и прошла за сутки четыре градуса долготы.

Песцы порхают по сугробам с грацией то ли бабочек, то ли девочек из первого класса балетной школы. Когда над ними низко пролетают чайки, песцы останавливаются и задирают хищные мордочки к небесам.

Василий Иванович записал на магнитофон разговор штаба с ледоколом «Адмирал Макаров». Мы с В. В. прослушали запись. Хотя начальники разговаривали хитроумно и конспиративно, но стало ясно, что принято решение вытаскивать нас не на запад, а обратно на восток — всю троицу: «Леонидова», «Шухова», нас. Вытащить в безопасное место и бросить там до второго пришествия. Короче: идти нам домой югом — через разные там Сингапурь и Суэцы. Решили пока не сообщать об этом экипажу.

Лазал в трюм № 1 — для обновления привычки к высоте. Что-то в окружающей ситуации велит мне потренироваться, какая-то интуиция работает.

Когда слезал по обледенелому скоб-трапу, то обнаружил некоторую дрожь в коленках. А ведь когда-то мы расхаживали по карнизу пятого этажа в училище и поднимались на пятый этаж по канату, чтобы выкрасть закрытый в кубрике футбольный мяч.

Спустился нормально.

Один в огромном трюме.

Как здесь обостряется ощущение ледового давления на судно, хотя в трюме было мертвенно тихо. Только изредка скрип стали. На паёле в углах трюма снеговые сугробы-наддувы.

Осмотрел и проверил швы электросварки на треснувших шпангоутах и стрингерах. Мощные рубцы и аккуратные. Еще раз поклонился мысленно рабочим рукам певекских сварщиков.

В 14.00 над нами прошел вертолет с «Владивостока». Поговорили с разведчиками-гидрологами. «Владивосток» продолжает откачку воды из «Тайшета», который едва держится на плаву. «Сибирь» и «Адмирал Макаров» идут с запада, имея на усах по одному судну. Лед такой, что буксирные троса рвутся по два раза за вахту. С вертолета

еще сообщили, что нам следует ожидать сильного сжатия от норд-вестового ветра.

Благодарю гидрологов за хорошие (в кавычках) вести. Разведчики — молодые славные ребята. Были у меня в гостях в Певеке. Разговаривали «за политику», то есть о бедламе вокруг. И вот они прилетели, чтобы поболтать с нами с небес. Передают привет от Леонида Мурафы.

Я: «Чего с вашими приветами делать? Вытягивайте нас отсюда! Мы уже заплесневели!»

С небес: «Вы не одни так припухли! Восемнадцать судов кукует!»

Я: «Нам от этого не легче!..»

Кажется, в твердыне слов «на миру и смерть красна» обнаруживается трещина. Плевать мне на мир. Своя кожа ближе к своим костям.

Перечитал «Песню в подарок друзьям» Мурафы. И отправил ему радиogramму с просьбой отнестись к стихотворству серьезно, тренировать руку, пробовать и прозу. Проявил такую заботу, вероятно, потому, что представил первым исполнителем «Песни» Володю Высоцкого. С каким широким издевательским размахом он ее споет! И как ему понравится текст, ежели сам он написал:

Когда я спотыкаюсь на стихах,
Когда не до размеров, не до рифм,
Тогда друзьям пою о моряках,
До белых пальцев стискивая гриф.

В. В. (когда мы проиграли четыре партии в козла стармеху с помполитом): «И шутки ваши дурацкие! И игра ваша дурацкая — вторая по глупости после перетягивания каната!» Это он пар выпускал от злости на мою козлиную бездарность. Да, проиграть четыре раза подряд из-за тупости партнера не сахар. Особенно если сам ты ас по козлу.

Здесь позвольте заняться плагиатом. Зачем, право дело, мучиться, описывая происходящие у нас за бортом в узкой извилистой полынье природные процессы, коли они уже сформулированы авторами атласа ледовых образований?

Итак, верхний слой воды в полыньях вокруг наших трех судов явно охладился уже до температуры замерзания и в нем начали интенсивно образовываться ледяные иглы — мелкие, продолговатые, мать их в душу, кристал-

лы, имеющие, черт бы их всех побрал, форму пластин, взвешенных в воде, в черной, вязкой, мерзкой воде. Образование этих кристаллов происходит, увы, не только у самой поверхности, но и распространяется на некоторую глубину. А так как вода в полыньях находится в спокойном состоянии, то происходит интенсивное — прямо на глазах — увеличение количества этих ледяных игл, и они быстренько образуют ледяное сало. А так как вдобавок ко всему с низких небес падает пушистый снег, то он на этих скоплениях ледовых игл не тает, образуя вязкую массу снежной каши, называемую снежурой. Из снежуры рождается шуга — скопление рыхлых, пористых, белесоватого цвета комков льда, которые плотно заполняют полыньи. А суток через трое, если температура упадет еще на четыре-пять градусов, все это схватится в один монолит, и наше дело будет табак.

Пока на судне никто ни разу не спросил меня о том, «как пишутся книги» или «сколько вы получаете за сценарий?».

«31.09. В дрейфе, в ожидании околки и проводки. Температура —5°. Сжатие. В трещинах интенсивное становление молодого льда. Пурга».

Хочется, как во времена капитана Воронина, залезть на мачту с биноклем, высмотреть щель в полях и вести, вести, вести судно из западни; взломать неподвижность, драться. Все-таки чем-то это полезный рейс. Впервые я как следует понял бессильное бешенство людей, завязнувших во льдах в тридцати милях от чистой воды: и всё! — закуковали. И торжествующую радость сибиряковцев понял, когда они под парусами вытащили пароход на свободу. И челюскинцев часто вспоминал. Какая у них должна была быть слепая и жаркая злоба на этот бесстрастный, тупой лед!.. Найти, высмотреть разводье! Форсировать машину и бить, бить с полного хода!.. Но все это фантастика и ерунда. И разводий нет, и никто нынче не разрешит в одиночку рубиться во льдах.

«02.10. 01.50. Подошел ледокол «Адмирал Макаров», произвел околку, последовательно дали самый малый ход вперед, средний, полный. 02.30. Освободили перо руля от льдин, включили электродвигатель, соединили рулевую, осторожно провернули, повреждений не обнаружили. 03.00. Начали движение за ледоколом. 03.40. Застряли во

льду, развернувшись носом на чистый ост. Стоим в ожидании ледокола, который ушел, не объяснив куда».

Всего сорок минут шевеления!

А тут еще на «Толе Шухове» опять поймали песца («собачку», по выражению Митрофана, — на его вахте дело было). Отпустили на лед сетку с приманкой и вздернули на борт, когда песец на сетку забежал. Убили каким-то дрекольем, — ради шкурки? Но песцы еще не отлинявшие. Из дикости и мерзости? От скуки дрейфа? Как когда-то линчевали матросики акул в Южной Атлантике? Но акула все-таки акула, а полярная беззащитная и доверчивая лисичка — и на нее с дрекольем бросаться? Если бы еще поймали, чтобы поразвлекаться и в зоопарк отвезти...

«Плавная текучесть силуэта» у песцов. Так искусствоведы говорят о высшего качества майолике, которая родилась когда-то на далеком острове Майорка.

Удачный опыт ловли и убийства песцов на «Шухове», их, так сказать, почин, подхватили уже и на «Леонидове». Но первенство держит первооткрыватель с детским именем: каждый день несколько штук.

Бессильная ненависть к бездумным и бездушным людям.

В. В., у которого любовь к птицам и вообще живому зверью в крови, тоже переживает.

Конечно, полярные лисички не ангелы. И переполнены противоречиями. Например, безобразно ленивы, но бесовски хитры. Они умудряются даже чаек ловить. С полярных зимовий тащат все, что попадается, даже детские игрушки. Детскими игрушками потом играют песцовые детеныши — в мячик, например. Страсть песцов к воровству отмечал еще Витус Беринг. Они ему здорово плешь переели. И с тех пор не перевоспитались. Клептоманы своего рода.

Но если взять из логова-гнезда детеныша, то они потом легко привыкают к людям, ласться к человеку и уже никогда не пытаются убежать.

Взрослые дерутся из-за нор до полного изнеможения — как когда-то мы с братцем. Выбившись из сил в драке, противники лежат друг с другом рядом и время от времени кусаются, набирая полные пасти пушистой шубки противника.

Известно, что песцы следуют за белыми медведями в надежде подхарчиться объедками. Но тут им бывает тяжело, потому что медведи спокойно переплывают любую

полыню, а песцы плавать не умеют, и им приходится совершать многомильные обходные маневры вокруг полыньи, чтобы опять выйти в кильватер мишке.

Увы, они каннибалы. Спокойно могут сожрать соплеменника, если он попал в капкан и не может сопротивляться.

Мы с В. В. горды тем, что никто с «Колымалеса» пока не последовал примеру «Толи Шухова» и попыток ловить песцов у наших людей мы не замечали.

Наоборот. Последнюю пойманную утку матросское вече решило выходить. Утка ничего не ела. Перетащили ее под полубак, сделали просторную клетку, поставили обрез с водой, давали кусочки мороженой рыбы. На третьи сутки утка стала есть и кусаться, если просунешь палец.

И всех это радовало, а избивание песцов на «Толе Шухове» бесило, ибо в ледовом дрейфе они украшают жизнь каждым появлением. И вечный спутник детства Сетон-Томпсон укутывал полярных лисичек своей добротой и нежностью.

Но как остановить варварство шуховцев?

Песцов же с каждым днем становилось все больше. Они десятками кружили вокруг судов, и цепочки их следов на снегу напоминали изысканные кружева.

И тут я вспомнил фразу из письма Сталина Де Голлю: «В военной дипломатии, если надо, следует использовать не только Дарлана, но и черта с его бабушкой».

Никаких корреспондентских удостоверений у меня не было, но зато был опыт лжесвидетельства, то есть я в жизни выдавал себя и за доктора, и за оперуполномоченного в поезде Воркута — Москва, и даже за разведчика типа Маты Хари в Нью-Йорке.

Я сказал В. В., что гарантирую прекращение браконьерства на «Шухове» за пять минут. И вышел на связь по радиотелефону с «Шуховым», попросил капитана. Вахтенный помощник сказал, что капитан отдыхает, хотя было около пятнадцати часов. Я попросил капитана поднять и вызвать к рации, потому что его просит на разговор специальный корреспондент «Литературной газеты», «Комсомольской правды» и журнала «Советская природа».

Перед этой акцией я все-таки попросил у В. В. рюмку водки для укрепления духа, ибо наглое вранье — штука, требующая сильных психических напряжений, а разговаривать следовало спокойным, будничным тоном.

Капитан «Шухова» пробудился и на связь вышел.

Я ему опять представился всеми выдуманными титулами и сказал, что нахожусь здесь по специальному заданию редакций, чтобы наблюдать за отношением моряков к животному миру советской Арктики и что охота на песцов в летне-осеннее время здесь запрещена и карается по статье сто пятой дробь бис восемь Уголовного кодекса СССР — лишение свободы на срок до десяти лет. И заинтересовался тем, знает ли капитан, что за последние сутки его подчиненные поймали и убили девять песцов? Он сказал, что и понятия об этом не имеет. Это была полная чушь, ибо самый идиотический капитан знает обо всем на судне. Я сказал, чтобы он немедленно отобрал шкурки убитых песцов или их тушки, составил акт о происшедшем, шкурки и тушки с описью заложил в рефрижератор и что на Зеленом Мысу, куда он следует, его уже ждут представители соответствующих властей, предупрежденные мною о безобразном избиении животных его людьми. А убитых песцов там примут по описи. Браконьеров же я рекомендую ему наказать своей властью сразу, сейчас, потому что тогда ему будет легче выкручиваться из скандала на Зеленом Мысу.

Прямо скажем, капитан теплохода с детским названием перепугался здорово. И заверил, что все меры будут немедленно приняты.

Я чувствовал себя Суворовым в Измаиле.

И даже выиграл у В. В. три раза подряд в шеш-беш.

Он расстроился. И я, чтобы не мозолить ему глаза, решил обойти судно. Было около двадцати двух часов. Не мешало поглядеть под корму: что там с льдиной-стоматитом и прочими прелестями?

Тьма, метель, скользкая сталь, мертвая пустынность верхней палубы — и вдруг свет в машинной мастерской в кормовой надстройке. Чего это там ударники комтруда делают в такой поздний час?

Вхожу в мастерскую и вижу Володю — нашего старшего рулевого, бывшего подводника, с которым мы в силу этого находились в особенно хороших отношениях, отличного парня и специалиста. Он заканчивает сооружение именно такой сетки-ловушки для песцов, какую изобрели на «Шухове». А рядом сидит и влюбленно смотрит на бывшего подводника наша дневальная. Это ей в подарок он, вероятно, собирался ободрать линючего песца.

Не надо иметь большого опыта работы с людьми, что-

бы знать: не шуми на мужчину, не грози ему, не делай даже замечания, если в этот момент смотрит на него влюбленными глазами женщина. Получишь в ответ отчаянную дерзость, которая только подорвет твой авторитет. Потому я попросил Владимира Петровича помочь мне осмотреть лед под кормой. Пускай он мне посветит фонариком, а то рук не хватает.

На корме я ему сказал пару ласковых и велел немедленно сеть-ловушку уничтожить, ибо мы только что имели тяжелый разговор с капитаном «Шухова», и если теперь с «Шухова» заметят, что мы сами занимаемся этим же грязным делом...

Он сказал, что все понял и дает слово подводника, что охотой на песцов заниматься не будет. И только одно просит, чтобы я не говорил ничего капитану. Я сказал, что все останется между нами.

Не надо иметь большого опыта, чтобы знать: отдав приказ, его исполнение следует проверить. Так как от злости во мне все кипело, то ложиться спать я не стал, почитал в каюте книгу англичанина Перри о белых медведях и через часок опять оделся и пошел на корму, хотя вылезать на палубу страсть неохота было.

Коллега-подводник сидел на корме, опустив на лед сетку-ловушку в полной темноте. Дамы, естественно, возле него уже не было. Заметив приближающуюся тень, он рванул по скоб-трапу на кормовую надстройку. Я поднялся туда за ним, отобрал снасть, скрутил проволоку, на которой была растянута сеть восьмеркой, и сказал, что он получит свое имущество обратно, когда мы выйдем на чистую воду. Я был в таком слепом бешенстве, что этот здоровенный детина и не пикнул. Конечно, я мог бы сразу вышвырнуть снасть за борт. Но тут такой нюанс. Она была его имуществом, и мало ли для чего он ее сотворил? Поди докажи! И самовольничать в таком вопросе нам не положено. И потому я сказал, что храниться сеть будет до поры в моей каюте.

Конечно, я нажил врага, но что поделаешь, ежели иначе не просуществоешь на этом свете.

Еще на отходе в Ленинграде прозвучала во мне суконная, но полная правды мысль или фраза — черт знает: «Человек входит в коллектив через общий труд и личную ответственность». И каждый раз, когда я убеждался в том, что выполняю формулу на деле, во мне сквозь все тяготы начинала просвечивать радость обыкновенной

жизни на этом свете и хорошее настроение в свою очередь помогало следовать этой суконной формуле...

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм «Последние дни Помпеи!»»

В каюте засунул снасть в шкаф, чем весьма стеснил свои шмотки, и прочитал Перри. Мне кажется, автор не заглянул в медвежью душу, и потому книга скучна. Нельзя писать о звере только через его желудок.

Медведей в Арктике стало много больше, нежели еще десять лет назад. Это факт. И они уже наглеют — тоже факт. Значит, не совсем пустая затея вопли о сохранении наших младших или старших братьев. Эти вопли все-таки находят отзвук очень и очень во многих людях. И именно в добрых закоулках человеческих душ рождается эхо, а не в том месте, где живет страх наказания.

В этом рейсе первый мишка встретился у мыса Челюскина. Мчался от каравана панически, но — сукин кот! — успел на пути бегства еще нырнуть в какую-то прорубь, вынырнуть с чем-то съедобным и удрать за горизонт, держа это съедобное в пасти.

— Хороший зверушка! — сказал вечно хмурый второй помощник Митрофан.

Следующий мишка начал тоже с паники и бегства, но потом вдруг осадил себя на полном галопе, забрался на ропак и стал выть в нашу сторону, вытягивая шею и голову по-коровьи — вероятнее всего, выл он матерно.

И Митрофан сказал хмуро:

— Хороший зверушка... пока спит зубками к стенке.

Дальше в рейсе мы их перестали замечать и тем более считать — слишком жарко нам было на мостике.

А вообще профессионализм в какой-либо нелитературной деятельности очень опасен для литературы, очень! Он притупляет остроту восприятия, лишает удивления перед миром. Если тебе не интересен белый медведь и ты отворачиваешься от него, то это опасно...

В 14.30 обнаружили очередную неприятность: затоплена шахта лага. Естественно было предположить, что туда поступает забортная вода через деформированные сальники, но, богу слава, просто лопнул трубопровод от штевневового варианта лага. То есть вода поступала

в шахту изнутри судна, а не из-за борта. Ладно, нам лаг понадобится еще не скоро, а осушить шахту — небольшая проблема, хотя и муторная для третьего помощника и стармеха.

Никто не знал, что навигация этого года окажется самой тяжелой за пятьдесят пять лет, что Индигирка, Яна, Колыма станут много раньше обычного, а Восточно-Сибирское море фактически не вскроется ни на сутки и мощные паковые поля будут толкаться в проливах Лаптева и Санникова и в августе, и в октябре...

Вот вам и долговременные прогнозы, и паутина полярных гидрометеостанций, и фото со спутников. Никто в восточном и западном штабах проводки не получал заранее предупреждений об экстремальных обстоятельствах этой навигации. Атомоходы спокойно ремонтировались, зализывая раны от зимних ямальских льдов и шумных высокоширотных экспедиций, а мы кантовались в Айонском ледяном массиве, наивно полагая, что еще пройдем на запад, и свезем игарские доски на теплое Средиземное море, и к ноябрьским праздникам шикарно ошвартуемся в Питере.

Октябрь — самое тяжкое для работы в Арктике время года.

И вот он наступил.

20.30. Веселый голос первого помощника по трансляции: «Сегодня новый художественный кинофильм «Дела сердечные!»»

У нас нет карт ни Чукотского моря, ни Берингова, ни Тихого океана, ни Охотского, ни Японского. В Певеке все комплекты уже разобраны: восемнадцать судов пошли вместо запада на восток. В 1955 году я проплыл этим маршрутом по географической карте СССР, но тогда, правда, мы в караване шли.

Каждый раз, когда я использую разрешение Октавиана Эдуардовича и моюсь в его ванной, то отмечаю увеличение количества голеньких и полуголеньких ню на стенках и даже потолке. Зрелище, как я уже отмечал неоднократно, восхитительное. Но меня интригует, откуда лютый враг консула Антония, запутавшегося некогда в сетях Клеопатры, пополняет свою коллекцию голеньких престлестниц.

Нынче, наконец, решил задать ему этот вопрос.

— Нет, нет, вы ошибаетесь, — решительно сказал

Октавиан Эдуардович. — Количество, гм, девушек в ванной — константа. Просто рейс затягивается, и ваше внимание к этому загадочному вопросу мироздания резко возрастает.

Достаточно взглянуть на обнаженную девушку — бегло взглянуть (и не на идеально красивую), чтобы понять: в существе этом соединились все гармонии вселенной.

На такое мое восхищенное мнение никак не воздействует мой пол. Я неоднократно наблюдал тихое, благоговейное восхищение женщин перед совершенством юной девы. И это очень важно. Потому что если бы, предположим, петух мог мыслить так же глубоко и тонко, как я, то и он бы, возможно, высказал о девственной курочке, увидев ее обнаженной, такое же вселенско-гармоническое восхищение. Но я никогда не замечал, чтобы старая курица восхищалась молоденькой курицей-девушкой, а красивые женщины способны на такой подвиг!

Последнее мое наблюдение бесспорно ставит человечество по интеллекту выше птиц.

Однако следует помнить, что любая дама любого возраста убеждена, что тайны ее телес есть (или были) самые замечательные тайны. Это отчетливо заметно по той презрительной снисходительности, с которой любая живая дама рассматривает фото глянцевиных красоток на развороте «Плейбоя».

Но не в этом дело. Я задумался над обнаженной натурой, имея в виду ответить на один из сложнейших вопросов века: почему мужчины умирают значительно раньше подруг?

Когда женщины не курили, не пили, не летали в космос и не таскали шпалы, этот феномен объяснялся довольно просто. А нынче?

Так вот.

Во все прошлые века среднестатистический мужчина испытывал соблазн блуда в тысячи раз меньше, нежели сегодня, когда каждую минуту тебе показывают молодое женское или в бассейне, или при занятиях аэробикой, или в кино и журнале. И мужчине ничего не остается, как только сравнивать и сравнивать это молодое женское со своей старой женой.

Вот и живите до восьмидесяти лет!

Доплавался, черт побери, все-таки до такого состояния, когда никаких тайн в полярных морях для меня уже не осталось.

Среди полученных писем есть одно стихотворное, автор — капитан танкера «Маршал Жуков» Алексей Иванович Антонов. («Маршал Жуков», систершип танкера «Маршал Бирюзов», тоже строился в Сплите.)

Ты расскажи и про ночные бдения,
И как моряк находит вдохновенье
В стихии и в себе самом.
Мечтал и я когда-то пописать,
О чем-то главном людям рассказать,
Но не могу предать корявым мыслям лоску:
Ведь двадцать с лишком капитанских лет,
Увы, оставили свой след
Не только в печени и в реденькой прическе.
Ты на два года младше, ты еще мальчишка,—
Еще есть время посидеть над новой книжкой.
Достаточно тебе штормов и льдин.
Пора травить, что выбрано, втугую.
Теперь писать, писать напропалую.
Пусть знают обыватели-невежды,
Что все еще идут за Доброю Надеждой —
Находятся такие чудачки!—
Которые по волнам вечно бродят,
Чего-то там в душе своей находят,
Которым жизнь сидячья не с руки,
Что есть еще летучие голландцы!
И что у них меж жизнью и мечтой
Еще не стерлись кранцы!

Во какие стихи наши капитаны пишут...

Наш экипаж представляет к этому моменту из себя то самое общежитие, в котором обыватели не в свое дело не суются, пороку не выдумывают, отчаянных передовых статей не сочиняют, а простенько себе живут и бездумно-степенно блаженствуют в безделье ледового дрейфа.

Встал в четыре утра. Туман, снег.

Поговорил с «Леонидовым». На вахте у них был старпом. Он работал четвертым помощником на «Воровском», когда в шестьдесят седьмом мы катали туристов в Арктику. Его лица вспомнить не смог.

Попугивают, опасно побаливая, правый локоть и шейные позвонки. Застудил? Как бы не хватанул остеохондроз. Спал в свитере, связанном из собачьей шерсти.

А если говорить честно, то инстинкт охоты — при взгляде на близко бегающих песцов — и у меня пробуж-

дается! Как глубоко он сидит в нас со времен мамонтов. По науке, инстинкт — это то, что задает программу мозгу. Но где тогда этот самый инстинкт сидит, где он, подлый, расположен,— вне мозга? В желудке, что ли?

Люди раздражены на мою настырность в части запрета бить песцов.

Песцы же сразу учуяли возросшую степень безопасности: вокруг судна носится штук по десять зверей разом. Ребята кидают им за борт что придется, включая брезентовые рукавицы. Рукавицы песцы тоже, резвяся и играя, съедают.

В 11.30 на весте показалась «Сибирь». Она бьет канал для «Владивостока» и «Тайшета», из первого трюма которого беспрерывно откатывают воду.

«Сибирь» — нам:

— Господи! И как вас, «Колымалес», сюда, в самый центр ледового массива, угораздило и занесло?

— Вашими молитвами! Ледоколы завели! Сами бы мы и при большом желании такого не смогли!

— Что верно, то верно...

Сразу веселее стало, как только атомная машина возникла в ощутимой близости. Может, она нас и на запад протолкнет?

Потом подслушали диалог «Сибири» с «Адмиралом Макаровым».

Степан Осипович Макаров хладнокровно заявил:

— «Тайшет» пусть тонет, раз такое дело! Там «Владивосток» людей снимет. А вот этих вытаскивать срочно надо, которые здесь в массиве кукуют!

«Сибирь»:

— Если «Колымалес» сейчас поволоку на запад проливом Санникова, от них только ребра останутся! Идемте к «Хосе Диасу»!

И около часа ночи второго октября «Сибирь» с «Макаровым» протащили на восточную кромку «Хосе Диаса». В феерии прожекторов тащили, в таких световых эффектах, какие и не снились Скрябину в цветном кошмарном сне.

Я наблюдал феерию из каюты и слушал танго: «Счастье мое я нашел в этой дружбе с тобой...»

Концерт по заявкам педагогов — в честь Дня учителя.

В три ночи «Сибирь» вернулась и уволокла «Леонидова» — без шума, без лишних слов, уверенно и спокойно.

А к «Шухову» подошел «Макаров», чтобы взять его на усы. Ледобои начали с шуточек:

— «Шухов», а почему у вас красный огонь горит? Груз разрядный?

— Да, взрывчатка.

— В ящиках?

— Да, в ящиках.

— Чего же вы тогда тут столько времени торчите? Растащили бы ящики по ледку до кромки да и трахнули — и пльви на все четыре стороны!

Во время этого юмористического диалога «Макаров» приближался кормой к носу «Шухова», а мы пялились на них в бинокли. И явственно заметили, как «Макаров» трахнул кормой в скулу «Шухова». «Шухов» заорал:

— Вы мне дырку сделали! В районе названия!

— Не понял! Какое название?

— Дырка у нас, дырка! От вас дырка! Там, где название судна!

— Ну, коль выше ватерлинии, то это не дырка! Работайте вперед полным! Застоялись вы тут! Винтом отвыкли работать! И что у вас за веревка на бензеле? Это мышинный хвост, а не трос! Если не положите нормальный трос на бензель, я вас не возьму!

Прямо феодал на крепостную девицу орет, прямо, черт возьми, право первой ночи назад возвращается.

Два песца прыгали в привиденческом свете прожекторов по торосам.

Когда «Макаров» взял «Шухова» на буксир и поволок, то вдруг вспомнил про нас и почему-то даже извинился:

— «Колымалес», придется вам подождать здесь еще сутки! Простите уж и не обессудьте!

Странная вежливость.

С мурманскими ледакольщиками мы, балтийские моряки, конечно, тоже несколько чужаки, но за многолетнюю совместную работу и в силу относительной географической близости понимаем друг друга легче. С дальневосточниками дело хуже — отчужденность ощущается сильнее. Скажете, что за глупость? Моряки одной России, на одном языке говорят, одно дело делают и вообще «Владивосток далеко, но город-то нашенький!» Все правильно. А ведомственная отчужденность есть, есть особые взаимоотношения. И хотя давно суда всех пароходств плавают одинаково, по всему мировому океану, но все равно для дальневосточников, то есть сынов Тихого океана, мы некоторым образом каботажники из Маркизовой лужи, а они для нас этакие чересчур привыкшие к своей

удаленности и широким пространствам провинциальные супермены.

Высказал эти глубокомысленные соображения Василию Васильевичу. Он вздохнул и выдохнул еще более тяжело и длительно, нежели обычно:

— Северяне хорошие товарищи? Неужели вы до сих пор такой наивняк? В товарищи он верит! Простую навигацию «Алатырь» задержалась в Игарке — котел вышел из строя. Мороз уже тридцать. На ремонт сутки всего нужны были, но за сутки всё и вся разморозишь. Просили буксир, чтобы он пар на это время давал. Северяне заявили, что буксира нет, а есть только ледокол «Мелехов». Сколько буксир стоит, а сколько ледокол? На «Алатыре» капитан чешется, а время идет, судно промерзает — авария углубляется. Согласились на ледокол. «Мелехов» подошел и акт на спасение сует. Алексеич с «Алатыря»: какое спасение? С ума сошли? В родном порту! Да мне восемь часов хватит, чтобы котел отремонтировать... «Мелехов» рядом стоит, теплом дышит, а пар не дает, а судно промерзает. Ну, Алексеич и подмахнул акт на спасение. Товарищи северяне за это спасение сто тысяч потребовали! На тридцати через арбитраж сошлись. И где теперь Алексеич? Диспетчером сидит! Ваш ход, дорогой товарищ!

Итак, две недели мы провели, дрейфуя вместе с песцами и разной человеческой подлостью в Айонском ледяном массиве при непрерывных сжатиях. И вот только третьего октября к нам вернулись атомоход «Сибирь», а за ней — ледокол «Адмирал Макаров».

«Сибирь» плавно и могуче прокатила метрах в сорока от левого борта, выкалывая нас из застарелого поля, в которое «Колымалес» уже накрепко вморозился.

Мы хлопали в ладоши, и махали махине «Сибири» шапками, и орали что-то благодарно-счастливое.

Еще через две минуты нелепым курсом в пяти метрах полным ходом прошел под командованием старшего помощника капитана «Адмирал Макаров». Он поднял на дыбы огромную льдину. Наше судно получило мгновенный крен до 12°, и раздался омерзительный скрежет и грохот, в которых соединились вопли раненого металла и торжествующий голос победившего льда.

Сказать, что мы, завалившись вдруг набок, выругались, — ничего не сказать. Во всяком случае, в тот миг

Степан Осипович Макаров должен был бы перевернуться в гробу. Ну, а если убавить эмоции и учесть отсутствие у автора «Ермака» гроба, то адмирал на небесах мог и ухмыльнуться, глядя на то, как его внуки продолжают зачатое им ледакольное дело. Без огрехов же, увы, ледяное поле Арктики не вспашешь.

— Виктор Викторович, берите старпома и стармеха! Осмотреть трюма! Вахтенный помощник, сообщите на ледакол об аварийном навале! И записывайте! Записывайте, черт вас поберит!!

«Загремели на павшем доспехи», — так положено говорить в подобных ситуациях флотским острякам.

Из «Технического акта»:

«Судно получило следующие повреждения корпуса и набора:

Трюм № 2, левый борт

1. В районе шпангоутов № 113—116, между вторым стрингером и декой вмятина размером 2×3 м. Стрела прогиба 159—299 мм.

2. Шпангоуты № 196—198, 119—121 завернуты в корму на 120—150 мм. Скуловые кницы с тех же шпангоутов завернуты в ту же сторону на глубину 120—150 мм.

3. Шпангоуты № 114—115 оторваны от обшивки выше 1-го стрингера по длине на 1 метр.

4. В районе шпангоутов № 114—115 оторвался кожух ограждения осушительной системы.

Трюм № 1, левый борт

1. Вмятина в районе водонепроницаемой переборки и 1-го стрингера, стрела прогиба около 300 мм, размер 2×3 м.

2. Деформирована водонепроницаемая переборка между трюмами № 1 и 2 со стрелой прогиба 130—140 мм, размером 2×2 м». Ну, и т. д.

Из судового журнала:

«14.05. Приняли под непрерывный контроль танки 1—3—4-й и льяла трюмов, хотя водотечности в поврежденных районах пока не обнаружили. 14.45. Подошел ледакол «Владивосток», приказал работать средним ходом вперед. Дали ход, движения судна не обнаружили.

15.04. «Владивосток» прошел по левому борту в тридцати метрах, пытаюсь пробить нам канал к каналу, оставшемуся после прохода «Сибири» и «Адмирала Макарова». Работаем вперед полным, судно неподвижно. «Владивосток» приказал стопорить, будет брать на короткий буксир. 15.26. К носу подошел «Владивосток», подает усы. Сооб-

шили на ледокол: «Винто-рулевая группа в порядке, состояние корпуса плохое, имеются глубокие вмятины, много трещин в шпангоутах и стрингерах после навала льдины от «Адмирала Макарова». 16.00. Начали движение на усах за «Владивостоком» в 10-балльном льду. 16.27. Предупредили ледокол о том, что судно испытывает слишком сильные удары и сотрясения, попросили сбавить ход. «Владивосток» выполнил просьбу судна».

И я пошел смотреть кино. В. В. меня подначил на кино. Замечательный, говорит, фильм, про цыган. Второй раз за рейс я в кино пошел, второй! И попал на старый, старомодный, истрепанный фильм, в котором снималась и пела дурацкую песенку старая подружка. Опять тягостное ощущение от человеческой тени, которая скользит по экрану, хотя давно уже ускользнула из жизни... А тут еще грохот за бортами и сотрясения: ни слова текста не разобрать. Плюнул я на самое массовое из искусств, выбрался из столовой команды и поднялся на мостик.

Тьма уже полностью поглотила всю окружающую природу. Только перед нашим носом прыгали кормовые огни «Владивостока», да старпом так резко затягивался сигаретой, что из мрака рубки время от времени высвечивалось его лицо.

Вообще-то старпом не курил — бросил. И то, что опять засмолил, говорило о том, что он нервничает. Тут занервничаешь! Мы ведь с ним вместе лазали по разбитым трюмам и своими руками щупали свернутые кницы, треснувшие шпангоуты и мятые пояся обшивки. А тут еще «Владивосток» волок нас по кочкам стотонных торосов с такой упрямой настырностью, как будто мы не разбитый вдребезги пароход, а новенький ледорез.

Представьте себе, что трактор волочит за собой осла, который уперся ему лбом в сцепку. Что в такой ситуации должен осел делать? Орать он должен, орать!

— Вызовите «Владивосток» и попросите его еще сбавить ход, — сказал я.

— Неудобно как-то... — промямлил старпом.

Вот ведь натура человеческая! Есть же классическое: «Неудобно только штаны через голову надевать!» А я Станислава Матвеевича понимал. Не хочется паникером и перестраховщиком выглядеть нормальному моряку, не хочется на Фому Фомича смахивать.

— Вам, чиф, еще раз повторять?! Немедленно доложите ледоколу: «Испытываем чрезмерные напряжения корпуса! Прошу сбавить ход!»

Ледокол буркнул в ответ, что сбавляет на один узел.

Тогда я сам записал в черновой журнал: «17.30. Вторично предупредили «Владивосток», что судно испытывает сильные удары о края ледяных полей и крупные льдины и что необходимо уменьшить скорость движения. Ледокол сбавил ход всего до 6 узлов, сообщив, что это минимальная скорость, при которой он слушается руля в настоящей обстановке».

Записав в журнал, я спустился в каюту и лег читать «Дневник Микеланджело», ощущая неприятное одиночество.

Когда крутят кино, весь экипаж, кроме вахты, конечно, набивается в столовую команду, и если ты в кино не пошел, то, сидя у себя в каюте, ощущаешь какое-то особенное одиночество. Пустая надстройка. Кажется, эхо в ней бродит. Даже сквозь хорошую книгу пробивается одиночество.

Через двадцать минут в первый трюм пошла вода. При замере льял уровень с левого борта подскочил до 80 см, а правого — до 100 см.

Кино, как вы понимаете, кончилось.

Сыграли тревогу по борьбе с водой.

Шестой пункт инструкции для дублеров капитанов в арктических рейсах: «В борьбе за живучесть судна дублер капитана по указанию капитана находится в месте наибольшей опасности и непосредственно руководит работами в соответствии с НБЖС-70».

«Подошла твоя ария», — говорил в такие моменты М. М. Сомов.

Главное в такой момент не обращать внимания на трезвон аварийных звонков и на разные крики и вопли. Главное в такой момент тщательно, неторопливо одеться. Полезно, одеваясь, глядеть на себя в зеркало. Очень хорошо, если вы недавно побрились.

А вообще-то лезть в затопленный трюм на десятиградусном морозе для потомственного гуманитария — это, конечно, не самое желанное приключение.

Конечно, не сработала трансляция с бака в рубку, так как замерзла микрофонная трубка. Потом, конечно, не врубилось палубное освещение.

Но лезть в трюм, чтобы разведать водотечные пробоины, было все равно необходимо.

Для начала я плотно застрял в лазе, который начинается откидным люком на тамбучине. Вот в горловине этого лаза я и закупорился. Голова торчит наружу, верчу ею

в разные стороны свободно, а туловище почему-то хранит полную неподвижность. Но не может же быть, чтобы при моей мизерной комплекции, имея на себе хорошо подогнанный ватник, я бы оказался толще лаза в трюм? Не может такого быть! А что же тогда? Поясницу холодит! А, дьявол! Зацепился за что-то хлястиком. Рванулся наверх, вырвал клоч ватника и пролез в черную дыру. Спускаюсь по скоб-трапу, жду, когда ноги окунутся в воду, а на голову мне довольно неделикатно давят сапоги старшего помощника, который последовал на разведку за мной.

— Слушайте, чиф!— ору в темноту.— Михаил Михайлович Сомов советовал в таких ситуациях не сучить ножками!

— Ни черта мы тут с фонариками не увидим!— орет чиф.— Эй, подавайте сюда грузовые люстры!

Знаете, как вода идет внутрь судна? Ну, и слава богу, что не знаете. Однако большинство из вас видело, вероятно, как в лесном озере со дна бьет ключ, весь в пузырьках сверкающего воздуха. Так бьют ключи из дыр или трещин в затопляемый трюм.

Таких пробоин и водотечных трещин оказалось пять.

Врубив все осушительные насосы, мы приняли решение продолжать следовать за ледоколом на ледовую кромку, чтобы вырваться обратно к Певеку.

«В результате осмотра установлено, что водотечные пробоины получены в местах повреждений, ранее причиненных неправильными действиями л/к «Адмирал Макаров», а именно:

Сквозная вертикальная трещина обшивки в районе шпангоутов № 137—138 и деки длиной 600 мм, шириной 50 мм, там же горизонтальная трещина у деки длиной 200 мм. Данная трещина распространяется в танк № 1. Имеются еще две сквозные горизонтальные трещины в районе шпангоутов № 144—145 у деки длиной 200 мм и шириной 20 мм...»

Ну, а когда я выбрался обратно на палубу, то никаких волнений уже не испытывал, ибо отважны люди стран полных — особенно если у этих людей нашлись все-таки драгоценные минутки для того, чтобы проиграть про себя ситуацию. А ежели ты за жизнь множество раз ее проигрывал, то спокойствие у тебя просто даже удивительное — какой напряженной ситуация ни оказалась бы на деле. А если и есть волнение, то это скорее волнение азарта.

Пять пробоин ниже ватерлинии и затопленный первый трюм...

Весь рейс нам не хватало удачи.

Ее надо чуть-чуть.

Ее надо совсем немного.

Но совсем без нее в море плохо...

«02.10. Отдали буксир с ледокола, следуем самостоятельно на рейд порта Певек к указанному месту якорной стоянки».

В этот момент над нами запылало замечательное — по всему небу — северное сияние. Оно было таким ярким, что портовые огни Певека потускнели.

— Будем отдавать правый якорь!— приказал В. В.

— Надо на «Макарова» срочно донос писать,— предложил я.

— Добиваться наказания ледокольщиков так же глупо, как ожидать почтения к уходящим в море морякам со стороны береговых грузчиков,— сказал В. В.— Давайте-ка подумаем, как нашу колымагу так скренить, чтобы дырки из воды вышли: крен на правый борт сколько получится и максимальный дифферент на корму? А пока вызывайте водолазов. Отдать якорь!

Загрохотала якорная цепь.

— На клюзе три смычки!— доложил боцман с бака по ожившей трансляции.

— Хватит, пожалуй,— сказал В. В.

— Стоп травить! Так стоять будем! Забрал якорь?

Якорь забрал, а сияние на небесах угасло.

Вокруг судна серыми привидениями медленно двигались крупные и какие-то бесхозные льдины.

«04.10. 00.00. Ведем откачку воды из трюма № 1. Произвели несколько попыток откачать воду из танков № 1 и 3 левого борта. Насосы не берут. Для увеличения крена на правый борт начали перекачивать топливо из танка № 6 левого борта в танк № 9 правого борта. Начали вооружать погружной насос. Снег. Температура минус девять. 05.00. Связались со штабом проводки Восточного сектора по радиотелефону, дали заявку на срочный водолазный осмотр, заказали сварщиков, вызвали механика-наставника».

«07.00. Прибыл буксир «Капитан Гассе» с водолазами. Готовим к заполнению водой правую секцию трюма № 3 для создания у судна дифферента на корму и крена на правый борт с расчетом, что основные повреждения

корпуса выйдут из воды. 08.30. Прекратили закачку трюма № 3 при достижении крена судна в 10° на правый борт. Поступление воды в трюм № 1 прекратилось. 11.30. Закончен водолазный осмотр, буксир «Капитан Гассе» отошел от борта. Водолазный осмотр проводился в условиях малой подводной видимости. 11.40. Прибыла бригада сварщиков. Готовим аварийные документы для капитана порта Певек. Крен 13° на правый борт».

Я печатаю на вечной своей Пенелопе-«Эрике» акт технического осмотра под диктовку В. В. Крен большой. Печатать неловко. И вообще, конечно, все мы здорово измучены.

Телефон звонит. В. В. берет трубку. Из нее истошный крик на всю каюту: «Двести двадцать, горит земля!!!»

В. В. аккуратно кладет трубку на стол и говорит:

— Господи боже мой, Виктор Викторович, этого еще нам не хватало! Посмотрите в окошко, пожалуйста, Певек горит, что ли?

Мы настолько измотаны, что никакого юмора уже нет.

— Как горит?— спрашиваю я с истинным ужасом, вскакиваю и смотрю в окна каюты на лед и ледяные берега.

В. В. поднимает трубку со стола и спрашивает:

— И как она горит: хорошо или плохо?

— А это кто говорит?— орет трубка.

— Капитан.

— Простите! Я электромеханику звоню!

Оказывается, второй механик звонил электромеханику о том, что где-то зачатило какое-то заземление, и в запарке ошибся номером.

— Ничего, дружок, бывает,— успокоительно говорит капитан второму механику и вешает трубку.

И только теперь мы улыбаемся друг другу.

— А про одну штуку мы с вами, Виктор Викторович, забыли. Печатайте: «РАДИО ЛЕНИНГРАД СТОЯНКЕ РЕЙДЕ ПОРТА ПЕВЕК ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЕГА ЗАЧЕТ ВСЕСОЮЗНОГО ДНЯ БЕГУНА ЗПТ УЧАСТВОВАЛО 18 ЧЕЛОВЕК КМ МИРОНОВ». Если тебе предложено быть идиотом, то будь им,— заканчивает В. В.

«05.10. 08.40. Привели машину в немедленную готовность. Выровняли крен. С берега получено из стирки белье, продукты, комплект карт до Владивостока. Несмотря на настоятельную просьбу обождать, «Адмирал Макаров» увел караван из Певека на восток. Остались

в порту одни. 14.45. Получили указание ледокола «Макаров» самостоятельно следовать к мысу Шелагский, догнать танкер «Игрим», стать под его проводку. Следуем во льду, лед 6-8 баллов, очень подвижный. Продолжаем постановку цементных ящиков на пробоины в трюме № 1».

*ВОКРУГ
ОСТРОВА
ВРАНГЕЛЯ*

Шестое октября. От мыса Шелагского шли за танкером «Игрим» около трех часов, удерживая дистанцию двадцать—пятьдесят метров. Его огромная трапещеобразная корма суперсовременной конструкции начисто лишает возможности увидеть состояние льда впереди по курсу танкера, то есть предугадать момент, когда он может заклиться.

Вспотевшая от страха ладонь сжимает рукоять машинного телеграфа, чтобы в любую секунду пихнуть его на полный назад. Взгляд ни на секунду не отводишь от буруна под транцем кормы танкера. Когда руку снимаешь с телеграфа, пальцы мелко и пошло дрожат. Когда отводишь наконец взгляд от буруна, в глазах темные, медленно плавающие круги.

И это мы еще дублировали друг друга. В. В. стоял у левого телеграфа, я у правого.

Около четырнадцати «Игрим» предупредил, что впереди завал и он ложится в дрейф. Мы отработали полным назад и застыли среди старых льдин и молодого, но уже сторошенного льда. И тогда В. В. сказал:

— Вся наша работа здесь — один сплошной риск, Виктор Викторович. Но вы об этом почему-то глухо пишете.

Вот ведь и не читал и не читает В. В. никаких стихов, а совершил нормальный плагиат, о чем я ему и сообщил, продекламировав Симонова:

Кто в будущее двинулся, держись,
Взад и вперед,
Взад и вперед до пота.
Порой подумаешь:
Вся наша жизнь —
Сплошная ледокольная работа!

В. В. свершил китовый вдох и заявил, что про риск в стихах ничего нету, — это раз. И два — мы не на ледоколе, увы, а на пустом и разбитом лесовозе.

«06.10. 00.00. Ледокол произвел околку, продолжили движение в составе каравана из 10 судов. 00.30. Застряли во льду. Получили распоряжение «Адмирала Макарова» прекратить попытки форсировать перемышку и ждать дальнейших указаний, работая вперед малым. 01.40. Ледокол вернулся, произвел околку. Начали движение по каналу. 04.00. Застряли во льду. У бортов наблюдается подвижка льда и сжатие. 06.50. Околка ледоколом, начали движение по каналу, работаем полным ходом в составе каравана из 14 судов. 10.20. Застряли во льду. Работали полными ходами вперед-назад без результата, пытаюсь пробиться в канал за танкером «Игрим». В течение вахты производили переноску цемента, полученного в порту Певек (цемент новый, 1000 кг), в трюм № 1. Ставим цементные ящики на пробоины. Ожидаем околки ледоколом. 13.20. «Адмирал Макаров» произвел околку, но никакого движения не получили. Лед 10 баллов, торосистый, сильные сжатия, метель, поступления воды не обнаружено. Закончили постановку трех цементных ящиков в трюме № 1»

У кораблей продолжительность жизни собачья — около восемнадцати лет. На старом судне особенно наглядно, что сталь куда как слабее человека и век ее короче, а говорят — «стальной человек»...

И не облака, и не тучи, а тягучие фабричные дымы какие-то — очень тягучие, тяжкие. И когда пробьется сквозь них белое северное солнце, то сразу от его яркости на глаза слеза наворачивает...

Седьмое октября. В ледовом дрейфе в тридцати милях к востоку от мыса Шелагского.

Солнце. Как важно, когда солнце, — веселее.

Сели бить козла прямо после обеда. Нам с В. В. не везет. Тут уж не моя козлиная тупость, а настоящее невезение. Ужасно бесит.

Так как Октавиан Эдуардович опять почти ничего не ел за обедом, Мандмузель принесла ему кусок колбасы.

Колбасу он, подлец, очень аппетитно сжевал. Из нержавеющей стали колбаса — холодного копчения. У меня зубы ныли только оттого, что я наблюдал его хищное жевание.

Отбив ладони козлом, поднялись в рубку.

И увидели, что отчаянный рыбак «Художник Врубель», который давеча рубил ледовую целину на своих четырех дизелях, как залег на левый борт среди торосов с креном градусов в пятнадцать, так и продолжает лежать в таком неловком и нелепом положении. Это же на какой он толщины льдину выполз, ежели за ночь с нее обратно не свалился!

По всему горизонту чернеют среди сплошного льда и низовой метелицы застрявшие суда.

И над всем этим кладбищем целый авиационный парад: крутится вертолет с какого-то ледокола и летает самолет с Полуниным.

Начальство решает вопрос: куда плыть, когда это станет возможным? В пролив Лонга нас волочь или огибать остров Врангеля с норда?

Свои разговоры от нас они уже не пытаются скрывать.

А по трансляции бесконечное: «Говорит Магадан! Слушайте концерт-вальс...»

Слух о нашем бедовом рейсе докатился и до ушей родственников в Ленинграде. В. В. получил РДО от супруги. Она желает ему мужества и спрашивает, куда теперь следует писать письма.

Авиaparad прекращается, ибо метель из низовой переходит во всеобъемлющую. Не видим даже «Художника Врубеля».

В рубке В. В., я, Октавиан Эдуардович и помпа. Нижних чиннов вообще нет. И потому стармех рассказывает очередную анекдот, имеющий некоторое отношение к цензурщине:

— Про занятия в армии слышали? Нет? Очень хорошо. Лекция для новобранцев в целях их общего развития про бронетранспортеры. Проводит комиссар. Строгий. «Наши могучие броневые машины, каждая имеет теперь радиостанцию...» Вопрос с места: «На лампах или на полупроводниках?» Пауза. Строгий комиссар: «Еще раз объясняю буквоедам: не на лампах, не на полупроводниках, а на бронетранспортерах!»

Наш комиссар:

— Ты когда-нибудь иссякнешь?

Стармех:

— Нет. У меня таких баек больше, чем у тебя новых кинофильмов.

В. В., чтобы разрядить ситуацию, ибо люди заводятся с пол-оборота:

— Пошли вниз. Забьем еще парочку козлов.

Идем вниз, забываем, я пропускаю пустышечный дупель, и комиссар кончает на «офицерского». В. В. шевелит скулами, на меня не смотрит и уходит в каюту.

Я поднимаюсь обратно в рубку. Отчаянно пухнут десны и ноют зубы.

Около шестнадцати метель стихает, и делается видно, как подошедший с оста «Макаров» обкалывает «Художника Врубеля», а потом уводит его к «Галушину», которого берет на короткий буксир.

Неуклюжая гусеница из связки «Макарова» с «Галушиным» иседающего на них сзади «Врубеля» медленно ползет к горизонту.

Солнце давно под горизонтом, но надо льдом почему-то еще светло: зыбкий, привиденческий свет, забытый здесь солнцем по недоразумению.

Восьмое октября. 03.00. Ночь глухая. Мы лежим в дрейфе на траверзе мыса Кибера и островка Шалаурова. На горизонте появляется зарево. Оно быстро приближается: идут голубчики! идут спасители!

Мощный кулак бросили нам нынче!

Идут «Сибирь», «Ермак» и обожаемый «Адмирал Макаров».

Ах какие красавцы! Как они себя свободно чувствуют, пока не взваливают себе на горб нашего брата!

В 04.10 прошли мимо нашей группы судов.

«Сибирь» и «Ермак» прокатили мимо в полумиле.

«Макаров» на стóпе ткнул ледяное поле с нашего левого борта в кабельтове, осторожненько его тюкнул, расколочил, приказал дать самый малый вперед. Даю. Винт не проворачивается. Докладываю об этом нюансе «Макарову». Он велит стопорить. Стопорю. Все внимание вперед, и потому не замечаю, что с правого борта с кормы приближается «Ермак» — заложил вокруг нас вираж. Ну, теперь-то винт провернется — обкололи с обоих бортов. Жду указаний.

«Макаров» уходит на запад, молча и угрюмо.

«Ермак» сообщает, что будет подходить кормой к нашему носу:

— Готовьте бензель!

Отправляю истребителя песцов поднимать боцмана и остальную банду.

«Ермак» проходит вперед, а потом лихо пятится на наш форштевень. Приличный удар его кранцем — крен до трех градусов на левый борт. Осуществлена некоторым образом неожиданная побудка всего экипажа в пять утра по судовому времени, но это черт с ним, главное — куда-то поедем!

В густо-сизых небесах на северо-востоке возникает слабый, бледно-розовый след зари.

Старпом кутает горло махровым полотенцем, надевает тулуп и отправляется на бак руководить приемкой буксира и наматыванием на буксирные гаши бензеля.

Эту работу ребята научились делать быстро и четко: уже через четверть часа начинаем движение за «Ермаком», подрабатывая по его приказу вперед средним. Не слишком ли быстро мы пошли? Очень сильные сотрясения! Очень-очень! Но мы молчим, проглотив языки и вцепившись кто во что горазд. Еще один пример необходимости в море беспредельного принятия серий решений: «Сообщать ледоколу, что мы уже имели водотечность и вообще сильно битые? Или этим только отпугнешь его? Бросит к чертовой матери и пойдет к такому судну, за которое можно не особенно волноваться...»

Малодушно оставляю эти гамлетовские вопросы на совести старпома и иду спать, наивно пожелав чифу выйти на чистую воду к концу его вахты.

Он хрипло желает мне спокойно отдыхать.

Приходится заметить, что методика и техника крепления буксиров осталась такая же, как и пятьсот лет назад, — трос, скоба, сорок шлагов бензеля. А ежели придумали для космических кораблей стыковочный узел, так можно было бы поднапрячь мозги и всем миром придумать для северных морячков нечто вроде железнодорожного автосцепы.

«ДУЭТ БУКВОЕДОВ» — название какого-нибудь будущего рассказа.

Грязный лед так же противен, как неопрятный, невымытый, с капустой из щей на бороде старик.

Когда я в ноль часов поднялся в рулевую рубку, то, невольно и восхищенно зажмурившись, пробормотал: «Все смешалось в доме Облонских!»

В полярной, черной, метельной ночи от горизонта до горизонта полыхали сотни прожекторов, палубных и разных других огней — караван из тридцати семи судов-клиентов, вокруг которых суетились ледоколы «Сибирь», «Ермак», «Адмирал Макаров», «Владивосток», «Капитан Сорокин» и «Харитон Лаптев», пробивался сквозь ночь и сплошные льды курсом на пролив Лонга. Вернее, не на пролив, а на мыс Фомы острова Врангеля.

Поверьте на слово, это было зрелище, достойное богов всего Олимпа! Эти прожектора, пронзающие метель, в морозных ореолах, сполохах, в галло, светящие в самых неожиданных направлениях, ибо клиенты заклинились на самых различных курсах, продолжая светить себе в носы, хотя и никакого толка в освещении полярной ночи мощными прожекторами вообще-то нету. Но так уж моряки устроены, что электроэнергии нам никогда не жалко, а свет прожекторов оказывает положительное воздействие на психику судоводителей, которые психуют на мостиках.

Световые эффекты сразу тысячи дискотек и еще тыщонки современных эстрадных ансамблей, в которых сверканья, кручение и завихрение огней давно заменяют какой бы то ни было смысл, и художественные руководители которых тоже никогда не смотрят на электросчетчик.

Кроме нескольких нелепых ассоциаций с положением в семействе Облонских, с дискотеками, эстрадными ансамблями и зрелищем, достойным богов, увиденное почему-то напомнило мне и несчастный конвой «PQ-17», о котором столько написано и столько получено за написанное гонораров, но, увы, только теми летописцами, которых на том конвое и близко не было. А жаль, что в такие отчаянные моменты, как правило, и на морях и в небесах не оказывается ни кинохроникеров, ни наших жен с детишками. Ах, что бы они могли увидеть! Но вот слышать, что в эти моменты мужья и папы говорят, этого уж им никак не надо. (Недавно узнал следующие цифры: на конвое «PQ-17» погибло 153 союзных моряка, всего в конвоях за всю войну погибло 829 офицеров и матросов с 90 судов. Есть о чем говорить, если вспомнить про наши двадцать миллионов.)

Матушка-атомоход «Сибирь» напоминает императрицу Екатерину своим торжественно-державным присядом на корму.

Может быть, кабы не надо было письма отправлять, то я бы и писал их легче. Но когда надо конверты купить, надписать их и отправить, то есть найти ящик, который не заколочен, или почту, которая не закрыта на обед, то от одного предчувствия всех этих тягот перо уже из рук падает... Ведь вот так и не закончил и не отправил письма Юрию Казакову из Певека. И еще: вовсе уж нет тщеславия отправлять их из экзотических мест. Вернее, оно бывает, но лень сильнее. И как это возможно стать литератором при такой лени к писанию, к письму? Ведь я «выдавленный из себя писатель». А настоящий должен на 50 % быть графоманом, то есть любить сам процесс ведения пера по бумаге.

08.10. На коротком буксире за «Макаровым». У них на мостике сам капитан. Голос усталого в усмерть человека. О прошлых наших приключениях обе стороны не поминуют. Ледокольщики свои бумажки для оправдания заделали. Мы — для обвинения их в дырках — свои. Нечего теперь языками чесать. Лед ужасный. Не до прошлых счетов, когда такой лед.

Собирательство, страсть к коллекционированию свойственна многим. Те, кто коллекционирует свои впечатления, переживания, мысли, рано или поздно подаются в сочинители. Ведь тот, кто для себя дневник ведет, — тоже сочинитель. Только без членского билета Союза писателей в кармане.

Бесконечные замеры льял, бесконечные лазания матросов по обледенелой стали в трюма — опасная и тяжелая работа. Безропотно, и бесстрашно, и буднично делают ее матросы. Если, как опыт показывает, на мостике бывают и трусоватые люди, то на палубе трусоватому матросу делать нечего. И все время за них душа болит, когда смотришь, как они кувыркаются над бездной. Какая там техника безопасности, какие там каски... Раньше я так за матросов не тревожился. Возраст? Или гуманитарная составляющая начинает верх брать над профессиональным

практицизмом и цинизмом? Если последнее, то правы большие начальники, и мне самому по доброй воле надо уходить в тишь кабинета и настольной лампы. Ежели за каждый неуставной прыжок матроса переживать начнешь, никаких нервов не хватит.

09.40 по местному. «Боцману на бак! Отдавать буксир!»

Дальше до кромки пойдем самостоятельно, хотя никакого пути во льдах не видно. Вообще-то разводья есть, но...

Метрах в двухстах белый мишка. Наблюдает за тем, как мы рубим на баке бензель. Бензель, однако, не рубится. Пять, десять, двадцать минут машет боцман на баке топором. «Макаров» теряет терпение: «У вас топор тупой? Поточите!»

Иду сам на бак. Лохматый пук изрубленного в пух и прах бензеля. На дне проруба видна сталь буксирных гашей, а они почему-то не отдаются. Не веря глазам своим, сую руку в проруб, на ощупь убеждаюсь в том, что бензель перерублен. С «Макарова» буксир тянут двадцатипятитонной лебедкой, а гаши из наших клюзов не хотят выходить. Что за черт? И зачем я, дурак, в проруб руку совал? Ежели бы в этот момент гаши вырвались, то и рука моя улетела бы к чертовой матери. Вопиющая глупость и бессмысленная самодеятельность. Очевидно, здесь моя тревога за матросов сработала. Их-то я отогнал, когда руку совал...

Наконец соображаю. Наш нос легкий, без груза. И «Макаров» своей мощной лебедкой приподнял его и посадил себе на кормовой кранец еще до того, как бензель был перерублен. Теперь на буксир нагрузки нет, и гаши не вырываются из клюзов.

— Стоп лебедка на ледоколе! Работните машиной вперед самым малым!

— Вас поняли!

— Всем дальше от клюзов!

Трах, бах, тарарах... Лохмотья бензеля взлетают в воздух. Боже, что было бы со мной, если бы это произошло, когда я совал голую ладонь в проруб. Внутренне обливаюсь холодным потом. Ладно. Еще раз море пощадило мою глупость. Возвращаюсь в рубку. «Макаров» диктует координаты на данный момент. Сообщает, что получил их по спутниковой аппаратуре. Как все перемешано! Тупой топор, обыкновенный пеньковый трос на бензеле, космические спутниковые дали и... бог!

А бог потому, что «Макаров» разворачивается на обратный курс и вдруг брякает, нарушая нашу идеологию: «Ну, «Колымалес», не поминайте лихом! Ну, с богом вам!»

У В. В. сентиментальность не просыпается от таких ласковых слов, он не без яда: «Желаем вам тут счастливо ОСТАВАТЬСЯ! Такой же вам хорошей работы, как с нами!»

Ежели писатель берет целью всей своей жизни выдавливать из себя раба, то ему нет нужды заботиться и даже не следует думать о сюжетах, фабулах и внешнем действии. Все это само собой приложится. Сейчас в страшной штуке признаюсь. Я очень мало читал художественных произведений Чехова. Зато прочел, вероятно, все, что он написал «нехудожественное» и что написано вокруг него. Боже, какой козырь я кидаю критикам! Но пусть они задумаются над моим признанием, ибо вообще главное сегодня принадлежать к тому типу людей, который коллекционирует не марки или самовары, а свои жизненные впечатления.

Девятое октября, на траверзе мыса Фомы.

Впереди лавируют среди льдин дальневосточник «Ураллес» и «Капитан Кири». Между старых льдин — нилас. Остров Врангеля прямо по курсу. Куда идти, к норду или зюйду? «Ураллес» сообщает, что в проливе Лонга такой лед, что «Ленинград» там потерял лопасть; сейчас он перекачивает топливо в нос, чтобы задрать корму, а к нему на помощь следует «Ермак», у которого трещина в дейдвуде, и следует он на помощь, непрерывно сам ведя откачку... Во заваруха! Во бой негров ночью!

Четкая рекомендация штаба: огибать остров Врангеля с норда.

Первые сведения о наличии большого острова к северу от Чукотки были собраны Г. Сарычевым в 1787 году от местных жителей.

На карту впервые остров был нанесен Ф. П. Врангелем и Ф. Ф. Матюшкиным в 1823 году.

В истинности существования острова удостоверился американский мореплаватель Де Лонг в 1867 году, по справедливости присвоивший острову имя Врангеля.

Хорошие тут работали ребята...

Северная часть, которую нам выпало огибать, равнинная, низменная, называется Тундрой Академии, высота ее около пятидесяти метров, сложена рыхлыми наносами, скованными вечной мерзлотой...

Лоция командует: «При плавании вблизи берега использовать навигационные знаки и приангуляционные знаки, особенно заметные на северном берегу острова...»

Ни черта, никаких знаков мы не видим. Лед и метель, а не какие-то там знаки. И — ни одной, даже генеральной карты этих мест! Какие там глубины? Подклеиваю к карте лист чистой бумаги, продолжаю на нее меридианы, на глазок откладываю минуты и градусы широты, по всей этой неутешительной липе ведем прокладку. Врублен, конечно, эхолот. Генкурс девяносто градусов.

Но главное не в прокладке, главное — не отстать от «Ураллеса»! А как не отстать? К полудню мы уже опять блуждали в тяжелых ледяных полях... Труднейшая вахта, вся определяемая одним: хотя бы держаться на видимости «Ураллеса»! Он забирал все дальше и дальше к норду. Опять рвемся к Северному полюсу. Отсюда до него вовсе близко — меньше двадцати градусов.

У «Капитана Кири», который блуждал правее нас, нервы не выдержали, и он отвернул к зюйду и скоро исчез из видимости, а еще через полчаса мы услышали, как он сообщил «Ураллесу», что попал в ловушку среди льдов, а капитан «Капитана Кири» полез на мачту, чтобы высматривать шель...

Как я ни гнался за «Ураллесом», к тринадцати часам он уже только чуть виднелся на горизонте. И тут мы еще уперлись в перемычку, которая сомкнулась за «Ураллесом» без всякого следа от его прохождения. А ветер баллов шесть от веста, чуть сбавишь ход — и сразу сумасшедший дрейф. Нужно найти место, где «Ураллес» ее форсировал, нужно! Пялю глаза в бинокль — сверкает лед, сплошной, нагромождения метров до трех-четыре; сбавляю до малого — несет под ветер с такой скоростью, будто на мотоцикле несешься. Где Митрофан?! Нет Митрофана в ходовой — определяется в штурманской по радиопеленгам, сукин сын, трус, выгадыватель типа покойного Арнольда Тимофеевича Федорова. Нет на него надежды, ни на кого нет надежды: рулевой молчит у штурвала — устал и все ему уже безразлично; впередсмотрящего нет — и не потому, что устав нарушаем, а потому,

что люди цементируют новую пробойну, она открылась между 140-м и 141-м шпангоутами...

Видимость хорошая, но солнце уже низко. В четырнадцать двадцать оно уже скроется. Это по судовому времени. Так что впереди у меня еще четыре часа тьмы — хорошенькая дневная вахта! Что же будем делать ночью? В таких льдах в полном одиночестве не полавируешь! Нужно догонять «Ураллес», нужно! Где же он пролез через перемышку? И вдруг толчок под сердцем: вон там! там, черт бы меня подрал! сурик на льдинах! Но они плотно сомкнулись и громоздятся трехметровой баррикадой. Митрофан продолжает прятаться в штурманской, какой подлец! Не хочет даже свидетелем быть в тот момент, когда я раздолбаю пароход. Даю малый вперед, забрасываю нос на ветер, метрах в пятидесяти от ледяного завала стопорю. На стопе, на инерции иду на льдины, инерция большая, сильный удар, и сразу крен, и сразу — вперед до полного! Винт молотит исправно — недаром Октавиан Эдуардович сам в машине. Отзваниваю вторично полный вперед. Жуткое дело! Мы вылезаем на лед, как рыба. Крен на левый борт градусов шесть. И ползем на боку, но ползем метр за метром! Как это получается у нашего парохода: ползать по твердому на боку? Почему-то мелькает в голове идиотский натюрморт: здоровенный осетр на ледяных осколках в окружении зеленой петрушки лупит хвостом в разные стороны. Господи, еще бы метров двадцать! Ползем! Появляется Митрофан — хороший знак: значит, самое страшное позади; он же все видит и все понимает, ибо моряк он старый и хороший, — подлец только и трус... Чего это я всех уже вокруг, кажется, ненавижу? Все у меня подлецы и трусы, и даже В. В. специально садится играть со мной в шеш-беш так, чтобы можно было шатнуть стол в мою сторону, и тогда у него выпадает гаша за гашой... Опять медведь! Сколько их здесь — прямо как собак нерезанных. Стоит, сволочь, и принохивается, но он где-то за краем глаза — нет, уже и не до медведей нынче... А где «Ураллес»? Виден еще — и то слава богу... Огромные ледяные поля, но между ними четкие разводья... Держать самый полный! Внимательнее на руле! В разводьях блинчатый лед, на поворотах он работает вместо кранцев, и мы начинаем догонять «Ураллес». Около пятнадцати часов уже темно. Когда же конец льда? Когда кончится эта чертова вахта? Чтобы я когда-нибудь, да по своей воле, да сюда, да будь я проклят!

Сдаю вахту старпому в шестнадцать. На 72-й параллели сдаю, курс 90°. Желаю выйти на чистую воду и спускаюсь вниз. Такое ощущение, что спускаюсь не в каюту, а прямо на остров Врангеля — так за вахту привык ощущать остров ниже себя на карте. Но в каюте не оказывается ни мускусных быков, ни заледенелой тундры. Есть не хочется — только спать.

Нашему поколению свойственно ощущать жизнь таким неправдашным театром, что ли. Уж какую ответственность несут некоторые мои однокашники-одногодки, уже скольких похоронили мы товарищей, сколько уж инфарктов, сколько убеждались в том, что жизнь — серьезная штука, дается один раз, а не все кажется, что она театр. Даже когда в реанимацию угодишь и о завещании серьезно думаешь, и даже когда заставишь себя этот мрачный жанр освоить на деле, на бумаге.

Ведь не верится, что в апреле я был среди айсбергов возле Мирного в Антарктиде, а сейчас черт занес к северу от Врангеля и нашенский Владивосток от меня на две тысячи восемьсот миль к ЮГУ!

Заглянул В. В., поинтересовался, чего я не иду чай пить; сообщил, что утка, которой он присвоил официальное имя Кряква Иванна, вполне жива и возле Камчатки ее можно будет выпустить на свободу.

Тут возник в проеме открытой двери Октавиан Эдуардович и мрачно заметил:

— Мы честно боролись за утиную жизнь. И потому возле Камчатки привяжем ее веревкой за ногу, честно дадим взлететь, а потом зажарим.

Мне показалось, что оба они смотрят на меня с некоторым непонятым, но соболезнуюющим интересом: так смотрят на подцепивших интересную болезнь или сумасшедших. Но оказалось, что с сумасшедшей температурой завалился Гангстер — схватил в промерзших трюмах, геройствуя там с установкой цементных ящиков, ангину. И теперь — по всем писаным и неписаным законам — его вахту с четырех утра до восьми предстоит стоять мне. Хотелось возроптать на самого господ бога, но смирился, вспомнив, как чиф нес меня на загорбке через воду в первом номере. Удобно было на нем ездить. А за все надо платить.

— Да, колотун! В такую погодку до пивного ларька сходишь — с туберкулезом вернешься, — сказал старпом, когда я устроился на его могучей спине, чтобы переправиться через затопленную часть трюма.

— Я же вам приказал, чтобы проконтролировали одежду всего экипажа, — сказал я.

— Их-то я проконтролировал, а себя забыл, — отфыркнулся Гангстер.

Девятого октября около трех утра на траверзе мыса Ушакова на пересечении 180° восточной долготы вышли из льда и из нашего полушария в западное.

Зацепились за мыс Ушакова надежно. На нем радиолокационный отражатель стоит. Сам же мыс представляет низкую галечную косу.

Обогнув Врангеля, пошли в пролив между ним и островком (открыт в 1849 году английским судном «Геральд», в честь которого и назван). Скалистые обрывы высотой до 250 метров — это нас очень устраивало. И мы наконец-то повернули на зюйд, имея под килем от 25 до 40 метров глубины и ровное дно из крупного песка и мелкой гальки.

В прошлом рейсе обогнули планету по вертикали, в этом — по горизонтали.

Долго не разгорающаяся полоска холодной зари среди свинца всех видов. Выход из льда был очень тяжелым — на крупной зыби.

Зыбь почувствовали за час до того, как визуально обнаружили кромку. Значит, близко штормит.

У кромки льдины раскачивались на зыби, испуская утробный гул, от которого у меня волосы зашевелились не только на голове, но и на всех остальных волосатых частях тела.

Коварная штука море. Чего только мы не натерпелись за эти месяцы! И под финал — удовольствие выходить за кромку на штормовой зыби!

Промежутки между отдельными обломками полей были большие, но заполнены двухметровыми блинами, блины от трения между собой обросли по периметру высокими буртиками.

Все виды ледяной дряни мотались, шуршали, шипели, плюхали, вертелись, переворачивались и норовили обязательно вмазать напоследок нам в больные борта.

Даже сравнительно небольшая льдина, мотаясь на зыби, запасается такой кинетической энергией, которой вполне достаточно, чтобы сделать тебе прободную язву, ибо судно-то тоже летит по зыбям с приличной скоростью. Одно дело — неподвижная льдина, на которую ты натыкаешься. Другое — льдина, которая и сама по себе имеет мощное встречное или боковое движение.

Короче говоря, выход из льды на штормовой зыби считается в морской практике опасным приключением. Держать-то надо самый полный ход, дабы выйти строго перпендикулярно ледовой кромке. И еще паршивая пред-рассветная муть — видимость не больше пяти кабельтовых.

— Виктор Викторович, вы привыкли нас на чистую воду выводить, — опять не без многозначительного подтекста сказал В. В. — Так, я надеюсь, и в данном случае эти свои способности используете на полную катушку.

Хорошенькую он мне поставил задачу...

Но я был горд и счастлив его доверием.

То, что мы носим определенную личину, не вызывает у меня сомнения. Но, быть может, это наша личина носит нас? Последнее не кажется мне менее вероятным.

Высочили на свободу удачно. На последней льдине, которую оставили метрах в пятидесяти с левого борта, развратно валялось семейство моржей. Зверью явно нравилось возлежать на колыхающейся ледяной постели в окружении водяных гейзеров.

Как приятна чистая вода — стылая, каверзная, тяжелая вода Чукотского моря. Здравствуй, свободная стихия!

Чтобы поставить точку на всем оставшемся за кормой, следует писать сурово: «Позади остались полярная надбавка к зарплате и надбавка к ценам на телеграммы, на хлеб, на водку, на авиабилеты и маринованные помидоры; позади остались тысячи людей, существующих в гипнозе шальных отпускных денег; позади остались грязь загаженной тундры и весь так называемый героизм современной Арктики».

От мыса Литке на острове Врангеля легли курсом на Ванкарем. Когда развиднелось, был замечен на востоке остров Геральд.

На траверзе мыса Гаваи рухнул в койку.

Барометр падает, явно входим в зону тяжелого шторма, а у нас первый и третий трюма открыты настежь.

Первый — чтобы в нем можно было работать с цементными ящиками. Третий заполнен водой, которую накачали туда, чтобы посадить возможно глубже корму при движении во льдах. Затопили мы его без предварительной зачистки — и минуты не было на приготовления. Как и следовало ожидать, наколоченные на доски паёла железяки полетели к чертовой бабушке. Теперь в третьем трюме носятся вместе с водой, всплыв на свободную поверхность, тысячи досок, ударяясь в сталь бортов и уродуя друг друга. Щепки, древесные лохмотья, грязь и мразь забили льяльные колодцы — воду из трюма теперь можно будет выкачать только сверху — шлангами с палубы.

Ветер работает с чистого веста.

Курс — почти чистый зюйд.

Значит, принимаем шторм в галфинд.

В третьем номере несколько сотен тонн воды на кренах гидравлическими молотами бьют в борта изнутри, стремясь воссоединиться со своими вольными сестрами — штормовыми волнами Чукотского моря. И наших узниц-невольниц вполне можно понять и даже им посочувствовать. Но это все шуточки, а смешного-то ничего нет.

Мат-перемат... Ну, действительно рехнуться можно: не везет с погодой в этой проклятой Арктике, как мне весь рейс не везло в шеш-беш.

Объявление только приятное: стрелки судовых часов будут переведены на один час назад.

Выбросил за борт отслужившие свое теплые сапоги, у одного из которых поломалась молния. Сапоги долго не тонули, вертелись в кильватерном следе. Будем считать, что это я монетку бросил в бассейн фонтана в Риме.

Штормит, черт возьми, сильно. Тяжкие сотрясения от бортовой волны. И каждый раз, когда так вмазывает, думаешь, что в льдину вперлись... «От качки стонали зека, обнявшись как рódные братья...» У нас от качки стонет железо. Да, сталь стонет, и никак не заснуть от этих стонов. Они бродят внутри корпуса судна, и даже чудится это в своем собственном пустом желудке.

Как говорят антарктические и всякие другие полярники: «Стихия? Нет-нет, стихии мы не видели... особенно ночью».

А все-таки даже в тяжелом шторме есть что-то от вальса.

Вальс ледовых брызг среди рева и сатанинского свиста, среди тьмы и снежных зарядов.

Шквалы подбрасывают к самым прожекторам бедолаг-птиц, и они так вспыхивают белым опереньем в штормовом хаосе, что невольно вздрагиваешь от неожиданной вспышки; от особенного, отраженного уже не от ледовых брызг и снега, а от теплой птицы — света.

Десять баллов от веста.

Все отвыкли от качки и распустились. Полетела посуда из шкафа в буфетной. Ошпарилась компотом дневальная Клава. От компота остались только сухофрукты. Кок вывалил на грязнувший пол противень с котлетами. И попытался шито-крыто собрать их обратно, чтобы накормить экипаж павшими котлетами, но его засек бдительный Октавиан Эдуардович. Не знаю, право, что лучше — грязные котлеты или гречка с тушенкой, которую в результате пришлось глотать.

Выбрался в коридор, увидел, что в углу наблевано, и услышал вопли буфетчицы. Пошел к ней. Правда, глагол «ходить» тут не очень подходит. Попробуйте ходить внутри прыгающего с уступа на уступ горного козла. А именно так вел себя «Колымалес». Да, в желудке прыгающего горного козла ходить невозможно. Тут больше подходит глагол «шататься».

У Нины Михайловны был приступ морской болезни, она была растрепана, поминала маму, зарекалась плавать, плакала и прятала голову под одеяло.

В те времена, когда штатно работал старшим помощником, я обратил бы на ее вопли столько же внимания, сколько уделяет медведь кисленькому муравью, слизывая его с муравьиной кучи, ибо вообще-то самое хорошее средство от морской болезни — заставить страдальцу убрать блевотину из коридора или умывальника.

А нынче начал Нину Михайловну утешать, налил ей воды и осторожно отодрал одеяло от лица. Она в меня вцепилась, постучала зубами о стакан, подуспокоилась и говорит:

— Я не потому плачу, что укачалась, а просто вспомнила, что в девушках косу носила, замечательная коса была...

Тут пароход очередной раз так швырнуло, что я не удержался, плюхнулся на ноги Мандмузели и звезданулся башкой о переборку. Ноги Нины Михайловны оказались весьма костлявыми.

— Поплакала и хватит! — заорал я, сразу забыв про джентльменство.

— А вы мою косу совсем не помните?

— Какая еще коса? Идите посуду крепить!

— У сфинксов, на Фонтанке. Ведь это я была, Виктор Викторович!

Господи! Еще и этакого не хватало!

Поглядел на укачавшуюся Мандмузель — святых выноси, нет! Не может быть этого, ибо быть этого не может...

Но, между нами, девочками, говоря, осадочек в душе выпал — в моей нежной и художественной душе — довольно мутный.

— Подслушивать в рубке меньше надо, Нина Михайловна! — таким примитивным макарончиком попробовал я избавиться от мутного осадочка.

Наконец вырвался от нее на оперативный простор, дошатался к себе в каюту — там полный бедлам. Разбился флакон с одеколоном — дышать от дешевого шипра нечем. Кресло вырвало крюки-крепления и озверело летало из угла в угол, пока не заклинило, взгромоздившись на умывальник. Я наблюдал за бунтом мебели, рухнув в койку.

Есть два способа существовать при такой качке. Один — все своевременно закрепить, убрать, все ящики замкнуть, все занавески привязать и т. д. Другой — бросить все на произвол судьбы: рано или поздно предметы найдут себе места, в которых застрянут. Последний способ требует хороших нервов. У меня они плохие, но и сил бороться с креслами не было.

Крены до тридцати градусов.

Из огня в полымя — из ледяного неподвижного царства в объятия совершенно свободных стихий.

И мне ведь с шестнадцати часов на самую обыкновенную штурманскую вахту — за старпома.

Все-таки умудрился заснуть. Не раздеваясь, конечно, И был вознагражден за свое умение спать и при тридцатиградусной качке: приснилась моя первая любовь, она была в шляпе с вуалью, шляпка кокетливо сдвинута на глаза...

Никогда в жизни не видел ее в шляпке с вуалью.

Но вот возникла среди Чукотского моря. Какая-то старо-молодая. Интересно, какая у нее нынче прическа? Седая у нее прическа, дружище! И какое тебе дело до ее прически? А все-таки хорошо, что я увидел ее в этом тяжелом и душном штормовом сне. Странно подумать, что в Чукотском море я первый раз штормовал двадцать шесть лет назад на «СС-4138». Тогда моя первая любовь казалась мне последней... Чего же она мне все-таки яви-

лась? А! Нина Михайловна несла какую-то чушь о Фонтанке. Подслушала наши мужские разговорчики — вот и несла. Никаких кос у той роковой Ниночки не было. Это у моей первой любви они были...

Чуть не на четвереньках поднимаюсь в рубку, пялюсь на карту, вижу, что курс проложен прямо через отметку затонувшего судна. Красной корректорской тушью глубина над затонувшим судном исправлена с тридцати четырех метров на шестьдесят и старательным почерком выведено: «„Челюскин“, 1934 г.» Совсем близко от берегов Чукотки, от мыса Ванкарем они кувыркнулись.

— Митрофан!— ору второму помощнику.— Митрофан! У нас на борту цветы есть?!

— Я вот после Мурманска два раза болел!— орет Митрофан.— Но бюллетня не брал! Сам перемогался! А чиф специально по трюмам ползал, чтобы простудиться!

Вот падла Митрофан Митрофанович! Ведь весь рейс труднее всех доставалось Гангстеру — и внутренние судовые дела, и штурманская работа, и на мостике-то никаких помощников, кроме матросов. И я, и В. В. имели на вахте помощников: В. В.— третьего, я — Митрофана. Чиф же кувыркался один.

— Какие вам цветочки?— доносится голос капитана.

Я со света и не заметил, что он сидит в лоцманском кресле.

Добираюсь к нему, ору:

— Кинофильм «Челюскинская эпопея» видели?

— Нет!

— Там с нашего полупроводника «Владивостока» на могилку «Челюскина» хризантемы бросали! Мы через час над ним пройдем!

— Хорошо! Вас понял!— орет В. В.— Мы ему укропу бросим!

— Почему мы лагом к волне прем?

— Заставьте радиста «Лоцию» отремонтировать!— орет Митрофан.

— Зачем она вам сейчас?

— А чего он врет?

— Чего врет?

— Что свой автомобиль за девяносто рублей отремонтировал! Из Выборга в Ленинград ехал и в сугроб перевернулся! Колесами вверх! И говорит — девяносто! Девятьсот! А откуда у него деньги такие? Мозги крутит!

— Вам какое до этого дело?

— Мозги темнит! Нас не обманешь!

— У вас определение есть?

— Какие к черту определения?

— А ваши любимые радиопеленга?

— Принимайте счислимое место, Виктор Викторович, — с нотками приказа в голосе говорит В. В. Давненько я не слышал таких ноток в его звуковой палитре.

— Есть принимать счислимое!

— И отпускайте второго помощника!

— Митрофан Митрофанович, вахту принял! Можете быть свободны!

Митрофан исчезает мгновенно.

В. В. отводит меня в угол рубки, подальше от ушей рулевого матроса. Там, за радиолокатором, мы с ним заклиниваемся, и я узнаю, что получен приказ не заходить к востоку от линии мыс Гавай — мыс Ванкарем. О причинах и поводах таких приказаний не спрашивают, ибо прибывают они на судно в виде криптограмм.

Теперь ясно, почему В. В. штормует лагом к волне. Поворот на курс против ветра можно будет совершить только в двадцати милях от острова Колючин, а если отворачивать под ветер, то через пару часов мы опять воткнемся в тяжелые льды пролива Лонга.

В. В. интересуется моим мнением по поводу создавшейся ситуации, так как своему мнению он доверять в данный момент не может: полчаса назад, когда В. В. лежал на диване в лоцманской каюте, опять сорвалась с петель и опять врезалась в столик возле изголовья капитана стокилограммовая дверь от этой лоцманской каюты. Врезалась она опять буквально рядом с его виском. Вероятно, только моряки знают, что такое дверь, совершающая свободный полет на тридцатиградусном крене сквозь каюту, расположенную поперек судна. От удара двери в столике образовалась еще одна вмятина десятисантиметровой глубины. В рубашке родился В. В.

Мое мнение по поводу ситуации свелось к тому, что нам ничего не остается, кроме как продолжать следовать, как мы следуем. И если мы не перевернулись до сих пор, то, надо думать, не перевернемся и впредь; если, конечно, волна и ветер не усилятся еще больше.

По прогнозу в проливе Беринга обещали отход ветра к норду и его резкое ослабление, но одновременно предупреждали о возможности обледенения.

— Я нотис на подход к Владивостоку дал на семнадцатое октября! — заорал мне в ухо В. В. — Старый я ду-

рак! Там нас уже груз ждет! Деликатный! Как его будем в загаженный трюм валить?!

Он уже пекся о каком-то грузе! А сам не имел медицинского допуска для тропиков и во Владивостоке должен был списываться и благополучно лететь в Питер. Но — долг!

Прибор АПСТБ-1 служит для подачи автоматического сигнала бедствия в случае неожиданной и стремительной гибели судна. После приема вахты штурман обязан ввести в этот прибор координаты.

Заступив вместо старпома на вахту в тяжелый шторм, когда волны сшибались лбами, я сразу убедился в том, что техника не хочет мне подчиняться. В АПСТБ-1 западала кнопка, вводящая минуты долготы. То есть: потони мы, и никто бы не знал, в каком полушарии нас, бедных, искать и спасать. Потом отказался включаться радар. Я сражался с ним минут пятнадцать и каким-то чудом победил. Ни от чего не получаю в жизни такого удовлетворения, как от победы над техникой. Когда вновь заработает дверной замок, телевизор или наладится незнакомый радар, — для меня праздник, ибо я терпеть ремонтные дела не могу.

Из книг с гибнущего «Челюскина» уцелели всего две. Их читали и перечитывали в лагере Шмидта все время жизни на льдине.

Томик Пушкина и «Песнь о Гайавате» в переводе Бунина. Эх, Пушкин, Пушкин! Ведь зря ты, Александр Сергеевич, завидовал Матюшкину! Ведь сам-то ты и в эти богом забытые места добрался! И даже дальше, чем когда-либо забирался Матюшкин!

Вспомнилась сардинская глубинка, городок Арбатакс и наша там с Пушкиным встреча...

Не бросили мы на бушующую могилу «Челюскина» ни цветочков, ни даже нашего жалкого укропа. Но отметили эту точку тем, что, люнув на запретный квадрат, легли с 170° на чистый ост.

В судовой журнал я записал: «Считая дальнейшее следование лагом к восьмибалльной волне чрезмерно

опасным и не имея другого выхода, приняли решение штормовать носом на волну на генеральном курсе 90° ».

Затем я, используя пребывание В. В. в рубке, принялся за изучение «Правил ведения судового журнала». Да, это факт, что мне пришлось обновлять в памяти правила, ибо командовать судном — одно, а править обыкновенную штурманскую вахту — совсем другое.

Явился на мост Октавиан Эдуардович и предложил начать раздел имущества старшего помощника, которому, по мнению старшего механика, остается жить, то есть скрипеть в этом прекрасном и яростном мире, не больше суток: у чифа, вероятно, не ангина, а нарыв в горле.

Мне были выделены сапоги Гангстера.

— Пожалуй, Октавиан Эдуардович, ваш юмор почернел уже слишком, — сказал я.

— Я вообще кристально черный человек, — ответил он.

На таком волнении «Колымалес» напоминал речную самоходную баржу, а не лесовоз с неограниченным районом плавания. От ударов под носовую часть днища по судну прокатывалась спазма, судорога, на доли секунды наступало ощущение невесомости, затем твое грешное тело тяжелело, а судно начинало трепетать крупной дрожью, дребезжало, гремело, звякало все, от киля до клотика, лязгали в косяках задраенные двери, скрипели переборки, бились и завивались занавески, мигали лампы; а когда судно наконец ухало носом под волну, винт выходил из воды и шел вразнос и сам воздух в помещениях вибрировал от гула гребного вала.

Давненько я не попадал в такую катавасию.

На траверзе мыса Дежнева. Вышли из зоны шторма. Догнали «Ураллес». Он пошел, прижимаясь к самому берегу. Мы шли левее его миль на шесть. И на наших глазах он угодил в длинный и противный ледяной мешок, из которого выбраться к югу не смог, и, развернувшись на обратный курс, поплыл обратно в Чукотское море. А ведь по прогнозу нам давали полное отсутствие льда в Беринговом проливе! Грозили обледенением, но льда на водной поверхности не обещали. Ох, слишком уж часто прогнозы липовые.

Одиннадцатое октября. Вышли из Анадырского залива у мысов с громкими названиями — Наварин, Чесма, Гангут.

Пока не зацепились за берег радаром, у меня было только легкое сомнение в месте судна. А оказались на десять миль впереди счислимого места. Слишком большая невязка, товарищ вахтенный штурман Конецкий!

Начали откачку воды из третьего трюма погружными помпами и пожарными насосами.

Опять путался с опознанием мысов.

Трудная это штука — рядовая работа обыкновенного вахтенного штурмана.

Где-то в этих самых местах со мной случился в 1955 году позорный случай.

На малых рыболовных сейнерах, которые мы перегоняли из Петрозаводска на Камчатку, было всего по два судоводителя: капитан и старпом. И стояли мы вахту шесть через шесть. Но и этого мало. Два из шести часов был в рубке вовсе один — подменял обыкновенного рулевого — крутил-вертел ручной штурвал и прямо из рубки управлял двигателем.

Позади оставалась уже вся Арктика, устали предельно.

И я заснул, стоя на руле! Один на судне рулевой и впередсмотрящий заснул у штурвала! Или, как теперь пишут в официальных документах: «Впал в состояние оцепенения, потеряв контроль за окружающей обстановкой».

Очнулся от удара и увидел перед собой в десяти метрах корму идущего впереди среднего рыболовного траулера. Удар был легкий: пока я вырубался, вероятно, на две-три минуты, мой сейнер догнал траулер и скользяще поцеловал его левой скулой в правую кормовую раковину. Ни на траулере, ни у меня на сейнере никто ничего не заметил. Но я-то с тех пор знаю, что такое **ОСТОЛБЕНЕТЬ** от ужаса: я ведь, хоть и стоял на руле как рядовой матрос, но был-то капитаном! А если б впереди идущий траулер вдруг застопорил в те минуты? Я же всадил бы в него форштевень, то есть вдвинул бы свою малютку прямо ему в винт.

Не очень-то приятно и сейчас признаваться.

Хемингуэй подбадривает:

«Если ты совсем молодым отбыл повинность обществу, демократии и прочему, не давая себя больше вербовать,

признаешь ответственность только перед самим собой, на смену приятному, ударяющему в нос запаху товарищества к тебе приходит нечто другое, осязаемое, лишь когда человек бывает один. Я еще не могу дать этому точное определение, но такое чувство возникает после того, как ты честно и хорошо написал о чем-нибудь и беспристрастно оцениваешь написанное, а тем, кому платят за чтение рецензии, не нравится твоя тема, и они говорят, что все это высосано из пальца, и тем не менее ты непоколебимо уверен в настоящей ценности своей работы; или когда ты занят чем-нибудь, что обычно считается несерьезным, а ты все же знаешь, что это так же важно и всегда было не менее важно, чем все общепринятое, и когда ты на море один на один с ним...»

Плывем по карте «От мыса Крещеный Огнем до бухты Наталии». Тихий океан. Берингово море. Масштаб 1:500 000 по параллели 59°. Написание названия сохраняю точное, подлинное.

Смотришь на этот «Крещеный Огнем» мыс и думаешь об авторах наименования. Высокие романтики они были? Или просто кто из первопроходцев портянку здесь в костер уронил? Жаль, что карты на такие темы говорить не умеют.

Огромна помощь человеку от искусства, красивого слова, чужой мудрой мысли, чужого мужества.

Итак, вывод из этого плавания в плане человековедения. Еще раз убедился в нелепости своего познавательного устройства. Первое ощущение от встреченного на жизненном пути человека — чисто интуитивное, моментальное; оценка этого человека каким-то внутренним камертоном, но без словесной формулировки. Затем длительное наблюдение, изучение, которое заканчивается, как правило, противоположной первому интуитивному ощущению оценкой, которую я уже могу сформулировать. И наконец, опять — после значительного временного промежутка — решительный возврат к первому, моментальному ощущению.

Если первое было «+».

Затем длительное «—».

Окончательное «+».

Или: 1) «—», 2) «+», 3) окончательное «—».

Но к моменту «окончательного» рейс уже заканчивается, наступает *разлука*. Что получается? А то, что я очень длительное время пребываю в плену неверного, ошибочного. И ведь отлично уже знаю о таких своих этапах познания душ соплавателей. Но каждый раз повторяю и повторяю ошибки, то есть не могу заставить себя поверить в истинность первоначальной интуитивной оценки.

Двенадцатое октября.

Встречал рассвет у мыса Алюторского. Всю вахту курс 220°. В половине пятого утра прошли траверз мыса Ирина. Здорово кто-то скучал здесь когда-то об этой Ирине...

А я раздумывал о том, что, как и всегда, меня страшил этот рейс в Арктику. Но вот все самое тяжелое уже позади. И вдруг выясняется, что меня опять страшит будущее: родной дом страшит; ключи, которые я оставил соседке; явка в кадры; просроченный сценарий, который не получается и никогда не получится... И вот в данный именно момент я тоже чего-то страшусь и боюсь. Чего? Оказывается, боюсь под самый финал опять простудиться. Что ж выходит? А выходит, что человек всю жизнь трясется от страха...

Рулевой матрос спрашивает:

— Вы во Владивостоке списываетесь?

— Да. А вы?

— Нет. Но это мой последний рейс.

— И сколько отплавали?

— Десять лет.

— Чего же вы? В тридцать уже завязываете?

— Ага. Надоело. В деревню вернусь. Сад буду разводить, хозяйство налажу. Мать одна мыкается, пасеку держит. Приезжайте мед кушать — меня пчелы любят.

— Спасибо.

Здесь уже серьезно пахнет цивилизацией. Даже раздельное движение судов введено — прямо Английский канал. Но мы, одичав в Арктике, премя по приказу В. В. по левой стороне, то есть против движения встречных. Правда, судов мало, а Тихий океан велик, но...

Тринадцатое октября.

Открылась еще одна водотечная дырка — в форпике.

Карта «От мыса Поворотный до мыса Шуберта» Симпатичное предупреждение: «В районе острова Беринга запрещается прибрежное плавание судов без разрешения органов рыбоохраны (за исключением кораблей ВМФ и пограничной охраны), запрещается подача судами гудков, полеты самолетов и вертолетов ниже 4000 м, стрельба, добыча рыбы, морских животных, растений и посещения лежбищ котиков и бобров».

Котики и бобры могут спать спокойно. И Беринг тоже.

В Москве до 19°, в Ленинграде до 15°. Неужели еще так тепло?

Когда поздней осенью выходишь из Арктики, всегда вертится в башке: а дождутся меня ленинградские арбузы, валяясь в своих деревянных клетках-загонах на Петроградской стороне?.. Правда, нынче за арбузами такие очереди, что я обхожу их по дуге с радиусом метров сто...

На вулканах Камчатки — кубанки туч.

Откачка из третьего трюма идет тяжело. Воды осталось там по пояс, но это уже, конечно, не вода, а жижа, черная тягучая мразь, в которой на плавных кренах тяжело колыхаются всплывшие доски. Матросы в поясных бахилах голыми руками выбирают из льяльных колодцев намокшую мразь. Ни слова жалоб или кряхтений. Отличный экипаж, замечательные ребята, молодчина боцман. Ну, конечно, и элемент материальной заинтересованности есть. Рейс югом обозначает обязательный заход в Сингапур, а нет на планете лучшей отоварки, нежели в Городе львов.

Тихий океан был тихим. Он штилевал в какой-то блаженной истоме после недавнего злого шторма. Ветерок всего балла четыре прямо в корму. Потому даже не свистит.

Пустынная серая вода.

Я прошел в корму, чтобы постоять там и поглядеть в кильватерный след, одиноко и бездумно поглядеть, без всяких философий.

Стою, бездумствую над бело-зелено-голубым кильватерным следом, вибрирую вместе с фальшбортом, на который облокотился.

И вдруг слышу тихую песню:

Ой да как на реке Неве,
На Васильевском славном острове
Молодой матрос корабли снастил...

Господи, эту песню небось еще на кораблях Витуса Беринга пели! Откуда ее доносит? Кто поет?

Пел мой свирепый враг и охотник на песцов, у которого я отобрал сеть-ловушку. Сидел он в мастерской, плесень делал. Растрогал он меня древней песней. Тихонько прошел я по другому борту к себе в каюту, вытащил из-под стола воровскую снасть, которая, честно говоря, до смерти надоела и я рад был от нее избавиться. Отнес в корму.

— Получи,— говорю,— обратно свое имущество.

Бывший подводник засмеялся, взял свое имущество, разглядел внимательно и широким жестом засорил среду обитания — вышвырнул снасть за борт в Тихий океан.

Слава богу, отходчивы русские люди.

— Пора,— говорит,— Виктор Викторович, нашу Крякву Иванну высаживать. Она чего-то киснуть стала.

Я спросил про песню: откуда он такую выудил?

— А черт знает. Привязалась с какой-то пьянки, еще когда на Севере служил. Так будем утку выпускать?

На церемонию выпуска Кряквы Ивановны собрался весь свободный от вахты экипаж.

Утку посадили на крышку трюма и образовали вокруг нее островок безопасности.

Тепленькое солнце. И от моря уже потягивает теплом. И дельфины уже прыгают.

Чего будет делать птица? Полетит или нет?

Кряква Иванна пару минут сосредоточенно раздумывала, оглядывая бесконечные дали небес и сереньких свободных волн. Затем без особой поспешности и радости взлетела и... уселась на волну метрах в двухстах от судна. «Колымалес» быстро уходит. Выживет путешественница? Найдет соплеменника? Освоится на Дальнем Востоке? Я даже решил после возвращения в Ленинград позвонить какому-нибудь орнитологу и выяснить возможную судьбу нашей полярной путешественницы. Конечно, вспоминался Гаршин, его лягушка-путешественница и то, как наша Кряква Иванна будет хвастаться сородичам, если соединится с ними, своими подвигами: как-никак проехала на пароходе из Айонского ледяного массива вокруг острова Врангеля до самой Камчатки.

Мы не успели закончить несколько сентиментальные разговоры о судьбе утки.

РАДИО АВАРИЙНАЯ ВСЕМ СУДАМ ТАНКЕР
ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА КООРДИНАТЫ 5614 СЕВ
16422 ВОСТ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ ЗПТ ОТОРВАЛСЯ
БАК ЗПТ ЧАСТЬ ЭКИПАЖА ВЫСАЖЕНА ШЛЮПКИ

ЗПТ КМ ОСТАЛСЯ БОРТУ АВАРИЙНОЙ ПАРТИЕЙ
ТЧК ПРОШУ ОРГАНИЗОВАТЬ РАДИОНАБЛЮДЕНИЕ
ЧАСТОТЕ 500 КГЦ ПОЗЫВНОЙ УСБН=СМ/644 ЧЗМ
ЧЕКИН.

Перевозу на нормальный язык. У танкера оторвался и затонул нос. Капитан, опасаясь возможного продолжения взрывов, высадил большую часть экипажа на шлюпки. Сам остался на борту с аварийной партией для борьбы с водой, которая проникает в оставшиеся на плаву отсеки танкера.

Организовать радионаблюдение мы могли, но повернуть к бедолагам не могли: нам едва хватало топлива до Владивостока. И потом, мы знали, что в Петропавловске есть мощные спасатели и они, конечно, уже шли на помощь. И все равно неприятно, когда не можешь повернуть к аварийному судну.

Пятнадцатое октября. 05.15. Пролив Лаперуза.

Когда делал выписку из лоции о сахалинских чеховских местах, от встречного судна узнали, что на танкере «Заветы Ильича» при взрыве погибло три человека. Сам танкер еще держится, его буксируют в Петропавловск-на-Камчатке.

Ночью с левого борта в бинокль видны зарева над Хоккайдо.

Там где-то могила японского поэта Такубоку. Эпитафию сочинил он сам:

На северном берегу,
Где ветер, дыша прибоем,
Летит над грядкою дюн,
Цветешь ли ты, как бывало,
Шиповник, и в этом году?

После гибели адмирала Макарова на линкоре «Петропавловск» Такубоку напечатал в газетах стихи, посвященные русскому адмиралу. Он восхищался мужеством противника и воспел благородство врага своей страны еще в разгар войны!

Любимым писателем Такубоку был Лев Толстой...

«...И я вижу, как с одного конца ныряет и расплзается муравейник... расплющенных сжатым воздухом в каютах, сваренных заживо в нижних этажах, закрученных неостановленной машиной (меня «Петропавловск» совсем поразил)», — это Блок писал Белому через неделю после гибели броненосца.

Вечно здесь вспоминается Цусима. И блоковская девушка в церковном хоре, и то, как высоко, у царских врат, причастный тайнам плакал ребенок — о том, что никто не придет назад...

Собор, где рождались эти строки, был построен на берегу Невы в память погибших при Цусиме. Взорвали его уже на моих глазах. И соорудили там завод.

Строили собор на средства, собранные всем миром, всей Россией. Стены его были облицованы мраморными досками с именами погибших — от юнг до адмиралов.

Как говорил уже где-то раньше, море не ставит погибшим крестов.

Собор был морякам земной могилой. К нему приходили вдовы.

Куда сегодня прийти внукам тех героев? Ведь даже памятные доски, прежде чем взрывать собор, снять не удосужились. Имена матросов пустили по ветру. Как, между прочим, и имена всех русских плователей вокруг света, которые были выбиты на стенах Кронштадтского морского собора.

Аврал по приведению в порядок и зачистке третьего трюма.

В аврале участвуют все. Штурманскую вахту стоит капитан. Никуда не денешься, и я тоже лезу в трюм, ибо сам являюсь автором этой подвижнической идеи.

Лаз в трюм узкий, потом скоб-трап. Метра три вертикально вниз. Затем метра четыре по узенькому карнизу, держась за прерывистую скобу. Затем еще вниз вертикально метров пять. После чего оказываешься на туннеле гребного вала. Никакого ограждения нет. По скользкому железу идешь в носовой конец трюма, качает, сверху сыплет мелкий дождь. Под носовой переборкой пролезашь еще в одну дыру и спускаешься уже на самое дно. Особенно неприятно идти по туннелю. По сторонам лучше не глядеть — в трех метрах ниже тебя завалы изломанных досок и покореженного металла. Если поскользнешься — костей не соберешь. Матросы, конечно, привыкли и носятся по туннелю орангутангами. Командиры преодолевают этот отрезок пути без всякой лихости.

Спустишься на дно и сразу начинаешь думать о том, что рано или поздно придется возвращаться тем же скользким путем назад.

Три часа я честно вычищал вонючую мразь из шпаций, нагружал совковой лопатой бочки и отправлял их наверх. На большее меня не хватило. Решил, что достаточно личных примеров и самоотверженности. Пускай продолжают молодые энтузиасты.

Замечательная штука — душ после грязной работы. Но от непривычки разболелись и руки, и ноги, и спина.

Шестнадцатое октября.

Ничего не снилось, потому что вообще не спалось. Нынешний год рекордный по путанице биологических часов. Два раза укатывал от нормы на двенадцать часов по долготе в обоих полушариях.

От самого Корсакова идем вместе с пассажиром «Любовь Орлова» — моей детской любовью.

Штиль. Голубизна. Теплынь. Дельфины с белыми брюшками и белыми кончиками хвостов. Обязательно им надо хулиганить и резать нос судну — на всех морях планеты одинаково безобразничают.

У нас на борту из зверей остался и продолжает бороться за жизнь только рак Митрофана Митрофановича.

Последние шеш-беши. Они называются «японскими», потому что плывем уже в Японском море. Я играю удачливо, всем мщу за проигрыши. Но, правда, мстить я умею плохо. И потому сознательно выпускаю из «марсов» противников.

Вечером аховски завораживающая флюоресцирующая пена под форштевнем и за кормой. Блистающие зеленые алмазы на волнах напоминают почему-то новогодние огни.

После Владивостока «Колымалес» зайдет в Японию. И потому у предусмотрительного Митрофана Митрофановича уже выписаны нерабочие дни, которые отмечаются в Японии как праздники: «15 января — День молодежи, 21 марта — День весеннего равноденствия, 3 мая — День конституции, 5 мая — День детей, 15 сентября — День почитания стариков, 23 сентября — День осеннего равноденствия, 23 ноября — День прославления труда».

К этой справочке Митрофан подвешивает еще одну любопытную бумажку. Ее авторы сидят в иммиграционном отделе порта Сингапур.

«Всякое лицо мужского пола, которое, по мнению им-

миграционного чиновника, носит длинные волосы, не допускается в Сингапур.

Длинными считаются волосы, падающие ниже обычной линии воротника рубашки, закрывающие уши, падающие на лоб ниже бровей.

Вход на территорию порта такому лицу будет разрешен, если он согласится немедленно постричься.

В противном случае командир самолета или капитан судна, доставивший такого человека в Сингапур, обязаны будут транспортировать его за пределы республики.

Указанная информация должна быть принята к сведению авиационными и судоходными компаниями всех стран мира и их агентами».

Мне это до лампочки: 1) волосы короткие, 2) Город львов мне в этот раз посетить не удастся — полечу домой самолетом.

А вот Октавиан Эдуардович почесывает свою шикарную львиную гриву.

Митрофан ехидничает.

И даже наш салажоночный доктор ехидничает, ибо обнаружил отсутствие в медпаспорте старшего механика свидетельства о прививке от тропической лихорадки.

Римскому цезарю еще то горько и обидно, что прививку ему недавно делали, но свидетельство он забыл дома. Теперь Октавиану Эдуардовичу предстоят шесть внеплановых соприкосновений с живой и животворной сталью шприца. Потому он почесывает одновременно и львиную шевелюру, и задницу.

Семнадцатое октября. 05.40. Проходим мыс Неизвестный. Возле него много бочек, которых нет на карте. Вертимся среди них в темноте по радару.

Все побанились и погладились.

Наконец Босфор-Восточный. Тьма. Черные кудрявые облака. Проблескивает маяк на мысе Басаргина. Я и забыл, что один из моих героев носит имя этого мыса и смотрит здесь на облака.

Затмевается и кроваво пульсирует маяк Скрыплев.

Пост в Босфоре вообще не знает о существовании Балтийского морского пароходства. На посту никак не могут понять, что наше судно из Ленинграда. Редко наши суда бывают в самом Владивостоке: обычный порт захода — Находка. Нам просто повезло, что разрешили залезть сюда. Наконец пост связывается с лоцманской станцией.

Ложимся в дрейф на входных створах. По обеим сторонам пролива стоят на якорях могучие рыболовные плавбазы. Они не жалеют электричества на палубное освещение. Все вокруг мерцает, переливается, и не понять, где береговые огни и где огни судов. Огни огромных плавбаз светят в ночи торжественно и величаво.

Светает быстро. Прибывает лоцман. Второй раз в жизни вижу такого старого пайлота. Вместо команд с волевыми интонациями из старика вылетают скрипы, свист и шорох — как будто слушаешь магнитную пленку с записью рыбьих разговоров. Минут десять лоцман руководит движением судна только с помощью жестикуляции.

Медленно вplyваем в бухту Золотой Рог.

Собственноручно отстукиваю прожектором название судна в ответ на бесконечные запросы бдительных постов. Оказывается, еще не окончательно забыл морзянку, — удивительно!

— Пайлот, а деревья еще есть в городе зеленые? — спрашиваю лоцмана, из которого уже насыпалось в рубке порядочно песка.

— Конечно, есть, — скрипит он.

— Апельсины?

— Полно.

— А бананы?

— Только что четыре банановоза пришли с Эквадора. На каждом углу продают.

— Поделились бы с колыбелью революции.

— Не сорок первый год.

— И не стыдно вам?

— Чего стыдиться? Вы там, на западе, давно к голоду привыкли — перебьетесь и без бананов... Стоп машина! Грунт жидкий — ил! На клюз не меньше шести смычек!

— Боцман! На баке! Будете травить до шести смычек! Как якорь?

— Правый якорь к отдаче готов!

— Хорошо!

Идем по инерции. Тишина. Тепло. Ближе сопка — курчавая от кустарника. Какое удовольствие видеть близко пожухлый кустарник!

— Средний назад! — командует скрипучий лоцман.

— Есть средний назад!

Выходим на крыло, привычно ждем, когда возмущенная вода приблизится к миделю — середине судна, —

в этот момент обычно гасится инерция и начинается едва заметное движение назад.

— Отдать якорь!

— Есть! Отдать якорь!

— Стоп машина!

Все. Приехали.

Старик лоцман крепкой ладонью жмет руки всем, кто в рубке, и поздравляет с приходом.

Валюсь спать, и... белая большая птица планирует над судном — на парашюте! Удивительно и замечательно красиво... Затем парашют медленно и плавно переворачивается куполом вниз. Птица оказывается в огромной высоте и продолжает величественно парить, а парашют ей совсем не мешает. Птица вроде лебедя.

Хороший сон.

Возможно, возник он потому, что в момент, когда возле пышной от кустарников сопки мы становились на якорь, судовую антенну облепили вороны, и я долго глядел на них и за них — в бездонные и чистые небеса; а думалось, что о том, как велика Россия, знают только те, кто обошел ее с севера.

Утром бухта Золотой Рог погрузилась в туман. В тумане гудками звали кого-то десятки судов, глухо доносились удары в колокола.

Собираю вещички. В самолет много не возьмешь. Безобразно человек устроен: все вещички, включая шлепанцы, хочется прихватить, хотя они нормально приплывут к Новому году домой на «Колымалесе». Привыкаешь и к мертвой материи. С болью в сердце решаю оставить Октавиану на хранение «Эрику». Первая наша разлука за четверть века. Старушка плачет: ревнует, верно, к той новенькой машинке, что давно уже куплена ей на смену.

— Самое главное в жизни, старушенция, — говорю «Эрике», — никогда не впадать в уныние ни из-за людей, ни из-за событий.

— Откуда ты выкопал такую чушь?! — бурчит «Эрика» сквозь футляр, который для страховки я обвязываю веревкой: замочек барахлит.

— Видишь ли, подруга, когда четверть века назад

лейтенант, молодой и красивый, край родной на заре покидал, он надолго оставил невесту. На прощание сказала она: «Лейтенант, в целом мире нет места нам милей, чем родная страна». И подарила лейтенанту фотографию, где навсегда осталась молодой и красивой, а на фотографии написала эту философскую сентенцию.

— Хозяин,— проворчала «Эрика»,— уж тебя-то я знаю. Ты как раз всю жизнь только и делаешь что впадаешь в уныние то из-за людей, то из-за событий.

— Уж когда я впал в уныние, то это как раз тут, подруга. Сперва на меня пришел начет в тысячу двести рублей, ибо приплыл сюда молодой и красивый лейтенант без продаттестата. Затем у лейтенанта высчитали за пожарную лопату, которую украли с кораблика еще в Беломорске. Затем он узнал, что, пока переплывал все моря-океаны, его невеста нормально вышла замуж.

— Ну, хозяин, уж такой банальности я от тебя не ждала! Ты всегда слабоват в сюжете, но на финалы выходить умел. И докатился до «Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть»? Фу!

— Это не я докатился — невеста докатилась. И сколько я тебе уже вбивал в лоб этими вот пальцами, что жизнь и есть самое банальное кино! Толоконный у тебя лоб, старушенция,— точно уж немецкий! Слушай финал. Получил я горестное известие от невесты и закручинился, совершенно позабыв, как это многим мужчинам свойственно, про свои грешки. Да-да, подруга, и про Нюночку в парадной дома номер сто тридцать шесть на Фонтанке, ту, которая столько раз в этом рейсе с тебя пыль стирала, хотя я этой стерве строго-настрога запретил к тебе даже прикасаться. И вот закручинился я от лютой измены и отправился за утешением к официанточке в здешний ресторан «Золотой Рог». Эта официанточка после долгого плаванья казалась мне то Неизвестной Крамского, то Махой Гойи. К сожалению, казалась она такой замечательной не одному мне. И угодил я тут в сокрушительную драку. Сперва Маха велела сидеть в ресторане до закрытия, пока она чеки сдает и остатки из разных бутылок в одну сольет, а потом выходить и ждать ее у фонаря на набережной. Там, на набережной, у меня и засверкали фонари под обоими глазами, потому что Маха того же наговорила и наобещала еще пятерым морячкам — на то она и Маха. Приплелся я на «СС-4138», взглянул в зеркало и понял, что минимум неделю надо будет отсиживаться в цепном ящике, ибо тут уж ни-

какая бодяга не поможет. По закону подлости утром вызывают к адмиралу — начальнику АСС Тихоокеанского флота. И вызывают, представь себе, старушка, для торжественной церемонии, ибо за безаварийный перегон через Арктику малотоннажных судов Главком ВМС СССР досрочно присвоил мне звание старшего лейтенанта. Ну куда мне с такой рожей? Ни на какую торжественную церемонию. Проорал я своему отражению в каютном зеркале: «Служу Советскому Союзу!» Потом запер дверь наглухо и принялся крутить в погонах новые дырочки для третьей звездочки. А ты, подруга, говоришь, что я на финалы выходить не умею! Веди тут себя порядочно, а Новый год опять вместе встречать будем. Ясно?

— Катись, обормот, с моих глаз поскорее, спать хочу, — сказала «Эрика».

И я затынул на ее фанерном, старомодном футляре веревку рифовым узлом.

— Слушай, — уже сонным голосом пробормотала машинка, — кабы невеста не наставила тебе рога, ты бы никогда не стал писателем и остался полным обормотом на веки веков.

— Аминь! — сказал я.

Вечером два буксира тащат к причалу. Ну и местечко для балтийцев нашли дальневосточные братья. Два часа боцман сходню сколачивает через свалку металлолома под бортом.

Торопливо, наскоро прощаюсь с соплавателями, стараясь избежать встречи с Ниной Михайловной, и довольно суетливо покидаю судно и те прекрасные и яростные моря, через которые «Колымалесу» предстоит проплыть.

Едем с В. В. в аэропорт. И как же дурачки устроены моряки! Ведь предложи мне — и я бы пошел домой югом.

Спрашиваю:

— А вы бы, если б не медицина, пошли?

В. В. махнул рукой:

— А черт с ним... Пошел бы!

Ведь клялся, что только в отпуск, только к внучке, к чижу и канарейкам, а сам?

Чудная профессия. Летим над Сибирью. Капитан пыхтит — никак ноги не пристроить. Взяли в дорогу одну бутылку лимонада — дураки! Разве сегодня в сибирских аэропортах чего-нибудь купишь. Буфеты пустые, на каждой посадке из самолета выгоняют в обязательном по-

рядке, включая женщин с детьми, — так, вероятно, пилотам и обслуживающему персоналу спокойнее. А что творится в современных аэровокзалах! Впечатление — как от железнодорожных времен войны. Вповалку на полах женщины и солдаты, старухи и офицеры. В сортир не войти, чтобы даже воды попить из-под крана, стульчаки забиты, вонь, мразь. На посадке сшибка, снег, дождь, ветер, дети режут, но самолет устроен так, что сперва надо загрузить носовую часть, а задние пассажиры запускаются во вторую очередь. Несчастливая мегера-стюардесса расшвыривает неосознанных и непонимающих возле трапа; мат, вопли, слезы. О чем наши знаменитые аэроконструкторы думали? Пацитесь, мирные народы, — вот о чем...

Летим. Сибирь под нами — страна будущего.

В. В. невозмутимо напевает:

— А я Сибири не боюсь, Сибирь ведь тоже русская земля, так развевайся, чубчик кучерявый, так развевайся, чубчик, на ветру...

Меня мучает еще то, что не смог заставить себя попрощаться с Ниной Михайловной. Удрал — как крыса с корабля в полном смысле слова.

Над Омском, где родился Врубель и сидел в мертвом доме Достоевский, делюсь с В. В. переживаниями — как на исповеди.

— Трите к носу, Виктор Викторович.

— Тру, да...

— Полноте, раб божий. Ни на каком «Красном треугольнике» Нина Михайловна не работала. В каком, говорите, году вы, гм, ее?..

— Она меня.

— Не играет роли. В каком году?

— В пятьдесят первом.

— С сорок восьмого по пятьдесят пятый она служила телефонисткой в наших войсках в Германии. Демобилизовалась в звании старшего сержанта. Теперь успокоилась?

— Откуда же она знает подробности? Серега Ртахов, танцы в училище?.. Нет, это уже из жизни кроликов, как вы говорите.

— Вы чего-нибудь в рейсе из этой истории писали?

— Да. Когда на Колыме стояли. Ожили, как говорится, воспоминания.

— Ну, вы писали, а она читала. Надоела ей на пятом месяце «Королева Марго». Обычное любопытство плюс

одиночество. Она вечно себе новые биографии придумывает.

Камень с моей души рушится уже куда-то на Тюмень, где под нами полыхают от горизонта до горизонта газовые факелы. За каждый такой факел японцы, по слухам, готовы нам птичье молоко поставлять по пол-литра на рыло.

Над родным Питером — рассвет.

Ладога, Нева, Финский залив — все видно, как на хорошей карте.

Закладываем гигантский эллипс от Пулкова до Кобоны.

Через эту Кобону меня дохлого к жизни везли. Или через Новую Ладогу? Почему-то лайнер закладывает еще один вираж, от Маркизовой лужи до Шлиссельбурга. Появляются стюардессы с натянутыми улыбками, настырно начинают проверять пристежные ремни.

Короче говоря, шасси не выходит, топливо сбрасываем в окружающую среду.

Вы уже знаете, как высоко я ценю жизненную литературу.

И потому ясно отдавал себе отчет в том, что такая эффективная точка в конце жизненного пути, как посадка реактивного самолета на брюхо в Неву у родного моста Лейтенанта Шмидта, значительно увеличит интерес к посмертному собранию моих сочинений и вообще редкостно украсит биографию, но тут юмор почему-то испарился и копировать судьбу Экзюперы не захотелось.

— Остров невезения в океане есть, — сказал Василий Васильевич. — Весь рейс нам не хватало удачи; логично предположить, что география кончилась окончательно, — и он щелкнул пальцем по пустой лимонадной бутылке, которая торчала из заспинного кармана кресла впереди.

Эту фразу за рейс он произнес энное количество раз; столько, сколько раз мы застревали во льду. Но на «Колымалесе» мы потом шли играть в преферанс или шешбеш... Сейчас же никакого юмора в его голосе я тоже не обнаружил...

Ладно. Каждому ясно, что ежели все это написано, то с автором ничего плохого не случилось. Увы, в Неву, на горе моим биографам, мы не шлепнулись. Шасси вытряхнулось, и мы нормально вытряхнулись из воздушного лайнера.

КОШКОДАВ СИЛЬВЕР

(Вместо эпилога)

Мало кто из друзей верит, что это последняя книга, которую я пишу на морском материале.

Но я, как уже неоднократно подчеркивал, упрям ослино. И ежели что сказал, то — кол на голове...

И вот, оставив далеко-далеко моря и океаны, я шагаю в сумерки жизни, раздумывая о том, что почти все концы свел с концами, то есть почти всех соплавателей — и выдуманных, и истинных — помянул.

Только вот Геннадий Петрович Матюхин как-то на душе саднит. Нет у него точки.

Когда-то в Архангельске перед уходом в Арктику на сухогрузном речном кораблике я сошел на берег, чтобы попрощаться с Землей. И читал в сквере газеты, и попивал легкое винцо, и спрятался от дождика в садовой сторожке.

Свое сидение в будке я почему-то зафиксировал на бумаге и потом вставил в путевые очерки. Они были напечатаны в журнале. Не могу сказать, что кот, кусающий только для виду астру, ловкие воробьи и незнакомый мне мужчина, который носил папиросы в нагрудном кармане пиджака, и разговаривал с воробьями, и беспокоился о пуговице незнакомой ему женщины, вызвали восторг читателей. Однако нет ничего на свете, что не имело бы продолжения.

Года два спустя я получил пакет из института, носящего имя великого русского психиатра. Честно говоря, я не торопился вскрывать пакет, потому что уже получал письма, в которых содержались прозрачные намеки на состояние моей психики. Один доброжелатель, например, подсчитал, сколько раз я в одной повести употребил слова «красные пронзительные огоньки». И пришел к выводу, что я, как и Гаршин с его красным цветком, кончу в пролете лестницы. Соврет тот, кто скажет, будто ему приятно получать такие предсказания.

В пакете оказались письмо и рукописи.

Письмо написал мне врач-психиатр. Он длительное время лечил Геннадия Петровича М. Рукописи принадлежали ему, Геннадию Петровичу Матюхину, который страдал манией одиночества. Он был уверен, что нахо-

дится внутри большой рыбы, кита или кашалота,— как пророк Иона.

Честно говоря, до этого письма я знал о пророке Ионе только то, что прочитал о нем у Мелвилла. Автор «Моби Дика» относился к пророку с юмором. Он отказывался верить в то, что Иона сидел в брюхе живого кита. В крайнем случае Мелвилл помещал Иону в китовую пасть. Но в брюхе мертвого кита пророк, по мнению главного китового специалиста, сидеть мог «подобно тому, как французские солдаты во время русской кампании превращали в палатки туши павших лошадей, забираясь к ним в брюхо». Так писал Мелвилл.

Первопричиной душевной болезни Геннадия Петровича были травмы, полученные в автомобильной катастрофе. Врач сообщал, что Геннадий Петрович хранил вырезанные из журнала страницы с моим очерком, и уточнил, что мужчина в архангельском сквере — он. Потому врач послал его рукописи мне.

Геннадий Петрович был инженером, специалистом по автоматизации каких-то процессов в радиотехнической промышленности. Пробовать писать он начал в травматологической больнице, где после аварии провел около года. Очевидно, понимал, что возвратиться к нормальной работе он уже никогда не сможет, и искал новое занятие для себя. Во всяком случае, не тщеславное желание возбудить участие или удивление или увековечиться в памяти потомков водило его рукой.

За прошедшие годы я расшифровал и напечатал три рассказа Геннадия Петровича — «Хандра», «Банальная курортная история» и «Ария Джильды».

В рейсе на теплоходе «Колымалес» со мной были не только письма командира искровой роты из материнских архивов, но и последние наброски Матюхина.

Еще раз повторю. Соблазн отождествлять автора с литературным образом, особенно если рассказ ведется от первого лица, бытует в читающей публике уже давно, с тех пор, как эта публика появилась. Потому еще раз необходимо подчеркнуть, что, хотя рукописи Геннадия Петровича не могут не носить следов моего пера, отношусь я к нему, как Лермонтов к Печорину,— бог меня простит за такие параллели.

Название сохранию авторское: «Кошкодав Сильвер».

Будем считать это эпилогом ко всему затянувшемуся роману-странствию «ЗА ДОБРОЙ НАДЕЖДОЙ».

«И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силою отразясь в глубине моей...»

(Автора эпитафии Матюхин не указал. Это Гоголь, но Геннадий Петрович как бы считает эти знаменитые слова собственными.—

В. К.)

К окончанию той, ледяной, финской войны мне было семь. И я уже самостоятельно читал «Остров сокровищ», и мне чаще всего снились Сильвер и юнга Джим Хокинс, но я посвящаю эти воспоминания, написанные в трудных условиях, в желудке кашалота, не Роберту Льюису Стивенсону, а доктору Джекилю.

Итак, мне семь лет, очень холодная зима, я живу с мамой в пятиэтажном кирпичном доме. Это одинокий дом. Вокруг только дровяные сараи, а за ними пустыри и свалки. Дом где-то между Серафимовским и Богословским кладбищами. Теперь дома нет. Исчез. Иногда мне кажется, что этого огромного одинокого дома никогда и не было.

Пятиэтажный дом, непонятно как очутившийся между далекими загородными кладбищами. В подвалах, на чердаках, в дровяных сараях — масса кошек и котов. Десятки, сотни, тысячи бесхозных котов и кошек, голодных, нищих и тощих.

Затемнение, в парадных горят синие лампочки, и все кошки и коты синие...

Над молодым Ренуаром сперва издевались, и в каком-то журнале я видел карикатуру на его картину — замечательную картину «Уснувшая девушка». Под карикатурой была злая подпись: «Девушка, красящая кошку в бадье с водой, подсиненной индиго». Какая злая глупость! Как всю жизнь мне жаль Ренуара...

Мама в ту войну работала в госпитале, там она надевала звездной белизны халат; за мамой ухаживали молодые военные, она часто бывала оживлена и приносила мне большие оранжевые апельсины. На улице было так холодно, что дома апельсины сразу покрывались росой, и я слизывал с них прозрачные капли. И все читал и читал «Остров сокровищ». И когда мама уходила в госпиталь, она никогда не закрывала меня в квартире на ключ...

Куда же мог подеваться этот огромный пятиэтажный дом? Не осталось даже фундамента — я искал его, когда уже стал взрослым, уже заболел и много ходил по пригородам, особенно веснами, и собирал букеты китайской

сирени... Мне вредны белые весенние ночи, мне говорят об этом врачи, мне тогда еще более одиноко.

Да, морозы, синие лампочки в парадных, оранжевые апельсины и десятки, сотни, тысячи кошек. И я, и мама боялись кошек. Я и сейчас их боюсь, хотя они, конечно, изящные, но у них глаза круглые и в круглых глазах узкие щелочки, и они долго мучают мышей. Жильцы собрали собрание в подвальном бомбоубежище и решили позвать душегуба. Сейчас я знаю, что давить кошек называлось раньше булгачить, это означает еще обманывать людей и выдавать кошачьи шкурки за ценные меха...

Душегуб пришел и сказал, что выловит и убьет всех бездомных кошек за один вечер.

Это был страшный человек. У него не было ушей, левого глаза и левой ноги ниже колена. Вместо ноги была деревяшка с резиновым набалдашником — как у Сильвера. А на голове, хотя трещали морозы, была только легкая кепка. Он велел всем жильцам уйти и оставить его одного. И уселся на лестничной ступеньке как раз возле нашей квартиры.

Был поздний вечер, но мама еще не вернулась из госпиталя. На улице была метель, иногда метель прерывалась, и тогда в разрывы снежных туч ярко светила луна — такая погода очень редко бывает в Ленинграде. Метель зализывала наш нелепый одинокий дом со всех сторон и выла на чердаке.

Душегуб сидел на ступеньке в синем свете, курил корявую трубку и бормотал:

Тра-та-та, тра-та-та,
Вышла кошка за кота...

Я смотрел на него в замочную скважину, из которой дуло.

Я уже придумал ему имя — Кошкодав, или Котогуб.

Я уже тогда хотел быть талантливым мальчиком.

Вдруг этот страшный человек обернулся и поманил пальцем. И я понял, что он тоже видит меня сквозь замочную скважину. И я послушно вышел к этому человеку. Он был еще не очень стар. Пахло от него лошадьё, вернее, конюшней. Два пустых рогожных мешка лежали рядом на ступеньке. Он спросил, есть ли у нас в доме еще мешок. Я сказал, что мешка нет, есть рюкзак. Он сказал, чтобы я оделся потеплее, взял рюкзак и возвращался, так как ему нужен смелый мальчик, который поможет.

Я спросил этого странного и страшного человека, дол-

го ли он будет убивать кошек, потому что мне надо поскорее вернуться и встретить маму из госпиталя.

Он поправил деревяшку на ноге и велел не задавать детских вопросов. Он казался мне пиратским капитаном Флинттом.

В разбитое лестничное окно видны были далеко внизу дровяные сараи. Над ними дымился в лунных проблесках метельный снег. Ветер дул с Невы, с залива. Сквозь лунный снег брели по крышам сарая к нашему дому массы кошек.

Когда я тепло оделся, взял дачный рюкзак и вышел к душегубу, кошки уже поднимались по лестнице к нашим дверям. Они шли деловито, как будто знали куда и зачем. Душегуб брал их одну за другой и кидал в рогожные мешки. При этом он продолжал бормотать:

Тра-та-та, тра-та-та,
Вышла кошка за кота...

И коты, и кошки шлепались в его мешки беззвучно — не шипели и не мурлыкали. Почему-то я перестал удивляться и бояться. Только спросил что-то вроде:

— Дяденька, а как вы их будете убивать?

— Не твое дело,— сказал он.

Когда оба мешка душегуба битком набились кошками, он завязал эти рогожные мешки вожжами.

Штук пять кошек не поместились, сидели на ступеньках и вопросительно смотрели на Кошкогуба своими сверкающими глазами. Он взял мой рюкзак, раскрыл его, и кошки одна за другой сами запрыгнули в рюкзак.

— И все дела!— сказал душегуб.— Пошли. Сейчас узнаешь, как я душу их души.— И надел на меня рюкзак, в котором сразу зашевелились и замяукали кошки; кажется, они там перегрызлись...

Я так настойчиво пишу про кошек и котов, ибо здесь — в кашалоте — очень пахнет рыбой, а широко известно, что кошки любят рыбу...

Рерих к гробу Врубеля принес много сирени. А Блок не был знаком с Врубелем, но говорил речь над его могилой на Новодевичьем кладбище. Все они были сумасшедшие...

Да, про душегуба.

Он перекинул свои мешки через правое плечо, надел рукавицы, поднял воротник у полушубка, и мы пошли вниз.

Мы спустились по лестнице и вышли в черную метель. Из окон нашего странного дома не лучилось даже одного лучика.

— Дяденька, сколько вы их уже погубили? — спросил я.

— Помолчи, малыш, а то горло простудишь, — сказал душегуб.

— А почему у вас нет глаза, ушей и ноги? — спросил я. — На войне потеряли?

Он не ответил, ему трудно было шагать с двумя мешками, битком набитыми котами и кошками, по обледенелым булыжникам нашего двора на деревяшке с резиновой нащепкой.

— Где мы будем их убивать? — спросил я.

— Потерпи, малыш. Дойдем до поворота шоссе, и узнаешь. И все дела.

До поворота было около километра. Мы прошли этот путь не разговаривая.

Там душегуб сказал:

— Садись в сугробик, на обочину.

Я присел на корточки.

Душегуб свалил с плеча мешки с кошками и снял с меня рюкзак. Потом, тяжело опираясь о мою голову, сел рядом в сугроб, перевел дух, вытащил бутылку водки и глотнул из нее.

— Трех машин надо дожждаться, — сказал душегуб. — Два мешка и твой рюкзак. А может, и одной хватит. И все дела.

— Вы их под машины бросаете? — спросил я.

— Увидишь.

Тьма, метель, пустое загородное шоссе. И руки мерзли даже в карманах пальто — я забыл рукавицы. Вероятно, я проныл что-нибудь о том, что хочу назад домой, к маме.

Душегуб не ответил, развязал рюкзак, достал верхнего кота, потряс его перед собой, держа за шкурку, любясь здоровенным черным существом. Кот начал орать и повсякому извиваться.

— На, возьми, — сказал душегуб. — Руки в нем погрей. У этого кота жена небось, что твой гвардейский гренадер. И все дела.

— Он убежит, — проныл я.

— Нет, — сказал душегуб. — Мы их убивать не будем. И они об том знают. К чухнам отправим. Они богато живут. И все дела. Ты только молчи. Тетки пронюхают — утром четвертинку не отдадут.

— А кто такие чухны?

— Финны. Чего-то машин долго нет. Как бы меня ненароком здесь опять молнией не шарахнуло.

— Зимой молний не бывает,— сказал я, грея руки в коте, который не вырывался.

— Меня всюду находят и наказывают. И за что наказывают? Первый раз был вроде тебя малолетком. Утром коров выгоняю в поле, молния прилетела — и нет одного уха... Гляди получше, у тебя глаза молодые, там что, фары? Машина? Стань на дорогу и руки крестом раскинь. Шоферы маленького пожалеют, приостановятся. Скажешь: заблудился, мол. Понял? И все дела!

— Я боюсь. Машину занесет, как они тормознут.

— Соображаешь, малыш. Для того тебя и взял, чтобы они притормаживали. Как я с одной ноги мешки в кузов заброшу? Незаметно надо, чтобы шофер не видел.

— Страшно, дяденька,— проныл я.

— Всем страшно,— сказал душегуб.

Я вышел на шоссе и раскинул руки крестом.

Черный кот повис на пальто, царапался и отчаянно орал.

В свете приближающихся фар кот засверкал огромным синим брильянтом.

Грузовик затормозил, душегуб закинул в кузов два мешка и вытряхнул туда же из моего рюкзака оставшихся четырех кошек.

Рюкзак он отдал мне.

А когда грузовик уехал, сказал:

— Жди, малыш. Пройдет много лет, ты будешь уже большой, и грустный, и больной, и к тебе придет мой сын. Он твой погодок. Его звать Леха. Потом пройдет еще много лет, и тебе станет совсем одиноко. И тогда к тебе придет моя внучка и дочка Лехи. Ее будут звать Соня. Она тебе поможет, но потом умрет. Ее убьет метеорит. Не бойся, малыш. Иди домой и жди их. И все дела. Ты их узнаешь, как я узнал тебя сквозь замочную скважину...

Сегодня я понимаю, что нахожусь в больнице. И понимаю, что меня мучают воспоминания о кошках только потому, что в кашалоте пахнет сырой рыбой, а кошки — это широко известно — любят сырую рыбу... Я уже могу сегодня смыкать концы с началами при наличии знания таких неприятных понятий, как смерть, например.

Но как научиться ничего не объяснять людям? Люди удивительно ничего не понимают! Даже такую вещь, почему собаки не любят кошек, приходится обстоятельно объяснять человечеству! А это так просто! Ведь собаки

обыкновенно ревнуют кошек к людям! Это так обыкновенно, но все люди вокруг меня почему-то этому удивляются...

Тщательно все взвесив, я решил, что если останусь жить и выйду отсюда, то остаток жизни буду тратить заработанные деньги на то, чтобы хорошо, шикарно одеваться.

Когда ешь больничную еду без принесенного тебе с воли добавка, то возникает сиротское чувство, и я опять и опять вспоминаю маму...

Сегодня сон: вхожу в свою, но одновременно какую-то и не мою, выдуманную квартиру. Там незнакомая женщина, и я начинаю кидать в нее что под руку попадается, включая бумажные стрелы, которые я делаю, обрывая со стен старые, отстающие обои. Женщина куда-то прячется. Я выхожу на улицу — милиционер. Я жалуясь на то, что в моей квартире незнакомый человек. Милиционер пугливо настораживается и не хочет идти со мной выгонять женщину. Возвращаюсь один. Никого нет, квартира пуста. Сажусь есть на кухне. И вдруг понимаю, что не проверил в спальне. Иду туда. В постели, где когда-то лежала моя Мэри-Маша, — худенькая, черномазая, довольно молоденькая женщина, которую я, преодолевая страх, колю маленькими ножницами. Женщина не выгоняется. И вот сейчас, после завтрака, я думаю, что это мог быть символ смерти.

Мне очень нравится мой сосед, который рассказывает про охоту.

Где бы узнать, что такое «ёж те нос»? Он часто говорит: «Я те, ёж те нос, дам прикурить!» И это его выражение напоминает мне «и все дела!» кошкогуба Сильвера.

Маша в гробу была прекрасна и до страшного молода. Вероятно, постарались театральные гримеры, они всегда любили ее — за красоту, профессионально: гримировать красавицу под уродку или молодую под старуху всегда легче, нежели наоборот. Ее вообще любили. И это видно было по количеству людей на похоронах и по цветам. И опять эта сирень, сирень, сирень... Прощаясь, я коснулся губами ее холодного лба и опустил в гроб иконку — незаметно. Маша всегда уверяла в своей набожности, хотя в практике женской жизни, мне кажется, не очень-то

следовала догматам даже нашей — не самой строгой на свете — церкви... Взять хотя бы то, как она первый раз пришла ко мне... Нет, я еще не готов вспоминать об этом... Лучшее вспомним, как прикатил с ней в монастырь недалеко от Михайловского, действующий; она познакомилась во дворе монастыря с каким-то стариком — вроде ключником, он свел ее с настоятелем, и мне уже было никак не развести их... И опять эта сирень, сирень, сирень... Потом поехали в Пушкинские Горы, я устал, жарко было, зарулил в рощу и заснул, положив голову на баранку: из Гатчины выбрались ранним-ранним утром. Кажется, и она заснула под шум древесных вершин в роще, ветер был ровный, июньский, и вдруг по крыше машины забарабанило осколками шрапнели, я проснулся, выскочил, думал, хулиганят мальчишки; никого вокруг не оказалось, только ветер усилился, предвещал грозу и при каждом порыве срывал желуди с дуба, под который я загнал машину; желуди барабанили по тонкому кузову оглушительно. Маша стала хохотать так, как можно хохотать только в счастливой молодости; она первый раз тогда перестала бояться грозы, и мне не надо было уверять ее, что я сделал хорошее заземление; ночью ходили к Пушкину на могилу; какая-то ее новая подруга, которую она встретила в столовой, поэтесса, поставила в нишу надгробия свечу, и мы все молчали, пока свеча не догорела... Это было несколько театрально и высокопарно, но хорошо, что это было...

Сегодня читал Амосова: «Не надо бояться последнего момента жизни. Природа мудро позаботилась о нас: чувство отключается раньше смерти... Неправомерная превеличенность страха смерти...» Очень интересно он определяет характер человека как способность к напряжениям — по их величине и длительности. Человек совершенствует себя, неотступно развивая способность к сильным и длительным напряжениям... Боже мой, боже мой! Какое горе, что я так тяжело болен и уже никогда не буду сильным человеком. Ведь будущее планеты в руках сильных характеров, и только сильные характеры смогут полноценно пользоваться благами созданного ими будущего...

Ей, конечно, вечно не везло с ролями. Да и таланта, вероятно, было маловато. А главную роль она получила самую несчастливую — до сих пор никто не верит, что пожар в театре произошел потому, что прямо на сцену попал

метеорит. Не так уж много артистов гибнет на сцене. Судьба выбрала ее. И тем возвысила — и по заслугам возвысила, потому что любила подмостки истинно. И притом с ранней юности это вечное ощущение рока, страх перед молниями... И эта сирень, сирень, сирень... Куда я задевал дневники ее матери, жуткие по женской откровенности, драгоценные для меня, вечно страдающего незнанием женщин, выдумыванием их... В дневнике ее матери есть фраза, обращенная, вероятно, к любимому, который ее мать бросил: «Всегда помню, как ты играл моей грудью, как детишки с дорогой игрушкой...» Ах, что будет с этими дневниками, если я никогда не выйду отсюда...

Сегодня снилась лошадь, которую мне оставил какой-то художник по фамилии Вовиков. Так его называли инвалиды у рынка, которые объяснили мне, что он просил у них тройк на похмельку, но они не дали ему. И вот этот художник Вовиков оставил мне лошадь, и всю сбрую под седло, и талоны на комбикорма, и сено; талоны такие, как дают на бензин. Лошадь стоит в сарае. Лето. Я было забыл про нее и вдруг подумал: она же голодная! И стал воровать душистое сено. Потом седлаю. И тут приходит дядя Леха — но ничем, конечно, помочь мне в сложном деле, чтобы оседлать лошадь, не может. Я у него спрашиваю: как надо, сперва кормить или сперва поить? Хорошая лошадь, умная. Седлаю, залезаю, едет послушно, как в детстве, когда мы гоняли лошадей в ночное, и у меня была кобыла Матильда, и у нее отстегнулась уздечка... И вот я еду на этой детской лошади, которую подарил мне художник Вовиков, на базар, чтобы купить ей корм, а на базаре продают его картины... И опять сирень, сирень, сирень... Но это я так, просто вспомнилось, а во сне были леса, поля, поросший травой уклон, и я пускаю лошадь рысью, и понимаю, что нормально держусь в седле, и думаю о том, что Толстой прав... Но тут седло переворачивается под брюхо, я падаю и замечаю, что мне не страшно с лошади падать! Быть может, я выздоровлю? И я опять залез на лошадь, а сзади посадил дядю Леху. И лошадь все терпит, замечательно терпеливое, доброе животное... Тут к соседу Юрию Николаевичу пришла сестра делать укол, а он лежит с грелкой, у него затвердение, и он кричит, когда его колют...

Добираание до сути чужого творчества — процесс столь

же медлительный, как и познание своего собственного таланта и предрасположенностей. И наоборот.

Я инженер-радиотехник, лишен мистики и не верю в привидения. К сожалению, многие мои ученые коллеги порой не слишком задумываются над аргументами, которые приводят, пытаясь убедить широкую публику, что, например, привидений действительно нет.

Некоторые коллеги утверждают, что и биополя нет. Как нет? Температура моего тела $+36,6$, а в комнате $+20$ градусов. Значит, вокруг меня образуется тепловое поле биологического происхождения. Другое дело, что, на мой взгляд, биополе — это обычное физическое поле. Но мы пока не знаем его свойств, поскольку скорее всего это комбинация полей — теплового, электростатического и так далее, причем, возможно, модулированных, то есть способных нести достаточно подробную биологическую информацию. Отрицать такое биополе — все равно как отрицать существование латуни потому только, что она — сплав и ее нет в таблице Менделеева. Или, скажем, некто утверждает, что наука занимается только воспроизводимыми явлениями. А шаровая молния, которую воспроизвести пока нельзя? Что же прикажете — изъять ее из физики?..

Уже через много лет после войны я работал завлабом в НИИ на Васильевском острове. И прямо туда, в лабораторию, ко мне пришел рыжий лохматый мужчина лет пятидесяти, весь в шрамах.

Был обеденный перерыв, я сидел в лаборатории один и пил чай, который кипятил в колбе. В чае очень красиво поднимались и опускались чайники.

Мужчина вошел без стука и сказал:

— Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота!.. Я Леха, а ты Гешка?

Так странно он представился.

Потом объяснил, что является сыном того доброго человека, который давным-давно отлавливал в нашем доме бездомных кошек.

Я предложил ему чаю, он сел и сказал:

— Вряд ли что из моих соображений, Геша, тебя заинтересует. Лучше почитай вот это.

Он вытащил из-за пазухи пухлый пакет газетных вырезок. Вырезки были пожелтевшие, истлевшие, на разных языках. Сверху он положил фотографию искалеченного дерева. Под ней было напечатано: «Этот тополь — немой,

но красноречивый свидетель того, что взрыв шаровой молнии в 400 раз сильнее взрыва тола. Куски дерева весом до 200 килограммов разлетелись метров на 30 вокруг. Удивительно, что удивший рыбу под этим деревом гражданин А. М. Сидоров, лесничий, уцелел. Лесничий утверждает, что подобные случаи происходят далеко не первый раз в его жизни...»

Я читал эту интересную заметку, а Леха смотрел мне через плечо и тепло дышал в ухо.

— Это началось,— сказал он,— после того, как мне вырезали аппендицит. И сразу с шаровой. Она влетела в операционную и контузила хирурга, когда тот уже перестал меня резать и начал мыть руки. А после случая, о котором ты сейчас прочитал, меня уволили из лесничих. И все дела,— объяснил он мне, продолжая называть меня Гешей, хотя мы не были знакомы даже шапочно.

— А снежного человека вы не встречали?— поинтересовался я.

— Я с ними водку пил. И все дела.

— А как у вас с инопланетянами?— спросил я.

— Я с ними водку пил. И все дела,— небрежно объяснил он, бережно вытаскил следующую газетную вырезку и положил передо мной:

«МОЛНИЕНОСНЫЙ НОКАУТ. Редкий случай произошел в шведском городе Мальме. Молния, ударившая в футбольное поле во время матча, сбила с ног всех игроков обеих команд и судью. Но, к счастью, шведские футболисты и арабский арбитр отделались легким испугом...»

— Одно слово — шведы,— с брезгливым презрением заметил Леха, продолжая дышать мне в ухо.— «Отделались легким испугом!» Мне двадцать исполнилось. Играл за нашу республиканскую «Кувалду» против армянского «Розового туфа». Правым крайним. Как сейчас помню. Налей-ка мне еще чайку... Да, уже в самом начале игры мы этим армянам недвусмысленно показали, что намерены бороться за победу. На первых двух минутах у ворот нашей «Кувалды» подаются три угловых. И в дальнейшем армяне атакуют более остро. В середине тайма, когда, казалось, нам армян уже никак не сдержать, гремит гром. Я сразу понял, к чему гремит. Но тут уж нечего было делать — страсти накалились до ужаса и никакого заземления на бегу не сделаешь. Сразу пять штук молний! Первая, конечно, в меня — бутсы разлетелись, жареной резиной на все поле, а я лечу прямо во вратаря армян. Пробил его сквозь сетку вместе с мячом. Короче: все три

арбитра, грузины, в больнице — такая драка началась! А на том месте, где меня шарахнуло, воронка образовалась. И все дела. Это тебе, Геша, не шведы. С тех пор меня даже в городскую сборную не включают. «Чокнутый», говорят. Идиоты.

— А за сетку платить пришлось? — поинтересовался я.

— Смеешься? Ну смейся, смейся. Однако дальше слушай. Тут как раз фортель повернулся в моей судьбе. После драки подходит ко мне одна армяночка, старше меня лет на пятнадцать, с усами, интересуется самочувствием, то да се. Я еще в возбуждении был, ну и наговорил ей, что, мол, и отец мой и я являемся притягателями молний, чаще шаровых, но, бывает, как нынче, и обыкновенных. А через месяц она меня окрутила. И все дела. Оказалось, диссертацию по физике пишет, а отец ее академик, египтолог. Ну, женился. Уговор один был — галоши не носить и не заземляться другими способами. Жилищные условия замечательные — квартира в Москве на проспекте Вернадского, дача в Красной Пахре, надоеет на даче — в санаторий «Узкое» едем на машине с шофером. Жена с меня глаз не спускает. Кинокамера, магнитофон, спектроскоп, блокнот всегда у нее под рукой. И в кровати, и на природе. Месяц живем — медовый. Слава господу! Меня ни разу не трахнула ни обыкновенная, ни шаровая. Полгода живем — ни одного грома, не говоря о молниях. Кучево-дождевые облака на семейном горизонте начинают собираться. У нее срок диссертации на носу, а материал застопорило, да и беременна она уже. И все дела. Мне самому как-то неудобно делается.

Трусь среди академиков. Тупой народ, Геша, прямо скажу. Его спрашиваешь: «Ваша профессия, гражданин ученый?» Он: «Я член-корреспондент АН СССР». Ты: «Очень приятно. А мне ваша специальность интересна». Он: «В прошлом году я получил Государственную премию РСФСР». Ты: «Очень приятно. А где вы и чем занимаетесь?» Он: «Я профессор. Веду кафедру в Уральском университете». Ты: «Очень приятно. А ваша специ...» Он: «У меня на кафедре сто семьдесят человек, но на Урал я попал вполне случайно, так как вообще-то коренной москвич, жил раньше на Кутузовском проспекте, между домом министра МВД и домом заместителя Госплана СССР». Ты: «Очень приятно. А ваша узкая профессия? Интересно мне...» Он, наконец: «Политическая экономия социализма». Ты: «Спасибо. До свидания. Приятно было познакомиться». И все дела. Он про тебя думает, что —

недоразвитый. Ты про него — что круглый идиот. Ну, родила армяночка мне дочку, Соней назвали. И сразу ушла к такому вот уральскому профессору, а я обратно на Сахалин уехал. Теперь сижу комендантом в общежитии ПТУ кожевников...

Леха повествовал все это с безропотной обстоятельностью мастерового бывалого мужчины. Еще и о том, что без труда видит летящие пули, и ощущает перепады интенсивности реликтового излучения, и днем видит на небе звезды; и что в Лермонтова в момент дуэли попала шаровая молния одновременно с пулей Мартынова...

Потом Леха замечательно спел «Была бы только ночь сегодня потемней» и «Манчестера русского трубы дымят...».

Была зима, но мне показалось, что за двойными рамами стало чем-то грозovým погромыхивать.

— Зимой вас стучает? — поинтересовался я.

Леха грустно усмехнулся:

— Бывает, Геша, все бывает. Ведь почему я на Сахалин подался? Гроза на этом острове с его холодным даже летом климатом — явление чрезвычайное. Я там к вулканологам примкнул. Коэффициент один и восемь десятых процента. И все дела. Природа замечательная — медведи, магма...

— Вероятно, ты путаешь с Камчаткой, — сказал я. — На Сахалине вулканов нет.

— Тебе виднее, — сказал Леха. — В аккурат тринадцатого декабря все население нашего райцентра было удивлено, ибо стало свидетелем редчайшего природного явления. Сквозь снежную пургу сахалинцы увидели яркие вспышки молнии. Уж как этих потомственных каторжников удивить трудно, но и они вздрогнули! Вышел из больницы с ожогом второй степени — и сразу в управление гидрометеорологии, талдычу, что корень во мне. Метеорологи свое: «Теплый воздух, принесенный южным циклоном, при столкновении с массами холодного воздуха, которые господствовали над островом...» Тыфу! Инерция мышления.

За окном опять громыхнуло.

— Слушай, Лёха, — решился сказать я, — а меня нынче вместе с тобой тут не прихлопнет? Я, знаешь, все никак завещание не соберусь написать: трудная штука выдумывать наследников. Кому весь мой фарфор саксонский, кому хрусталь?..

— Обижаешь,— сказал Леха.

— А способности отца ты сохранил?— спросил я.—
Имею в виду власть над кошками?

— Конечно.

За окном лаборатории видна была крыша жилого дома, утыканная телевизионными антеннами. По крыше дымился снег, и сквозь снег пробирались одна за другой к чердачному окну кошки и собирались вокруг треугольной дырки.

— Это самые упрямые: будут совещаться и голосовать,— объяснил Леха.

— И долго это?

— Тринадцать персон наберется — тогда кворум. Не меньше. И все дела.

Все это немного странно, подумалось мне, и очень вдруг захотелось весны, солнца, тихого тепла и сирени.

— Открой дверь на лестницу, Геша,— сказал Леха.

Я открыл дверь из лаборатории, и сразу к нам вошел и замер у порога огромный черный кот. Замерев, он продолжал выпускать из себя скрытую энергию через свирепые и решительные подергивания хвоста. На нас кот не смотрел. Отвернулся презрительно.

— Прямой потомок того великомученика, у которого жена гвардейский гренадер. Помнишь?— представил кота Леха.

— Помню метель. Помню синие лампочки. И как он засверкал брильянтом.

— Когда смотришь на такого разбойника, сразу понимаешь, сколько вокруг сволочей на двух ногах ходит,— сказал Леха.

— Красивые существа, но только мышей мучают, простить не могу,— сказал я.

— Этим недолго самим мучиться,— сказал Леха, поглаживая черного кота.— Меня из ПТУ кожевников тоже выгнали. Теперь вот только кошками и живу.

Он развязал принесенные с собой мешки. И кошки, оспаривая друг друга, полезли в них.

— Но это ужасно!— сказал я.

— А что поделаешь? Ты-то хоть раз шаровую видел?— спросил Леха.

— Чего?

— Шаровую молнию видел?

— Нет.

— Увидишь...— неопределенным каким-то тоном заверил он меня и ушел, когда мешки наполнились доверху,

ласковым голосом сообщая кошкам жутчайшие подробности предстоящей им казни.

Да, моя беда, что я не могу без человеческого общения, а социальное одиночество для автора бессмертной книги обязательно. Но за многие годы, которые я провел в кашалоте, я привык к одиночеству.

Я ничем не болен, но в тот январский вечер мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь пришел. Я был дома, в отпуске, уже поздно было, спать не хотелось, валялся на диване, смотрел телевизор. Он у меня всегда включен. Через телевизор я разглядываю, какие сегодня мужчины и женщины, дети и солдаты. На улице все они как-то мелькают быстро. Или мне при живом общении вовсе уж не хочется их наблюдать. А через телевизор я их рассматриваю как под микроскопом. Но это не отдых, это тяжелый труд художника.

И вот я валялся на диване, курил, смотрел через телевизор на женщин и мужчин и молил кого-то, чтобы в дверь вдруг позвонили.

Январь — самый тяжелый месяц для меня. Холодно, темно, метель. В январе я чаще слышу голос, который вообще-то слышу всегда, когда у меня пошаливают нервы: «...умер профессор Циммерман, умер профессор Ренц со словами «мясо» на устах; умер старший астроном Берг, старший астроном Елистратов с женой, заведующий механической мастерской Мессер, помощник зав. библиотекой Сапожников, астроном Домбик, вычислительница Войткевич, вдова профессора Костинского и почти весь младший технический персонал. Две вещи я себе запрещаю, сынок: думать о еде и предаваться воспоминаниям, так как и то и другое не помогало в борьбе со смертью — вернее, борьбе за жизнь. Но в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое было настолько тяжело, что я не смогла избежать соблазна и вся ушла в воспоминания. Картины недавнего прошлого одна за другой вставали передо мной с потрясающей ясностью... Дорогое Пулково, сад, залитый солнцем, алые пионы, кусты жасмина, у веранды огненные лилии. Дом, полный музыки, радости и любви. Дорогие лица. Комфорт, довольство. Боже, какой контраст! Уснула поздно. Проснулась от странного ощущения: подушка была мокрая и липкая. Свет чуть брезжил через заиндевшие окна. На простыне, халате, подушке темные пятна — кровь. Кровь шла из носа двое суток, день и ночь. Ничто ее не могло остановить. Лежала неподвижно на

спине на подушке, и все равно она шла. Ты ставил мне на грудь под шею тарелки, и кровь сбегала по губам и подбородку непрерывной струйкой. В опустевшей ледяной десятикомнатной квартире, где часть людей эвакуировалась, а остальные умерли, стояла глубокая тишина. Испуганные дети жались ко мне. Есть было нечего. Я разделила между вами свой хлеб — тебе больше, Наде меньше. Следующий день не принес перемен. Подкрадывалась коварная апатия, которая мирила со всем...»

Идиот-бодрячок продолжает в сто пятидесятый раз орать по цветному телевизору: «Бумажный самолетик... Кто знал, что так случится?! Кто знал, что так случится, бумажный самолетик?!..» В глупости нынешних эстрадных певунов есть что-то роковое, предсказывающее неизбежный конец Вселенной. О кретинизме авторов-песнеплетов и говорить не хочется... Пятнадцать миллиардов лет назад Вселенной не было! Не было самолетика — и все тут. И это уже вполне научный факт, а не реклама...

«...И вдруг пронзила мысль: ведь я умираю, а они?! Вот когда лихорадочно забились сердце, заработала мысль. Надо что-то делать, надо что-нибудь есть, чтобы дать возможность организму бороться с этой непонятной новой болезнью голода. Если срывать обои? На оборотной стороне есть мучной клейстер. Нет, это даст мало, а сил возьмет много. Взгляд упал на две глубокие тарелки, до краев наполненные студенистой кровью. Вот где спасение — зажарить ее и съесть. Я видела ее уже на горячей сковороде, превратившуюся в плотные серые куски, которые можно будет жевать. Как осуществить? Прежде всего удалить тебя, чтобы это не коснулось души ребенка. Потом разжечь печурку... Охватывала слабость; я засыпала и сейчас же снова просыпалась. Стала уговаривать тебя пойти погулять, чему ты был крайне удивлен, так как последнее время, ввиду появившихся случаев людоедства, я тебя на улицу одного не выпускала. Ты долго копошился, я тормозила тебя и волновалась. Наконец ты ушел. Я завязала нос махровым полотенцем, чтобы не текла кровь и, держась за стенку, добрела до соседней комнаты, где стояла печурка. Нагнулась за поленом и... потеряла сознание. Очнулась от твоих шагов. Ты вернулся. Испугался мороза и вернулся. Мой план сорвался, тарелки с кровью я выкинула в окно на кухне...»

Вообще-то я понял, отчего голос был нынче так настойчив. Утром нашел клочок бумаги — ее старый счет, десятилетней давности, он завалился в какой-то книжке: «Починка керогаза — 7 рублей, $\frac{1}{2}$ куба дров поднять — 30 р., носки 2 пары — 20 р. 60 коп. Оле за январь — 200 рублей, гребенка 5 рублей, мясо — 14 р. 60 к. Долги: Анне Владимировне до 10 января 50 р., Марии Агеевне — 36 р. отдать до 1 февраля...»

Я все слушал и слушал этот голос, но наконец в дверь позвонили.

Я был бы рад кому угодно и потому открыл, ничего не спрашивая, и увидел на лестничной площадке огромную овчарку. Потом уже, после овчарки, увидел красивую девушку в меховой кухлянке с капюшоном.

Она сказала:

— Не бойся, дядя Гена, Дик не кусается. И все дела.

За овчаркой и девушкой я увидел на лестнице, ведущей на чердак, шесть кошек. Они сидели каждая на своей ступеньке и смотрели на меня зелеными глазами. Только одна отвернулась.

— Кто вы, и что это значит?— спросил я, тихо радуясь.

— Я дочка Лехи,— сказала она.— Помните? Весной я послала вам глупое письмо, потому что вы мне приснились.

— Конечно. Очень рад!

Конечно, я был очень рад. Я так мечтал о том, чтобы кто-нибудь пришел и заглушил голос, который я слышу, когда у меня пошаливают нервы. И вот пришла молодая, прелестная женщина с огромной овчаркой.

У Дика на ошейнике висел транзистор. Из транзистора раздавалась «Песня Варяжского гостя». В пасти он держал сумочку.

Морда Дика выражала покорное отвращение к транзистору, «Песне Варяжского гостя» и сумочке, из которой, наверное, пахло духами, хотя моя гостья была совершенно лишена светского лоска.

— Пожалуйста, не закрывайте дверь,— сказала она.— Должны подойти еще несколько зверей. Ужасная метель, и они мерзнут.

— Да-да, конечно, это у вас семейное, я все понимаю. Только простите: я небрит и вообще... Немного не в форме.

— Я на полчаса,— сказала она и скинула шубку.

— Очень приятно. Я думал, это пришел полоумный

мальчик. Он разносит по ночам телеграммы, — сказал я и повесил ее шубку на вешалку. — И у меня вечно не оказывается для мальчонки мелких денег, а большие мне жалко. Он просит на макароны — для больной бабушки. Врет, наверное.

— Меня зовут Соня, — сказала она, спокойно проходя в комнату. — Вам нравится мое имя?

— Я люблю это имя. Еще с «Войны и мира».

— Очень хорошо. Дик, положи сумочку на диван и сними транзистор! Мне надоела классическая музыка, дядя Гена.

Дик сделал все, что она велела.

За нами в комнату деликатно проскальзывали кошки. Они совсем не боялись собаки. А у Дика появилось на морде очень смешное выражение полнейшего отчаяния, как будто пес стоял над омутом и готовился броситься в него, чтобы утопиться.

— Соня, — сказал я. — В доме нет ни крошки колбасы, мяса, рыбы и ни капли молока. Что мы будем делать с этой оравой? Они сожрут нас, как сожрали какого-то подпоручика у Швейка.

— Это исключено. И все дела. Они совсем не такие голодные, как кажется. Они все притворы и попрошайки. Брысь по углам!

Кошки забрались во все углы и закоулки и затаились.

Неустроенностью жизни я обязан своей склонностью к литературному труду. Иначе что же сидит во мне и диктует нелепые поступки? Ну кто же, например, вдруг повелел мне не выходить из дому, отключить телефон и тем более с кем-нибудь встречаться? Мне надоели вялые коллеги-инженеры, которые мусолят избитые анекдоты и вечно валят на жен или начальников все свои неудачи. И я взял отпуск в середине зимы и прожил две недели отшельником в центре огромного зимнего города, занавесив окна, чтобы с улицы приятели не видели света. Мне наплевать было, что кто-то тревожится обо мне и думает, что я уже помер где-нибудь под забором в сугробе. Все это время я не брился, под глазами набрякли мешки и зубы почернели от никотина. И даже сквозь чтение мне все слышался материнский голос: «...умер астроном Циммерман, умер астрофизик Ренц со словами «мясо» на устах...» Сама она умерла от рака.

От рака люди мрут уже давным-давно. И все понять не

могут, что это Небо подает им Знак. Ведь рак — это неуправляемое деление клеток, их цепное размножение, это обыкновенная модель атомной бомбы! Как множатся ужасные клетки, так вспухнет и умрет планета, если... Способность излучать свет — универсальное свойство жизни: светится печень кролика и кошки, ростки растений, наш мозг окружен нимбом... Угасает жизнь — исчезает свечение. Я должен светить людям и со дна могилы. Отсюда мое затворничество, отчужденность.

И вот награда — прелестная девушка с доброй большой собакой. Мне хотелось тронуть Соню пальцем, чтобы убедиться в том, что она не сон. Как-то Серов подвел Грабаря к «Девушке, освещенной солнцем» в Третьяковской галерее и сказал: «Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, как ни пыжился, ничего уже не вышло: тут весь и выдохся. И самому мне чудно, что это я сделал, до того на меня не похоже. Тогда я вроде как с ума спятил. Надо это временами: НЕТ-НЕТ ДА И МАЛОСТЬ СПЯТИШЬ. А то ничего не выйдет». Вот и я решил малость спятить, когда закрылся в доме. Хотя вообще-то я не согласен с Серовым. Не может быть материал отработан и исчерпан, если этот материал есть твоя жизнь, единственная и неповторимая.

— О чем вы думали, когда я позвонила? — спросила Соня.

— Мне надо написать словами портрет Белой ночи, а она скользит. Наверное, вообще нельзя написать то, что не отбрасывает тени.

— Неужели вы еще не заметили, что я тоже не отбрасываю?

— Когда лампы светят с разных сторон, сразу не разберешь.

— Дядя Гена, вы верите в предчувствия? Ой, сколько окурков! Курить вредно, но если вам нравится это, то курите на здоровье. Я вам писала, что часто хожу на дневные сеансы в кино? Благо у нас рядом кинотеатр «Бирюсинка». Я люблю детские фильмы. Это все потому, что я, наверное, ведьма. И в ступе летать научилась, — она встала, прошлась по комнате и мельком взглянула на будильник, который стоял на шкафу. — Но мои суеверия не опасны для общества. И дедушка и папа много рассказывали про вас. И вы стали мне сниться. Вот я и прилетела.

— Зачем же вы смотрите на часы?

— А я и не смотрю, — сказала она с ненужной и ми-

молетной лживостью.— Хотите, остановлю все часы? Сколько у вас часов?

— Будильник на шкафу и ручные. Ручные я не ношу, и они всегда сами стоят.

— Эй, часы на шкафу!— приказным и капризным тоном сказала она.— Становитесь на нуль!

Минутная стрелка будильника, у которого давно испорчен звонок, помчалась по кругу, как самолетный пропеллер. Потом свет в квартире вдруг погас и из передней в темноте к нам медленно поплыл голубой мерцающий огонек.

В его свете я увидел, как Соня села на пол, закрыла лицо руками и горько заплакала.

— Я боюсь, боюсь,— сквозь слезы и сквозь ладошки, которыми она закрывала лицо, говорила Соня.— Вдруг в глаз ударит? Никакая я не ведьма. Ждать каждую минуту, что она прилетит и ударит,— вот самое ужасное! Все время думать: не случится ли еще чего-нибудь? И как? И ждать — где, когда? Мне приходится носить галоши, а их теперь никто не носит!

Голубой огонек сделал круг по комнате, исчез в дверях, и сразу зажегся свет.

— Ладно. Делать нечего. Вот дурочка, все часы испортила. Сколько же теперь времени?— спросила Соня, вытирая слезы кулачком.

— Не знаю. Телевизор уже кончился.

— Он просто перегорел... Ладно. Вот и все дела. Мне пора.

— О! Не уходите!— взмолился я.— Мама сразу начнет опять говорить. Сколько можно одно и то же? «...умер старший астроном Берг, старший астроном Елистратов с женой, астроном Домбик...» Я никого из них не помню, а она все повторяет и повторяет!

— Вы знаете, как убило папу?— спросила Соня, вытирая слезы.

— Я думал, он сам умер.

— Ему прямо в сердце попал метеорит. И все дела. Дик, дай сумочку! Я имела горькую сладость проститься с папой в крематории,— так говорит моя ученая мама.

Дик взял сумочку со стула и принес ее. Соня достала футлярчик из-под пробных духов и вынула маленький метеорит.

Я взял его. Он был очень тяжелый, с острыми краями — похож на осколок зенитного снаряда. И чудесно пах духами.

— Прямо в сердце,— сказала она и обтянула юбочку на коленках.— У вас холодно, дядя Гена. Дует по полу. Наверное, не заклеены окна. Это опасно. И я не люблю, когда так смотрят на мои коленки.

— Замечательная смерть: его зарыли в Млечный Путь,— утешительно сказал я и протянул к ней руку.— Вставайте, наконец! Право, и я не отказался бы получить осколок Вселенной прямо в сердце и чтобы мне в изголовье поставили ночную звезду. Можно я поглажу ваши волосы?

— Не прикасайтесь!— воскликнула она, отшатнувшись.— Я заряжена сильным электромагнитным полем, дядя Гена.

— Черт знает что! Неужели нет никакого средства?

— На всем свете есть лишь одно еще существо, заряженное электричеством. Это мистер Рой Сэлливан. У нас с ним разные знаки зарядов, и мы могли бы составить прекрасную пару, но он живет в Америке и ему уже за семьдесят, дядя Гена.

— Бедная крошка! Что за напасть легла на ваше семейство?!

— Никто пока не способен объяснить это редкое явление,— сказала девушка.— Включите горячую воду на кухне. Я люблю мыть посуду и вешать занавески, потому что я наполовину армянка.

— Этак, Сонечка, вы застрянете там до утра. Я две недели ничего не мыл. К раковине не подойдешь.

— Ничего. Нам помогут звери. Дик, перестань трепать сумочку! Мистера Роя первый раз ударило седьмого августа шестьдесят третьего года. Он вел автомобиль. Молния из низкого, совсем маленького облачка. Попала в голову и прожгла шапку. Все волосы сгорели! Мужчинам это ничего, лысые тоже бывают симпатичные. А мне как? Ладно, пойду помою посуду, раковину и плиту. Плита тоже грязная?

— Наверное.

— Не люблю мыть плиту. Но иначе мне будет не успокоиться. Не шипи так!— цыкнула она на черного кота.— Прямо гремучая змея, а не кот. Пошли все со мной! Там есть передник?

Ей, конечно, скучно со мной, подумалось мне, а попросить ее отправить всех кошек вместе с Диком и остаться со мной я не решусь. Даже если она и согласится остаться, то из страха перед молниями, ночью, мо-

розом и метелью. Метет метель, и вся земля в ознобе. И я не имею права использовать страх молоденькой прелестной девушки. И ни одной чистой простыни нет. Стыд и срам. Докатился. Да мне и не надо от нее ничего. Только бы она не уходила. Пускай ночуют все вместе — и она, и Дик, и кошки. А потом проснемся все вместе — и она, и Дик, и кошки. И я схожу и принесу им молока, и будем пить кофе.

— Я знаю, о чем вы думаете, дядя Гена,— сказала Соня.

— Если знаете, то залезайте в щель между мной и стенкой на диван.

— Вам это очень нужно?

— Наверное.

— А если я — нет?

— Буду допивать остатки. До утра хватит. И думать, как написать портрет Белой ночи. Нужен прототип. И для лета, и для ночи, и для смерти — видели когда-нибудь, чтобы смерть изображали в образе мужчины с косой? И для мудрости, и для любви всегда находилась модель среди живых женщин. Только для Белой ночи не найти.

— Я бы к вам на диван залезла,— сказала Соня, немного, но сосредоточенно подумав над моим нескромным предложением.— Если бы вы были сантиметров на десять повыше, лет на пять моложе, чуть побогаче и чтоб глаза были темные.

— С вами ничего не понять,— сказал я, чувствуя себя немного обиженным, хотя и ценю в людях откровенность и доверительность.— Вы только что жаловались, что ни до кого не можете дотронуться!

— У вас есть канцелярские скрепки, дядя Гена?

— Черт знает что!— сказал я.— Вон на столе. Сколько угодно.

— Перед тем как целоваться, я делаю так,— сказала Соня и начала тереть ладошку о ладошку.— Киньте-ка мне коробочку со скрепками. Не надо! Дик, принеси мне скрепки!

Дик подошел к столу, стал на задние лапы, взял передними коробочку и принес ей. Скрепки начали выскакивать из коробочки и повисли длинной цепочкой под каждой ладошкой Сони. Она засмеялась и подбежала к зеркалу...

Я ничем, ничем не болен. Просто иногда мне кажется все так явственно, что потом не отличишь, где сон, где явь.

А они меня лечат электротоком. Я легко властвую над временем, потому что с детства люблю выдумывать. Это все виноват Стивенсон Роберт Льюис, и доктор Джекиль, и мама, которая слишком любила цветы. Первое, что помню: огромная картина в тяжелой золотой раме — сирень в глиняных горшках, сирень, сирень, сирень... Куда же подевался наш пятиэтажный дом? Не осталось даже фундамента. Картину с сиренью мы сожгли, сперва раздробили топором раму, потом резали холст с цветами на кусочки бритвой отца, из холста летела вековая пыль. Или это была «Сирень» Врубеля?..

Сегодня ночью сосед по палате прочитал мои писания, я их не прячу — пускай все читают! Он прочитал и рассказал анекдот про семью, в которой каждую субботу ужасно орал кот. Он у них спрашивает, почему ваш кот орет? Он мне спать мешает. Они говорят, что каждую субботу кота купают. Он говорит, что тоже купает, но его кот не орет! А они спрашивают: вы своего кота после мытья выжимаете? Он говорит, что нет. А они, оказывается, своего выжимают.

Конечно, смешно, но и как-то грустно.

...Соня подбежала к зеркалу и показала мне в зеркало язык.

— Двадцать пятого июня прошлого года, когда мистер Рой удил рыбу, — сказала она, — этого капиталиста шандалахнуло в седьмой раз. Сейчас он лежит в больнице в специальной бронированной камере с ожогами груди и живота. Как жалко, что я уже больше никогда-никогда не буду маленькой! Даже если проживу до старости и впаду в детство. Подумаешь! Семь раз какого-то кулуксклановца обыкновенная — не шаровая — стукнула! На три метра он, видите ли, из автомобиля вылетел. И про него во всех газетах! Я красивая женщина, дядя Гена?

— Очень. Только ты еще не женщина. Вот когда научишься любить в себе не красоту, а душу, тогда только станешь.

— Боже мой! И этот туда же! Уши вянут. Да я, дядя Гена, русалку видела! И у нее из глаз знаешь что? У нее из глаз — черный свет! Знаешь, я решила мыть посуду завтра. И перестань глотать эту дрянь! Дик, выгони всех кошек в кухню и запри, а сам сиди у дверей и сторожи, чтобы не вылезли! Ну что ты на меня так смотришь, дядя Гена? Отвернись. Ты же видишь, что я раздеваюсь! Сов-

сем ты у меня бесстыдный... Ну, что ты? Ты плачешь? Хочешь, я почищу тебе яблоко? И ты часто путаешь сны с жизнью? Ох какие у тебя холодные руки! Я сперва их тебе погрею. Не бойся, чего ты весь дрожишь? Я же через скрепки вся обыкновенная стала. И мы будем спать до утра совсем спокойно. Ты не хранишь, милый?

Нет, все-таки только женщины способны существовать в геометрии Лобачевского, то есть скользить сквозь время по двумя параллельным, но пересекающимся плоскостям. А мы, мужчины, как уперлись лбом в Эвклида, так и стоим. Лучше уж в зеркало упираться, чем в глухую стенку.

Возьмем такой всем знакомый момент. Делаешь ты, поборов робость и стыд, женщине нескромное предложение, как было в моем случае. Или, например, рассказываешь завлекательнейшую историю из политики. Или формулируешь — в поту и муках — заветную, сложнейшую, собственного открытия истину. И весь ты погружен в свое нескромное предложение, как было у меня с чудесной и ласковой Соней. Или весь ты погружен в свое изложение, в силлогизмы и образы. И каждой клеткой понимаешь, что весь цивилизованный мир обязан слушать тебя затаив дыхание, а она: «Милый, бульон капустой заправлять будем?» И это в самый пик твоих рассуждений, в самую кульминацию. И — все! Вавилонская башня грохается, осколок кирпича летит тебе прямо в рот, и ты, естественно, прикусываешь язык — все по Библии.

Конечно, я это придумал. Ничего такого у нас с Соней не было.

Она ушла, помыв посуду.

А я сидел на кухне и смотрел, как она моет.

— То окно, которое светится в доме напротив, оно всегда по ночам горит? Да? И вы на него смотрите? Я так и знала... Боже мой, куда бутылки девать? У вас нет мусоропровода? Вечно волосы в глаза лезут — сплошное наказание... Вы читали про Крысолова? Нет? О, он так играл на флейте, что мог увести за собой кого угодно. Это средневековая легенда. И он вывел из Гаммельна всех крыс, наводнивших город, а затем, обиженный неблагодарностью жителей, увлек за собой всех их детей...

Я вызвал по телефону такси и проводил ее до машины.

Над городом в ночной тьме кружила метель, ветер дул со всех сторон — за какой угол ни спрячешься. И пока мы ждали такси, закоченели. Молнии пронзали снежную

круговерть во всех направлениях. Закутанные в метельную круговерть дома и взблескивающие в свете молний трамвайные рельсы, по которым струилась поземка. Шум оледенелых ветвей старых тополей на бульваре, закруженных метельными вихрями. Дик испуганно прижимался к моим ногам, на его ушах светились огни Святого Эльма. И — гром среди метельного спящего города, гром, возвеличивающий вдруг человека и разоблачающий весь жалкий гений его.

Такси уехало в ущелье между сугробами, обдав меня колкими — из-под задних колес — ледяными брызгами, это были заледенелые лепестки сирени.

На память о Соне, о странной и прелестной девушке, осталась открытка с картинкой японского художника Томоо Инагаки «Шествие кошек». Эта открытка и здесь, в больнице, со мной.

Ночью, когда соседи спят, я достаю открытку и читаю: «Дядя Гена, я совсем не такая, как Вы думаете. По ту сторону жизни я буду тихим и светлым ангелом. И даже если Вы попадете в ад, во что я не верю, я прилечу к Вам светлым ангелом, и узнаю Вас в кипящей смоле, и протяну Вам руку. Я попрошу об этом у самого Иисуса Христа. Для себя я никогда ни о чем не прошу Бога, а только благодарю Небо за все и за то, что Вы есть на свете. И я у Вас действительно была и взяла 20 рублей на билет до Москвы. Соня. И у русалок действительно струится из глаз черный свет».

На картине Инагаки нарисованы шесть кошек или котов.

Четыре идут влево.

Две вправо.

Все — в профиль, то есть их тела в профиль. А пять кошачьих физиономий повернуты к зрителю. И десять кошачьих глаз следят за тобой — куда бы ты ни отклонился.

У трех котов усы есть.

У трех усов нет.

Одна кошка идет вся в профиль, на тебя не глядит.

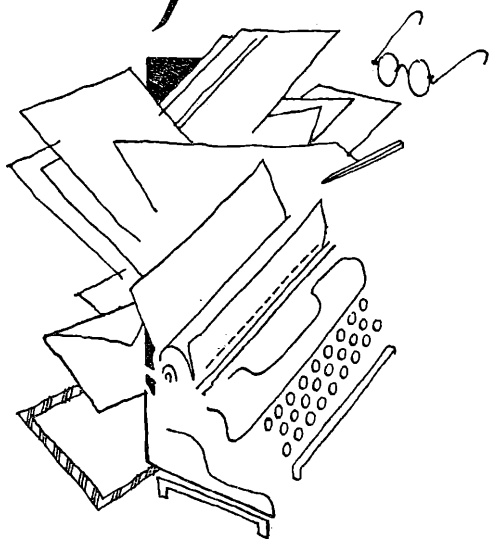
В картине есть какой-то глубокий японский смысл.

Я его чувствую.

Интересно, веселее было бы приговоренному к смерти, если бы ему в телескоп показывали галактики и Млечный Путь и играли Бетховена?»

10 июня 1986 г.

Опять
название
не
придумывается



О
СЕРГЕЕ
КОЛБАСЬЕВЕ

1

Не следует путать серьезного писателя с торжественным писателем. Серьезный писатель может быть коршуном, или соколом, или даже попугаем, но торжественный писатель — всегда сыч.

С. Колбасьев

В морвокзале Мурманска видел, как к «Союзпечати» подошли флотские офицеры, полистали сборник рассказов С. Колбасьева и сострили: мол, следовало бы автору взять псевдоним, потому что в отношении колбасы на Севере вовсе плохо и не следует раздражать читателей вкусной фамилией.

Писательское имя внедряется в сознание читателей главным образом через написанное и опубликованное, но, конечно, и через личность автора, выраженную в поступках, то есть через судьбу человека. Цветаева настойчиво повторяла: «Творению предпочитаю творца».

Мы не любим, не привыкли соединять под одной обложкой стихи, прозу, газетную публицистику, эссе, — борьба за чистоту жанров?.. А в томе избранных произведений сегодня так хотелось бы увидеть все разнообразие литературной работы С. Колбасьева. Будь моя воля, пошел бы и на то, чтобы прослнить художественное пожелтевшими документами двадцатых-тридцатых годов, критическими выступлениями Всеволода Вишневского, Леонида Соболева, Бориса Лавренева, Николая Тихонова; воспоминаниями о Сергее Адамовиче В. Каверина, И. Рахтанова, композитора Г. Терпиловского. Не получилось. Будем надеяться, что когда-нибудь получится, ибо канонические формы — даже в монтаже книги, сборника — моему герою намертво противопоказаны.

Этот человек любил дразнить гусей.

Шествует по тихой пригородной улице стадо милых, мирных, глупых, жирных от своего спокойствия, в сознании своей значительности гусей.

Умные, деликатные люди, встретив гусиное стадо, отводят даже глаза в сторону, ибо знают, что и случайный взгляд, не говоря уже о тыкании пальцем и усмешке, вызовет сперва у вожака, а затем и у всего стада приступ шипения, изгибания шей и довольно опасную коллективную атаку.

Но вот находится пятилетний малец, который тоже знает, что с гусями шутить дело опасное, но — анфан террибль! — удержаться не может и начинает прямо в морду гусиному вожаку двумя пальчиками шевелить, ибо в душе его уже живет неистребимая веселая ненависть к тупому, самодовольному гусиному стаду.

Увы, такие пацаны рано или поздно кончают плохо.

А существовало бы ныне человечество, кабы они не рождались время от времени на свет божий?

«Документальный метод великолепен, но необязателен. Кроме того, он мне надоел. Сейчас нет журнала, не набитого до отказа фактами и автобиографиями, нет людей, не занятых писанием человеческих документов. Я не сомневаюсь в их праве на это, но полагал бы необходимым ограничить их вредную деятельность. Они врут лучше любого беллетриста. Поэтому я предпочитаю заниматься откровенной перестановкой материала и не претендую на историческую точность».

Ну и доставалось же Колбасьеву за подобные пассажи-декларации, за такие гардемаринские наскоки на «факты», «автобиографии», за отсутствие претензий на историческую точность.

Какой бог или сатана всю жизнь заставлял его подставлять голый живот под сокрушительный хук любого критика?

И ведь никакой последовательности в саморазоблачениях:

«Плаваешь на своих миноносцах и врешь сколько влезет, потому что морские специалисты не занимаются литературной критикой, а литературные критики не знают морской специальности... Доволен самим собой и своим радиограммофоном...»

Эх, зачем же так лихо и бесшабашно кренить яхту на повороте? Ведь черпаешь бортом! Да еще и действительно

привираешь: сам-то ни на йоту не отходишь от честной внутренней правды — потому-то и живы твои книги...

А зачем бросать в лицо тридцатых годов: «Я был петербуржцем, не любил Москву и любил Киплинга!» Зачем тебе ворошить такое свое прошлое, когда ты давно живешь в Ленинграде, Москва давно столица, а Киплинг — бард британского империализма и наглухо засунул свой талант в узкие ножны английского колониального тесака?..

И зачем эта вечная ирония? Ведь «ирония» в буквальном переводе означает «притворство», этакое лукавое, озорное притворство... Но только что — в конце двадцатых годов — на твоих глазах врезали по «Двенадцати стульям» так, что гусиный пух и перья полетели, — за «богемно-нигилистическое отношение к действительности», а ты в пекло гражданской войны ведешь своих героев. И ведь знаешь высказывание Михаила Михайловича Зощенко о том, что литература — дело опасное, схожее с изготовлением свинцовых белил...

А зачем, коли ты профессиональный моряк, известный писатель, удачливый дипломат, еще лезть в драку за джаз? Ведь именно тут скрестились критические мечи: «Что мы называем легкожанровой музыкой? Это музыка бара, кафешантана, варьете, «цыганщина», джазовая фокстротчина и т. д. — все то, что составляет некий музыкальный самогон...»

Борцы за джаз!
Я джаза меч
На берегах Невы
держал.
Но я устал,
хочу прилечь,
И я борьбы
не выдержал.

Это «устал и захотел прилечь» после очередной проработки наш неунывающий Леонид Утесов. И Сергей Адамович бросил ему спасательный круг.

Интересно, что и такой серьезный, не любящий по мелочам дразнить гусей писатель, как Бабель, тоже счел себя обязанным высказаться по джазовому вопросу: «Революция открыла Утесову важность богатств, которыми он обладает, великую серьезность легкомысленного его искусства...» И Колбасьев и Бабель увидели в джазе не

истеричность, надрыв и цинизм, как видел «лауреат джазового века» Скотт Фицджеральд, а оптимизм личности, которая после революции получала право на импровизацию, на выявление себя и в коллективном творчестве и — соло.

2

С самой 6-й роты они всегда были вместе. Учились в одном классе. И рядом стояли в строю, вместе плавали и гребли на одном катере, вместе ловчили в лазарет и делали Арсена Люпена.

...всерьез можно говорить только об одной традиции корпуса, о действительно древнем и неистребимом законе братства всех воспитанников, о строгом законе, не допускающем даже малейших проявлений неверности... И во все времена измена братству каралась с предельной жестокостью.

С. Колбасьев

Конечно, затея с Арсеном Люпенем — тоже юношеская фронда и дразня военно-морских корпусных гусей. И вполне закономерно, что в картинной галерее против ниши дежурного по батальону возник аншлаг «Я УМЕР».

Это, если вы читали Колбасьева и помните, произошло в феврале 1917 года.

Кажется, давняя история, мезозойская какая-то эра, а на деле — близко. Человеческие судьбы обладают удивительной силой эстафетности и способностью неожиданно переплетаться.

Нынче Сергею Адамовичу исполнилось бы 86 лет.

Прошлой осенью был у меня в Комарове его одноклассник Борис Борисович Лобач-Жученко, внук Марко Вовчок. В прошлом авиационный штурман и авиационный приборостроитель, литературовед и... яхтенный капитан. Прибыл он, чтобы пригласить меня принять участие в кругосветных парусных гонках.

Смотрю на Бориса Борисовича, удивляюсь его молодости, густой шкиперской бородке, поджарости, быстрой и решительной повадке, спрашиваю:

— Интересно так долго жить?

— Да, если можешь ухаживать за собой сам и путешествовать в одиночестве.

— Ваша главная ошибка в жизни?

— В сорок и пятьдесят лет непрерывно думал о том, что жизнь кончена и все уже в прошлом. Роковая ошибка. Только в шестьдесят смог избавиться от этого наваждения. И только после шестидесяти, последние двадцать пять лет, живу свободно от гнета смерти и весело.

За разговорчиками он выпил коньяку, две чашки крепчайшего кофе, и тут выяснилось, что Борис Борисович влюблен в тридцатилетнюю украиночку и что это самое великое и прекрасное чувство в его жизни. Для документального подтверждения этого факта Борис Борисович извлек из пиджака бумажник, а из бумажника фотографию украиночки.

Я интересуюсь:

— Где это вы получили такую закалку и закваску?

— В Морском корпусе.

— Это в каком же году вы его кончали?

— В семнадцатом.

— Борис Борисович, а вы случайно Сергея Колбасьева не знали?

— А вы «Арсена Люпена» читали?

— Конечно. Мне послесловие к Колбасьеву писать надо.

— Так Лобачевский — это я, грешный. Только там Сергей накрутил на меня кучу всяческих безобразий...

Ба, надо же! Борис Лобачевский! «Юноша способный, но с поведением всего на девять баллов и к тому же язвительный...» Гардемарин, который шестьдесят лет тому назад «безошибочно умел попадать в лазарет, когда ему только хотелось, и обязательно выписывался в пятницу, чтобы в субботу пойти в отпуск». Который отлично умел ладить со всеми врачами и даже со сварливым Оскаром Кнапперсбахом, по специальности акушером...

И вот этот «неистребимый и изобретательный шалопай» Лобач-Жученко — Лобачевский — Арсен Люпен сидит живехонький передо мной на фоне неплодоносящих комаровских яблонь в Доме творчества ленинградских писателей и уговаривает отправиться в кругосветную гонку на парусной яхте. И уговорил! Но, к счастью, гонка не состоялась...

— Как вы умудрились уцелеть в мировую, в гражданскую, в тридцатые, в Отечественную?

— Это у Сергея объяснено. Помните? «В силу железного закона войны на фронте всегда собирается значительно лучшее общество, нежели в тылу». Лез в пекло, ибо наступление — лучший вид обороны.

— А как вас занесло в небеса, в авиацию?

— Сразу после корпуса соблазнили туда Борис Чухновский и Волинский — этот потом разбился в Севастополе... И Васька Лавров — этот потом командовал воздушными силами республики...

Врать не буду, каких-нибудь распространенных воспоминаний о Сергее Колбасеве мне из Арсена Люпена выудить не удалось. Только ругал он своего дружка за то, что в книге Лобачевский курит, а он, Борис Борисович Лобач, в те времена не курил. Ругань его была полна нежности. Вспомнил еще, что у Сергея для стихов была тетрадь в жестком переплете и с ключиком...

Я не удержался и задал дурацкий читательский вопрос на тему «было в жизни или не было»:

— А все-таки вот старший лейтенант Иван Посохов пришел к выводу, что в подвешивании брюк лейтенанта Стожевского на люстру участвовали двое, из коих один стоял на стуле и держал на руках другого. Так вот, Борис Борисович, безумно хочется знать, кто из вас был наверху, а кто внизу?

— Забыл. Это все мелочи, Виктор...

3

Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи...

*Н. Гумилев, Из книги
«Огненный столп»*

Никаким лейтенантом, который водил канонерки под огнем неприятельских батарей, Сергей Колбасев быть не мог. Но то, что в Крыму он читал Гумилеву над южным морем его стихи, — возможно, ибо с мая по июль 1917 года в качестве практиканта Колбасев плавал на эскадренном миноносце «Свирепый» в действующем отряде Черноморского флота. Есть у него юношеский рассказ «Самсун». Самсун — задрипанный турецкий портик недалеко от Синоп — нахимовские места. Миноносец несетя из Батума и крушит вражеские фелюги в Самсуне, перепуганные турки сдаются и преподносят лихим ковбоям-победителям сувениры — шикарные турецкие коврики. Начинается рассказ так: «Голый начальник сидел на спасательном круге и греб обеими руками», — отменное начало для рассказа о вполне бессмысленной империалистической

войне. Начальник, конечно, штабная крыса... Далась же автору начальники!

Задира и драчун родился в 1899 году.

Шестнадцати лет поступил в Морской кадетский корпус.

Девятого марта 1918 года досрочно выпущен в связи с закрытием корпуса, назначен на линкор «Петропавловск» — Балтика. Осенью 1918 года в должности артиллериста на эскадренном миноносце «Москвитянин» перешел с Балтики на Каспий, принимал участие во взятии Энзели. (Сей секунд — на ловца и зверь бежит — прочитал в газете: «Сдав улов кильки, сейнер «Поднятая целина» бросил якорь в мелководном заливе Каспийского моря. Когда снимались, чтоб следовать к новому месту лова, якорь-цепь выбиралась с трудом. На якоре оказалась старая, обросшая илом торпеда. Самым малым ходом сейнер последовал к песчаной косе у рыбацкого поселка Баутино. Прибывшие минеры разоружили торпеду. Она оказалась с миноносца «Москвитянин», который затонул в мае 1919 года во время боя с английской эскадрой». Вот как все в жизни пересекается-то!)

С октября 1918 года по май 1919 года Колбасьев служил в должностях помощника командира и старшего помощника на эскадренном миноносце «Прыткий» в составе Волго-Каспийской флотилии. В сентябре 1919 года на уже родном линкоре «Петропавловск» участвует в обороне Петрограда. Июль 1920 года — переводится на Азовскую военную флотилию командиром второго дивизиона канонерских лодок, одновременно командуя канлодкой «Знамя социализма». 24 октября 1920 года назначается старшим флагманским секретарем начальника морской базы в Таганроге. С 1 февраля 1921 года — начальник оперативного отдела штаба действующей эскадры Черного моря с одновременным исполнением обязанностей командира дивизии минных истребителей и сторожевых катеров. 15 февраля 1922 года по ходатайству наркома просвещения А. В. Луначарского об откомандировании с флота для работы в издательстве «Всемирная литература» приказом наркома по морским силам увольняется в запас...

Не ручаюсь за точность дат — в разных архивных документах они разные. Но и то подумайте: время-то какое было не бумажное! И еще подумайте: уже в 1922 году правительство переводит боевого командира с флота в литературу — приказом переводит!

Флотский послужной список Колбасьева здесь мне больше всего нужен для музыки (ударение обязательно на «ы»!) названий, дат, должностей, имен легендарных ныне уже кораблей...

Из газеты «Правда» за 1922 год: «На 8 февраля в Московском отделе труда зарегистрированы 17 871 чел. безработных, из которых 6798 мужчин, 7664 женщины и 3409 подростков». «В Херсоне голод косит не менее 40—50 жертв ежедневно. В уезде картина еще более потрясающая. На улицах валяются голодные, оборванные люди, взывающие к помощи. Кражи, налеты, грабежи достигли невероятных размеров. В 20 волостях голодают свыше 100 тысяч человек. Положение катастрофическое». «Старый, седой Волхов!.. На его волнах сейчас копошатся свыше 5000 рабочих. ... Одна деревушка помешала строительству электростанции — ее разом снесли с места, построив для крестьян в стороне новенькие домики». «Устроенный Домом печати в воскресенье 19-го февраля, во время спектакля, аукцион книг и автографов с участием Владимира Маяковского прошел весьма успешно. Выручено в общей сложности около 40 000 000 рублей. Книга Маяковского «Все, сочиненное Владимиром Маяковским» прошла за 18 900 000 руб., автограф присутствующего в зале Литвинова — за 5 250 000 руб., за выступление с чтением стихов С. Есенина было собрано 5 100 000 руб. Все деньги переданы в губернскую комиссию помощи голодающим при Главполитпросвете».

Одновременно профессор физики, сынок нашего великого Тимирязева, выступая в «Правде», обвиняет Эйнштейна в идеализме, а теорию относительности — в том, что она способна была зародиться лишь в недрах обреченного буржуазного класса и ничего общего не имеет с наукой. Одновременно в США готовится «Обезьяний процесс», на котором будут судить Дарвина...

Во времечко-то, а?!

В январе 1923 года Колбасьев назначается переводчиком в советское посольство в Кабул.

4

Н. Тихонов писал Л. Лунцу в октябре 1923 года: «Сергей Колбасьев делал прогулку по Афганистану. Расстолстел, как кабульский бороз, — поздоровел — привез 1001 историю, афганские подтяжки, брюки, анекдоты... Жди от него письма. Сергей настроен очень хорошо. На его месте

любой из нас написал бы целую книгу о бое баранов, о бое соловьев, о беге слонов, об эмире-шофере, об этой афганской сутолоке, а я боюсь, что он не захочет писать».

Тихонов боялся правильно. Сердце Сергея Адамовича было отдано морской тематике. И никакой книги на афганском материале Колбасьев не написал. Остался один маленький, на двенадцать страниц, рассказ-фацеция, шуточный, но и немного драматический.

Как только герой получает приказ отправиться в Афганистан, так сразу ему начинает мерещиться английский шпион. Весь путь до Кабула герой обливается холодным потом от ужаса — английский разведчик преследует его неотступно. Под финал выясняется, что этот английский разведчик — наш мирный торговый представитель, приехавший в Афганистан продавать чайники.

Осенью 1923 года Колбасьев назначается в Хельсинки на работу в нашем торговом представительстве, где пробыл до мая 1928 года. От финского периода его жизни остался тоже один рассказик — «Ветчина с горошком».

Рассказчик попадает в автомобильную аварию и в бессознательном состоянии умудряется угодить прямо в эпицентр диверсантов-беляков, которые готовят взрыв мостов в Петрограде. Рассказчик выдает себя за шведского художника, ибо отлично владеет шведским языком. Ему удается распознать готовящуюся диверсию: консервные банки «Ветчина с горошком» имеют начинку из взрывчатки; они взрываются, если в банку попадет воздух. Герой подменяет банки-мины на обыкновенную ветчину. Мосты остаются целыми. Рассказ шпионско-приключенческий, но автор отлично знает и взрывное дело, и конспиративное дело, ну и, конечно, языки от фарси до шведского. Полиглотом Колбасьев был с детства. Тихонов объясняет это тем, что матушка его происходила с острова Мальта — перекрестка морских путей.

Думаю, для человека, связавшего судьбу с флотом, тем более военно-морским, чрезвычайно важно было не поддаваться тем расплывчато гуманным составляющим, которые закладывались в нем петербургско-петроградско-ленинградскими гуманитарными бабушками.

И начиная с тридцать первого года военмор Колбасьев проходит стажировку на эсминцах КБФ каждую навигацию и переаттестовывается на флагманского связиста дивизиона эскадренных миноносцев — стал видным спецом по конструированию и эксплуатации средств радиосвязи.

Я пишу на бланке не для того, чтобы похвастаться. А для того, чтобы Вы знали, что мне многое легче сделать, чем Вам. Поэтому если что нужно — пишите.

И. С. Исаков — А. И. Маринеску

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК СССР
АДМИРАЛ ФЛОТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И. С. ИСАКОВ

24 декабря 1966 г.

Спасибо за книгу.

Еще не имел возможности заглянуть.

С юмором — неблагополучно.

Задерживают, т. к. мокрому маршалу не пристало писать «легкомысленные» фацеции.

(Пришлось, на полном серьезе, — дать портрет необычайного кока — в № 11 «Нового мира»; да и тот оскандалился (не кок, а «Н.м.»!) и выйдет в начале будущего года.)

Сергея знал.

Согласен.

С генералом береговой службы — дела иметь не хочу. Возможно, напишу прямо Бакаеву (один раз № прошел).

С Новым годом!

Ваш Исаков.

Адмирал флота — высшее военно-морское звание. За всю историю России его носили к тому моменту, кажется, всего три человека. И вот я — старший лейтенант запаса ВМС — обратился к адмиралу флота, Герою Советского Союза, лауреату Государственной премии в области науки, кавалеру шести орденов Ленина и двух орденов Ушакова I степени и пр. и пр. с письмом, в котором просил его ходатайствовать перед правительством о присвоении имени Сергея Колбасьева какому-нибудь судну. Ответ пришел уже через две недели.

Отличная штука — интеллигентность.

Возможно, кое-кому покажется парадоксом то, что для морского писателя этакая мягкотелая гуманитарная интеллигентность абсолютно необходима — быть может, даже более необходима, нежели для всяких других литераторов. Но одновременно это качество значительно за-

трудняет собственную жизнь, особенно в ранний период военно-морской службы,— здесь поверьте мне на слово. По закону естественного отбора пройти сквозь каторгу первых лет службы на флоте мягкотелому интеллигенту возможно только в том случае, если он обладает юмором. Потом юмор неизбежно — и вне зависимости от сознания морского писателя — оказывается в его книгах. В результате Герой и лауреат застонал: «С юмором — неблагополучно...»

Чудесные рассказы Исакова начиная с 1959 года публиковал в «Новом мире» Твардовский. Адмиральский юмор кое-кого из литературных генералов тревожил, и потому рассказы «задерживают».

Комментирую его письмо дальше.

«*Мокрый маршал*» — означает на морском жаргоне «Адмирал флота», ибо это звание соответствует сухопутному маршалу. В назывании себя «мокрым маршалом» есть достаточная порция самоиронии, ибо Иван Степанович всегда помнил то, что обскакал Нахимова и Макарова, — они погибли лишь вице-адмиралами.

«*Фацеция*» — тут пришлось совать нос в словарь иностранных слов. И таким путем я впервые в жизни узнал, что это один из эпических жанров: шуточный рассказ, распространенный на Западе в эпоху Возрождения, а в России — в конце XVII века.

«*Сергея знал*». Это ответ на мой вопрос, знал ли адмирал Колбасьева в жизни. Их пути могли непосредственно пересечься в 1919 году на миноносце «Деятельный», в составе Волго-Каспийской флотилии, то есть при штурме Энзели.

«*Согласен*». Это означает, что Иван Степанович считает Сергея Колбасьева таким моряком и писателем, который заслужил право плавать и после смерти — кораблем.

В дни Сталинградской обороны, на Кавказском фронте, на перевале Гойтх адмирал был ранен осколком авиабомбы в бедро. Началась гангрена, флагманский хирург Черноморского флота сказал: «Иван Степанович, я должен отрезать вам ногу». Адмирал ответил: «Спасите мне голову». После ампутации Исаков впал в кому, два часа у него не прослушивался пульс. Но здесь принесли телеграмму из Ставки, которую хирург все же решил зачитать вслух над лежащим без сознания раненым: **«МУЖАЙТЕСЬ МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ МОЖЕТЕ ВЫЗДОРОВЕТЬ СЛУЧАЕ ТРАГИЧЕСКОГО**

ИСХОДА ЛУЧШИЙ ЭСМИНЕЦ ФЛОТА БУДЕТ НАЗВАН ВАШИМ ИМЕНЕМ = СТАЛИН».

Исаков открыл глаза, и у него появился пульс.

Для человека, который потом на костылях командовал флотами, представить свое имя на борту корабля — это не пустое честолюбие. Человек хочет продолжиться в своих детях, в своих трудах. Моряк хочет плавать и после смерти, ибо, как говорили древние, плавать по морям — значит жить. Детей у Исакова не было...

«С генералом береговой службы — дела иметь не хочу». Это опять флотско-жаргонная ирония. Теперь в адрес младшего по выпуску гардемарина Ленки Соболева, который в тот момент был первым секретарем правления Союза писателей РСФСР и морские подвиги которого вызывали у боевого адмирала некоторый скепсис.

«Возможно, напишу прямо Бакаеву (один раз № прошел)».

Бакаев — министр морского флота СССР в те времена. Очевидно, один раз Исаков уже удачно ходатайствовал перед ним по подобному вопросу. В отношении Колбасьева номер не прошел потому, что Иван Степанович вскоре после письма ко мне умер.

В некрологе Твардовский писал: «И. С. Исаков был сравнительно молодым писателем. Всего лишь восемь с половиной лет назад появились первые его «Невыдуманные рассказы». Человек на редкость скромный, он часто говаривал: „В этом деле я всего лишь мичман“».

Я не литературовед и не историк литературы, но убежден в том, что без старого писателя Колбасьева не было бы и молодого писателя Исакова.

С Иваном Степановичем судьба недавно свела — встретил на морской дороге мощный противолодочный корабль «Адмирал Исаков».

За несколько минут до начала Трафальгарского сражения, подписав духовное завещание и поблагодарив команду за хорошую подготовку к бою, Нельсон приказал набрать и поднять фразу: «Нельсон верит, что каждый исполнит свой долг». У сигнальщиков или не хватило дублирующих флагов для повторяющихся букв, или не оказалось нужных слов в сигнальном своде. Тогда Нель-

сон изменил фразу: «Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг». Этот предельно простой текст стал для британцев на века боевым девизом.

Нахимов говаривал:

«Какой там был маневр, вздор-с, весь маневр Нельсона заключался в том, что он знал слабость своего неприятеля и свою силу и не терял времени, вступая в бой. Слава Нельсона заключается в том, что он постиг дух народной гордости своих подчиненных и одним простым сигналом возбудил запальчивый энтузиазм в простолюдинах, которые были воспитаны им и его предшественниками. Вот это воспитание и составляет основную задачу нашей жизни; вот чему я посвятил себя, для чего тружусь неусыпно и, видимо, достигаю цели: матросы любят и понимают меня; я этой привязанностью дорожу больше, чем отзывами каких-нибудь чванных дворянчиков-с...»

В разгар Синопского боя Нахимов снял с палубы матроса и послал его в свою каюту, чтобы тот принес стакан воды.

Дело было жарче жаркого — раскаленные ядра, полыхающие паруса, взрывающиеся крюйт-камеры, рушащийся рангоут — лупили-то в те времена друг в друга с двадцати метров — почти в упор — из здоровенных пушек.

Матрос изловчился и принес адмиралу полный стакан — удачно сквозь ад пробрался. Нахимов выпил воду и, возвращая стакан матросу, заметил ему:

— Смотри не разбей! Это мне подарок самого Михаила Петровича Лазарева!

Потом немало смеялись над матросом, когда он, желая уберечь стакан — вокруг все в дыму, огне, сотрясениях, — так крепко сжал лапищами стеклянный сосуд, что драгоценный подарок Михаила Петровича раздавил.

Ясное дело, что всю эту сцену — сквозь непроницаемый дым, сквозь сокрушительный огонь и зубодробительные сотрясения — видели на всей эскадре, хотя в те времена не было телевидения, и телекинеза, и телепатии: так уж устроены моряки, что в бою видят даже мимику флагмана и слышат его покашливание. А коли адмирал аккуратно, из стакана, воду пьет и с матросом шутит, то все идет ладом!

Современник и подчиненный Нахимова отмечает, что

Павел Степанович обладал «качествами народного юмора, имеющего на простолюдинов могущественное влияние, признанное отечественной историей нашей».

«Нахимов, как народный юморист, имел доступ ко всякому подчиненному; кто говорил с ним хоть один раз, тот его никогда не боялся и понимал все мысли его и желания... Могучая, породистая симпатия к русскому человеку всякого сословия...»

7

Когда-нибудь для смеха расскажу, как я был подводником. Приписали к «Рыси» и посадили учиться на курсах. Был 1919 г. И прямо на курсах меня арестовали как бывшего офицера, и хотя выпустили через две недели, я обиделся и ушел воевать в Астрахань (вторично) на миноносцы.

И. С. Исаков — А. И. Маринеску

Ко времени Октябрьской революции в списках русского флота числилось 8370 офицеров и адмиралов.

Думаю, только тот, кто сам был офицером, может представить себе состояние военного человека, который покидает командирский мостик, спускается на палубу и глядит, как на его место поднимается угрюмый матрос, а потом — не за страх, а за совесть — действует по указаниям своего бывшего подчиненного.

Такое представить еще можно. А вот ежели не с мостика на палубу, а с социального верха — в полную безоговорочную подчиненность ранее низшему классу — такое современному человеку уже и не представить. Одно ясно: безмерно это было сложно, тяжело, мучительно. Ведь кроме всего прочего царские офицеры давали присягу. И никто с них ее не снимал. Тот, кто давал присягу, знает: могучая, проникающая в глубину сердца и души сила!

Моряки не обсуждают свой флаг.

И чем порядочнее, честнее человек, тем мучительнее ему присягу нарушить. И еще каждую секунду видеть, что в искренность твою не верят, что почитают тебя приспособляющимся к обстоятельствам трусом.

Психологическая ломка куда более сложная и мучительная, нежели у офицеров-декабристов на Сенатской площади.

Гардемарин Колбасьев нашел в себе силы полюбить матроса Плетнева, простолюдина. Полюбить ровной

и верной на всю жизнь мужской любовью. Конечно, такую любовь следует тщательно прикрывать ироничностью... Ироническая нежность в мужественных отношениях честных людей перед лицом боя, смерти, тюрьмы.

Прототип Семена Плетнева — вполне реальный Захар Закупнев. Он прошел от рядового минера до первого комфлота Севера. Кстати, будущий адмирал флота Исаков в 1933 году был у Закупнева начальником штаба в «ЭОН» — Экспедиция особого назначения по проводке кораблей Беломорско-Балтийским каналом с Балтики в Белое море.

8

Мои герои, конечно, плохо вооружены идеологически и чужды нашему сегодняшнему мышлению, говорят крайне легкомысленным языком и делают много глупостей, но я помнил, как очень похожие на них люди честно дрались и умирали за советскую власть, а потому счел возможным сделать установку «Поворота» на них.

С. Колбасьев

1931 год. Десять лет назад окончилась гражданская война. Через десять — начнется Великая Отечественная. Два года уже идет коллективизация. Международная обстановка крайне тяжелая. Внутренняя — тоже.

Попробуйте себе представить, как сложно было тогда таким писателям, как Колбасьев. Он имел официальное обозначение своей социальной сущности как «писатель-попутчик» — скользкое обозначение.

«Как только писатель, подобный Сергею Колбасьеву, попытается свести свой сюжетный материал к набору более или менее занимательных анекдотов и безответственных острот, написанная им книга даст искривленное представление о гражданской войне. Веселенькие армейские анекдотики вытесняют в ней социальное содержание ожесточенной классовой борьбы, а героические усилия вооруженной революции — отстоять завоевания Октября подменяются авантурными похождениями чуждых ей людей...»

«Время от времени Колбасьев вводит туповатых комиссаров, которые должны наблюдать за командирами. Но комиссары эти — конечно, в силу своей тупости и неумения ориентироваться в обстановке — как правило,

к концу каждой повести вынуждены признавать свою неправоту и правоту типичных авантюристов. Извратив комиссаров, с невероятными трудностями сколачивавших боеспособный флот революции, Колбасьев мнит, что придерживается исторической правды...»

«Колбасьев показал Красный флот так же, как Замятин, Куприн и Мстиславский некогда показывали жизнь окраинного офицерства во всем ее кретинизме».

«Бездельники и авантюристы — они читают «Трех мушкетеров», «Мартина Идена» и даже сравнивают себя с ним... Книга Колбасьева — результат исключительного непонимания смысла гражданской войны и движущих сил революции» (журнал «Залп», 1931, № 2).

После такой критики, на мой взгляд, самое милое дело — пустить себе пулю в лоб. Особенно если в критическом кильватере выстраиваются однокашник по Морскому корпусу Леонид Соболев и отчаянный матрос Всеволод Вишневский.

Защищая Колбасьева, Борис Лавренев писал: «Во время Ледяного похода добровольцев, в бою под Лежанкой, группа штаба Деникина была обстреляна необычайно метким и убийственным шрапнельным огнем. Спустя некоторое время к добровольцам перебежал насильно мобилизованный кадровый капитан. Выяснилось, что красной батареей под Лежанкой командовал он. Когда удивленный Деникин задал вопрос ему, как же он, белый, так сядил по своим, капитан, сконфузясь, буркнул:

— П р о ф е с с и о н а л ь н а я привычка-с, ваше превосходительство.

Этот рассказ дает лишний штрих убедительности мотивировок Колбасьева и вместе с тем подчеркивает ту полную обывательщину и политическую безграмотность, которая характеризовала основную массу кондотьерского офицерства...»

Борис Лавренев был старше Колбасьева на восемь лет и отлично знал материал, на котором работал автор книги «Поворот все вдруг». Знаменитый рассказ «Сорок первый» о судьбе белого офицера вышел в 1926 году.

В жесткой полемике, которая разгорелась вокруг Колбасьева, голос Бориса Лавренева был самым объективным. В предисловии ко второму изданию книги «Поворот все вдруг» он дает анализ дореволюционного флотского офицерства:

«Мечтой великодержавной России, из последних силенок строившей дредноуты за счет благосостояния

и культуры страны, было подравняться морскими силами с владычицей морей — Великобританией. Мечтой офицерского состава флота было — походить на шикарных командоров и лейтенантов флота его величества Георга Пятого...

Это поверхностное «англичанство» в соединении с русским высокомерием, «авосем» и примитивной дикостью азиатов создало в русском флоте офицерскую породу, отличительной чертой которой была вопиющая политическая неграмотность...

Но совершенно напрасно некоторые товарищи из «упрошенцев» пытаются сейчас представить все офицерство как однородную массу сознательных классовых защитников дворянских привилегий и монархической идеи.

Этого не было. Офицерство делилось в основном на три группы, не говоря о мелких подразделениях.

Стоявшая во главе и задававшая тон незначительная группка аристократов, обладателей шестисотлетнего дворянства, «рюриковичей», была, пожалуй, наиболее сплоченной и действительно классово воспитанной в сознании своего непререкаемого превосходства и первородства.

Вторая категория, тоже незначительная по количественному составу, представляла собой лучшую часть флота. В нее входили те единицы, которые обладали умом и сознанием, которые не мирились с существующим положением и были оппозиционерами и протестантами, причем это протестантство имело широчайший диапазон — от пассивного розового либерализма до подлинно революционных убеждений и готовности заплатить за них жизнь. Из этой группы вышли казненные царским режимом Суханов, Штромберг, Шмидт и многие моряки-революционеры, кончившие ссылкой и каторгой.

И наконец, основной контингент представляла многотысячная масса, безликое множество «худородных» персонажей, потомков людей, выслуживших дворянство в девятнадцатом столетии, — дворян такого сорта, о которых едко говорила кавказская пословица: «два барана имеет — князь». Не обладавшие ни имущественным цензом, ни громкими фамилиями, ни стойкими убеждениями, лишённые возможности самостоятельно пробивать себе дорогу в мире капиталистической конкуренции, они с детства попадали в замкнутую атмосферу Морского корпуса, задачей которого было выработать из них исправных служак, «лихих драчунов»...

...Колбасьев отразил последних могикиан этой вымершей касты художественно правдиво и ярко, но не дал правильной политической оценки их роли. Делать из них самостоятельных героев нельзя. Они сделали свое дело во время гражданской войны, под руководством большевиков, и навсегда отошли в историю. Борис Лавренев. 16.03. 1931».

С таким резюме Колбасьев соглашался, но и тут не без некоторого сопротивления: «Все же прошу не ставить меня на одну доску с Александром Сейбертом, я старше его на десять советских лет!»

А потом, в рассказе «Река» его герой Бахметьев, за которым легко угадывается автор, скажет: «Впрочем, я вообще не люблю слова «лихость». Я предпочитаю решимость в выполнении опасного, но необходимого маневра и спокойный отказ от ненужного риска». Или: «Никогда не нужно расстраиваться из-за того, что все равно неисправимо». Это говорит человек, оглядываясь на двадцать первый год из тридцать шестого. «Знаете что, все эти *бывшие* раньше могли неплохо командовать, а теперь никак не могут. И вот почему: они боятся отдавать приказание. Им все кажется, что их сейчас за борт бросать начнут. Их ушибло еще в семнадцатом году, и они до сих пор не могут прийти в себя...» Думаю, что и сегодня найдутся такие, которые боятся принимать ответственные решения, которые «ушиблены» и все еще «не могут прийти в себя». Колбасьев же уже в тридцатые годы чувствовал себя хозяином страны и категорически отказывался бояться: «Люди творили революцию, а заодно создавали необычайную сюжетную прозу, туго набитую действием и романтикой. Боюсь, что ее занимательности они не ощущали».

Да, настоящие революционеры — всегда художники, хотя они и ломают массу дров в музеях и храмах.

Колбасьев погиб одновременно с Тухачевским и Бабелем, Блюхером и Кольцовым.

Сохранились воспоминания человека, который встретился с ним в обстоятельствах для обоих ужасных. Колбасьев начал подозревать собеседника в провокаторстве и, как ныне модно говорить, тестировал его, задав вопрос:

— Кого больше любите — Пушкина или Лермонтова?

Собеседник смешался. Ведь каждый русский знает, что выше Александрийского столпа вознес непокорную голову только Пушкин. И все-таки каждый в разные этапы своей

жизни имеет полное право колебаться между двумя этими великими именами.

— Знаете, Пушкин — это более чем гениально, но, не знаю почему, больше всех люблю Лермонтова,— таков был ответ.

— И вам не стыдно признаться?

— Иногда неловко, но что поделаешь?

— Ну, так можете успокоиться,— сказал Колбасьев, успокаиваясь сам, ибо лихорадка подозрительности отпустила его.— И я в этом грешен: необыкновенно люблю Лермонтова.

9

И стеклянным столбом плеснул снаряд,
И второй, и третий, и два подряд.
Зеленый огонь, короткий гром.
Это мы стреляем, и мы попадем.
Бинокль не выскользнет из руки,
Отрывисто лязгают замки,
И снова огонь, толчок и гром,
И осколки визжат кругом...

С. Колбасьев. Поэма «Открытое море»

Ничто не пропадает бесследно, и ничто не рождается на пустом месте, хотя мы далеко не всегда отдаем себе в этом отчет.

В моей последней повести «Третий лишний» есть такой эпизод: сынишка старпома залез на дымовую трубу лайнера и устроился там, на страшной высоте, в нашей святой эмблеме — серпе и молоте. И никак его оттуда было не выманить. И тогда отца осенило. Старпом сказал: покажите пацану яблоко — он сам слезет! И точно — сразу слез.

Есть у Колбасьева мичман Лука Пустошный: тот самый, знаменитый, который бегал голый по Сингапуру и который выбрил сучку-фокстерьера Дуньку на миноносце «Громобой». И вот этот Лука, удрученный печальным исходом русско-японской войны 1905 года, залез на «баобаб» — большущее дерево во Владивостоке, под которым располагался летний ресторан, — и начал изображать макаку. И никак этот мичманюга слезать не хотел, пока дружки не показали ему рюмку коньяку.

Видите — чистое литературное воровство. И хотя, например, мой Петя Ниточкин имеет вполне реальных жиз-

ненных прототипов, но яснее ясного, что в литературное бытие вошел он не без помощи Луки Пустошного.

10

Человеческое изящество... Этакое сложное и тончайшее качество, когда есть аристократичность повадки, но без всякого высокомерия и есть полнейшая демократичность без тени панибратства. Человеческое обаяние... Этакое сложное качество, которое вовсе не зависит от количества чего бы то ни было, то есть вываливается из диалектики; которое редко у классиков: можно назвать Достоевского или Толстого «обаятельными» людьми? Или Лермонтова? Или даже Чехова? Среди гениев знаю одно исключение — Александр Сергеевич Пушкин...

Нынешний, как правило, страдающий одиночеством, читатель очень хочет, чтобы писатель его приручил, и просит об этом на манер Лиса у Маленького Принца, но просит только у такого автора, которого самого уже приручила роза. И выходит, что роза уже приручила таких разных мужчин, как Нахимов и Исаков или Экзюпери и Колбасьев. Интересно, что помянутые мужчины чрезвычайно болезненно относились к редакторским правкам и терпеть не могли болтать по принуждению, что подтверждает один мой знакомый тележурналист: «С людьми, привыкшими командовать, очень трудно делать самое обычное интервью...»

С Шукшиным, говорят, тоже было трудно.

Вот пример «угрюмого изящества» и «угрюмого обаяния». Он прошел морскую службу, начав ее в довольно мрачном месте — Балтийском флотском экипаже на реке Мойке в Ленинграде рядовым матросом; и море наложило на него свою руку, хотя об этом факте начисто забывают наши континентальные критики.

А заветной книгой Шукшина на флоте был тот самый «Мартин Иден», за чтение которого так сурово судили героев Колбасьева, — все течет, все изменяется: диалектика!

О
ВИКТОРЕ
ШКЛОВСКОМ

По причине вечных душевных метаний меня так и тянет, так и тянет на авторитеты, хочется усилить воздействие на читательские мозги знаменитыми именами, прикрыть спорность иных положений ссылкой на официальные печатные органы, указать даже дату и тираж источника... Но ведь тогда читать будет скучно!

Когда я поделился этим с Виктором Борисовичем Шкловским, он посмотрел на меня сердито.

— Знаете, — сказал он, — в книгу о художнике Федотове я засадил большой кусок пейзажа из Гоголя. Там, возле театра, в Петербурге... Тридцать лет прошло. И никто до сих пор не заметил. Воровать уметь надо. Если для дела, то это и не воровство, а просто дележка.

Ну что ж, дорогой Учитель! Теперь держитесь — я попытаюсь украсть кусочек из вас!

Не станете же вы сами кричать на весь свет о том, какой вы симпатичный, красивый, добрый, какое вы замечательное облако в штанах, какой у вас замечательный характер и отвратительный почерк.

Восемнадцать лет назад получил из Москвы письмо на каком-то древнекхмерском языке. Почта потрудилась, чтобы письмо дошло, ибо на конверте по-русски были только арабские цифры — номер телефона нашей коммунальной квартиры.

Приблизительно через месяц я расшифровал текст. После чего отправился в гастроном и купил четвертинку перцовки.

«Прочитал книгу «Луна днем». Вероятно, Вы знаете, какая это хорошая книга. «Повесть о радисте Камушкине», «Заиндевелые провода», «Две женщины» очень хороши. Пишу, пока, после радости, не зачерствела моя душа. «Две осени» и «На весеннем льду» мне не поверились. Пускай Ваш талант принесет Вам радость. Виктор Шкловский.

21 октября 1963 года.

Я печален. Ленинград у Вас замечательный. Новую Голландию, любимую мною, увидел снова. Прогулки,

судьбы, сны — все верное. В. Ш. Телефон на конверте написал потому, что не поверил в название канала».

Я жил на канале Круштейна. Круштейну не везет. Во-первых, его здесь убили. Во-вторых, вечно его фамилию путают. В лучшем случае переименовав на Крузенштерна.

Пьяный не от перцовки, а от счастья, я написал ответ. Возможно, в стихах.

Через три года судьба отправила Виктора Борисовича, его жену Серафиму Густавовну и меня в Чехословакию.

Встретились в Шереметьеве, прошли контроль, услышали, что вылет задерживается, и сели в кафе завтракать. Я был абсолютно уверен, что меня знают, помнят, высоко ценят. И вел себя соответственно: в шесть утра предложил спутникам по рюмке коньяку. Здесь Шкловский заинтересовался тем, кто я, собственно, такой. И к леденящему ужасу выяснилось, что мне не повезло крупнее, нежели Круштейну. Фамилию мою он слышал в первый раз, никаких опусов не читал и никаких писем мне не писал. Я лепетал про Новую Голландию, луну днем, телефон на конверте... — все впустую.

— Сима, — сказал Шкловский. — Выпей с ним коньяку. Он расстроился.

И Серафима Густавовна послушно выпила со мной в шесть утра рюмку.

В Праге Шкловского ждали кинокамеры и три дубля: его заставили трижды сойти по трапу самолета. Естественно, для этого ему пришлось дважды туда-обратно забираться. Все это время он держал меня за локоть железной рукой. Затем ему на шею бросилась известная деятельница, пронырнув сквозь оцепление. Она его очень крепко целовала, но выяснилось, что Шкловский про эту даму никогда не слышал и, кто она такая, знать не знает.

Вечером в номере гостиницы мы смотрели последние известия по телевизору.

Внимательно наблюдав себя на экране, Виктор Борисович с некоторым недоумением сообщил нам, что он выглядит симпатично, но сейчас хочет спать, а мы можем отправляться в бар.

Утром я должен был один уезжать в Братиславу. И понял, что меня не так страшит сама эта одинокая поездка, как то, что я расстанусь со Шкловскими и что мне без них не жить, а в их глазах я — лгун.

В Братиславе узнал, что там в 1944 году подпольно

вышла на словацком языке книга Виктора Борисовича «Теория прозы»...

С каждой минутой хотелось скорее вернуться домой, найти головокружительно-хвалебное письмо и оправдаться. Как всегда в подобных случаях, бутерброд рухнул маслом вниз. Письмо куда-то запропастилось, ибо я еще не думал об архивах.

Потом, спустя многие годы, оно нашлось, но мораль здесь такова: мгновенная отзывчивость старого большого писателя к начинающему еще не означает, что начинающий пишет так, чтобы запомниться всерьез. И потому не следует обольщаться. И хотя в дальнейшем придется говорить о необычайно добром отношении ко мне Шкловского, это не значит, что я обольщаюсь.

Преемственность поколений — великая штука.

Сейчас Виктору Борисовичу 88.

Мне 52.

Иногда он называет меня мальчиком.

Мне это очень приятно, хотя и немного смешно.

Когда я закончу эту рукопись, то сяду в поезд и поеду в Москву, к Шкловским, чтобы показать ее и испросить разрешение на опубликование.

Вот это будет уже не смешно, а страшновато.

Однако я так люблю этих людей, что кривая должна выезти.

И потом Виктор Борисович не может не понять, что каждая его написанная строчка очень интересна сегодня. И особенно для молодежи. Не могут не быть интересны и его высказывания, хотя вы сами увидите, какая получится большая разница между его собственными строчками в письмах и моими, когда я пытался записывать за ним.

Невыгодное сравнение. И потому не будем ничего бояться.

Тем более в семействе, где Виктор Борисович рос, баталии, некоторым образом, приветствовались:

«Самовар обычно швыряла мать. А начинал отец с посуды. Затем старший брат сдергивал портьеры. Я проскакивал сквозь двери в соседнюю комнату или на лестницу. Я проскакивал сквозь них буквально, — то есть не открывая, вынося их плечом или грудью вместе с филенками. Или без. Затем мы пили чай из самовара, который мать пыталась выправить.

И все становилось хорошо и бесследно.

Два-три раза я не вышиб двери. И эти два-три раза

остались навсегда большими рубцами, душевными шрамами».

С этого семейного воспоминания я начал иногда за В. Б. записывать.

Май 72, Ялта.

«В Болдине Пушкин гнал прозу и халтурил, чтобы набрать на свадьбу... получилось — на века.

Старик Гомер есть хотел, приходил в селенье: ему за обед петь надо было... и намурлыкал «Илиаду»...

Моя мать топила котят только в теплой воде.

Есть человекообразные люди, есть литературоподобные писатели; и тех и других надо топить в теплой воде.

Но дров не хватит».

Я дал ему прочитать эту запись, указав: «Виктор Шкловский, в разговоре с самим собой на веранде в Ялте». Возле своего имени он приписал: «как будто». Зачеркнул. Написал строже: «Это сборная селянка». Зачеркнул. Написал: «Вероятно, это я, но это и „сборная селянка“».

Серафима Густавовна сказала:

— Это не селянка и не поселянка, а просто чушь. Не позорьте Витю. Он умнее.

С тех пор я им еще ничего не показывал.

Несколько раз я, начинающий автор, встречал в коридорах издательства грустного, молчаливого, понурого, незаметного человека — Михаила Зощенко. Таким он был незадолго до смерти.

В сборнике «Статьи и материалы» Зощенко написал:

«Мне трудно читать книги большинства современных писателей. Их язык для меня — почти карамзиновский. Их фразы — карамзиновские периоды.

Может быть, какому-нибудь современнику Пушкина так же трудно было читать Карамзина, как сейчас мне читать современного писателя старой литературной школы.

Может быть, единственный человек в русской литературе, который понял это, — Виктор Шкловский.

Он первый порвал старую форму литературного языка: Он укоротил фразу. Он «ввел воздух» в свои статьи. Стало удобно и легко читать.

Я сделал то же самое.

Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступ-

ная бедным. Может быть, поэтому у меня много читателей».

Шкловский на это заметил, что:

1. Это лестное для него признание.
2. Зошенко работал одно время конторщиком на острове Новая Голландия, так нами любимом.
3. У каждого писателя короткость и сжатость фразы особые.

Например, в своих метафорах Юрий Олеша не затемняет сравнением предмета, а дает два предмета: предмет описываемый и тот, который приведен к этому первому видению как бы на праздник, в гости.

У него было воспаление лицевого нерва, раздуло правую сторону физиономии. Я:

— Здорово больно?

— Нет. Но я люблю симметрию.

Серафима Густавовна готовит для доктора деньги-гонорар и конверт для денег. Конверт шикарный, из какого-то заграничного, с монограммой.

— Боже, как мне жалко конверта! Ничего не жалко для Вити, но это!.. Очень-очень жалко! Витя, ты слышишь?

— Нет.

Много, упорно, длительно дрался за одного кинорежиссера, за которым водились какие-то странные дела. Объясняет мне:

— У него было тяжелое детство. Родился в семье богатого ювелира. И в нэповские времена папа заставлял его глотать бриллианты. При каждом обыске глотал.

Кажется, они должны были делать сценарий по Андерсену.

Ольга Густавовна Суок-Олеша вспоминала самую для нее обидную шутку Олеши.

Она: «Юра, мне пришла сейчас в голову одна мысль...»

Он: «Ну, и как ей там в этом пустом и темном помещении?»

«По способу написания письма Вы видите, что книга прочитана внимательно. Обложка с трезубцем, соединяющим мифы и рифы, несколько замысловата. Книга же

пронзает не буквы, а сердце. Книга полна печалью морского блуждания, когда товарищи и случаи штрихуют мир человека.

Характеры людей и автора разноформатны, а не сближены, и это очень хорошо. Коробка корабля и затаенная, подавленная эротика внятны. Народы взяты с краю, так, как их видит матрос. Море дано влюбленно, а каждая любовь — трагедия со многими актами, довольно привлекательными, и многоверстными антрактами, когда надо беречь коробку, терпеть ветер, тоску и непонимание.

Люди разговаривают друг с другом через отверстия портов. Мы все (и сухопутные) так живем. Мы говорим от себя, а нас воспринимают, как будто наши слова стираются.

История кораблекрушения и все рифы сделаны вами заново. Тут исписался карандаш... Очень хороша Сардиния, Маврикий и Англия, пахнущая с краю мочой. Какая трудная жизнь у нас. Я уже хожу. Рана, натертая гипсом, прошла. Кости молоды, но дороги наши старые, а почта жизни сурова.

Только сейчас ко мне приходил внук, которого я люблю как отец. Дочь берет меня с опасением, как ручную гранату. Наше спасение только в нас самих, в ветре, который нас несет, сохраняя принудительную молодость. Она потом тяжела, как доспехи. Собачки, кошки и маленькие медведи, а также женщины на корабле у вас поняты точно и хорошо. Где берег нашей страны, где порты, где счастье.

Пить, Вика, надо, соразмерив голод, лед, походы, казармы... Отнесите к себе так, как люди к книгам. Пожалейте человечество. 25 декабря 1972 г.»

Сон-повтор, кошмар-рефрен.

Кони Александрийского театра скачут на него, мальчишку, под арку портика этого театра. Кони мощные, могучие, тяжкие, занимают все пространство портика — деваться от бронзово-чугунных копыт некуда. И он с головой закрывается детским одеялом...

Я спросил, не может ли тут быть ассоциации с Медным всадником и Евгением. Виктор Борисович сказал, что сон преследует с такого раннего возраста, когда он еще не мог читать поэму Пушкина и видеть иллюстрации Бенуа.

В прозе Виктора Шкловского прослеживается мотив «коней с бронзовыми грудями».

Жили в Ялте в Доме творчества. Он диктовал Серафиме Густавовне что-то о Софье Андреевне. Весна. Все цветет. Работать Серафиме Густавовне не хочется. И еще ей не нравится, что Виктор Борисович Софью шпынует. Она такому положению вещей всячески противится и Софью Андреевну защищает.

Он впадает в тихий и кроткий ужас:

— Сима, сядь, в таком случае, и напиши все сама!

Перерыв. Серафима уходит прогуляться.

В. Б. совершает самостоятельное путешествие в душ, хотя это ему строго запрещено. И там очередной раз хлопается — огромный череп, полный мыслью, перевешивает навзничь. Поднялся сам и мочил разбитую голову под краном, пока не пришел я. Вызвали «неотложку», поехали в травмпункт. Там его пропустили без очереди. И без очереди вкатили укол от столбняка, хотя я и умолял этого не делать. На пробоину в затылке наложили четыре скобки. Виктор Борисович молчал.

Когда ехали назад, угрюмо и испуганно сказал:

— Сима примет все это как личное оскорбление.

«Замечали: идет настоящая работа — времени нету? Пролетает. Если пролетает незамеченное время — работа настоящая».

«Даже вода устает течь. Киты устают давать ворвань и перестают рожать. Устают стальные корабли. Они прежде всех.

Капитаны, которые шаркают вокруг земного шара — как платяные щетки,— устают.

Устают и печень от алкоголя.

Пора-пора, покоя сердце просит.

У нас тут помер один украинский писатель. Приехал с женой. Жена его ждала к обеду. Он, кстати, вызвал дочь из Киева. Умер перед обедом. Не успев прославиться. Живет сейчас и другой писатель, знаменитый. Пьет. Падает на немягкие каменные лестницы. Опять пьет. Сейчас увезли в больницу. Печень.

У Вас, Вика-Викочка, есть талант. Есть книги. Океан есть. Вы умеете нравиться. Какого полосатого черта Вы накликаете на себя? У смерти узкое горло. Ее не тошнит, она не отхаркивает.

Поставьте перед собой трудную задачу. Написать невероятно хорошую книгу. Чтобы все русалки продали хвосты и легли бы к Вам на постель. Или пошли читать книгу о своей родине.

Мальчик (43 лет), не торопитесь на тот свет. Оживленные от инфаркта люди говорят, что там нет ни авансов, ни пивных, ни самого бога, которому пора сделать строгий выговор.

У меня хорошие сны. Во сне строю планы. Спорю. Описываю. Перекраиваю строчки и жизнь.

Кстати.

В шестикрылой Серафиме Вы ничего не понимаете. У нее есть запасы летной мощности, и я ее за это очень люблю.

Любите людей, мальчик. Они умеют летать. Они бескорыстны, хотя и хлопотливы».

«Вы стали мифом, который заслонен от нас рифами.

Мы не можем организовать повсеместный розыск.

После того как мы с Вами расстались на вокзале, мы сразу заснули от огорчения потому, что мы знали, что Вы человек пиратского образа жизни и топите оставленные Вами корабли.

Под Мелитополем Сима меня разбудила (это — я) ¹, и я увидел сугробы. Под Симферополем было уже распоряжение не пускать машины в Ялту. Не знали только — солить их или мариновать.

Но Сима схватила меня за шиворот, и я оказался в такси. Приехали в Ялту. Снег в горах. Потом снег потаял, потом он опять выпал. Горы заросли туманами, как лесами. Я (Витя) главным образом лежу и сплю, Сима (я) доказывает мне, что надо гулять.

Своих людей здесь мало. Знакомые кошки хромают. Заяц ведет распутный образ жизни. Мухтар вырыл себе берлогу и спит под кипарисом.

Так как Вы миф и риф и начальник спасательных станций, то мы просим Вас созвать спасательную экспедицию.

Мы находимся на Южном берегу Крыма и бросаем пустые бутылки в море, пока без записок. В доме тепло, но скучно. Берите путевки и плывите к нам. Сообщите, когда придете, мы разложим сигнальные костры.

¹ Письмо писала Серафима Густавовна под диктовку Шкловского.

Диктор Симочки Шкловский (вписано рукой Шкловского — В. К.).

Дальше и пишет, и диктует Сима.

Хожу по набережной, читаю мерзкие детективы, и даже не хочется виски, которые стоят в шкафу.

Солнца почти нет. А хочется ужасно. Миндаль цветет изо всех сил.

Сима. 14. 03. 73».

«Ну хоть бы одно слово, дорогой капитан!

Мы тут сидим, стучим зубами, а Вы прохлаждаетесь в Ленинграде.

И я как последняя собака (с вылезшей шерстью) должна в одиночестве пить свое виски.

Перед нами небольшая лужица. Говорят, называется Черное море. Серое, неуютное, холодное. А в горах снег. Бегают собаки, кошки. Иногда попадаются писатели.

Витя (мой) хандрит. У него кружилась голова. Сейчас стала на место. А я бегаю на переговорный пункт, звоню Оле по телефону, зазываю к нам.

Завтра переезжаем в нашу 45-ю комнату и можем сдавать койки.

Хотя мы вас любим, но писать больше не будем. Не хотите нас знать — не надо. Мифы и рифы с вами.

Смотрим чудовищные картины и читаем чудовищные детективы.

А может быть, приедете?

19.III.73. Сима».

Я не отвечал и не ехал, так как был в командировке.

«„ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ“ И ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ

Выражение «гамбургский счет» появилось у меня так.

Союз писателей в старом своем составе, как одна из писательских организаций, находился в Доме Герцена по Тверскому бульвару. Было лето. На первый этаж прямо в сад выходил большой тент: под тентом был ресторан, и весь первый этаж тоже был рестораном.

Поваром ресторана был человек, фамилию которого я забыл; знаю, что по прежней своей профессии он являлся цирковым борцом.

К нему приходили большие, уже немолодые люди, они садились тяжело на стулья и, как помнится мне, иногда нарочно их ломали.

Шеф-повар для своих друзей приготавливал винегрет; порции подавались в больших, специально купленных умывальных тазах. После такой закуски люди ели обед.

Раз пришел человек, менее других отяжелевший, но всех крупнее. Вокруг него сразу образовалась свита, расположившаяся по рангам: это был Иван Поддубный. Пришел он с борьбы: боролись в цирке Шапито. Было тогда Поддубному 70 лет. Его попросили выступить бороться.

Рассказал он об этом спокойно:

« — Бороться в 70 лет, — говорил Поддубный, — нельзя, но показать, как борются, можно. Да и знали все, что меня по моему рангу положить нельзя. Нехорошо человека в 70 лет вдруг взять да и положить на лопатки».

(Я все это пересказываю через 40 лет, так что вы к кавычкам не относитесь как к цитированию документов, находящихся у меня на столе. Продолжаю рассказывать.)

« — Показываю я пережат и вдруг чувствую, что мой молодой напарник хочет меня прижать, вместо того чтобы дать мне показать классический мост».

Дальше я рассказываю точно:

« — Бороться в 70 лет нельзя, но две минуты или одну минуту я могу быть сильнее другого борца на сколько угодно. Но я никогда не толкался. Если бы мы толкались, живых бы не было. Тут я его толкнул; его унесли на доске».

Тут шеф-повар сказал спокойно:

— Пускай помнит гамбургский счет!

Я спросил, что такое гамбургский счет, и мне объяснили, что это счет без условностей, без наигрыша. Его в старину устанавливали в Гамбурге на закрытых состязаниях — без публики.

Я, издавая книгу, написал о гамбургском счете. Мне посоветовали вынести это название на обложку. Было это в 1924 г.

Через 25 лет Константин Симонов во время борьбы с космополитизмом напомнил этот мой рассказ и на много лет прижал меня на лопатки.

Как мне говорил Александр Фадеев, меня в дискуссии «не должны были упоминать». Но старая статья, попавшая на заголовок книги, была задиристой; я в качестве людей, не выдерживающих гамбургского счета, упомянул Вересаева, Серафимовича и сказал про Горького, что он часто бывает не в форме. Она была выгодна для упоминания в полемике.

Я сейчас не собираюсь толкаться и скажу, что моя статья «Гамбургский счет» была неправильная. Но речь Симонова напечатала «Правда» в 1949 г. Через год в одном из очерков Овечкина, в разговоре колхозников, я прочитал: «А вот мы сейчас ему устроим гамбургский счет». Это говорилось, насколько я помню, про соседа, который занимался показухой.

Запомнился термин и его смысл.

В спорте существует олимпийский счет, который, благодаря значению состязания, является истинным счетом, потому что у него есть показатели, которые можно проверить.

В искусстве правила счета иногда нарушают, и человек, объявленный чемпионом, вдруг появляется на лотке уцененных книг. Так что, значит, какой-то счет без показухи нужен.

Что же касается выражения «большой счет», то я не помню, чтобы я его вводил. Помню, что раз Павленко выступал, я Петру Андреевичу говорю перед выступлением: — А ты будешь говорить по большому счету?

Он меня переспросил:

— А что это значит?

Очевидно, термин еще был не общеупотребителен, но кто его пустил — я или кто-нибудь другой — не знаю.

Вот выражение «это факт вашей биографии» — это я пустил. Кажется, в споре с Полонским. Выражение это означало тогда: ваше решение и ваше мнение имеет значение только для вас самого — вы не авторитетны.

Прошу прощения, что для короткой справки я ответил так распространено. Будем считать, что это факт моей биографии».

Это напечатано в «Вопросах русской речи» в 1965 году.

7 сентября 1973 года Виктор Борисович надписал сверху: «Участникам сегодняшних соревнований!»

Потом сказал, что взял у Симонова в долг 500 рублей и не отдает, и не отдаст, чтобы тому легче жить было.

«Для начала перепробовал три карандаша. Они все не писали, я сердился.

Но старый уже, короткий карандаш с графитом сказал: «Ладно, пиши».

А мне не пишется. Мне делается все трудно. Трудно ходится.

Вчера был вечер Андрея Вознесенского.

Перед этим написал я статью в газету «Советская культура» о пушкинском спектакле в театре на Таганке. Пьеса о гибели Пушкина. Мне она показалась сажей, которую бросили в стакан с водой и долго мешали ложечкой.

Любимов, конечно, обиделся.

Встретились перед вечером. Он меня упрекал. Вышел я на эстраду. Перед этим большой хор пел что-то невнятно-церковное. Стояли они плотно. Их вой был не церковен и не старорусский... А я люблю Андрея.

Вышел я на сцену и говорил двадцать минут, говорил не про Любимова и не против него.

Говорил молодо. Без микрофона. Говорил крупно.

Надо сердиться, Вика. Надо сердиться, сынок мой Вика. Мы плывем своей дорогой, через прибрежную полынью вдоль берега и все же вперед.

Знакомые имена обратятся в имена морей и мысов.

Надо быть сильным, как силен капитан, которому некому передать управление. Писать всегда трудно. Очень трудно. Хотел написать несколько страниц о встречах Горького с Толстым. Написал уже три листа. Или меньше. Или больше. Вдохновение иногда подводило, как пересохший фломастер. Иногда оно мышкой взбегало по ножке стола и бегало по страницам.

Все хорошо, сынок. Плохо то, что мне не 60 и не 70 и не 80. А пошло мне на девятый десяток. Сапоги все не по ногам. Телефонная книжка редет. Мне скучно, сынок. А голова не хочет сдаваться, и голос отскакивает от потолка.

Надо учиться жить без счастья, но с радостью. Надо верить себе. Надо быть терпеливым с близкими и далекими. Мы писатели. Мы опираемся на многие дальние плечи. Должно выйти. И выйдет, друг. Вывезут гены и старуха муза. Хотя я разучился погибать дамам салазки и держать их хотя бы в относительном повиновении. Работа всегда тяжела, и чем выше катишь камень, тем он тяжелее.

Мы и согласны и не согласны с временем. Мы утомлены смертями, блокадами, туманами и старостью (это я). Вдохновение сбило шею хомутом. Надо вести наш корабль из моря в море, из климата в климат. Учиться тому, что недостижимо.

Не отдавай своего сердца никому.

Оно тяжело в чужой сумочке даже хорошего человека.

У нас холодно. На даче топим камин. Из знакомых забегают только собаки.

Пиши утром. Пиши вечером. Пиши и радуйся. Земля, она вертится. Звезд я не видел давно. Вероятно, слишком много сплю. Удача в руке. Удача в настойчивости. Держись, штурман, самого дальнего плавания. Карандаш все записал. Виктор Шкловский. 5 июля 1974 года».

После просмотра на самого себя в передаче по телевидению об Александре Грине: «Я был старым тюленем, который смотрит из бассейна в зоопарке на окружающих людей снисходительно, потому что они живут не в воде».

3 ноября 1975 года они вернулись из Италии в лавровых венках, но Серафима Густавовна грустна, говорит: — У меня внутри лягушки.

Рассказывают о главном впечатлении.

Как старая итальянка, узнав, что они из России, принесла фотографию сына, погибшего под Сталинградом. И все спрашивала: «Может, вы его встречали, может, видели?» И потом каждое утро подкладывала им в комнату два свежих яйца.

— Она это сыну приносила,— сказал Виктор Борисович.

Я наткнулся в «Дневниках» Всеволода Вишневского на запись от 4 декабря 1943 года (Вишневскому зарезали пьесу «У стен Ленинграда»): «Дома читаю «Марко Поло». Забыть бы все горечи. Ну, все пройдет... Я это знаю».

Показываю запись Виктору Борисовичу, говорю, что вот, мол, бравый военмор в блокадную ночь его сочинением утешался.

Выясняется, что Шкловский начисто забыл о таком факте своей биографии, как книга-биография Марко Поло.

— И хорошо, что забыл. Плохая книга,— заключает он.

На книге «Эйзенштейн» (за которую получил Государственную премию СССР):

«Виктору Конецкому, не для розыска предков, а для того, чтобы он чаще вспоминал Виктора Шкловского. А у меня вокруг все срублено. Не очень надо так долго жить».

Но ты живи, а то СССР забудет о том, что она шибко и громко морская страна.

Шкловский 83 года 9 месяцев

От рождества Христова 1976 лета».

Надпись сделана в Ленинграде, у меня дома. Кажется, в тот приезд их, когда Виктор Борисович снимался в автобиографическом телефильме и в гостинице «Ленинград», указывая в окно на «Аврору», вспоминал дни Октября.

Суть надписи в том, что мать Эйзенштейна была урожденная Конецкая, о чем я узнал только из книги Шкловского. Еще узнал, что предок наш прибыл из Тихвина мелким купчишкой, а потом они здорово разбогатели. Но все пошло с этого Ивана Ивановича Конецкого из Тихвина.

О своем впечатлении от фильма «Броненосец „Потемкин“» я сразу после прочтения книги «Эйзенштейн» написал Виктору Борисовичу письмо, но не отправил. Оно сохранилось: «Гипноз времени «Потемкина» и авторского гения не проняли меня. «Броненосец» и ныне и присно представляется в некотором роде пародией на историческую трагедию, несмотря на леденящие ноги карателей. Мне страшно, когда катится историческая детская колясочка по лестнице, но внутри — обычная скука. Быть может, в фильме нет людей, которых успеваешь за экранное время полюбить? И потому их массовая гибель не обижает моего сердца. Эйзенштейн не умел делать людей, как мне кажется, и на бумаге, в замечательных рисунках, у него с жизнью, ее теплом дело не ладится... В общем, толпа любимым героем быть не может. Тут человек нужен. Хотя бы даже такой симпатичный дядя, как Иван Грозный.

Вы пытаетесь отдать приказ Будущему своей остротой и парадоксальностью, чтобы Будущее обязательно понимало Прошлого по-Вашему. Но Будущее плевать хотело на любые приказы — во что бы они ни были одеты. Оно возьмет от Вас и вашего героя бег Вашей мысли, а не ее абсолютизм... Оно будет наслаждаться игрой ума, а не близостью Ваших истин к истине истин. Вы были, есть и будете поэтом и отчаянным романтиком при полной обойме формалистических патронов. А — «Все-таки она вертится!» — за Вами, хотя Вы и не произнесете таких слов даже шепотом.

Читать Вас обязательно надо с пером в руке и бумагой: очень много появляется в башке разного. Но у меня вечно нечем писать: как ушли в прошлое «вечные» ручки, так и я подался за ними... Чиркать на полях ногтем или загибать углы — плохой тон. И потому бег Вашей мысли — порывистый и зигзагообразный, как у солдат под огнем, — принося мне наслаждение и возбуждив подпрыгивание моих мозгов, уносит возникшие гениальные мысли за видимый горизонт или в струи зефира. Туда им и дорога, ибо мимолетности чаще всего полны кокетства. И все-таки мне чудится, что как без кокетства нет женщины, так нет без него и сегодняшней писанины. А в том, что я гласно признаюсь в таком ерничестве, — Ваша заслуга.

Ольга Густавовна Суок, увидев мою фотографию, пририсовала усы. И написала: «Я Вам пририсовала усы. И сразу Ваше лицо сделалось очень жестокое. Поэтому я в Вас не влюбилась и не влюблюсь!»

«Рукописи умнее авторов. Может быть, рукопись Шекспира даже не захотела бы разговаривать с автором». (Хозяином?)

18 февраля 1976. Позвонил им, прочитав в «Лит. Грузии» «Встречи с Юрием Тыняновым» Гацерелия. Там определение Виктора Шкловского как гения, который и со Львом Николаевичем Толстым будет говорить иронично. Оказалось, автор воспоминаний их Шкловскому прислал. И сразу вопрос мне: «Что написали?.. Я сегодня продиктовал пять страниц», — единственный писатель ныне, который начинает и заканчивает разговор таким вопросом.

Часто повторяет, что Суворов строго велел реквизировать у населения лошадей только вместе с мужиком-хозяином, ибо хозяин будет лошадь кормить, а солдат ее быстро сгубит.

Спрашиваю в Москве по телефону:

— У вас дождь?

— Нет. Он уже ушел мочиться в другое место.

«Когда книга долго не получается — значит, неправильно все».

Позвонил мне в Ленинград 20 апреля 1975 года, когда узнал, что я еще не уплыл в моря; сразу стал говорить о любви. Я начал жаловаться на лживость женщин. Он после долгой паузы: «Мы все врем, мой мальчик. Они — может быть — немного больше. И запомни: они — зеленые, мы — синие».

Пришел мемуарист. Виктор Борисович похвалил его книгу воспоминаний. Мемуарист глухой и дико разговаривался, возбудившись похвалой. Наконец, ушел. Шкловский сразу стащил штаны и полез в кровать. Жалобно сказал: «Какой ужас: я его откупорил!»

23 марта 1976. Ночью у них в Москве.

Вечером у всех хорошее, легкое настроение, хотя у Серафимы Густавовны побаливает нога. Дают мне прочитать «Вступление» к телесценарию «Дон Кихота».

Потрясающая штука! (Не знаю, осталось оно или выкинули.)

Он сидит и листает «Микеланджело» — старинный великолепный фолиант: недавно привезли из второй поездки в Италию, где Виктор Шкловский стал почетным гражданином города Чертальдо.

Я говорю, что «Вступление» необходимо сделать эпизодом или послесловием, ибо тут такой уровень, что продержаться на нем потом семь-восемь серий не смог бы и Микеланджело. А под финал это будет хорошим хуком по мозгам даже тем, кто читал «Дон Кихота» и считает, что понял его, что лучше и не надо.

Он орет на кухню Серафиме Густавовне: «А он не так глуп, как кажется, этот Конецкий!» И начинает доказывать мне, что даже Достоевский читал роман только в детском варианте. Убедительно доказывает.

Я звоню кому-то и в разговоре докладываю, что у Шкловских все отлично, хотя Серафима слегка хромает — вероятно, это В. Б. хватил ее по щиколотке двухпудовой гирей...

И вдруг происходит какой-то мрачно-зловещий шок: они замолчали и своим молчанием выразили мне свое

«фэ!». И у меня мелькнула мысль: а не было ли когда-нибудь такого случая, когда он запустил по супруге именно двухпудовой гирей и угодил ей именно в щиколотку?

«Я ЗНАЮ, ВИКА.

КАК! ТЫ! ОТНОСИШЬСЯ К ТРУДНОМУ ПОЧЕРКУ, И ПИШУ К ТЕБЕ БУКВАМИ ПЛАКАТА. В Переделкино пришла жара.

У меня приняли две картины про меня самого.

Я сам себе в них в общем нравлюсь. Во-первых, голос. Во-вторых, это сделано не про одного себя.

«Сам» — животное, боящееся простуды и испуганно-высокомерное.

Книга «Энергия заблуждения» идет туго. У Толстого этой энергии предшествовала «постройка подмостков». Потом (очень не скоро) «самоуверенность мастера». Он до «самоуверенности» не жалел себя.

Но я до января напишу книгу.

«Заблуждения» попыток кончаются.

Пути у тебя нет, а сила есть.

Сима болела сильно и разнообразно.

Теперь поправляется и сильно мне помогает. Но я плохо хожу и даже падаю иногда от небрежности и старости. Кончил, потратив два года труда, Дон Кихота.

В следующий раз сценарий пусть сам Сервантес пишет.

Сейчас я блуждаю в сценарии о Толстом, а результат его сомнителен.

Я не могу писать так крупно. Устал.

Приезжай, друг и брат. 26 июля 1977 года».

«Дело было в начале нашего века в Питере. Весной шел ладожский лед. Шли толстые и белые крупные льдины по Большой Неве мимо старого дворца Бирона и теперешнего дома Пушкина. Смотрел на них Павлов. Шел лед по Финскому заливу мимо обкуреного, обкусанного льдом Чумного форта. Начинались белые ночи. Заря была на небе набекрень. Форт шуршал. Женщина говорила по телефону со стариком. Она считала, что умрет через несколько часов. Перед ней лежал термометр. Читала она «Декамерон». Старик выжил ее из своей лаборатории. Она звонила ему по телефону, чтобы сказать:

— Я остаюсь при своем мнении (о психологии). Но я забыла вам сказать, что я вас люблю. Как-то не вышло. Потом, зачем вам было это знать. Узнайте теперь. Идет ладожский лед. Дымы стоят над Кронштадтом. Утро молодое, как только проросшая трава. У меня температура. Шестеро товарищей лежат мертвые. Я ходила за последним. Он гнал меня. Мы говорили о вас, о смерти, о любви.

Слушает Павлов.

Потом идет вся история.

Жена еще спит.

Он хочет ехать к женщине.

Она отрезана льдом и водой.

Она говорит как бы с того света.

Павлов говорит о Тургеневе, о молодости, которая прошла, и о себе, о любви к науке и весне. Он дает ей советы. Если бы не его дурной характер, она бы не ушла из лаборатории в Чумной форт...

...Не бесполезно только вдохновение. Надо охотиться на тюленей вплавь. Не верь слезам. Они ничего не значат».

Тут дело в том, что мы долго совместно придумывали рассказ.

Это было чудесно: придумывать вместе со Шкловским.

Дальше еще будет несколько заготовок к нему Виктора Борисовича.

Потом тяжело заболела Серафима Густавовна. Надолго уплыл куда-то я. Но рассказ был уже создан. Случайно встретив в аэропорту Олега Даля, я полностью его рассказал. Олег был в восторге. Потом долго приставал к Виктору Борисовичу и ко мне, чтобы мы его записали, но момент созревания был упущен, груша хлопнулась о землю. Кое-что из моментов рассказа и удивительных строк Шкловского я использовал в рассказе «Чертовщина».

Сидим в приемном покое, куда привезли Серафиму Густавовну с острыми болями. Ей предстоит операция.

Молчим. Ждем. Никто из врачей к нам не выходит, ничего не известно. Виктор Борисович волнуется. Лицо невозмутимое, но крутит палку в озябших руках. Перчатки в спешке забыли. Говорю, что сейчас сам пойду к врачам.

— Не надо. Слушай. В меня попали из винтовки.

Трехлинейка. В упор, сюда,— очень тихо, едва слышно говорит Виктор Борисович и тыкает меня рукоятью палки куда-то в бок.— Приволокли на перевязочный. Врач: «Фамилию, адрес родных!» Спрашиваю: «Зачем?»— «Пригодится!»— И сестре: «Уже икал?» Она: «Да». Потом у врача: «Попа привести?» Я говорю: «Нет». Через десять суток выписался. Другой раз ступню осколком размозжило. Слышу, резать хотят: «Там, где вонять начнет». Говорю: «Нет».— «Ну, помрешь от гангрены!» Не помер. Человек делает один раз так, как надо. Смело. И тогда может помирать счастливым.

Через неделю после операции Серафима удрала из больницы. Операцию похищения возглавлял Виктор Борисович. Правда, из такси он не вылез.

Очевидно, опять вспомнил времена, когда командовал бронемашинами.

Печатать на машинке Виктор Борисович за всю жизнь так и не научился.

Но был одним из первых автомобилистов на Руси.

«Это будет не женщина. Мужчина. Самый нелюбимый ученик Павлова. Он умирает на Чумном форту. Белая ночь. Павлов играет с умирающим в шахматы по телефону, смотрит в окно на Ботанический сад. Один из них не может слышать слова «лимон». Судороги делаются. Жена Павлова очень волнуется. Она привыкла к пунктуальности мужа, к его режиму. А он ночью играет в шахматы. Павлов ее прогоняет. Грубо. Перерыв в связи. Павлов один... Смотрит на ледоход».

«Дорогой друг, умирающий на форту не умрет. Спутали диагноз. Или смерть?»

«Помни. Павлов хромал. Попович. Это Базаров перед революцией. Поклонник Фрейда. У него висели дурные картины Клевера Старшего. Дурак и гений. Павлов, а не павловцы. Любил авто. И что за ним присылают. Особенно в дождь. Нравилось. Радио никогда не любил. Только часы проверял. Не знаю, милый, все это придумалось или знаю? Точно: любил городки. И перебегал из команды в команду. Называлось „казаковать“».

«Павлов завидует умирающему на форту. Все спрашивает температуру. Смотрел на ледоход, потом выпил мадеры, смотрел на себя в зеркало. Некоторое чувство опьянения. Действует у больного прививка или нет? Командует по телефону, как капитан с мостика. Понимал, что можно выработать условный рефлекс подлости».

«У него служитель. Бывший матрос. Служил ему рабски. В пятом году сидел за революцию. Матросы сидели легко. Тюрьма — корабль. Ржавчина на решетках. Надо оббивать. Красить. Как на корабле. Матросы в тюрьмах одинаково изводили и уголовников, и интеллигентов-революционеров. Павлов решает ехать к умирающему на форт. Матрос пригоняет катер. Ледоход. Им не пройти. И нет сертификата на катер. Павлов любил рассказ Куприна про студента, который застрелился, составляя бухгалтерский отчет своей хозяйке — содержательнице публичного дома».

«Умирающий себя изучает. Симптомы. Ощущения. Температура. Павлов ему мешает себя изучать. Раздражается. Но уважает и любит. Терпит. И не умер».

Слова — это наши неудовлетворенные желания. Я написал много и все плохо. Есть две хорошие фразы. Кажется, я написал их Эльзе. «Мне тяжело жить. И ты мне помогаешь в этом». «Женщины — полезная плесень. Как пенициллин».

«Умные ученые люди говорят, что Вселенная бесконечна, но не безгранична. Мы единственные — мы мозг Вселенной. Мы пишем, чтобы показать, как мучается мозг в бесконечности, которая не безгранична».

Он прочитал мой рассказ «Елпидифор Пескарев» о квазидураке:

— Круги, мой мальчик, по воде от дождя: все они пересекают друг друга — вот ваше состояние сейчас.

Я считал рассказ социально значимым и вспомнил

Шоу, который вообще ставил журналистику выше «прозы» за ее открытую публицистичность.

Виктор Борисович сказал, что если бы он мог хрипеть по десять часов подряд в Гайд-парке, то дело с его журналистикой было бы другим. А в нашей литературе ее нет и быть не должно. Потом спросил:

— Тебе пишут читатели? Много?.. А мне почему-то нет. Почему мне не пишут?.. Мне совсем не пишут! И никогда не писали...— И вдруг:— Брусиловские офицеры были храбрые и славные ребята, но хреновые политики.

«Выходит не то, что выводим. Выходит не то, что утверждаем». (Это речь идет о том, что получается в литературе при писании книги.— В. К.)

«Витя и Сима живут уже неделю в Переделкине. Тает снег. Одна собака все время ловит свой хвост... Еще пусто. Кончил сценарий Дон Кихота. Поймал ли я свой хвост — не знаю. До хвоста — ручаюсь — все вышло. И будет 8 или 9 частей, и хватит этого с избытком на чай и сахар, а я буду писать об «Энергии заблуждения». Это выйдет наверняка. Примета такая: если к концу работы каждая книга дает подтверждение — значит, хорошо. Хвост пойман.

Ловля жемчуга легче литературы, но жемчуг больше обесценен.

Я очень, очень устал, друг.

Жена моя первая, с которой я прожил около тридцати лет, умерла. Я был у нее перед смертью, она сказала: «никто не виноват». Но в нашей жизни мы живем между рождением и смертью, переезжая через мостики надежды и отчаяния. Только во время работы свободны и уверены. Сама же работа как будто выходит,— но, как я писал тридцать семь лет тому назад Борису Эйхенбауму: «...промыт груз, песчинки (редкие) золота обрелись, и мы перед русской литературой не виноваты». Я прочел это старое письмо в одной книге в примечаниях.

Больно промывается в жизни, больно, когда из жизни выдирается песок. Но конец (неизбежный) почти радостен.

Не болей женолюбием и телопрезрением. Жизнь твоя сильно холмистая. Снег оседает. Собаки кружатся, ловя хвост. 15 апреля 1979 года».

«Погодка у нас умеренная.

Меня известили из Британии, что я доктор Сассекского университета.

Спросили мерку для мантии.

Если я ее получу, то приеду в ней к вам на новоселье.

Новой книги еще не написал.

Мало, мало, совсем мало написал. Занимаюсь гимнастикой: машу руками, ногами и даже приседаю.

Весна запаздывает.

Она едет на улитках.

Сейчас накрапывает дождик.

Он, говорят, нужен садам.

Сады еще не цветут.

Виктор Шкловский.

Очень хотел бы поехать с вами вокруг света, чтобы скучать на океане.

Черное море тесно для скуки».

«Пишу. Диктую. Вероятно, поеду в Англию. Очень устал.

Книга (первая) собрания сочинений еще не вышла.

Что тебе написать о твоих делах.

Детдом, блокада, военная школа, полярные экспедиции. Но надо даже после этого жалеть себя и людей.

Женщина не белый медведь.

Они не могут разжевать жестяную банку со сгущенным молоком.

Остановись на разгоне.

Я устал писать. Устал от людей, от трудных и очень поздних успехов. Пишу письмо с трудом.

Тебе тоже даже не тридцать лет».

Когда вернулся из Англии после получения почетного доктора какого-то университета, оказалось, наибольшее впечатление произвело, что там есть для кошек противозачаточные таблетки и кошки их применяют. Наличие для кошачьего племени специальных входов и выходов в человеческие дома тоже было отмечено. Правда, рассказ о кошках был предварен все-таки надеванием почетной шапочки-кубанки и мантии-ризы:

— Теперь меня надо называть «Отец Виктор».

Я не согласился:

— Вас теперь надо называть Джек Потрошитель, потому что вы стали доктором...

Немного надулся.

— Рассердитесь, если закурю?

— Мне теперь все равно. Можешь положить меня на костер из окурков.

«Александр Бенуа?.. Он признавал Петрова-Водкина, чтобы пугать им Репина... И был высокий лицемер».

Больны оба — лежат. Кто-то уже приходил дежурить, но на третий день — пустота. Серафима Густавовна мрачно: «Кого же третьего?» Я: «Но ведь в Москве несколько миллионов человек!» С. Г.: «Нет. Никого нет. Ни родных, ни близких — все в отъезде...» Виктор Борисович прекращает невозмутимое чтение Платона или Плутарха: «Надо позвать в сиделки любого читателя: или Викиного, или моего. И они бы только радовались. Но мы никогда их не позовем... Знаете, что такое цукута? Белена. Очень тяжелая смерть — яд слабый. Надо выпить не меньше литра. И потом обязательно надо ходить, чтобы скорее дошло до сердца».

— Может, ко мне вернулась молодость?.. Построения распались, и ничего не получается... Наверное, так бывало у Кутузова при Бородине. Сон видел. Плохой, но интересный. Плышет пароход «Виктор Конецкий».

Я:

— Надеюсь, пароход не буксир какой-нибудь вшивый?

— Нет. Очень большой пароход. И красивый. (Явно врал.)

«В атаку я поднимал солдат два раза. Оба без мата. Только: „Айда, ребята!“»

«Бедные львы. Сперва их в цирке делают шелковыми. А потом учат для вида огрызаться».

«Философ Федоров?.. Он верил, что можно и должно воскресить всех прошлых покойников. Детей учил. Дал мальчику тему: куда расселить всех оживленных? Из этого мальчика вылупился Циолковский и придумал ракету. И на ней полетел Гагарин».

«Живем мы под Ригой в Дубултах. Это на дюне у самого Рижского залива.

Высокий дом — девятый этаж. Из окна виден и залив, и сильно запутавшаяся вокруг отмели река. Говорят, она длинная. Знаю, что она себе надоела и хочет куда-нибудь впасть. А дюны не пускают.

Живем мы с Симой здесь уже три недели. Ровно через неделю вернемся в Москву, а там после короткого мороза слякоть. Ничего нового не написал. Придумал вот что: «Дважды два четыре, — писал Достоевский, — но дважды два пять премилая штука». Это он написал, рыча. На самом деле в искусстве — дважды два — это что-нибудь.

Это многоцветный ответ — он как перо павлина: пигмент один, но под углом взгляда разный.

Искусство, мой арктический друг, многоцветно, оно основано не на взгляде, а на рассматривании. Вот почему вопросы и ответы этой, как гневно рычал Толстой, «литературы» бесконечны...

Сима болеет. Здесь климат разный.

Осенью он похож на ленинградский.

Сима кашляет. Громко и испуганно. У нее температура. Мы бодем. Это разнообразно, длинно и тяжело, как хвост павлина. Мне даже сказано, что я слишком часто думаю о старости. Но юбилеи отливают различными траурами. Мне снова 85. Это возраст замшелого и много раз загарпуненного кита. Желаю тебе: 1) Верить в себя. 2) Иногда трезвости. 3) Ровной волны. 4) Спокойных разлук и вдохновения. Очень желаю.

Уже семь. В городе очки. Солнце совсем окончательно село. Залив высморкался в тину низких волнишек и будет их сушить на луне. 9 ноября 1978 года».

«Озябший мальчик на большом корабле.

Ваша судьба — жить, а не пропадать.

Любить, а не обижать.

Писать, а не обижаться.

Бойтесь черновиков. Пьяных встреч. Пьяные друг друга не видят. Люди в бутылках одиноки и могут сообщить себя во множестве. Вы сделаны из хорошего металла и хорошо выдуты, но попали в блокадную стужу.

Написал как написалось.

У меня в Ленинграде, кроме тебя, людей нет.

Новая Голландия пуста.

Большой город на отмелях пустеет.

Даже тюлени уехали еще при... Они грелись где-то около Ростральных колонн.

Не надо всегда недовольно топорщиться.

Россия не может вечно притворяться сухопутной. Только не надо работать на износ. И не обрастать шкурой из битого стекла. Она не греет... Снимите с лица паутину. Плыдем не к смерти. Ее вообще нет. Мне скучно, друг. Я даже разучился писать, но капитан обязан не потонуть и не садиться на мель. Да будет путь». (Ноябрь 1978 г.— В. К.)

Я сказал, что все книги Виктора Шкловского — одна огромная книга.

Он сказал, что так у всех писателей — и больших и малых.

Я сказал, что его книга должна получить гран-при среди всех, представленных на конкурс для гадания по строчкам.

— Гадай лучше на кофейной гуще, мой мальчик.

«Шостакович?.. Помню Шостаковича в трудное время, в 1921 году, когда в городе был голод, знал его и позднее. Он был человеком необычайно трудолюбивым, необыкновенно храбрым. Как-то совсем молодым он работал тапером, играл на рояле в одном кинотеатре на Петроградской стороне, и случился пожар, который начался со стороны сцены. А он продолжал играть, когда уже загорелся хвост рояля».

Я сказал, что Виктору Борисовичу нужно написать об эхо — об эхо от предания, сказания, притчи, легенды, сказки.

— Уже написал. «Струна звенит в тумане...» А ты напиши, как в Японии вокруг островов в море выкидывают старые автомобили. Делают искусственные рифы. Они обрастают кораллами. И в кораллах поселяются рыбы. Это тоже об эхо.

— Виктор Борисович, вы любите красивых киноартисток?

— Найди книжонку о Мэри Пикфорд. Я о ней когда-то писал. В одна тысяча двадцать пятом. Называется «Бизоньи консервы»...

Самое удивительное, эта книжонка Виктора Борисовича сама попала мне в руки...

«Берегитесь трамвая — предупреждают фонари на московских бульварах.

Берегитесь кинематографа — хотим предупредить мы в начале книжки о самой очаровательной киноартистке. Женщины переполняют лестницы кинофабрик, льстят помрежам, льнут к киноленте, как мухи к липкой бумаге.

Большинство этих женщин — люди без судьбы.

Это — так называемая домашняя хозяйка.

На киноленте, кажется им, они найдут свою судьбу. Женщины мечтают в кино о роли красавицы, о крупных планах и хорошо освещенном лице.

Кино им дает — очередь перед дверью режиссера и разочарования...

Но есть одна очаровательная домашняя хозяйка.

Ее любит весь мир. Имя ее МЭРИ ПИКФОРД.

Секрет очарования Мэри в том, что она не ушла в кино от судьбы, а принесла ее на ленту.

Чаплин стал Чаплином тогда, когда выбрал в основу своего плана образ клерка.

Гарольд Ллойд — тогда, когда стал человеком в очках.

МЭРИ ПИКФОРД использовала для ленты отношение Америки к женщине и идеальный тип американской женщины...

Американец требует Мэри в ролях девочки и рассказы о миллионных гонорах.

Он хвастает ими, как хозяин медалью своей собаки».

«Сегодня звонила Лиля (Брик.— В. К.), спутал ее голос с Эльзой. Очень ее голос... Как давно. Лилия сказала, что во всех сценариях у меня любовь гимназическая... Столько лет. И я назвал Лилию Эльзой».

«Маяковский?.. Вел счет деньгам на бумаге, но относился к ним легко. Лиля стоила много. Осип — ничего не стоил. Маяковский покупал ей жемчуг. Она жемчуг любила».

В «Архиве Горького» есть запись о Маяковском, где упоминается Шкловский:

«Я не поражен смертью В. В. Маяковского. С первой встречи он вызвал у меня совершенно определенное впечатление человека надломленного, и тогда же я сказал кому-то, что этот парень скоро доломает себя, — он сам или кто-нибудь другой; вероятно, женщина. Видел я его у художницы Н. Любавиной весной 14-го года. Там читали стихи Клюев, Есенин, Шкловский, должен был читать и Владимир Владимирович. Длинный, неуклюжий, с лицом, обтянутым серой кожей, нахмурясь, облизываясь, гримасничая, обнажая больные зубы, он глухо, торопливо и невнятно произнес несколько строк, махнул рукой, круто повернулся, исчез в соседней комнате, притворив за собой дверь. Сказали, что он сконфузился. Хозяйка квартиры и Брик долго и безуспешно уговаривали его — читать. По рассказам Маяковский изображался человеком, который любит конфузить других, и было приятно, что рассказы оказались неверными.

Летом он приехал ко мне в Мустамяки. Очень скромный, милый человек с пристрастием к словесным фокусам. Через десять минут он уже декламировал:

Седеет к октябрю сова,
Седеют когти Брюсова».

Вторая половина апреля — май 1930 г.

Напомнил Виктору Борисовичу, что о его работе сравнительно недавно сказал Г. М. Козинцев. Размышляя об импровизации в искусстве, режиссер подчеркивает, что это — «введение к разговору о Шкловском. Наука понималась и (наука об искусстве тоже) как многолетний, глубоко продуманный, стройно выстроенный труд. Шкловский же был импровизатором. Он опровергал основы основ: фундаментальность, выстроенность, сосредоточенность. Афоризм был не его литературным стилем и даже не свойством личности, а способом работы... Его прием: выхватывать отдельные положения, детали и не

выстраивать их в систему, дополнив и развив другими подобными же, а только — через пространство — чем-то соединив их на ходу, казалось бы, случайно, неорганично.

Такая связь оказалась крепче, чем фундаментальные научные постройки... Виктор Борисович попросту опускал все то, что знали и без него. Он торопился. Тезисы к выступлениям он сделал самими выступлениями. Имеющие уши да слышат! Зато все, что полагалось умалчивать, он говорил».

«Трудно нам писать. Не знаем мы дороги, по которой надо было бы идти... Трудно писать письма о горе.

Был у меня старший брат Евгений. Большевик еще до войны. Он считался хорошим пианистом и превосходным хирургом. Служил в войну 14 года в артиллерии врачом. Встретился я с ним мельком вольноопределяющимся. Когда взяли наши Перемышль. Только Евгений догадался снять план города. Пригодился, когда мы Перемышль потеряли. Потом он был в Париже. В Москве. Убили его на Украине зеленые. Он вез поезд (надо было сказать «вел») с ранеными, затем отстреливался. Умер в Харькове. Другой брат был у меня филолог. Христианин-ортодокс, крестился на церкви. Вечером молился, встав на колени... Еще был брат — очень красивый и неудачник. На войне (14 года и дальше) стал офицером... Жена его была взорвана, когда немцы велели женщинам очищать поля от мин... Сестра моя умерла давно. Две дочки ее умерли в Ленинграде в разное время. Я жив по ошибке. Умерли мои друзья, с которыми я работал. Умерли писатели, которых я любил... Мне 85 лет. Вероятно, я успею написать еще одну книгу. Какая она будет?

Писать я начал вообще крупно, а полгода была... Стараюсь в теории восстановить имя. Радуюсь, когда случайно...

Друзей у меня, Вика, кроме тебя, нет.

Это не выдумаешь.

Ты видел больше меня и, может быть, еще увидишь пингвинов.

Жизнь идет. Мы заведены на много десятилетий. И проспать их нельзя.

Надо жить. Приходится, милый.

Я боюсь, за себя и для себя не смерти. Она кругом. Боюсь, передам в книге. Я об ней думаю даже сейчас, когда пишу тебе...

Писать старался разборчиво и даже правду.

Боюсь одиночества. Помню, как умер Тынянов. Он считался в литературе во всем виноватым. Мне пришлось самому брить его в гробу. Прошло года три, и его уже называли сладко-конфетными словами. Новостей у меня мало. У внука родилась девочка. Зовут ее Василиса Никитьевна. Дерево жизни накладывает слой на слой. Еще не видел правнучки. От внука идет пар».

Виктор Борисович поехал хлопотать о брате-ортодоксе. Начальник того богоугодного заведения спрашивает:

— Ну, а как вы здесь у нас себя чувствуете?

Виктор Борисович:

— Как чернубурная лиса в меховом магазине.

Начальник захохотал и чем-то помог.

В начале 1979 года я уплыл в Антарктиду. Повезли на лайнере зимовщиков. Рейс был тяжелый не по каким-то особым морским обстоятельствам, а потому, что я как-то не вписался в пассажирское судно — не привык на них. И окружающий необыкновенный пейзаж не волновал.

13 марта 1979 года получил радиограмму:

**ЖИВЕМ ОСТАТКАМИ ОПТИМИЗМА ТЧК ОДНА
НАДЕЖДА ЯЙЦО ПИНГВИНА КНИГУ КОНЧАЕМ
ТЧК ОБНИМАЕМ = ДУЛЬСИНЕЯ РЫЦАРЬ ЛЬВОВ.**

Кончают книгу!

Я взбодрился и даже записал в дневник:

«Вторые сутки в солнечном штилевом дрейфе среди слабого блинчатого льда и сморози. Адельки не покидают. Один вылезет на льдинку. Через полчаса к нему присоединяется другой или другая. Лед скользкий. Пингвин задумается, глядя то на нас, то на отражение собственного белого брюшка в зеркальной, розово-зеленой воде разводья; поскользнется и безмятежно — кувырк! — и никаких отрицательных эмоций, конфузливости, обиды.

Вот белый мишка в Арктике поскользнется на льдине, сразу сконфузится и злится на весь белый свет, особенно если чувствует зрителей (зрителем можете быть вы или даже глупыш — мишке все одно обидно и огорчительно).

Адельки — безмятежны в любой дурацкой ситуации. Так безмятежны и естественны дети и женщины в глухих деревнях, и на севере и на юге. Кстати говоря, Аделью звали супругу знаменитого мореплавателя Дюрвиля. И он нарек пингинов в ее честь.

Ребята из экспедиции кидают пингвинам корки от апельсинов.

Удивительный натюрморт: оранж на ультрамарине льда.

Пингины не обращают на великолепный натюрморт внимания. Зато какие-то неизвестные птицы, темные личности с грязно-белыми шеями и головами, дерутся за апельсиновые корки с базарным гамом. В азарте драк и перепалок они, как и адельки, поскальзываются на льдинах, но успевают взмыть в небеса за тысячные доли секунды, не коснувшись воды...»

Эта запись — Дульсинея вместо пингвиного яйца.

А из яйца пускай растет пингвиненок.

На книге «Заметки о прозе Пушкина» Виктор Борисович написал: «Я эту книгу люблю. Хорошо придумана. Недописана. Много я перепортил».

«Заметки о прозе Пушкина» напечатаны в 1937 году.

Это о несгибаемости таланта, даже если талант хотел бы согнуться.

Я перечитал ее в январе восьмидесятого, позвонил Виктору Борисовичу, спрашиваю: «Вы сами когда последний раз перечитывали?»—«Не помню».—«Замечательная книга!»—«Спасибо, дорогой. На нее за полвека не было ни одной рецензии. Это что-нибудь да значит!»

На книге «За и против» (заметки о Достоевском) Виктор Борисович написал: «Это книга хорошая. Недописана. Но правда кусочками в ней есть».

На книге «Заметки о прозе русских классиков»: «Эта книга плохая. Каялся и перекаялся».

«Бессонница? Нет, теперь я ее не боюсь. Только в бессонницу мне снятся хорошие сны... Пещера. И я совсем один. Тихо. И я дописываю, дописываю. Я дописываю старые вещи... И я так счастлив!»

Вечер. Переделкино. Смотрим телевизор.

Вдруг Виктор Борисович встает с кресла и говорит:

— Сердце болит!

Я открываю форточку, Серафима Густавовна дает нитроглицерин и т. д. Он стоит, держась за сердце.

— Сядьте, Виктор Борисович! Доктор Николаев велел вам сидеть, когда сердце...

Серафима Густавовна:

— А профессор Солодовников вёл лежать! Ляг, Витя!

Виктор Борисович, как и положено старому вояке, выполняет последнее приказание командира — прикорнул на диване перед телевизором. Глаза закрыты, но вдруг раздаётся его смех. Не смех, а прямо заходится в хохоте.

— Что с вами?!

Сквозь гомерический хохот:

— Так мне сидеть или лежать?

Наконец успокаивается:

— Я рассказ для тебя придумал или, может, какого-то классика вспомнил. Пришли незнакомые люди к здоровому, интеллигентному, деликатному человеку и поставили ему клизму. Оказалось — ошиблись адресом... Господи, как все глупо. Закройте форточку.

Вечером 25 января 1980 года звоню из Ленинграда — поздравить с 87-летием. Трубку взял Олег Даль. Потом Виктор Борисович говорит, что утром звонил мне и мы разговаривали. Я говорю, что этого не было, но утром я не спал и думал о нем.

— Значит, мне приснился телепатический сон, друг. Приезжай! Сядь в самолет и приезжай!

Говорю, что не смогу.

— А ты — как осьминог: они могут через замочную скважину ногами вперед.

«Корабль наш идет с вмятиной на боку. Надо находить стройность в мачтах. Не заглядывай в душ, когда в нем моется женщина. Море, ты, кажется, один об этом знаешь, — море имеет свой уют. Мы только привыкли к морским поэтам. Ты умеешь видеть, умеешь спасти, умеешь последним уходить, когда вода угрожает. Плавай, друг. Вот и Сима тебя целует. А я отношусь к тебе не как к траве, а как к дереву. Деревья не боятся ветра. Ветер деревья причесывает.

Я пишу книгу и не могу ее дописать. Она просится стать теорией стиля. Есть очень убедительные мысли (и страницы) о бесконцовости современной хорошей советской прозы. Концов мы не умеем делать. Пушкин (достойный пловец) отодвигал подальше Онегина... Ахматова (может быть, помнишь) Анна о том писала, как он спосо-

бен спокойно писать конец с его высшей воздушностью.

Достоевский, Толстой не умели завязывать узел на конце, чтобы песок не просыпался. Чехов отрезал конец. Он заметил, что конец или смерть, или отъезд. Как он умен...

Я не умею быть молодым. А мне 88 год.

Моя книга про общую теорию, а не про энергию заблуждения.

.

Надо только не бояться усталости и плохого почерка. Ну вот... в шутке, в веселом разбеге карандаша. Живи долго, мальчик, долго, брат современник. Пей умеренно... У тебя есть то, что мне кажется молодостью.

Я допишу книгу. 15 июля 1980 г. Москва».

Это письмо написано после смерти Владимира Высоцкого:

«Я не умею печатать на машинке. Могу писать, но забыл алфавит. Вагон тронулся, и платформа с провожающими и деревом уехали в другую сторону...

Ты рассказывай нам о портах; там где-то в горах жила Мария Магдалина, которую не забыть. Деревья ушли, люди измельчали, но память о Магдалине прекрасна. Напиши о берегах, за которыми скрываются люди. Напиши о берегах истории. Милый друг, ты уже часто теряешь голос, а голос очень нужен для разговора по телефону... Остаются мифы не в пепле, а живые и требующие воспоминаний. То, что ты не написал, мяукает забытое в корзинке... У тебя есть друзья, для которых ты... не котенок в корзинке. Он мяукает потому, что с похмелья. Толпа провожала писателя, который умел петь хриплым голосом. Мой отец пил более пятидесяти лет. Пил и ругал мою седую мать. Потом бросил и читал в Михайловском артиллерийском училище курс математики.

Люди слушали Володю и вспоминали, что они люди. Милый Володя. Очень милый Володя. Пропасть легко, но... командир должен при аварии уходить последним.

Ведь ты по возрасту мог бы быть моим сыном.

Не мяукай.

Помни Марию Магдалину, которая во что-то верила и потому жива и бессмертна...

Виктор Шкловский, год рождения 1893. (11 августа 1980 г.— В. К.)

Я прилетел в Москву хоронить Олега Даля. Олег очень любил Виктора Борисовича и даже стащил потихоньку от Серафимы Густавовны портрет молодого Шкловского.

И Виктор Борисович любил Олега.

К Шкловским я приехал вечером накануне похорон.

Серафима Густавовна и Виктор Борисович лежали на кроватях лицами вверх.

Шкловский попросил сесть к нему на кровать, взял за руку, прижал ее к себе еще широкой, но слабо-пухлой груди и тяжело заплакал.

Прошептал:

— А ты думаешь, у меня жизнь? У меня ад.

Потом начал говорить, что мне всю жизнь не хватает крупного дела, во главе которого я должен был бы стать. Он придумал мне такое. Вся наша Арктика разделяется на девять секторов. В каждый сектор едет писатель и пишет про свой кусок. Это надо, потому что Арктика не зады, а фасад России.

— Сколько раз ты там был, мой мальчик?

Я сказал, что раз десять. У Виктора Борисовича сохраняется старое представление об Арктике времен Нансена, Амундсена, челюскинцев, и он с уважением произнес:

— Ну, такое уже и не соврешь! И ты должен стать во главе этой большой книги. А я буду у тебя начальником штаба. И я прилечу в Ленинград, соберу авторов книги и все объясню им, и вы ее напишете...

А на столе в его кабинете лежала книга о Толстом — «Энергия заблуждения» в двадцать авторских листов. И книга эта вне очереди набиралась в «Советском писателе». И написана она практически за один год. И это после адовой работы над семью сериями «Дон Кихота»!

Когда расставались, Шкловский еще раз потребовал от меня «крупного дела» и говорил, что прилетит хоть в Арктику, чтобы быть начштаба.

Назавтра Серафима Густавовна, несмотря на отговаривания и ослабевшее зрение, приехала на похороны. Толкучка у гроба была ходынская.

Нам удалось поднять Серафиму Густавовну по ступенькам возвышения к самому изголовью. Она ничего не видела и в пятидесяти сантиметрах от лица Олега.

Я взял ее руку и погладил ею по лбу Олега.

Она не заплакала.

Это было 7 марта 1981 года.

«Многие представляют Дон Кихота слабым, нелепым, смешным, тщедушным человеком, который немного «не в себе»... Таким, кстати, написал его хороший французский художник Доре, а в наше время — Пикассо. Неверно. Дон Кихот, которому было под пятьдесят, — крепок, любил вставать пораньше и идти на охоту. Этот тренированный человек шпагой убил вепря! С одной шпагой он стоял между двух львов... Да ведь он просто сверхтореедор, настоящий храбрец! А к тому же очень образован: хорошо знал французский, итальянский, арабский, латинский и иные языки. Одним словом, это совсем иной человек, чем принято считать!

Это — великий реалистический роман с глубинной романтической скорбью о человеке.

Вот, собственно, почему я задумал написать сценарий большого телефильма и два года сидел над ним как проклятый. Это сценарий о честном и мужественном Дон Кихоте. Снова повторяю Достоевского: Дон Кихот виноват только в том, что он не гений! Да, он прежде всего человек. Его считают безумцем, а он видит жизнь по-настоящему».

«Жить вечно нельзя, но счастлив тот, кто умирает, не истратив себя, продолжая учиться. Восходит солнце. Тают снега, шумят овраги. Ручьи бегут в реки.

Большой писатель ширеет, как река, принимает опыт других, как притоки, и впадает в океан.

Океанские волны приветствуют его вхождение в вечный, медленно расширяющийся, нужный всем океан искусства.

Этот океан по крупице, по капле собирает в себя всю соль и всю мудрость земли».

«Передайте Вике, что мне непонятно и я не знаю, зачем нужны эти наши старые письма, если нужно писать новые книги, но если хочет, пусть это печатает. Виктор Шкловский, май 1981 года».

Своему секретарю Александру Галушкину Виктор Борисович заметил: «Он очень хорошо написал обо мне... Но как-то по-домашнему...»

О
«БЛОКАДНОЙ
КНИГЕ»

Читаю «Блокадную книгу» Адамовича и Гранина.

«Они ведь, эти люди, щадили нас все годы, но себя, рассказывая, уже не щадят...»

Думаю, никто никого сознательно, то есть преднамеренно, не щадил.

Авторы ссылаются на Берггольц: «И Ленинград щадил ее (Родину), мы долго ничего не говорили о боли, которую испытывали, скрывали свое изнеможение, преуменьшали свои пытки...»

Да, вероятно так.

Но это касается времени войны. Это как заболевший солдат или полярник скрывает смертную муку, чтобы не отягощать товарищей — им и так хватает. Но авторы продолжают: «С тем же достоинством (ленинградец.— В. К.) долгие годы удерживал, сохранял в себе обжигающую правду о пережитом».

Нет, просто плохо спрашивали.

Ленинградец-блокадник долгие годы бесился и бесится, читая многое о себе, но это не означает, что он с радостью по этому поводу выскажется.

Нет, вспоминать блокадник не хочет.

Кому охота вспоминать кошмарные сны, когда к тебе приходят, с тобой рядом ложатся заледенелые трупы? От воспоминаний таких кошмаров любой нормальный человек бежит, старается возможно скорее заслонить подступ памяти суетой и маетой жизни.

Так что авторам пришлось особенно спрашивать, переживая и тягость, и мучительный стыд за настырность, даже жестокость. Но всей своей книгой они доказывают: ты все-таки иди! Ты все-таки иди и спрашивай! Ты проникновенно объясни, ради чего мучишь людей, и... человек себя щадить не будет. Он свалится после с сердечным приступом, — быть может, последним. Но, и умирая, скорее всего благословит твой приход.

«Мы выясняли не историческую картину, а, скорее, состояние людей того времени».

Боюсь, эти заметки превратятся в собственные воспоминания о блокаде или о мытарствах, которые претерпел, пробуя писать о ней.

Вообще-то, я имею юридическое право на вполне взрослые свидетельства. Мало кто знает, что детьми тогда считались только существа младше двенадцати лет. После этого рубежа существо превращалось в иждивенца, то есть вполне взрослого дармоеда, и начинало получать знаменитые 125 граммов.

Страшно-нелепое обрушивалось на матерей, когда проклятые двенадцать лет наступали в зиму 1941—1942 года и детеныш разом переходил на половинный паек. Тогда мать начинала отдавать ему все до последней крошки, погибала и, естественно, вслед за ней отправлялся иждивенец.

Мне повезло. К двадцать второму июня мне исполнилось двенадцать лет и шестнадцать дней. Так что в блокаду я попал готовым дармоедом и в силу этого, возможно, и выжил: не было «перепада давлений».

И вот читаю «Блокадную книгу» и думаю: «Что ж ты-то, сам? В кусты ушел? Все своими глазами видел, а не пишешь?..»

Писал.

И зарекся — тяжело слишком и бесперспективно. В семье строго существовал негласный закон — о блокаде не говорить. И вот сидишь один на один с пишущей машинкой и уходишь в кошмар тех времен, и запах лежалых трупов, и мороз, и стены качаются от близкого взрыва... А потом начинается: «Что вы сюда столько трупов напихали? Как это так: они у вас в дворовой мусорной яме? И подростки их оттуда изо льда вырубают? Зачем вам эти страсти? Учитесь у классиков! Толстой не хуже вас войну знал, а без ужасов обошелся... А это что такое? Еще живую старуху из вагона на снег выкинули? И вши у нее на пальто повылезали? И это в мороз? Нет уж, уважаемый, мы такими фантазиями нашего читателя запугивать не собираемся...»

Но дело не в запугивании читателя. Уж больно не вписываются блокадные фантазии в устоявшиеся каноны всех видов и типов военной прозы.

И я, например, давно устал от борьбы с редакторами, ибо она не менее тяжкая, нежели борьба с блокадным материалом.

« — ...спрашивают: блокада, блокада. А что такое на самом деле блокада? Внучка в прошлом году писала и нынче говорит: у тебя доказательств нету... Вот я вам говорю и думаю, — может быть, и вы не поверите?»

Мы сплошь и рядом сталкивались с этим ожиданием

недоверия, болезненным, опасливым чувством, которое возникало по ходу воспоминаний; по мере того как человек слышал себя, он настораживался, его история сглаживалась, усыхала, подменялась общеизвестными фактами».

С какой чуткостью это наблюдается, с каким бережным сопереживанием сказано! — человек и себе перестает верить, когда впервые слышит себя «звучащего».

Так вот, и я разрешил себе «сгладиться, усохнуть», сползти на всем известные факты. И благодарен судьбе, что пишу сейчас о «Блокадной книге». Когда пишешь, необходимо думать. И я вдруг понял, что не только бежал от блокадных воспоминаний, но — самое непростительное — начисто прекратил попытки осмысливать ее, блокаду.

Перелистал записки за последние десять лет — чего там нет! А о блокаде — ни ползвучка. Сколько прочитал за эти годы блокадных книг литераторов, историков, военачальников, документальных и каждый раз ловил себя на тягостно-неразрешимом: «Эх, ребятки, все это «не то!»» Но ни разу даже на самое легкое — на чужую книгу — душа не заставила самого взять перо, поспорить или поблагодарить.

«Мы выясняли не историческую картину, а, скорее, состояние людей того времени».

Адамовича и Гранина интересует в первую очередь пережитое, то есть изведенное душами людей. Но оказалось, что быт тела и бытие души «сошлись». Тогда встал вопрос о том, как в умирающих людях возникала душевная несокрушимость. И не в одном схимнике, одном сознательном страдальце, а в сотнях тысяч невольных мучеников.

Далее встал вопрос о том, пришло ли время для рассказов такой правды и такой беспощадности. Вопрос странный, но в наше время ставший каким-то типическим. Какое у правды время? Для правды время не существует. Как только узнал ее, так и отдавай ее другим. Недаром авторы задаются следующим вопросом: «...не ушло ли, не упущено ли время и возможность рассказать об этом так, как это было вживе и въяве, как это помнят лишь сами ленинградцы?»

Н и л Н и к о л а е в и ч Б е л я е в — (такой разрядкой в написании имени авторы часто заменяют все сведения о человеке-рассказчике: не дают ни года рождения, ни биографии, ни портрета, ни обстановки разговора) — горестно бормочет: «Ведь сейчас вообще вроде считают, что

хватит говорить о блокаде». Он бормочет это после того, как веселая девушка заявила, что неделю может прожить без хлеба, отлично себя чувствуя, и потому: «...подумаешь!»

Самое парадоксальное, что так «вроде» считают чаще именно у нас, в Ленинграде. Иллюстрацией чему может в какой-то степени служить и то, что «Блокадную книгу» печатал «Новый мир». Не знаю, может, здесь и простая случайность, или авторы специально выбрали Москву — обращаться из столицы ко всей стране удобнее, — но для меня это выглядит символичным в другом смысле...

И Адамович, и Гранин широко известны, оба имеют богатые запасы литературного материала и спокойно могли бы обойтись и без чудовищной работы по сбору и переработке блокадных свидетельств.

И вот пошли тратить душу и время. Начали работу в 1976 году. Собрано, записано, разобрано больше восьми тысяч страниц машинописного текста.

Я без всяких сомнений и преувеличений приравниваю это к поездке Чехова на Сахалин.

Читатель, может, и не представит тех тягот, которые выпадают на долю собирателей, пришедших к немощной старухе-блокаднице, давно одинокой, мечтающей о доме для хроников, а место там ей и не светит. Или к ослепшей после блокады женщине, существующей на двадцать рублей в месяц, потому что нужные документы сгорели в районном архиве загса. Или к еще бодрому одорукому инвалиду, который живет в коммунальной, «старо-петербургской», как стеснительно говорят авторы, квартире и ни разу еще не мылся в ванной, ибо очередь на новую квартиру все огибают его стороной — он ведь не ветеран...

А может, здесь к месту будет поднять вопрос, чтобы ветеранов блокады, которым исполнилось, скажем, шестьдесят или семьдесят лет, приравнивали к ветеранам Великой Отечественной?

И вот к таким не очень устроенным людям является писатель, чье звание в нашем народе связывается с какими-то прямо фантастическими возможностями. И каждый начинает надеяться... И на то, что именно его показания напечатают, и именно его канувших в неизвестность родных и близких воскресят в памяти живущих. А надо-то честно объяснить, в глаза глядя: «Ничего обещать не можем: бог его знает, как книга сложится, но, мол, в архив Музея истории Ленинграда уж обязательно теперь попадете...» А они, кроме архива, еще и на то надеются,

что писатель, услышав, увидев их сегодняшнюю жизнь, и в райисполком сигнализирует, и в архиве загса найдет ту заветную справку, которую выдавали весной 1942-го уборщикам трупов, нечистот и льда. По такой справке можно и медаль получить «За оборону Ленинграда», и что-то где-то протолкнуть...

Да, раскапывая прошлое, писатель проходит сквозь живых, а разве всем сможешь?.. Боже, как трудно устроить одинокую и большую старость, в какое горе превращается существование иных задержавшихся на этом свете долгожителей! А есть какой-то закон, когда некоторые люди после блокады живут потом особенно долго, ибо, вероятно, как и лагерники, прошли естественный отбор на приспособляемость и живучесть...

Да, одно — психическая нагрузка, когда расспрашиваешь о блокадном былом маршала, другое — вечную «домохозяйку», какую-нибудь Марию Ивановну, чья любовь к ближнему подняла человечество на новую грань самопознания и достоинства — и которую оставляешь в слезах, вызвав ей с улицы из автомата (телефона, конечно, нет в квартире) «неотложку», а надо идти к следующей Марии Ивановне... Надо! В том-то и дело, что «надо», хотя никто не велел, не посылал, и впереди терний куда больше, чем лаврового листа...

А само писание? Понятно, почему книгу делают вдвоем. Слишком велики психические перегрузки, нужен рядом товарищ. И потом, как рассказать о запретно-патологическом, запретно-физиологическом, запретно-психическом?.. Особенно в нашей сверхцеломудренной русской литературе. Запад без особенных терзаний пишет физиологию. Недаром авторы опираются в описании голода на Гамсуна. Сами не тянут, не могут, опыта нет, прецедента. Или о смерти взять. Выше «Смерти Ивана Ильича» вроде и нет. Но Фолкнер или Хемингуэй начинали с рассказов о смерти — начинали с этого! Толстой с детства начинал, Чехов — с юморесок, а они — со смерти!

Конечно, Хемингуэй видел смерти очень много, и человек он огромного личного мужества перед ее лицом. Но видел он ее в каком-то не том ракурсе, нежели видим мы. А когда ее насмотришься в нашем ракурсе, то писать о смерти ох как нет охоты! Ох как нет!

Тяжело смерть писать, а без нее любви не напишешь.

А ведь почему выстояли-то? Потому что друг друга любили, Родину любили, жизнь любили.

Есть общечеловеческое: перед общей, например, близ-

кой опасностью между вовсе чужими людьми возникает какое-то торопливо-сиротское ощущение товарищества от надежды на то, что в самый страшный момент не будешь один. Это бойцов перед атакой касается, собранных вдруг из разных недобитых до самого конца рот, собранных с бору да с сосенки, чужих вроде вовсе друг другу человек. Да и любых людей касается и в мирное время, когда они отсчитывают последние секунды перед опасным и страшным поступком. Но сколько ждут сигнала к атаке? Ну, максимум — часы. А сколько ждали конца блокады?

Тут только долговременные факторы человеческого духа нужны были.

И авторы это предельно поняли: «Величайшему испытанию подвергались отношения мужа и жены, матери и детей, близких, родных, сослуживцев».

В 1943 году в Ленинград приехал английский журналист А. Верт. Он знал русский язык, с ним легко было общаться. Он встретился с Вишневым, Кетлинской, Прокофьевым, с художником Серовым, дирижером Элиасбергом.

Он быстро схватил главное: «Сталинград — Сталинградом. Там шла борьба между двумя армиями, а здесь борьба между немцами, с одной стороны, и между советским гражданским населением вместе со своей армией — с другой». На первое место он поставил «гражданское население». Примечательно и правильно.

Никто никогда не забудет солдат Ленинградского фронта — дистрофиков в жалких шинелях, в одних подшлемниках вместо шапок, героев Синявинских болот и Московской Дубровки. Сколько их унесла Нева к братьям матросам, погибшим в десантах под Стрельной, на Ораниенбаумском пятачке под Красной горкой...

И все-таки всемирное значение ленинградской блокады не в воинских подвигах.

Солдат принял присягу и обязан умереть, но выполнить свой долг — и это от века обычное дело.

А вот если никакой присяги не принимал и не «обязан», но стоит насмерть и выполняет никем не определенный «долг», и все это делает г о д а м и?

Об этом книга.

На вопрос А. Верта о том, почему Ленинград выстоял, ему ответили, прямо скажем, довольно затертыми словами: мол, чувство локтя помогло. Это художник Серов высказался. А Верт с британским юмором заметил: «Это было

характерно и для Англии. Никогда англичане не были так любезны друг с другом, как в зиму бомбежек».

Конечно, смешно. На «любезности» Ленинград не продержался бы даже при помощи самого господ бога. Хотя должен сообщить, что в страшную зиму 1941—1942 года Никольский собор — самый, пожалуй, почитаемый верующими собор — был открыт и в нем шли службы, которые не прекращались и во время обстрелов. И немцы это знали, и лупили по прекрасному ориентиру — знаменитой колокольне собора.

«У каждого был свой спаситель,— убежденно сказала нам ленинградка.— Каждый в нем нуждался и сам был необходим, как хлеб, вода, тепло, другому».

Абсолютно точно.

Хотя касается это, естественно, тех, кто выжил. На тех, кто погиб, формула не распространяется.

Любой блокадник вам скажет, что выжил потому, что пришел дядя Ваня, девушка из ПВО, племянник Саша, баба Мария, и т. д. и т. п. И вот этот дядя, девушка, старушка пришли и растопили печурку именно в тот момент, когда...

В каждой семье есть такая то ли легенда, то ли истинная правда. И в нашей семье есть.

Пришел муж детской материнской подруги Робушка, полный доходяга, опухший, потерявший человеческий облик, сказал, что знает человека, который может дать за драгоценность сливочное масло. У матери было или кольцо, или брошь — какая-то семейная реликвия. Она отдала это Робушке, хотя он был очень плох, то есть в том находился состоянии, когда на его мораль или там нравственность уже вроде и нельзя было надеяться. И на следующий день он притащился с бруском сливочного масла — наверное, граммов на восемьсот. Мы смотрели на это настоящее масло в таком фантастическом количестве и плакали.

И вот мать начала нам с братом давать его лизать два раза в день.

Мать была очень волевая, сильная до беспощадности женщина.

И мы выжили, и Робушка, который, конечно, умер через несколько дней и могилы которого мы, конечно, не знаем, есть наш Спаситель.

Потом, уже за Ладогой я кланчил у строя солдат чего-нибудь съедобного — за деньги: мать нам зашила по пятьсот рублей на тот случай, если она умрет. Это были

жалкие копейки. И один солдат дал мне кусок колотого сахара. Он сам качался под ветром, этот солдат. И никаких денег не взял, а пихнул под зад коленом, когда я начал ему их совать...

«Блокадная книга» — это книга русских писателей, стенографирующих факты и в чрезвычайно сжатой, скупой форме думающих об основах человеческого д у х о в н о г о бытия, о феноменологии человеческого духа. Простите за мудрено-иностранный слог, но оно нужно здесь, потому что ленинградская блокада не только России, а мира явление. И читать эту книгу следует внимательно, не поддаваться внешней мучительно-горькой фактологии, идти в глубь книги, искать под материалом самой ужасной за всю историю человечества драмы — мысль.

О
ЮРИИ
КАЗАКОВЕ

«Дорогой Вика! Жизнь кончается. Но, по-моему, это ошибка.

Узнаю ли, что такое «Ничто», как закругляется огромная страна под названием «жизнь», пойму ли, как велика эта степь и что будет за ней?

Трудно жить, когда видишь, что жизнь твоя большая и трудная, трудно донести ее до конца. Трудно пересчитывать, кто остался, а с кем ты еще можешь говорить... Пропал брат. Война взяла сына.

Друзья могут увидеть даже самих себя. И больно мне, что они свою жизнь так странно истратили, будто не замечая.

Серафима Густавовна умерла. С соседями смотрим друг на друга, как мачты на корабле.

Так и не узнал, как надо смотреть на океан, как встречаются и расходятся корабли,— не знаю. Балтика рядом, как подоконник. Черное море и Каспийское — уже устали. Океан — дальше.

Я по-прежнему не только ничего не пью, но и не понимаю, зачем вырывать страницы из этой и так небольшой книги.

Пишу книгу. Недавно вышла новая, называется она «О теории прозы». Читал ли ты эту книгу, книгу о том, как проходит жизнь?

Милый брат, не растрчивай море, не укорачивай и не уменьшай его,— нам незачем жить, если мы не любим его, и что близко и что далеко. Надо идти дальше, надо опять искать новые земли, завоевывать полюс, такой далекий, что о нем нельзя даже справиться у птиц.

Человек растет сам. Скажу пошлость: есть только неумирающие деревья. Есть и будут после тебя. Они зеленеют и с каждым годом уходят от тебя.

Мне 92-й год. Это много, или — не мало. Лет так много, что годы уже могут разговаривать друг с другом и, наверное, уже поняли, что такое вселенная.

Самому мне это понять труднее.

Ты водку брось. Сам видел по Юрию Карловичу Олеше, что это такое. Надо найти *свою* жизнь. Надо жить, видеть и связывать явления, понимать их,— хоть это

и трудно. Найти свою жизнь человеку труднее, чем дереву. Понимание этого — удерживает от зависти к ним.

Искать в мире свою жизнь, скажу, заканчивая, искать без себя — невозможно.

Приезжай ко мне. У меня собака, которая любит греться у водопроводных труб. Приезжай. Прочтешь мои книги, увидишь, что я не классик, и даже в классы не собираюсь ходить. Книг много. Из них, в крайнем случае, можно будет сделать несколько памятников или построить, как из плит, дом, в котором жить будет эхо.

Приезжай. Пить не стоит. Приезжать для того, чтобы пить, — не стоит, не стоит даже железнодорожного билета.

Жизнь — штука упорная, глядит в глаза, вспоминает сама себя и даже ссорится сама с собой.

Мы живем в Переделкино, у маленькой речки Сетуни. Хвастаются, что она — приток Москвы-реки, а через нее вливается в Волгу. Живу почти на берегу Волги. Город растет, упираясь в поле локтями, и почти уже добрался до нас.

Приезжай, дорогой, тебе надо отдохнуть. Может, вместе и подумаем, куда и для чего нам надо ехать. Волга рядом.

Книга твоя — как письмо, очень лестное. Такая лестная, что ее можно положить на стол, чтобы все видели, или рассылать в качестве рекламы. Для того, чтобы полюбить кого-то, надо жить.

Целую тебя. Сколько горя ты носишь на спине.

Имей в виду, я все-таки чувствую себя одиноким, одиноким работником.

А пить надо чай. Водка уже устарела.

Живу без карты и календаря. Мне нужно посмотреть на тебя.

Да, совсем забыл тебе сказать: писатель — это редкая удача. Это не профессия — это достижение.

Часто думаю о холодном углу Ледовитого океана. Очень не увиден.

Виктор Шкловский».

Право публиковать «интимные письма» в свое время защищал Герцен (в приложениях к «Былому и думам» — «Старые письма»): «Как сухие листья, перезимовавшие под снегом, письма напоминают другое лето, его зной, его теплые ночи, и то, что оно ушло на веки веков, по ним догадываешься о ветвистом дубе, с которого их сорвал ве-

тер, но он не шумит над головой и не давит всей своей силой, как давит в книге. Случайное содержание писем, их легкая непринужденность, их будничные заботы сближают нас с писавшим».

Будем надеяться,— а что нам остается делать?

В журнале «Нева» (1981, № 10) я опубликовал эссе о Викторе Борисовиче Шкловском — «Тут обойдемся без названия». Эта публикация вошла в книгу «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». О ней Виктор Борисович говорит в прощальном письме ко мне, «что ее можно рассылать в качестве рекламы».

Настоящая публикация посвящена главным образом памяти Юрия Павловича Казакова, но я считаю ее прямым продолжением предыдущей.

И в жизни и в литературе все связано.

В феврале 1984 года Виктор Борисович напечатал в «Литературной газете» интервью. Там есть такое место:

«Не надо бояться переворачивать картины, висящие на стенах наших домов. Искусству бывает полезно время от времени постоять на голове. Так мы освежаем наше восприятие. Вот и врачи говорят, что человек, вставший вверх ногами, отчетливее и реальнее видит мир. Но я уже проверить этого не смогу...»

Надо знать цену слова. Но еще больше — цену непронесенного слова... Право на молчание... У меня в Литинституте учился Юрий Казаков. Приносил свои рукописи, я читал их, и мне нравилось. Мнения своего я не изменил через много лет. Это был (к сожалению, был) настоящий прозаик».

А я и не знал, что Виктор Шкловский преподавал в Литинституте и что у него учился Юрий Казаков!

Сам я познакомился с Казаковым летом 1957 года, когда в Ленинграде проходило совещание молодых писателей Северо-Запада России. Мы попали с ним в один семинар — под руководством Веры Федоровны Пановой. Подружились. А так как жили в разных городах, то — редкий случай в наше время — переписывались. Все письма Юрия Казакова я сохранил. Сейчас они в Пушкинском Доме. Здесь использована малая часть.

«21 ноября 1982 г. Мос. обл. Красногорский р-н, ЦКВГ, 10 отд. 823 палата. (Длинные у нас адреса!)

Лежу я себе на койке в госпитале, думаю невеселую думу,— и вдруг прекрасная девица вкатывает в палату

столик на колесиках, столик с книгами и журналами. Предлагает то и это. И вдруг говорит: вы писателя Ко-нецкого знаете? Вот возьмите новую его повесть в жур-нале «Звезда»...

Ну, я взял.

А лежу я, брат, товарищ и друг, в центральном воен-ном госпитале по поводу диабета и отнимания ног. За ок-ном то туман, то дождик, то снег выпадет, то растает — чудесно! Я себя за последние лет шесть так воспитал, что мне всякая погода и всякое время года хороши, одеться только нужно соответственно. Конечно, ноябрь прокля-нешь,— выгони тебя на улицу босого и без штанов,— а если потеплее одеться, то счастье и счастье.

Вот только этим я теперь и утешаюсь, сидя возле ба-тарей в кресле и глядя на туман и снег. А вообще-то на-строение — хуже некуда. Диабет ведь пожизненная бо-лезнь, а тут еще ноги болят и дергаются в судорогах и не-меют, и в весе теряешь и проч. прелести. Лечат меня тут всяко, аппаратура самая лучшая, заграничная, да толку пока мало, единственно, что больницу совсем не напоми-нает, а похоже на санаторий, только что в палате не курю, выхожу вон.

Жалко мне бесконечно тебя, да и себя, что не приехал ты ко мне на дачу! Славно бы поработали, очень для этого все было готово: и природа, и тишина в доме, отключен-ность ото всего...

Так что, прочитал я твоего «Лишнего», прочитал и взяла меня досада,— что это ты, братец, нехорошо себя повел, начал всенародно плакаться. Ты вот подумай только, мог бы Чехов написать такое? Э? И ордена свои поминать?

Ну, я понимаю, допекли тебя твои морские собратья, нехорошо с тобой поступили, наверное писали на тебя ку-да только можно (м. б., только в ООН не писали!), ну до-пекли, ну сел бы, написал бы обстоятельное открытое письмо кому-нибудь, растолковал бы, что такое лит. образ и пр. Прочли бы и утерлись бы и крыть им было бы нечем. А теперь — что? Обида у тебя так и прет из каждого аб-заца, обида и обида, а больше ничего, нет простора, нет игры ума, иронии, которые так щедро разбросаны везде в твоих «Заботах», в других твоих вещах, которые хочется перечитывать, а тут ты до того уязвлен и до того убит об-стоятельствами, что оправдываешься направо и налево... И насчет декабристов что-то неубедительное и, прости, восторженно излишне, почти как у Паустовского, над

офицерами ломают шпаги, рвут эполеты и рыдают братцы-матросики, ай-яй...

Надо, надо нам с тобой встретиться, поговорить надо, жизнь такая настает, что, во-первых, уже не в молодом задоре, как когда-то, а всерьез можем мы друг друга называть старыми хренами, того и гляди помрем, ну, а, во-вторых, время нынче очень уж серьезное и надо бы нам всем, хоть напоследок, нравственно обняться... Давно уж я не питаю никаких иллюзий насчет воздействия слова на братьев наших, и хочется заниматься литературой. ни к чему не обязывающей,— ну, о том, как, например, прощаешься с женщиной, о людской одинокости, «внезапный мрак иль что-нибудь такое...»— кто там разберет, что в жизни главное, важно только х о р о ш о об этом писать. Ну и счастье, которого нам осталось с гулькин нос, оно, м. б., и есть ощущение, что ты пишешь хорошо. Написал страницу или пять, пошел в бар, выпил, покашлял, глаза тебе заволочет слезой... Ну вот, ну вот, и благодари господу, а большего счастья уж и не будет.

В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка моя ведро
Молча принесет воды...

Вот такие стихи я готов день и ночь читать. А тут еще и мысль: это же он с похмелюги! Похмелюга, братец, внутри пекет, пить охота, пить литрами, вот матушка грустно и молча несет ему воды. Ведро. Холодное, из колдезя. И молчит. А что ей говорить?

С зубами же напрасно ты мучишься: выдери все и вставь новые. Могу дать адрес, когда попадешь туда, загляни и передай от меня привет. Адрес не потеряй: Ефим Майстер, авеню Белведер, 16, Лос-Анджелес, США. Этот Майстер делает зубы всем голливудским звездам мужского и женского пола. Будешь потом своих любовниц за коленки кусать и меня поминать.

Пульс у меня последнее время 120, давление 180/110 — сегодня утром чуть сознание не потерял, говорят, спазм в мозгах, загрудинная боль схватывает раза два в день...

Так что, на всякий случай, прощай, друг мой, не поминай лихом.

Остаюсь любящий тебя *Ю. Казаков*.

Весь накопленный за жизнь опыт сказал мне: **КОНЕЦ**.

Семь дней я сочинял бодренький, лживый ответ.

«Тщательно проанализировал твой почерк в последнем послании. И машинописный текст. И содержание. И пришел к выводу, что ты сильно преувеличиваешь свою близость к тому свету.

Жизни в тебе еще навалом, если смог так окрыситься на меня за «Третьего лишнего».

И мне жалко бесконечно, что не выбрался в твой Дом, не поп такался в твою жилетку слезами — не написанными. Очень мне хочется поплакаться...

А помнишь, как мы с тобой поцапались в «Национале», когда посидели с Олешей и я руганул Паустовского? Очень ты на меня обозлился... четверть века назад это было, дорогой товарищ.

Прекрасно и, как всегда у тебя, просто написал ты, что настает время, чтобы всем нам нравственно обняться.

Счастья я никакого не жду. Не было его, нет и не будет.

Радость от хорошей работы, от удачи забывается с такой скоростью, что и ощутить не успеваешь.

Так вот, Юра, ты еще десяток лет скрипеть обречен — я в этом толк понимаю. Но писать ты обязан больше — лень даже таких, как ты, не украшает.

Прекрасной медицинской сестрице, которая тебе моего «Лишнего» принесла, поцелуй, пожалуйста, пальчики на левой ручке — левая ближе к сердечку.

В Голливуд к Ефиму Абрамовичу вылечу завтра вечером.

Обнимаю тебя, пиши мне и пиши рассказы».

Письмо это я отправил в 17 часов 28 ноября 1982 года.

Плохие сны снились ночью.

Утром позвонили из Москвы: Казаков умер с 28-го на 29-е от диабетического криза и инсульта.

Не от этого он умер — от водки.

Она до всяких сроков увела от нас Виктора Курочкина, Геннадия Шпаликова, Олега Даля, Владимира Высоцкого, Николая Рубцова и многих других — менее талантливых и известных.

Да, заскорузла в нас уверенность в том, что наступление на собственное горло, умолчание — необходимы народу. А это преступление перед народом и историей, это хилость мысли и страх души, а не величие самоотречения, как считалось когда-то.

Да, борьба за собственную песнь — тяжелая штука. И, увы, из самой глубины веков мрачной ухмыляющейся

тенью сопровождает ее водка, — из всего самый легкий выход...

Это я не в дуду дую — это написано и отправлено в разные редакции еще до всяких постановлений.

Антон Павлович жаловался на литературную общественность, которая замучила его требованиями в рассказе о конокрадах обязательно заявить под финал, что воровать лошадей — плохое, подлое дело.

Нынче мы докатились до такого положения, когда писательская совесть велит говорить открыто и прямо:

— Русские мужчины, все мои читатели! Если вам дорога Россия, если вы понимаете, что без России не будет мира и самой Земли, соберите остатки воли. Водка — это смердящее рабство, это вечный страх перед любым начальником, включая какую-нибудь стерву проводницу. Я знаю, что говорю.

Половину жизни я провел на Севере и давно вижу, что Россия и наши северные народы уже спустили ноги в мразь безымянных, безродных могил. Кто еще любит Россию, должен бросить водку и растить наших мальчишек в гордом и гадливом презрении к ней.

Не пил и не любил вина Пушкин — ни в бурной молодости, когда пел про пунша пламень голубой, ни перед встречей с царями, ни под дулом пистолета. Не пили Толстой, Чехов, Нахимов — ни в горе, ни в радости.

Пьющий человек — раб, покорный любой лжи. Вино убивает талант совести, талант гордости и талант любви.

Родной Антон Павлович! Но чтобы я еще когда против твоих заветов хоть одно слово сказал — никогда! Ни ныне, ни присно, ни во веки веков. Хотя это не значит, что у меня вовсе отсутствуют претензии в адрес русской классики: сегодня часто случается, что она еще вреднее нашей собственной литературы. Но это серьезное замечание. Оно потребует серьезных и специальных обоснований.

А пока: аминь.

*НАМ
С КАЗАКОВЫМ
ПОД ТРИДЦАТЬ*

9.07.57. Москва.

«Витя! Спасибо за приглашение, оно меня весьма расстрогало и лишний раз говорит, что даже среди писателей

есть ничего себе люди. Но боюсь, что не смогу им воспользоваться. Причин много. Первая — я все еще глух и продолжаю лечиться. Потом идет безденежье, устройство рассказов, собирание нового сборника и т. д. Ах, как я расстроен и как хочу пожить в Питере!

Милый мой, я очень тебя понимаю и сочувствую во всех смыслах. Об одном только прошу, не отчаивайся и не впадай в злостную немочь. Мне ты верь, т. к., наверное, никто в СССР не наслушался стольких порицаний, обвинений и отказов, как я. Дело в том, чтобы не лезть в бутылку и продолжать работать. Подкормиться же можно рецензиями, что я сейчас и делаю. В конце концов все образуется.

Пошли «Росомаху» в «Знамя». На днях я буду у Кожевникова и скажу ему, что у тебя есть рассказ. Они тебе напишут письмо, и ты вышли им «Росомаху»¹. *Рассказ перепиши*. Он от этого только выиграет, не ленись.

Дорош Ефим собирается дать обо мне статью в «Новый мир». Затем я хожу по редакциям и убиваю всех своей «Некрасивой». А ты, урод, не понял всей гениальности этого рассказа. Вам, ленинградцам, никогда и не снилось ничего подобного. Мне возвращают этот рассказ каждый раз с бледностью в лице и смотрят на меня как на сумасшедшего, в благородном, ясно, смысле (ну — как на Врубеля).

И, наконец, мне хочется еще чего-нибудь такое изобразить, вроде «Никишкиных тайн», но — с любовью. Что-нибудь о незаходящем солнце, дикой вольной жизни и такой же любви на берегу моря — от первого лица».

¹«Росомаха» — мой рассказ. Опубликовано в журнале «Знамя» (1958, № 11) под названием «В пути к причалу». После окончательной редакции этого шедевра у меня началась крапивница.

27.12.57. Москва.

«Привет, старик! Получил твое письмо, наполненное слезами. Ты, брат, порешь ерунду. Хотя то, что ты писал до сих пор «не то», — это факт.

В этом, к сожалению, я не могу тебя успокоить. Все твои рассказы — мура и бормотание сивого мерина. Равно также и мои.

Сейчас так много пишет народа, так много выходит книг, что для того, чтобы стать настоящим писателем

и играть какую-то роль в отечественной и мировой литературе, надо быть талантом агромадным. Если оно нет, — благодари бога вообще за то, что печатаешься и имеешь на кусок хлеба и на цимес.

Это одно. Второе: молоды мы слишком! Я вычитал вон у Мечникова о биологии оптимизма. Он с самым серьезным видом утверждает, что в молодом организме заложены какие-то тлетворные разъедающие вирусы. А этому и примеры есть всюду. Вся трагическая поэзия наша вышла из-под пера мальчиков. Все эти муки, разочарования, чертовщина — у молодых: у Лермонтова, у Есенина, у Жуковского, у Полонского и бог знает еще у кого. А старики — как-то спокойнее, величавей, радостней: Тютчев, Пришвин...

Единственное средство от этого, я думаю, труд. Чем больше работаешь: пишешь, дрова пилишь или еще что, тем меньше тоски и т. п. А еще, не знаю, как тебе, а мне положительно вредна слава. Вредна в том смысле, что делает меня трусливым, т. е. боишься, что не исполнишь того, что ждут от тебя.

Итак, у тебя есть хороший выход: работать, стремиться к совершенству. Ну и потом еще остается Пушкин, Толстой, Чехов и Бунин, остается Ленинград с его сумасшествием, остается биение сердца при виде прекрасной девочки, остаются слезы от мысли о кратковременности всего земного. Какого черта тебе еще надо?! Не правы оптимисты, которые считают, что жизнь прекрасна. Не правы также пессимисты, которые считают, что жизнь ужасна. В ней хватает того и другого. Будь реалистом!

Талант — ядовитейшая вещь. Я это знаю, поскольку сам испытал несколько раз в жизни приливы божественности, приливы тоски и мрака, слез по уходящему и много прочего. Мужик пашет, и знает, что делает добро, о котором никакой идиот не скажет, что оно не нужно. А поэт... Когда ты держишь зерно на ладони или суешь в рот кусок хлеба, ты не скажешь, что это ничто, ерунда и проч. Когда ты читаешь рассказ, то стоит тебе быть только иначе настроенному, чем писатель, когда он писал рассказ, стоит только быть в плохом настроении, чтобы тотчас уверить автора, что это не рассказ, а галиматья, и автор спокойно может впасть в тоску. Словом, все это естественно и старо, как мир, — не стоит, значит, особенно терзаться».

11.01.58. Москва.

«Здравствуй, милый Виктор! Как вы там поживаете? Что новенького, как работается? Как Африка и снятся ли тебе львы?»¹

В Москве дела не очень... Журналы стоят в той же позиции, «Литературка» свирепствует...

Скоро я кончу экзамены, разделаюсь с институтом, поеду в Дом творчества писать рассказы и удивлять здравомыслящих людей. Пока же за неимением времени пробавляюсь стихами. Закуриваю и пишу:

Во тьме раздался странный звук
Предвестием невнятных мук.
Лицо свое поднял слепой
И вдруг увидел над собой
Кровавый солнца свет вдали,
Дорогу долгую в пыли,
Реки прозрачное кипенье,
Хлебов дурманных поклоненье...
Но небо мглой заволокло,
И засветилась, как вино,
Заря иных миров ужасных и т. д.

Или:

Дорога с погоста пустая,
Осенние дали чисты.
Святая Россия! Святая!
Всю ночь будешь снится мне ты.

Такой галиматшей я потчую моих девиц, они ахают, говорят: как хорошо! После чего, кровожадно улыбаясь, я тискаю их. Видишь, даже такая поэзия может пригодиться. Пиши стихи!

А на днях я читал «Жизнь Вас. Фивейского» Л. Андреева. Ты читал? Если нет, то и не читай. Во-первых, потому что гениальнейшая вещь, после которой твои рассказы покажутся тебе еще более «не тем», а во-вторых, очень мрачная вещь, настроение только портить. Я бы в жизни не писал мрачных вещей!

Ну ладно, я чего-то заболтался, будь здоров! Пиши и не забывай, что на свете есть две стоящие штуки — солнце и Ю. Казаков, который тебя приветствует».

¹ Натан Эйдельман, ознакомившись с письмами Ю. Казакова, заметил, что вообще-то, при надлежащей обработке, «подобные письма, как ничто другое, обостряют ощущение истории: было время — старикам снились львы, а теперь старикам, кажется, снятся только другие старики — те, которым снились львы». Здорово сказано!

02.02.58. Москва.

«Здорово, кэп! Дюйм воды тебе под киль и на палубу! Светлов наемни в Литинституте громогласно заявил, что познакомился в Ленинграде с толковым парнем: Ко... Кон... Концовским — так он сказал. Концовским был, наверно, ты.

Но, кэп, не презирай сонета — ибо, если ты Великий Писатель Земли Русской, то кто же тогда я? Выше этой у нас нет должности в литературе, однако я — выше тебя, кэп! И сейчас я тебе это докажу.

Ты ехидно писал как-то, что тебя принимают в Союз, а меня нет. Так вот меня тоже принимают, причем — без книги, по рассказам, опубликованным в журналах. Рекомендации дают К. Паустовский, В. Панова и мой шеф Н. Замошкин. А? Ах, кэп, кэп...

Тебе этого мало? Пожалуйста, продолжаю. 15 января я был на дискуссии о Евтушенке и встретился там с моим итальянским переводчиком Витторио Страда. Тот завопил от восторга и потребовал рукопись моей книги, он будет переводить ее с таким расчетом, чтобы книга в Италии вышла чуть-чуть позже советского издания. И я дал ему просимое. Мне не жалко. Пушай итальянцы учатся.

Продолжать? Пожалуйста! Я получил письмо из Чехословакии. В этом письме — тысяча комплиментов и одна просьба. Просят написать очерк о Севере, о Белом море. Понимаешь, кэп? Не у тебя просят — у тебя, который, можно сказать, морской северный волкодав, который знает Север, как содержимое своих карманов, — нет, не у тебя, а у меня, хотя я пробыл на Севере без году неделю. А что ж я? Я переписал свои «Никишкины тайны» применительно... (к подлости, думаешь?) нет, применительно к Чехословакии и послал им. Пушай просвещаются.

Итак, дела мои прекрасны, настроение тоже. За исключением того, что недавно ночью после особенно обильной пьянки со мной случился психиатрический припадок с пеной на губах (на устах!), со слезами и стенаниями и немислимой сердечной тоской и болью. Всю ночь я ревел как белуга, заснул часов в девять утра, а проснувшись, испугался и решил пить бросить. И не пью. Уже неделю.

Ну ладно, кэп, я закругляюсь. Как тебе работается? И чего сейчас пишешь? Да, я в программе вычитал, что по радио будет передаваться твой рассказ «Пути-дороги»!

Поздравляю! Молодец ты, не пей только, дурак, со-
пьешься!

Слушай, кэп, возьми в море старого бродягу Джима,
а? А то мне все снятся львы и звон волн. Возьми меня зам-
политом, и я буду проводить беседы...

Слушай, кэп, что я тебе говорю, Джим Вшивый Нос!
Тебе надо бросить якорь в приюте деревянных человечков.
Встретимся в таверне Слюнявого Боба, в Дубултах,
а? Кэп, давай полчеловека — так старые моряки-пираты
обозначают левый поворот, понял? Бери курс на Янтар-
ный берег, выходи из канала Круштейна, подымай черный
флаг, раскупоривай бутылку рома и —

Матрос, забудь о небесах,
Забудь про отчий дом!
Чернеют дыры в парусах,
Распоротых ножом!

Я тебя буду ждать, и, когда ты сойдешь на берег, когда
падет первая звезда и пронесутся траурные скакуны су-
мерек, когда сосны, дохнув сизым туманом, закроют глаза
и впервые мигнет нам Дух Великой Ночи; а в Таверне
Слюнявого Боба засветится розовая лампа, и гранатово
загорятся капли смолы на бревенчатых стенах, и в камине
будет с треском пылать огонь, — мы с тобой сядем за со-
сновый стол, закурим трубки, разольем по кружкам грог
и начнем повествование «Страшный конец Джима Вши-
вого Носа, или Необычайные приключения пиратов XX
века!» И так мы будем жить месяц, и напишем удиви-
тельную книгу, которая издастся в Детгизе молнией
огромным тиражом и потом десятки лет будет переизда-
ваться и переводиться во всех странах мира. И когда мы
вдохнем в последний раз и навсегда закроем глаза
и грозный бог вечности Бобао зловеще ударит в грохочу-
щий там-там, призывая души наши на суд, — книгу нашу
привяжут нам к ногам, наклонят доску, мы скользнем по
ней и тихо ляжем на грунт рядом с бессмертными и весе-
лыми пиратами, о жизни и смерти которых мы поведали
миру так много лет назад...

Это я тебе говорю, я — Джим Вшивый Нос, и, говоря
это, имею в виду Дом творчества в Дубултах, куда я скоро
поеду. А, кэп?

Слушай, кэп, я посылаю тебе книгу свою. Береги ее,
ибо книга эта уникальна, ибо она — первая моя книга,
ибо она претерпела великие мытарства, не менее трагич-
ные, чем герой этой книги. Я страшно люблю своего
медведя², горжусь тем, что не пошел на поводу у массы.

редакторов и рецензентов, которые предлагали искоренить в ней дух свободолюбия. Написана она с гениальной простотой и, конечно, со временем станет классическим образцом повестей о животных. Это я говорю очень серьезно, так как ни один мой рассказ не нравится мне так, как нравится эта книга. Прочти ее медленно, прочти ее один, вечером и после прочтения тихо разденься, закрой глаза и со слезами подумай об ее авторе. Эту вещь выбросили из сборника, который идет у меня в Детгизе.

Сейчас я корпею над дипломом: надо еще раз пройтись по рассказам, сдать их, получить отпечатанными, вычитать, опять сдать и тогда уже я свободен на три месяца и вновь принимаюсь за презренное дело писательства, тогда уже я возьмусь и за мистический рассказ о внезапной смерти ленинградской девушки и за другие вещи и за приключенческую повесть. Ю. Казаков (имя Джима в миру)».

¹ «Пути-дороги» — мой рассказ, был опубликован в журнале «Знамя» (1957, № 12). Потом печатался под названием «По сибирской дороге».

² Речь о детской повести «Тэдди».

15.03.58. Дубулты.

«Хэлло, кэп! Я получил письмо от Паустовского. Таких писем в истории литературы раз-два и обчелся. Вот что он пишет мне (дословно): «Я не могу без слез читать Ваши рассказы. И не по стариковской слезливости (ее у меня нет совершенно), а потому, что счастлив за наш народ, за нашу литературу, за то, что есть люди, способные сохранить и умножить все то великое, что досталось нам от предков наших — от Пушкина до Бунина. Велик бог земли Русской!»

Каково! Робей, бродяга!

Живу я в Дубултах дней уже двадцать. Пишу. Ты меня смутил, сволочь, в Ленинграде, помнишь, я тебе рассказал сюжет с призраком-пьяным и со смертью в конце. Ты сказал, что это мура. Я, хоть и кажусь наглым, человек весьма чувствительный, нервный, мнительный, тонкий — и после твоих слов у меня засосало под ложечкой, и за рассказ я уж больше не мог взяться. Только здесь я за него взялся и сделал-таки. Такая мистерия получилась!.. Но здорово, я доволен, хоть, как говорят у вас, это и по-смертный, по-видимому, рассказ.

Насчет Тэдди, так ты, верно, с пьяных глаз читал и ни черта не понял. Вещь эта написана для детей. И написана добротнo, звучнo, с предельнoй реалистичнoстью. И то, что ты оценил его ниже моих людских рассказов, говорит о тебе только с плохой стороны: ты начал спиваться и тупеть.

Напиши мне, подлец, в Дубулты, я тут пробуду числа до первого апреля. Делаешь ты что-нибудь? Пиши!

Начало моего рассказа «Глухари»: «В просторной пустой избе лесного объездчика умирал от чахотки Павел Владимирович Акользин — бывший кандидат и доцент, бывший москвич и тепершний лесничий, не успевший даже вступить в должность. И эта изба, люди, живущие в ней, лес за окном, частые дожди и ветры, и его смерть казались временами Акользину чем-то неестественным, диким, ненастоящим, хотя как раз все было вполне естественно, закономерно и вовсе не дико».

Вот, бродяга, как надо писать. Чтобы чувствовалась серьезность и жизнь человеческая. Прощай».

15.04.58. Москва.

«У меня в памяти все стоит твоя гнусно-грустная морда и твой рассказ. Морда отвратительная, а рассказ прекрасный. Приведи свою морду в соответствие с рассказом.

У меня дела идут все диминуэндо, т. е. вниз. Звонил вчера Разумовской из «Знамени». «Ну как?» — спрашиваю. «Что ж, Казаков, — отвечает, — поздравляю Вас, рассказ прекрасный». Речь идет о «Маньке»¹. А говорит она это голосом, очень похожим на твою морду. У меня коленки ослабли. Что такое? Оказывается, она *очень* сомневается в его опубликовании. Тут уж я струхнул по-настоящему. Т. е. прямо ужаснулся. Если «Манька» вызывает такое к себе отношение при той оптимистичности, которая в ней заключена, то что ж дальше-то? Чего им надо? И чего дальше писать, в каком духе? Вот, старик, где покряхтишь-то!

Говорят, в «Новом мире» скоро будет Твардовский.

Теперь закрой глаза, я напишу несколько слов сэру Базунову².

Сэр Базунов! Я имел честь Ваш рассказ прочесть. Т. к. писатель Вы еще сопливый и вшивый, тогда как мы с Вашим братом уже корифеи и в этом деле съели по собаке, то с трепетом принимайте наши советы, буде соизволим мы Вам их преподнести.

На мой корифейский взгляд, форма превалирует над содержанием в том смысле, что искусством произведение делается только благодаря форме. Нет формы — никакое содержание не спасет. Следовательно, на форму должно быть обращено самое строгое внимание.

Рассказ — вещь короткая, в которой, как правило, нет места философии, экономике и пр. (что иногда бывает в повестях и романах). В рассказе главное — тон. Воздух. Особенно в таком рассказе, как у Вас, сэр. Ведь Ваш рассказ — рассказ настроения. Как вздох. Как нежное дыхание симпатичной девочки. А написали Вы его грубо, рублеными фразами. Почти каждая фраза начинается у Вас с нового абзаца. Есть много фраз, состоящих из трех, двух и даже одного слова. А должно быть как раз наоборот. В музыке есть такой термин — легато. Легато — значит соединение многих звуков в одну музыкальную фразу. Фразировка, фактура речи — одно из главных условий литературного современного языка. У Блока это названо «переливанием». Добивайтесь, сэр, переливания (не из пустого в порожнее, конечно), и Вы станете маэстро и, м. б., скоро обгоните несчастного своего бледнолицего брата.

Сегодня я отвезу Ваш рассказ в «Крестьянку», расхвалю его и отдам. А что из этого получится — знает только господь бог. Скорее всего — ничего не получится. Но это ничего не значит, нужно писать. Со временем будет все.

Один совет. Не ленитесь этак месяца через три-четыре переписывать свои вещи. Дело это не из приятных, но всегда дает положительный результат.

Заключение: в Вашем, сэр, рассказе хорошего больше, чем плохого.

Теперь Конецкий может открыть глаза и прочесть, что я желаю ему вкупе с братом евонным всяческих успехов, а хорошей маме двух плохих писателей кланяюсь и поздравляю с праздником воскресения Христа».

¹ «Манька» — рассказ Ю. Казакова. Первый раз напечатан в журнале «Крестьянка» (1958, № 8). Под этим названием затем вышел сборник (Архангельск, 1958).

² Речь о рассказе Олега Базунова «Озимые». Вышел в книге «Холмы, освещенные солнцем» (Л., 1977).

27.05.58.

«Если ты не уплыл еще в Австралию, то слушай.

20 мая в «Моск. комсомольце» появилось «открытое письмо» ко мне. Разбивает какая-то критикесса моего «Арктура», а в «Литературке», я слышал, лежит тоже набранная уже статья против меня. Господи! — год уже не печатаюсь, чего им еще надо?

Вообще же сейчас бы работать, работать — масса разных замыслов. Вместо этого приходится заниматься разными мелочами и беситься.

Плохо, что и тебя начинают корябать. Как дела в издательстве? Недавно приходила ко мне старуха-актриса из Новгорода с собакой. Большая рыжая собака. А старуха влюблена в меня. Я ее культ. Читает все, что у меня выходит. Очень много говорила о Пскове и соблазняла меня туда поехать. Наверно, поеду, а из Пскова — в Лен-д.

А я был больной, глухой, несчастный и совсем не радовался этой актрисе. Что слава? Слава — дым. Заруби это себе на длинном, пьяном, красном носу.

Меня почему-то вдруг стали передавать на границу — на Запад. Было уже 6 или 8 передач, в которых расписывается мое житье-бытье и инсценируются мои вещи, гл. образом «Голубое и зеленое». Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь!

Напиши, старик, мне длинное, хорошее и печальное письмо, без зубоскальства и твоих грубых хохм. А?»

21.06.58.

«Витя! Очень тебя понимаю (если ты не фармазонишь). Понимаю, т. к. тоскливое состояние у меня редко когда пропадает. Отчего бы это? Кровь гнилая у нас, что ли? Да не с чего — мы не аристократы. Деды мои землю пахали. Правда, оба были алкоголиками — может, от этого? А может — умствуем лукаво? Но, милый, как и не умствовать — такая уж профессия окаянная. Да, но вон Горький же не хныкал! Это ты верно — жить мы как-то не умеем, бодрости мало, силы — до Мартинов Иденов нам как до неба. А учиться... Что же учиться? — жизни не научишься, я так понимаю, пример благостный не поможет, тут должна быть у самого где-то глубоко струя, что ли, биться, кипеть.

Все-таки институт вещь великая и много мне дал: систематическое образование, споры, дискуссии, семинары и т. д. и т. п. — все это было очень здорово. Тем более, что

учился я в 53, 54, 55, 56 и т. д. годы, т. е. годы сам знаешь какие. А пять лет пролетело уж как быстро, вроде ничего и не сделал, вроде и не начинал еще жить.

В Псков я пока не поеду, у меня тут накатила здоровенная неприятность. Осенью я первый раз оглох после вирусного гриппа и долго не проходило, долго лечился, наконец стало прилично. А в Поленове снова простыл, приехал в Москву с воспалением среднего уха и теперь опять глохну. Правое еще слышит кое-как (достаточно для того, чтобы разговаривать и как-то реагировать на окружающее), а левое совсем будто заткнуто пробкой. Лечусь, да мало толку. Так что пока из Москвы никуда трогаться не стану.

Книжка моя в «Советском писателе» окончательно ушла в набор — гора с плеч. Выйдет, наверное, осенью, в октябре-ноябре. Подумываю сейчас о новой книжке, да не знаю куда сунуться. Уж больно сейчас все напуганы, просто хоть бросай писать. Однако пишу кое-что.

Ну, друг мой, я кончил институт. Вчера был последний гос. экзамен по русской литературе. Получил я пятерку (последнюю в жизни пятерку), и на этом студенчеству моему конец. 25-го вручат дипломы... и с этого дня будем предоставлены каждый сам себе. Свобода? Аллах ее знает! Я еще толком не разобрался, рад я тому, что кончил, или не рад».

6.09.58. Нижняя Золотица.

«Живу я сейчас черт те где! Заперся и ничего, кроме изжоги, не испытываю. И зачем я сюда заперся? А все, понимаешь, мой благородный дух — должен я быть с народом и для народа, не то что ваш брат шелкопер, сидит у себя в Питере, книгами обложился, пописывает о Чехове, а вечерами имеет прекрасный марьяж и где? — возле площади Искусств! Стыдно! Чехов вон на Сахалин поехал, а я на Белое море — мы с ним писатели...

А здесь — тоска, брат, холод собачий и голод, семги-то еще и не пробовал, вижу только каждую ночь северное сияние.

С горечью убедился я, брат, что все суета сует и что вообще жизнь каждого из нас стремительно идет на коду (ты, свин, даже не поймешь, что значит идти на коду).

В Питере у вас уж я не испытал того, что испытал в 57 г. И никогда, никогда не испытаю! Вот написал и даже

в глазах зашипало. Так же и здесь. Чтоб я теперь поехал куда-нибудь два раза в то место, где был счастлив, — да будь я проклят!

Есть у меня мыслишка забраться к ненцам, они тут, говорят, близко — км в 50 всего, а этого я еще не видал.

Поживу у них, если поеду, поем оленятины и кислой рыбки. О-го-го!

Слушай, я вырос в собственных глазах: читал гранки в Архангельске, есть у меня рассказик «Поморка», так это такой рассказ! И вообще я молодец, даром что эпигон и декадент, как утверждают в Москве».

26.09.58. Архангельск.

«А что значит, лопух, быть гением! Вот я сейчас сижу в гостинице «Интурист» и окна на Двину. А все почему? Потому что какая-то тетка обожает меня и устраивает мне всякие брони (у нее связи и вес). А все почему? — потому что я гений. И еще: в то время как ты делаешь из своего Росомахи профорга, я получаю деньги зазря и разъезжаю по свету *без всяких обязательств* — понял, ты, мизерабль?

Арап, я побывал в горле Белого моря, я хотел пройти дальше — в задний проход, — но встал поперек горла и поэтому вернулся в цивилизованный мир. Но как! Я вернулся пешком, отмахав неисчислимые сотни верст по берегу, в кровь сбив ноги и разбив сапоги. Арап, я купил себе ружье за полста, времен Очакова и покоренья Крыма, и патроны времен русско-бельгийского патронного завода. Я шел местами пустынными, преодолевал горы и оглашал леса и доли своими выстрелами.

Ты где-то утверждаешь, что берега Белого моря голые, а здесь ничего голого нет, все красное, великолепное, осеннее. Ты где-то врешь, что буксиры «посвистывают», а они режут страшным ревом, и чем меньше буксир, тем более устрашающе он гудит. Ты моря не знаешь, арап!

Я жрал семгу до отвала, и сам ее ловил, и колотил ей по глупой башке, чтобы она осознала свою необходимость людям и перестала валять дурака, я спал в таких куриных избушках, что я тебе дам, как говорят в Одессе, и по ночам вокруг избушек стучали и брякали медведи (это не ради красного словца, а действительно; они приходят к морю и подбирают внутренности рыбы, ошкеренной рыбаками).

Я жил на Вепревском и Зимогорском маяках и всюду толковал о тебе, арапе, выдавал тебя за старого трансат-

лантического волка и обещал от твоего имени книжки. Кланяйся, подлец!»

19.11.58. Москва.

«Я только что вернулся из Пицунды, оставив там маму до Нового года. Проводили мы время блистательно. У каждого есть особенно приятные минуты в жизни, так вот — мое пребывание в Пицунде — одна из приятнейших моих минут. Мы там собирали грибы (маслята, рыжики, грузди и опенки), жарили оных и солили. Мы загорали и купались.

Кроме того, я перепечатал свой северный дневник, вышло любопытно и даже настолько, что я хочу обмозговать тут нечто вроде заметок писателя.

Наконец, я занялся детской литературой и состряпал четыре крошечных рассказа для детей. Для совсем маленьких детей. Слушай, кэп, это удивительно приятная и захватывающая работа — делать детские миниатюры. Нужно без конца самоограничиваться и обходиться без эпитетов, многоглагольности и т. п. штук литературы для взрослых. Я начинаю, например, один рассказ так: «Жил я как-то у лесника и пошел на охоту». Написав это, я чувствую умиление перед собой и русским языком, вытираю слезы и пишу следующую фразу».

Скучный Пришвин уверяет, что сказка — это выход из трагедии; что она питается детством, детство — здоровьем, здоровье дается землею и солнцем; и что человеку надо вернуть себе детство, и тогда ему вернется удивление, а с удивлением вернется и сказка...

Итак, надо вернуть себе детство.

А если его не было?

За четверть века нашей переписки вы не найдете у Казакова ни одного детского воспоминания.

Я лично никогда не любил даже сказок, не слушал радиопередач «Пионерская зорька» и не читал детских книжек. И чтобы компенсировать свою неполноценность и не отстать от Казакова, заплыл в море Дейвиса, где от тоски и зубной боли сочинил нижеследующий дидактический рассказик. Далеко и долго пришлось мне за ним плыть!

«У меня, дети, нет детей. И потому, братцы вы мои новорожденные, я вас нынешних знать не знаю. Кто же вы такие, обезьянки вы мои: ненаглядненькие, тютеньки мои

ласковые?.. А знаете, почему у зайцев носы розовые? Розовые носы у зайчиков потому, что они на завтрак розовую морковку — хрум-хрум-хрум!.. Спите, мои сладенькие, спите, мутноглазенькие, — баю-баю-бай!.. А видели мультик про то, как кузнечик кушал травку? Потом его самого съела лягушка и от удовольствия запрыгала. Хорошенький мультик, добренький. Но все это чушь и муть, дети! Правда, лягушка кузнечика проглотила, но это не значит, что съела. Он у нее в прохладном, тенистом животике резвится и прыгает, прыгает, прыгает! Что тут лягушке остается делать? Она, дети, тоже прыгает. Все ходят, ползают, бегают, летают, а лягушка вечно — прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Кузнечик в лягушке прыгнет или подпрыгнет, и лягушка вместе с ним — прыг! А чего ей, дети, остается-то?.. Ничего не остается! Вот какие дела бывают на белом свете, братцы.

Ну, а почему летают птицы? Это главный секрет, тютеньки мои ненаглядные. Я тихонечко шепчу вам прямо в растопыренные уши: белые птицы летают по синему небу потому, что им так нравится!

Вот и все, ребятки, прощайте. Ваш дядя Витя».

Надеюсь, что, прочитав этот колыбельный шедевр, современные новорожденные сразу и крепко заревут.

31.07.58. Белозерск.

«Друг мой! Хочу еще раз поблагодарить тебя за гостеприимство. Очень рад был побыть в Л-де и испытал истинное удовольствие от лицезрения твоей физии и от чтения твоих рассказов. Ругаю себя только, что так непростительно долго задержался, больше не буду, убей меня бог!

В Белозерске мы натолкнулись на единственного здесь армянина и остановились у него. Озеро прекрасное. Когда поедешь, то вдоль шлюзов (от Вытегры) надо идти пешком по берегу — пароход отстанет от тебя и догонит на 26 шлюзе. И нужно не пропустить изумительный участок Вытегры: после всех шлюзов и прочей гадости идут вдруг такие берега — ахнешь. В Белозерске надо остановиться и отсюда махнуть в Кириллов (Белозерско-Кир. монастырь), а оттуда уже продолжать путешествие. Кроме того, надо съездить на Онежском озере к Кижам и Повенцу.

Рассказ свой — о Лермонтове, «Звон брегета» — я забросил, буду писать другой, о бакенщике.

А скорее всего ничего не буду делать, а просто уеду на Север. А ты идиот, что не захотел ехать с нами. Ну и гнии в своем Л-де! (Подумай, кстати, как будет повелительная форма от глагола *гнить*.) Гнью? Гни? Гнии? Или — гений? Вот тебе и наш могучий русский язык! Так же точно нельзя образовать деепричастий от множества односложных глаголов: ржать — ржа? петь — поя? *Пить* — *пья*? «Конецкий сидел у профурсетки, пья кофе с ликером».

Ну, будь здоров! Я глубоко оскорблен несовершенством нашего языка и не стану больше писать. И еще я видел на Беломорском канале великолепную шхуну и долго сидел, плюя в воду, воображая, что скоро-скоро ступлю на борт такой же. Прощай, моя Чирома!»

23.09.59. Москва.

«Привет, бродяга, кэп! Новости: был в «Октябре». Рассказы мои идут твердо — это в сборнике о молодых: «Легкая жизнь» и «Звон брегета». А твой Чехов ¹, зануда, идет, но не твердо. Он под сомнением. В нем (не в пример моему Лермонтову) слишком выпирают источники. Слишком нету своего взгляда на этого хмурого представителя светлой литературы. Я, конечно, тебя защищал. Я говорил, что взгляды есть, а что, наоборот, источников нету. Я говорил, что ты вообще ничего не читал о Чехове, что ты и Чехова не читал, что там все придумано, — как же могут выпирать источники?

Как твои тигры и львы? Небось уже операторы протирают окуляры, чтобы снимать их? ²

Вчера отвел душу: посидел со Светловым. К нему пристали двое поэтов. Одному он сказал так: «Слушай, старик, ты — гибрид Буденного и Молчанова» (поэт этот был усатый). Тот обиделся и ушел.

Второй поэт начал извиняться и вымолвил: «До свидания...»

— В этих двух словах твоих есть глубокий смысл, старик, — ответствовал Светлов, и я поперхнулся кофе. Потом я побежал за знакомым композитором — слепой баянист, — приволок его, он заиграл что-то, Светлов заплакал, сочинил экспромтом слова для песни, слепец сочинил музыку, я ее спел, и все это было записано на магнитофон.

Дивная песня получилась. Конец ее такой:

А лежит покойничек
Всех живых милей —
Получал покойничек
Четыреста рублей».

¹ Рассказ о Чехове «Две осени».

² Кинофильм «Полосатый рейс».

4.09.59. Петрозаводск

«Задним числом вспоминая твоего «Маньку»¹, я все больше волнуюсь от того, как этот рассказ мне нравится.

Зачем же тебе опять море? Зачем бросать кровное дело? Пусть море снится тебе, как мне музыка. Тебе надо забираться поглуше куда-нибудь и работать, работать...
Одному!

Я вижу тебя за машинкой, обложенного книгами, как в прошлое лето. Брось думать о море, думай о рассказах, о маленьких городках, в которых у тебя ни души знакомой, и теплая комната, и машинка, и окно в сад, и времени мало, и так о многом нужно сказать.

Какие мы все-таки хорошие люди, а литературная жизнь так тяжела, и столько надо сил...

Маму отправил? И теперь небось духаришься? Утихни и думай о поэзии».

¹ «Манька» — мой рассказ «Если позовет товарищ...». Казаков называет его по кличке-имени главного героя. Был напечатан в журнале «Знамя» (1959, № 10).

29.09.59.

«Старик, я снова убитый наповал Паустовским и женою его, а больше всего их дочкой, княжной Волконской. Эта дочка присутствует во всех его поздних рассказах. И в «Ночном дилижансе», и в «Повести о лесах» и т. д. Она окружена ореолом поэзии. На нее страшно смотреть. Она его муза. Я в нее влюблен — издаля, робко, тайно и уже много лет... А она, собака, полтора года назад взяла и вышла за князя Андрея! Я чуть не помер тогда. А сейчас вот увидел и сердце болит теперь.

Ну ничего, писать лучше буду. Я займусь полнейшим и тихим самоотречением — вещь занятная, болезненная, но поэтическая, т. к. пары в душе скопляются и требуют словесного выхода, и получается иной раз неплохо. Так я Арктура написал, да и другое кое-что.

Торчу в Тарусе. Главное это, конечно, что работа у меня все-таки ни фига не идет вот уже почти три месяца. В этом главное.

Не грусти, старик! Вообще не должно быть в нас отравы — в рассказах пожалуйста, но в душе мы должны быть крепки, как кокосовые орехи. Как бы это только приобрести — крепость?

Кстати, знаешь ли ты, что такое безработица? Это прямо кошмар в еврейском гетто. Вроде бы мы все проклинаяем труд, а отыми его у нас — и жизнь нехороша. Я это испытал, когда музыкантом был: джазы разогнали, а в симфонических оркестрах не было вакантных мест. И вот теперь нечто вроде этого».

ПЕРЕВАЛИЛО

ЗА

ТРИДЦАТЬ

1.10.59. Москва.

«Да! Все вы прохиндеи, это я давно хотел тебе сказать. Меня избрали знаешь куда? В Американское общество «Платформа». Члены этого общества раз в год собираются в Вашингтоне в каком-то Шелатон-парк-отеле и пьют там разные джинфизы, виски и бренди. Членов там всего-навсего сто. А среди членов — самые великие люди. Они мне привели список некоторых членов, живых и мертвых. Вот я тебе сейчас его перепечатаю.

Теодор Рузвельт, президент общества Линдон Б. Джонсон, мадам Шумэнн-Хайк (?), генерал Джемс А. Ван Флит, Вильям Говард Тафт, Франклин Д. Рузвельт, Д. Эдгар Гувер, Джон Ф. Кеннеди, Вудро Вильсон, посол Чарльз Малик, Марк Твен, Джек Лондон, адмирал Х. Риквер и др.

Меня только Гувер смущает: все-таки, понимаешь, шеф ФБР — о чем я с ним буду разговаривать? И сенатор Тафт — тоже. Закон там какой-то антипролетарский придумал, собака. А так компания ничего, подходящая. И всего 12 долларов годовых взносов. Отдай, не грехи!

Вот так, прохиндеи, все-таки когда я помру, разные там президенты и рокфеллеры на очередном заседании почтят мою память минутой молчания и почтительным вставанием.

А тебя кто почтит?»

9.11.59. Москва.

«Видел Поженяна и поругался на почве нашего к тебе отношения. Он говорил, что обнаруживает в тебе силу, а я — наоборот. Он этого не понимал и говорил, что ты сильный человек. А я говорил наоборот. Потом я ушел, ибо задумал нечто грандиозное.

А задумал я, дядя, не более не менее как возродить и оживить жанр русского рассказа — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Задача гордая и занимательная.

Рассказ наш был когда-то силен необычайно — до того, что прошиб даже самонадеянных западников.

Давай, дядя, перестанем льстиво и робко думать о всяких Сароянах, Колдуэллах, Хемингуэях и т. д. Иначе — позор на наши головы!

Читал ли ты Панову в № 10 «Октября»? Очень хорошо! Только это не рассказы, конечно, а главы повести, еще недописанной. А вообще пахнуло на меня войной от ее вещичек.

Вообще появляются у нас приятные штуки, и от этого хочется что-то делать и вообще жить. Старикуну снятся львы!»

21.03.60.

«Вчера «Знамя» заказало мне статью о тебе. Вот так, старик. Теперь ты закури сигарету, прищурь правый глаз, сядь за машинку и напиши мне большое письмо, в котором изложи свое кредо, то, чего ты хотел и хочешь сказать своими рассказами. Я это прошу потому, что могу не точно тебя понимать, да и никто, вероятно, так не знает, чего, собственно, хочет писатель, как этот самый писатель.

Видно, доля моя такая — поддерживать своим могучим словом всяких таракашек, копошащихся в ногах литературы.

А в общем я рад, что могу тебя поругать, стервеца, держись, старик, полетят от тебя пух и перья!

Рассказ я кончил, называется он «Осень в дубовых лесах». Вышел ничего себе, хотя я сейчас не могу судить о нем, нужно время для его осознания. Получилось что-то около печатного листа...

В «Знамени», кажется, берут «Адама и Еву». Но есть замечания. Какие — я не знаю. Если эти замечания будут

ставить смысл рассказа с ног на голову, я, конечно, не стану их выполнять. Себе дороже.

В Москве было собеседование с молодыми, с которыми говорил Щипачев. Мы тоже выступали и требовали: 1) посылать нас за границу 2) омоложить за счет нас редколлегии толстых журналов».

4.06.60. Поленово.

«У нас померли Ю. Олеша и Б. Пастернак — на похоронах последнего я был.

Делаю повесть, старик, с убийством и кровью.

А знаешь звук, с каким земля сыплется на крышку гроба? Ничего себе звучок! Так что не грусти, старикан, худшее у нас впереди, а пока что жить можно.

Толковый я оптимист?

Однако вкладываю красивые открыточки. Вот одна из комнат дома Поленова. Сейчас я мучаюсь над рассказом-поэмой об этом доме. Только хозяин у меня — композитор: музыкант мне ближе.

А вот Поленово на Оке. А там вдаль за каменистыми карьерами — Таруса, где живет К. Г. Паустовский. Видишь, какая прелесть. В саду у Паустовского я посадил 15 дубов. Через лет семьдесят поедем посмотрим, ладно?»

«Дорогой мой, славный мой горбоносый Юра Казаков!

Я сегодня твое Белое море прочел, и совсем я скис и опустился. Как-то так нечего мне на бумагу пыряться. Мы тут с Игорем Кузьмичевым закапали слюнями весь дом.

Я сразу лоцию достал, старую, тридцать второго года. Лоцию Белого моря, со словарем поморских слов. Больше таких словарей (это составлено в основном из записок поморов, из словаря Рейнеке и морского словаря Вахтина) нигде, старый ты пес, не достанешь, как в старых лоциях. И вот эта лоция (в ней и все поморские названия румбов с происхождениями их), вот эта лоция принадлежит тебе. И тебе надо ее получить до того, как сдашь в печать свою рукопись. Понимаешь? Но она тяжелая очень, толстая. На почте надо ее посылкой отправлять, что ли. Да и не знаю я, где ты сейчас находишься, каков твой сегодняшний адрес.

Срочно сообщи его, и я перешлю с проводником в «Стреле», как только сговоримся.

Я эту лоцию у капитана спасательного судна в 1952 году украл и таскал ее с собой черт те где, и она очень замусоленная, а от этого еще более симпатичная. И я ее тебе очень хочу — скорее переправить.

Словечки-то какие — оближешься!

Бузурунка?	Грубый берег?
Браница?	Долонь? (Пясть?)
Бурга?	Дрогнула вода?
Всплывает берег?	Яснец?
«Вверх! В Русь!»	Ярок?
Голомеее?	Рубан?

О Паустовском. Никак забыть не могу, что у него в описании белой ленинградской ночи герой в Фонтанке отражение звезды видит! Ночь на то и белая, что ни звезд тебе, ни планет, ни комет! Будь счастлив!

30.10.60. Виктор».

15.01.61. Москва.

«А я сценарий кончил. Гениальными мазками набросал монастыри, сумерки, людей и прочую бодягу, вверх режиссера в сумеречное состояние — и умылся. Теперь душа с них вон, если даже не возьмут, то хоть аванс мой, фиг они его теперь с меня требуют.

Но — есть слухи — нравится. Ромму и каким-то даже хлюстам из сценарного отдела. Завтра худсовет. Я пойду. Я, старик, пойду. И такого им там выдам, если они что-нибудь мне будут плести, какие-нибудь там поправки, так вот я такого им выдам, что этот день войдет в историю кино.

Я получил письмо из Праги от Кадлецовой.

В свою очередь я ей написал, что ты, хоть и бездарен, — достоин все-таки ее внимания и что у тебя выходят в «Знамени» «Завтрашние заботы» и пусть она ее переведет. Вот что я ей написал.

Мой «Северный дневник» перенесли в № 3 — таким образом ты лишился мощного конкурента, а журнал (т. е. номер 2) обеднел. Все из-за проклятых художников. Они затаили, а теперь типография не успевает сделать клише ко второму номеру. Грустно это.

Сучков о тебе очень уважительно отзывается, это хорошо, хотя я ему и написал, что тебя не стоит уважать, подумаешь! Я очень злобный и завистливый человек.

Приезжай в Москву в начале ноября, звони мне. Надо бы устроить свидание с Кожевниковым и Сучковым и выложить им наше кредо, чтобы знать, что они возьмут и насколько на них можно рассчитывать в смысле печатания.»

16.05.61. Коктебель.

«Старик, спешу поделиться с тобой своей радостью — ибо больше не с кем. А ты поймешь ее, эту мою радость, где-то ты ее поймешь. Кстати, ужасно заразное слово это «где-то», его у меня вдруг обнаружилось в рассказах — как вшей на покойнике. И я его давлю. Так вот, повторяю, ты поймешь, почему я сижу сейчас за тремя бутылками пива и за таранью, рву ее зубами, жую, пускаю на грудь себе слюни, подбираю их и пью пиво, круто посоленное. Кстати, не задумывался ли ты, как писать: «посоленный» или «посолённый»? Из-за этого загадочного слова появление на свет моего рассказа «Трали-вали» задержалось ровно на три дня. Я ходил вокруг машинки, изредка бегал в клуб и все думал, как написать? Там у меня в первой фразе есть слово «недосоленной». Так вот я не знал, как его посолить.

Короче говоря, собака прибежала! Она прибежала, вернее — пробежала, и это произошло в рекордное время — три часа! Ура! За три часа, старик, я отгрохал рассказ и тархтел на машинке так, что над моим окном собралась вся улица. Размер этого шедевра 10 стр.¹ Но этого мало! На другой день, разъярившись, я сел за новый рассказ и затьмутараканил его за шесть часов. Мало того! Сегодня я сел за машинку и, стуча на ней, как на кастаньетах, нашелкал еще пять тысяч слов и обрел новый рассказ про войну. Старик! Я плакал, пища его, я сморкался одной рукой, а другая рука в это время выбивала глаголы и существительные.

Три рассказа, старик, за три дня! Теперь я, как падишах, пью пиво и жру тарань. Я начал на всех хемингуэев и разных прочих. Теперь я могу ехать на Север. Сегодня я долго думал, кому послать телеграмму о том, что у меня столько изумительных рассказов. Я сперва хотел в «Огонек», а потом — «Литгазету», потом — в «Знамя». А потом я раздумал, хотя эти рассказы жгут мою душу и требуют немедленного опубликования.

Ах, ах, не те времена, старик! Если бы это были ранние времена, то в «Новом времени» появилась бы заметка: «Знаменитый писатель Ю. Казаков, который сейчас

находится в Коктебеле, закончил четыре новых рассказа. По слухам, право первоиздания он предоставил газете «Правда». Читатели с нетерпением ждут опубликования новых шедевров гениального русского писателя, о котором Толстой сказал, что он второй Толстой. Соб. корр. Трахман». Анонсы, авансы... Все приятные слова, кстати, кроме «алиментов», начинаются на «А». В Бухаресте полно магазинов, которые называются почему-то «Алиментаре», что приводило наших женщин в восторг.

Да! Знаешь, Витька, мое поведение повергло моих хозяев в уныние и испуг. Я не сказал им, конечно, что я писатель. Они привыкли к отдыхающим. Они привыкли, что нормальные люди встают утром, завтракают и идут на море до обеда, потом они обедают и идут опять на море и т. д. И вдруг появился тип, который не выходит из комнаты совершенно, ложится спать в три часа, встает в семь и издает подозрительно щелкающие звуки. Они потребовали с меня паспорт и залог 10 руб.

А как тебе понравится такая деталь? «Телята с наслаждением паслись на седых озимых и часто мочились, задирая хвосты и расставляя курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна обрызганной молодой ржи». Дело происходит в осенние заморозки. Это я сам придумал, ей-богу!»

¹ Рассказ «Вон бежит собака!» («Знамя», 1961, № 9).

Этот рассказ был той каплей, которая выплеснула из меня пародию под названием «ОЙ ТЫ, СЕВЕРНОЕ МОРЕ»:

«— Все мы на земле странники,— говорил пожилой бородатый, одетый в армяк, слегка испачканный кровью барана, горбоносый, гнусаый, с залысиной на затылке колхозник из села Ромашкино: села, что раскинулось, сжалось, разбежалось, примедлилось по-над берегами Белого моря, среди темнеющих к вечеру елей, пахнувших странным, тревожным, дурманящим морским запахом.

— И то верно, милоч,— соглашалась с ним пожилая, морщинистая, слегка испачканная коровьим навозом, с перебитым носом седая колхозница.

Они тянули невод из холодного моря, на которое опрокинулось холодное небо. От моря тянуло запахом моря, воды, водянистым, мокрым, влажным, подмоченным запахом.

По берегу бежала собака, оставляя за собой мелкие, острые, быстрые следы своих мохнатых, когтистых лап. Собака бежала совершенно слепая, ее окружал, опушивал, начинял запах дичи...

— Вон бежит собака,— пробормотал кто-то из них и бросил невод. Собака блеснула странным, старинным, диким, слепым глазом и промолчала.

А море все говорило свое, извечное, непонятное, лизало холодные берега. И смешно было, странно, глупо, невесело смотреть на людей и собаку, когда рядом говорило свое извечное северное, белое море». (Литературная газета, 1962, 15 декабря)

Твардовский сердился на Казакова за «слишком усердно эксплуатируемую детализацию всевозможных запахов», ибо считал эти запахи эпигонством — от Бунина. А дело-то в том, что после потери слуха и только частичного его восстановления у музыканта Казакова, лишившегося музыки, начали обостряться другие органы чувств — в первую очередь обоняние. Потому он и про собак так любил писать.

Никому из читателей нет дела до болезней писателя. И коли в прозе слишком много запахов, то это будет раздражать. Но вот только Бунин здесь не виноват.

23.01.62. Москва.

«Ты объявился в варшавском сборнике сов. рассказов со своим Росомахой, я — с Манькой. Плохо, что они не платят денег. Все равно! Смотри на это в высшем смысле. Это, знаешь ли, некоторая честь — доказывать полякам, немцам и прочим шведам, что наша литература существует и что она вовсе не дала дуба, как в этом уверены некоторые прочие шведы. Это есть миссия. Нам надо не учиться у них писать, а учить — и к этому идет, раз вышли на европейскую арену такие писатели, как Виктор Конецки (это тебя так по-польски именуют — Конецки. При каждом новом переводе они будут отбрасывать от твоей фамилии по букве, пока не останется Конец.)».

Читал я и статью о тебе в «Литгазете», очень тебя поздравляю, ничего особенного в ней нет, но все-таки хорошо, что они тобой заинтересовались. Конечно, ты и тут не утерпел и слизнул один свой рассказ у меня, другой у Нагибина. Кстати, напиши Нагибину, и пусть он вышлет тебе бутылку коньяку — я-то помню, что не ты у него, а он у тебя слизнул свои «Пути-дороги», а вот видишь, как оборачивается. Ну, а я тебя прощаю.

Был я на Севере, очень славно съездил, и теперь с наругой ворошусь в своих записках и пишу не более не менее как путевые очерки и не более не менее как листа на четыре. Не все тебе писать пухлые рассказы, надо и другим...

А Панова-то в Америке была. Небось там коктейли пила где-нибудь в Чикаго. Ах, ах!

И почему-то охота про свадьбу написать, да меня Яшин обогнал, написал в «Н. мире», а я прособирался. Еще в прошлом марте видел в одном дворе, здесь в Тару-

се, как свинью свеживали, она уже опаленная была, лежала возле сарая всеми четырьмя ногами к небу, вся такая сливочно-белая, с красным разрезом по брюху от горла до заднего прохода, а потом как-то на память пришла свадьба сестры — там свиньи не было, но другое было, и тоже зимой выходила, вот я и надумал это дело соединить и показать свадьбу в натуре, март, мороз, солнце, лошади, газики и проч., а Яшин, собака, обогнал, теперь скажут, вот у Яшина про свадьбу — и этот туда же. И еще охота написать про старика, который смирный был и помер. А я у него на могилке сижу.

Член Европейского сообщества писателей,

Член редколлегии журнала «Молодая гвардия»,

Автор Бостонского издательства «Мэнсфил энд Хаупер»,

Автор Пэртизен ревью и проч.».

НАМ

ВСЕ ЕЩЕ

ЗА ТРИДЦАТЬ

18.03.62.

«Я сейчас в Тарусе, и за десять дней написал очерк про Закопане — так себе, пустичок — и рассказ. Рассказ небольшой, но препоганый.

Одно только хорошо, что на лыжах хожу, хотя и тяжело мне со своим брюхом и шеей по горам карабкаться. Однако есть еще порох в пороховнице. Погода хорошая, мартовская, наст крепкий, морозы и солнце — словом, весна.

Я тут просижу, наверное, до лета, т. к. давно не работал, много надо написать, даже просто в денежном смысле (а то потом подопрет безденежье и запаса никакого не будет).

«Странник» издан отдельной книжкой на Украине. Вот это да! Перевел я повесть с якутского. Ю. К.»

«Поздравляю тебя с переводом якутской повести.

У меня есть брошюра: «Окот тонкорунных овец в осенне-зимний период» на туркменском языке — не пе-

реведешь ли, а? По-моему, ты уже созрел для этого. Стал, как говорится, достойным.

Мама опять упала, расшибла копчик, лежит и читает «Юманите», а я сейчас пойду на рынок покупать курицу. Всучат мне, конечно, петуха. И я к этому внутренне готов, но мама, вероятно, нет.

Целую тебя с отвращением, потому что терпеть не могу запаха перегара.

Твой В. Конецкий. 25 марта 62 г.»

7.06.62. Таруса.

«Настроение бодрое, не пью. Тут старик, который собирается в Польшу и в Италию сразу, и мозги у него раскорячились, куда ехать. В Калуге выходит, т. е. собирается выходить сборник, в котором подбор авторов на удивление, в котором должен быть и я со своими мученическими рассказами. Авторы такие: Паустовский, Окуджава (повесть), Слуцкий, Мартынов, Винокуров, М. Цветаева и кто-то еще из хороших.

Радуюсь, размышляю над повестью. Странное дело, она у меня вылупляется из военного рассказа, который я писал в Коктебеле, очень выходит необычная — с философией, прошлым, настоящим и будущим и называется так: «Возраст Иисуса Христа». Герою теперь 33 года, герой этот в большой мере — я. О ком же писать кроме?

Лето дивное пока, жара и медленность, мечты у меня оглушительные: уйти на неделю с женщиной в природу, с палаткой, котелком, удочкой. Господи! О, господи!

Прочел только что «Черный обелиск» Ремарка. Прекрасно, что есть такие писатели, что есть мысли, добро, бог. Мир не пропадет, старик, это я тебе говорю. И мы с тобой тоже должны надрывать пуп, чтобы он не пропал.

Северный мой дневник выходит отдельными книгами в Польшу и Чехословакию, я рад чрезвычайно, не за себя, я уж привык, а за Мезень, за рыбаков, за Белое море, что про них узнают, услышат лишний раз в Европе.

Таруса превращается в Барбизон. Нашествие писателей и художников. Приедет на неск. дней Нагибин с Беллой, приедет Ю. Трифонов с чехами».

12.06.62. Таруса.

«Морда! Во-первых, слово «Виселица» пишется так: «Виселица» — такой неграмотный обалдуй еще находится

со мной в переписке! Во-вторых, тебе бы давно пора стать моим биографом и писать обо мне рассказы наподобие «Двух осеней», а ты грубиянничаешь в письмах, пользуешься моим добрым большим сердцем.

Рассказ я твой прочел¹. Ничего рассказ. А если серьезно, то он двойственный какой-то. С одной стороны, забирает крепко, потому что в каждом мужике, да и в женщине, наверное, сидит эта сволочь с зелеными глазами (ревность) и когда он читает о таком, то как-то даже нехорошо ему, даже в том случае, если у него на этом фронте все в порядке. С этой стороны рассказ сильный — и даже ты его чересчур накалил, так что те места, в которых ты обращаешься к пейзажу (на последних страницах), хочется пропустить, а это плохо, в рассказе должно все читаться от первого до последнего слова. Это в детективах только пропускаешь пейзаж.

С другой стороны, какой-то он не «всеобщий». Тут я затрудняюсь, как это назвать и объяснить. Но бывают рассказы-всеобщности и бывают рассказы-частности. Как ни здорово, а — частный случай. И на меня не распространяется. Хотя измена и т. п. случай вовсе не частный, а так называемый вечный. В этом смысле рассказ о Росомхе у тебя во сто крат всеобщней, хоть герой там — человек судьбы исключительной, а здесь вроде бы сама обыденность».

¹ Мой рассказ «Еще о войне» («Знамя», 1962, № 11).

Этот рассказ и сегодня я считаю лучшим из написанного по качеству прозы. Но качество достигнуто, сделано чересчур сознательно. И Казаков бьет в яблочко.

Художественная проза и называется художественной потому, что она должна быть красивой. Эстетическое должно возникать ощущение. И тут без музыкальности не обойдешься.

У Спенсера: «Но если бы и не было доказано, что речь ритмическая происходит от языка волнения, то, несомненно, она ведет к волнению — к чувству эстетического наслаждения, зависящего от той легкости, с которой воспринимаются сознанием объединенные ритмом элементы речи, от той экономии энергии, которая достигается при этой работе».

Для меня очевидно, что ритмическая речь происходит от «языка волнения».

Именно тогда, когда я глубоко взволнован обдумыванием рассказа, во мне возникает ритм одной или нескольких фраз, соответствующий «качеству», «виду» моего волнения, отражающий «качество» моего настроения. (Интересно, что сейчас, когда пишу это, вдруг увидел, что «волнение», душевное волнение,— от «волны». Как-то никогда не осознавал этого.)

Часто случается, что сперва я набрасываю последние абзацы рассказа, финал, а потом пристраиваю к нему весь рассказ. Тогда ритм, найденный для финальной фразы, уже автоматически держится на протяжении всего повествования. Я говорю, «держится автоматически», потому что он не требует специальных забот.

Посмотрите последний абзац рассказа «Еще о войне» — он был написан первым — и сравните с начальными абзацами. Мне нужно было вызвать всем рассказом ощущение «спускания» героини куда-то вниз, к вечной и медлительной, равнодушной природе.

В справочнике о такте в музыке сказано: «...прием, благодаря которому графическое изображение пьесы получает полную ясность и легкость для чтения». Замечательное определение. И не только художественная проза должна быть ритмична, но и научная, публицистическая, деловая проза, ибо ритм экономит слова и передает информацию прямо в подсознание читателя, попутно отряхивая пыль с органов его чувств, то есть эмоционально встряхивая.

Можно долго и длинно описывать, как судно плывет по реке, как к вечеру люди на нем и даже двигатель начинают работать и жить как-то странно — замедленно и приглушенно. И можно написать: «Вечернее скольжение между отражениями берегов...» Это не стихотворение в прозе и не «Чуден Днепр...». Но это сознательный прием использования ритма-мелодии в прозаическом произведении и создания с его помощью нужного настроения у читателя.

С композицией, мне кажется, связан уже не ритм, а архитектоника, то есть ритм больших кусков прозы. Сам ритм «работает» внутри фразы и абзаца, но он создает и архитектонику — чередование глав или главков.

С характерами ритм для меня связан или через диалог (если получится индивидуальный ритм в диалоге для каждого героя, то это большая удача), или, если рассказ и показ ведутся от третьего лица, то ритм помогает отделить рассказчика от автора.

И с сюжетом ритм, конечно, связан. Чем напряженнее сюжет, тем резче, отрывистее, грубее ритм. Сказанное не означает, что ты не используешь ритм «на контрапункте», то есть сознательно вводишь медлительность и плавность в самый пик сюжетного напряжения.

Вот за такой прием контрапункта меня и ругает Казаков.

А у него в те времена Игорь Золотусский нащупал такой порок: «Фраза Казакова, его интонация берут иногда верх над реальностью, и тогда слушаешь не реальность, не жизнь, а эту интонацию. Казаков музыкален. Начиная рассказ, ты уже чувствуешь первые такты ритма иходишь в него, как в поток, из которого трудно выплыть. Магии интонации подчиняется и сам Казаков. Ритм завораживает и его, и он уже не может сломать ритм, выйти из избранного напева — даже если обстоятельства требуют этого. И когда обстоятельства меняются, когда поворот их требует разрушения ритма — ибо тон их и тон прозы не совпадают, — Казаков не может преодолеть инерции: он уже пленник ее».

Такое было у Юры в ранних рассказах. Потом он вышел на полное совпадение интонации и потребного тайного смысла.

Зато эпигоны Казакова (например, Георгий Семенов) вынырнуть из интонационного самообмана не могут. К сожалению, они не только себя обманывают, но и читателя, да и многих критиков.

Сейчас стало модно переиздавать и вообще проявлять интерес к средним, забытым писателям конца-начала прошлого-нынешнего веков. Про Лейкина, Потапенко говорят, что они несправедливо загнаны в тень великих — Толстого, Чехова, Бунина. И что тень полувеликих — Куприна, Андреева, Короленко тоже их, бедных, несправедливо притушила, а темы они брали серьезные, были популярны, язык у них был вполне приличный и т. д.

Но фокус в том, что и язык может быть неплохой, и темы жгучие, и читабельность, но коли не было в господине Потапенко крупной личности, то и угодил он в тень Чехова. То есть, вернее, именно этой тенью и Ликой Мизиновой одной и существует. И Лейкин только через ассоциации с Чеховым...

Так вот Георгий Семенов есть и на его первом этапе, и ныне эпигон Юрия Казакова. И подробно доказывать это нет смысла, на мой дилетантский взгляд, конечно. Как

нет смысла, кроме как для узкого круга литературоведов, стряхивать пыль с Потапенко.

Смотрите, как замечательно крепко сказал Казаков о Хемингуэе:

«Хемингуэй повлиял на меня не стилистически — он повлиял на меня нравственно. Его *честность*, его правдивость, доходящая порой до *грубости* (так и нужно!), в изображении войны, любви, питья, еды, смерти, — вот что было мне бесконечно дорого в творчестве Хемингуэя».

09.07.62. Москва.

«Здорово, сивый! Ты мне что-то не ответил, в Москву не приехал и не позвонил. Обиделся, что ли, на мои слова о твоём рассказе? Брось, старик, не сердись. Ты Н. Н. лучше рассказы почитай. Почитай, завейся вокруг ножки стола, потом стань на руки и в таком положении пройди по Невскому. (Я все это уже проделал — только в Тарусе.)

Твои паскудные предсказания начинают сбываться. Все женщины меня покинули, писать я не могу ничего, душа скорбит, и деньги не светят. Я тут было дерябнул сразу двадцать таблеток барбамина (или барбамила) и хотел сказать всем адыю, но только прохрапел целые сутки, как сурок, и встал потом, как с похмелья. Придется, видно, и дальше писать рассказы.

Тебя бросали женщины?

Посылаю тебе фото, из которого ясно, что ты кретин, и я на тебя смотрю с великим осуждением и презрением. Это, помнишь, мы были у какого-то парня на Сретенке, года два или три назад? Так вот, он вдруг мне недавно прислал. М. б., он и тебе послал и я напрасно расходую четыре копейки на письмо?»

18.11.63.

«Я в Архангельске. t 38° (не у меня, а на улице).

Агния тебе грустно кланяется¹. Дядя Вася подает на тебя в суд за то, что ты печатно его обвинил во взяточничестве (3 рубля за вход в ресторан), он утверждает, что берет по рублю только². А про тебя говорит, что три раза тебя сбрасывали с лестницы, но ты упорно лез вверх.

Агния — прелесть, а не женщина. Я тут просто так. Вернее — вербуюсь в Гренландию.

... Твою повесть в «Н. мире» забодали³. Но ты, конечно, об этом знаешь. Я пишу просто потому, чтобы ты знал, что я был в «Н. мире»: из-за тебя был. Не пожалел 70 коп. — на такси поехал. Они сказали, что ты работаешь не в духе соц. реализма. Понял?

Да, как называются куски цепи, из которых склепана вся якорная цепь: что-то вроде «связки»? Капитан кричит: «Сколько на якоре?» Боцман вопит: «10 связок!» — Но не «связки», а как-то еще как? И вообще напиши, ладно?»

¹ Агния — выдуманная красотка-стюардесса из повести «Завтрашние заботы».

² Архангельский швейцар из той же повести.

³ Глава из книги «Кто смотрит на облака». Под названием «В конце недели» была напечатана в «Звезде» (1965, № 8).

10.03.63. Москва.

«Ну-с, схлопотал я себе Парижскую премию и воткнул всем палки ниже спины. Как-никак первый советский писатель, отхвативший премию во Франции. Понял, жлоб? Понял, владелец кадилляка? Понял, гнусный инсинуатор незабвенного Пушкина?!¹ И как ты мог написать такой рассказ? Не иначе как впав в сумеречное состояние, я так понимаю. Не видеть тебе никакой премии во веки веков, аминь!

Спасибо, дружище, за ласковое успокоительное письмо, читал я его и посапывал от чувств. Особенно где ты про скорости пишешь. Нет, серьезно — спасибо большое. Не ожидал я от тебя таких вещей.

Между прочим, знаешь что? Мы с тобой единственные, которые о чем-то думают и что-то вообще говорят о жизни и литературе. Это я недавно подумал. Как-то я припомнил все мои разговоры за пять лет, что я околачиваюсь с друзьями-писателями, и не мог ничего вспомнить, кроме одного мотива: слухи, слухи и слухи. Встретишься с кем-то и сейчас же тебе: А Твардовского снимают, слышал? А Кочетов был в ЦК — слышал? и т. д. и т. п. — до бесконечности.

У меня в рассказе «Кабисы» парнишка все хочет с кем-нибудь поговорить «о культурном, об умном», да так и не может — не с кем. Так и я.

И только ты, сивая кобыла, иногда чего-то такое бормочешь о своем комплексе неполноценности. И то мне безумно приятно.

Живу опять в Тарусе, старик. Заклинаю тебя всеми благами и богами: не покупай дома! Мне сдали на зиму дом, так я измучился с ним, дровами и печами. Это только Паустовский и Эренбург, у них истопники, шоферы и садовники. А тут сам, как раньше говорили, «прислуга на все».

«Маньку» мою за 2000 откупила Одесская студия. Будет снимать какой-то хмырь. Но они хотят ее снимать на Черном море, идиоты. Видно, ничего опять не выйдет и договор я с ними расторгну. Слушай, сколько у нас студий? Я им всем по очереди буду ее подкладывать, эту Маньку, и брать авансы, а потом забирать ее назад. Все-таки сутенером хорошо быть, а?

Рад я за тебя, что тебя хвалят в статьях. Это, правда, не так интересно, как когда ругают, зато спокойнее в издательствах, не так много рассказов выбрасывают из сборников.

Ну, будь здоров, я, м. б., в Питер приеду дня на два-три в конце марта. Ты там будешь? Привет твоим. Ю. К.»

¹ Рассказ «На весеннем льду», включен в сборник «Луна днем» (Лениздат, 1963).

29.03.63. Таруса.

«А намедни мне кошмарный сон снился, будто мы с тобой охотимся и стреляем разных скворцов и дроздов почему-то — серьезно.

Наконец и к нам весна пришла и грачи прилетели, тепло, и мне с непривычки даже душно в моем доме, ибо исхолодался я в нем за зиму. А не хочешь ли с нами на охоту? В самую что ни на есть глухомань, а? Там, понимаешь, чай будет из березового сока, вальдшнепы будут летать, утки крикать, всякая такая живность, народишко какой-никакой вокруг будет метаться, слова всякие будет произносить насчет там соцсоревнования, подъема зябей и прочего. Ты ведь этого, чай, не видал, а? Глядишь, и сюжетик какой-нибудь на тебя накатит сухопутный. И командировку возьмем в «Лит. России». Они дадут. И на твоей бы машине, а? Оставили бы ее там, откуда дальше проезду нет, а сами бы на лодках или на лошадях добирались бы до места. Гляди, старик! Весна ведь раз в год бывает. А годов-то нам отпущено ой как мало. А потом бы поехали мы с тобой в Крым, недельки на две, очень я рад, что ты не пьешь, и я бы, глядя

на тебя, не пил, а повкалывали бы в четыре руки какие-нибудь прозаические шедевры, как в былое время, отвели бы душу — и назад. А там и лето, там уж всякие путешествия и прочее. А? отпиши, милый,— вот было бы славно, с Псковщины да с Вологодчины, да прямо в Крым.

Ну ладно, закругляюсь и поплетусь на почту. День больно хорош.

Будь здоров!

Посылаю тебе одну из статей, это не к тому, чтобы похвалиться, а к тому, что все-таки французы подонки, до сих пор воображают, что мы с тобой на нартах ездим и медведей стреляем, в чем публично и расписываются.

Целую. Твой Ю. Казаков.

А «На острове» — помнишь ленинградский семинар? — Наконец-то вышел в «Знамени», но в урезанном виде. Вот так, старик, шесть лет надо ждать! Учись у меня терпению».

10.11.63. Москва.

«Здоров, старик! Живой еще? Ну и молодец. Я было посерчал на тебя за «Волгу» и вообще за блудливость, что ты все канючишь, что жизнь у тебя бедная, что «Волгу» продавать хочешь, а как до дела дошло, так и наоборот. Книжки вон издаешь. Пушкина порочишь. Нева у тебя, как язык больного. Фу! Как же это ты докатился? И чего ты к языкам привязался, в другом месте читаю, что ледник — как язык дохлой собаки, а? И на карточке ты десятилетней давности. Примолаживаешься? Поглядел я на твою физиономию, Питер вспомнил в 57 году и какой я тогда прелестный был, не пил совсем, не любил, а ты тогда уже крепко дрозда давал. Но и ты был тогда прелестный — в канадке, с крабом. И рассказов еще с гулькин нос написал. И я тоже. А теперь вот написал я 10 000 рассказов про всяких милых и паршивых людей, и про всякие чудеса в природе, и про то, что должны эти люди не быть хамами и свиньями, а должны быть счастливы. И вот сто лет прошло с той зимы в Питере, в 57-го году, а людишки все не счастливы, и все хамы, и я, наверное, тоже похамел, и толку из всего этого — ровно никакого.

Как это про тебя гавкнули в «Звезде»? Что Ремарку и Хему подражаешь. Это ты молодец! Сразу двум — это уметь надо. Но до меня тебе все равно далеко, я сразу пяти подражаю, от Гамсуна до Чехова.

Старик, а я все-таки еще трепыхаюсь. Написал вот между делом рассказик. Перечитал сегодня и облился слезами, до чего хорош. И повесть пишу, надоел я всем хуже горькой редьки с этой повестью. Из радио звонят, из «Правды» звонят, из «Литгазеты» звонят, из «Нового мира» звонят, из Межкниги звонят, из-за границы пишут — все спрашивают: когда же? Но чаще всех спрашиваю об этом я сам у себя. Валандаюсь уже год, и как-то она еще не определилась у меня.

И хочу я, душа моя, приехать в Питер, ненадолго приехать, дня на два-три. Хочу тихо походить. Посидеть, кофейку с коньячком похлебать. Последний раз был я у вас два года назад. И набрел я однажды на какой-то «Поплавок», на той стороне, возле Биржи, на каком-то канальце, и как сел, поглядел в окно, как там мне открылось все, как кувырнул я, душа моя, кофейку, так и поплыл я на этом поплавке не похуже твоего радиста. Кстати о радисте. Так ты, значит, и не нашел своего отрывка, который давал мне в Ялте? Там, помнится, погуще было все и тональность другая; пристальная такая тональность.

А ведь мы с тобой и в Ялте были. Редиску грызли, весна была тогда, апрель. И сердца у нас, и желудки тогда болели. И про мам разговаривали, какие у нас мамы.

Да, так вот, хочется мне в Питер — да денег мало, и негде приткнуться поночевать, знаю я ваши гостиницы, бывал. Тут едет группа поэтов к вам что-то там такое проводить, хотел было и я, грешный, с ними, куда там! Не допустили. А денег, правда, маловато (не то что у тебя), ибо купил я машину. Вот теперь, как получу, буду на машине ездить. Весной поеду вальдшнепов бить, могу тебя взять. Я ведь теперь, после Евтушенки, стал таким охотмейстером. Все просят со мной. Вознесенский, Ахмадулина — всем лестно сопроводить меня. Так вот: не хочешь ли? Могу даже за тобой в Питер захватить. И сто очков дам тебе в смысле джентльменства. Я тебя проучу!

Только что в «Юности» отказали мне. Это все тот рассказ, где мы с тобой в Ялте¹. Не везет мне как-то. Ты вон про аресты пишешь и всякое такое², а у меня просто немножко грустный рассказ, и вот два года уже, как его отовсюду изгоняют».

¹ Рассказ «Проклятый Север», первый раз напечатан в журнале «Москва» (1964, № 6).

² Моя «Повесть о радисте Камушкине» (журнал «Нева», 1962, № 9).

Я — Казакову:

«Да, дорогой, стареем мы. И нет тут, к сожалению, литературщины. А сейчас опять у меня период беспросветности, и я только про себя ахаю — говорить, словами передать людишкам свое состояние — безнадежная трудность.

Письму твоему очень рад, однако. Хорошо, что ты там где-то есть и машину покупаешь. Свою-то я уже разбил. Врезался в трамвай на Дворцовой площади. Теперь она стоит у меня под брезентом, и я на нее даже смотреть не могу от отвращения к самому себе. И денег, и моральных сил на ремонт нет.

Сокрушил я трамвай от волнения, ибо возил по Питеру француско-русско-еврейскую писательницу Натали (Наталью Ильиничну) Саррот, которая родилась на Васильевском острове, а ныне — основоположник французского «нового романа».

Давайте-ка, знаменитости столичные, кроме основной работы, сочиним вместе, в трепе, в словоблудстве, кинокомедию. У меня есть одна задумка, которую можно положить в основу, а вокруг навертим всякого смешного, бездумного, легкого, даже анекдотичного, блестящего. Если что есть сейчас необходимого для наших читателей, то это как раз полтора часа бездумного, до колик, смеха. И сами в этой работе будем смеяться над самими собой и тем разряжать свою тоску и неполноценность. Я писал комедии и знаю, что иногда это очень самому помогает. Давайте, ребятки, а?! Одному писать кинокомедию — плохо. Нужен треп, «обговаривание».

Получил вдруг письмо от В. Б. Шкловского, заканчивает он его словами: «Я печален...» Что он из себя представляет? Я и не читал ничего пока, кроме глав из «Толстого». Старый очень? Это я по почерку сужу.

От его хороших слов мне плохо стало. Не кокетничаю и не вру. Просто знаю свой шесток и бесконечную свою «недоведенность». Нет ни одной вещи, которая стояла бы на четырех ногах. Все хромают. И как мне научиться? Опыт, количество написанного, совершенно не подвигают к цели. И это тоже гнетет. А Шкловский для меня имя очень значительное... Роба твоя в газете испитая и старая, а башку ты специально так наклонил, чтобы лоб больше казался от ракурса. Не стыдно? На такие мелкие трюки идешь!

Будь здоров! Пусть твой талант принесет тебе радость, как написал мне Шкловский.

Очень хочется увидеть рассказ о Ялте напечатанным.

Ты его прихвати с собой сюда. Дадим, ради смеха, в «Неву», а? Всяко бывает. Только почему ты его «Проклятый Север» назвал? Обидится Север и обозлится, а злить его опасное дело.

17 ноября 63 г. Твой В. К.»

Из книги Виктора Шкловского «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ» (Издательство писателей в Ленинграде, 1928):

«Гамбургский счет необходим в литературе.

По гамбургскому счету — Серафимовича и Вересаева нет.

Они не доезжают до города.

В Гамбурге — Булгаков у ковра.

Бабель — легковес.

Горький — сомнителен (часто не в форме).

Хлебников был чемпион».

Все помянутые корифеи, кроме, кажется, Хлебникова, тогда нормально здравствовали, имели — особенно Горький — крепкие, жилистые кулаки, не менее крепкие, жилистые языки и самые высокие связи...

Куда делся у нас нынче юмор?

Еще один небольшой исторический экскурс.

В 1860 году кружком бездельников-писателей в столичном Петербурге был поставлен «Ревизор».

Городничего играл Алексей Феофилактович Писемский. (Который, кстати, догоголевскую русскую прозу обвинял в «напряженности, стремлении сказать больше своего понимания, создать что-то выше своих творческих сил» — не в бровь, а в глаз мне сегодняшнему, которому очень хочется выскочить из собственной шкуры, ибо старая надоела — раз; а вторая причина — ничего-то я ровным счетом в нынешней действительности уже не понимаю, отстал безнадежно! И вот уже ловлю себя на стремлении к этакому мистицизму — там, за темнотой, можно свою растерянность укрыть и мнимых глубин достичь без больших затрат психической энергии, — но это к слову...)

Хлестакова играл Петр Исаевич Вейнберг, автор «Гейне из Тамбова», издатель журнала «Изящная литература» — лучшие иностранные авторы в переводах...

Шпекина Ивана Кузьмича, почтмейстера, который лихо насобачился чужие письма читать, изображал Федор Михайлович Достоевский.

Купца Абдулина — Ф. Кони.

Почетные лица города и полицейские — Д. Григорович, Н. Некрасов, И. Панаев, И. Тургенев...

А теперь представим себе нечто мистическое из наших дней.

Кружок братьев-писателей из СП СССР ставит для собственного развлечения в ЦДРИ «Ревизора» — этакой домашний шаловливый спектакль в узком кругу избранных москвичей.

Ну-с, губернатора Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского играет вернейший друг Юры Казакова Георгий Витальевич Семенов.

Ивана Александровича Хлестакова — Евгений Александрович Евтушенко.

Почтмейстера, дублируя Федора Михайловича Достоевского, — Олег Николаевич Шестинский.

На роль супруги городничего Анны Андреевны провется, всенепременно, Виктория Токарева.

Ее дочь Марью Антоновну — Лариса Васильева.

Попечителя богоугодных заведений — Алим Кешоков.

Петра Ивановича Добчинского — Василий Белов. Роль Петра Ивановича Бобчинского, дабы осуществить, наконец, смычку деревенской и городской прозы, возьму на себя аз многогрешный, ибо терять мне уже нечего, как вы понимаете.

Осипа исполнит знаменитый драматург Эдуард Шим.

Ну, на заднем плане в длиннополых сюртуках, с какими-нибудь сахарными головами в руках, будут фланировать Р. Рождественский и А. Вознесенский.

Простаков-полицейских исполняют братья по профессии Сидоров, Кузнецов да Золотуский.

Для самой обаятельной телезвезды — Анатолия Алексина зарезервируем купца Абдулина...

Ладно, «Ревизор» нам, нынешним, может оказаться не по зубам. Возьмем тогда «Стряпуху» или что из драматургии С. Михалкова. Тут уж должны справиться...

А знаете, мы все нынче столь серьезными стали, что за одно мое такое невинное предложение, за старомодный мой почин — призыв к писателям и поэтам коллективно поозоровать — можно и на пятнадцать суток сесть.

Боже! Сколько я натерпелся за свой бескостный язык!..

Бывает, жизнь проживешь и все не можешь объяснить некоторые, так скажем, нелепые поступки близкого знакомого. Ан на старости лет оказывается — простоват он просто-напросто.

Или — с выдающимися деятелями поэтического слова бывает — всю жизнь наблюдал поэта с некоторым даже удовольствием, ан вдруг начал поэт прозу писать. И оказывается, у мастера поэтического слова просто-напросто не было, нет и, естественно, не будет никогда элементарного художественного вкуса. И он для ради потери девицей невинности обязательно должен засунуть невинность в абсолютно голом виде в сибирскую речку, и чтобы сквозь ее мокрые волосы, в которые она, естественно, укрывает свои созревшие формы, просвечивал еще предатель-сосок, алеющий и пунцовеющий ягодными местами.

А тут совершим неожиданный кульбит в сторону самокритики.

Кто ты-то, ежели десятки лет не мог зерно от плевел отличить?

В том-то и дело, старина, что сам ты дубина стоеросовая!

Этим я только то хочу сказать, что, совершая партизанские наскоки на братьев-литераторов, не претендую на собственную неуязвимость.

ИНОХОДЕЦ — лошадь, которая бежит иноходью.

ИНОХОДЬ — способ бега лошади, при котором одновременно выносятся сперва обе правые ноги, а затем обе левые.

«На моей стене висят его грациозно графичные «Лошади».

Сам он был иноходцем культуры».

Это пишет Андрей Вознесенский в статье «Экология культуры» о художнике В. М. Юстицком. Значит, художник создавал свои «квадратные холсты медной гаммы» на четвереньках. (См.: Литературная газета, 1985, 9 января, рубрика «Писатель и общество».)

Статья начинается с темы смерти.

«Шкловский лежал на черно-красном постаменте, как золотое яйцо улетевшей Мысли».

Не буду брать поправку на то, что у автора «свело горло от горя». Виктор Борисович Шкловский до девятиности двух лет работал по гамбургскому счету, а это жестокий счет.

1. От улетевшей мысли может остаться скорлупа, но никак не яйцо. Яйца несут, сносят, или из них вылупляются. Потому с языческих времен яйца — символ новой жизни, а золотом их красят на светлую пасху. 2.

К счастью или несчастью, рукописи не горят, и мысль Шкловского никуда не улетела — она в сотне его книг.

«Пытавшиеся поцеловать его становились на цыпочки, но не могли дотянуться до лба, вознесенного слишком высоко на ритуальном подиуме».

Боюсь, не дотянуться и мне, даже вставши на стремянку, до потаенного смысла «лба, вознесенного слишком высоко на ритуальном подиуме», ибо, на мой взгляд, ни лоб, ни уши, ни скулы никуда возноситься не могут.

Однако слишком много близких мне замечательных подвижников нашей культуры поминается поэтом всеу.

Кому-то надо подставлять тупой лоб под фонтан «оригинальности поэтического мышления, метафорической насыщенности образов, идущих от индивидуального, порой парадоксального восприятия мира», — как сказано в аннотации к первой прозаической книге Вознесенского «Прорабы духа».

Само слово «прораб» (сокращение: производитель работ), вынесенное в заглавие, на 100 % урод, порождение главначпугов, которые сэкономили 25 % смысла на алфавите; сочинено спецами пятьдесят лет тому вперед, как говаривал Маяковский. И достойно продолжает словарь, начатый определением писателей технико-производственным термином «инженеров человеческих душ».

«Производитель работ» заменил эксплуататора-кровопийцу десятника, ибо тот был по Далю: «большак над рабочими, мастеровыми, низшая степень надсмотрщика, указчика, нарядчика». Но заменил плохо, ибо от «производителя работ» пахнет то быком-производителем, то обыкновенным рабом. Суть же *должности непосредственного руководителя на стройке* осталась: закрывать липовые наряды; лепить туфту, чтобы выбить цемент или «скорлупки» детских унитазов; лизоблюдствовать начальству и придавливать слабосильного работягу.

Даже от «прорабки» любого нормального человека мутит, ибо это синоним барачно-сарайно-вагонной времянки, обвешанной лозунгами. А от словечка «проработка», надеюсь, замутит к концу моего фельетона и «духовного хлорофилла культуры, выделяющего кислород», — так Вознесенский сам себя определяет. А противостоят поэту «тушители духа, углекислотные гасители», которые образуют «просто новый биовид углекислых существ». К последним желаю присоединиться и я — унылый, инертный, буквоедный Конецкий.

Тем более что хлорофилл никакого кислорода не вы-

деляет, ибо является красящим веществом — пигментом. Выделение же кислорода сопровождается процессом фотосинтеза, когда в клетках растений из углекислоты и воды под действием света, поглощаемого хлорофиллом, образуются углеводы... Уф! Как хорошо быть духовным прорабом Вознесенским, который во всем этом ни бэ ни мэ, ни ку-кареку! Но так и сыплет словечками учено-электронно-космического века: «судьба художника бурная, как теле-серия»; «разрушенный калорифером столб», «преступное состояние водовода», «аварийные точки», «транзистор идеи», «культуру оттирает информация», «живопись фосфоресцирует подобно подводным водорослям»... А бываюи подводными подводные лодки? Водоросли не фосфоресцируют, этим делом занимаются гнилые пни. В морях светятся скопления жгутиковых животных...

«Чем объяснить Вашу дань прозе?»—«Для меня это та же поэзия, но в прозодежде».

Хороший ответ. На вопрос хорошенькой девицы из зала, когда стоишь на эстраде. Плохой, если публикуешь его в литературной газете великой страны.

Что такое «прозодежда»? Во всяком случае, нечто дрянное.

Эх, нет на Вознесенского героя моего повествования Казакова, который сидел бы, «сложив трубкой губы, так близко сведенные к дрожащим ноздрям, что они кажутся одним общим органом обоняния — таким соплом, дыхалом противогаса: так вот и сидит он, вытянув это чудесное нюхало свое, втягивая звук фужеров, цвет сумерек, нас, эпоху, все чует, все пробует на вкус своего нюха». («Прорабы духа», с. 375.) Это Вознесенский так Юру Казакова рисует!

Сопло бывает у ракет, дыхало — у китообразных, нюхало — у свиней. У Вознесенского это метафоры.

«Сладострастником нюха» он обзывает Сергея Дягилева, одновременно деля человечество на положительных «прорабов духа» и отвратительных «прорабов нюха»: «подвижничество» первых «противоречит нужничеству» вторых. Такие свои обороты Вознесенский объясняет тем, что «дворянские классики тоже писали сочно» и «порой поэты передают языком иронию». А чем, кроме языка, поэт может что-либо передавать, если он пишет, а не поет с постаментана? Опять метафоры? Те, которые поэт считает главным в русской художественной прозе и которые критики-злодеи «посыпают дустом уже четверть века». Плохо посыпают.

А ежели я про Вознесенского напишу: «Сидит он, сложив лопухами уши, так близко сведенные к дрожащим лопаткам, что они кажутся одним общим органом — этаким соплом, рупором граммофона: так вот и сидит он, вытянув эти чудесные слухалы свои, всасывая звук фужеров, цвет сумерек, нас, эпоху, все чует, все пробует на вкус своего уха»? Обидится небось Андрей Андреевич.

«Северянин — форель культуры». «Как музыкально поэт писал в России: «На реке форелевой... уток не расстреливай...»

Форель в глаза не видел, знаю только по Хемингуэю. Часто встречаю минтая, мойву да щук, которые существуют на то, чтобы карась не дремал. Но ежели северянинско-вознесенковская форель привыкла к «среде хрустальной и стремительной», то уток там быть не должно: им заводь подавай, а то унесет нашу крякву к чертовой матери. Но ради музыкальности на что ни пойдешь! Долой обременительные мелочи правдоподобия! Очень даже знаменательно, что в музыкальном токкато Вознесенский сближается с Северяниным на предельно близкую дистанцию.

Ты влилась в мою жизнь, точно струйка Токая
В оскорбляемый водкой стакан...

Это из северянинской «Последней любви». Вознесенский от нее в таком восхищении, что печатает поэзу целиком в «Литгазете».

Рифмы: «Токая», «какая», «поцелую», «такую», «мечтая», «какая». Неужели поэты не ощущают своими слухалами опасную близость глагола «токую»? Вот и глухари ничего не слышат, когда токуют за стаканом бормотухи в распивухе на углухе Елисейских полей и Вио Витторио Венето...

Что поделать, ежели мне не нравится «горячий отклик» на «простую попытку восстановить истинный облик Северянина». Каждому фрукту свое время. И если сегодня молодежь бросается на «поэзы», то это тревожный знак на фоне ядерно-ракетного неба.

Бунин: «...притворялся поэтом лакей, певший свои стихи о лифтах, автомобилях и ананасах...» Маяковский: «И вот когда мы доехали с ним до Харькова, то я тут только обнаружил, что Игорь Северянин глуп». Зощенко: «Вот и Северянин непременно футурист, а ведь он и Маяковский, я бы сказал, под одним знаменем величайшая наглость контрастов». Первый для Михаила Михайлови-

ча — «поэт-эстет, последний из умирающих», второй — «Тринадцатый апостол», несущий «новое евангелие».

Я тут так часто Маяковского поминаю еще и потому, что он был близким другом «золотому яйцу улетевшей Мысли».

В «Литературной газете» Вознесенский печатает письмо поклонника: «Пишет Вам незнакомый 16-летний «оболтус». Не буду размазывать, как я отношусь к Вам, Пастернаку, Ахматовой, Маяковскому...» Если «оболтус» «размазывает» такую обойму, начиная ее именем автора статьи, то поставь себя хотя бы по алфавиту, то есть после Ахматовой (за неточность цитирования бог тебя простит).

Дальше идут стихи незнакомца: «Сними глушитель с души своей... Не отметить старое — модернизировать... Мы будем быт их терроризировать...» Об этих бунтарских строках Вознесенский замечает, что они «неровные, но искренние».

Начинающего он пригласил к себе. Тот прибыл, «рослый, в активно-алой куртке». Маяковский желтой ободился, когда эпатировал буржуев и мещан. Но не в том суть. Больно уж не люблю я мальцов, которые носятся в стихах и на мотоциклах без глушителей и орут ночами под гитару на городских дворах, терроризируя мой тихий быт. Сколько раз я им морды бил — не сосчитаешь, а ныне постарел и уже боюсь каратистов в активно-алых куртках: под два метра оболтусы. Спокойнее с ними мило заигрывать, и под них подделываться, и прикурить давать, и на бутылочку Токая...

«Увешанные утками, они обсуждают экономику, кроют косность. Умнов беспощаден к литературе».

Увешанный утками и беспощадный к литературе мужчина имеет «профиль, будто слетевший с флорентийских барельефов», он не только типичный прораб духа, но и рукпред. (На последнее слово заявку делаю я! Оно обозначает «руководитель предприятия».)

Умнов «воспроизводит фазанье поголовье, выпускает его в чашу под завистливыми взглядами рысей и лисиц...» Чему, однако, рыси или лисы завидуют, чем они озабочены? К ним в чашу вкусных фазанов выпускают! Тогда смотреть они должны жадными или плотоядными взглядами, как я сейчас на писания Вознесенского смотрю.

Собеседник Умнова — это Станислав Николаевич Федоров, человек, на которого молятся тысячи слепых людей

и за которого молятся денно и ночью те, кому он возвратил зрение. Когда Вознесенский пишет, что «Федоров хочет устранить слепоту в масштабе страны», он окарикатуривает святого подвижника, ибо и Иисус Христос не мог бы поставить себе такую ноздревско-маниловско-бредовую цель. Федоров мечтает, как я сам недавно видел и слышал по телевидению, устранить очереди хотя бы в одной суперцентральной глазной клинике...

Пронесся по Руси стон — рухнул купол Никитского монастыря.

Что же предлагает Вознесенский, о чем сетует? «Нет коллектива-мецената или турбазы (проект которой давно готов), которая обжила бы шедевр, ухаживала бы за ним». Они те обживут! От турбинной деятельности турбаз вокруг мертвая зона... И неужели не смешно, что турбаза будет коллективно меценатствовать в монастыре Ивана Грозного? Само слово «турбаза» ассоциируется с «турнуть», ибо слово опять усеченное, дурацкое, составное.

А от полного комплекта предложений Вознесенского всех министров культуры в СССР кидает в холодный пот и крупную дрожь: Монумент Великому Русскому искусству, Памятник Дружбы к фестивалю молодежи из чистого золота, словарь «обновлений русского языка», Храм литературы, крестным отцом которого приглашен стать Вознесенский; «Музей духовного поиска с условным названием „Маяковка“», «Музей, подытоживающий наше искусство XX века» — все эти «фанаты культуры» на их министерские шеи, а что такое «фанат» — ни один министр не знает, ибо на свете такого слова вовсе нет.

Зато уже в следующем номере «Литгазеты» откликнулась Алла Пугачева. У подвижницы духа возникла идея создать в Москве еще и Театр песни: «Разумеется, театр, о котором я мечтаю, — это не театр Аллы Пугачевой». Алла Пугачева хочет быть только его главным режиссером, чтобы он стал ее домом песни: «Мне кажется, я могла бы выступить в качестве «хозяйки» этого дома».

Прорабша духа мечтает еще «принять участие в создании фильмов такого типа, как «Цирк», «Веселые ребята». Но не сразу. Сперва для тренажа она «может сыграть деревенскую женщину или пилота авиалайнера».

Готова, значит, сменить коротенькую юбочку на прозодежду, а световые эффекты на сияющие небеса.

Одна надежда остается, что Театр песни войдет в Советский фонд культуры и худруком у прорабши окажется

академик Лихачев, который из врожденной галантности собственноручно напишет для Аллы сценарий по «Слову о полку Игореве», чтобы Пугачева исполнила нам плач Ярославны.

Надеюсь, это будет целительный для нее плач. Цитирую Вознесенского: «Недавно, заболев, я чуть было не загнулся. Сыпались советы. Предлагали срочно больницу, тибетскую медицину, экстрасенсов. Академик Лихачев сказал: «Надо несколько раз сердцем прочитать «Слово о полку Игореве». Я еще раз шкуркой почувствовал, какую накопленную энергию излучает «Слово», вековой экстрасенс культуры» («Прорабы духа», с. 280).

Повезло Вознесенскому — он чувствует не сердцем, а шкуркой. Академику же Лихачеву следует быть осторожнее со знахарством — сейчас за врачевание без диплома в кутузку сажают.

Ну что мне с моим закоренелым ретроградством делать?! Вознесенский Аллу Пугачеву любит, я — Любовь Орлову. Он Плисецкую, танцующую «Чайку» Чехова, я — Уланову в «Лебедином озере». Он Родиона Щедрина, а я злюсь, когда вижу фамилию этого бесспорно выдающегося композитора рядом с Бизе на афишах «Кармен-сюиты», и все жду, что на нашего Щедрина найдется какой-нибудь допотопный Салтыков. Для Вознесенского Юрий Казаков — «как напоминание о подлинном темном и вечном, что есть в нас — людях, как в ветвях, рассветах и волчьей шкуре», а для меня если уж в Казакове есть что волчье, то оно довольно прилично скрыто овечьей шкурой...

«В стихотворении концентрация слов напряженнее, чем в пространственной прозе». Дельное замечание, хотя в прозе и нельзя сказать «концентрация напряженнее» — это масло масляное. Прозаик напишет, что «напряженность железобетона слов выше» или «концентрация раствора слов гуще». Конечно, при этом аура и биополе слов несколько оскудеют.

Пушкин шутил: поэзия, мол, должна быть чуток глуповата, а вот проза требует мыслей. Шутки гения, который — парадоксу друг. Эх, не надо Вознесенскому облачаться в прозодежды!

Сонмы все суетливо выпущенных на бумагу знаменитых имен, пустозвонных предложений, криков, вздохов, безудержного хвастовства. И ведь уверен, что, навалив в кучу слова разного калибра, смысла, все подряд краски, звуки безо всякого отбора или работы, он и добьется глу-

бины подтекста в своей прозаической прозе, делает ее «современной». Но эклектика всегда была, есть и будет мертворожденным ребенком, которого и хоронят даже без гробика.

Однако никак нельзя не заметить еще раз на примере Вознесенского, что именно подделка эклектики под диалектику легче всего обманывает массы, вводит их в транс и потребное аурному трибуну русло, дает миллионам людей кажущееся, миражное удовлетворение, якобы учитывающая все стороны процесса, все тенденции развития, все противоречивые влияния. А на деле не дает никакого цельного понимания процесса общественного развития. (Это я Ленина пересказываю.) А теперь еще раз взгляните на то, что говорит в своей прозе поэт о лучшем стилисте моего поколения — Казакове:

«Он психолог леса.

Вернее, он сам — большой палец существа, называемого небом, полем, тропинкой. Смешны дискуссии о прогрессе — технике, машинах, лесах и городах. Двух культур не существует. Ибо города — это такой же продукт природы, продукт биотоков мозга. Как будто азотистые или железистые соединения, став автобусом, перестали быть биологическими компонентами процесса, называемого природой. Это, наверное, так же необходимо ей, как ледниковый период, скажем».

Сказать-то все можно, ежели милиция не останавливает.

Язык дан нам для: 1) выражения своих мыслей, 2) сокрытия своих мыслей, 3) сокрытия отсутствия своих мыслей.

Две первые данности требуют чувства языка, владения им. Третья данность требует врожденной или выработанной способности пускать словесную пыль в глаза.

Нынче — в конце XX века — доктор приходит к вам и спрашивает: «Пьете? Курите? На что аллергия? Возраст? Так, хорошо. Двадцать уколов вам в задницу! Можете не благодарить!»

Я застал времена, когда доктор начинал с: «Высуньте, (покажите), голубчик, пожалуйста, язык... Теперь скажите: «А-а-а!» Молодец! Закройте пасть!» И все в отношении алкоголя, курева, возраста доктору становилось ясно без словесных вопросов — через грешный твой язык и одно-единственное «а».

Наши литературные врачи (критики) идут по стопам нынешних врачей. Они задаются массой словесных во-

просов: мифист писатель или бытовист? Поддерживает почины или нет? Метафорист или публицист?

А надо-то без всяких вопросов на язык посмотреть: там же про писателя все написано черным по белому. Последняя прозаическая цитата поэта: «Фауна рассвета нашей поэзии не полна без дикорастущего Крученных».

Конечно, и флора полдня или заката нашей поэзии не будет полной без дикоиноходствующего Андрея Вознесенского, который вечно выносит то обе левые ноги, то обе правые. Конечно, без веселого хулиганства, без эпатажа, словесной игры, крепкой ругани, парадоксальной эклектики в русской литературе делать нечего. И вряд ли я люблю редакторов больше Вознесенского. И всегда готов продать родного папашу за красное словцо. Но не терплю подхалимажа перед читателем, особенно юным.

Итак, прораб духа полон тревоги за уходящую культуру.

Я в тревоге за нынешнюю. Ведь по стопам поэтической звезды идут не только начинающие пииты в алых куртках, но уже и сорокалетние прозаики спокойно путают «геенну» с «гиеной». Задача-то у большинства — в струе быть, а не в литературе; в модную на данный момент дуду дудеть...

*КАК ИЗ «ВАННУ — КАПИТАНУ!»
ПОЛУЧИЛСЯ ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ЗУБ*

Ах ты, палуба, палуба,
Ты меня раскачай.
Ты печаль мою, палуба,
Расколи о причал.

Г. Шпаликов

27.11.63. Москва.

«Насчет твоего предложения о кинокомедии. Ты знаешь, что писал О'Генри о грабителях: два человека могут остановить поезд, одному человеку это удалось как-то раз, но три — самое подходящее число. Итак, я согласен.

Сейчас заболел и все эти дни валяюсь дома с гудящей башкой и температурой и читаю про Кеннеди, и глаза у меня пощипывает. Очень уж он *мужчина* был. И президент, и умница, и красавец, и командир торпедного катера во время войны.

Жалко его страшно, да и отношения при нем у нас

с Америкой стали лучше, чем при предыдущих президентах. Ю. Казаков».

Нижеследующая глава будет почти целиком рассказана режиссером Георгием Николаевичем Данелия.

Я выступлю лишь с комментариями.

Итак, зимой 1964 года впервые в истории русского и советского кинематографа для написания одного сценария собралась могучая кучка из пяти молодых гениев: трех прозаиков, одного профессионального киносценариста и профессионально пишущего режиссера.

В те времена итальянский неореализм околдовал мир, а, как известно, у макаронников бывают в титрах и двадцать авторов.

Данелия твердо верил, что если нас будет пятеро, то и сценарий будет в пять раз лучше, в пять раз интереснее и в пять раз талантливее, чем если бы его сочинял каждый в отдельности. Ну и, естественно, писаться он тоже будет в пять раз быстрее.

Запомните, что в дальнейшем тексте Первый прозаик — это я.

Второй прозаик — в те времена был популярным автором журнала «Юность» и жадно впитывал гены «мовизма», но с космополитическим уклоном.

Третий прозаик — главный герой нашего повествования Юрий Павлович Казаков. Который, как вы увидите, оказался прав, опираясь на опыт О'Генри в предсказании оптимального количества бандитов, необходимого для остановки и ограбления кинопоезда.

Профессиональный Сценарист — Валентин Ежов, получивший Ленинскую премию за «Балладу о солдате».

Единственный раз мы все пятеро сошлись без недоразумений и опозданий в одной географической точке и в одну и ту же минуту для получения и дележа аванса возле кассы «Мосфильма».

Аванс нам выписали большой, так как директор студии попал под гипноз больших чисел нашей могучей кучки и поверил в скорое и счастливое будущее «кинокомедии на современном производственном материале» — такую мы сочинили формулировку в заявке.

Деньги мы делили в коридоре «Мосфильма», раскладывая их на пять кучек на длинной скамье. Уже тут возникли некоторые признаки разногласий. Кое-кто был об-

ременен алиментами, кое-кто большим налогом за бедность, кое-кто взносами...

В общем, мы забыли классическое высказывание того же Виктора Борисовича Шкловского: *«В кино за вход берут рубль, а за выход — два. Кто к этому не готов, пусть сейчас же уйдет отсюда и займется чем-либо полезным».*

Портрет нашего главного вдохновителя режиссера Данелия, написанный Александром Володиным: *«У него лицо сильного, жесткого человека. Он и есть сильный и жесткий человек. У него одна лишь ахиллесова пята: он добр до сентиментальности. Правда, почти весь он состоит из этой ахиллесовой пяты. Ею может пользоваться каждый. И пользуется. (Но лицо у него такое, что не всякий решится подойти. У него взгляд дикого человека из горных ущелий.)»*

Теперь даю слово дикому человеку из горных ущелий:

«Сначала прозаики, их было большинство, хвалили друг друга и критиковали других прозаиков, потом они немного похвалили сценариста. Сценарист покритиковал других сценаристов, а я, решив, что обо мне забыли, стал скромно хвалить себя, но меня прервали.

Пора было выйти в народ, пора было сообщить о нашем новаторском начинании.

Так мы и сделали. Мы посетили Дом писателя, Дом журналиста и Дом кино. Кое-где мы попадали в драки, а Первый прозаик с рассеченной бровью попал даже в институт Склифосовского, куда его сопровождал Второй прозаик и я. Третий прозаик от этого мероприятия уклонился по причине близорукости и опасений за свои очки.

Создав вокруг себя небольшую, но приятную шумиху, мы решили, что настало время подумать, — о чем же мы будем писать. Решили писать не просто комедию, а комедию эксцентрическую, психологическую, поэтическую, новую по форме и по содержанию, актуальную, смешную.

Первый прозаик требовал, чтобы действие происходило в море.

Второй видел наших будущих героев только на асфальте тускло освещенных московских дворов.

Третий, сознавшись, что в кинематографе мало понимает, так как за всю свою жизнь видел лишь одну кинокартину, проголосовал за лес и попросил, чтобы одного из героев обязательно играл Филиппов.

После длительных споров был принят вариант Первого прозаика. Название **«ВАННУ — КАПИТАНУ!»**.

В порту стоит старый, отработавший свой век пароход. Для плавания он негоден. Отремонтировать его невозможно. Пароходство решает его списать, разрезать и отдать на переплавку. Но капитан, проплававший всю свою жизнь на этом судне, не может и не хочет верить, что корабль стоит у последнего причала. Пользуясь своим авторитетом, он всячески оттягивает его похороны.

Команда, устав от безделья, покидает судно. Единственно, кого устраивает эта канитель, — это старший помощник, жулик и лодырь по натуре. Он набирает новую команду, состоящую из забулдыг, лентяев, и с их помощью начинает махинации — распродажу имущества с парохода».

Данелия чуть заблуждается: У Первого прозаика никакого сквозного сюжета не было. Был один-единственный эпизод, который я своим внутренним взором видел с абсолютной четкостью.

Сидит в пустом, гулком трюме огромного парохода компания прохиндеев, которые плыть никуда не хотят, уходить с обжитого места не хотят и вообще ничего не хотят. А чтобы не было лишних хлопот с различными комиссиями, начальниками, проверяющими, прохиндеи занавесили всю ржавчину и гниль на судне кумачовыми лозунгами с самыми передовыми словами и призывами к встречным и поперечным планам. И даже сами уверились в том, что за легкой тканью лозунгов, плакатов и других кумачей находится вполне добротная сталь бортов, которая надежно отделяет их от ужасной морской бездны. И вот кукуют они в своем трюме, иногда в волейбол играют — там сетка натянута; иногда водку пьют, а бутылки к сдаче аккуратно готовят. Но находится среди прохиндеев один, который обладает особой широтой души. Он сдавать бутылки не желает, ибо это крохоборство и вообще сужает широту его морской души. Чего мелочиться-то? Берет он очередную бутылку, стряхивает традиционно последнюю каплю на мозолистую, трудовую ладонь и швыряет посуду за спину. Порожня поллитровка пролетает сквозь кумач, а затем и сквозь борт, из дыры хлещет фонтан — спасайся кто может! Но мои прохиндеи — моряки опытные, и начинают борьбу за живучесть...

«Кончалось все тем, что команда воровала якорь от собственного судна и корабль благополучно шел на дно.

Утвердив сюжет, мы наметили актеров на главные роли. Вот они: Филиппов, Чарли Чаплин, Пуговкин, Алла Ларионова, Гарин, Брижит Бардо, Чурикова, Фернандель, Быков, Басов, Мастроянни, Софи Лорен и другие.

Теперь осталось только записать сценарий.

Но у всех оказались неотложные дела, и мы договорились ровно через полгода встретиться в Одессе и, окунувшись в морскую атмосферу, моментально начать и закончить работу.

Ровно через полгода Первый прозаик и я прилетели в намеченный порт, вселились в гостиницу и отправились на вокзал встречать Третьего прозаика.

Вид нашего соавтора, вылезшего из вагона, показался нам несколько странным. Он был в грязном брезентовом плаще, резиновых сапогах, на голове красовалась белая мотоциклетная каска, а за спиной болтался мешок, из которого торчали удочки и какие-то палки.

Третий прозаик успокоил нас, объяснив, что в свободное время он будет брать напрокат мотоцикл и рыбачить.

Мы-то успокоились, но швейцар нашей гостиницы наотрез отказался впустить его, и, только затесавшись в группу входивших в гостиницу интуристов, ему удалось проникнуть внутрь. После маленьких скандалчиков и больших трудов номер для него был получен, и Третий прозаик заявил, что время даром терять он не намерен и немедленно примется за работу.

Естественно, мы заинтересовались, что он будет писать: начало сценария, середину или конец? Но он не собирался писать ни начала, ни середины, ни конца. Он будет писать морские пейзажи, которые потом по мере надобности можно разбросать по всему сценарию. Мы робко заметили, что пейзажи можно и не писать. Их обыкновенно снимает оператор. Но наши возражения не были приняты во внимание. Третий прозаик заявил, что будет сниматься фильм или не будет, это еще неизвестно, а сценарий всегда можно напечатать и, чем он будет толще, тем для всех нас лучше.

И он пошел к себе, и тотчас за стенкой застрекотала машинка.

Было поздно, пора было спать, но стук машинки вызвал к нашей совести, и мы тоже уселись за работу.

К утру мы написали, как нам казалось, очень хороший и смешной эпизод и побежали хвастаться к Третьему прозаику.

Но он не стал знакомиться с нашим творчеством. Третий прозаик заявил, что нам вполне доверяет, что его интересует только описательная часть и вообще ему сейчас некогда.

На столе Третьего прозаика лежала довольно высокая стопка покрытых печатными знаками листов бумаги.

Приглядевшись к ним, мы с удивлением обнаружили белые просторы, льдины, чукчей и полярников.

— Зачем чукчи, полярники? Ведь действие у нас происходит на юге!

Оказалось, что Третий прозаик пишет вовсе не сценарий, а очерк о своей поездке на Север. А из этого очерка все, что нам понравится, мы можем вставлять в сценарий, и он, Третий прозаик, за это на нас совершенно не обидится.

Не знаю, чем бы все это кончилось, но в это время, сверкая молниями заграничного плаща, вошел Второй прозаик. Он только что прилетел. Всю дорогу он думал о сценарии и понял, что писать надо про любовь. Капитан должен быть молодым, а старпом — девушкой.

Мы с Первым прозаиком саркастически улыбались, но Третий прозаик вдруг почему-то поддержал Второго. Может быть, потому что Второй прозаик должен был жить с ним в номере.

И возникла холодная война. Все, что предлагали Мы, немедленно отвергалось Ими; все, что предлагали Они, немедленно отвергалось Нами, и т. д.

Холодная война была пресечена приездом большой группы интуристов. Нас выселили из гостиницы, и произошла перестановка сил.

По броне местного филиала Союза писателей Первый и Третий прозаики поселились в Доме колхозника, а мне и Второму прозаику ничего не оставалось делать, как отправиться ночевать на вокзал».

Здесь Данелия ошибается. И он сам — режиссер, лауреат энного количества премий, — и прозаик номер Два, который был депутатом районного Совета депутатов города Москвы, остались в люксе шикарной гостиницы, а я и член Европейского сообщества писателей Ю. П. Казаков, действительно, очутились в Доме колхозника, который размещался почему-то в Одесском торговом пассаже.

Мы с Юрой лежали на расхлябанных железных кроватях времен Очакова и потемкинских деревень и глядели

на голубей. Голуби занимались любовью на карнизе за тусклым окном. Окно выходило на галерею, которая по периметру опоясывала зал пассажа. Такая же галерея есть во внутреннем дворе Ленинградской гарнизонной гауптвахты.

В камере, то есть, простите, номере, было тускло, душно. И все время снизу доносился глухой гул — одеская толпа толкалась по пассажным магазинчикам.

Более нелепого и безнадёжного жилища, нежели Дом одесского колхозника, я ни раньше ни потом уже не видел.

Мы лежали вялые, как нынешние сосиски, отвратительнее которых только нынешние сардельки. И чувство было такое, как у этих сосисок, засунутых в несъедобную грязную пленку. Вот-то уж где не могли присниться никакие львы! Но Юра бодрился. Он недавно побывал в первой заграничной поездке и вместо сценарных ходов расписывал мое светлое заграничное будущее:

— В Праге ты, старик, сразу пойдешь в ресторан Брюссельский. И ты пойдешь в этот ресторан и опупеешь. Только не забудь обратить самое тщательное внимание на свои манжеты, потому что там такие скатерти, что ты под стол полезешь от стыда, если манжеты у тебя окажутся несвежими. Понял? Деньги все не транжирь, а купи себе перчаток, там перчатки хороши, и маме что-нибудь купи, запиши номера ее размеров, а то ведь забудешь. Тебя там печатали порядочно, и денег ты получишь тоже немало. И пусть тебя переводчик сведет в Т-клуб, мы там с ним частенько сживали, а когда придешь в Т-клуб, спустишься в подвал, сядешь, скажи официанту, чтобы принес тебе гаванскую сигару, двойную порцию ферне и кофе. Запомни — ферне! Это такая настойка, которую пьют в «Трех товарищах» Ремарка. И еще там на Вацлавской площади есть ресторан «Ялта», так ты туда зайди выпить джинфиза. Джинфиз — это джин с апельсиновым соком и со льдом. И вот когда ты сделаешь первый глоток этого напитка, ты почувствуешь, что это-то и есть цель всей твоей занюханной жизни, что об этой минуте ты мечтал, стоя на пирсе в Салехарде, лежа на опилках в Архангельске и лежа и стоя во всех портах к востоку от Новой Земли, включая Одессу...

— Хватит, Юра,— сказал я, ибо голова начинала кружиться от перспектив.— Вернемся к нашим баранам.

— Я уже все придумал, старик. Конечно, девушка в кинокартине будет. Нельзя без девушки.

— Мы договорились, что это будет мужская картина, Юра! Без единой женщины.

— Одну надо. Когда она первый раз придет на корабль, все прохиндеи из экипажа натянут самую дикую одежду... И — сплошной треп: «Когда я бил морских львов на Гавайских островах...» Ну, и так далее — у тебя это хорошо получится.

— Как ты представляешь себе девушку?

— Отлично!

— Ну?

— Она мечтательная, наивная, доверчивая и — главное — романтическая. Я подчеркиваю, старик, романтическая. И она сразу влюбляется во всех прохиндеев.

— Как это во всех?

— В высшем смысле влюбляется! Не в низшем, а в высшем — чистота, понимаешь? Мадонна, непорочное зачатие — слышал когда-нибудь? Да, и она прямым текстом объясняется всем — каждому, я хотел сказать, — в своей любви и сразу включается в борьбу за сохранение лайбы. Чего ты молчишь?

— Чем будет пахнуть твоя девушка?

— Дурак! И запомни: сосиски по-чешски будут парки — это я узнал в свой последний день, а то никак не мог добиться сосисок.

— Перестань о загранице, Юра!

— А что, здесь тебе не нравится?

— Не нравится.

— Ничего, ничего! Тебя бы вовсе лишит крыши, и женщин, и денег, и кино, и всего вообще, да набить тебе морду не один раз, да исключить тебя из Союза писателей, да посадить в тюрьму года на три! Вот тогда ты, может быть, и написал бы что-нибудь стоящее...

— Чего ты? С цепи сорвался?

— Надоел ты со своим сценарием! Мочи нет! И вообще, будь я женщиной, я бы тебя, заразу, на сто метров к себе не подпустила бы!.. Ты чего молчишь? Обиделся?

— Я больше не хочу с тобой разговаривать.

— Не обижайся... Слушай, ошметок! Доктор в картине должен быть злостным алиментщиком, а? И ему вечно кошмары снятся! Гениально, да? Пойдем, скажем Даниели?

— Дурак! Как ты будешь в картине кошмары делать? Фильм в фильме? Хуже литературщины в прозе.

— Ну, если ты не хочешь, то не будем... А голуби все сидят, на хрен они тут сидят?.. Знаешь, сколько я уже

рассказов написал? Сорок пять штук! Я и сам не знал. Один поклонник мне сказал: он подсчитывает. А когда я первый раз был в Питере и познакомился с тобой, у меня было их всего семь штук... Бежит время... И никогда не покупай дома — пропадешь... Ах, какая поэзия в белых ночах в Питере, черт! Здорово до безумия!.. Да вы, ленинградцы, этого не чувствуете с такой остротой, как мы, приезжие,— привыкли, собаки... Ну, перестань молчать! Ну, не обижайся... Хочешь спою?

И он запел:

Ах, утону я в Северной Двине...

— Юра, не ври,— прервал я.— У Шпаликова не Северная, а Западная Двина...

Но он уже погрузился в музыку:

Ах, утону я в Северной Двине
Или погибну как-нибудь иначе,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут...

— Не заплачут, Юра, не лсти себя надеждой...

Они меня на кладбище снесут,
Простят долги и старые обиды...

— Не надейся и не жди: не простят тебе старых долгов...

Я отменяю воинский салют,
Не надо мне гражданской панихиды...

— Не положен тебе салют, потому что ты близко к армии не подходил... А про гражданскую панихиду никто у тебя, дружище, не спросит...

Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи.
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут...

— Юра, хотя ты и музыкант, но не Лемешев.

— Старик, когда я пою, то не заикаюсь. Знаешь, почему я писать начал? Потому что заика. А на бумаге, как в песне, не заикнешься. Это я правду. Хорошая у вас в «Пути к причалу» песенка о морском друге.

— Слова дурацкие.

— Я же про музыку! При чем тут слова? А музыка такая приятно-грустная, в пивной ее очень полезно слушать.

— А в той песне, которую ты сейчас пел, вообще музыки нет. Все на словах держится.

— А как же в песне без слов? Слово в песне, старик, великая вещь!

— Мне надоела твоя противоречивость. Перестань гениальничать. И давай работать!

— Да. Конечно. Только сперва немного еще посплетничаем, хочешь?

— Нет.

— А я в ЦДЛ видел твою Энн — она приходила на мой, старик, вечер, то есть на чтение и обсуждение рассказов. Сидели мы рядом. Я ее не узнал. А потом узнал. «Как Виктор?» — спросила она. «Ах! — сказал я. — Ужасно!» И опять сказал: «Ужасно!» И она была очень задумчива и хороша. А в конце опять сказала: «Жалко, я его не увидела, очень, очень жаль! Не знаете, не собирается ли он вскорости опять в Москву?» На что я жестоко ответил: «Не знаю, навряд ли».

— Врешь?

— Нет, старик. И я тоже, брат, несчастен, да так, что и предполагать за собой такой прыти не мог. Любовь, любовь — сердечный разнос. Увы и ах! Она тоже приходила на мой вечер, но мельком, сказала, что тотчас уходит, что не может, что больна и тому подобное, — лег я на пол и задрогал ногами.

— Давай вставать, Юра!

— Голуби улетят, мы и встанем... Меня начали переводить в Югославии, прислали письмо: «Господину Казакову», вот собаки... Слушай потрясающую цитату, плагиатор! «Женщины: ведь это как бы даже не люди, а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, еще никем никогда точно не определенные, непонятные, хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них». Это Бунин, старик! В восемнадцать лет он был уже редактором «Орловского вестника» и сочинял передовицы о быках-производителях. Здесь я сильно от него отличаюсь, потому что в таком нежном возрасте совсем другим занимался...

— На трубе играл?

— Да, на трубе. Ах, какой ужас у Бунина был перед солдатчиной! И вдруг вытягивает на призывном пункте счастливый номер четыреста семьдесят первый... А как тебе фраза: «Длинное, похожее на ящерицу облако изгибалось так, будто хотело укусить свой хвост»?

— Очень плохо! Хуже, чем «облако, похожее на роль» у Тригорина.

— Скажи лучше!

— Пожалуйста: «Облака крутились вокруг зенита, как собаки за своим хвостом»!

— Скажи еще: «Крутились вокруг полюса относительной недоступности»!

— А как тебе: «Волны злились, потому что судно отдавливало им лапы»?

— Хорошо. Но главное сегодня не в этих штучках, старик. В чем ценность женщины для нынешнего века — вот в чем вопрос. Как отвечает на него художник, так все потом и строится. Возьмем Панову. Носительница самой большой и святой любви у нее всегда женщина. И только женщина-мать может, по ее мнению, воспитать в герое чистую, доверчивую и даже слишком доверчивую душу. Главная ценность женщины в том, что она производит материальные ценности на заводе или ферме? Или в том, что она способна наравне с тобой вести по океанам корабли? Или в том, что она дарит эстетическое наслаждение? Или в том, что она источник сексуальных утех? Оказывается, ее непреходящая ценность в том, что она первой оказывается возле нового человечка, она первая носительница любви и возбудительница ответной любви у несмышленища! А ее любовь к нему, пробуждающая его обратную любовь, есть то семя, из которого вырастают все остальные чувства человека: доброта, самопожертвенность, ощущение причастности к человечеству, преданность родине... Видишь, как все просто! А ты знаешь, старый циник, что когда новорожденных обезьян лишают матерей, они навсегда лишаются чувства коллективизма...

— Юра, мы приехали сюда работать! Писать сценарий!!

— А помнишь, ты был в пыльном Пятигорске и лечил брюхо?

— Ну?

— А я, старик, тогда жил в Дубултах, слушал органную музыку по радио. В стакане на радио стояли вербы, уже желтенькие, и выкидывали листочки. У меня была дивная комната. Погода ошеломляющая, за окном прыгали белки, а не эти одесские голуби, и дятлы выстукивали мне на машинке стихи...

— Юра, ты можешь понять, что мы взяли аванс?

— Да, но от него уже ничего не осталось, старик. Тогда зачем о нем вспоминать? Мы ведем слишком

роскошную жизнь. Больше не будем покупать раков на базаре, да? И ужинать не будем в ресторанах, будем в столовке... А заметил: когда мать болеет, то и радости никакой нет, даже от печатания рассказов... Аванс от нас никто не отберет — ни одного дублона не отдам — фиг!

— Я еще ни одного договора не нарушил и все авансы отработал честно.

— Ну и дурак. Нашел чем хвастаться. Тут больше всего раки виноваты. Очень уж раки жирные. Это все от пива — лень там, спать хочется... И сюжет ты дурацкий придумал. Надо бы к Соловкам ближе. Я бы тогда сразу набросал монастыри, сумерки, прочую бодягу и давно вверх бы Данелию в сумеречное состояние. А он в люксе живет! А мы с тобой в пассаже! И еще голуби сидят, на хрен они тут?.. Хлюсты какие-то, а не птицы... Заметил, когда они дерутся, то не клюют друг друга, а сталкивают соперника с карниза зобом? У кого зоб тверже — тот и пан... Ну, а теперь скажу честно. Рассказы во мне **ВОРОЧАЮТСЯ**. Иногда неделю, иногда месяц, иногда годы. Но я каждый миг их шевеления под сердцем чувствую. А сценарий наш у меня не ворочается, старик. Пустое дело...

Входит Данелия — весь с иголки, весь промытый: он каждое утро в ванной полчаса сидит и плескается, привычка у Гии такая идиотская. Он и бреется в ванной — пресноводное какое-то существо.

Даю слово дикому человеку из горных ущелий:

«Мы мирно лежали на отполированной транзитными пассажирами деревянной скамье и тихо спорили, на какой международный фестиваль лучше послать наш будущий фильм. Он предлагал Венецианский, я — Сан-Себастьян, но, чтобы не обидеть друг друга, мы остановились на Каннском.

Так же мирно мы достигли и соглашения по поводу сюжета нашего сценария.

Капитана оставили старым, но подселили на корабль старушку буфетчицу — и получили любовь. А старпома мы сделали молодым стилигой, а капитану дали дочь от первого, несчастного брака — и снова получили любовь.

Разбудили нас транзитные студенты.

Первого и Третьего прозаика мы застали в огромной, мрачной, уставленной койками комнате Дома колхозников, который находился в одесском торговом пассаже.

Но, вопреки всем неудобствам, а может быть благодаря им, Первый и Второй прозаики решили не терять вре-

мени и сочинили новый сюжет. Действие развивалось на кладбище. Отвратительного вида покойник до смерти запугивает честных граждан. Капитан умер, а помощник капитана самоотверженно разоблачает покойника. Он вовсе и не покойник, а бандит-рецидивист, который под чужой фамилией работает администратором гостиницы, где и знакомится со своими будущими жертвами.

Хотя нам были ясны истоки этого сюжета, но должную выдержку проявить мы не смогли.

Второй прозаик назвал Третьего архаиком, тот в свою очередь обозвал Второго суперменом. Первый заявил, что они оба модернисты, а они сказали, что Первый — графоман.

Я тогда попробовал принять участие в споре, но тут все трое объединились и заявили, что я, как режиссер, обязан был устроить их по-человечески, а сценарий они и без меня написать могут.

В это время в городе началась областная конференция парикмахеров, и мы снова оказались на улице.

Нашего пятого соавтора — Сценариста — мы встретили на Приморском бульваре. Оказалось, что он второй день нас ищет и обошел уже все милиции и морги. Он был великолепно устроен в шикарной гостинице и позвал нас к себе на экстренное совещание.

Сценарист не захотел нас даже слушать. Он сказал, что не нужны никакие капитаны, никакие корабли — все это неважно. Надо писать о человеке, у которого было тридцать три зуба и он зазнался.

Все молчали.

— Может быть, сделаем, что у боцмана тридцать три зуба... — робко предложил я.

Все молчали.

И тут я понял, что корабль безвозвратно тонет.

Первым сбежал Третий прозаик. В Казахстане его ждал перевод огромного романа, и, взвалив на плечо свой мешок, он направился в сторону вокзала. На прощание он нам крикнул, что любые пейзажи из этого романа мы можем использовать в сценарии.

Вторым покинул нас Второй прозаик. К вечеру, не прощаясь, по-английски, улетел и он.

И нас осталось трое. Вернуться в Москву без сценария было стыдно, а писать о корабле уже никто не мог (нас просто тошнило при одном упоминании о нем), и мы написали сценарий «Тридцать три».

Может быть, я рассказал эту историю не совсем точно, может быть. Это было давно».

Совсем не точно!

Ибо первым удрал из Одессы Прозаик № 2. Он удрал, действительно, по-английски, или как крысы с корабля: не простившись и даже не оставив записки. Прыгнул в самолет и улетел.

А Казакова мы проводили вечером на поезд.

Он был в брезентовом армяке с капюшоном и с пуком удочек.

На прощание Юра сказал, сильно заикаясь:

— Все-таки я рад был с вами, ребята, поработать, похлопать по вашим сухим ребрам и мослам. И как вас женщины терпят? То ли дело я — сплошной бекон и заливной поросенок. А таланту у вас никогда не было... Вита, ты на всякий случай запиши мой тарусский адрес. Приезжай весной. Покупаемся, помолчим. Только один приезжай, без режиссеров, без кинематографии. Фиалки цвести будут...

*НЕКОТОРОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ,
БЕЗ КОТОРОГО
Я ЛЕГКО ОБОЙДУСЬ*

Дремлет избушка на том берегу,
Лошадь белеет на темном лугу.
Криком кричу и стреляю, стреляю,
А разбудить никого не могу.
Хоть бы им выстрелы ветер донес,
Хоть бы услышал какой-нибудь пес!..

*Евг. Евтушенко. Долгие крики (стихотворение
посвящено Юрию Казакову)*

Хорошо Евтушенко! Он сказал, что к нему в гости едет охотиться на медведей Томас Манн. И сразу получил квартиру в высотном небоскребе на Котельнической.

Юрий Казаков, из письма ко мне.

Литературные воспоминания человека моего возраста всенепременно упрутся в Евгения Александровича Евтушенку.

Но пока упрямся в одного его песика.

Звали песика Бим. Назван он так задолго до Белого Бима — простое совпадение. Родословная у песика замечательная. Он достался Жене от Ярослава Смелякова.

Ярослав Васильевич Бима Жене завещал.

Причина — отличная статья Евтушенки о всей сложнейшей работе Смелякова. Только большой поэт так может написать о другом поэте — здесь слова, как говорится, из песни не выкинешь. Да-да, случаются у Евтушенки такие странные выкидыши. (Убедительно прошу редактора не вздрагивать. Ведь даже про непорочную Таню Ларину можно выразиться — «штуку удрала». Или, например, свести вместе слова «веселое» и «равнодушие». На ученом языке это называется «семантически острое сочетание».)

Но вернемся к Биму.

Песик смахивал на своего первого хозяина и остро классовым чутьем, и внешностью. Был отважен, кусач, тих до поры, хром на одну лапу — почему передвигался враскачку. Масть — белый с рыже-охряными пятнами. Одно ухо перешиблено и висит, другое чутко торчит.

Тут особо следует помянуть про молчаливость Бима.

Как-то я пронежился на даче у Жени неделю. Условие одно: кормить пса и прогуливать его. Дело было зимой, жили мы с Бимом вдвоем — только приходила изредка молочница.

Вес Бима (с ошейником) не больше килограмм шести-семи — крохотный песик, но жилистый, мускулистый. Глаза альбиносные, в светлых ресницах. И вот когда он проходил ко мне наверх, в кабинет Жени, где я ночевал, то мне делалось как-то странновато — будто Ярослав Васильевич заглядывает на огонек, приглашает сыграть на бильярде, сам, как всегда, печален, в глазах иногда мелькает что-то сатанинское, а в углу рта висит разжеванная беломорина...

Вечер, тишина зимней дачи, чуждая обстановка, портреты президентов и нобелевских лауреатов — друзей хозяина. И песик, который набрал в рот воды.

Ляжет на коврик у порога, глядит не мигая альбиносными глазами.

И молчит.

Н-да, совсем маленький песик, но с большим характером.

Несколько раз я пытался его разговорить, но куда там...

Молчал Бим, как молчит матерый, севший по пятому разу зек, когда с ним — паханом — пытается заговорить о прогнозе погоды тюремный салага, еще и недели не любующийся небом в клеточку.

А глядел Бим на меня одинокими вечерами, как прокурор на студента юридического факультета, которого уличили в краже галош декана. И ни на какие мои наводящие вопросы, которыми хотелось разрядить мемориальную тишь дачи, не отвечал даже повиливанием хвоста, ибо этого атавистического придатка у него нет: обрублен.

Он лежал, глядел и молчал, и его единственное торчащее ухо выражало некоторое непонятное предвкушение по моему адресу.

Я Бима побаивался, но всеми фибрами хотел побороть отрицательные эмоции и сделать так, чтобы песик о них не догадался. Считается вообще, что обмануть собаку и ребенка невозможно. Но я, кажется, все-таки преуспел в этом. Тут еще та параллель интересна, что я и Ярослава Васильевича побаивался. А кто его не побаивался? Разве только прокуроры да Твардовский, но и тот... Я же несколько раз попался на глаза Смелякову в полной морской форме и в белой рубашке с галстуком. И это такое впечатление произвело на поэта, что он меня даже как-то приголубливал. Тем неприятнее было, что песик упорно не бросается мне на шею.

Под конец нашего недельного молчаливого сожительства Бим уяснил, что мы с ним хоть и на даче Евтушенки в центре Переделкино, но как бы потерпевшие общее кораблекрушение: оказались на необитаемом острове. И он, и я. Что делать? А ничего не делать — сосуществовать надо! Как нынче Человечеству. Ну, и все-таки жрать-то я ему давал — сукиному сыну — и всегда на чистом блюдечке. И дверь на прогулку я ему открывал — сам-то песик, хотя умен был бесовски, но с французскими и английскими замками еще не насобачился справляться. Да и назад двери ему я отпирал, а не какая-нибудь тетя. И он все это осознал. Признал, как говорится, суровые реалии, и мы нашли общий язык, но! — в молчании! — характер у собачки!

Однако я затянул предисловие к трагическому эпизоду с Прозаиком № 2.

Итак, Бим укусил его, когда популярный автор журнала «Юность» уже дал согласие участвовать в коллек-

тивном сценарии. К этому моменту молодой прозаик сильно располнел, ибо напроць бросил пить, а курил только американские сигареты с очень длинным фильтром. Кроме этого, он закончил многотомный роман, который необходимо и обязательно должен был принести бессмертие. По всем этим причинам настроение Прозаика № 2 было безоблачным, добродушно-снисходительным, и на все наши телефонные и телеграфные вопли о выезде в Одессу он не отвечал.

Тут до нас еще дошли слухи, что к Прозаику № 2 приехала на стажировку француженка. То есть приехала она на стажировку в университет, усовершенствоваться в славистике, но поселилась в Доме творчества в Переделкино. И Прозаик № 2 плотно застрял там, хотя остальной коллектив авторов уже в третий раз готов был лететь на Дерибасовскую.

Меня командировали вытащить его из Переделкино.

Приехал, увидел француженку — молоденькая обаятельная куртизаночка по имени Люси: от одного имени с ума сойдешь!

Была ранняя весна, огромные сугробы и огромные сосульки на всех крышах.

Пошли гулять. Прозаик № 2 в дохе из леопарда и шапке из соболя. А подо всем этим мехом у него был костюм из итальянской ткани «павлиний глаз». Сразу после прогулки он собирался отбыть на обед во французское посольство.

Ну, во что была одета прелестная француженка Люси, никакой роли лично для меня не играет. В конце концов, таких прелестных француженок, если не очень холодно, можно и ни во что не одевать. Однако помню, что Люси была в брючках и без головного убора.

Пока гуляли, я нудно и безнадежно уговаривал соавтора лететь в Одессу, ибо сценарий уже «перестаивается», «перенашивается», и пора брать быка за рога. Он, ясное дело, отмахивался. Люси очаровательно зевала в лайковый кулачок, потом вдруг рассказала на отличном русском французский анекдот, из которого видно, насколько искаженно воспринимается образ современного русского мужчины за рубежами нашей страны.

Я понял этот чудовищный по нелепости и неправдоподобности поклеп-анекдот как намек на то, что сценарий и Одесса, Дерибасовская и вся куча соавторов должны еще подождать Прозаика № 2 неопределенное время.

За такими разговорчиками мы подошли к даче Евтушенки. Хвастаться знакомством с поэтом в те времена было модно. И Прозаик № 2 предложил Люси и мне навести Жене визит.

Легкий снежок падал со светлых небес, когда мы справились со шеколдой калитки.

По припорошенным дорожкам стало ясно, что люди здесь давно не ходили.

Только Бим уклончиво петлял и кружил по участку, заходя нам в тыл.

Писательские дачи часто выглядят необитаемыми и при наличии в них обитателей. Поэтому мы решили дойти до дверей дома и постучать — для очистки совести.

Бим отсек нас от калитки и сел на узенькой тропке. Вид у него опять был какой-то предвкушающий, а сугробы вокруг казались рядом с маленьким песиком чикагскими небоскребами.

Прозаик № 2 пробормотал что-то о том, что собачка малого калибра, но явно подлая тварь.

Я пробормотал что-то о том, что возражаю против такого определения, ибо пес скорее маленькая сатана.

Мы постучали в закрытые двери, убедились в том, что дом истинно пуст, и пошли назад к калитке. Я — первым, чтобы принять какой-нибудь фортель Бима на себя, ибо все-таки сосуществовал с ним когда-то и рассчитывал на верность собачьей памяти. За мной шла Люси. Замыкал процессию Прозаик № 2.

Бим несколько угрюмо, но вежливо посторонился с тропинки, пропустил меня и француженку, а потом — без всяких лишних слов — подпрыгнул и цапнул прозаика за правую ляжку.

Никогда не следует пижонить и носить леопардовую доху нараспашку! Никогда! Даже если жизнь прекрасна и впереди долины Нила и кактусы прерий!.. Правая штанина прозаика, подготовленная к обеду во французском посольстве, повисла ключьями.

Помните роскошный портрет эмигранта Шаляпина, где он в распахнувшейся шубе и шавка на первом плане? Кустодиев. Теперь представьте себе, что шавка вдруг куснула Шаляпина. Что делает Федор Иванович? Этого я не знаю. И Кустодиев не знает. Почему? Потому что шавка кусить великого певца не могла. А если бы уж кусила, то Федор Иванович повел бы и Кустодиева и шавку в ближайший ресторан или дал им контрамарку в Мариинку на «Царя Федора». Ничего подобного Прозаик

№ 2 не сделал. Но не сделал — надо отдать ему должное — и следующего:

1. Не оторвал подол нижней юбки у прелестной французенки и не перевязал кружевами рану на ляжке. (Возможно, потому, что славистка была в брючках, а под брючками нижних юбочек быть не может.)

2. Не приложил к ране снег, дабы остановить кровотечение.

3. Не отправился к ближайшей аптеке, чтобы перехватить там на американский манер — на скорую руку — чего-нибудь противостолбнячного.

А ведь имел медицинское образование и щепетилен в вопросах антисептики!

Реакция на укус у Прозаика № 2 оказалась вовсе не медицинской:

1. Он нецензурно взревел, как тот парижский Вася, который выпрыгивал из бельэтажа на Елисейские поля без ботинок.

2. Он завертелся волчком.

3. Прекратив вертеться, он попытался с ходу вывернуть из промерзшей подмосковной земли ближайшую яблоню — уже старую, кривобокую и растопыренную.

4. Не сладив с яблоней, он выдернул из ворот тот дрын, который просовывают в скобы створок ворот, запирая их после проезда транспорта. Он выдернул этот пятиметровый мореный дрын с такой же решительностью и беспощадностью, как Пророк у Пушкина вырывает свой грешный и лукавый язык.

5. Он сокрушительно занес дрын...

Как вы понимаете, Бим видел миллион разноязычных прозаиков и слависток. Но такого зрелища — мужчину в леопардовой шкуре и с дрыном от ворот над головой — Бим никогда не видел. И вы, кстати говоря, не увидите, ибо такое не повторяется.

Продолжая хранить традиционное молчание, наследник Смелякова по-пролетарски скромно прыснул в ближайший сугроб.

Раскрутив дрын, Прозаик № 2 выпустил его на манер спортивного молота в общем направлении обидчика. Каким чудом дрын не унес в стратосферу, ближний космос или на Тау-Кита череп прекрасной французенки и мой, не знаю, но все дальнейшее наблюдал уже лежа в сугробе и крепенько вжимая в ноздреватый, весенний снег Люси, ибо опасался за состояние франко-советских культурных

связей после загадочной гибели славистки-стажерки в подмосковном поселке.

Дрын врезался в водосточную трубу гаража Евтушенки и сокрушил ее. С колокольным иль похоронным звоном посыпались сосульки.

Одним броском популярный автор журнала «Юность» настиг дрын и начал планомерную охоту за Бимом.

Так как я нежно люблю Фазиля Искандера, а особенно его «Козлотура», то должен заметить, что по прыгучести мой неполучившийся соавтор вполне может стать украшением кавказских предгорий, ибо никакой натуральный абхазский колхозный или совхозный козлотур не способен так высоко, долго и длинно прыгать в жестокой и бескомпромиссной погоне за крошечным песиком. Ну, а о том, что сам Бим никогда не проявлял такой настойчивости и прыгучести при погоне за самой отвратительной кошкой, и говорить нечего.

Я никак не собираюсь утверждать, что укус за ляжку для русского мужчины — штука приятная, — это касается и какого-нибудь комариного укуса или, например, укуса царя зверей льва. Особенно когда травма наносится на глазах француженки Люси и зубами песика, который принадлежит заклятому другу-врагу. Но не следует и стулья ломать! Ведь тот напор, с которым мой несостоявшийся соавтор атаковал Бима, вполне мог бы привести в смятение роту американских зеленых беретов или даже взвод эсэсовцев! А сукин сын Бим чуть повел своим единственным ухом и улепетнул сквозь сугробы и под заснеженные кусты. Прозаик же вынужден был прыгать по заснеженной целине напролом, проваливаясь по соболиную шляпу. В разных местах дачного участка возникали из сугробов то рыже-охряные пятна Бима, то леопардовые пятна.

Если бы я имел мистические наклонности, то мог бы подумать, что не собачка куснула здорового мужика и носится теперь по дачному участку в Переделкино, дьявольски весело похохатывая, а сам дух Ярослава Смелякова резвится в сугробах, сшибая на преследователя снег с елок.

Но я не мистик. Потому вся эта сцена напомнила мне океанарий в Лос-Анджелесе, когда дельфины выпрыгивают из родной стихии в чуждую среду на радость зрителям-туристам.

Даже полному идиоту становилось ясно, что никакой козлотур такого песика не догонит и ни за какие коврижки не сможет огреть его дрыном.

Звуки гона удалялись, действующие лица скрылись за кустами заснеженной сирени и погребом Евтушенки.

Мы с Люси выбрались на улицу и замороженно слушали тихий скрип ворот, которые, лишившись дрына-запора, чуть покачивались на ржавых петлях.

В чудесные волосы француженки беззвучно падали русские снежинки.

Когда остаешься с красивой женщиной тет-а-тет, обязательно тянет что-нибудь сказать.

— Боюсь, он простудится,— сказал я.

— Нет-нет, но мы опоздаем на обед в посольство,— с женской логикой сказала Люси.

— Боюсь, он взбесился,— сказал я.

— Это не происходит так быстро,— сказала Люси со спокойной логикой ученого-языковеда.

— Да,— согласился я,— признаки водобоязни появляются только через сутки. Даже при укусе южноамериканским вампиром.

— В таком состоянии ему нельзя будет сесть за руль, и мы опоздаем в посольство,— сказала Люси, с женской настырностью возвращаясь к главной теме.— Что-то надо делать!— И она топнула очаровательной ножкой в алом сапожке.— Делайте что-нибудь!

— Давайте слушать скрип ворот, Люси,— сказал я.— Там, в этом древнем звуке, вздох всех входящих и исходящих русских писателей, которые прыгали здесь по ночам, судились за свои участки, дрались за водопроводные краны и артезианские колодцы и сочиняли книги, которые уже никто не переделает...

Я не закончил литературно-высокопарных соображений, ибо вдруг увидел Бима.

Песик вернулся на круги своя возле ворот не со стороны улицы. Он без заметных трудов обвел Прозаика № 2 вокруг пальца, то бишь обежал дачный участок. А мой соавтор еще бултыхался где-то в сугробах на задах.

— Фас пас,— сказала Люси.

— Что это значит?— поинтересовался я, уводя славику по направлению к Дому творчества.

— Учите французский,— сказала она капризно.

— Мне уже поздно,— со вздохом сказал я.

— Тогда посмотрите в словаре.

— Обязательно, но напишите мне, как это выглядит.

И она написала пальчиком на сугробе: «Faus pas!»
Вот этот-то нелепый эпизод и наложил на наше соавторство первую тень, ибо начертанные знаки обозначают «промах» или «сесть в лужу». А кому нравится садиться в лужу при зрителях?

Ныне фамилию Прозаика № 2 упоминать не принято, ибо он давно уже свалился за русский горизонт.

— Туда ему, — скажу от всей души, — и дорога.

*ДЕЛО ИДЕТ К
ТЯЖКОЙ И
ДУРАЦКОЙ ССОРЕ*

7.11.64. Алма-Ата, Дом отдыха ЦК КПК.

«Конецкий! Конецкий!

Напиши мне заветное слово!

Ты когда-нибудь влюблялся в казашек?

У казашек черные косые глаза.

Маленькие груди.

Пупки.

Я пишу как Шкловский.

Я живу в горах. Тут снег.

Недавно я взвешивался.

Весы показали ровно 100 килограммов.

Откинь 3 кг на трусы, носки, тапки и очки.

Остается 97.

Это на 17 кг больше нормы.

Я награжден Почетной грамотой Верховного Совета Казахской социалистической республики.

А ты — нет.

Я перевожу роман.

А ты — нет.

Посылаю тебе вид Архангельского моста.

Я выступал 100 раз.

Посылаю тебе записку одного из моих слушателей.

В ответ на эту записку я заплакал и сказал, что дружу с тобой.

Как там ваш сценарий?

Начал ли Данелия съемки?

Кто в главных ролях?

Я тебя люблю.

Я твою маму люблю.

Не люблю только Одессу.

Прислать тебе яблок?

Я бы послал тебе одну из своих казашек, но их не принимают на почте.

Знаешь ли ты, что тут многоженство?

Витя! (*Проникновенно.*)

Поедем закрывать Северный полюс?

Хочешь, я прилечу к тебе и буду жить у тебя три месяца?

Обнимаю.

Целую.

Целую маме ручку.

Напиши мне, бродяга, старый хрен, неповешенный пират, напиши своему другу Джиму Вшивому Носу.

Прощай, кретин, прощай, тридцать третий зуб!»

17.03.65.

«Спасибо, друг мой, за миленькое письмецо — ты по-прежнему замученно остроумен, значит, живешь еще, прыгаешь.

Читал, что тебя ругали в Питере. Очень скверно в такое время попадать в число критикуемых. Только ты держись, занимайся своей машиной и думай о том, что ты еще напишешь, и не давай ходу нервам, к каким бы неприятным последствиям (в смысле оргвыводов, так сказать) ни привела эта критика.

У нас тут метели, дом трясется и стучит ставнями, серьезно поговорят о существовании МО СП вообще.

Я в Тарусе. Помаленьку работаю. Так какими-то кусочками, то с конца, то с начала. Получается как на съемках фильма, потом придется как-то склеивать это все.

У нас тут метели, дом трясется и стучит ставнями, и я в нем один, даже радиоприемник испортился, музыки не слушаешь, одно только и удовольствие, что иногда о Пушкине подумаешь, как он в Михайловском зимовал. Выходит вроде что и ты тоже как Пушкин, ну оно и приятно.

Будь здоров, пей чай на кухне и гляди в окно по-тусторонним взором. Привет твоим!

Действ. ст. советник Ю. Казаков».

05.05.65. Москва

«Видал я тут Вальку Ежова, звал он меня на другой день на просмотр вашего фильма, говорил, что глядел и сам смеялся. А я вот не пошел. Ну вас всех на фиг! Вы,

гады, выперли меня из своего коллектива, да еще платить заставляете. Очень это по-свински. А если бы мы все участиствовали, то фильм был бы в пять раз лучше.

«Соленый лед» твой хорош, только покойничков многовато, грустно как-то. Почему, кстати, у тебя с пейзажем плохо? Не способен ты, что ли? А я люблю иногда завинтить насчет там белых ночей, льда и прочего. «Северный дневник» у меня туго идет, старина, много времени прошло, забылось многое, а очерк, сам знаешь, любит точность. Вот я и тяну резину. Охота получше сделать, не могу халтурить — и очень мне надоела вся эта волюнка. А тут еще повесть свою потерял. Там у меня много было написано, разрозненно, сзади наперед и по-всякому, но написано было порядочно, а теперь вот не могу найти никак, жалко будет, если я ее посеял где-нибудь в своих переездах и сжег нечаянно. Я тут в марте, когда в Тарусе жил, многое пожег, всякие там черновики и прочее, может, и повестуха моя погорела.

«Нестора» моего по Москве читают, откуда только журнал достают. Читают его, а критики делают вид, что ничего такого и не было. Перевожу тебе телеграфом твои вшивые три с чем-то сотни, чтобы ты на них вставил себе тридцать третий зуб в ухо. Нижайший поклон маме».

КАК ЛИТЕРАТУРНО ССОРЯТСЯ ЛИТЕРАТОРЫ

Архив Казакова практически весь погиб. Черновики он любил уничтожать сам. А другие документы и письма долгое время после его смерти валялись в пустом доме в Abramceve. И хулиганье, которое зимой лазают по пригородным дачам, использовало бумажки для растопки печей.

Из моих писем к нему уцелело всего девять штук. Это и «вообще» жаль, а сейчас создает ту частную трудность, что я не могу с должной определенностью восстановить обстоятельства нашей ссоры и затем даже полного разрыва всяких дипломатических отношений в 1968 году.

Причина разрыва:

1. Пьянство и дурь, которую люди вытворяют, находясь в пьяном состоянии.

2. Наше разное отношение к Константину Георгиевичу Паустовскому.

«Многое в тебе не нравится мне, многое просто раздражает, но где-то и как-то я люблю тебя, часто думаю о тебе, всегда хочу тебе добра, и счастья, и хорошей работы, хорошего письма. И потому мне всегда мерзко бывает на душе, когда думаю о тебе, как о потерявшем самоощущение, самоконтроль, масштабность.

Буюсь, что ты не поймешь меня сейчас. Но не в том суть.

Мне самому так как-то горько и ужасно, что надо в чей-то подол плакать. И этим подолом был у меня ты, а теперь год целый тебя нет. В том, верно, и причина. В. К.»

«Старик, тебе кто-нибудь на меня накапал. С чего это ты вдруг стал думать обо мне, как о «потерявшем самоощущение, самоконтроль, масштабность»?

Я, правда, однажды рассердился на тебя, потому что ты вел себя невозможно, кочевряжился и вообще всячески выпендривался важностью твоей работы (в том смысле, что ты работаешь для миллионов, а я — для единиц) — и в то же время как-то некрасиво лебезил перед Дanelией и Борисом Андреевым — актером...

Вот, пожалуй, и все, что я когда-либо против тебя имел. Ю. К.»

«Юра, сам ты как-то дурно кочевряжишься, ведешь себя не просто, а сложно, переусложненно, наплевательски. Такое не следует сегодня делать. От такого только дурнее самому и, конечно, другим.

Жизнь так бесконечно сложна, тяжка, надрывна; так все хорошие люди не умеют жить, напрягаться, побеждать и помогать друзьям. Так все мы безобразно, ужасно старательно приближаем к себе старость, немощь, бессилие. Так всем нам жутко от будущего, так боимся мы его, не верим в него, что и все вокруг начинает мельтешиться, мельчать и... Много здесь горького можно сказать. Только нет во всем этом толку. И нельзя бросаться друг другом. В. К.»

«Ты отлично знаешь, как нравились мне всегда твои рассказы, вплоть до того, что я даже (в своем очерке о Паустовском) старика заставил сказать о тебе теплое слово (он тебя вообще никогда не читал и никогда о тебе не говорил).

А не писал я тебе по очень простой причине, вернее по двум причинам: сам весь этот год постоянно мотался, не жил дома, и потом о тебе мне все время говорили, что ты тоже где-то мотаешься, а я не знал твоего адреса.

Вот так, старик. Зря это ты на меня полез, зря. Нехорошо. Ю. К.»

«Не думай, что жду от тебя помощи. Никто нам не поможет. Если есть кто-то на свете, кто может помочь мне, так это, прости за банальность,— море. Я написал в ЦК письмо. Прошу пустить меня в заграничное плавание. Чем кончится — не знаю. Но очень надеюсь. В. К.»

«Не пиши мне ради бога больше таких писем, а то мы с тобой начнем, как Горький с Андреевым, катать друг другу обидные послания до конца века. А вот авось как-нибудь судьба сведет нос к носу, ну и поговорим, и, я думаю, всякая шелуха сразу отпадет и обид никаких не будет. Будь здоров, работай, осенью хорошо работается. Ю. К.»

«Мое письмо не означает, что я забыл все те гадости, которые ты говорил и делал в мой адрес.

В 12-м номере «Искусства кино» напечатан сценарий Л. Малюгина о Чехове, «Чайке», Мизиновой. Я убедительно прошу тебя прочитать его немедленно. Малюгин помер, мертвых не ругают. Но он был вполне на своем месте как драматург, когда создавал «Поезд идет на Восток». Когда он сочиняет о Чехове, то каждое слово втыкается в меня ржавым гвоздем. Я, как ты знаешь, сам писал об Антоне Павловиче, поэтому мой вопль сочтут желанием примазаться к сценарию, выпихнуть покойника и хапануть денег на Чехове. Ставить фильм будет Сергей Иосифович Юткевич.

Бога ради! Прочитай сценарий и скажи Паустовскому, чтобы как-нибудь остановить или коллективно поправить

то, что принадлежит всей русской литературе, а не только Юткевичу. Будь здоров. *В. К.*»

«Ты, милый мой, с ума сошел! Никаких гадостей я не говорил и тем более не делал в твой адрес. Не делал — потому что вообще даже не представляю, какую мог бы сделать тебе гадость. А не говорил — потому что (извини) вообще о тебе не говорил, кроме одного раза, когда я позвонил Данелии, чтобы узнать, что с тобой случилось, — это после получения твоей книжки с совершенно хамской надписью. Твой «Чехов» — компилятивный рассказ, как я теперь понял (я недавно перечитывал письма Чехова). И вообще ты уж какие-то все больно здоровые рассказы пишешь — два-три листа, подумать только! Отсюда — водянистость.

Насчет Малюгина ты не по адресу обратился, я его знать не знаю, и пусть пишет всякий что хочет и снимает тоже, всего дерьма не вычерпашь, и писать по этому поводу Паустовскому я не буду (да ты его, кстати, и не жалуешь, как это проскользнуло в одном твоём рассказе) — старик на ладан дышит. Будь здоров, живи как знаешь, но ты меня глубоко обидел. *Ю. К. 2.02.68 г.*»

В рассказе «Если позовет товарищ...» мой неудачливый, разжалованный из офицеров герой в ответ на подначку приятельницы обронил: «Рыбак? Нет, что ты! Я плаваю в тропиках. Как у Грина и Паустовского... Пальмы, солнце, и женщины, смуглые, как ананасы, бегают вокруг по волнам».

В послевоенные времена воздействие произведений Константина Георгиевича Паустовского на молодежь было громадным. Среди голода, холода, запустения; среди серой лакировочной литературы его настроенческая проза навевала те самые голубые сны, в которые так хотелось убежать от окружающего.

Мое уважение к Паустовскому и в те времена было и сейчас остается глубоким и искренним. Свою первую книгу я послал только двум писателям — Паустовскому и Эренбургу.

Но к концу пятидесятых годов меня все чаще раздражало несоответствие его восторженной романтичности и суровых реалий жизни. Особенно удивляло, что писатель, который сложившимся человеком вошел в войну,

умудрился не написать ни одного по-настоящему правдивого слова о ней. Такие рассказы Паустовского, как «Снег» или «Дождливый рассвет», на фоне блокадных воспоминаний иногда начинали казаться мне чем-то кощунственным.

Занятно, что и Бунин, пережив кучу войн, умудрился их вовсе не заметить. Во всяком случае, я не читал ничего, кроме одной пасквильной книги о временах гражданской войны в Одессе.

Может быть, чтобы писать войну, на ней надо быть в роли человека действующего, то есть воюющего, а не стороннего тщательного наблюдателя? Коли на войне будешь наблюдениями для последующего живописания заниматься, то тебя первая пуля найдет.

Вероятно, потому отправившиеся на войну охотниками Петр и Аркадий Петровичи Хрущевы («Суходол») из повествования выпадают. Одного из них автор прибил как-то нелепо и непонятно передним лошадиным копытом, а другого вовсе забыл — Аркашу. Зато пьяниц, божьих людей, колдунов, кучеров, их жизненные пути описываются на высшем пилотаже. Чего ж тогда он пеняет на слабую память, которая не сохранила у автора даже могильных мест Хрущевых?

Ведь, увлекшись живописью и запахами, Бунин пропускает из жизни своих предков наиболее значительное в их судьбе и в их поступках. А его герои покинули родовое гнездо, с его привычным бытом, барской неторопливой жизнью, и — по стопам, между прочим, Льва Николаевича Толстого — отправились под ядра на бастионы Севастополя. И один из них там рану получил. И вот такой поступок предков Бунину не занятен, не интересен, ибо в Севастополе не до любования запахами антоновских яблок было. А тогда Бунину скучно. Зато описать, как колдун Клим Ерохин беса из барышни выгоняет, — это он делает замечательно.

Перечитывал «Суходол» недавно, находясь в море. Это особенно занятно, ибо более сухопутной, земной вещи и не отыщешь в мировой литературе. Зверски большой писатель Бунин. Однако пропускает и «серебряные струны телеграфных проводов», и «как сорвавшаяся с цепи лошадь» — после гикания на нее, бедную. И открытия делает, раздражающие своей очевидностью, лежанием на поверхности, — белки негров, как облупленные крутые яйца. А с запахами перебор, когда он пишет ради одной цели — качества самого написания. В «Суходоле», где он знает то,

что хочет сказать, запахов не более, нежели надо. А в «Антоновских яблоках» на первой странице: 1. «Запах антоновских яблок». 2. «Запах меда». 3. «Запах осенней сырости». 4. «Запах дегтя в свежем воздухе». 5. «Опять сильно пахнет яблоками». 6. Девки в «сарафанах, сильно пахнувших краской». 7. «И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых суцьев».

У меня в носу коллекция запахов остановилась еще в блокаду на запахе лежалых трупов и замерзших человеческих экскрементов. Потому, вероятно, излишек запахов меня и раздражает. Или возьмем слово, которое Бунин употребляет чаще всех других,—«свежесть». А мне и ныне свежесть не нужна, у меня от свежего воздуха и свежей воды сразу озноб. Я всю жизнь, когда к тому есть возможность, теплой водой умываюсь. Уверен, что мог бы себя натренировать и сидеть по утрам в ванне с ледяной водой, но только не хочу этого. Калории берегу. И вот Казаков этокое наше существование решил ликвидировать, заставить нас снова нюхать, есть с ощущением вкуса, ловить утреннюю и вечернюю свежесть, наслаждаться женственностью. Он даже прямо писал мне в одном из писем, что мы преступно транжирим себя на случайные связи, что от такого только оскомины и бессмысленная трата души, которая нужна для прозы.

И вот своей прозой он попытался восстановить и в самом себе и в читателях нашего поколения радость жизненной плоти. Эта живая радость, которая бывает и животной, дана человеку, дабы немного скрасить ему мучительность духовного существования. Мы—и непосредственно воевавшие, и хлебнувшие—к пятидесятым годам утратили вкус, обоняние, наслаждение видом тонкого стекла, цветом напитка, женским изяществом. Мы торопились нажраться, коли была жратва, и заглядывали под юбку, дабы увидеть то, что между трусиками и чулком. А ежели у нас появлялась бутылка, то выглотать ее следовало до дна.

Поздравляя Казакова с пятидесятилетием в 1977 году, Трифонов писал: «Сейчас много и дельно хвалят писателей так называемой деревенской темы, имена их общеизвестны, но вывод из потока статей таков, будто хвалимые авторы выступили на этой ниве зачинателями, а мне сдается, что некоторые мотивы, разработанные Шукшиным и Беловым, впервые прозвучали в ранних рассказах Ка-

закова. Помните девяностолетнюю старуху Марфу, помните Нестора и Кира? Помните мутноглазых парней, грубых и сильных, но в чем-то трагически слабых, достойных жалости?»

Ну, жалости к этим парням я не испытываю.

Возьмем рассказ «На полустанке», написанный в 1954 году.

«Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто, с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживая подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю.

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос.

— Вот она, жизнь-то, как повернулась, а?— заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами.— Теперь мое дело — порядок! Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай матери с сестрой достается, не жалко. Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же квартиру... Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видел: самые лучшие еле на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул запросто! Чуешь?

— А я как же?— тихо спросила девушка.

— Ты-то?— Парень покосился на нее, кашлянул.— Говорено было. Дай огляжусь — приеду. Мне сейчас некогда... Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы давно... Как они там живут? Тренируются... А у меня сила нутряная, ты погоди маленько, я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду, житуха начнется — дай бог! Н-да... А к тебе приеду... Я потом это... напишу...

— Ты там берегись, слишком-то не подымай... А то жила какая-нибудь лопнет... О себе подумай, не надрывайся... Я что? Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду!.. Ты обо мне не мечтай. Так я это, люблю тебя, вот и плачу, думаю...»

Конечно, когда поезд тронулся, парень крикнул:

« — Слышь... Не приеду я больше! Слышь...»

Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур.

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову... Мимо нее мелькали вагоны...»

Нет, не лопнула у этого штангиста жила. Парни Ка-

закова, состоящие из цинизма, наглости, нахальства, с ядреными задами, крепко пахнувшие спермой, табаком и водкой,— эти парни расплодились и пронизали в самых разных качествах всю Россию. Это и перекасти-поле без святого в душе и сердце, которыми набиты исправительные колонии усиленного режима. И одновременно из этих послевоенных парней вышли и миллионы грубых и откровенных приспособленцев на всех ступенях общественной лестницы. Послевоенные, начала пятидесятых годов, парни Казакова, бегущие из деревни в дырявых сапогах гармошкой, к нашему времени обулись в кроссовки и на пальцы нанизали золотые кольца. Только это уже даже не для Белова тема, а, пожалуй, лишь для Виктора Петровича Астафьева.

Итак, мне кажется, что Казаков учился у Бунина и Хемингуэя изображению плоти жизни и смерти, и любви, и питья, и охоты, имея — сознательную или несознательную — цель: вернуть людям, которые утратили способность радоваться чувственному миру, его краски, запахи; заставить нас вспомнить красоту и радость плотского — огромная цель! Не живопись ради живописи, не запахи ради запахов, но пробуждение атрофированной за многие годы голода, нищеты, сиротства, уродства, жестокости способности извлекать из жизни максимум того, что возможно, для ее украшения.

Быть может, парни Казакова где-то и в чем-то переключаются с Герваськой Бунина. Но и здесь у Казакова получился не показ ради показа, а выведение социально-физиологического типа и даже предсказание его генетического дальнейшего развития.

ПРОШЛО

ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ

В сентябре 1979 года на теплоходе «Колымалес» я приплыл на Чукотку в порт Певек. И получил там почту за несколько месяцев, которую переслали мне из Ленинграда. Среди этой корреспонденции было письмо от Казакова.

14.06.79. Абрамцево.

«Дорогой Виктор! Вот видишь, и дожили мы до твоего 50-летия! Поздравляю тебя, хоть, собственно, поздравлять не с чем особенно, но что делать, если первый наш

юбилей падает не на двадцать лет, а на пятьдесят. Утешимся хотя бы тем, что это *первый* юбилей, и дай тебе бог дожить хотя бы до третьего.

Не так давно попалась мне в библиотеке твоя книжка «Соленый лед», я ее прочел впервые всю, в полном виде и единым разом, и должен тебе сказать, очень жалко, что таких книжек у тебя мало. Рад, что, несмотря на разные ненормальности в жизни твоей, пишешь как-то свободно, раскованно, с чем тебя от души поздравляю. И еще приятно было, что, читая тебя, приценивался к своему «Северному дневнику» — все разное у нас, и потому рад, что так разное пишем.

Ты, видимо, из кино выбрался, а я на старости лет в него втяпался, убил два года и, как водится, оброс «соавторами», ибо, как мне сказали, ничего я в кинематографе не смыслю. Зато они смыслят, и фильм, наверное, выйдет фиговый, как водится. Однако съемки будут на Новой Земле, и я заранее предвкушаю наслаждение от вещей издавна мне милых, как-то: ото льдов, полыней, тюленей, собак, могилы Баренца (там у меня Русанов с Вылкой идут вокруг Новой Земли) и прочих северных прелестей. Там и война есть, тихая война, подлодка всплывает в полынь, и гансики высаживаются на берег (им метеобаза нужна для рейдеров), так что и постреляем маленько...

Ну, и гольца поедим во всяких его ипостасях и прочие удовольствия. Вот, присоединяйся к нам консультантом, а? В августе, м. б., поедим на «выбор натуры» — присоединяйся, подышишь дней десять солеными льдами, в Арх-ске, говорят, новую гостиницу отгрохали на уровне мировых стандартов.

Будь здоров, Витя, пиши больше. Актеров среди ненцев нет, пришлось набирать среди азиатов.

Эпигон и декадент Ю. Казаков».

Если учесть, что рейс наш сильно затянулся, а угодил я в него сразу после рейса в Антарктиду; и еще учесть, что ледовая обстановка была чрезвычайно тяжелой, устали мы уже запредельно, то поймете, каким давлением на мои слезные железы оказалось это письмо. Сразу сел за ответ:

«Пишу тебе из Певека, где мы застряли под разгрузкой. Поздравление твое получил здесь только — с опозданием на три месяца. Пятидесятилетие пережил тяжело. Все это так избито: «Ах, как быстро промелькнула жизнь! Ох, как ничего не сделано! Эх, как некрасиво, неумело,

грязно прожито!— и никуда не денешься: идешь по штампу, хотя и ненавижу я его смертельно. Что было-то в жизни: блокада, эвакуация, казарма, погоны, служба, безденежье, муки над каждым рассказом и муки и унижения печатания... И опять все то же. И как нестерпимо хочется как-то успеть наладить хотя бы квартирный быт и написать хорошую книгу, и как весь опыт жизни говорит, что ничего уже не сможешь, ибо на все это особый талант нужен. Вот какие, дорогой мой, словеса я выпускаю на белые льдины, которые плавают взад-вперед по рейду, а вода возле них плюхает — будто кто-то усталый на весла наваливается из последних сил.

И ты, верно, не от хорошей жизни на старости пустился в киночушь. Я здорово отупел за рейс в Антарктиду и сюда, а впереди надо еще вернуться — через всю Арктику. Плыть, правда, легче и даже бывает весело, а стоять и ждать неделями и месяцами улучшения ледовой обстановки или разгрузки — тяжело. Красиво звучит?

Слишком давно мы не общались — десять лет. И потому я чувствую себя в этом письме неуверенно — как первый раз в море. И литературщина из меня прет, а я на нее смотрю со стороны с удовольствием, ибо с годами прихожу к выводу, что в ней-то и есть хоть толика правды, и надо писать «Бедную Лизу», а не пробовать чесать себя правой рукой за шестой шейный позвонок. И еще я вспоминаю, как ты похвалил меня за «И следы позади оставались темные, земляные, в них виднелась примятая, блеклая, но кое-где все еще с зеленою трава» (это Чехов идет по первому выпавшему снегу в Мелихово). Ты-то забыл, а я помню, как ты заглянул сзади в мое печатанье — и похвалил. Видишь, какие штуки на всю жизнь остаются в памяти! Значит, мало меня хвалили люди, от которых единственных и ждешь похвалы...

Юра, а ты заметил, что когда пьешь горькую, то не только на душе грязно, но и почему-то все время обнаруживаешь грязь под ногтями? Даже если моешь руки, и чистишь ногти, и не делаешь никакой работы.

Попал мне тут Голсуорси.

Большущий писатель. И все у него идет прекрасно, пока герои на родине, на английском пейзаже. Но вот он пишет встречу Джона с Энн на американской природе в Северной Каролине, природу достаточно неподстриженную. (Если там умудрились заблудиться двое взрослых людей.) И он написал... английский подстриженный пейзаж...

За Голсуорси вспомнился Рейнольдс. В девятнадцать лет был в него влюблен. И теперь дал зарок по возвращении из Арктики навестить Эрмитаж, где не был сто лет, и проведать Рейнольдса...»

Почему я на Певекском рейде вдруг поехал куда-то к Рейнольдсу, конечно, уже не помню. Точно одно: письма к Казакову не закончил — или запутался, или служебные дела позвали.

А вот не отправил этого письма из Певека — уже по лени: конверта нет, судно на рейде, катера не дожидаться, тащиться на берег неохота и т. д.

А Юра-то именно в тот момент первый раз оказался на краю жизни — ему делали в больнице тяжелую полостную операцию...

ИЗ

*ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ
НА ТЕПЛОХОДЕ «КОЛЫМАЛЕС»*

На северном берегу,
Где ветер, дыша прибоем,
Летит над грядкою дюн,
Цветешь ли ты, как бывало,
Шиповник, и в этом году?

*Эпитафия, которую написал
для себя японский поэт
Исикава Такубоку*

Когда слоны смеются, если верить Киплингу, они не издают звуков. Слон стоит в тени пальмы и трясется от смеха. Поздний Чехов умел так смеяться над окружающим и над самим собой. Толстой же никогда над собой не смеялся. Просто и не думал о таком. И потому часто сердился вслух — это он сам на себя сердился — пар выпускал. А Чехов на себя, пожалуй, никогда не сердился — не за что было?..

Пятнадцатое октября 1979 года.

По причине неожиданного выхода из Арктики не на запад, а на восток на судне не оказалось лоции Японского моря. Зато были лоции Татарского пролива с Амурским лиманом. И от нечего делать я принялся изучать побережье острова Сахалин и сделал из лоции следующие выписки:

«Бухта Чехова — незначительно вдается в берег в двух милях от устья реки Красноярки. Берега бухты вблизи входных мысов высокие, вдоль них тянутся рифы, на которых разбросаны надводные осыхающие камни. Берег вершины бухты низкий и песчаный. В бухту впадает мелководная речка — Чеховка. Глубины в бухте до 5 метров. На северо-восточной стороне ковша рыбозавод.

Город Чехов — расположен на берегах устьев речек Чеховка и Рудановского. В городе находится предприятие рыбной промышленности. На подходах к городу Чехов приметно ЖЕЛТОЕ четырехэтажное здание».

Хорошенькие места увековечивают здесь память Антона Павловича...

Ночью после чтения «вразброд» сахалинских произведений Чехова мне стало гнусно-стыдно своего бездумного отрицания этих вещей раньше. Кажется, я даже напечатал где-то, что «Сахалин» можно употреблять вместо люминала, а вот «Мисюсь, где ты?» — вершина. Все потому, что «Сахалин»-то я ни раньше, ни теперь не читал толком от начала до конца. И вот встретил чеховское «дай мне бог никогда ничего не говорить про то, чего не знаю», и душа моя стыдом уязвлена стала.

Воздерживаться от суждений там, где не знаешь как следует вопроса, так же трудно русскому человеку, как и не оставлять автографов в общественных туалетах.

Занятно, с каким постоянством к концу каждого рейса начинает тянуть на классику и цитирование! В записных же книжках Чехова ничтожно мало цитат — две-три всего, включая строку из Лермонтова...

«Между «есть бог» и «нет бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей, середина же между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало».

В бога Чехов не верил. Но ему иногда казалось, что умирает в человеке лишь то, что поддается нашим пяти чувствам, а что вне этих чувств, что, вероятно, громадно, невообразимо, высоко, — остается жить. Мы не знаем того, что за гробом, но знаем из обыкновенного опыта, что наша ПАМЯТЬ об ушедших может быть громадной, не-

вообразимой, высокой, и тогда они остаются жить с нами. А чтобы помочь нашей памяти не скудеть, мы создаем памятники. И талантливые памятники способны сдуть с наших душ пепел обыденности...

Да, в бога Чехов не верил, но вел себя на этом свете так, чтобы на том свете богу понравиться. И в этом его единственная — и очень тонкая — хитрость. Она, возможно, от Малороссии и провинциальной таганрогщины.

В этом человеке, чем дольше живу, тем более поражает буквально все. А в самой основе восхищения — примат его воли. Это и жизненных поступков касается, и творчества.

Не упоминать в записных книжках про свою болезнь, не заниматься самонаблюдением при ее развитии; в творчестве надеть на себя стальную узду, постоянно уводя прозу в некую безличностную, сероватую дымку. В то время как в любом письме к самому заштатному адресату он сыплет краски, эпитеты, парадоксы, всплески ошеломляюще-неожиданных литературных средств. И все это начисто изгоняется из текста рассказов, притушевывается, как-то усредняется. На его, Чехова, ясное дело, уровне, но как-то усредняется, зажимается, уводится в монохром. Зачем? Почему? Беспощадность и самоограничение каждой секунду — зачем?

Ведь в жизни, например, он прямо на крик орал, ошутив сомнения в своих докторских добродетелях и достоинствах: «Когда-нибудь убедятся, что я, ей-богу, хороший медик...», «Полицейская Москва признает меня за доктора, а не за писателя, значит, я доктор...» И переживал глубокое и тягостное чувство непоправимой разлуки, когда вынужден был прекратить медицинскую практику. Это гнетущее ощущение неполноценности преследует до самой смерти переставших плавать морских писателей и бывших летчиков...

В письмах Юрия Казакова имя Чехова упоминается чаще Бунина.

21 октября 1961 года он пишет: *«Умоляю, вышли мне срочно те!!! фразы, которые ты записал в доме Чехова. Когда мы с тобой там были, ты записал, что говорила одна тетка пошлая, какие-то она задавала пошлейшие вопросы насчет Чехова и ты записал в блокнот. Ты посмотри в блокноте и пришли срочно — мне надо, пишу нелепый рассказ про Ялту, очень надо».*

Речь о рассказе «Проклятый Север». (В посмертном сборнике датирован 1964 годом.)

В доме-музее А. П. Чехова в Ялте мы были весной. Все цвело и благоухало вокруг.

Пошлая тетка говорила: «В таком доме и я написала бы чего-нибудь... Да, ничего себе домик! Сколько тут комнат? Ого! А говорят, скромный был...»

Когда мы наслушались теток и побродили по дому, то ото всего этого устали, завяли. И долго сидели на скамейке под кипарисами, молчали. Потом Казаков сказал:

— А Гуров-то, а? Он с этой дамой с собачкой... Он в Симферополь потом провожать ее ездил. На лошадях, ты это учти, милый... Целый день в те времена тарантасили. А я да и ты до угла бы провожать не стали, а порядочными людьми себя считаем...— И засмеялся как-то неприятно, беспощадно, стирая бисеринки пота со своего римского носа.

Беспощадности в рассматривании самого себя и точности микроскопических мелочей он учился в первую очередь у Чехова. Изображение коротких душевных движений, нежных психологических подвижек, еле на первый взгляд заметных,— тоже от Чехова. А всякие темные страсти-мордасти — уже от Бунина.

Твардовский этого не уловил: «Автор явно талантлив, но по молодости притворяется пожившим, усталым, познавшим будто бы «тщету всего земного», горечь и безнадежность утрат, неизменность «вечного кругооборота»— юность — старость и т. п. Все эти настроения и мотивы в готовом виде взяты из литературы, более всего от Бунина, который весьма сильно определяет и само письмо молодого автора...» (15.VIII.58).

Казаков в ноябре 59-го года пишет мне: «Читаю Ремарка «Тр.арка»— очень, очень сильно, очень красиво, но и страшно узко для романа, по-моему. Уверен и радуюсь, что наши могут лучше и даже иной раз доказывают это. А Ремарк начисто лишен подтекста. Современный же поэт-писатель без подтекста (после незабвенного А. П. Чехова) немислим. Это я тебе пишу к тому, чтобы ты не особенно обольщался этим Ремарком...». «Давай напряжем наши хилые умишки и силишки и докажем протухшему Западу, что такое советская Русь!»

Казаков был полон исторического оптимизма, что опять же свойственно в полной мере Чехову и никак не Бунину. А манера... Не во внешней манере дело.

Только не подумайте, что Казаков наплевательски относился к западной литературе. О том же Ремарке он в другой раз пишет: «Тут живет его переводчик, так я даже как-то на переводчика с робостью гляжу, как будто это половина Ремарка. (Он переводил «Тр. арку».)»

В марте 1962 года Казаков жаловался: «Я, знаешь, насколько раньше был непоколебим и уверен в себе, настолько сейчас закис и раскис и не знаю, что делать. Как-то тянет меня на высокое и важное, а высокого и важного что-то все не подвертывается, и то, что делаю я сейчас, совершенно мне не в жилу.

А тут еще Толстой. Я живу в старом доме с разными антиквариями, фарфор там, картины, старые книги и проч. Взял Толстого «Исповедь», почитал и совсем закручинился. Неотразимо пишет, и его нашему брату вредно читать. Сразу на низ отдаёт. Видишь, что ты есть дерьмо собачье и ничего больше.

Книжку я тебе пришлю, как только вернусь в Москву, но учти, ты меня введешь в расход, т. к. надо ее посылать ценной банд. И ценить не менее чем в 100 руб., а то на почте книги распатронивают и воруют. В живых остаются один Бабаевский да Конецкий».

Толстой был скуповат. Это чрезвычайно значительное свидетельство, хотя оно и принадлежит Софье Андреевне. Гении часто бывали скупы, особенно когда им выпадала состоятельность. Кто-то объяснил, что гений, чтобы иметь возможность отдать, сперва должен **НАКОПИТЬ**, должен все и вся тащить в себя. Из духовной сферы это может перекидываться и в материю. Но и то надо помнить, что сильный умный человек всему назначает истинную цену, не любит переплачивать, умеет торговаться даже на базаре и, бывает, только кажется скупым.

Казаков торговаться умел, за деньгами гонялся, домике купил, гигантские романы переводил... И все жаловался мне: «С деньгами у меня, милый ты мой, абсолютный кризис, еще похуже, чем был в Америке в 1929 году! Авансы за перевод пока не дают... Но я, старик, альтруист, хоть и не знаю, что это такое. Я альтруист и в конце концов получу авансы всякие и тогда раздам долги всем вам... Роман мой казахский набирает силы, скоро выскочит в свет в нескольких издательствах, и тогда мне на стол посыпятся разноцветные бумажки и все вы будете обеспечены по гроб жизни...»

Я, конечно, не против переводческой работы, но думаю, этот гигантский казахский роман сыграл в его жизни роковую роль.

Сменим-ка пластинку.

Толстой: «Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Ивановича и Марью Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случилось наблюдать в жизни».

Сравните с хрестоматийно известным: «Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются жизни».

Чем человек умнее, тем ему необходимее умный собеседник,— это азбучная истина. Чехов чуть не весь свой век терпел Суворина и с ним переписывался, хотя и никогда его порядочно не любил и давно раскусил, а терпел до самого Дрейфуса, потому что старая и подлая лисица умен был бесовски.

Толстой часто плакал. Он горе, несчастье других видел и чувствовал в высокой, мучительной мере, но внешне не откликался, не реагировал, оставался глух к чужим страданиям, хотя плакал слезами над книгой, музыкой или устными рассказами, речами грустного содержания.

Бунин утверждает, что Чехов не плакал ни разу в жизни. Он облегчал душу тем, что лечил больных или помогал здоровым бедолагам.

Толстой: «Правда очень требовательна к форме».

Чехов: «За новыми формами в литературе всегда следуют новые формы жизни (предвестники), и потому, они бывают так противны консервативному человеческому духу». Если Чехов прав, (а он всегда прав), то нам в близком будущем нечего ждать новых форм жизни в деревне, ибо «деревенщики» никакими новыми литературными формами не озабочены.

Человек земли, крестьянин не занимается осознанием самого себя, ибо имеет всепоглощающую идею, идею ЖИЗНИ, СУЩЕСТВОВАНИЯ. Хорошо это или плохо, не знаю. Но то, что прозрачная простота крестьянской муд-

рости иногда всходит или заквашивается на дрожжах хитрости, — факт.

Я знаю русское, как, впрочем, и всякое, крестьянство лишь по городскому рынку. И должен заметить, что человек, который выгадывает на клочке газеты для кулька, мне в высшей степени омерзителен. Знаю крестьян еще по матросам — отличные есть ребята! Но это уже не крестьянство, а выходцы из него...

«Как ни пошло это говорить, но во всем в жизни, и в особенности в искусстве, нужно только одно отрицательное качество — не лгать.

В жизни ложь гадка, но не уничтожает жизнь, она замазывает ее гадостью, но под ней все-таки правда жизни, потому что чего-нибудь всегда кому-нибудь хочется, от чего-нибудь больно или радостно, но в искусстве ложь уничтожает всю связь между явлениями, порошком все рассыпается» (1877. Письмо Л. Н. Толстого к Н. Н. Страхову).

«Отчего *напрягаться*? Отчего вы сказали такое слово? Я очень хорошо знаю это чувство — даже теперь последнее время его испытываю: все как будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя начинать. Если станешь *напрягаться*, то будешь не естественен, не правдив, а этого нам с вами нельзя» (1878. Письмо к Н. Н. Страхову).

Как ни тяжело об этом говорить, у Чехова есть одно произведение, которое мне не просто не нравится... Оно называется «В море», подзаголовок «Рассказ матроса».

Впервые напечатано в 1883 году.

В журнальной редакции рассказ, как сказано в комментариях, в значительной степени носил характер пародии на переводной «морской» рассказ. Но при включении рассказа в альманах «Северные цветы» (1901) пародийный тон рассказа был изменен Чеховым на серьезный. В 1903 году Чехов опять возвращается к рассказу, правит его стилистически и включает в собрание сочинений.

Суть рассказа в том, что на пароходе плывут куда-то молодожены — «высокая, худая, молодая, стройная, очень красивая англичанка и молодой пастор с красивой белокурой головой». Матросы из экипажа парохода просверлили в переборке каюты для новобрачных две дырки. И бросают жребий. Жребий достается совсем молоденькому матросу, от лица которого ведется рассказ, и его старому отцу, лицо которого «похоже на печеное яблоко». Эти двое подсматривают в дырки за новобрачными. На их глазах молодой пастор упрасивает невесту отдаться за большие деньги банкиру — «высокому, полному англичанину с рыжим, отталкивающим лицом». И она соглашается.

«Я отскочил от стены, как ужаленный. Я испугался... Мне показалось, что ветер разорвал наш пароход на части, что мы идем ко дну.

Старик отец, этот пьяный развратный человек, взял меня за руку и сказал:

— Выйдем отсюда! Ты не должен этого видеть! Ты еще мальчик...

Он едва стоял на ногах. Я вынес его по крутой, извилистой лестнице наверх, где уже шел настоящий осенний дождь...»

Чтобы матрос сказал «ветер разорвал наш пароход на части» или «я вынес его по крутой извилистой лестнице» да еще в «настоящий осенний дождь». И чтобы старый матрос-отец чуть было не потерял вовсе сознание...

Вот загадка: гениальный человек трижды печатает при своей жизни произведение, написанное на материале, который он знает чрезвычайно плохо. И ведь еще любил хвастаться, конечно, шутливо: «...во время своего путешествия из Сахалина я достаточно привык и к туманам и к свежим ветрам и потому смотрю теперь на Черное море свысока и во время качки обедаю ничтоже сумняся» (1894, Г. М. Чехову).

Невольно вспоминается «Господин из Сан-Франциско» — холодный и пристальный Бунин никогда не мог бы так сорваться.

(Увы, недавно перечитал его морские заметки и вздрогнул: в Аравийском море он одновременно любитесь Полярной Звездой и Южным Крестом — это в Северном-то полушарии!)

Интересно, упоминал ли Бунин в той книге, которую он писал перед смертью о Чехове, этот рассказ?

В год моего рождения Чехову было бы всего 69 лет. В последнем бреде Антону Павловичу мерещился какой-то матрос и японцы.

Странно, что никто из мемуаристов не обнаружил сходства между Зощенко и Чеховым. А оно есть и во внутреннем их мире, и во внешней манере вести себя: всежизненная борьба с болью и болезнью, мужество, отношение к женщине, одиночество...

Странно, что в Монте-Карло Чехов сильно увлекся рулеткой.

Странно потому, что кажется, будто Антон Павлович был полон желанием жить, а не самой жизнью. Пушкин всегда был полон самой жизнью, даже за несколько часов до дуэли, хотя его психическое состояние было чрезвычайно тяжелым. Чехов: «Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким».

Конечно, не в такой форме, не с таким количеством цитат и полуворованных размышлений, но про все вышенаписанное мне подумалось за те несколько часов, когда «Колымалес» скользил по штилевой воде пролива Лаперуза и с левого борта, похожий на парусник, торчал из тихой, сонной воды Камень Опасности.

И еще одно литературное воспоминание, мотив, накладывалось: «Девушка пела в церковном хоре...»

Мало кто знает, что это стихотворение написано Блоком после цусимского побоища.

В Японском море всегда вспоминаешь Цусиму.

Ехать на ту войну Чехов собирался не журналистом, а врачом...

Могилы Исикава Такубоку на северном берегу острова Хоккайдо. Она и проходила у нас по левому борту.

На северном берегу,
Где ветер, дыша прибоем,
Летит над грядою дюн,
Цветешь ли ты, как бывало,
Шиповник, и в этом году?

Октябрь — шиповник, должно быть, облетел и в Японии...

ЭПИЛОГ

«Зачем это писать, — недоумевал Чехов, — что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все».

Это сравнительно молодой Чехов.

А вот мечты о предсмертной пьесе, которую рассказывал Станиславскому, но написать не успел: «Два друга, оба молодые, любят одну и ту же женщину. Общие любовь и ревность создают сложные взаимоотношения. Кончается тем, что оба они уезжают в экспедицию на Северный полюс. Декорация последнего действия изображает огромный корабль, запертый во льдах. В финале оба приятеля видят белый призрак, скользящий по снегу. Очевидно, это тень или душа скончавшейся далеко на родине любимой женщины».

Чехов пришел к такому сюжету и обдумывал его, когда уже собирались чемоданы для отъезда в Баденвейлер.

А как сам поступал в жизни? Неужели поездка на Сахалин свершена из желания пересчитать там каторжан и чем-то облегчить их жизнь? Нет, там и сугубо личное было, что-то от поиска «какого-то примирения с людьми», хотя на словах он над такими поисками издевался...

О. Книппер:

«В последний год жизни у Антона Павловича была мысль написать пьесу. Она была еще неясна, но он говорил мне, что герой пьесы, ученый, — любит женщину, которая или не любит его, или изменяет ему, и этот вот ученый уезжает на дальний север. Третий акт ему представлялся именно так: стоит пароход, затертый льдами, северное сияние, ученый одиноко стоит на палубе, тишина, покой и величие ночи, и вот на фоне северного сияния он видит — пронесится тень любимой женщины...»

Хорошенькую эволюцию проделал Антон Павлович!

А почему такую разительную? А потому, вероятно, что своим гением уже в начале века ощущал новую роль Севера в судьбе России. И еще главный герой-то — ученый!

Вернулся я в Ленинград только в ноябре 1979 года самолетом из Владивостока. Начал перебирать записные книжки, бумажки, перекладывать их с места на место — так всегда делаешь, когда отвык от писательства и никак в него обратно не войти.

Наткнулся на письмо Казакова и сразу подвинул себя на подвиг — поход на почту — и отправил ему свои последние книги ценной бандеролью. Там были и «Вчерашние заботы» — повесть на материале арктического плавания 1975 года.

Вернулся домой, и началась очередная телепатия.

Телефон звонит. Сейчас возьму и трахну его об пол! Вот почему не войти в писание — телефон, городские отвлечения, пустые суеты...

Телефон трезвонит междугородным сигналом.

Москва.

Говорит доктор, женщина. В больнице познакомилась с Казаковым. Сообщает, что он очень тяжело болел, врачи перед операцией не давали ему и трех процентов на жизнь...

Докторша еще сообщает, что она дочь старшего механика теплохода «Брянсклес». Господи боже мой! Да мы год назад к борту этого «Брянсклеса» на Молодежной швартовались!

Ну до чего же все на свете перемешано и перевязано!

Вечером дозвонился Казакову. Голосок у него был слабый. Опять готовился ложиться в больницу. Хрипит сквозь свое обычное заикание:

— А врачиха эта, Катя, меня не лечила и мои рассказы в грош не ставит. Ты и здесь мне дорогу перебежал! А ездила она в больницу, чтобы наставлять меня, что есть и что не есть. Послушать ее, так надо жить на швейцарском курорте, чтобы питаться по ее диете. Знаешь, как в старину, судя по народническим рассказам, доктора прописывали обитателям ночлежек портвейн и куриный бульон? Так вот и она... У нее старый муж перенес такую же операцию, вот она ему и готовила протертые супы и проч...

Через год «Брянсклес» погиб в Арктике. Отец докторши Кати успел выскочить.

7.05.80.

«Пишу тебе на авось. Книги твои, кот. ты мне прислал, вызвали массу ощущений, но я тут опять собирался умирать, и поэтому достойно ответить не мог.

Сто раз хотел написать, но всю осень и зиму был в такой мерихлюндии, что не писал вообще никому, не отвечал даже на письма из редакций.

Целую тебя и люблю и до сих пор ищу письмо твое хамское, на которое я соответственно ответил (там было что-то о Паустовском), и не найду. А жаль. Жаль, что по пьянке расходятся люди, нужные друг другу. Но об этом в другой раз.

Адрес мой: Абрамцево — Ю. Казакову».

К этому письму было приложено интервью Юры в журнале «Вопросы литературы» (1979, № 2) под названием «ДЛЯ ЧЕГО ЛИТЕРАТУРА И ДЛЯ ЧЕГО Я САМ». На журнале автограф:

«Дорогой Витя! Много из того, что я говорил, не пропустили, но я доволен хотя бы тем, что вопреки установившимся взглядам усомнился во влиянии писателя на жизнь людей. См. о Толстом».

Вот и посмотрим вместе это интервью.

«Очень ярко помню свою фамилию под своим первым рассказом, — мало того, что я испытывал счастье, но в глубине души думал: «Вот кто-то прочтет, и мой рассказ на него подействует — и человек этот станет иным!» Я уж не говорю о той вульгаризаторской критике, отзвуки которой я еще застал и по которой выходило так: стоит только написать положительного героя и сразу, немедленно весь народ пойдет по его стопам. А отрицательный герой обязательно деморализует общество. Если писатель изображал отрицательного героя, он, таким образом, «предоставлял трибуну врагу». Вот ведь до чего договариваются!

Но по мере того, как я знакомился с величайшими образцами литературы, по мере того, как сам писал все больше, и по мере того, как оглядывался на современную нам жизнь, вера моя в силу слова начала таять. Дошло до того, что я стал недописывать свои рассказы, оставлять их в черновиках, думал: «Ну, напишу я еще десяток произведений, что изменится в мире? И для чего литература? И для чего тогда я сам?»

Что толку в моих писаниях, если даже вся страстная, громовая проповедь Толстого никого ничему не научила?.. Казалось бы, слова его столь убедительны, столь разумные, должны были бы переродить нас, и мы, по выражению Пушкина, должны бы, распри позабыв свои, объединиться для всеобщего благоденствия... А разве один Тол-

стой звал людей к добру? Нет, решительно нет ни одного писателя великого и невеликого, который не возвышал бы свой голос против зла. Читают ли этих писателей все нынешние политики, президенты, премьеры, адмиралы и генералы, все те, кто отдает приказы идти и убивать? Теперь, наверное, не читают, теперь-то им некогда, но ведь читали же. Читали, когда были студентами — а они все обязательно были! — всевозможных Сорбонн, Оксфордов и Гарвардов. Читали, и ничто не шевельнулось в их душах? Об исполнителях уж я и не говорю...

И вот перед писателем, относящимся к своему делу серьезно, нет-нет да и возникнет вопрос, вопрос гибельный: кому я пишу? зачем? и что толку в том, что книги мои переводятся на десятки языков, издаются в сотнях тысяч экземпляров?

Уныние охватывает тогда писателя, уныние надолго: что уж говорить обо мне, если великие властители дум ни на йоту не подвинули вперед человечество, если их Слово для людей вовсе не обязательно, а обязательны только слова приказа: «В атаку!», «Огонь!».

Значит, бросить все? Или наплевать на все и писать для денег, для «славы» (какая там слава!) или «для потомков»...

Но почему же мы тогда все пишем и пишем?

Да потому, что капля долбит камень! Потому что неизвестно еще, что было бы со всеми нами, не будь литературы, не будь Слова! И если есть в человеке, в душе его такие понятия, как совесть, долг, нравственность, правда и красота, — если хоть в малой степени есть, — то не заслуга ли это в первую очередь великой литературы?

Мы не великие писатели, но если мы относимся к своему делу серьезно, то и наше слово, может быть, заставит кого-нибудь задуматься хоть на час, хоть на день о смысле жизни.

Хоть на день! — это ведь так много...»

Тут надобно привести еще одно читательское письмо: «В. Конецкий! Вы почаще, когда Вы собрались преподнести миру нечто «новое», употребляйте слова — по моему, на мой взгляд, для меня и т. д. А то как-то некрасиво получается. Вы так категорично заявляете, похоже, дело, решенное *всеми*; к примеру: «Скучный Пришвин заявляет...» Величайший гуманист, тончайший величайший поэт, певец неповторимости человеческой Личности, певец Свободы, истинной красоты, тонкий обостренный умный

художник; ГЛЫБА ДУХОВНОЙ емкости, мыслитель, величайший талант, причастный научной философской мысли — и к нему-то Вы прилепили ярлык «скудный»???!!!!

Не пеняй на зеркало, дружище, коли у самого рожа крива!

Какое же Вы убожество, какая нищета душевная и такая же сердечная *нищая трезвость*, всегда унижающая великую *человеческую суть*?!!!

«Видеть никем не виденное, понимать никем не понятное, в обыкновенном видеть необыкновенное...» (Горький о Пришвине). Вот повод для *проверки* собственной души! А кто не живет глубинной жизнью души, кто спокойно пользуется жизнью на ее поверхности, чья душа скоротечна — тот ни черта не увидит!

«М. Пришвина... я ценю высочайше и люблю за простодушную его мудрость, за КРИСТАЛЬНУЮ ЧИСТОТУ ДУШИ, за полнейшую открытость ума, мнений, личности своей для всех. Говоря даже о своих задушевных потаенностях, он вводит нас в них без малейшей оглядки, с доверчивостью ребенка, — войди, смотри и бери из того, чем я владею, что тебе надобно для хорошей твоей жизни» (Илья Бразнин).

Ваш Ералаш, или Компот из всяких мерзостей в адрес других («Нева», № 4), взят из Дневников, где писатель беседует сам с собой и писал для себя в первую очередь, а не для печати. Да, удивление покидает мир, потому что не стало *истинных* поэтов, а поэт — это ребенок до последнего вздоха, даже с седыми волосами, а ближе к тексту, вот: «Поэт должен быть ребенком, даже если у него седые волосы и склероз сосудов...» (Поль Элюар). Так что Пришвин не одинок в своих рассуждениях о детстве. Только очень мерзко, когда у одного нет головы, у другого нет сердца, у третьего и голова и сердце, а нет ГЛАЗ — он не видит живописи, а все же *обязательно* судит художников! Вы не поэт, Конецкий, Вы — *нищая трезвость*, с малостью души и узостью сердца, тогда по какому праву Вы судите поэтов, не понимая в этом ни уха, ни рыла??!!!! «За четверть века переписки в письмах Ю. Казакова нет ни одного детского воспоминания» — вот потому он остался Казаковым всего-навсего и не стал *величайшим поэтом*, каким был Пришвин, или как органичный, естественный Рубцов, возносящий Души к *высшему свету*!! У Вас не только нет такта, да просто ума не хватает! Ума хватило только печатать эту чушь!.. Не все могут писать о войне,

да будет Вам известно; и обо всем том, *хам в высшей степени*, что Вы нахально навязываете другим?!!!! Я пережила блокаду и смрада в войну видела, может, побольше Вашего, *включая год оккупации*, но запахи Бунинских яблочек, как и все его ароматы,— великое счастье для моей души. Так что, не ищи, Конецкий, оправдания своей тупости, ограниченности, ущербности душевной в войне, холоде, голоде... И гениальный Чехов у Конецкого дурак, печатает трижды то, что плохо знает. А разве ты, гений винегретов, не знаешь, что среди матросов попадаются и такие, как Рубцов, существа необычайно ранимые и тонкие?!!! А среди шлифовщиков на заводах бывают Агафоновы!!!! И надо же, тонкий Казаков писал письма такому дубине, который считал за *подвиг* пойти на почту и послать товарищу книги!!!! И не стыдно писать об этом!! А впрочем, он (Юра) плевал на тебя не раз, жаль, что мало... Не мешало бы тебе прочесть предисловие к книге Ю. Шейнина «Интегральный интеллект». Дорости не могут до этого, а вот проталкивать в печать убожество своего «Я» ума хватает. Я сделала своим письмом то, что Вы делаете с другими. Приятно читать? Лебедева И. М., Игнатъева Л. М., 198005, Ленинград, 4 Красноармейская, д. 2/35, кв. 36».

Я пообещал этим своим темпераментным корреспонденткам, которые равно используют авторитеты Ильи Бражнина и Поля Элюара, напечатать крик их душ в книжном издании своей, как казалось мне, грустной повести о Ю. П. Казакове.

Что и делаю.

18.03.81. *Абрамцево.*

«Накатал сегодня дюжину писем (все-таки подумай, какая производительность — каждое письмо примерно по странице, вот тебе пишу тринадцатое, клади на круг 12 стр.— и это в общем за полдня! Вот так и надо нам писать свои рассказы, не задумываясь, как будто письмо приятелю пишешь. Тогда у нас с тобой было бы по тридцать томов сочинений).

Ты, конечно, омерзительен в своей неряшливости: не только ботинки, как я помню по Одессе, начищаешь гостиничными коврами, но за своей старушкой «Эрикой» не ухаживаешь. А ты должен любить ее нежней и бережней, чем самую прекрасную женщину. А она у тебя грязью заросла, буквы забиты не только гласные, но и согласные!

Я бы на месте «Эрики» объявил тебе забастовку, как англичане в Сорри-доке. Что ты в нее вместо ленты — мазутные концы вставляешь, что ли?

Витя, напиши же, в конце концов, как ты и что? Давно ли умерла мама и отчего, и был ли ты в это время в море или при ней? И есть ли у тебя собака? Не покупай собаку, Витя! Ее выгуливать надо, а потом начинаешь ее любить, а потом, когда она помирает, начинаешь страдать, пить горькую и укорачивать и без того короткую свою жизнь. У меня был спаниель, 12 лет жил, переболел чумой, совсем очеловечился, а когда помер, я мамашу два раза на «скорую помощь» в Хотьково возил, потому что Чифа (так его звали) страшно любил отец, который незадолго перед этим тоже помер, и вот тут все соединилось — не приведи бог!

Слушай, я тут, когда лежал в больнице в Загорске, оказался вдвоем в палате с Князем церкви, и он выписал мне журнал Московской патриархии. Так вот в одном из номеров я вычитал интереснейшее описание вскрытия гробницы Николая-угодника. (Я этот журнал найду не поленюсь и перепечатаю тебе подробности, а ты сделай с этого дела ксерокопии крупными буквами и пошли в пароходство, чтобы в каждой рубке в рамочке это висело. Все-таки Николай чудотворец — покровитель моряков. *И он действительно жил!*)

А помнишь, в Ялте, ежедневную утреннюю редиску, какую-то длинную рыбу, которую я таскал на кухню жарить, и водку, которую ты со стуком ставил на стол?»

«Отвечаю на вопросы. Мама умерла девять лет назад. Одна в квартире, ночью. Как утверждают врачи — во сне, но мне не верится, и потому иногда накатывает ужас за нее. Я в этот момент ехал из Кракова в Варшаву, и она мне приснилась, и я уже знал, что она умерла. И я спокойно верю теперь в телепатию — во всяком случае, между матерью и сыном.

Собаку я не заводил, потому что знаю про все, что ты об этом деле пишешь — очень ответственное, и чувствительное, и счастливо-грустное это дело.

Ялту, редиску, длинных рыбин и водку, которая в те времена, казалось, лишь веселила, будила мысль, фантазию, веру в счастье, а нынче только угнетает и лишает творческого, оставлю в душе как самое прекрасное в про-

житой жизни. И кабачок с музыкантами, и дом Чехова... Обнимаю. В. К.»

21.10.82. Абрамцево.

«Да! Ты в книжке поминаешь Русанова. Он присутствует и в нашем фильме. Кстати, я к нему отношусь с большим пиететом, нежели к Седову. Б. Шоу после лекции о Сев. полюсе сказал: за ваш полюс я и двух центов не дам, а вы лучше изобретите лекарство от насморка. Конечно, Сев. полюс — это звучит гордо. А у Русанова была задача другая — он ведь был геолог, он хотел осуществить жизненно важное для России, т. е. доказать, что Сев. путем можно пройти. Все так. Но тут начинается такая уйма загадок! (Кстати, знаешь ли ты, что Новая З. была присоединена к Росс. империи только в 1911 г. и если бы не Русанов, неустанно бомбардировавший русское правительство докладными, Н. З. постигла бы участь Шпицбергена, так как норвежцы уже начали окапываться и на Н. З.!)

Так вот Русанову предстояло выполнить *секретное* поручение правительства и застолбить на Шпицбергене все, что только можно было, все, что еще не застолбили норвежцы. И это поручение он выполнил!

А вот в тот пресловутый столб с надписью «Геркулес 1913», который хранится в музее Арктики у вас в Л-де, я не верю! Ведь такие столбы или другие знаки ставят, чтобы сообщить о себе. Т. е. в основании столба в камнях обязательно должна была быть запаянная банка или бутылка с запиской или с дневником. А так — зачем столб? Зачем?

Ну и, наконец, эта пресловутая Жан! Кто она была Русанову? Невеста? Почему не жена? Если, предположим, Русанов взял ее прокатиться до Шпицбергена, а потом уже решил идти на Восток, то почему не отправил Жан домой — сообщение со Шпицбергом было регулярным?

Все это чертовски странно!

Подумай, Витя, о трагедии во льдах — для кино.

Представляешь — полтора десятка молодых парней на крошечном судне, и перед глазами у них все время «невеста». А тут полярная ночь, безделье, жратвы вдоволь, цинги нет (Русанов набрал лимонов, луку и проч.), оружие у всех есть... И начинается драка за Жюльетту. А кругом ночь и пурга. Картина, одним словом... Наконец, кто-то оставшийся в живых, например, Русанов покидает

к чертовой бабушке «Геркулес» и тащится с «невестой» к берегу... А м. б., и не Русанов. М. б., его-то первого и хлопнули. Ну, а на берегу они, естественно, помирают, лежа в обнимку, песцы мигом их съедают. А наши комсомольские ребята с рюкзаками теперь их ищут...

Давай, Витя, напишем?! Чем черт не шутит, когда бог спит?

Нет, все это странно и странно! На кой черт все-таки Русанову было тащить, пусть прелестную, но нежную парижанку во льды? И не понимал разве он, что присутствие на судне молодой женщины будет действовать на матросов...

Авантюра! Но Русанов — и — авантюра никак не плюсются.

А знаешь, когда был я в Институте Арктики и Антарктики, то с наслаждением разглядывал карту побережья Ледов. океана — там отмечены такие «населенные пункты»: «Изба Супонина» и т. п., очень это меня умиляло.

Вот, думал я, так бы жить: «Изба Конецкого», а в 30 км от нее «Изба Казакова» — это чтобы пореже друг другу надоедать. Ю. К.»

«Так и не узнал, как надо смотреть на океан, как встречаются и расходятся корабли, — не знаю... Черное море и Каспийское уже устали... Надо идти дальше, надо опять искать новые земли, завоевывать полюс, такой далекий, что о нем нельзя даже справиться у птиц...». «Часто думаю о холодном углу Ледовитого океана. Очень не увиден».

Виктору Борисовичу Шкловскому, который накануне смерти печалился о том, что так и не увидел далекие уголки Северного Ледовитого океана, было девяносто два года — чего уж только он не видел на этом свете!

Господи, но чем же этот проклятый Север так тянет к себе?

Еще в 1959 году Казаков прислал мне книгу норвежки, жены губернатора Шпицбергена Лив Балстад «К северу от морской пустыни».

Помню, особенно поразило, что норвежцы-зимовщики не хоронят на Шпицбергене умерших там соотечественников. Трупы лежат во льду до открытия следующей навигации. И только тогда их отправляют на материк — в Землю Предков.

Проработать длинную полярную ночь рядом с покойником, ясное дело, не очень весело. И потому нашим зимовщикам даже в голову не приходит ничего подобного. И лежат наши героические покойнички возле обоих полюсов, и ни дети, ни жены, ни матери и отцы никогда не склонят над их захоронениями голов и не преклонят колен.

В сопроводительном письме Казаков писал о «документально-путевой» книге норвежки: «Это не литература, но, может быть, больше, чем литература. Мне ужасно захотелось на Шпицберген. Скоро пришлю тебе свой сборник, но он, увы, не столь хорош, как книга Лив Балстад, хотя и стоил мне много нервов». На форзаце Казаков еще написал: «В. К. — для зарядки мужеством. Жалею, что не я написал эту книгу».

Недавно узнал, что Скандинавия — родина легендарных предков Рериха.

А первые картины на темы Индии Рерих писал в Сортавале: от викингов и поморов — к йогам. Где-то он говорит: «Пусть наш Север кажется беднее других земель, пусть закрылся его древний лик. Пусть люди о нем знают мало истинного. Сказка Севера глубока и пленительна». Он видел в Севере кристальную чистоту русского характера, прародину и основу основ России, ее духовный символ...

Последний раз я разговаривал с Юрой в ноябре 1981 года. Он позвонил в Ленинград и начал очень мрачно. С того, что денька через два я прочитаю в «Литературке» некролог по нему. Затем вдруг развеселился и сообщил, что получил новую квартиру и не где-нибудь в Черемушках, а на родном старом Арбате, в версте от его бывшего жилья и что бешено рад этому. Ну, а главной целью звонка, как под финал выяснилось, было приглашение в Москву на премьеру в Доме кино их северного, про Тыку Вылку фильма. Поехать я не смог. Фильм потом видел по ТВ — ужасающая дрянь.

27.05.82. *Абрамцево.*

«Милый Витя! Так уж чудно вышло, *значить*, что письмецо твое я получил, как раз когда перечитывал твои «Заботы». Вот тебе и критика: ведь плохую вещь перечитывать не тянет, не так ли? Очень огорчен твоим поведением — пародонтоз — это когда совсем здоровые зубы начинают шататься и вылезать, так? Ну и, наконец, ишемия (ты по вечной своей безграмотности пишешь — *иши-*

мия) — это дело серьезное, но зато кончается мгновенной безболезненной смертью. Утешайся.

Здесь сейчас хорошо, весна у нас в этом году поздняя, так что только теперь распускается черемуха и начинают петь соловьи. Ты косил когда-нибудь? А то дам тебе косу, и ты для моциона, как Лев Толстой, будешь косить траву, ее у меня много. Спать можешь в бане. Или в доме, как захочешь. Дрова для бани тоже можешь колоть. И на машинке стучать там. Словом, будем жить как на швейцарском курорте, только разве горничных и кухарок у нас не будет, не будет тети Ани, которая тебе с Фомой Фомичом во «Вчерашних заботах» таскала кофе и бутерброды прямо на мостик.

Приезжай, Витя, только заранее, дней за пять или за три, дай телеграмму, что едешь, а то у нас почта работает хуже, чем у Чехова, когда он жил в Мелихове.

Все лето я пробуду в Абрамцево, разве только недели на две смотаюсь на Новую Землю в начале августа.

Ах, Витя, Витя! Как давно мы не виделись, а это так плохо, ибо человек смертен, и эта невеселая история может случиться с каждым из нас со дня на день...

Очень я надеюсь, что ты приедешь! Привези с собой копчущек! Мы их тут — под пиво!!

Твой Ю. Казаков».

Приехать не удалось.

Навигацию 1982 года я провел в Арктике.

На Новой Земле Казакова не обнаружил...

Короче, так мы больше никогда с ним живым и не встретились.

Конечно, здесь, не только наша глупая ссора виновата, но и судьба, обстоятельства.

Лицо Юры в гробу было спокойным, спящим. Странно было только видеть его без очков.

Я сопровождал старого друга, эпигона и декадента в могилу на Ваганьковское — знакомое кладбище, обжитое, — там и Владимир Высоцкий, и Олег Даль лежат.

СОДЕРЖАНИЕ

НИКТО ПУТИ ПРОЙДЕННОГО У НАС НЕ ОТБЕРЕТ

Из семейной хроники	4
Под сенью русских сфинксов в Коломне	24
Как я первый раз командовал кораблем	33
Мемуары военного советника	57
Отход	74
Давняя драма в проходе Флинт	90
В ресторане «Сплитски Врата»	103
Мурманск	120
В море Баренца	130
В Карском море	150
День рождения старпома у мыса Могильный	165
История с моим бюстом	182
В центре моря Лаптевых	191
Письма поручика Искровой роты из 1914 года	208
Колыма	237
Арктическая «Камаринская»	252
В ледовом дрейфе, песцы	273
Вокруг острова Врангеля	315
Кошкодав Сильвер (<i>вместо эпилога</i>)	351

ОПЯТЬ НАЗВАНИЕ НЕ ПРИДУМЫВАЕТСЯ

О Сергее Колбасеве	378
О Викторе Шкловском	398
О «Блокадной книге»	432
О Юрии Казакове	440

В. Конецкий

К 64 Ледовые брызги: Из дневников писателя.— Л.: Сов. писатель, 1987.— 544 с.

В. Конецкий начал свой «роман-странствие» двадцать лет назад с книги «Соленый лед». Книга «Ледовые брызги» — седьмая из серии его путевой прозы, то есть прозы о морском труде, морском производстве, как сам он часто подчеркивает. Перед нами своего рода эпилог, где досказываются судьбы героев, впервые возникших на страницах рассказов и повестей В. Конецкого еще молодыми людьми. Это и реквием особо любимым писателям С. Колбасеву, В. Шкловскому, Ю. Казакову.

К $\frac{4702010200-139}{083(02)-87}$ 74—87

ББК 84.Р7

Виктор Викторович Конецкий

ЛЕДОВЫЕ БРЫЗГИ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1987 г. 544 стр.
План выпуска 1987 г. № 74

Редактор Ю. А. Помпеев

Худож. редактор М. Е. Новиков. Техн. редактор Г. В. Мисюль. Корректоры Ю. А. Бережнова и Е. Д. Шнитникова

ИБ № 6088

Сдано в набор 21.01.87. Подписано к печати 19.08.87. М 15040. Формат 84×× 108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 30,22. Тираж 100 000 экз. Заказ № 800. Цена 2 р. 20 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.